

АЛЕКСАНДР МАЛИНОВСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В 2-Х ТОМАХ

I

ТОМ

РАДОСТНАЯ ВСТРЕЧА

*Два чувства дивно близки нам
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва...*

А. С. Пушкин

В сентябре 1989 года в селе Утевка Самарской губернии на Воздвижение Животворящего Креста был открыт после восстановления храм Святой Троицы. Событие, может быть, и неприметное на фоне всплеска интереса к религии, но есть у этого храма одна особенность: его история и связанная с ним судьба Григория Николаевича Журавлева, крестьянского художника-иконописца, так слились между собой, что стали неотделимы вовек и, дополняя друг друга своей похожестью, рождают и до сих пор в округе противоречивое чувство, в котором смешались преклонение, вера, недоверие, скептицизм и прочее.

Григорий Журавлев родился без рук и ног, и все свои иконы он писал, зажав кисть зубами.

Признаюсь, когда в начале 60-х годов я впервые узнал об этом, то пришел в сильное волнение. Мне очень захотелось собрать материал и, обнаружив тогда самое, очевидно, поверхностное, я написал очерк и отослал его в областную газету.

Я был уверен, что материал напечатают, потому рискнул приложить уникальную, единственную фотографию, где утевский художник изображен в полный рост. Увы, и очерк не был напечатан, и фотография затерялась. Только более чем через двадцать лет мне удалось найти еще одну, подобную пропавшей.

...Сейчас ложные, лицемерные боги рушатся. Говорим, что у нас в Отечестве идет возрождение христианства. А оно и не умирало. Его пытались убить — не удалось, решили не замечать вовсе... Но христианство было образом жизни российского народа. И оно заслуживает самого пристального внимания.

Ведь когда-то именно она — Святая Вера Православная — собрала воедино разрозненные славянские племена и дала возможность образованию нашего прежде единогодушного и могучего народа. Святая Вера Право-

славная освящала и укрепляла в наших предках любовь к своему Отечеству.

Православная Церковь как заботливая мать старалась воспитать в русском человеке лучшие качества. Ведь так было! Именно Церковь стала в свое время центром нашей государственности. Церковная идея служения лежала в основе сословного устройства государства Российского.

Православность была неременным качеством всего русского в его многовековом историческом развитии. Понятие «русский» и «православный» были слиты неразрывно.

И только в этом единении возник и показал свою истинную мощь русский народ – народ соборный, державный, всегда открытый и готовый на подвиг во имя Отечества.

Вот короткая справка.

В 1892 году в Самарской епархии было около двух миллионов православных, действовало 837 церквей, 27 строились и среди них – Кафедральный собор Христа Спасителя, один из крупнейших в России. После Октября до 1985 года действовало всего 18 приходов, но в 1992-м – их уже около 80. Открылся молельный дом в Отрадном и строится новая церковь, открыта церковь в селе Покровка, в Нефтегорске идет регистрация прихода. Очаги христианства так стремительно возникают, что не хватает священников. Их нет в селах Мало-Мальшевке, Покровке...

...Мои намерения были просты: заново обойти живущих утевцев, которые знают или помнят что-либо о Григории Журавлеве, побывать в школьном музее, в самой церкви, поговорить с прихожанами и вновь, собрав материал, как-то постараться закрепить, назвать конкретные имена, описать события, факты, ибо очень многое просто уходит бесследно. Но случай с Григорием Журавлевым уникальный, и он достоин, как мне показалось, того, чтобы сохранить эту страницу истории села Утевка как одну из интереснейших и, может быть, поучительных...

ПИСЬМО С БЕРЕГОВ АДРИАТИКИ

Мощную волну краеведческих поисков материала о талантливом художнике-самоучке вызвала находка в Республике Босния и Герцеговина югославским историком, реставратором Здравко Каймаковичем иконы, написанной Г. Журавлевым.

Узнав об этом, руководитель краеведческого кружка Утевской средней школы, учитель Кузьма Емельянович Данилов завязывает переписку с Каймаковичем, который так рассказал о своем открытии:

«...Проводя учет памятников культуры в нашей Республике, в 1963 году в сербско-православной церкви в селе Пурачиц около Тузлы я обнаружил икону, которую сделал Ваш земляк Григорий Журавлев. От имени комитета* я написал об этом в СССР и через Государственный архив СССР получил подтверждение тех сведений, которые написаны белой краской на иконе. Затем последовал запрос Вашей школы об этой иконе. После 1963 года я имел случай еще раз посмотреть это произведение; у нас пока еще нет его хорошей фотокопии, но я обещаю сфотографировать и, если фотография будет удачной, пришлю ее на Ваш адрес, на адрес Вашей школы. Но до того, как я сделаю это, я дам Вам описание иконы и перевод текста Григория под ней.

Икона средних размеров, исполнена масляными красками на доске и изображает славянских первоучителей св. Кирилла и Мефодия. Святые изображены стоя со свитками в руках. И представляет собой тщательную и тонкую работу, так что в первый момент я подумал, что это произведение работы иконописца с академическим образованием, предположив, что текст Журавлева является обычной монашеской мистификацией. Отсюда моя радость, что такой феномен, каким был Ваш земляк Журавлев, действительно существует и, преодолев жестокость природы, сумел подняться до завидных высот художественного искусства. Он художник не потому, что творил, держа кисть в зубах, но потому, что сумел создать действительно художественное произведение. Текст на иконе гласит приблизительно следующее: СИЮ Икону ПИСАЛ ЗУБАМИ КРЕСТЬЯНИН ГРИГОРИЙ ЖУРАВЛЕВ СЕЛА УТЕВКИ САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ БЕЗРУКИЙ И БЕЗНОГИЙ ГОДА 1885, 2 ИЮЛЯ. Точный текст пошлю Вам дополнительно с фотографией иконы.

Я бы просил Вас, если это возможно, прислать мне фотографию Григория Журавлева (его лично) и фотографию одного его произведения, которое сохранилось у Вас, а также некоторые данные о личности и творчестве Григория Журавлева. Мы хотим его икону из Пурачица взять под охрану государственного закона.

Мне ничего не известно о том, как икона преодолела путь от Утевки до Пурачица, но я предполагаю, что она подарена церкви каким-нибудь нашим человеком, который был в России примерно в 1918 году, или пожертвована русским, переселившимся в Югославию...»

Это письмо перевел с хорватского доцент кафедры русского языка Куйбышевского пединститута А. А. Гребнев по поручению руководителя клуба интернациональной дружбы Самарского пединститута доктора био-

* Комитет по охране памятников культуры Республики Босния и Герцеговина.

логических наук, профессора Д. Н. Фролова, к которому обратился К. Е. Данилов. Опережая события, с сожалением могу отметить, что остается неясным, получил ли обещанную фотокопию иконы К.Е.Данилов или нет, а если получил, то трудно сейчас предположить, где она...

О том, какой большой толчок дало это письмо для местных краеведов, говорит публикация в районной газете от 10 июня 1966 года под заголовком «Крупницы большого таланта»:

«В газете «Ленинский луч» уже сообщалось, что члены историко-краеведческого кружка Утевской средней и восьмилетней школ решили увековечить память о своем земляке художнике-самородке Григории Николаевиче Журавлеве. Они взялись организовать уголок материалов о его творчестве.

Общественность села Утевка живо откликнулась на начинание кружковцев. Так, Иван Илларионович Кабанов охотно передал в дар юным краеведам икону, написанную Григорием Николаевичем. Так же, как Иван Илларионович, поступили сестры Трегубовы – Анна Васильевна и Александра Васильевна.

Энтузиаст-коллекционер Владимир Борисович Якимец вскоре после опубликования «Письма из Югославии» («Ленинский луч» от 25 мая 1966 года) принес мне, как руководителю кружка, икону, написанную Григорием Николаевичем на доске. На ней изображен псалмопевец Давид с арфой в руках (царь древнееврейского государства). Владимир Борисович эту икону нашел у кого-то на чердаке и отдал ее в музей краеведения села Утевка.

Нельзя умолчать о благородном поступке и Петра Семеновича Галкина. У Петра Семеновича бережно хранится портрет, написанный Григорием Николаевичем карандашом на полотне, где талантливо изображен дедушка П.С.Галкина. И вот этот портрет, как ценную семейную реликвию, Петр Семенович дал согласие передать в музей краеведения с условием, если ему взамен портрета дадут фоторепродукцию с него...

...Среди жителей немало и таких людей, которые с большим желанием включились в поиски творческого наследия, оставшегося после смерти нашего талантливого земляка. Так, пенсионер Иван Филиппович Гурьянов решил разыскать того человека, у которого хранится портрет, написанный нашим незаурядным земляком, где он умело запечатлел на полотне личность жителя села Утевка Гордея Афанасьева (портного). Алексей Печенов приступил к поиску портретов своего дяди Тимофея Филипповича и двоюродного брата Николая Тимофеевича Печеновых.

К. ДАНИЛОВ,

председатель президиума Совета Нефтегорского районного отделения Всероссийского добровольного общества».

В ОБЛАСТНОМ МУЗЕЕ КРАЕВЕДЕНИЯ

С надеждой я переступил порог Самарского областного музея краеведения, но в его залах не смог увидеть того, что искал. Тем не менее, почему-то был уверен, что в музее найду материалы, касающиеся Григория Журавлева. С этой уверенностью я и вошел в кабинет директора музея. В тот день я ничего увидеть не смог, но мне пообещали: недели через две покажут все, что есть в музее, касающееся Григория Журавлева.

И вот я держу в руках две вещи, найденные в запасниках музея. Первая – икона с изображением женщины с ребенком, написанная маслом на обычной доске, размером 26х31 см. На обратной стороне четкая надпись, сделанная краской:

«Икона писана Журавлевым Григорием Николаевичем в 1910 г., безруким и безногим самоучкой художником крестьянином с. Утевки, Кинельского района, Средне-Волжского края. Работал зубами.

Приобретена Грачевым В.В. 6.04.1933 г. у племянницы художника Моковой Анны Давыдовны в с. Утевка, в присутствии которой писана икона.

В. В. ГРАЧЕВ»

Думаю, что в фамилию племянницы художника вкралась ошибка, ибо в Утевке очень распространена фамилия Моковые, но совсем не известна – «Моковы».

Каких-либо пояснений работники музея дать не смогли. Все, что я им мог рассказать, они слышали впервые. Так что мне предстояло самому разобраться, кто такие Мокова, Грачев В. В., при каких обстоятельствах эта икона попала в музей, признают ли ее в Утевке и т.д. Мне позволили вынести картину во двор на дневной свет, где я сделал несколько фотоснимков.

Названия икона не имела, музейные работники и по этому поводу ничего сказать не могли.

Недели через две я показал фотокопию этой иконы настоятелю Троицкого храма в Утевке. По мнению отца Анатолия, на ней изображена «Млекопитательница».

Чуть позже мне удалось получить машинописную копию статьи А. Праздникова, напечатанной в газете «Волжская коммуна» 5 февраля 1970

года. Статья небольшая, всего в одну машинописную страницу, в ней нет никаких новых сведений, кроме строки: «Несколько работ Журавлева хранятся в фондах Куйбышевского краеведческого музея». Если А.Праздников не оговорился, нам, может быть, все-таки предстоит встреча с еще неизвестными журавлевскими картинами.

И, наконец, вторая находка: фотография Григория Журавлева размером 9x12 см, на которой он изображен в полный рост со своим братом Афанасием.

После второго посещения областного краеведческого музея я ужаснулся за судьбу работ Г. Журавлева, ибо не увидел той силы, которая могла бы целенаправленно если не организовать поиски неизвестных работ художника, то хотя бы квалифицированно, с привлечением специалистов, определить достоверность авторства тех работ, которые есть в Троицком храме, а также в домах моих сельчан. Никому это ненужно!..

А надежды на новые находки есть.

Перечитывая переписку между К. Даниловым и журналистом из Свердловска Е. Девиковым, я наткнулся на фразу: «...А тем не менее югославская находка художника, уральская находка так же подписаны». Оказывается, и на Урале обнаружена икона кисти Г. Журавлева. Только не следует путать, как это было допущено в одной из газетных публикаций: речь не идет об иконе «Утевская мадонна», она никогда не покидала прежде пределов Утевки. Найдена совершенно до того неизвестная икона.

А мне тем временем предстояла замечательная встреча.

Отец Анатолий, учившийся в духовной академии в Загорске, подтверждает, что в ЦАКе (Центральном археологическом кабинете) наряду с иконами, известными всему миру, выставлена икона Г. Журавлева.

Таким образом, и в Сергиевом Посаде, основанном в середине XIV века, Г. Журавлева тоже признали как иконописца. Так что можно возразить против того, что Г. Журавлев неизвестный крестьянский иконописец. Кому неизвестный? Нам с вами, нашему поколению, для которого очень много делали, чтобы оно как можно меньше знало.

Теперь на минуту вообразим, что религия в нашем отечестве была бы в XX столетии так же свободна, как и в XIX-ом. На многое, очень многое мы бы глядели иными глазами...

В ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Ребятишки, прознав, что в школьном музее появилась боевая сабля, задумали набег. Но неудачно, — школьное начальство приняло меры —

музей временно закрыли, экспонаты разнесли по разным закуткам. И теперь я держу лишь худенькую папку с интересующими меня материалами о художнике.

Увы, такая вот судьба, как это ни печально, уготована всем любительским музеям. Либо их разграбят, либо случится пожар, либо по недомыслию маленького, но непобедимого чиновника будет что-то перемещено, переоборудовано, перевезено, просто утрачено или выброшено во имя других больших и важных дел. И ни копий вам, ни репродукций.

Я не виню школьное начальство, ведь и сам-то во многом опоздал. Подлинные экспонаты должны храниться в государственном музее, там они будут защищены значительно надежнее.

Похвальны, конечно, усилия членов историко-краеведческого кружка Утевской средней школы по увековечению памяти своего земляка. Но усилия похвальны, а результат? Собрать в одно место, чтобы потом одним махом все сразу развеять по ветру... Конечно же, здесь сработала подспудно и атеистическая пропаганда, ведь учитель однозначно должен быть у нас неверующим, а тут заниматься с ребятами «иконописцем», «богомазом»? Непрестижно все это было, непонятно официальным властям. А представить Г. Журавлева без его икон невозможно.

Напрасно я пытался отыскать хоть что-то похожее на опись того, что хранилось в музее и что было передано в него после смерти Кузьмы Емельяновича. Этого нет. Более того, меня повергло в уныние, когда я узнал, что громадные залежи переписки основателя музея с земляками, выпускниками школы, организациями районного, областного и союзного масштаба были просто выброшены как ненужные. Человек около тридцати лет вел интенсивную переписку по сбору краеведческих материалов, собирал имена знаменитых земляков. И все пущено по ветру. Выходит, напрасно целые поколения школьных краеведов трудились над сбором материалов. Ребята давно выросли. Другие теперь заботы у Любы Распутиной, Вали Коротковой, Лены Подусовой, Лены Бакановой – бывших активистов краеведческого музея. Я представляю их состояние, когда они, придя в школу, вместо музея увидят только то, что от него осталось, и то, что я сейчас держу в руках: тоненькую чиновничью папку с неживыми листочками.

Кого обвинить в содеянном? Кузьма Емельянович, я, Ваш земляк, снимаю шляпу перед Вами за Ваш кропотливый самоотверженный труд. Вы мечтали открыть музей в левой половине дома, где жил Григорий. И не успели этого сделать. А ведь это идеальный вариант.

Может, нам повезет больше, чем Вам.

«УТЕВСКАЯ МАДОННА»

У этой иконы особая история. В шестидесятых годах я впервые увидел ее фотокопию, сделанную жителем села Утевка, выпускником средней школы В. Игольниковым. Чуть позже увидел и сам оригинал. Мне кажется, душа художника-самоучки более всего проявилась в этой небольшой картине-иконе. Тогда я впервые услышал, как ее называют в народе: «Утевская мадонна».

На иконе небольшого формата изображена крестьянка в белом платке с младенцем на руках. Лицо простое, типично заволжское. Большие темные глаза. На губах чуть наметившаяся улыбка. Все очень обыденное, нет ни тени церковности, но все же она воспринимается как икона.

Насколько я понимаю, на Руси иконы не придумывались иконописцами, они являлись миру, и уже потом эти явления разворачивались рукотворно в искусство, тиражировались и т.д. Эта икона Григорию Журавлеву явилась. Это чувствуется. Уже потом, может, он как художник додумывал детали, но идея святого отношения к женщине-крестьянке — это от природы его.

В этом слиянии канонизированного и простого, осознанно или нет, заложена, как мне показалось, позиция обостренно чувствующей жизнь души. (Надо сказать, что из всех приписываемых кисти Журавлева икон, эта единственная такого рода.)

...Весной 1991 года я со съемочной группой самарского телевидения, окрыленный возможностью наконец-то запечатлеть эту икону и владелицу ее на пленку (мы готовились сделать небольшую телепередачу о Журавлеве), постучал в слабенькую калиточку дома номер восемнадцать по улице Чапаевской. Из дома вышла такая же слабенькая, как калиточка со скрипучим голосом, пожилая женщина — Таисия Ивановна Подлипнова, моя бывшая школьная учительница математики, оказавшаяся дальней родственницей владелицы иконы — Подусовой Александры Михайловны.

Я вновь внутренне воодушевился. Мне везет, уж моя-то учительница даст нам рассмотреть все подробнее и снять на пленку. Но все оказалось сложнее. Нам вежливо ответили на наше приветствие, выслушали на пороге дома и сказали, что надо посоветоваться с другим родственником, который приехал из Самары и гостит сейчас у них. Вышедший во двор пожилой мужчина тут же заявил, что Александра Михайловна больна и в дом он никого не пустит. Вынести икону во двор, чтобы мы могли ее посмотреть, он также отказался. По всему видно было, что здесь последнее слово за ним. Мы сделали несколько попыток выяснить, когда можно будет посмотреть икону, но все было безуспешно.

Помню отчаянную горечь в душе: я привез за сто верст съемочную группу, знаю, что многие утевцы очень хотят посмотреть эту икону, и ничего не могу сделать.

Мы тогда уехали ни с чем.

И вот 23 февраля 1992 года, я вновь у знакомой калитки. Меня манит этот дом, я не могу, приезжая в свое родное село Утевка, не думать о Журавлеве и о его «Мадонне».

Я пришел с тайной надеждой, что одного да еще в праздник меня встретят более приветливо. Не калитку, а дверь открыла незнакомая старушка, пригласила в дом. В доме еще двое обитателей: достаточно молодой человек и пожилой с приветливым лицом мужчина. Через минуту все становится понятным. И я чувствую себя провалившимся в прорубь. Досадно!..

Оказывается, полгода назад Подусова Александра Михайловна умерла, чуть позже умерла Подлипнова Таисия Ивановна. Встретившие меня приветливые люди – новые жильцы дома.

Упавшим голосом спрашиваю, не знают ли они судьбу двух икон Журавлева, которые были в этом доме, в том числе и «Мадонны».

Да, знают. Все иконы забрал родственник из Самары, но адреса его у них нет... Потихоньку затеялся разговор обо всем понемножку. Старушку зовут Елена Тимофеевна Мальцева, ей восемьдесят лет, она певчая церковного хора Троицкого храма, пожилой мужчина – ее сын, а вот младший из семьи, внук – псаломщик, Александр Евгеньевич Мальцев, служит в Троицком храме. Они приехали из Ташкента, где он и его бабушка служили в церкви Александра Невского. Пригласил их в Утевку настоятель Троицкого храма отец Анатолий.

Спрашиваю, не скучно ли после большого города в провинции жить?

Светлея лицом, старушка отвечает:

– А почему должно быть скучно? Я родилась и жила долго в тутошних местах, в Зуевке. Не стало здесь церковей, подалась по белу свету – а теперь у нас и родина есть, и храм.

Нескучно, как я понял, и мужчинам.

Я успел, пока сидел у них в горенке, обогреться и телом, и душой, настолько все было пристойно и приветливо. А заодно и прошел маленький ликбез о Боге и вере перед ликами святых, глядевших на меня со стен такой низенькой, но светлой избенки.

Когда, прощаясь, поблагодарил за прием, псаломщик сказал в ответ на мое «спасибо»:

– Во имя Бога.

Какая-то волна прошла в душе.

Странно было. Я в который раз потерпел неудачу в своих поисках, но не было горечи, не было и обиды на мою учительницу математики. Было такое ощущение, когда я вышел на улицу, что я люблю весь мир, всех людей такими, какие они есть.

Шагая по морозному снегу, я размышлял: кто же все-таки Григорий Журавлев? Что в нем главное? Он живописец. Житель и уроженец села Утевка. А поскольку иконопись у нас в стране стала страницей истории, живописи вообще, то уникальный случай с Журавлевым должен быть интересен не только его землякам, а далеко за пределами села. Ведь, кроме всего, Григорий Журавлев – это явление не только в иконописи, но и в истории Самарского края и России.

Закономерно, что ноги сами привели меня в дом отца Анатолия. И вот мы уже сидим за столом и ведем беседу.

...Оказывается, отец Анатолий побывал у владелицы иконы Подусовой Александры Михайловны. Видел «Утевскую мадонну». Александра Михайловна говорила, что очень любит икону и бережет ее как семейную реликвию и никогда ее из дома выносить не давала. Хорошо помнила, как он принял заказ на икону, как привозили Григория Журавлева к ним в дом, как его внесли и посадили за стол. Ребятку выгнали на улицу, но она видела, как взрослые сидели за столом, разговаривали. Ей было тогда лет шесть, то есть это происходило в самом начале века... Запомнила, как он забавно пил из стакана, беря его одними зубами!

Вот пока и вся история «Мадонны». Пока.

Я думаю, у нее будет продолжение...

ДОМ ЖУРАВЛЕВЫХ

«Не в меньшей мере благородно поступил и Филипп Афанасьевич Гришаев. Дело в том, что он в 1928 году купил дом в селе Утевка (Самарская улица), в котором жил и трудился до последних дней своей жизни Григорий Николаевич Журавлев. Вместе с домом перешла в собственность Гришаева и икона работы Григория Николаевича. В беседе со мной Филипп Николаевич сказал, что икону с большим желанием отдаст в краеведческий музей. Более того, он заявил, что ту половину своего дома, в которой жил и трудился Г. Журавлев, согласен отдать под музей краеведения».

Это выдержка из статьи К.Е.Данилова, напечатанной в районной газете «Ленинский луч» 10 июля 1966 года, когда в самом разгаре была работа по сбору материалов о Г. Журавлеве.

Захотелось побывать в доме, где жил художник и откуда его провожали в последний путь.

...Стоит себе обычный для утевских улиц пятистенный дом на Самарской улице под номером восемнадцать. Смотрит на улицу своими пятью окнами. Рядом, через дорогу, наискосок, Троицкий храм возвышается величаво огромным сказочным шлемом древнего русича. Захожу в дом, здороваюсь: нынешний хозяин его, старик Бокарев Николай Андреевич приветливо подает руку. Мы не знакомы, но когда называю своего деда и отца, враз меня узнает. В деревне так: вместо визитной карточки – имя твоего деда, либо кого из родственников постарше.

Дом крепкий, деревянный. Внутри разделен на две половины. Правая несколько больше – в три окна, левая – в два. В этой левой и жил художник, в правой – его брат Афанасий Николаевич. Светло. Солнечно. На стене фотографии. На одной хозяин. Охотно говорит о Журавлеве, но знает все через третьи руки. Сменилось несколько хозяев, и ничего ни в комнате, ни на «подловке», ни в подвалах из личных вещей Журавлевых нет.

– А откуда, – спрашиваю, – знаете, кто где жил?

– Да как старик Корнев говорил, он его знал близко.

Удивительное дело происходит, когда собираешь о чем-либо материал в селах. Можно годами искать и не находить желаемое, а можно, споткнувшись о неожиданную фразу, сразу оказаться счастливым...

Далее я уже не мог быть спокойным. Попрошавшись, в сопровождении сына Бокаревых шел вдоль домов все по той же Самарской улице. И, наконец, вот он, дом Корнева.

В ГОСТЯХ У СТАРИКА КОРНЕВА

Это второй после моего деда Рябцева Ивана Дмитриевича человек, который видел, общался с Григорием Журавлевым и с которым мне довелось не спеша поговорить. Всю нашу беседу (она длилась около часа) я записал на магнитофонную пленку и сейчас попытаюсь в этой главке дать основное. Может, это будет несколько непоследовательно, но я сохранил рассказ без особой обработки. Если же читатель захочет послушать и голос рассказчика, и все, что не попадет в эту главку, то пленка хранится в моем домашнем архиве, среди самых дорогих для меня вещей.

Мне нравится голос неутомленного жизнью девяностолетнего старика. Кстати, он не заметил и не понял, что я включил магнитофон, только потом мы вместе послушали запись, которая ему понравилась.

У меня была с собой фотография обоих Журавлевых: Григория и его брата Афанасия. Афанасий сидит на стуле, Григорий стоит рядом, на своих култышках вместо ног. Темная рубашка достает почти до пола. Сидящему своему брату Григорий, стоя, достает головой едва до пере-носицы. Но от фигуры художника, от взгляда, всей его позы исходит такое ощущение физической мощи и воли, что сразу вспоминаешь богатырский облик храма Святой Троицы и удивляешься их похожести.

Я молча показал фотографию Николаю Федоровичу, он с ходу назвал обоих по имени-отчеству.

— Он легонький был, маленький, его принесут мужики в церковь, он сидит и зорко на всех посматривает.

— А сколько вам было лет, когда Григорий помер?

— Я с тысяча девятьсот первого года, вот считай, а он умер в тысяча девятьсот шестнадцатом. Похоронили его около церкви в ограде. Там могила была. В ней уже были похоронены двое: церковный староста Ион Тимофеевич Богомолов и священник Владимир Дмитриевич Люстрицкий. Могилу разрыли и установили третий гроб.

— Большой гроб был?

— Да нет, короткий гробик, но широкий и высокий.

— Николай Федорович, а вы сами видели, как он рисовал?

Старик опускается на колени перед стулом и поясняет:

— А вот так и рисовал. Стоял на полу перед маленьким особым столиком, держа кисть в зубах.

— Как же он обучался?

— Вначале земский учитель Троицкий помогал. В Самаре художник Травкин. Мало ли добрых людей. Потом сам.

— Он рисовал красками?

— И красками, и углем. И писал всякие письма и прошения по просьбе сельчан, поэтому у него часто в избе кто-нибудь да бывал, приветливый был человек.

— Ну, а как вот с бытом его, кто за ним ухаживал?

— Да ведь вначале матушка его, а потом до самой смерти — его брат Афанасий, он был искусный чеканщик. И в церковь, и на базар, и в баню, и на рыбалку, все он — брательник его возил.

— А на чем возил его брательник?

— Были у него лошадь-бегунок и тарантас, ему дал это самарский губернатор после того, как Григорий был у царя.

– Он был у царя?! Точно?

– Так говорили, и я слышал, а вот утверждать не буду. Народ лучше знает. Дали упряжь, тарантас, лошадь и пожизненную пенсию. Хороший был мужик, Григорий. Его все любили.

– А за что любили?

– Веселый был, шутить умел, поэтому мужики, особенно певчие, рады были его брать с собой. Часто его уносили и приносили на руках. Раза два мы, пацаны, на Рождество ходили к нему славить. Интересный был мужик. Взяв в зубы пастуший кнут, размахивался и хлопал им с оглушительным свистом. Умел красиво, мастерски расписываться.

– Николай Федорович, а как хоронили художника, с почестями либо кое-как?

– Что ты, мил человек, с уважением, с попами. Его все почитали. Я сам не знаю, но говорили тогда, что он помогал строить церковь, расписывал ее. Уважаемый человек.

– Кому помешала церковь, – спрашиваю, – коли ее начали ломать, а иконы и роспись почти что уничтожили совсем?

– Кому, кому? Время такое было. Мешала, видать, красота вершить несправедное. Укоряла молча. Ее и того... в распыл, значит, за это.

От Николая Федоровича я впервые услышал, что в селе Утевка было две церкви: храм Святой Троицы, построенный в конце восьмидесятых годов прошлого века, и более старый, Дмитриевский храм, на месте которого затем возвели деревянное здание районного дома культуры (его сейчас уже нет). Около него был большой базар. Все село было разбито на два прихода. Оказывается, тот край села, который примыкает к реке Самарке, славен был богатыми купцами, торговавшими зерном. А доставляли зерно по реке Самарке на баржах. Сам старик Корнев несколько раз ходил этим маршрутом.

Припомнил он и такой эпизод: лопнул колокол в храме, заказали новый и везли его от станции Грачевка до поселка Красная Самарка на лошадях. Колокол весил двести пятьдесят два пуда двенадцать фунтов, другой поменьше – восемьдесят пудов.

Я, было, высказал сомнение по поводу веса колоколов, но старик уверенно его отклонил. От поселка Красная Самарка несли на руках. Вручную поднимали на колокольню. Желавших ударить в колокол было много, и каждый, кому посчастливилось это сделать, тут же жертвовал деньги. Звон новых колоколов слышен был в окрестных селах Бариновке, Покровке.

– Что двигало, – спрашиваю, – людей на такие труды?

Ответ последовал такой, каким я его ожидал:

– Вера!

...Конечно, можно предположить, что вокруг имени Григория Журавлева сложилось много легенд, и здесь надо все внимательно отбирать. Но не могу не привести выдержки из документа, подписанного К. Е. Даниловым в июле 1975 года. Оставляю, впрочем, и за собой право поиска более убедительных подтверждений изложенных фактов.

Вот они эти выдержки:

«О необыкновенном художнике стало известно царствующей фамилии дома Романовых. В этой связи Григорий Николаевич был приглашен Николаем Вторым во дворец...

Николай Второй пожизненно назначил пенсию в размере двадцати пяти рублей в месяц и приказал Самарскому генерал-губернатору выдать Журавлеву иноходца с летним и зимним выездами.

В последней четверти века (1885-1892) в селе Утевка по чертежам и под непосредственным руководством Журавлева была построена церковь, а также по его эскизам была произведена вся внутренняя роспись.

На пятьдесят восьмом году своей жизни Григорий Николаевич Журавлев скончался от скоротечной чахотки и по разрешению епископа Михаила Самарской епархии похоронен в ограде церкви, которая явилась его детищем».

...Бытует легенда (ее мне рассказывали несколько человек), что по пути из Петербурга, где он писал групповой портрет царской семьи, Григорий Николаевич попал к циркачам и ездил с ними полгода по России. Его показывали публике как диковинку. Еле от них вырвался.

ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ

В разное время в газетах мелькали сенсационные для рядового читателя сведения о художнике-самоучке. По сути, они повторяли одно и то же. С одной стороны, это объясняется тем, что краеведы мало что до настоящего времени находили нового, с другой – большим и естественным желанием новых людей, которые впервые близко прикоснулись к судьбе Григория Журавлева, обнародовать, закрепить в газетной строке хотя бы то, что есть. Отсюда и перепевы.

Я не претендую на первооткрывательство, поэтому перечислю газетные статьи.

Очевидно, можно думать, что одной из первых публикаций в советское время была заметка в нефтегорской районной газете «Ленинский луч» от 25 мая 1966 года под названием «Письма из Югославии». Затем

последовали: «Крупницы большого таланта» в той же газете от 10 июля 1966 года К.Данилова, «Григорий Журавлев – живописец из Утевки» А. Праздникова в областной газете «Волжская коммуна» от 5 февраля 1987 года и, наконец, «Забытое имя» Р. Чумаш в «Волжской коммуне» от 17 октября 1987 года. Номера этих газет сохранились в моем домашнем архиве. Была еще одна публикация, может быть, вообще самая первая, в газете «Литературная Россия». Я ее читал лично в присутствии К. Данилова у него дома, разбирая его архив, видимо, где-то в начале 1966 года. Этого номера потом я не нашел.

Впрочем, и за границей, в Белграде, издающийся на материалах агентства печати «Новости» журнал «Земля Советов» опубликовал статью...

Я пишу эти заметки и ловлю себя на тайной мысли, что вот где-нибудь подрастает молодой человек, в котором загорится искра и ему, более усердному и удачливому, предстоит сделать больше, чем нам... Как сказал великий поэт: «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется».

ЗАБОТЫ ОТЦА АНАТОЛИЯ

Он оказался очень молодым человеком, отец Анатолий (в миру Анатолий Павлович Копач). В первый день, когда мы познакомились, я его видел на богослужении и в светской одежде на строительной площадке. В храме работал только маленький придел с иконостасом, собранным с миру по нитке. Несколько икон были возвращены из села Мало-Мальшевки, куда они попали после закрытия утевского храма. Кстати, в церкви Мало-Мальшевки в военное лихолетье и я был крещен. Отец Анатолий назвал ряд икон, находящихся в иконостасе Троицкого храма, которые могут принадлежать кисти Журавлева, сделав оговорку, что в написании некоторых из них и росписи на стенах храма ему могли помогать его ученики: у Журавлева их было двое. Это икона «Господь Саваоф». Ее принесла какая-то старушка и, не сказавшись, оставила в храме. Икона «Жены Мироносицы», привезенная из села Мало-Мальшевка, а также иконы «Крещение Господне» и «Воскресение Христово». Еще икона «Царь Давид» с изображением псалмопевца Давида с арфой в руках, ее подарил когда-то школьному музею Владимир Борисович Якимец, житель Утевки, утверждавший, что она написана Журавлевым, и икона «Спаситель Благословляющий», которую подарила Мария Пестименина, правнучка Иона Богомолова – попечителя храма, захороненного слева от Григория Журавлева.

Они лежат рядом – заказчик и исполнитель иконы. Храм строился двадцать лет. Иона Тимофеевич Богомолов, прадед Марии Емельяновны Пестимениной (с ней меня познакомил отец Анатолий), был его попечителем. Он умер в 1915 году, через год – Григорий Журавлев. Семью Марии Емельяновны раскулачили, и она долго жила на чужбине. Но место захоронения своего прадеда помнила хорошо. Она и указала нам место захоронения и прадеда, и иконописца Григория Журавлева.

Это она разрешила мне порыться в жалких остатках, должно быть богатого материала, который когда-то собирал К. С. Данилов.

Я сидел около раскрытого сундука с пожелтевшими бумагами, перебирал их, а она рассказывала спокойно и отрешенно как их раскулачивали и высылали из Утевки.

Но потом вдруг спохватилась, словно боясь, что второй такой встречи у нас уже не будет и позвала на улицу, к Храму. И там вновь мы оказывались на месте, пока еще никак не обозначенном, захоронения художника и попечителя.

– Ты знаешь, сынок, ведь когда закрывали церковь, иконы со стен срывали баграми, и большинство увезли никто не знает куда. Икону «Спаситель Благословляющий» Григорий писал по просьбе моего прадеда, народ ее сохранил.

Она помолчала, и, пристально посмотрев на меня, спокойно сказала:

– А ведь людей, которые баграми срывали красоту, святых наших, я их знаю. Они живы и сейчас. Прошлый раз на вечере в клубе в президиуме сидела одна старушка из Самары, как ветерана пригласили, а ведь она была комсомолкой и орудовала тогда в храме с такими же. Хотела я к ней подойти спросить, чего же это она делала тогда и как она теперь так живет да подумала: Бог ей судья.

Позже, уже в доме, священник за чаем рассказывал, что храм был закрыт в 1934 году. Отца Гавриила пытались брать несколько раз, но каждый раз звонарь при подъезде «воронка» успевал дать призывный звон, и народ вставал на защиту священника. В конце концов, веревки звонарю обрезали. Отца Гавриила забрали. Старый храм сломали и сделали гараж. Новый же храм намеревались взорвать, разрушили верхнюю часть колокольни, но дальше почему-то отступили, ломать не стали. Не осталось и следов от церковной ограды, от колодца. Когда храм превратили в склад, тут уж красота не выдержала, роспись стала осыпаться и большей частью пропала совсем.

– Собираемся восстанавливать церковную ограду, могилу Григория Журавлева, – говорит отец Анатолий. – Обычно в храмах при строитель-

стве предусматриваются подвалы, где хранятся иконы, возможно, большая часть при закрытии храма была спрятана там. Я разговаривал с прихожанами: они говорят, что их родители свято верили, что все вернется на круги своя, но о подвале знали только два-три человека, так что и подвал и могилу теперь будем пытаться искать специальными неразрушающими методами, здесь нужна техническая помощь.

У него много забот: он депутат районного совета, ездит по району, старается как можно ближе быть к прихожанам. Его здесь любят.

У храма нет пока никаких подсобных помещений. Нет сносного освещения вокруг него. Но здесь уже свой хор певчих, часть из которых приезжает из села Бариновка.

На прошлой неделе я попал в храм в родительскую субботу, когда поминают усопших. Поминали и Журавлевых.

«У Бога все живы», — так меня поучали богомольные старушки.

«Как приду в церковь, поставлю свечку, помяну своих и — праздник на душе».

Моя матушка, Екатерина Ивановна Шадрина тоже зачастила в храм.

— В душе что-то по-новому ворохнулось, — говорит она, светлея лицом.

«А я и помянуть не могу своего внука-афганца, не крещеный он, не Богов, значит, и — ничей», — услышал я на выходе из храма.

Какой политбеседой ответишь на это?

Спрашиваю отца Анатолия, как он относится к художнику Журавлеву.

— Иконопись — это служение Христу. Он не закопал свой талант, а оживотворил его и принес на службу своему народу. Люди помнят это. Не скудеет рука дающего, ибо она будет возблагодарена.

Чувствуется, молодой священник много читал, многое видит по своему. Невольно сравнивая его со светскими сверстниками, натываюсь на мысль, что дремучее невежество наше в религиозных и экологических знаниях — это две составляющие того провала, который ведет нас к уродству души и тела.

Во время нашего разговора раздался телефонный звонок: отца Анатолия вместе с женой Ольгой приглашали в гости знакомые.

На мой вопросительный взгляд ответил:

— Пастырь, не знающий свой народ, — не пастырь.

Он считает, что в общении с людьми идет взаимоочищение. Горько переживает, что молодежь погрязла в мате, скверне и прочих грехах. Разучилась деревня нормально разговаривать.

— Апостол послал своих учеников в дома прихожан, и если Вас приняли, то способствуйте соединению с Богом.

Уже на ходу вспоминает, что времени остается мало, а он обещал к концу недели статью в районную газету. Очень озабочен, что запущено в селе кладбище. Кладбище – тоже сфера забот церкви. А на столе у него лежат листочки с эскизами памятника Григорию Журавлеву, которые нам предстоит обсудить.

Качимова Мария Федоровна, певчая из хора, рассказывала мне, что отец Анатолий в телогрейке на морозе освобождал забитые досками окна храма. Горы мусора, вывезенные с того места, где сейчас иконостас, тоже дело его рук. Конечно, пастырю сейчас трудно. Ему приходится самому заниматься стройкой и становлением храма.

Я смотрел на прихожан в храме и думал: но ведь это одиночки, их мало, мало верующих осталось, а из тех, кто приходит сюда, много просто любопытных, неверующих. Какой же путь надо преодолеть отцу Анатолию, чтобы восстановить разлад между Богом и моими односельчанами, и что будет с нами со всеми? Ведь сказал же Пушкин, которого я почему-то считал большим безбожником, что религия создала в этом мире искусство и поэзию, все великое и прекрасное. Но если это так и если не будет у религии будущего, что будет с искусством, со всеми нами?..

КОСТРЫ ПОСРЕДИНЕ СЕЛА

Мой крестный, полковник в отставке, бывший военный летчик Василий Дмитриевич Лобачев, живущий сейчас во Владимире, узнал, что я собираю материал о нашем селе, и тут же откликнулся.

Удивительны воспоминания человека образованного, пытливого, остро чувствующего время и себя в нем.

Его маленькие истории мне очень дороги еще и потому, что действующие лица в них либо мои родственники, либо хорошие знакомые, и все они освещены особым светом того сложного времени. Вот они эти маленькие кусочки нашей общей жизни, увиденные семилетним утесским мальчиком:

«Наша церковь разрушалась долго. Она как бы сопротивлялась людям, потерявшим разум. Связка между кирпичами была намного прочнее самого кирпича. Для того чтобы получить один целый кирпич, три-четыре надо было разбить.

Особенно долго не могли свалить колокольню. Хотели взорвать, но хватило ума этого не делать. Вначале долго горели костры, уничтожавшие деревянные опоры внутри кирпичной кладки. Потом привязали веревки к верхней части колокольни, попытались ее свалить. Я с ужасом

ожидал, что мужиков, тянувших веревки, накажет Бог и они провалятся сквозь землю. Но этого не случилось.

Церковь обрушилась в другую сторону, когда подгорели столбы, выбросив из себя, как последний выдох, с синеватым облачком, пламя.

Как и почему это случилось? Ведь люди разрушали самое красивое, святое место в своем селе?

Сказать, что кто-то виноват только со стороны — не могу, ведь этому кощунству предшествовал опрос граждан. Заходили с тетрадями в каждый дом и под роспись прихожан спрашивали мнение о судьбе церкви.

Ну ладно председатели, бригадиры, коммунисты могли нести ответственность за свое мнение, но рядовые-то колхозники чем рисковали? Я точно знаю, что моя мать высказала мнение «против разрушения». Мнение отца мне неизвестно. Ничего же с моей мамой не сделали. Дорогие мои земляки должны винить и себя в содеянном.

...А вокруг церкви была хорошая такая ограда, часовня, ухоженные могилы, просвирня, колодец с замечательной водой. Лучше вода для чая в то время была только в Самарке.

...Весной 1934 года мой отец готовил ульи для колхозной пасеки. Однажды ему вместо досок привезли целую подводу икон из нашей церкви. Это событие, конечно, стало известно жителям села, которые стали собираться в нашем дворе. Сокрушались, плакали. Какой грех! Но как раздать иконы? Могут посчитать врагом советской власти. Воинствующий атеизм набрал большую силу. Что делать? Отец принимает решение: с просьбой не давать этому огласку, раздает иконы, как бы взамен досок, по площади равных иконе. Таким образом, ни одной иконы из привезенных не погибло. Все разошлось по жителям села Утевки. Конечно, это были не все иконы. Поговаривали тогда, что предварительно их просматривали специалисты и наиболее ценные увезли в Самару. Одна икона была у нас в переднем углу. Потом ее отдали кому-то из родственников.

Мне в то время было семь лет. Я все отчетливо помню. Никто тогда отца не предал».

Эти строчки не нуждаются в комментариях.

Все сурово и просто, как сама тогдашняя жизнь.

РАДОСТНАЯ ВСТРЕЧА

«Уважаемый Александр Станиславович, получил материалы о Вашем земляке-иконописце Журавлеве. Спасибо. Я передам эти материалы в

Церковно-археологический кабинет. Прочел все, что Вы любезно прислали в письме, а также Вашу книгу.

Со страниц всего мною прочитанного сквозит неподдельный интерес и любовь к художнику-калеке.

В нашем ЦАКе действительно находится икона кисти Григория Журавлева. На иконе изображен святой Лев – папа римский.

Размер иконы 35,4х28 см. На тыльной стороне доски надпись: «Сию икону писалъ зубами крест. Григорий Журавлевъ Самарской губ. Бузулукского уезда с. Утевки июля 30.1892 года».

...С пожеланиями Вам творческих успехов и уважением

Протоирей Николай Резухин.»

Я прочитал это письмо и вновь мне вспомнилась моя удивительная поездка.

Читатель, очевидно, помнит, что отец Анатолий как-то обмолвился, что видел одну из икон Григория Журавлева в Церковно-археологическом кабинете (ЦАК) в Сергиевом Посаде. Вот это обстоятельство мне и захотелось уточнить прошлым летом.

...Я сошел с электрички и, влекомый общим движением людей, пошел почти что наугад, полагая, что не придется долго идти.

Так оно и оказалось. Минут через пять ходу я вышел из стареньких улиц на простор и увидел Его.

Город лежал чуть ниже, передо мною – златоглавый и величественный.

С этой минуты я уже не замечал, казалось, бытовых деталей вокруг – меня манил сказочный город-крепость.

Но надо было как-то ориентироваться, ведь я приехал просто наудачу.

Две идущие впереди монашки, к которым я обратился, оказались неожиданно разговорчивыми и добрыми. На мой наивный вопрос, смогу ли я попасть в город и посмотреть его, одна из них, высокая и светлая лицом, хихикнула задорно и ответила:

– Тысячи людей попадают в город, почему Вам не попасть, смотрите какой поток народу туда и обратно льется!

Действительно, мой первый вопрос был явно не совсем удачным. Но у меня был второй, для меня настолько важный, что я не мог задать его с ходу, боясь встретить равнодушие и отрицательный ответ.

Я все-таки собрался с духом:

– А Вы слышали что-либо об иконах, хранящихся в ЦАКе, написанных безруким художником Журавлевым?

Та, что пониже, сразу ответила, что нет, о таком не слыхала.

Высокая, которую, как потом я узнал, зовут Олей, тут же скороговоркой зашепила:

— Слышала и видела, я не знаю имени художника, но картину видела, видела. Она в кабинете висит одна всего.

— А как мне попасть туда?

— Да идите с нами к Царским чертогам, а там разберетесь сами.

Так я оказался в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.

Монашки на территории Лавры как-то спешно отделились от меня, сказав, чтобы я спросил любого семинариста Духовной Академии и мне помогут.

Я так и поступил. Стоящие у входа в Академию молодые люди тут же ответили, что без протоиерея Николая Резухина я не смогу ничего увидеть, сегодня ЦАК не работает, а у протоиерея какая-то серьезная делегация вне плана и его не поймать.

Мои планы рушились, ибо мне надо было вечером быть в Москве, — в кармане лежал билет на поезд до Самары. Очевидно, как-то угадав мое отчаянное состояние, один из студентов приблизился ко мне и вполголоса проговорил, озорно сверкнув глазами.

— Мы его изловим, я знаю, где он — идите за мной.

Так мы и поступили.

Протоиерей Николай Резухин — помощник ректора Московской Духовной Академии и семинарии по представительской работе, заведующий ЦАК, депутат местного городского совета — оказался очень занятым человеком. Невысокого роста, в обычной светской одежде, с рыжеватой бородкой, быстрый в движениях, он был похож на доцента с институтской кафедры.

Не останавливаясь, на ходу выслушав мои сбивчивые извинения и просьбы, он, глядя на меня цепкими и колючими глазами, назидательно сказал, что времени у него нет для того, чтобы сегодня поговорить со мной. Казалось, все рушится.

И тут мне внезапно пришел на ум еще один довод, который я тут же и использовал:

— Вы понимаете, Журавлев мой земляк, мы с ним из одного села, я неделю назад был в его доме — ходил по его комнате. Понимаете мои чувства?

Мой собеседник все понял.

— Ну, если так, посидите вон там где-нибудь в скверике, часа через два-три я, может быть, Вас найду.

И ушел.

Что мне оставалось делать?

Боясь потерять возможность встречи с протоиереем, я решил неотлучно два-три часа просидеть на скамейке под липами у Троицкого собора.

...Я сидел в тени старинных цветущих лип и пытался разобраться в своих чувствах.

Кругом была изумрудная свежая зелень, аромат сирени в воздухе, группы туристов, слушатели Академии. Звучала русская и нерусская речь. Звонили колокола.

И мне на какой-то миг показалось, что моя мечта – найти и посмотреть икону Журавлева – несбыточна, что грандиозность соборов, монументальность всего и официоз отделили художника и его иконы от меня и моих сельчан, что здесь не до него и не до меня. Настолько микроскопичен человек перед этой беспредельной вечностью, осевшей на куполах соборов.

Оказалось, что я ошибся. Меня тихо позвал совсем молодой человек, сказавшись, что он от отца Николая. Мой новый знакомый оказался студентом Московской Духовной Академии. Назвался он – брат Тимофей, и мы направились в ЦАК.

Пока кто-то ходил за ключами, из рассказа моего гида я узнал, что Церковно-археологический кабинет расположен в Царских Чертогах, одном из интереснейших сооружений восьмидесятых годов XVII века в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, что Чертоги – целая вежа в истории Московской архитектуры. До того обычно дворцы являли собой сложные по планировке постройки, живописные и причудливые. Чертоги же отличаются строгим единым объемом, они-то и определили в последующем развитие Московской архитектуры в сторону «регулярности». ЦАК расположен на втором парадном этаже, создан по благословению Святейшего Патриарха Алексия в 1950 году при кафедре Церковной археологии. Экспозиция кабинета размещена в исторической последовательности.

Принесли ключи. И вот она – комната с экспозицией, посвященной работам русских художников XVIII-XX веков. Первое, что бросается в глаза, – картина В. И. Сурикова на сюжет из IX главы Евангелия от Иоанна «Исцеление слепорожденного». Тут же картина А. П. Рябушкина «Благословляющий Христос Спаситель», этюды В. М. Васнецова «Богоматерь с младенцем Христом», М. В. Нестерова «Портрет священника», В. Д. Поленова «Христос Спаситель» и многие другие. И, наконец, она – цель моей поездки.

На этом стенде восемнадцать икон в четыре ряда.

В верхнем правом углу вторая справа – икона Григория Журавлева «Святой Лев – папа римский».

Изображение выполнено на доске. Мягкий коричневый цвет и бледно-розово-голубые тона на нежном сером фоне. Икона не теряется в ряду работ знаменитых авторов, более того, она не отпускает от себя и притягивает своей проникновенностью и тонким лиризмом.

Икона основательно прикреплена к стене. Поэтому я не мог осмотреть обратную сторону ее. Но брат Тимофей заверил, что как только время позволит, либо он, либо отец Николай икону снимут и текст, который там есть, перепишут и пришлют мне в письме.

Внезапно появился отец Николай уже в церковной одежде, – с внеплановой экскурсией. Я видел, с каким неподдельным интересом люди смотрели на икону Журавлева, так же, как и я, по несколько раз возвращаясь к ней взглядом.

Огорчило одно: очевидная скудность информации, которой владели в кабинете. Насколько мог, я постарался восполнить это, передав некоторые подробности из биографии художника, а также его фотографии.

...Освободившийся наконец протоиерей Николай Резухин пригласил меня к себе, и я увидел и услышал живого, очень обаятельного человека.

В довершении всего, узнав, что я вечером еду в Самару, меня накормили в студенческой столовой при Академии и, прощаясь, мы обменялись адресами, обещая сообщать друг другу о новых находках, которые будут касаться моего земляка-художника.

Не хотелось уходить. Вместе с братом Тимофеем я побывал на прощанье на молебне и поставил свечи за упокой души всех своих умерших ближайших родственников, которых помнил, поименно записав их имена на бумаге. И отчего-то, когда вышел из монастырских стен и шел к электричке, все казалось мне, что кто-то – то ли помянутые мною родственники из своего далекого далека, то ли чей-то иконный лик, большой и невидимый, – освещал мне путь добрым и теплым светом...

...И за все это, за радостную встречу, приблизившую меня к моим предкам и ко всему русскому, я был благодарен земляку Григорию Журавлеву, заставившему по-новому взглянуть в гулкое наше прошлое.

«МНЕ ПОВЕЗЛО ПРИКОСНУТЬСЯ...»

Сразу после опубликования моих заметок «Утевские находки» в областной газете «Волжская коммуна» в сентябре 1992 года, где было помещено несколько найденных мной уникальных фотографий, я начал получать письма от знакомых и незнакомых людей. Люди искренне пытались

помочь в поиске важных для меня сведений либо просто размышляли над нашим прошлым и будущим.

Мимо судьбы Григория Журавлева нельзя пройти равнодушно. Вот выдержки только из одного письма художника-оформителя Николая Ивановича Колесника (это письмо интересно хотя бы уже тем, что свое мнение высказывает художник):

«Григорий Журавлев по своей профессии близок мне. Я понимаю, что видеть краски, чувствовать пространство, уметь создать образ – это не все. Необходимо еще умело владеть кистью. Художник-иконописец, преодолевая недуг, отыскал силы, чтобы развить в себе талант, которому суждено остаться в веках. Ведь эти иконы воистину нерукотворные.

Да вот беда наша в том, что мы порой проходим мимо таких человеческих судеб. Этому еще раз свидетельствует случай с сельским музеем, который, видимо, имеет свои корни в разрушительной стихии, направленной против христианских святынь еще тех далеких послеоктябрьских лет. Я один из тех, кто видел фотографию Григория Журавлева. Первое, что идет на ум: сила духа этого человека, очевидно, была так сильна, что она превозмогла все. Трудно сказать, что стояло на первом месте – борьба за существование или потребность выразить себя. Но его иконы написаны с большим старанием и умением. Об этом говорит фотография иконы «Утевская мадонна». Я решил сделать копию ее, пользуясь фотографией, но это оказалось не так-то просто. Сразу почувствовал, что написана она мастером высокого класса. По нескольку раз я принимался за эту работу и все не находил нужных оттенков. Порой ловил себя на мысли, что эта работа мне просто непосильна. И какова была моя радость, когда не без участия коллег по работе копия картины была вставлена в багетовую рамку и предстала на суд зрителей, которые узнавали из моего рассказа, кто автор подлинника и какова его судьба. Я был счастлив. Я чувствовал, что мне повезло прикоснуться к чему-то очень большому и вечному.

Таков он – Ваш земляк, Григорий Журавлев.

Знаете, у меня есть свои так называемые «настольные книги». Они порой бывают в нескольких томах, а порой – небольшой книжечкой или газетной полосой.

Для меня материал о Журавлеве выполняет задачу тех больших томов, которые дают возможность черпать силы для творчества».

...Современники Журавлева тоже не были глухи к его таланту. Многие жители Самары и губернии делали заказы на его работы. Теперь (газета «Самарские губернские ведомости», № 1, 1885 г.) известно,

что Самарское земское собрание назначило Журавлеву за его труды пенсию в размере 60 рублей в год. Когда же он написал икону св. Николая Чудотворца и обратился к губернатору тайному советнику Свербееву с просьбой передать икону Его Императорскому Высочеству Государю Наследнику Цесаревичу, его просьба была удовлетворена. Государь Наследник Цесаревич принял икону Григория Николаевича и пожаловал художнику сто рублей.

Талант художника был признан.

Возможно, нам предстоит еще встреча с иконой св. Николая Чудотворца, и мы порадуемся ей, как порадовались, когда предстала перед нами на иконостасе Самарской Петропавловской церкви икона святого князя Александра Невского, писанная Григорием Журавлевым.

ИЗ ПИСЕМ ОТЦУ АНАТОЛИЮ

Разные письма приходят к отцу Анатолию. Пишут и верующие и атеисты. Адрес на таких конвертах простой: «Нефтегорский район, с. Утевка, Православная церковь».

Вот бесхитростные строки одного такого письма о судьбе священника Троицкого храма. Написала их жительница Самары Конькова Анастасия Андреевна:

«Здравствуйте, отец Анатолий! Прочитала я «Утевские находки» в газете «Волжская коммуна» и узнала из них, что судьба отца Гавриила, который был последним священником перед закрытием Троицкого храма, Вам неизвестна. А мне довелось с ней познакомиться. Я ехала в деревню и встретила его свояченицу — Антонину. Она мне и рассказала о его судьбе.

Когда он вышел из заключения, то не мог найти нигде работу. Помер голодной смертью. Антонина жила с дочкой отца Гавриила, у него было их трое: Вера, Надежда, Любовь. Антонина померла пять лет назад.

Так хочется побывать в своем храме. Сердце разрывается. Большое Вам спасибо за описание в газете, я много узнала новостей и радостных и горестных. Рада, что открыли Божий храм. Рада, что позаботились так о Григории Журавлеве. Он это заслужил.

Может, газета попадет дочкам отца Гавриила, они бы все подробно написали. Они ведь где-то в наших местах, в Самаре».

А вот другое письмо. Пишет его Ветчинова Екатерина Иосифовна, дочь Иосифа Семеновича Проживина, по уличному Лубошного, проповедни-

ка, которого забрали прямо в церкви вслед за отцом Гавриилом, осудив на десять лет.

«Он был очень набожный человек, читал проповеди, собирал народ, ездил по всему Утевскому району. Забрали его, забрали все иконы и книги. Посылаю пятьсот рублей, чтобы помянули его за упокой и в праздники Божественные прошу упоминать его имя.

Батюшка, я считаю, что мой отец заслуживает, чтоб его крест был около церкви, за которую он погиб. Ведь мама моя рассказывала, что когда она ездила к нему в Кузнецкую тюрьму, он ей сказал, что ему предложили при всем народе отречься от Бога и тогда его выпустят на свободу. Отец отказался. Вскоре его не стало».

Сколько таких писем еще придет в Утевский храм. А сколько верующих и неверующих не успело написать своего письма священнику.

Вот короткая, но прожигающая душу справка: почти четыреста тысяч священнослужителей с родителями, женами и детьми были в нашей стране уничтожены в период с 1917 по 1924 год.

А сколько покалечено судеб родственников этих погибших.

Какая бухгалтерия в силах это подсчитать?!

Повиниться надо бы перед ними на миру, да как это сделать?..

НЕЗАЖИВАЮЩАЯ РАНА

О том, как я искал эту книгу, можно написать маленькую повесть. Но речь пока не о том... Я с волнением держу в руках небольшую, размером примерно 18x30 см, в хорошем переплете, в зеленой обложке, книгу и не решаюсь открыть ее.

Она издана Самарской государственной думой и выполнена в Самарской губернской типографии в 1894 году. Посвящена созданию храма Спасителя. Книга так и называется «Во имя Христа Спасителя». Кафедральный соборный храм в городе Самаре. В ней сорок семь страниц. Я давно знаю, что там есть упоминание о нашем земляке-художнике, но книга переходила из рук в руки, как и большинство журавлевских икон, оставаясь неуловимой...

И вот, наконец, на двадцать девятой странице читаю:

«...Иконы в иконостасе написаны на цинке в мастерской Сидорского, в Петербурге, а одна, именно икона Св. Алексия митрополита Московского, написана по поручению, в то время бывшего губернатора, А. Д. Свербеева (ныне сенатор) крестьянином села Утевка, Бузулукского уезда, Григорием Журавлевым, лишенным от рождения рук и ног, пишущим иконы, держа кисть в зубах. Словом, с Божию помощью. К задуманному

сроку нижний храм строящегося собора был окончен к 7-го января 1892 года, Преосвященным Владимиром, Епископом Самарским и Ставропольским (ныне Высокопреосвященный Экзарх Грузии, Архиепископ Кахетинский и Карталинский), был торжественно освящен, во имя св. Алексия митрополита Московского, покровителя г. Самары и в годовую день кончины Преосвященного Серафима, над его могилой действительно возносилась бескровная жертва».

Итак, получается, что написать икону покровителя г. Самары св. Алексия митрополита Московского самарский губернатор А. В. Свербеев поручил не Сидорскому в его мастерской, а Журавлеву.

Поскольку храм был освящен в 1892 году, а книга вышла позже, в 1894 году, то становится очевидным, что икона была написана и должна находиться в храме. Так еще раз крылом своего таланта издадека, из прошлого, художник-самоучка коснулся нашей с вами, дорогой читатель, родной истории. Книга посвящена истории строительства в Самаре Кафедрального собора, одного из крупнейших в России.

Меня поразила та неторопливая, основательная манера изложения, которая характерна для книги. Какой материал брали, какой кирпич, бутовый камень, раствор, чей проект и так далее. Все изложено в тексте. Видно, храм строился на века и книга писалась, исходя из того же.

Но вот храма нет, взорвали-таки рассчитанную на вечность красоту, и книга очень долго никому была не нужна. Во всей Утевке один белобородый старец Сергей Илларионович Трегубов (Дятлов) берег ее, и только после смерти его, в сущности, никому не нужная, как щепка на водной стремнине, прибилась у Любы Распутиной. И хорошо. Не пропала.

В книге, которая была написана сразу после возведения храма, на первой странице есть его фотография. Он прекрасен. Нет в нашей Самаре сейчас таких сооружений. С некоторой опаской я мог бы поставить если не в ряд, то хотя бы около, здание любимого мной драматического театра!

Мне показалось интересным проследить судьбу тех людей, которые были вплотную связаны с нашей губернской историей, в данном случае с Кафедральным храмом Самары, хотя это уже за рамками темы, но одна судьба меня поразила. Ее я узнал чуть позже и, конечно, из других источников.

Печальна судьба нашего самарского храма Спасителя. Увы, такой же скорбной судьбы не избежал и Преосвященный Владимир, Епископ Самарский и Ставропольский, который освящал храм в свое время.

Святитель Владимир (в миру Василий Никифорович Богоявленский) родился 1 января 1848 года. Отец его был священник. В 1874 году он окончил Киевскую Духовную Академию и в течение семи лет преподавал в Тамбовской семинарии. Известно, что в 1888 году был возведен в сан епископа Старорусского викария Новгородской епархии. В 1891 году получил назначение в Самарскую епархию.

Если верить газетным архивам, митрополит Владимир оказался первым среди расстрелянных русских православных архиереев. Это произошло в Киеве, куда он был переведен на кафедру митрополита Киевского, 25 января 1918 года.

Перед смертью святитель благословил своих убийц и сказал:

«Господь вас да простит».

Когда-то, в год освящения нижнего храма Христа Спасителя, 12 февраля, при открытии в Самаре епархиального Братства, при служении Божественной литургии в Алексеевской церкви Преосвященный Владимир в слове своем определил главную задачу христианского Братства как духовное совершенствование и воспитание в людях сострадания и взаимной любви.

Он и перед лицом насильственной смерти остался верен Богу и своим идеалам.

А как живем мы с вами?

Я совсем недавно был на заводе, где рабочие взялись изготовить надгробный памятник на могилу Григория Журавлева, по нашему замыслу он должен в миниатюре напоминать контурами храм Святой Троицы.

Спрашиваю:

— Все по проекту?

— Да, но кое-что и сами придумали.

Изготавливают его они безвозмездно и в нерабочее время. Отрадно и грустно. Похоже на зализывание ран, которые мы руками наших дедов и отцов нанесли сами себе.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Я пытаюсь теперь многое заново осмыслить для себя. Но признаюсь: что часто не нахожу ответа. И говорю об этом с горечью. Но я, кажется, вижу спасительную соломинку, за которую, ухватившись, человек может обрести душевное равновесие. Это созидание физическое и духовное. И это уже, кажется, понимают многие. Ведь как у нас повелось? Для нас подвижка к компромиссу — едва ли не подлость (кто не с нами — тот против нас). Но в наше время так уже нельзя. Надобно человека

слушать и слышать. Христианство призывает к этому. Нравственные основы его позволяют надеяться на выход из вандализма, к которому мы скатились.

Православие сообщило в свое время нашему народу свойство соборности, драгоценнейший дар, удержать который полностью в своих руках мы, увы, не смогли. А ведь соборность — это духовная общность русского народа, основанная на общем служении, на понимании и исполнении общего долга.

Утрачивая чувство соборности, мы теряем и былую державность, то есть чувство долга, ответственность, патриотизм, сознание каждым ответственности за всех, ответственности каждого за нравственное здоровье общества и крепость государственных устоев. Попристальнее бы взглянуть в себя! Посмотреть друг на друга!

Мне рассказывали, что человек, который сам давал команды рвать трактором крест с утевского храма Святой Троицы, когда уже наша власть официально разрешила религию, пришел в церковь и пожертвовал на ее восстановление триста рублей. Что это? Раскаяние или просто бывший тертый чиновник вновь держит нос по ветру? Дух ханжества, боюсь, во всех наших делах и возвеличивании Церкви витает, как и прежде...

Мы яростно боролись против Бога, но оказалось, что эта борьба направлена против самих себя, против человека.

Красота спасет мир? Увы, я сомневаюсь в этом. Я думаю, что мир могут спасти разум, разумность, образованность, интеллигентность, интеллект. Красоту надо спасать нам с вами. Народная мудрость гласит: все хорошо, что в меру. А меру определит уровень культуры, разумность. Но этого никогда не будет, если мы каждого, кто образованнее и умнее нас с вами, будем считать чуть ли не личным врагом.

Я эмоциональный человек, эмоции — это прекрасно, тем более, если положительных больше, но рациональность — вот рычаг, который может нас спасти сегодня.

Когда в характере нетерпение, подавление чужого мнения, на это уходит энергия, а объединенная на основе компромисса, эта сила идет на созидание. И именно созидания не хватает сейчас для возрождения крепкого экономического уклада в городе и деревне. А для этого нужен духовный стержень.

Не могу принять известное утверждение Ф. Достоевского: «Кто в Бога не верит, тот и в народ свой русский не поверит».

А если человек неверующий? Так куда ему податься? И большая часть нашего народа — неверующие, так вот получилось с нашим обще-

ством. Как и большинство, я верю в свой народ, в будущность его. Здесь многое еще надо понять, но начинается это понимание с бережного, пристального отношения друг к другу, к нашему прошлому и настоящему.

...Я уверен: мне повезет с находками, связанными с именем Григория Журавлева, поэтому думаю, что и записки мои на этом не заканчиваются.

1991 – 1995 гг.

ЧЕРНЫЙ ЯЩИК

О МОЕМ ДРУГЕ

Чуть более года назад на одном из совещаний директоров предприятий он подсел ко мне и, раскрыв «дипломат», достал несколько магнитофонных кассет.

— Старик, возьми, ты у нас, кажется, еще и литератор. Может, пригодятся тебе когда-нибудь как фон или документальное свидетельство.

— Что это?

— Что-то вроде дневниковых записей, только на пленке. Они бессистемны, мозаичны. Было тяжело — включал магнитофон и выговаривался. Помогало...

Я взял. Скорее, чтобы не обидеть. Мало ли людей чудит к старости. А двумя неделями позже его не стало.

...Я прослушал записи и мне захотелось их опубликовать.

Кое-что я сократил, поправил то немногое, что связано лишь со спецификой разговорной речи. Как он и просил, имени его не упоминаю. Назвал автора записей Виктором Сергеевичем Стражниковым. Понимаю, что у него была не героическая жизнь, не героическая смерть. Но разве не может быть интересна простая жизнь одного из нас?

ЯНВАРЬ

Вчера ехал в одной машине с генеральным директором соседнего нефтехимического завода. Заговорили о работе.

— С утра поехал в цеха, — рассказывает он. — Компрессоры, огромные колонные агрегаты, отключены. И это зимой, когда нам и летом-то внепланово останавливаться опасно. Зашел в два цеха и больше не смог, заплакал и возвратился в кабинет, — он махнул рукой.

То ли этот короткий разговор, то ли непомерные сложности, придавившие нас, но что-то меня толкнуло, я почувствовал желание разобраться: чем же был для меня и для завода прошедший год?

Я попытался записывать наиболее важные события, но вскоре понял: занести на бумагу все, что считаю необходимым, не смогу: должность генерального директора отнимает слишком много времени и сил.

И тут я натолкнулся, как мне показалось, на удачную мысль: а что, если попробовать наговаривать на магнитофонную пленку? Хотя бы два-три раза в неделю, пусть это получится непоследовательно, сумбурно, но это будет хроника очевидца, решившего поставить себе условие — не кривить душой.

Итак, впереди целый год жизни.

Сегодня мой приятель Сергей рассказал забавную и грустную историю о своем отце. Тому сейчас около восьмидесяти лет, они его привезли из рабочего поселка, и он доживает свой век у них. Ему категорически запрещено курить, поэтому все близкие пытаются оградить его от курева и следят за ним. А старик — из заядлых курильщиков, бывший слесарь, орденосец, настырный и упрямый. И жена Сергея, уходя на работу, припрятала все деньги, чтобы он не купил сигарет. Возвращается домой: на столе окурки, пачка курева. Что оказалось? Дед вышел на улицу и поменял орден Ленина, который получил за прежние труды, на пачку сигарет. Жена Сергея стала его стыдить, он совершенно безразлично сказал:

— А на кой он мне нужен? Мне нужны сигареты, а он только место пролеживает.

Было это в самом начале перестройки. А недавно ко мне приехал бывший директор нашего завода. Он работал здесь пятнадцать лет назад, до меня. Еще энергичный мужчина. Глядя в глаза мне, спросил:

— Послушай, а что ты заработал на заводе лично для себя?

Я сначала ступешался.

– Для себя?

– Ну да, лично для себя?

– Сразу и не скажешь. А вы сами готовы ответить на такой вопрос?

– Я получил здесь десять лет назад орден Ленина. А его просто так не давали, каким бы ты ни был хорошим: если завод не работал, никаких наград директор не получал. Я получил его за заслуги. А ты что получил?

– Я за время работы на заводе защитил кандидатскую диссертацию, затем докторскую.

– И все?

– Все...

– Но ведь это твои личные заслуги. Это ты сам себе сделал. А где государственная оценка твоей работы?

– Какая же может быть государственная оценка, когда мы уже полгода как акционерное общество? Коллективная собственность, не государственная.

– Вот, вот, я и мечу в этот корень, – мой собеседник победно воззрился на меня. – Завод, бывший государственным предприятием, был нужен государству, Правительству, а сейчас вы – не государственное предприятие. Вы не государственные люди, вы никому не нужны. Как у вас сложится, так и будет.

Мне как-то трудно было возражать, да я и не мог понять, в чем моя вина.

– Мы работали на Россию, а вы на кого? – продолжал наседавать он.

– А мы – на самих себя. У нас четыре с половиной тысячи народа. Мы кормимся, зарабатываем на жизнь. А если для народа, значит, и для государства.

– И все-таки в этом деле что-то не так, – попытожил он.

И я снова не нашел, что ему возразить. Мне самому еще многое непонятно, самому нужно во многом разобраться...

Итак, с чем же мы пришли к концу минувшего года? Соседний нефтехимкомбинат, который моложе нас на десять лет, почти полностью остановлен. Готовится к увольнению полтысячи работников. Много задолжали энергетикам. Продукция комбината не имеет сбыта и нет возможности такое громадное предприятие быстро переориентировать на выпуск другой. Фабрика трикотажного полотна работает в одну смену. Завод изоляционных материалов, единственный в России производящий ленту для изоляции магистральных трубопроводов, тоже стоит. Отечественные потребители покупают теперь пленку за границей. «Синтезкаучук» – гро-

мадное объединение – практически не работает, задолжав около десяти миллиардов рублей энергетикам. АвтоВАЗ – гигант, гордость отечественной промышленности – остановил главный конвейер на целый месяц из-за отсутствия комплектующих, а в сущности из-за неплатежей.

Нам удалось удержаться. Больших срывов не было. Правда, пришлось прекратить производство полиэтилена, бывшего некогда гордостью предприятия. Полиэтилен – дефицитнейший продукт, без которого отечественная промышленность просто не могла жить. А теперь – нет сбыта. И все из-за резкого повышения цен на энергию, сырье.

Несколько недель работали на тридцати процентах мощности, принося заводу каждый день около двух-трех миллионов рублей убытка. В конце концов пришлось распустить рабочих.

Месяц продержали производство в неработающем состоянии. Никто из потребителей не забеспокоился, не зашумел. Не до того.

Беда, очевидно, в том, что, поднимая цены на сырье и энергетику до мирового уровня, мы забыли, что в производстве сырья, энергетики и продукции, которую можем реализовывать в России, либо за границей, есть технологии – старые или новые, но не соответствующие мировым уровням. И эти технологии необходимо реконструировать. Но в один день это сделать нельзя. Нужно время. А времени как раз нам и не дается. Чтобы модернизировать установки и начать выпускать продукцию с низкой себестоимостью, надо полтора-два года.

А как жить в это время? Той курочке, которая может снести через год или два золотые яички, просто-напросто рубят голову...

В конце концов нам не денежные кредиты нужны от государства, а кредиты времени.

Вот один день жизни нашего завода. Последний в минувшем году.

Впереди по календарю четыре выходных дня. Для того, чтобы производство ритмично работало, необходим на эти дни запас бензина марки «Нефрас» и изопропилового спирта. Была договоренность, что они поступят. Но на Рязанском НПЗ вдруг заявили: если не перечислите сегодня девяносто миллионов рублей в счет погашения долгов, бензин отгружен не будет. В последний день при наличии картотеки в четыре миллиарда рублей всеми правдами и неправдами за несколько часов удалось договориться с банком, чтобы эти девяносто миллионов ушли и номер платежного поручения был передан в Рязань. Пока утрясали этот вопрос, Дзержинский завод, который должен был поставить изопропиловый спирт, сообщил, что накануне производство остановлено по причине

неуплаты долгов за электроэнергию. Мы умоляем в исключительном порядке отгрузить нам изопропиловый спирт, поскольку два дня назад завод еще работал. Оказывается, что этому заводу местные энергетики отключили электроэнергию и нельзя включить насос, которым накачивается спирт в цистерны. Питание будет подано только десятого января, а до десятого — как хотите...

Добрую половину дня переговаривались относительно изопропилового спирта с Орским заводом. Вопрос так и не решен. Остаемся в подвешенном состоянии.

Накануне, тридцатого числа, руководство соседнего нефтеперерабатывающего завода телеграммой предупредило нас, что если не заплатим семьсот миллионов рублей тридцать первого числа, то после семнадцати часов будет перекрыто сырье на завод (примерно тридцать процентов от общего объема). Сошлись на том, что, если налоговая инспекция, взявшая с нас лишних семьсот миллионов рублей, перечислит деньги на счет НПЗ, нам сырье не закроют. Перечислять надо сегодня. Много сил ушло на переговоры с банком и налоговой инспекцией о перечислении денег именно в тот день.

В этот же день надо было решить: будет ли подаваться пар и электроэнергия с 1 января, поскольку мы пытались не подписывать договор с энергетиками на будущий год. Условия кабальные: в случае неуплаты в срок (а платить в срок почти невозможно), пеня будет начисляться в размере двух процентов от задолженности. Посчитали. Это тридцать два миллиарда рублей за год. А мы всего заводом получили в прошлом году прибыли двенадцать миллиардов рублей.

Часть проблем все же решить удалось. Но ведь так работать нельзя! В таких условиях как-то еще может работать швейная контора, торговая точка. Но громадный завод с опасной технологией, где действуют процессы с давлением в сто атмосфер и при температуре до пятисот градусов? Какие же сложности ждут нас в новом году?!

С первых дней перестроечного галопа начал собирать вырезки из газет. Настолько был ошеломляющим шквал информации, мнений, воззрений, что невозможно было выпустить газету из рук. Обнаружилось, что не хватает папок. Постепенно начал сокращать число вырезок, а потом и вовсе забросил начатое. Но некоторые газеты откладываю в сторону еще и теперь. Вот «Российские вести» за 4 декабря 1993 года. Статья Егора Гайдара «Банкротство предприятий — это банкротство их администрации, но отнюдь не коллективов». Он пишет: «Банкротство предприятия — это, прежде всего, банкротство его дирекции, банкротство преж-

ней концепции развития предприятия. Действительно, для дирекции обанкротившееся предприятие – это очень плохо и страшно, для коллектива же это может быть началом существенного повышения доходов, если в результате банкротства удастся привлечь более компетентную администрацию, заинтересованных инвесторов, разструктурировать предприятие и производить нужную обществу продукцию».

Егор Тимурович опытный теоретик и умный человек, но в данном случае у него очень многое просто не логично. Мы вот заинтересовали инвесторов. Два производства решили реконструировать. Нам открыта кредитная линия в сто двадцать миллионов долларов – Баварский банк стал нашим партнером, нашли передовую американскую технологию. Это будет мировой уровень. Вот наша концепция, наши инвесторы. Мы создали совместное предприятие с немецкой фирмой «Линде» и американской компанией «Юнион Карбайд», и уже идет полным ходом проектирование и подбор оборудования. Цель – построить новое производство с малыми затратами электроэнергии, с выпуском качественного полиэтилена, конкурентоспособного на мировом рынке.

Но – галопируют цены на сырье и энергетику. Будущее производство по нынешним ценам уже нерентабельно. Нужны не советы, а протекционистская политика государства в отношении российского производителя, без которой движения вперед не будет.

Нельзя в этот переходный период, когда мы осуществляем необычайно важные преобразования, являемся участниками сложнейших процессов, жить без поддержки власти, без переходной программы, без руководства этой программой со стороны Правительства.

А что получается? Под ту реконструкцию, которую мы затеяли с производством полиэтилена, нами получена правительственная гарантия. Сам Гайдар от имени Правительства и подписал ее. Но вот прошел год. И за этот срок вышла масса указов, постановлений, которые напрочь перечеркнули все гарантии.

Ко мне приехал из деревни отец. (Было это еще до перестройки.) Погостил два дня. На третий пошел я его провожать до автобуса. Спустились на лифте, вышли из подъезда девятиэтажного дома... Он обратил внимание на кучу хлама. Там лежали целые груды битой мебели. Подошел, потрогал один стул, другой, и сказал:

- Варвары, – и стал осматривать остальное.
- Мы опаздываем, – поторопил я.

– Ничего, – сказал отец, – успеем. А вот ты подойди, посмотри. У одного ножка рассохлась, у другого спинка отлетела. Чуть подклеить, и все, стул нормальный.

– Тебе жалко чужого стула?

– Мне жалко Россию.

– Ну-у, ты уж очень глобально мыслишь.

– Глобально, не глобально, а чтобы сделать стул, надо спилить дерево, высушить его, брус сделать, потом на станках обработать, затем все пойдет по конвейеру, а уж после будут делать стулья. Столько народа задействовано, чтобы этот стул сделать! А вдруг – выкинуть, потому что хозяин не умеет подклеить ножку. Цену всему забыли. Вот причина.

Когда подходили к остановке, он приотстал и, показав пальцем на три автомашины, стоявшие у подъезда с работающими двигателями, с горечью сказал:

– Вот еще картина. Останетесь вы без всего, будет у вас конек и ванек.

– Какой конек? Какой ванек?

– Такой. Все ресурсы, всю нефть и лес переведете. Сожжете все, останетесь без самолетов, без машин, будет снова у вас конек да ванек с сохой. Вспомните мои слова.

Он говорил это в конце семидесятых. Меня эти слова тогда как-то всерьез не задели. А теперь думаю: если бы каждый государственный и негосударственный деятель вот так, по-мужицки, смотрел на вещи и болел за свое и за государственное! Может, тогда и не нужна бы нам была никакая перестройка?..

Наш небольшой город – ведомственный. У него нет своих органов в исполкоме, которые занимались бы бытом: все улицы и дороги, тротуары, скверы разделены между промышленными предприятиями. Раньше, когда действовал горком, обычно собирал нас первый или второй секретарь. Все руководители садились в автобус, нас возили по улицам и стыдили за неубранный мусор, за разбитый асфальт, за неухоженный сквер. И мы обещали заниматься. Но делали, по правде говоря, мало. Потому что была сутолока, была масса своих забот.

Сейчас горкома нет, секретарей нет, а улицы чистые, дороги ремонтируются, зелень обрезана. Никто не шумит, не кричит, никто не говорит, что ты только до следующего бюро горкома будешь работать, а дальше... все: «тебе руководителем не быть. Ты даже не можешь справиться с уборкой дорог». Теперь все чисто, нормально. Я сначала уди-

вился этому наблюдению, а потом подумал: а ведь был эффект обратного действия, когда кричали, заставляли, руководили на каждом шагу, хотелось тоже показать свою «самостоятельность», которая выражалась в пусть маленьком, но неподчинении. А сейчас просто дана эта самая самостоятельность, и она сама обязывает следить за собой. С тобой по-человечески обращаются, администрация города видит в тебе партнера по работе, а не меньшего брата, которого можно всегда щелкнуть по носу. Может быть, от этого даже больше дела делается и с большим удовольствием.

Вспомнилась встреча директоров заводов с правительством Гайдара в 1992 году в Тольятти на АвтоВАЗе. Были: Чубайс, Нечаев, Авен, Гайдар. Грамотные, образованные люди. Но после ответов на практические вопросы директоров ясности не прибавилось.

— Эх, ребята, ребята, поставить бы вас начальниками цехов на заводе на годик, и видно было бы, кто как практически работает, кто как осуществляет сказанное на деле. И тогда было бы все с вами ясно, — пробубнил у меня за спиной мой коллега с соседнего завода.

Я сидел и думал: Правительству нужны промышленники, люди с опытом практической работы.

Но вот прошло время, в Правительство пришли Шумейко, Лобов, Сосковец, Черномырдин. Люди, которые были связаны с конкретными производствами. Мы ожили. Показалось, что теперь будет хоть какое-то движение вперед. Но помощи снова не увидели.

И возникает сомнение: а в том ли причина, что в составе Правительства были люди, не прошедшие практической школы, или в чем-то другом? Или все-таки вопрос в самом подходе, в желании проскочить этот период путем шоковой терапии? Наскоком.

И снова — из газет: «А директора предприятий, не научившись хозяйствовать в новых условиях, финансовые наркоманы, смысл жизни которых состоит в жалобах на жизнь и выбивании кредитов».

В прессе установилась прочная традиция: обязательно искать врага. Нашим директорам уже приклеили ярлыки, и не самые лестные. Я давно и совершенно глубоко убежден, что сила, которая сейчас сдерживает конфронтацию и обеспечивает в обществе стабильный климат — это директорский корпус, директора-промышленники, которые занимаются конкретным делом, дают возможность жить и трудиться подавляющему большинству населения России. И только на терпении директоров, большая часть которых уже заработала инсульты, инфаркты, на способности

молчать, не огрызаться, не обращать внимания ни на пинки, ни на окрики, ни на такие вот высокомерные, барские газетные заявления, держится наш быт.

Вообще травля директорского корпуса, руководящего звена началась с первых дней перестройки, когда возникла кампания выборности первых руководителей на государственных предприятиях. Это как раз была кампания против того, чтобы был порядок на производстве, кому-то нужно было ввергнуть все в смуту, и эта смута была организована.

Когда учился в Академии в Западной Германии, я, сделав невинный вид, задал профессору Хену вопрос:

— Как вы относитесь к выборности коллективом руководителей государственных предприятий?

Он, не задумываясь, совершенно академическим тоном заявил:

— Господин директор, если вы хотите разваливать предприятие, промышленность, начинайте выбирать руководителя. Более надежного пути для этого нет.

И это — так. В выборной кампании не везде, но в большинстве, рвались к руководству люди, не вполне понимавшие, что такое первый руководитель. О ритме его жизни, о физических и нравственных затратах знают только первые помощники на предприятии да домашние. Рьяные кандидаты этого не ведали. В них бурлило самолюбие.

А на Руси всегда как было? Человек, умеющий работать и любящий работу, как правило, не умеет ораторствовать. Он умеет одно — делать дело.

Я бывал на нескольких выборах. Знал кандидатов. Выходили победителями те, которые умели говорить. В результате во многих случаях к управлению пришли люди, не умеющие работать. Выборность руководителей принесла нашей промышленности значительный урон.

Я проработал директором десять лет. Меня «назначал» еще обком. По контракту нанимало министерство, потом департамент, комитет. На заводе начинал — рабочим, вернее, учеником оператора. Коллектив меня знает давно. И это мне крепко помогает. Для меня завод — это все. Потому и у рабочих не возникало требований переизбрать директора. Мы вместе преодолевали трудности.

Но в целом корпус директоров оказался между молотом и наковальней. В ту первую волну вольной или невольной интервенции против промышленников руководитель оказался снизу подпираемым «таранной некомпетентностью» низов, а сверху приглушенным диктатом министерства. Затем директора крупных предприятий стали уже негосударственными служащими, они возглавили акционерные общества. Акционерное общество

– коллективный владелец, не государственный. И государство от них отделилось, отошло.

А потом директоров стали просто-напросто уничтожать. Покатилась волна заказных убийств... И заводчане увидели расклад сил, поняли, кто несет тяжесть обеспечения нормальных условий работы, увидели в своих руководителях защитников жизненных интересов.

Мне удалось попасть к вице-премьеру Олегу Лобову. Нашу затею по строительству современного производства полиэтилена он принял хорошо, благосклонно. Но при всем при том он нам просто пожелал успехов. И все. Я пригласил его на начало строительства, посмотреть площадку, она уже была готова. Забить первые кольшки. Он не отказался от приглашения, сказав тогда странно прозвучавшую фразу:

– Хорошо, если только я буду работать в этой же должности.

Все прояснилось, когда он через некоторое время стал секретарем Совета Безопасности.

– Нет, вот ты мне скажи конкретно, как другу... Что мне все-таки делать с ваучером, кто он такой и зачем? А?

Голос звучал за моей спиной в зале ожидания Казанского вокзала в Москве, где я невольно услышал разговор двух собеседников. Очевидно диалог был начат где-то там, еще в пути, а тут уже затихал.

– Ну что ты прицепился? – отмахивается собеседник. – Вот у тебя сколько детей, я забыл?

– Трое, а что?

– Горластые? По ночам кричали?

– Ха, не горластые, а жуть. И не по ночам, а круглые сутки. Особенно младший, Колька.

– А пустышку, ну соску, ты ему давал, чтоб замолчал?

– Да только этой соской и спасался. Суну ему, он и замолчит враз. Ненадолго, но замолчит, а только начнет по новой, я ему опять резинку, так и забавлялись.

– Вот ты и ответил, что такое ваучер.

– Ну и что это?

– Вот та самая соска, – ответил вопрошаемый, и разговор за спиной оборвался.

...С утра ездил по заводу. Побывал во всех основных цехах. Когда-то я очень хотел выкрасить оборудование, находящееся на наружных этажерках, – трубопроводы и эстакады – в нарядные светлые тона. И

вот в последние два года мы покрасили все, что необходимо, «серебрянкой». Колонны стоят красивые, как ракетные установки. Завод стал нарядным, преобразился. Люди подтянулись, стали бодрее, веселее. Не стало грязного замазученного оборудования. Я поехал по цехам, посмотрел, и у меня появилось ощущение, что завод, действующий, как часовой механизм, нельзя останавливать. Это преступно.

Было такое чувство, что я готов с кем-то подраться. Только вот не знал, с кем...

Вечером стало известно, что один из основных потребителей нашего фенола – производственное объединение «Оргсинтез» – останавливается на целый месяц: нет возможности оплачивать сырье. Его долг – два миллиарда рублей. Он не единственный потребитель фенола – еще брал соседний завод, который сейчас не работает. Мы оказались перед угрозой остановки еще одного производства. Позвонил генеральному директору «Оргсинтеза», он мой хороший приятель. Поздравил с Новым годом, с Рождеством. Он в сердцах – в ответ:

– Лучше бы этот год не наступал! Лучше бы его не было! Работаем в инфарктном состоянии, вынуждены вырубить ползавода, что будет дальше, неизвестно!

Вот так теперь встречают в России праздники. Хотя никого не поздравляй. Грустно.

Словно подтверждая отказ моего приятеля от новогоднего поздравления, год начался с национальной трагедии. Третьего января под Иркутском произошла авиакатастрофа, в которой погибло сто одиннадцать пассажиров и девять членов экипажа. Оболочка самолета разбросана в радиусе четырехсот метров. Один из горящих обломков упал на расположенную недалеко ферму, в результате чего пострадала работавшая там женщина и погиб скотник. Среди жертв оказалось одиннадцать иностранных туристов.

Взорвался Ту-154, один из самых надежных авиалайнеров российского производства, причем взорвался через двенадцать минут после взлета с аэродрома в Иркутске. Рейс был на Москву.

Последовательно отказали все три двигателя, гидросистема, затем загорелись двигатели. Возникает вопрос: каким образом вышли из строя сразу все двигатели у самолета, который казался одним из самых современных? Его системы не могли отказать одна за другой сразу все. Насколько хорошо осуществлялось техническое обслуживание этого и других самолетов? Насколько профессионален экипаж?

...Правительство, которое призвано обслуживать общество, нас с вами, в ответе за то, как мы себя чувствуем в нашем затянувшемся перестроечном полете. Оно в ответе за взлет и посадку.

Сейчас многие дают рецепты, как жить обществу, куда идти, с какой скоростью, с кем об руку. Предлагают всякие варианты оздоровления, находящейся в кризисном состоянии экономики нашего бывшего Союза. Вот и консультант всемирно известного банка Джеймс Силberman советует лидерам ведущих иностранных держав пригласить к себе на обучение сто тысяч бизнесменов из стран СНГ. По его мнению, это может привести к расцвету...

Что тут скажешь? Обучать можно. Но трудно верится в то, что обученные «там» бизнесмены смогут работать в нашей ситуации. Ведь они будут пытаться действовать по методам бизнесменов Запада, то есть по таким, для которых у нас нет системы. А значит, в первую очередь заниматься нужно именно этим – созданием системы, обеспечивающей жизнедеятельность налогоплательщиков, чтобы они могли беспрепятственно, не занимаясь политикой, работать, получать результат. Создать такую систему, конечно же, сложно в наш переходный период. Но десантировать к нам сто тысяч бизнесменов... Это легче, но это только еще один эксперимент над Россией. А от экспериментов мы уже устали...

Четвертого числа епископ Истринский Арсений и члены Московского патриархального Совета освятили здание Правительства России на Краснопресненской набережной столицы, рабочие кабинеты российского правительства. Был освящен и новый рабочий кабинет Черномырдина. Обращаясь к премьеру, епископ Арсений сказал:

– Мы молимся, чтобы благодать Божия сопутствовала тому, кто будет здесь трудиться на благо Отечества с целью стабилизации в стране, с целью улучшения жизни россиян.

Виктор Степанович в свою очередь высказал твердую убежденность в том, что Правительство России сделает все, от него зависящее, для улучшения жизни россиян и для процветания нашей страны. Затем передал членам епархиального совета две старинные иконы. Глава Правительства сообщил, что готовится передача Русской Православной Церкви около тысячи древних икон.

Вот так, с Божьей помощью, может, и выберемся на свет.

Рождество Христово. Впервые слышал по радио молитву, с которой когда-то в детстве сельскими пацанами ходили по дворам славить.

Обычно накануне Рождества мы ночевали с друзьями у нас, боясь, как бы не проспять утром. Надо было обязательно одними из первых встать и идти славить, то есть ходить по дворам и петь молитву. Я эту молитву помню. Но никогда не понимал более половины слов. Нам передали слова молитвы наши родители настолько искаженными, что, когда я сегодня слушал ее по радио, то к удивлению своему практически все понял, ибо впервые услышал нормальное произношение тех слов, которые мы пели в далеком детстве.

Наверное, многие сельские ребята вспоминают те годы с теплотой. Хотя случались и казусы. Помню, как мы оказались в погребе. Наша ватага первой попала к одному из сельских шутников на Рождество. И он, большой выдумщик, взял и посередине сеней распахнул погреб, а сам зашел в комнату. И когда мы входили, то один за другим падали в эту ловушку. Правда, погреб-то был неглубокий, с соломой. Хозяин помог нам выбраться, смеялся, напоил нас чаем. Интересно, очевидно, было за нами наблюдать. Мы пьем чай и ерзаем. Ведь, чем дольше мы сидим, тем меньше обойдем дворов и тем меньше получим подарков. А старик смеется, хихикает. Вокруг нас ходит. И не то, чтобы издевается, но получает от своего скоморошества понятное ему одному удовольствие.

...Так и кажется, что кто-то (не западный ли дядька?) открыл крышку, и мы, шагнув в темноту, оказались в большой общей яме. Теперь вот выкарабкиваемся.

В последнее время взял за привычку в выходные дни, чаще всего в субботу, ходить в одиночку либо с женой на городской рынок. Интересно посмотреть на торгующий народ, интересно знать и цены. Проснулся во мне инстинкт моего деда с бабкой. Я помню, в деревне каждое воскресенье они степенно собирались на базар. В этом было что-то ритуальное. Чинно обходили базарные лавки. Приценивались, торговались сдержанно, уважительно. Приходили домой и весь остаток дня у них был в разговорах о ценах, о встречах. Таков был уклад.

...Я и сегодня ходил на городской рынок. Там один мой старый знакомый хлопнул меня по плечу и спросил:

— Скажи, может быть страна богатой, если мы по десять дней подряд отдыхаем? Ну, Рождество, ладно, это христианский праздник. Но только что отдыхали на Новый год, сейчас опять. Так будет ли страна богатой, если столько выходных подряд?!

Конечно, страна богатой не будет с такими длинными выходными. Некоторые же промышленные предприятия к выходным добавили еще три дня, которые между календарными, и получилось десять дней. Они взяли

эти десять дней не из-за огромного желания отдыхать, а просто такая ситуация на предприятиях. Многие закрываются на целые месяцы и людей распускают в отпуски. Нечем платить заработную плату.

...Почему-то очень много продается на рынке соленых арбузов. А у меня привычка: вот уже лет десять солю в своем погребе арбузы и всю зиму, до марта, у меня — деликатес. Мне было интересно узнать, сколько стоят соленые арбузы. Подхожу к одному торговцу, смотрю: арбузы, как мои. Спрашиваю: сколько стоят. А сам все гляжу не на продавца, а на арбузы. Когда же взглянул на хозяина арбузов, был удивлен. Торговцем оказался водитель моего главного инженера. Но не это удивительно. Удивительно то, что он совершенно не мог вымолвить слова, увидев меня. Я к нему обращаюсь, а он ничего не может сказать:

— Я не знаю. Это не мои арбузы. Это тещины арбузы, я не знаю, сколько стоят.

— А теща где?

— Не знаю.

Человек явно растерялся, ему неудобно, что он торгует?..

Я так и не смог у него узнать цену соленых арбузов. Поспешил уйти, чтобы человек не мучился. После в другом ряду узнал: две с половиной тысячи рублей за килограмм.

Вспомнились базары моего детства. Не могу я себя представить торгующим. Моя бабка была в этой части большой изобретательницей. Она частенько ездила в Куйбышев: то яички продавала, то сало. Тогда у колхозников совершенно не было денег. В степных селах ни грибов, ни ягод. Мы жили в лесу. Бабка сушила смородину, черемуху и возила в соседние села продавать. Иногда брала с собой меня. Мне это казалось забавным.

Но я никогда не мог встать с бабкой рядом, чтобы помогать ей в торговле. Некоторые мои одноклассники на рынке помогали родителям. Я же так и не смог переломить в себе застенчивости. Очевидно, и в Викторе, шофере главного инженера, тоже нечто такое было заложено, и оно сохранилось до солидного возраста.

...Первый раз я приехал в город из села, когда мне было лет двенадцать. Бабка тогда приехала торговать яичками на Троицкий рынок. Меня многое поразило: и обилие всего, и многолюдье.

Продавались моторные лодки. Это было для меня верхом восторга. У нас были свои весельные плоскодонки на Самарке. Но здесь были красавицы: деревянные, большие, с высоким килем, изящные.

Я ходил по рынку и смотрел торговые ряды. На голове у меня была совершенно замечательная фуражка, сшитая сельским дядей Васей-шапочником. Он жил через один дом от нас и всю жизнь шил шапки и кепки из разного материала: мерлушки, сукна, хрома. Это был зажиточный человек. Я говорю так уверенно только потому, что когда моей маме надо было подзанять денег, а это бывало часто, то она всегда обращалась к тете Маше, жене дяди Васи-шапочника. Так вот, этот дядя Вася сшил мне фуражку из шкурок суслика. Если мех суслика хорошо просушен, то он очень красивый, мягкий. Причем сшил кепку большую, с огромным козырьком. И вот эту красоту у меня украли. Я зазевался, отвлекся и у меня ее с головы просто сняли. Обидно было до слез. И не столько было жалко фуражки, сколько досадно за свое ротозейство. Я даже не почувствовал, как ее сорвали. Надо было это не только бабушке объяснить, но и на селе, ведь об этом все будут знать. Мне очень обидно было прослыть ротозеем и недотепой.

Вообще интересны сами обстоятельства, при которых возникла возможность шить шапки из шкурок сусликов. В начале пятидесятых годов этих зверьков на колхозных полях в окрестностях села было очень много. Они были настолько многочисленны, что, выехав за село, можно было вдоль дороги увидеть слева и справа враз несколько пушистых юрких комочков. Они наносили посевам урон, и местные власти приветствовали тех, кто отлавливал этих зверьков. За каждого пойманного суслика платили мукой, но по желанию и деньгами. Шкурка, по-моему, тогда стоила шесть копеек. Заманчиво было сдать шкурку в «Заготсырье» и получить свои звонкие монеты. Дело можно было поставить на индустриальную технологию и немного заработать. Вот мои дядьки — Алексей и Сергей — и поставили это дело на конвейер. Каким образом?

Началось, помню, все красиво и празднично. Я проснулся в один из воскресных дней от ароматнейшего запаха пирожков с картошкой. Бабушка почему-то делала пирожки всегда очень большие, это я запомнил на всю жизнь. Они были очень вкусны с холодным молоком. Когда я встал, то в горнице увидел два совершенно новых велосипеда Пензенской фабрики. Два мужских велосипеда. У нас был один трофейный немецкий велосипед, дамский. Эти новые велосипеды, как живые существа, стояли у окна. Оказалось, что мои дядья, решив начать промысел на сусликов, приобрели для этих целей технику. И действительно, промысел пошел удачно. На велосипедах мы объезжали поля, беря с собой капканы. Брали еще в метр высотой гибкие прутики, на конце каждого из которых привязано было гусиное перо. Технология была проста: около каждой суслианой норы ставился капкан и привязывался к этому пруту. Вы-

ставлялось тридцать-сорок капканов. Потом мы уезжали, а перед обедом возвращались в поле и обходили капканы, собирая добычу. Мы легко отыскивали капканы, ибо прутики с белыми гусиными перьями были видны издалека. Каждый раз с солидным уловом возвращались домой. Быстро начинали снимать шкурки, выделывать. Все было организовано как на солидном предприятии, с техникой и своей технологией. Велосипед был тогда серьезным механизмом. Он был неприхотлив и надежен в сельской местности. Потом был куплен мотоцикл, но он так и не прижился: то карбюратор, то еще какая-нибудь система барахлила. С бензином проблема. Керосин был, а вот бензин не всегда...

Моя жена, я так понимаю, начинает ревновать меня к моему магнитофону.

— Ты нашел способ, как тебе разрядиться, нашел отдушину, выговорился в свой черный ящик — и все. А мне что придумать?

Я смотрю на предмет ревности — черный «Сони», солидный, изящный. Он лежит передо мной, приобретенный года два тому назад, и я начинаю думать, что он — живое существо. Может быть, это такая небольшая, но очень умная, верная, элегантная собака, которая лежит у меня на столе и смотрит на меня зоркими глазами. Все понимает, все воспринимает, только, вот, не говорит. А если говорит, то только моим голосом. Может быть, не зря жена меня начинает ревновать? Я заметил, что мне действительно становится лучше, когда прихожу с работы и нажимаю кнопку записи. Закончив диктовать, чувствую некоторое облегчение и ощущение того, что я сделал что-то — пусть не очень важное, — но необходимое...

Детство у нашего поколения было, мягко говоря, неустроенное. Помню случай. Мне лет семь-восемь, отец около пяти лет лежит в госпитале после возвращения с войны. Идет уборочная. Машины гоняют с поля в «Заготзерно», возят дары нового урожая. А нам в это время практически нечего есть. Дед говорит моей матушке:

— Послушай, Катерина, там за селом по проселку ходят машины с зерном. В одном месте выбоина на дороге, грузовик подскакивает, зерно вылетает, сыплется на дорогу, и там можно набрать немного. Потом бы смололи, какая-никакая мука будет.

Взяв мешок, лопатку, веник и большое решето для просеивания, мы с матушкой пошли на это место. Действительно, все так и есть — и выбоина на дороге, и просыпающиеся зерна. Мы стали быстро подбирать эти зерна после каждого проезжающего грузовика. Так споро у нас

пошло дело. Матушка стребала вместе с дорожной пылью зерно, складывала в решето, а я его просеивал и сыпал в мешок. Пыль была мягкая, знойная и она вся пролетала через решето, оставалось зерно и маленькие земляные камешки, которые мы решили выбрать дома.

Мы увлеклись и не сразу увидели, что мимо нас проезжает нарядная двуколка и на ней председатель райисполкома. Председателя я знал. Он был большой, лобастый, с головой круглой и лысой.

Когда мы приходили пацанами в клуб, там всегда был шум, гам, но вот наступал торжественный момент: в зал входило руководство района, наши районные руководители – с домочадцами, степенно шествуя гуськом. Их всегда было человек десять во главе с первым секретарем райкома партии и председателем райисполкома. Они снимали шапки на входе, в фойе, и обычно садились в первом ряду. Зал на двести человек замолкал, ни шума, ни шороха. Перед начальством робели все.

Оробели и мы с матушкой, разогнувшись над кучкой с зерном. Председатель райисполкома не обратил на нас внимания, глядя поверх наших голов. А я был заморожен его спутницей. В коляске была женщина. Молодая и красивая. По моим понятиям, женщина была одета, как в сказке, в белое платье с какими-то украшениями. Она выглядела так ярко и красиво, что ей в ее одеянии надо было быть на сцене театра, на сцене клубного зала, но не в поле. Она была либо его женой, либо дочерью, приехавшей из города. Когда они уже проехали мимо нас, женщина повернулась и посмотрела на меня. Затем она, наклонившись, что-то сказала своему спутнику, который так красиво держал вожжи в руках, что это напомнило фильм «Кубанские казаки». Председатель повернул породистую лошадь, подъехал к нам и как будто впервые увидев, спросил:

– Вы что тут делаете?

Мы молчали, все было видно и так.

– Прекратите, это зерно не ваше, это зерно государства. Вы поступаете скверно.

Все-таки председатель понимал, что зерно пропащее уже, что надо наводить порядок на транспортировке. И, говоря с нами (мы видели), он выбирал мягкие выражения и грубо с нами не поступил. Но собирать зерно запретил.

Он не стал ждать, прекратим мы или нет, развернулся и уехал. Но мы не могли осмелиться продолжать собирать зерно. То, что мы собрали, мы не высыпали на дорогу, а просто свернули свои вещи и пошли. А невдалеке уже ехал очередной грузовик, хозяин которого – государство – был где-то непонятно далеко. Машину как-то особенно сильно встрях-

нуло и из нее высыпалась солидная порция пшеницы, полуторка же, не останавливаясь, помчалась дальше. Мама не сказала ни слова, но я заметил на ее щеках слезы.

В конце года два раза обращался к врачу по поводу болей в области сердца. И, наверное, каким-то образом информация прошла по заводу. Меня стали останавливать, желать здоровья, напрямую говорили, что надо себя поберечь, но с завода не уходить. Нельзя, чтобы сейчас менялось руководство. Стали задавать подобные вопросы и начальники цехов. Секретарь, Ирина, пришла ко мне с просьбой дать разъяснение что делать: очень много звонков в приемную, все встревожены тем, что я ухожу.

Это, наверное, льстило бы моему самолюбию, будь другое время, но сейчас не до этого. Слухи вносят дисгармонию в психологический климат. На одном из последних заводских совещаний, где присутствовало около шестидесяти человек руководящего состава, я вынужден был заявить, что никуда в ближайшее время не уйду. Прошел одобрительный гул. Подтвердили, что стало сразу легче думать о будущем.

Да, сегодня все прижимаются плечом к плечу, и потеря одного из тех, кто с тобой в круговой обороне, совершенно нежелательна.

В последнее время на пути в заводскую столовую в обеденный перерыв мне часто стал встречаться заводской наш поэт, балагур Владимир Вершинин. Замечательный слесарь-инструментальщик. Но немножко баламут. Мы с ним давно на «ты».

Сегодня он остановил меня вопросом:

— Гендир, можно внести предложение?

— Кто?..

— Ну как: генсек, гендир.

— Ясно, давай предложение.

Смотрит озорно, я знаю, у него заготовлено про запас экспромтов, — хоть отбавляй. И они его тяготят, нужен собеседник. И не простой собеседник, нужен «уровень».

Подписывает он свои басни псевдонимом «Скорпион». Городская и заводская газеты с недавних пор ему уже тесны. Я знаю, он послал подборку своих басен Михалкову, а на прошлой неделе — самому Ельцину.

— Мое предложение не рационализаторское, оно тянет на изобретение!

— Не тяни.

— Я не тяну, оно тянет: как бы сделать так, чтобы у власти в стране оказались интеллектуалы, а не политики. Чтобы издать закон, по которому власть бы имели люди, которые ее не любят, и как только они начнут проявлять к ней вкус — их в сторону. Может быть, тогда бы построили что-то стоящее, а?

— Может быть.

— Вот, видишь, и ты стал в моем направлении думать. Хорошо. Не вязни в рутине. Послушай, можно я тебе, когда меня посетят умные мысли, буду послания через канцелярию в твою папку с почтой класть? Не перегружу.

— Можно, — согласился я, а про себя подумал: «Вот еще один, которому нужна отдушина, черный ящик».

Был партком на заводе, и вдруг его не стало. Все заботы и хлопоты легли на плечи директора. Мне тогда пришла счастливая мысль: необходимо общее дело, общая идеология, чтобы связывать и устремлять коллектив в одном направлении. Поэтому 1992 год мы провозгласили годом подготовки к тридцатипятилетию нашего завода. Составили программы ежемесячно, подекадно. Культурную программу, программу наведения порядка на территории завода, спортивно-массовые мероприятия, поиск бывших работников, оказание помощи пенсионерам. Серьезные меры были намечены по экологии, сокращению выбросов в атмосферу.

Взглянули на себя как бы со стороны. И была большая активность по цехам, по производствам. Народ откликнулся, все встрепенулись. Многие поняли, что конкретная цель сближает. Создали самодеятельный ансамбль. Если раньше нужно было упрашивать, то теперь всколыхнулись сами. Женский хор покорял русскими песнями. И такое было оживление в заводском коллективе, что многие даже искали повода, чтобы собраться вместе. Апофеозом всего этого оказалось 30 декабря, когда состоялся торжественный вечер. Зал Дома культуры на восемьсот мест был переполнен. Гости с родственных заводов, представители городской общестственности, предприятий области пришли к нам на праздник. Борьба за трезвый образ жизни отучила людей от открытого праздничного общения. Все были благодарны за возрождение традиций нормального праздничного застолья.

В моей записной книжке есть слова Ильи Эренбурга из статьи «Полюсы», опубликованной в Киеве в 1919 году: «Какая странная, роковая страна Россия, будто на палитре господней для нее не осталось ничего кроме угля и белил».

Вот такими красками оценивается судьба России. Но этого же не может быть! Я думаю, что все-таки впереди у России больше красок, и россияне увидят и другое: отразится в их глазах и голубое, и розовое, и все многоцветие, которое есть в нашей жизни. Этого хотят все, только понимают, что это не может наступить сразу. Но посмотрите, какие лица были у наших соотечественников в прошлом веке! Вглядитесь в фотографии, которые часто показывают по телевидению, в журналах и газетах. Это совершенно другие лица, другие взгляды. Таких глаз не может быть, когда смотришь на черное и белое.

Сегодня тяжелый день. Я подписал приказ о закрытии производства полиэтилена. Дело усугубляется тем, что рентабельность полиэтилена практически нулевая при нормальных нагрузках. Сейчас же, из-за отсутствия сбыта, мы можем быть загружены менее, чем наполовину, поэтому держать в работе это производство, даже ради сохранения рабочих мест, невозможно. Мы продержались месяц. Это, по сути, скрытая безработица. Скопилось достаточно большое количество продукции на складе. При нынешнем росте инфляции, скорости роста цен, для нас это – беда.

Начали останавливать и производство фенола. Причина – нет сырья. Вернее, сырье так дорого, что мы не можем оплачивать его, причем все предприятия требуют предоплаты. К тому же остановились два самых главных наших потребителя фенола. Осталась заграница, но там такие низкие для нас цены...

Одиннадцатого января в десять часов приступило к работе Российское Федеральное собрание, избранное сроком на два года, которое дает отсчет новому периоду нашей Российской парламентской практике.

Странно быстро, как в калейдоскопе, мелькают события. Еще только избраны председатель Совета Федерации и Государственной Думы, как тут же идет перестановка в Правительстве. Сегодня Егор Гайдар объявил о своей отставке. Причину отставки объяснил тем, что принимаются решения в Правительстве Черномырдиным без согласования, без уведомления вице-преьера. В частности, он назвал решение по Белому дому, объединение общерублевой зоны – российской и белорусской.

Сегодня по телевидению Геннадий Зюганов бросил реплику, что Гайдар все свое уже сделал: развалил промышленность, фундаментальную науку. Я не сторонник Зюганова, но в данном случае, так оно и есть. От большой науки, от промышленности могут остаться одни руины.

Двадцать четыре года как я женат. Помню, через месяц после нашей свадьбы мы купили с женой новый симпатичный шифоньер, собрали его и установили у торцевой стены комнаты. И вдруг мне показалось, что ближе к углу он будет стоять более рационально. Передвижку я затеял один, когда жена была в институте. Непростое дело для одного: передвинуть трехстворчатый внушительный шкаф. Но я был молод, изобретателен и, главное, хотел сделать сюрприз жене.

Тогда шифоньеры выпускались с ножками, ввинчивающимися снизу в днище шкафа. Это я успешно использовал. Просто так двигать было нельзя, ножки кособочились и грозили сломаться, тогда я решил подкладывать под каждый угол поочередно стопку книг и выворачивать ножку. На стопке книг, как на шарнире, разворачивал шкаф, передвигая его ближе к углу. Все шло хорошо, шкаф был уже почти на месте, когда вдруг дверцы во время очередного поворота раскрылись, крепеж не выдержал и... огромное зеркало, со звоном упав на пол, разлетелось на куски. Я был потрясен. Но не потерей зеркала, а тем, что по примете должно было следовать за этим. Разбил зеркало – значит, ждать большого несчастья. Я сразу почему-то соотнес это с нашим браком, с моей женой. Я не мог допустить разрыва. Я любил свою молодую жену.

Что это, чистая случайность? Я ведь мог не разбить зеркала, и все было бы нормально, а тут, пустячное неверное движение – и оно дает начало действию уже других событий. Вступают в силу законы этой мрачной приметы.

Я решил идти наперекор и вопреки всему. В этот же день, пока не было жены, раздобыл в комиссионке (мне повезло) почти такое же зеркало. Вставив его, разумеется, ничего жене не рассказал, а себе дал слово: сделаю все, чтобы брак наш был вечен. Наперекор и вопреки всему! И я, особенно первые годы, постоянно помнил о своей установке. Это было моей постоянной заботой и тайной.

Кажется, я сделал то, что обещал себе. Об этой истории говорю вслух впервые. Конечно же, о ней не знает и жена.

Много позже этот случай мне неожиданно помог.

В 1984 году я получил предложение стать директором завода. Предложение не было для меня внезапным. Анализируя ситуацию с возможным моим назначением, вспомнил фразу, оброненную писателем Солоухиным. Он сказал (цитирую по памяти): «Я не смог бы быть директором – я слишком люблю справедливость». И еще мне не давала покоя фраза, сказанная моим приятелем: «Чем выше по ступенькам карьеры, тем меньше остается порядочных человеческих качеств».

После неспешных раздумий решил: если мне предложат быть директором, — соглашусь. Но поставлю перед собой, как тогда — в начале семейной жизни, — зеркало. И пусть оно будет беспощадным. И пусть про него никто не знает. Но оно будет. И это будет моей заботой и тайной.

«Вопреки и наперекор» — этот девиз, который родился у меня, держащего осколки зеркала в руках, остался во мне и со мной навсегда.

Если наше общество катится к катастрофе, то катастрофа будет обусловлена тремя причинами. Первая: отсутствие концепции в построении демократии. Нет четкой идеи демократии, все абстрактно, и прояснением того, что такое демократия, никто у нас не занимается. Ответственными за все это считаются верхи: Парламент, Правительство. Их критикуют. Но демократия тем и отличается от недемократии, что порядок наводится снизу. И надо это понять, а потом действовать. Демократия устанавливается снизу.

Вторая причина: полное непонимание обществом целей и задач средств массовой информации. Почитайте газеты: одни вопросы, кто допустил то-то, почему получилось то-то и то-то. Вопросы и вопросы. Спрашивают тех, кто по другую сторону. А спрашивать надо тех, кто мог, должен был, но не сделал необходимого.

И третья, которая тяготит меня каждый день как директора: отсутствие четко разработанной политики государственной поддержки на местах, в отраслях, на предприятиях, в производственных структурах.

Мы задолжали три миллиарда рублей, нас заставляют брать кредит под 213 процентов, что является откровенным грабежом.

У нас два дня был представитель одной из германских фирм. Когда я назвал эту грабительскую цифру, то он несколько раз переспросил, боясь, что ослышался. Мы ему с трудом могли объяснить столь глупейшую ситуацию. И это еще льготные (!) проценты! (Он схватился за голову.) Но это еще ничего. Кредиты даются сейчас только под залог оборудования, помещений, под основные фонды. Мы намерены были взять 1,5 миллиарда рублей, чтобы заплатить долги. Но нам поставили условие: дайте в залог детские садики, туристическую базу на Волге, профилакторий. Берут в залог только то, что можно превратить в офисы, в доходные объекты. Если учесть, что стоимость профилактория и садика намного меньше ежемесячного долга энергетикам, то практически два, три, четыре месяца — и промышленное предприятие останется без них.

Все отдано коммерческим банкам. Сначала коммерческие банки держали оплату за нашу продукцию, средства крутили по три-пять месяцев, зарабатывая на этих деньгах большие прибыли, затем из этих же средств дают нам кредиты, беря от нас под залог наши объекты. Они вконец нас разорят! Мне кажется, что беда еще в том, что в первую очередь Правительство допустило коммерциализацию банков, а надо было сначала коммерциализировать предприятия.

Я невольно вспомнил последний пуск завода после капитального ремонта в сентябре прошлого года. Мне в это время потребовалось срочно уехать в Москву. Из гостиницы «Ленинградская» звоню через день главному инженеру узнать, как идут дела, а тот в смятении докладывает, что начали пускаться и на середине остановились.

Что значит оставить без энергетики завод в момент пуска? Это только специалистам понятно. Энергетики требуют оплатить 1,5 миллиарда рублей долга. Такая ситуация. Если я лет семь назад, когда были проблемы с пуском завода, обеспечением материалами, мог приехать в Министерство и с замминистра или министром обсудить ситуацию и надеяться, что будет принято объективное решение, то сейчас все совершеннейшим образом изменилось. Будучи в Москве, я ни к кому не мог пойти и обсудить проблему. Нет таких структур. А если завод не пустим, мы ничего не оплатим вообще, ибо не будет продажи продукции. Наши десять миллиардов рублей, которые должны потребители нам, где-то крутятся. Просить помощи в наведении порядка с оплатой продукции не у кого.

В конце концов завод пустили, но только тогда, когда я дал добро, чтобы главный инженер от моего имени дал письменное указание управляющему банка – все средства, которые в ближайший месяц придут на счет завода в необходимом количестве, в первую очередь направлять энергетикам.

У нас в российском самосознании укоренилась бравада, что очень многое мы можем сделать враз, экспромтом, на эмоциональном подъеме. Мы не педантичны, как Запад, зачем нам анализ? Даже классики, интеллигенция, Федор Иванович Тютчев, которого я люблю как поэта, даже он, невольно, способствовал тому, чтобы мы жили чувством больше, чем рассудком. Мы бравуруем теперь даже тем, что «умом Россию не понять, аршином общим не измерить...» Умом Россию не понять... Как же не понять? Я думаю, что Федор Иванович с болью говорил об этом. И в подтексте этой фразы звучит, наоборот, призыв к потомкам, чтобы они попытались Россию понять именно умом. Мы же сначала делаем, а потом думаем.

На прошлой неделе был на презентации книги самарского писателя Ивана Ефимовича Никульшина. Он выпустил пятый или шестой поэтический сборник «Лесной колодец». У него есть несколько прозаических книг, выпущенных местным издательством. Издавался он и в московском «Современнике». Проза очень хорошая, я бы сказал, насквозь пропитана русским духом, русским бытом. Я давно его знаю. Он начинал как поэт. Его первая книга «Семь цветов песни» вышла в 1967 году. Редактировал ее Владимир Шостко – поэт, живший в нашем городе, поэт совершенно урбанистического плана, парадоксального мышления. Он был в восторге от книги.

В свое время я был влюблен в прозу Василия Макаровича Шукшина. Мне, родившемуся в селе, очень близко его творчество. И я полагал, пока не появился прозаик Никульшин, что так и надо писать о селе. Но с самых первых книг и рассказов Ивана Ефимовича во мне появилась какая-то раздвоенность. Я очень любил Шукшина, но не мог не любить и Никульшина. Мне кажется, что я знаю Заволжье, его быт. Конечно, мне трудно говорить, об укладе сел близ Барнаула, я не был в Сростках – родном селе Шукшина, но мне много слышится общего даже в звучании фамилий: Шукшин... Никульшин... Василий Макарович писал свои рассказы, как бы находясь в городской жизни и вглядываясь из нее в деревенскую. Никульшин – весь в российской деревне, посреди нее, и взгляд его – изнутри деревни на деревню. А оттуда – взгляд на себя, на всех и на весь мир. Ему пятьдесят восемь лет, но он до сих пор весь в деревенском быте. Это его позиция. Жизнь.

И еще. Многие из рассказов Василия Макаровича как бы основаны на анекдоте. Часто повествование идет о человеке-чудике. Я по своей деревне знаю: на каждой улице был свой блаженный, свой чудик. Без этого деревня как бы и не деревня. На каждой улице есть такой остро-слов, сев с которым за стол, обязательно поперхнешься от веселья и от горчинки.

Это все есть, но не на чудиках держится деревня. Деревня держалась и держится на людях степенных, немногословных, точных в своем поведении, в своем повседневном труде. Для них главное: создать семью, иметь детей, обеспечить нормальную жизнь, быть справедливыми и праведными в своем немногословии. Неистребимо желание в сельском укладе к упорядоченности, к порядку, к ясности отношений. А уж чудинка, скоморошество потом, в праздник, в потеху.

Или я чего-то пока не понял? Я дал себе обещание обязательно побывать в Сростках, а до этого прочесть всего Шукшина. У меня такое чувство, что я встретился с айсбергом...

Литература бедствует. За книгу стихов в 3,5 печатных листа издательство платит десять тысяч гонорара. Что такое десять тысяч рублей на нынешние деньги, если универсальный эквивалент наш — колбаса — стоит четыре тысячи? Сразу все становится понятным. Не скрашивают быта и те полставки, на которые можно устроиться в большой серьезной областной газете.

Я знаю многих писателей, которые, имея рукописи романов, сборников стихов, рассказов, не могут их издать. Чтобы выпустить поэтический сборник в тысячу экземпляров, надо иметь полмиллиона рублей.

Если сейчас не будем спасать наше искусство, какие книги мы будем читать лет через пятнадцать-двадцать, каких писателей будем иметь? И будем ли мы их иметь? Ведь, соблазненная когда-то отечественной государственностью и брошенная теперь, наша интеллигенция пребывает в растерянности. Социальная катастрофа ускорила физическое исчезновение ее.

— Виктор Сергеевич, установку по очистке спирта, которую мы сейчас строим, нам удастся эксплуатировать не более года.

— Почему? — спрашиваю почти машинально главного экономиста завода, хотя ответ давно ясен самому.

— Первые месяцы продукция этой установки даст чистой прибыли на каждой тонне до семидесяти долларов. Это замечательно. Но до конца года цены на пар так вырастут, что она может стать убыточной.

— Считали сами?

— Сам. Даст около десяти миллиардов прибыли, а там — в металлолом.

— А если возобладает разум и цены на энергетику заморозят?

В ответ — горестный вздох.

— Каков же выход?

— Найти более экономичную установку, чем эта, без затрат пара. Только так.

— Так-то оно так, да только есть ли такая технология вообще в мире?

— Надо искать!

Да, надо искать, повторил я про себя. В энергосбережении — выход.

Частенько заглядываю в цеховые курилки. Нравится окунаться в атмосферу здорового юмора, попав под прицел крепкого вопроса, дать хлесткий ответ.

Я долго работал в цехах, меня не стесняются.

Вот и сегодня заглянул, и не зря. Попал в самый кон, а может чуть опоздал: Виктор Шарапов, его в этом цехе зовут «Шурупов», а чаще — «Шуруп», кажется подводил черту под серьезным разговором. Увидев меня, он на секунду запнулся, дружелюбно поприветствовал, закивали головами и остальные.

Упругая пружина разговора еще подпирала, и Шуруп продолжил:

— ...что тут непонятного-то? Отчего народ на выборах прокатил демократов? Опыт у него есть. Народ за последние семьдесят лет до конца понял вранье существующей власти. Преданный своим государством, равнодушно взирал на развал бывшей империи. Повернулся к ней многомиллионной задницей. Вот вам. Нечто похожее случилось и теперь на выборах. Веры не стало. Устали.

— Что верно, то верно. Но подожди, Витек, маленько, дай мне сказать о вещах попроще, раз директор у нас.

Я смотрю на бойкого мужичка — вроде не наш, не заводской. Либо из подрядчиков, либо новенький из сварщиков.

А тот бросил от азарта, не докурив, папиросу. Весь в себе, глаза раскосые, движения рысьи. Коготки спрятаны, но о них догадываешься сразу. Кажется, появился новый местный вожачок.

Я заметил: в углу сидит Скорпион, ухмыляется, довольный, мотает на ус. Кивнул мне одобрительно головой.

Между тем ниточка разговора уже потянулась:

— Товарищ директор, хочу заметить, что руководство не торопится проявить себя, облегчить жисть народу.

— То есть?

— Сегодня дефицит налички, так?

— Так, — отвечаю.

— А вот соседний нефтеперерабатывающий завод второй раз дает зарплату бензином, а трикотажная фабрика — майками и трусами. Доколе ждать нам? Коль на нас денег не напечатали?

— Чего ждать? — подыгрываю я. — Мы расплачиваемся одеждой, сахаром, маслом.

— Не то это, скучновато. Убедите городскую администрацию, пусть скоординирует директоров.

— Хотите новый почин выдвинуть?

По взгляду понял: он оценил мою догадку, почувствовал во мне партнера в своей игре и ему надо довести ее до конца:

— Надо, чтобы колбасный цех выдавал получку колбасой, тепличное хозяйство совхоза — огурцами, а наш завод — естественно, спиртом. Два раза в месяц — по баклажечке! После борьбы за трезвость хорошее покаяние перед народом. Вот вам и долгожданный коммунизм. В отдельно взятом городе. Мечта! Правда? Выпить и закусить! Что еще надо?

— Любите выпить?

— И закусить тоже. В меру нельзя, что ли?

Смотрит из глубины своих щелочек-глаз смело и пытливо. Он расположен к разговору, идет на диалог, ему это надо.

Продолжаю помогать ему:

— Ну в меру и я не против.

Чуть переиграв, ударил рукавицей по брезентовой штанине:

— Во! Люблю таких. Без резьбы.

«Сам-то ты какой? Посмотрим», — подумалось мне.

— Хотите я вам за хороший разговор подарок сделаю?

«Черт, куда ведет меня этот то ли местный Теркин, то ли маленький Бонапарт?» — соображаю, глядя на окружающих. Все ждут продолжения. «А, была-не была», — думаю. И вслух:

— Ну, раз есть такое желание, куда деваться?

— Коль не против выпить, значит и тосты любите?

Я согласно киваю головой.

— А знаете ли требование к тосту, так сказать, ГОСТ на него?

— Научите.

— Слушайте меня, пока жив, и учитесь, — он выдвинулся на самую середину курилки, несколько зависнув над корытцем с окурками, и вдруг голосом, ставшим звонким и молодым, отчеканил:

— Тост должен быть простым по конструкции и емким по содержанию, как бюстгалтер! Вот.

Курилка в миг превратилась в театр — все разом зааплодировали.

Мой собеседник был явно доволен. Его оценили так, как он этого хотел.

Когда аплодисменты смолкли, Скорпион подкинул реплику:

— Часть аплодисментов и Ваша, гендир!

— За что?

— Вы же вытянули из нашего новичка такую красоту! Он до вас от-малчивался. Все думал о чем-то.

— Наверное, формулировал критерии, — подсказываю я, направляясь к выходу.

- Заходите чаще.
- Непременно, – обещаю я.

В пятницу состоялось совещание у заместителя главы администрации города. Оно было посвящено криминогенной ситуации. Совещание началось на ноте, которая характерна для тех лет, когда проводили партийно-хозяйственные активы. Докладывал начальник городского отдела внутренних дел. Жаловался на жизнь. Преступность не снижается. В нашем стотысячном городе каждый месяц происходит два убийства. Сильно увеличилось количество квартирных краж. Не хватает около 30 милиционеров, а 15 человек надо бы уже увольнять за нарушения, да никто не идет на эту работу. Жаловался на то, что не успевает оперативно действовать, принимает только сведения и информацию о случившемся. Оснащения, автотехники нет. При поступлении сигнала о преступлении в другом районе не на чем выехать, ждут, когда приедет ранее выехавшая бригада. Прокурор города, выступая, пенял на несовершенство законов, на то, что законы не направлены на защиту личности, а поэтому часто приходится преступников выпускать, не хватает доказательств, и прочее, и прочее.

Судья жаловался на нехватку материального обеспечения, столов, стульев. Не хватает судей так же, как и не хватает следователей, потому что низка зарплата, а работа сложная.

Началось обсуждение. Я высказался в том плане, что пора бы уйти от такого характера проведения совещаний. Надо иметь конкретную программу. Да, законы несовершенны, техники мало. Раз многие вопросы решаются наверху, надо выходить наверх. Надо все смотреть детально. Когда я заявил, что нет конкретной программы, то получил отповедь со стороны заместителя главы администрации города. Оказывается, программа есть. И непозволительно говорить о ее отсутствии. Это было сказано категорично, повышенным тоном, неуважительно. Я не стал спорить, поскольку понял, что человек сорвался, как сорвался и я сам недавно на одном из заводских совещаний. Обстановка настолько серьезно накалена, так много всего изменяющегося и нестабильного, что порой нервы не выдерживают. Я решил не реагировать на случившееся. Совещание кончилось. Кстати, обнаружилось, что действительно подобие программы было, но она безнадежно отстала от жизни.

...Уехал я с совещания с тяжелым сердцем. Со мной за последние два-три года вообще так никто не разговаривал, тем более, что при разговоре присутствовало много руководящих работников города. Когда

меня грубо оборвали, была гробовая тишина, все сидели понурясь, понимая, что происходит. Переживали.

Рабочий день в понедельник начался с того, что в половине девятого позвонил заместитель главы администрации и очень вежливо и тактично, выверенными фразами извинился передо мной за то, что произошло, что тон его разговора был недопустим и вести себя так он не должен. Затем заявил о намерении извиниться передо мной в присутствии тех, кто был на совещании. Очевидно он два дня переживал. По моему, у него как у руководителя есть неплохое будущее. Надо отдать ему должное, он снял тяжесть с меня и с себя. Раньше начальство вело себя иначе, извиняться не торопилось.

Начинают сдавать нервы у многих. Тяжелая атмосфера на работе, в обществе, в быту. Подспудно идет накопление раздражительности, нервозности, связанное с неудачами в нашем реформировании. Повальным было заболевание сахарным диабетом воинов Наполеона, когда он бежал из Москвы. Удрученные безысходностью своего положения, они заболевали от гнетущей обстановки, от беспросветности будущего. Я не знаю, врачи, специалисты делают ли сейчас такие анализы, и вообще кто-то интересуется состоянием человека в такой стрессовой ситуации. Думаю, что в подобной обстановке нужны какие-то меры. Конечно, в психологическом плане, социальном требуется общенациональная идея, идея возрождения России. Она должна быть сформулирована достаточно четко, служить материальному строительству общества, но, как воздух, необходима и для созидания духовного стержня нашего народа. Нельзя, чтобы все были в угнетенном состоянии.

В пятницу получил телекс, которым был поставлен в известность, что энергетическая комиссия подготовила предложения по повышению цены на электрическую и тепловую энергию на 40 процентов выше прежних. Это — удавка для нашего завода. Я говорю: «для нашего». Потому что практически вся нефтехимия области уже подвержена развалу. Я как-то еще надеялся на здравый смысл. Сейчас нас спасет только резкое повышение курса доллара к рублю.

Что такое прыжок с парашютом?

Это пальцы разжавший Господь

Отпустил по неясным маршрутам

Наши души, а также и плоть.

О чем это у Константина Ваншенкина: о нашем будущем или о настоящем? Или — о нас вообще?

На заводе много говорят о статье в «Комсомольской правде» за 22 января, в которой обнародованы аттестат Виктора Степановича Черномырдина и ведомость вступительных экзаменов в институт. Оказывается, мы учились в одном институте — Куйбышевском индустриальном. И поступали одновременно — в 1962 году. Интересно, что решением Ученого совета Самарского государственного технического университета нам одновременно присвоено звание почетных профессоров.

Все напирают на то, что мало у Премьера блестящих оценок. Да, аттестат мог быть лучше. Но ведь не один аттестат зрелости определяет судьбу человека. Для того, чтобы быть хорошим специалистом в последующем, требуются и другие качества. Зачастую проявляются они значительно позже. Много посредственных оценок на вступительных экзаменах. Первый — первоначально сдан на «неуд», повторно получено «удовлетворительно». Все это любопытно, но не более. У меня в памяти очень много людей, которые заканчивали институты (я над этим давно задумывался) с красными дипломами и терпели фиаско на производстве. И давно для себя отметил такой феномен: люди, которые учились в институте достаточно средне, позже проявляли себя весьма успешно. Те, кто учился неважно, просто порой вынуждены были учиться посредственно: кто-то материально был не обеспечен — подрабатывал, кто-то относился к учебе слегка вальяжно, понимая и ценя в себе резервы, которые можно всегда включить, если необходимо будет усердие, трудолюбие и обнаружится цель.

...Невольно вспомнилось, как я сдавал вступительные экзамены.

Никита Сергеевич Хрущев объявил всеобщую химизацию народного хозяйства. Она должна была стать составной частью коммунизма: после советской власти плюс электрификации. Это был период всеобщего подъема. У меня созрела мысль поступить на химико-технологический факультет, хотя понятия не имел, что это такое.

Я учился в сельской школе неплохо. Все выпускные экзамены, кроме английского и астрономии, по которым были четверки, сдал на пять. Хотелось поступить в летное училище, но из-за слабости зрения пришлось отказаться. Подал заявление в Индустриальный институт.

Приемная комиссия химико-технологического факультета заседала в конце спортивного зала. До нее надо было пройти через огромный зал. С боков вдоль стен стояли столы других приемных комиссий. Я сдал документы и с легким сердцем повернулся и пошел назад. И тут увидел то, чего не видел раньше. Оказывается, на доске объявлений каждого факультета была вывешена справка о количестве претендентов на место.

Так вот, на химико-технологическом факультете на мое отделение претендовало восемь человек на место. Я тут же просмотрел остальные факультеты. На нефтяном было 1,7.

Я вернулся к своей приемной комиссии и потребовал назад документы с намерением передать их на нефтяной факультет, где был в четыре раза меньше конкурс. Члены комиссии начали шушукаться и затем заявили мне, что не отдадут мне мои документы, ибо им не понятно, почему я беру их назад. Я в лоб, не мудрствуя, заявил:

– На нефтяном факультете меньше двух человек на место, а здесь восемь. Я лучше туда пойду, там я наверняка поступлю.

Члены комиссии вновь пошухукались. В аттестате были почти одни пятерки. Мне твердо заявили, что документы я не получу. Я сделал еще несколько попыток забрать аттестат. Они настояли на своем, заверив меня, что зря волнуюсь, с такими оценками я уже почти студент. Я сдался. Но поступил я не так уж и легко. Сдал физику и математику на четыре, химию – на пять. Всего тринадцать баллов. Проходной балл – четырнадцать. Но по каким-то непонятным тогда мне законам меня и еще двух парней пригласили в деканат, посмотрели наши оценки, поговорили с нами и объявили, что нас берут.

Мы выпускались в 1967 году. У нас была группа так называемых совмещенников. Что это значило? Мы поступили на дневное отделение института, и после экзаменов всей группой поехали работать на завод – учениками аппаратчиков в цеха. Некоторое время спустя мы сдали экзамены на допуск. У меня было три или четыре допуска на разные рабочие места. Так длилось полтора года и все это время мы учились на вечернем отделении. Я работал на производстве полиэтилена. Конечно, было все вновь, все интересно. Производство новое, немецкое. Тут мы действительно узнали, что такое нефтехимия. Когда я сдал в 1963 году зимнюю сессию, была возможность остаться на вечернем факультете или просто уйти работать на завод. Но я продолжил учебу на дневном отделении, хотя и без особого рвения, порой даже думая уйти из института. И не из-за того, что трудно учился. Учеба давалась легко. Я даже удивляюсь, как можно в институте учиться тяжело. Хотелось какой-то необычной профессии. В этом был весь вопрос. Окончательно я перестал им мучиться только где-то на третьем курсе.

Уже два дня – субботу и воскресенье я провожу в лежащем положении, передвигаясь еле-еле. Случилась неожиданное. В субботу утром пошел вытряхивать половики и ковер. Прекрасная погода, снег. Нагнув-

шись, сметал снег с ковра. Вдруг будто стрельнуло в поясницу. Тут же инстинктивно попытался разогнуться и не смог. Я застрял в положении, похожем на букву «Г». По рассказам слышал, что бывают такие случаи. Не растерялся, нашел опору, прислонился. Подождал, может кто-то пройдет. Подошли. Я попросил сходить к жене, сказать о случившемся. Стал мерзнуть и чтобы не простудиться, в той же позе буквой «Г», метров сорок прошел до подъезда. Вышла жена. По лестнице я еле поднялся, пришли сын, невестка. Сделали растирание, грелку приспособили, напоили чаем. Все в полусогнутом состоянии. В понедельник вряд ли выйду на работу. От чего это могло быть? Последняя неделя была очень напряженной. Но ведь они все напряженные. На этой неделе мы встречали иностранцев, заключали с ними договора. Был контракт по реконструкции одного из производств. Были моменты, когда завод мог остановиться.

В пятницу днем – наскок нового поколения коммерсантов, желающих торговать продукцией предприятия. И все тоже нервно.

Неделя должна была начаться с калейдоскопа важнейших событий, а я сейчас лежу около своего черного ящика и думаю: смогу ли сесть утром в машину, да еще надо в заводоуправлении пройти по лестнице на второй этаж. Стоит ли рисковать? И насколько комично все это будет смотреться? Очевидно дня два придется проваляться в постели.

Четвертого числа должна быть конференция по итогам года по колдоговору, 20 февраля – мой день рождения – пятьдесят лет, 26 февраля – первое собрание акционеров с достаточно серьезной повесткой дня, одним из вопросов которой является избрание генерального директора акционерного общества. Предстоит поездка во второй декаде февраля в Москву на встречу с представителями одной из бельгийских фирм по поводу реконструкции установок, для окончательного подписания контракта. Если все будет удачно, мы сможем увеличить прибыль на тридцать процентов. Болеть некогда.

Было время, когда достаточно долго болел. Я работал начальником производства. И случилось так, что получил травму. Это произошло на Волге в летний солнечный день. Лодочная авария. В результате – рваная рана левой ноги. Меня доставили на катере в город. Сработали оперативно и на берегу уже ждала скорая помощь. Минут сорок пять шла операция. После этого достаточно долго пролежал в постели. Начал потихоньку ходить с костылем. И, не дожидаясь того, чтобы рана затянулась, сам добирался до поликлиники на перевязку. Вышел на работу без ведома врачей. Через день явился на перевязку к медсестре. Все было

нормально. Но долго не зарастала рана. В нашем профкоме объявилась горящая путевка в Сочи в пансионат «Бургас». И поскольку отпуск был не использован, мы с женой поехали на юг в надежде, что быстрее зарубцуется рана, тем более, как многие говорили, соленая вода хорошо действует на заживляемость.

Помню один из августовских дней 1978 года. Жара уже спала, стоял прекрасный бархатный сезон. Жили безмятежно. Я ходил, опираясь на палку. Прошла неделя. Мы отыскивали уединенный закуток на пляже, лежали, немного отстранившись от всех. Набирали винограда, пива и читали книги. Я задался целью перечитать то, что любил в детстве. В библиотеке взял «Казак» Толстого, «Хаджи Мурат» Толстого, «Степь» Чехова, «Поединок» Куприна.

В начале второй недели, проходя мимо почты (там такие кармашки висят в коридоре пофамильные) и инстинктивно сунув руку в кармашек на букву «С», вынул три телеграммы. Все они были в мой адрес. Требовалось срочно явиться на работу в связи с аварией на заводе. Подпись главного инженера. В тот же вечер я созвонился с ним. Оказалось, что в одном из цехов моего производства произошел сильный взрыв, цех почти полностью выведен из строя. Идут восстановительные работы.

Я метнулся в аэропорт, в железнодорожную кассу. Билетов на ближайшее время не было. Пошел в Сочинский горком партии. Был выходной. Попросил дежурного помочь достать два билета. Он меня даже не стал слушать.

В конце концов нам с женой удалось купить билет на самолет в Горький. Из Горького добрались на автотранспорте. Я ехал на свое производство, я был его начальником. Неизвестно, какие жертвы, потери. Было желание скорее явиться на место.

Оказалось, что уже ведутся работы по разборке завалов. Подключено министерство, объединение. Приехал бывший директор нашего завода Занин Кирилл Васильевич. В первый же день меня назначили начальником цеха на весь период восстановления, не освобождая от должности начальника производства. Так я и был на весь период аварийных работ на двух должностях. Срок на восстановление был дан короткий. К счастью, при взрыве и пожаре серьезных жертв не было. Три человека обгорели, причем, двое получили легкие ожоги. Все сложилось относительно благополучно.

О восстановительных работах говорить сложно. Это работа на износ, круглые сутки. Но трудность была не в этом. У меня не закрылась рана, из нее постоянно сочилась жидкость, и я оказался в непростом положении. Я не мог отказаться от назначения, потому что это было бы

похоже на признание своей неспособности в необходимый момент сделать то, что нужно. Знал и понимал, что я один из тех, кто может успешно возглавить восстановление; несколько лет работал начальником этого цеха, знал технологию, людей.

Никому не сказав о своей проблеме, взялся за работу. Надо было перевязываться. Не стал ходить так часто к медсестре, как раньше. Задача состояла в том, чтобы не падала повязка с ноги. Время было спрессовано, много решений, масса народа, сотни монтажников. А у меня на ходу временами спадала повязка на ботинок и я ее подхватывал. Неудобно было...

В один из дней я решил съездить к медсестре и основательно поговорить с ней и врачом. Почему рана не заживает, ведь после операции прошло более месяца? Доктор завел меня в процедурную, снял повязку, и тут я услышал ругань и проклятия. Все это наполовину с нецензурной бранью. Успокоившись, пояснил, что в мою рану после операции были вставлены три резиновые трубки, чтобы дренировалось все то, что скапливается в ране. Сестра, которая должна была в свой срок вынуть эти дренажи, вынула только два, а третий забыла или не увидела. Все тридцать дней в ране была четырехсантиметровая трубка из красной резины, которая не давала зарастать тканям. Когда он вынул эту несчастную трубку и показал мне, то было чему удивиться. Она была практически изжевана, вся в дырочках, организм ее переваривал. Наверное, еще бы месяц и эта трубка рассосалась. После того, как вынули дренаж, через неделю рана затянулась и сразу зажила. Так что у меня появилась возможность благополучно восстановить цех...

И мы его восстановили. Хотя в отпуск я так и не сходил. И после этого еще четыре года подряд не отдыхал. О том, что восстанавливал я цех с повязкой, с незаживающей раной, до сих пор знает только жена, ну и теперь мой черный ящик.

Вспомнилась картинка из далекого детства. Я сильно болел, простудился. Который уж день лежу в постели, на день перебираясь в прохладную, выложенную из самана погребницу. Она на меня производит чарующее впечатление. За ларем я нашел почти новенькую книжку «Казачьи» Льва Толстого и, потрясенный красотой и яркостью открывшейся мне жизни, забываю и про болезнь, и про то, что с ней связано. Вообще эта мазанка колдовская. Осенью, забравшись на верх ее, под крышу, за сушеной густерой я обнаружил под разным деревянным хламом неопределенной формы предмет, завернутый в изъеденный мышами мешок. Потянул на себя – боевая винтовка! Потом с дедом я имел разговор и пообещал,

что трогать винтовку не буду. Но я уверен: ее там уже нет. Дед – человек мудрый, он обязательно сделает все правильно. В этом я убеждался не раз...

Вот послышались шаги во дворе, это идет бабушка, я это чувствую всегда, не понимая, как объяснить. Она входит с небольшой корзинкой, накрытой белой в горошек косынкой.

– На вот, выздоравливай быстрее, гостинец тебе.

Открываю корзинку, она полна яблок.

– Откуда, бабушка?

– Ешь, разве не все равно?

Она с напускным равнодушием глядит на меня. А я сразу догадываюсь, откуда яблоки. Они – краденые! Если бы они были куплены, то их было бы два, ну три, не больше. Яблоки из Самары редко привозили, не на что было покупать. А здесь – целая корзина! Яблоки в нашем селе растут только у одного Светика – сына давно умершего бывшего земского врача. Но он скряга, никого никогда не угостит. Мы давно с другом Мишкой стоворились тайком от родителей забраться к нему в сад. И не столько от желания поесть яблок, сколько от нелюбви к их хозяину.

– Бабушка, они же...

У меня не поворачивается язык сказать главное слово.

– Сейчас не в этом дело. Ешь и поправляйся. Бог простит.

Она тоже не говорит главное слово. Я, боясь обидеть бабушку, беру антоновку и крепко впиваюсь в нее зубами.

– Вот так-то, – тихо заключает бабушка.

Я хрумкаю яблоко и чувствую, что нас с бабушкой теперь связывает что-то тайное, о чем я никогда не скажу никому, и за которое никогда не смогу плохо подумать о бабушке.

– Когда мой первый сыночек Петенька заболел сахарным диабетом, я его чем только не лечила, но не получилось тогда. Не стало Петеньки.

Помолчала. Потом сама себе сказала:

– Бог простит.

Она придвинулась ко мне и погладила мою голову своей большой шершавой ладонью. Это для меня было неожиданностью. Я не помню, чтобы кто-то нас в детстве гладил по голове или целовал. Такого не было. Но зато нас никто никогда и не бил.

...Я лежал на старом, самодельном диване в окружении ларей с мукой, пшеницей, в домовитом запахе луковых плетениц и овчин.

Свет пробивался в мазанку через крохотное оконце, которое я свободно мог закрыть своей фуражкой, что я иногда и делал, погружаясь в блаженный волнуемый прохладный мрак и тишину. Правда, тишину иногда

нарушали осмелевшие мыши, но шугать мне их не хотелось. Залетевшая большая и противная зеленая муха сходу запуталась в изголовье в пау- чьих сетях, и я с нетерпением ждал развязки события. Я мог бы предотвратить кровавый исход, тем более мне не очень приглянулся шустрый изобретательный умелец-паук. Но мне нравилась роль сторонне- го созерцателя – в том была своя прелесть. Не хотелось нарушать спо- койствия царства, паучье-мышьиного благополучия. А может, был я так сильно слаб от болезни...

Через неделю я выздоровел. Всю эту неделю дух антоновских яблок витал в мазанке попеременно с бабушкиными рассказами из ее жизни, де- дом Ерошкой, моим дедом, пахнувшим всегда сеном, сетями, передающим приветы от Карего – старого мерина, моего друга, оставшегося на да- леком лесном кордоне в Моховом.

В одно из воскресений я упросил деда и бабушку взять меня с со- бой на Утевский базар. Я любил этот многошумный, разноцветный празд- ник. Там всегда происходили всякие неожиданные события. Случилось одно и в этот раз. На обратном пути уже, когда мы отъехали в своем гремящем фургоне от базара метров сто, дедушка, что-то приметив на обочине в пыли, остановил лошадь, слез с фургона. Через минуту он вернулся к нам, держа в руках огромную пачку денег, кое-как завязан- ную в пропылившийся серый платок.

– Ванечка, это ж беда какая, потеряли...

– То, что потеряли – это точно, только вот: кто?

– Много? – бабушка протянула руку к свертку. – Батюшки, да тут их ужас сколько! Убьются теперь до смерти от горя. Надо что-то де- лать.

– Кто сегодня коров да быков продавал, а? – дед начал вспоми- нать: – Горюшины корову яловую продали, они еще на базаре, Захар Гу- рьянов – быка полуторника приводил, но он сидит у сапожника Митяя разговоры разговаривает, было несколько зувских, но они по другой дороге должны ехать.

– Лукьян Янин, а? – Бабка, удивившись своей догадливости, обра- дованно смотрит на нас.

– Ну, точно же, Лукьян с Андреем быка продали. Вот неумехи. По- ехали к ним.

Когда мы подъехали к Яниным, они оба, отец и сын, выезжали со двора.

– Здорово, Лукьян, – дед приподнял над головой картуз. – Далеко собрался?

— Сам не знаю куда, деньги Андрей обронил, а где, не ведает.

— На, возьми твои деньги, — дед протянул серый сверток.

Лукьян как-то даже внешне и не удивился. Взял сверток, задумался, внимательно посмотрел на нас всех поочередно, хмыкнул и молча пошел вглубь двора. Вскоре появился с черным вертявым ягненком.

— На, Иван, от души, у меня еще есть.

Но бабка моя опередила:

— Ваня, не бери, не надо. Лукьян, спасибо тебе — хороший ты мужик, но нам чужого не надо.

— Ну раз так, то хоть с поллитровкой-то приду вечером. Не прогонишь?

— Не прогонит, не бойся, я вступлюсь, так и быть.

И наш фургон загромыхал от Яниных ворот под залиvistый лай соседской собачонки. Дорогой мне вспомнились яблоки из чужого сада и писклявый ягненок Яниных. А ночью, когда я спал уже не в мазанке, а в избе, мне приснилось, будто этот ягненок ест антоновские яблоки и озорно мне подмигивает. А потом мы будто бы поехали на Самарку. На любимой мной больше всего в лесу песчаной отмели, знойно пахнущей смесью запахов краснотала, речных лопухов и янтарного цвета песка, на отмели с загадочным названием «Платово» дед Ерощка, давший мне пострелять из найденной мной винтовки, смеялся шумно, добродушно и заразительно...

Я проснулся и мне стало весело и легко. Показалось, что весь мир наполнен моим выздоровлением.

ФЕВРАЛЬ

Уже неделя, как работаю, несмотря на то, что нахожусь на больничном. Два дня назад была конференция по итогам коллективного договора на год. Я просто не мог не быть. Кроме того, мы накануне проведения первого собрания акционеров нашего общества.

Что можно сказать об общезаводской конференции по подведению итогов? Год мы завершили неплохо. Сделали все, что могли, или почти все. Имели прибыль, несмотря на то, что наши потребители оплатили нам всего шестьдесят процентов продукции. Рентабельность составила восемнадцать с половиной процентов. Мы допустили незначительный процент падения объемов производства. Не распродали социально-культурные объекты. Все они работают.

Сама конференция прошла выдержанно, в рабочем ритме. Выступлений было много, но все были достаточно конкретны. Не было ни шумливости,

ни сварливости, ни провокационных действий. Народ — как жесткая пружина. Все видят, что творится неладное в народном хозяйстве, и пытаются это понять. Коллектив стабильный, хороший, верящий руководству завода. Способствовало деловой обстановке на конференции и то, что я, по своему обыкновению, за неделю до нее в нашей заводской газете напечатал доклад не только по разделам колдоговора, а и вообще по ситуации, касающейся настоящего и будущего завода. Эта статья под заголовком «Испытание на прочность» привентивно дала ответы на многие вопросы. Удалось неспешно поговорить о нашем настоящем и будущем.

У нас традиция: раз в два месяца проводим «прямую линию». Собираю у себя всех главных специалистов, начальников отделов, и на весь завод по радио ведем разговор о заводских делах. Любой заводчанин может задать вопрос по телефону, и мы отвечаем. Все транслируется сразу, в каждый цех через радиоприемник. Обычно такая процедура длится два, два с половиной часа. А в этом году мероприятия такого не проводил. Слишком изменчива была во всем политика.

Очень трудно было говорить и обещать что-то конкретное на ближайшие недели. Жили, может быть, не одним днем, но многое в течение двух-трех недель менялось. Информация стала самой дорогой вещью. Она может здорово помочь в работе, но и сильно помешать. Сейчас у нас много намерений, контактов с фирмами, соглашений. Все это в преддверии акционирования, инвестиционных торгов, продажи акций. Настало время осторожного обращения с информацией. И мы пока перестали проводить «прямую линию».

Вопросов на конференции было много. Я отвечал, как думал. А думаю так: мы подошли практически к той черте, за которой зияет пропасть. И это в общем-то объясняется тем, что у нашего общества все-таки нет промышленной программы. Она должна быть в ближайшие полтора-два месяца обнародована, иначе народное хозяйство не выдержит хаоса. Она должна обязательно использовать элементы планового хозяйства. Я не думаю, что это звучит консервативно, как отступление назад, но элементы планового регулирования в народном хозяйстве должны быть. Я думаю, что естественным и необходимым должен быть комплекс мер государственного регулирования образования цен в переходный период. Надо определить приоритеты в государственной политике. Нужны отраслевые программы. И отраслевые программы должны работать через систему льгот. Каких льгот? По кредитованию, через систему прямых бюджетных ассигнований, освобождения от налогов. Должны создаваться условия для инвестирования, для реконструкции действующей

щих производств. Необходимы стабильность и партнерство. В Правительстве должны работать не романтики, а сосредоточенные прагматики, я так бы сказал.

Коллектив понимает, что он ограничен в своих действиях. Забастовка? Нет смысла ее проводить, этим еще больше усугубишь свое положение. Это все прекрасно понимают и знают через каналы информации — из радио, телевидения.

Но свое отношение к происходящему мы должны были выразить обязательно. И мы выразили его в Обращении к местной администрации, к Правительству. Коллектив просил рассмотреть сложившуюся ситуацию в народном хозяйстве и разработать промышленную программу, определить уровень совокупного дохода налогоплательщика, ниже которого мы в своем реформировании не должны опускаться.

Когда кончилась конференция и я зашел в заводоуправление, попала навстречу старая работница, с которой работал еще лет двадцать тому назад в одном из цехов. Я — начальник смены, она — аппаратчик. Лет десять уже на пенсии. С горечью, но бодрясь, сказала:

— Вот, приехала на завод что-нибудь купить. В городе я себе не могу позволить многого.

— Что, так уж плохо?

— А где ж хорошо? Пенсия — тридцать тысяч, муж не работает. Ударил инсульт, лежит, отнялась речь...

Отличная работница. Человек неунывающий. Но когда прощалась, обронила:

— Что же с нами будет? С детьми что будет? Кому они нужны, где будут брать жилье, куда пойдут работать?

Что мне было на это сказать? Раньше я мог ответить почти на все вопросы, умело и с достоинством. Сейчас ее вопросы повисли в воздухе.

Наши партнеры требуют моего приезда в Брюссель для подписания контракта. Я уже две недели отказываюсь. Приглашаю в Москву, они почему-то упрямятся. Ситуация такова, что некогда ехать даже в Москву, настолько серьезно все то, что творится на заводе и с заводом.

Тот, кто критикует руководителей за то, что они часто ездят за границу, просто не знает ситуации. Директор, главный инженер не могут разъезжать часто. Им, стоящим у конкретных дел, всегда некогда. Да и нельзя надолго оставлять на автопилоте действующий завод. Поэтому, работая с многими фирмами (у нас большой перечень продукции и

широкие связи с заграничными партнерами), постоянно приходится уклоняться от поездок за рубеж. Вот и ездят мои заместители чаще, чем я.

Смонтировали три мощных водяных насоса и несколько теплообменников. На теплообменники для нагрева воды подали свой заводской бросовый пар – получилась установка по отоплению завода. Все работы вели без проекта, торопились. Включили схему в работу вчера вечером. Превосходно. До сотни цеховых помещений и заводоуправление может теперь обходиться без услуг энергосистемы. Эффект экономический и, что очень важно, психологический виден всем.

Главный энергетик Вениамин Александрович Ковальский выглядел сегодня именинником.

Проблемы, проблемы, проблемы. Весь мир соткан из них.

У моего многоопытного водителя Алексея – своя. Его преследует женщина. Вечером, когда он ставит машину в гараж, она появляется, как по расписанию.

– Не могу больше, не знаю, что делать, – жалуется он.

– Чего ж она хочет?

– Ребенка, – как-то буднично и вяло отвечает Алексей.

– Не понял?

– Хочет, чтобы я сделал ей ребенка.

Я сбит с толку, но постепенно все проясняется.

– В начале думал, что просто погулять хочет, турнуть хотел – не до гуляний мне сейчас. Оказалось сложнее: с мужем не получается ребенок, семья разваливается. Чтобы спасти ячейку общества, меня определили в доноры. Так и сказала: «Будешь всего лишь донором». Оказалась порядочной, страшно боится огласки. Я все проверил: живет в соседнем квартале. Имя красивое – Лена.

– Ну, а ты? Испугался? – неудачно пошутил я.

– Я? Я не ханжа. Но так тоже не могу.

– Что же делать?

– Давайте оборудуем гараж в другом месте. Хотя бы временно, а?

Смотрит на меня с непривычной для него беспомощностью.

Сегодня, двадцатого февраля, день моего рождения. Мне пятьдесят лет. Съезжаются родственники, будет человек тридцать. Замечательно. В пятницу у нас был организован ужин. Я пригласил своих помощников, главных специалистов, тех, с кем начинал работать на заводе в 1962

году. Набралось сорок человек. Были московские гости. Из Тольятти приехали шесть человек из моей студенческой группы, во главе со старостой. Повеяло молодостью. Вечер прошел замечательно, красиво, празднично. Все стосковались по хорошему застолью, по встрече в непринужденной обстановке. Приехал один из бывших директоров завода. Поздравил меня с тем, что не сдаюсь, защитил докторскую, стал членом-корреспондентом Российской Академии. Оценил это так, что моя персона соответствует тому, что требуется сегодня от руководителя.

Конечно, это юбилейные речи, но приятно слышать.

Детство – самая прекрасная часть моей жизни. Оно до сих пор подпитывает меня и дает силы. В каких бы ситуациях я ни оказался, опора моя – в детстве. Это оттого, что меня окружали добрые интересные люди. Я считаю, что мне просто повезло, что родом я оттуда – из деревни. Надо родиться в сельской местности и лет до десяти жить там. Именно в этом возрасте формируется характер, мировоззрение, и человек начинает вполне осознанно понимать живую душу природы. В селе и смерть, и рождение – на виду. Так было раньше. Ничто не меняется и теперь.

Детство помнится мне и тем, как нас воспитывали. К детям относились, как к взрослым. И забот по хозяйству у нас было как у взрослых. Трудиться физически приходилось так много, что порою это изматывало. Но это был единственный способ добывания хлеба насущного: через мозоли и постоянную нехватку времени на книги, рыбалку, охоту. Но тем они (книги и рыбалка) и были привлекательны, что давались, как награда.

Всех, кого уже нет в живых из моего детства, я помню по имени. Образы тех, кто окружал меня, видятся зримо до такой степени, что в памяти живут отдельные фразы, сказанные кем-то из моего окружения лет тридцать-сорок назад. И то, что я не успел сказать тем, кого любил, с кем дружил, копится во мне, ищет выхода. Возможно, поэтому я так привязан к селу, постоянно чувствую себя его должником. Хочется не только с каждым жителем села поздороваться за руку, но с каждым деревцем обняться, как с живым свидетелем нашей общей жизни.

Первая рабочая неделя после моего юбилея. День рождения пришелся на воскресенье. Не хочется верить, что тебе пятьдесят. Но тем не менее вся пятница прошла под флагом поздравлений.

Меня иногда спрашивают:

– Профессия директора, руководителя – творческая или нет?

Отвечаю:

— Творческая, и особенно сейчас, когда нет установившихся понятий, недостаточно нормативных документов, невнятная финансово-экономическая политика. Творческая в том смысле, что приходится очень много думать.

Я не раз в своей практике убеждался, что нерешаемые проблемы вдруг становятся разрешимы. И это зависит от того, как напряженно и неотвязно ты думал над поиском выхода. Иногда решение возникает в самый неподходящий, казалось бы, момент. Бывает и во сне, это уже хрестоматийно. Обидно только, что некоторым кажется, что найденное тобой решение тебе дается запросто, что это определено директорским креслом. Это очень наивно. Хотя, конечно, опыт — великое дело.

Зато как сладки моменты, когда сидишь в машине после вдруг осевшей тебя мысли и чуть ли не вслух готов воскликнуть с восторгом, как Пушкин:

— Ай да Виктор, ай да сукин сын!

Сегодня еду по нашей центральной городской улице. Шофер Алексей говорит:

— Вот в этом доме жил мой друг, вчера был на его похоронах.

— Болел?

— Нет, купил мебель и обмыл с друзьями.

— До смерти?

— Выходит...

И рассказал подробности. Весь день с друзьями Михаил собирал мебель, неделю назад до этого вселившись в новую квартиру. Вечером, изрядно уставшие, закончив сборку, сели на кухне поужинать. Как водится, выпили. Друзья стали добродушно подтрунивать: мало на четверых одной бутылки.

— Действительно мало, — поддержала жена. — Сейчас на углу старушки всюю торгуют, возьми одну, так и быть, санкционирую.

Михаил побежал да что-то замешкался, вернулся, друзья уже ушли.

— Не очень, верно, хотелось, раз не дождались. Я не гнала. Жена Виктора позвонила, он засобирался, за ним остальные.

Михаил разделся, прошел на кухню, сел и то ли от расстройства, то ли желая заглушить усталость, налил почти полный стакан и выпил.

В бутылке оказался метиловый спирт.

Все же пришлось срочно лететь в Москву со своим заместителем по экономике на встречу с представителями бельгийской фирмы для подпи-

сания контракта. Мы нашли технологию очистки нашего основного продукта с затратой пара в десять раз меньше, чем на строящейся сейчас установке. Единственная такая установка в Европе работает по американской технологии в Италии.

Контракт подписан. До 1 сентября пятнадцатью грузовиками должно прийти оборудование. Поставит это оборудование сама фирма, мы же должны за осень его смонтировать. Очень много в этом году будет зависеть от нашей оперативности, поскольку новая технология позволяет на тридцать процентов поднять прибыль от продажи продукции за границу.

Был в одном из отделов соседнего завода и оказался свидетелем такой сцены. При мне попросили к телефону сотрудницу отдела, женщину милостивую, современную и очень энергичную. Звонила ее мать. Мы невольно слышали разговор. Мать жаловалась на сына этой женщины, то есть на своего внука. Внук, десятилетний пацан, послал ее, после каких-то замечаний, подальше. Мать тут же потребовала дать трубку сыну:

— Птичка, здравствуй. Что ты там набедокурил? Бабушка сказала, что послал ее. Ты почему молчишь? Ты меня слышишь?

В трубке молчание.

— Молчишь? Ты послал бабушку?

Сын молчит.

— Ты почему себя так ведешь?

Не дождавшись ответа, наша симпатичная мама очень наставительным тоном говорит буквально следующее:

— Ты понимаешь, пока я на работе, зарабатываю средства для того, чтобы тебя кормить, ты позволяешь себе такие вещи, ты бабушку посылаешь... Я тебя кормить за это не должна. Извинись перед бабушкой и скажи, что больше так делать не будешь. Ты понял? Я же тебя кормлю, я тружусь для того, чтобы тебя кормить, а ты так себя ведешь. Как же ты будешь относиться ко мне, когда я буду старенькой? Я тебя кормлю для того, чтобы ты вырос, и когда я буду старенькой, ты бу... Алло! Алло!

Но на том конце уже давно повесили трубку.

Стало страшно за судьбу этого мальчика. Никогда в нашем детстве окружающие, очевидно, повинувшись какому-то внутреннему такту, как бы ни было тяжело, не попрекали никого куском хлеба. Это было самое обидное и самое страшное, что можно было сказать ближнему. И никогда никто не говорил нам, что мы должны, став взрослыми, кормить своих

родителей. Это было само собой разумеющееся. Если в каких-то разговорах эта тема и проскальзывала, то звучала она больше иронически: посмотрим, дескать, как ты будешь себя вести, когда мы состаримся...

Вчера состоялось первое собрание нашего акционерного общества «Нефтехимик». На нем избраны все рабочие органы. Я единогласно избран Председателем совета директоров и генеральным директором общества. Представители областного фонда имущества были явно удивлены этим обстоятельством и тем, что на выборы рабочих органов ушло чуть более часа, без всяких инцидентов и недоразумений. Такое ощущение, что многие понимают: смена собственности (была государственная, теперь коллективная, то есть акционерная) в ближайшее время ничего не изменит. Сейчас важно прорваться через неплатежи, разрывы традиционных связей. Прорваться через смуту. Мне верят, я это знаю и ценю. Многие меня помнят еще рабочим в начале шестидесятых. В памяти сложные моменты восстановления цехов после взрывов, начало восьмидесятых, когда мы стали одним из передовых заводов в министерстве. Нам тогда удалось соединить воедино качество продукции и гарантию поставок.

Не забыть нам всем трудный, но очень важный для завода шаг. С появлением Закона о госпредприятии мы первые в нашей подотрасли вышли из структуры объединения, расставшись со статусом производственной единицы и получив право самостоятельного предприятия. Это было рождение нового коллектива. Мы были горды этим. Прошло некоторое время. Мы создали новые на заводе структуры: финансовый отдел, свою бухгалтерию, отдел маркетинга, жилищно-коммунальный отдел и так далее. И вот теперь новые испытания.

Раньше, при советской власти, были дни политпросвещения по четвергам. Теперь — ежедневно. В курилках. Здесь каждый политолог.

На этот раз я немного опоздал. Когда шагнул в духоту курилки, речь держал Скорпион.

— Жаль, что мы живем не в литературную эпоху, а в политическую, — говорил он. — Мир отравлен политикой. А как было бы здорово наоборот: я выдвинул бы на пост Президента Антона Павловича Чехова.

— Утопист! Чехов бы в Президенты не пошел, — ввернул из дальнего угла Шуруп. — Определенно.

«Боже мой, они все это обсуждают так, как будто Антон Павлович где-то рядом, вышел и сейчас вернется», — подумалось мне.

– Оглянитесь вокруг, – продолжал Шуруп, – интеллигентные люди комплексуют. Пропускают вперед себя тех, у кого больше амбиций, и те неминуемо оказываются у власти. Думают, что политика не для них. Но ведь экономика не существует без политики. Так в чем же дело? Слабо? Тогда, господа, кушайте то, что заслужили.

Он замолчал и внезапно так ловко выстрелил окурком, что тот описал полукруг под низким потолком и влетел к своим собратьям в братскую могилу – стоящее на полу металлическое корыто с водой.

Белобрысый парень с невинным лицом, лениво растягивая слова, дал новый крен разговору:

– Говорят, французы изобрели оргазмометр – прибор для определения пылкости влюбленных. Если женщина пережила оргазм с партнером, на экранчике появляется синусоида, если, стерва, притворялась – линия остается прямой.

– Ну?..

– Вот тебе и ну. Такую бы штуку да для определения правдивости политиков.

– Диман, ты, может, и спец по оргазму, но чтобы экономикой заниматься, надо учебники читать.

Диман как будто только и ждал этого замечания. Сел прямее на лавке, встряхнул плечами, сказал очень уверенно и спокойно:

– Никто еще в мире не переходил от государственной собственности к частной. Есть ли такие учебники?

– Может, и не в учебниках дело, – вступил в разговор тот самый новичок, который в прошлый раз обучал произносить тосты.

– А в чем? – переспросил Скорпион.

– А вот, послушайте быль. Нанимал один хозяин работника и поставил условие: если выполнишь три задания, беру на работу. Первое задание: очистить от валежника и осушить гектар земли за две недели. Работник согласился. Не прошло и недели, а задание выполнено. Второе испытание: сделать плотину через речку, срок тот же. Неделя прошла – вот она плотина, пожалуйста. Третье задание дает хозяин: разобрать полмешка картошки в сарае на три кучки – крупную, семенную и на корм, срок два дня. Прошли два дня. Работника нет. Пошел хозяин смотреть, что с ним. Заходит в сарай: картошка наполовину в мешке, а работник в углу на соломе спит пьяный. Будит его. «В чем дело, почему картошка не разобрана?» – «Дак ведь ее ж каждую нужно вынимать, осматривать и решать, куда какую. Тяжело».

– Критерии не определены, как на тосты, верно? – подталкивает Скорпион.

— Конечно. И это беда для нас всех. Чего, казалось, бы проще: поставить во главу угла самую главную, ясную задачу — обогреть и накормить людей. Я прав? А раз так, то почему эту очевидную истину не сделать девизом нашего общества?..

Вот вам и курилка — уроки политпросвещения.

Когда уходил, Скорпион вызвался проводить меня. Конечно неспроста. По дороге рассказывает:

— Жорка — мой знакомый «новый русский» — купил две иномарки, квартиру, зашарашивает двухэтажный дом на даче и все равно спрашивает меня: «Что бы еще купить?» Не знает, что делать, во что верить. Я ему посоветовал картины покупать. Как ни крути, материальные потребности имеют свои границы, а духовные — безграничны. Третьяков понял это и покупал картины.

Атмосфера в курилке всегда напоминала мне о детстве. Мальчишкой я часто бывал среди артельного люда. Привык. Видел и слышал порой такое, что не каждому взрослому дано. Но дурное куда-то уходило. Радостного запомнилось больше.

Знаю, пока живу, буду помнить свое детство, как что-то пахучее, золотистое, гудящее, зовущее, поющее... То ли это влажная, лоснящаяся спина оседланного мной Карего, то ли ошалевший от ранней весны шмель. Или это грудной, призывный голос витютня в молодом осиннике на Бариновой горе.

Детство... А может, это поющее колесо дедова рыдвана, который, оставляя глубокую влажную колею в песке, съехал с крутого склона на гулкий мост через реку у поселка Красная Самарка и дробно, призывно манил за собой.

Или это — глубокий полуразрушенный колодец, вода в котором вдруг засверкала в полдень от зенитного солнца, и ты, заглянув в него, обнаружил самого себя, недоверчиво вглядываясь и недоумевая: то ли это серебро глубинной воды, то ли твоя седина вмиг сделали колодец светлым и радостным... Не знаю.

МАРТ

Только что вернулся с заседания Совета директоров города, которое было созвано по инициативе главы администрации. Повестка дня: ЧП в акционерном обществе «Утес». Информацию по этому вопросу дал сам участник происшествия, генеральный директор. 28 февраля заседал Совет директоров, готовясь к годовому отчетному собранию, которое

должно было состояться через три дня. Приехали представители со всех регионов России. Четырнадцать человек до девяти часов вечера, когда в комнате отдыха, соседствующей с кабинетом генерального и соединенной с ним дверью, послышался звон разбитого стекла и через несколько секунд произошел взрыв огромной силы. Сейф, находящийся в «темной» комнате, пробило в нескольких местах, холодильник опрокинуло и изуродовало. Стены побило осколками. Была брошена граната, но не в окно, которое вело в зал, где сидели члены Совета, а в комнату, отделенную от общего зала капитальной стеной. Прибывшие соответствующие органы обнаружили под окном чеку от гранаты. Но злоумышленников, как водится, и след простыл. Мы разошлись не в самом хорошем настроении, чувствуя свою неготовность навести порядок.

Он вошел в кабинет и, остановившись у порога, развел руками:

— Секретаря нет, так я прямо к тебе.

Я не узнал его сразу, но потом, когда он поманил из приемной симпатичного загорелого парня и начал объяснять причину своего появления, вспомнил: земляк из моего села.

— Вот дела-делишки, понимаешь, учить — учим, а теперь не нужен никому, возьми хоть ты, земляк, а?

Прошли, сели. Случай для наших дней уже обычный. Сын Роман закончил Самарский государственный университет, получил звание механика, а распределения на работу нет. Начинай жизнь трудовую, как хочешь.

Пригласил кадровика, нашлась возможность принять пока слесарем по третьему разряду. «А там видно будет». Так решили. А порешив, посидели, посмеялись над тем, как мы познакомились лет двадцать назад в Сухом овраге. И враз мой чинный кабинет будто бы раздвинулся, больше стало воздуха, больше запахов, самой жизни.

...Эта забавная история могла бы показаться мне самому неправдоподобной, если бы я не был ее участником. Вынырнув как-то из прохладного лесного оврага на широкую песчаную поляну, потеснившую во все стороны голенастые молодые осинки, я увидел необычную картину. Двое взрослых мужчин катались по траве, сопя и чертыхаясь, усердно мяти друг друга, оставляя за собой спутавшееся разнотравье.

Я сразу же узнал обоих и еще больше встревожился. В таволге возились два человека, которые вот уже несколько лет не признавали друг друга, хранили между собой что-то такое, чего даже самые испытанные поселковые остряки не решались затронуть. Так и жили...

Они расцепились, и я увидел потные, улыбающиеся лица. Оказалось, что присутствую при бурном примирении. Сухой и узкоплечий Сергей Сонюшкин в последний раз приложил с деланной свирепостью свою пятерню к спине Митяги и присел на корточки. опережая противника, готового насесть на него, ловко извлек из кармана портсигар и протянул папироску. Оба расхохотались.

Из неторопливого разговора за куревом я узнал, что произошло. Оказывается, накануне Митяга обнаружил в том самом овражке, по которому я прошел, в обрывистом склоне в кустах волчий выводок. Это редкий случай в то время, так как тогда во всей области сохранилось не более трех десятков волков.

На следующий день он захватил с собой нож и электрический фонарь. Улучив момент, когда волчица ушла за добычей, полез в нору. Свободно протиснулся по пояс, дальше пришлось пробираться, помогая себе ножом. Уже слабый луч фонарика высвечивал волчат, скуливших в дальнем углу расширяющейся вглубь норы, когда вдруг песчаная кромка обрыва обвалившись, полностью закрыла вход в нору. Снаружи у входа в логово зверя остались торчать только митяговские кирзовые сапоги. Напрасно он пытался выбраться на белый свет. Взбугрившаяся на спине куртка завернулась назад над головой, препятствуя обратному движению. Вперед через узкий лаз не проходили плечи. Надеяться на чью-то помощь здесь, в овраге, было бессмысленно. В лесу, в кустах, натолкнуться на торчащие из земли сапоги было делом невероятным. В кровь изодрав руки, начал задыхаться от нехватки воздуха, когда вдруг почувствовал, что кто-то тянет снаружи за ноги...

— Сначала думал, хозяйка вернулась. Ну, думаю, Митька, остался ты без задних ног... Потом чувствую, сразу за обе ноги тянут. Похоже на человека.

— Кабы знал, что ты там еще в состоянии рассуждать, пощекотал бы тебе пятки на манер волчицы, — Сергей развязывает мешок, показывает сбившихся в кучу волчат.

После того, как он откопал Митягу, добыть волчат с его комплекцией было уже делом не сложным. Путь до поселка они проделали вместе, несли мешок с добычей поочередно.

— Вот ведь курьез, а? Я совсем случайно шел этой дорогой. Словно кто толкнул меня в спину.

«Чему быть, того не миновать», — на этой формуле мы все трое сошлись и этим объяснили благополучный исход митяговской вылазки. А я, шагая с ними рядом, думал тогда о том, что вот нужен был для двух, шагающих бок о бок со мной, в общем-то добродушных людей слу-

чай, который бы сблизил их. Нужен был. И он нашелся. Но кто режиссер этого случая?

...— Ну что ж. Хоть твое логово и ничего, — Митяга, освоившись, прошелся по кабинету, зачем-то выглянув в окно, потрогал подоконник, — но нам надо торопиться к вечернему автобусу.

Однако его что-то все-таки задерживало.

— Я вот что хочу сказать, — заговорил он. — Вот ты думаешь, что руководишь заводом, да — руководишь, но все равно кто-то руководит всеми нами. И тогда в овраге кто-то вмешался и сделал по-своему. Не Бог, нет, я — безбожник, а вот кто-то есть, кто всем этим руководит. Он все видит. Но странно, когда хочет — вмешается, а то отпустит вожжи: делайте, как хотите, а я посмотрю и подумаю: кто вы есть, а когда надо подправлю. Не думаю, что потешается над нами. Он просто изучает нас.

— Митяга, ты стал к старости мистиком.

— Не знаю, но у меня десятки случаев из жизни, которые я не могу объяснить по-другому. Будто между нами людьми кто-то еще есть, но его не видно. Возьми Циолковского. Почему вдруг он поверил, что можно и нужно готовиться летать в космос? Его подтолкнули. Они.

— Кто они?

— Не знаю, но те, кто умнее нас с тобой и кто все видит. Может, даже Циолковский и не понимал, что его подталкивают, он делал дело, но я верю, если бы его сейчас спросить: есть кто там на небе умнее нас и грамотнее, кто влияет на нас, он бы, не задумываясь, ответил: «Есть!» Вы — люди грамотные, ученые, почему-то помалкиваете на этот счет, а мне с моими двумя классами молчать не резон. Знаешь, что сказал философ Метродор около ста лет до нашей эры?

— Не помню.

— Я бы тебе по записке прочитал, я выписал себе, но она дома, а если своими словами, то он сказал, что нелепо считать Землю единственным населенным пунктом в мировом пространстве. Это так же глупо, как говорить, что на огромном засеянном поле может расти один только пшеничный колос. Крепко сказал, ведь правда? Грамотных много, а не сразу всякий скажет, за что 17 февраля 1600 года в Риме сожгли на костре Джордано Бруно, а? — Он прицелился в меня своими хитроватыми глазами и продолжал: — А я скажу.

Он шагал по кабинету вдоль окон, горячась и широко жестикулируя руками, будто разговор шел о вчерашних либо даже сегодняшних событиях, связанных конкретно с ним либо его земляками.

— Мерзавцы сожгли его за утверждение, что вокруг Солнца кружится огромное количество земель и солнц. На них живут разумные существа похлеще нас с тобой. Вот ведь как, а?

Я смотрел на него, разгоряченного. Видно было, что он говорит искренне, не дурачась.

— Они и сейчас слушают нас с тобой и думают: вот Митяга умный мужик, а ты, Виктор, не вдумчивый. Некогда тебе думать.

— Слушай, ты пьешь?

Ответил Роман:

— Нет, он и курить бросил. Перечитал всю библиотеку.

Затем снова Митяга:

— Ладно, начальник. Нам надо ехать, а ты подумай...

И они уехали. А я вот теперь думаю, думаю...

Последняя неделя ознаменовалась двумя большими событиями. Мы посчитали, во что нам обходится в связи с новыми налогами на импорт и экспорт, налогом на добавленную стоимость строительство нового производства полиэтилена. К нашему кредиту, который мы берем для этой цели, необходимо еще добавить 47 миллионов немецких марок. На пятую часть враз возникло удорожание. Теперь надо решать: отказаться от строительства или искать дополнительно эти марки.

Энергетиков донимают за долги газовики, и они твердо заявили, что остановят соседний нефтехимический комбинат за систематические неплатежи. Комбинат не платит более двух месяцев. С полным остановом нефтехимкомбината возникнет проблема очистки городских стоков, потому что большая часть их чистится на этом предприятии и незначительная — на нашем заводе. Комбинат дает воду на ТЭЦ для котлов, вообще на всю хозяйственную деятельность. Если он будет остановлен, то будет парализована и эта сфера.

Сегодня воскресенье. Будет ли выполнен ультиматум или нет? Начало недели покажет. Надо как можно быстрее ликвидировать кризис неплатежей и выплатить долги государства трудящимся. Оплатить хотя бы больше чем наполовину долги государства аграрному сектору и ВПК. Вот тогда что-то сдвинется с мертвой точки. Опосредствовано, но дойдет волна до нефтехимии, до общих сфер народного хозяйства, до города. Ну, а если этого не будет, то...

Образовался круг, где несколько партнеров друг другу должны. Этот круг разорвать может только государство организационными и финансовыми движениями. Кстати говоря, и оппозиция в Государственной Думе этого требует. В то же время, судя по готовящемуся бюджету,

усиление государственности может подмениться на деле линией на дорогое государство. Это приведет к увеличению налогового бремени, исчезновению стимулов в производственной деятельности, к финансовой нестабильности. Есть опасность прийти в этом случае к карточной системе и к авторитарному режиму в стране. Экономика может быть сильна только своей валютой и стабильностью, а не силовыми решениями в плане налогов, таможенных сборов и всего прочего. Это составляющая регулирования, но она должна быть не основной.

Я пришел к неожиданной для себя мысли, что высокое искусство всегда создавалось на крови. Многие сейчас говорят, что искусство у нас на глазах гибнет. Но, к сожалению, только переломные времена и рождают великие произведения.

Произведения великие, а жизнь мерзкая. Возьмем «Тихий Дон» Шолохова. Великое произведение! Но сама гражданская война, жизнь, быт во время нее? Вражда между русскими (брат на брата, сын на отца и наоборот). Это – ад. Это – трагедия. Это – мерзость. И в этом смысле расцвет искусства прямо противоположен расцвету самой жизни, действительности.

«Факт», – как говорил Давыдов из «Поднятой целины».

Кстати, первоначальное авторское название этого романа было «С потом и кровью», и в том смысле, о каком я говорил выше, это название ближе к жизни. Но у искусства свои законы.

Удачный день! Я только что приехал от руководства энергонадзора с важным подписанным договором. Но все по порядку.

Неделю назад ко мне подошла работница нашего финансового отдела и, сверкая своими цыганскими глазами, протянула в смуглой руке листочек.

– Что это?

– Виктор Сергеевич, вы уверены, что вовремя постройте обе установки по очистке спирта, которые должны нас спасти от краха в этом году?

– Да, Регина Арсентьевна, построим. Иначе мне следует застрелиться. Заводу не на что будет жить.

– Но ведь несколько месяцев, пока не будет установок, тоже надо как-то прожить, верно?

– Разумеется. Над этим я и ломаю голову.

– Я немножко подумала и решила: вы такой у нас симпатичный мужчина, вас надо беречь!

— Хм, — неуверенно кашлянул я.

— Что нам нужно? Нам необходимы стабильные цены хотя бы на энергетику, хотя бы на год, верно?

Она стала ходить около меня кошачьими шажками.

— Верно, — согласился я и почувствовал себя во власти этой хрупкой женщины, как прохожий — в коготках цыганки-гадалки.

— И надежный сбыт на это время продукции, верно?

— Конечно.

— Сбыт, как я понимаю, есть. Остается заморозить цены на пар.

— Как это?

— Договориться на год с энергетиками, чтобы они давали его нам по ценам, установленным на начало этого года.

— Да они свои тарифы в течение года еще сколько раз повысят!

— Разницу между текущими тарифами по году и ценой на начало года оформите векселями с погашением в 1995 году, когда разбогатеем.

— А если не разбогатеем? Речь о десятках миллиардов. Придется расплачиваться акциями завода.

— Оставьте эти проблемы на следующий год. Не мне вас учить.

— Регина Арсентьевна, можно я вас поцелую, я все понял.

— Ну-ну, Виктор Сергеевич, нам надо держать дистанцию. Я ваша подчиненная. И потом, у нас много женщин на заводе, которые готовы вас поцеловать. Как быть с остальными?

— Столько вопросов сразу! — не нашелся я.

— Есть еще один. Надо еще уговорить энергетиков. Хотя они корпоративно должны быть заинтересованы, но ведь то, что я предлагаю, по сути кредит.

— Хотите сказать, что если и согласятся, то с начислением процентов по векселям?

— Конечно, но это же лучше, чем кредит в банке. Намного облегчится проблема с оборотными средствами.

— Несомненно, — согласился я.

— Ну, я пошла, записочку не оброните, там я на цифрах кое-что прикинула.

И она упорхнула — маленькая, красивая.

И вот у меня на столе лежит подписанный договор, основанный на ее предложениях. Это первое такого рода соглашение в нашей области. Отдушина на год найдена. Да какая!

Я держу в руках одиннадцатый мартовский номер газеты «Экономика и жизнь». Такая вот информация: в феврале более четырех тысяч пред-

приятий России имели длительные остановки всех или отдельных производств. Потери рабочего времени составили 22 миллиона человеко-дней или 18 процентов табельного фонда этих предприятий. В дополнительный неоплачиваемый или частично оплачиваемый отпуск по инициативе администрации в феврале было отправлено 22 процента работников остановившихся предприятий. В истекшем месяце бастовало двадцать восемь предприятий топливной промышленности, в результате чего было потеряно шестьдесят тысяч человеко-дней рабочего времени. За январь и февраль промышленное производство упало на двадцать четыре процента в целом к соответствующему периоду прошлого года. На практике это означает закрытие около ста заводов.

— Представьте себе, сто директоров бродят по стране, а завтра их будет двести, — сказал Григорий Явлинский на заседании Государственной Думы. В этих условиях, по его мнению, важны не столько абсолютные цифры, как сам факт. Тысячи других директоров ведущих предприятий ждут своего банкротства, ждут, когда они присоединятся к вышеназванным.

Мы решились начать строить новое общество. По новым для нас законам, законам капитализма. Но у капитализма порой волчьи законы...

И уже нарождается новая порода людей. И волчата пробуют свои зубы.

В начале этой недели в подъезде собственного дома вечером при возвращении с работы был избит генеральный директор соседнего акционерного общества. До этого ему неоднократно угрожали.

Кроме того, что предприятие почти стоит, совершено нападение на первого руководителя. Я с ним встретился, разговаривал. Лицо все побито, в подтеках.

Такое же, в болезненных гримасах, и лицо нашей российской промышленности.

Фамилия у него Гуляев. Я делаю акцент на фамилии потому, что она для его владельца многое значит, да и в моем рассказе этот факт значительный. Он рассуждает примерно так:

— Фамилия очень много определяет в характере человека. Вот мой начальник — Лавров. Что у него самое главное в желаниях? Быть начальником, да так, чтобы кто-то потел, работал, а лавры — звания, успех, уважение — мимо него, Лаврова, не проскакивали. Он сидит себе в кабинете, во многое не вмешивается. Но лавры! Будьте добры, поде-

литесь! Знайте свое место! А мне, с моей фамилией – погулять, повеселиться, поездить, людей посмотреть, – сам Бог велел.

И я могу подтвердить – по крайней мере применительно к нему, Гуляеву Владимиру Григорьевичу, и его непосредственному руководителю, – слова эти справедливы. Причем в понятие «погулять» он вкладывает свой смысл: покрасоваться, похоровадить с известной долей куража. Он очень живой, яркий, карие глаза, смуглое лицо – очевидно, наследство деда грека – постоянно освещено белозубой улыбкой. С ним всегда что-то происходит, чаще забавное и смешное, поэтому в его обществе интересно. Я заметил, что он не против, чтобы с ним случались всякие истории, сам немножечко их режиссер. Но от этого еще более заразительно его поведение и присутствие. Он часто рассказывает всякие истории о себе, порой рискуя показаться не в очень привлекательном свете, но этого не боится.

На мое пятидесятилетие один из моих друзей подарил мне картину с пожеланиями, написанными на тыльной стороне. Там есть такие строки: «Желаю тебе любить жизнь, как любит ее Гуляев».

Мы, русские, не очень любим жизнь и потому не очень-то умеем жить. Надо признаться в этом. Но это другая тема.

А вот один из рассказов Гуляева:

– Практически это была моя первая поездка за границу. Ну, был в составе партийно-хозяйственных, как тогда говорили, делегаций в двух поездках: в Румынии, в Польше. А тут: Италия! Фантастика. Расскажу только о посещении национального ресторана. Их – пять человек. Нас – двое. Я – главный инженер, представляющий наш институт, со мной начальник финансового отдела тихий наш Василий Васильевич, интеллигентуал, внешне напоминающий артиста Вицина.

Самое интересное началось, когда подали спагетти. Я до того не ел их ни разу. А тут еще в окружении итальянцев. Очевидно, со стороны, мое верчение вилок с наматыванием на нее макарон и попытки как-то все это направлять прилично в рот не выглядели уж очень несуразными, ибо какой-либо реакции на этот счет не было. И я успокоился. Вижу, Василь Васильевич тоже не центр всеобщего внимания. Слава Богу! Думаю: скорее бы это блюдо кончилось. Но не тут-то было. Возникает около меня импозантный, уверенный в движениях итальянец, очень похожий на Челентано, и спрашивает через переводчика: «Извините, сеньор, что это за блюдо у вас?» Черт те знает что, думаю. Подходит незнакомый итальянец, который не узнает собственное национальное блюдо. Что ему отвечать? «Это спагетти», – говорю я. «Вы это называете спагетти? Вы сами придумали или вам кто-то сказал?» «Меня угоща-

ют мои друзья». «И это вкусно?» Не подводить же моих друзей, и я утвердительно киваю головой. «Дайте попробовать». «Пожалуйста, они вкусные. Очень!» Я смотрю на своих итальянских партнеров, они спокойны и невозмутимы. «Челентано» берет мою вилку, искусно манипулирует ею у меня под носом, картинно поднимает чуть не все содержимое на вилке над столом, смотрит внимательно и говорит: «Нет, я пробовать не стану. Спагетти дурны!» Господи, думаю я, отвяжется он от нас или нет, и почему мои друзья молчат? Ведь вся ресторанный публика смотрит на нас и черт его знает, как себя вести! Откуда я знаю, дурны или хороши эти макароны! Но в следующий момент проявляется какой-то намек на логичность поведения «Челентано». «Господин, не волнуйтесь, – галантно обращается он ко мне, – я – директор этого ресторана, сейчас распорядюсь поменять вам блюдо, а повара накажу». Переводчик не успевает переводить, но я и так все понимаю. Он зычным голосом требует явиться повару, который готовил эти «гнусные» спагетти. Прибегает перепуганный, втянувший голову в плечи, огромный, слонообразный человек. Между ними происходит диалог, который слышен на весь ресторан. Смысл лаконично передает переводчик: «Он его, говоря по-русски, как это, «стирает с землей» или, вернее, «стирает в порошок». Ничего себе, думаю, манеры, угловым зрением видя, как мой Василь Васильевич готов спрятаться под стол. «Вон отсюда, – кричит разгневанный директор. – Вон, и чтоб через две минуты здесь были настоящие спагетти!» Повар неуклюже пятится, очевидно не столь оперативно, как требовалось. Разъяренный директор хватается со стола большой нож и широко замахивается на бедного повара. Секунда – и повара нет. И в тот момент, когда дверь захлопывается за его спиной, директор ставит точку: ловко пущенный нож, вибрируя, вонзается в дверь. Я не верю своим глазам. Где я нахожусь? В джунглях? И не дурной ли это сон? «Господа, я приношу вам извинения. Вас сейчас обслужат по высшему разряду. Вы получите компенсацию», – директор, откланявшись, удаляется. «Вот сервис, куда уж нам», – говорит Василь Васильевич, доставая свою тарелку со спагетти из-под стола.

Только перед нашим уходом итальянцы признались: все, что произошло в ресторане, отрепетированная, дежурная шутка оригинального директора. Действительно сервис!

Ничего неожиданного нет в появлении в Москве слухов о готовящемся государственном перевороте. «Комсомолка», «Известия» пестрят статьями о вариантах заговора. Но ни политики, ни население, по-моему, серьезно эту возню не воспринимают.

Кружится в воздухе мысль, что ждать нам осталось недолго, и момент истины может проявиться где-то в конце мая-начале июня этого года, что неконтролируемый распад экономики может начаться летом. Думаю, что это не так. Как бы я вообще хотел уйти от разговора на эту тему, но большинство аналитиков в печати так или иначе называет эти сроки. Правительство отказалось ввести чрезвычайное положение в экономике, разговоры о крушении национальной экономики, гиперинфляционных коллизиях отвергаются, и отвергаются достаточно бодро и активно.

Из газет: «22 марта 1994 года в 20.58.01 по московскому времени в районе Междуреченска потерпел катастрофу пассажирский самолет-аэробус А-310-300 «Глинка» авиакомпании «Российские авиалинии», выполнявший рейс по маршруту Москва-Гонконг. Все находившиеся на борту 75 человек погибли».

Не исключается, по мнению сотрудников по чрезвычайным ситуациям министерства транспорта России, что во время полета был совершен террористический акт. Но правду расскажет только «черный ящик».

Около столовой случайно встретился с бывшим работником нашего завода – заместителем начальника одного из цехов Скорняковым Александром Ивановичем. Два года назад он крепко заболел и был вынужден уйти на пенсию. У него стенокардия. На вопрос: как жизнь? – ответил:

– Туговато с деньгами, пенсия всего 56 тысяч рублей.

Средний заработок по городу – 180 тысяч рублей. Против той, которая была у нефтехимиков пять лет назад, это меньше половины. Не густо.

– Но мне много не надо. На еду хватает. Зато я узнал жизнь. Я узнал, что у жизни есть и другая сторона. Хожу с внуком на рыбалку, в театр. Моей мечтой было прочесть свою библиотеку, которую собрал. Все откладывал до пенсии. Сейчас читаю запоем.

Оказывается, есть другая, не менее интересная жизнь, когда ты предоставлен в значительной степени себе. Библиотека моя тоже еще не прочитана. В сущности я и не принадлежал себе. Не было времени сосредоточиться на своей персоне, на семье. Дети выросли как-то сами. Жена управляет со своими делами без меня. Постоянное отсутствие свободного времени. Может быть, не умеем организовывать себя? Нет, я думаю, общее состояние таково, что невозможно уложиться в определенные рамки. Мне не хватает рабочего дня, чтобы я все, что нужно,

охватил, сделал так, как хотелось бы. В таком ритме живут большинство руководителей, которых я знаю.

Интересная штука – пенсия. Посмотрим.

Посидим еще на лавочке у дома. Если доживем...

На сегодня в бюджете города пусто. Наш завод переплатил по итогам прошлого года один миллиард рублей. Я пытался через налоговую инспекцию эти деньги вернуть, но ее начальник не может решить это сам, потому что нет денег для возврата. Это было бы не так грустно, если бы не было ясно, что во втором квартале у нас вообще не будет прибыли. Не будет прибыли и у соседей. Пополнения городской казны ждать неоткуда. Мелкие предприятия, товарищества, кооперативы лопаются, как мыльные пузыри, в основном из-за налогов и того ералаша, который воцарился из-за разрывов связей, из-за нестабильности. Много рэкета, угроз. Кооперативы сворачиваются. Откуда же ждать пополнения бюджета?

Мне рассказали знакомые: преподаватели вузов запросто прекращают лекции, вслух мотивируя это тем, что надо идти на рынок продавать товар. И многие так и делают. Доценты занимаются челночным бизнесом. На зарплату доцента прожить невозможно. Она в два раза меньше стоимости потребительской корзины. Поэтому трудно работать в академической науке, невозможно нормально учить детей. Критерии, приоритеты у многих студентов теперь другие. Они видят, что можно не учиться, а зарабатывать больше, чем дипломированный специалист. Печально, но это нельзя ставить в вину молодежи. Виноваты мы, старшее поколение.

Интересно, кто будет работать в XXI веке? Кто будет руководить нами? Где сидит (учится) сейчас министр образования, министр экономики? Что делает сейчас наш будущий Премьер? О чем они думают?

В середине прошлой недели звонил один из чиновников Комитета по нефтехимии, который курировал нашу отрасль еще в том, советском министерстве. Спросил:

– Ну, как дела на полиэтилене?

– Нормально. Стоим.

– Как стоите?

– Так стоим. Четвертый месяц уже. Полиэтилен убыточен.

– А как фенольное производство?

– Стоит.

– Как стоит?

- Как и полиэтилен.
- А что еще стоит?!
- Ничего. Остальное работает.
- Как работает?
- Процентом на восемьдесят от нормальной нагрузки.

Раньше, лет восемь назад, этот разговор показался бы дикостью. Министерский чиновник мог позвонить в час ночи, в субботу, в воскресенье не только на работу, но и домой. Мог шуметь, кричать, требовать одну-две цистерны продукции сверх плана. Контролировалось все и вся. И попробуй не выполнить! Тогда была одна крайность, которая не давала свободы, душила. Сейчас – другая. Теперь никто никем не руководит. Никто ничего не координирует. Нет источника, в котором можно было бы почерпнуть информацию, сделать прогноз на ближайшие два-три месяца по выпуску продукции в целом по России. Никто не занимается народным хозяйством системно.

Деньги становятся не те. Если раньше деньги перевозили инкассаторы, в основном пенсионеры, то теперь – парни, как на подбор, молодые, здоровые, все спортсмены. Каждый из них проходит курсы повышения квалификации. Здесь и отработка приемов рукопашного боя, и стрельба из пистолета, автомата, и общая физическая подготовка. В апреле лучшим инкассатором в нашем городе признан Юрий Тюнин – мастер спорта. В составе делегации областного управления он поедет во Францию изучать, как перевозят тамошние местные инкассаторы франки.

АПРЕЛЬ

Оборотных средств не хватает. Предоплата задушила. Это новое явление времени, суть которого в том, что железной дороге, например, необходимо оплатить более половины за то, чтобы она приняла груз к перевозке; поставщикам сырья авансом покрыть половину его стоимости. Душат неплатежи, ультимативные установки партнеров. При существующей системе налогов нет возможности ни развиваться, ни пополнять свои оборотные средства. Налоги поглощают до 70 процентов прибыли. Что получается? Десятилетия железная дорога, энергетика не получали требуемых средств. Нужны были капитальные затраты. И теперь, когда враз все рухнуло, необходимы срочные меры. Повышаются налоги на фоне общего спада объема производства. Работающих промышленных предприятий становится все меньше. Прошла информация, что подготовлен документ о

банкротстве на тридцать предприятий области. То есть, они уже в черновом варианте числятся как банкроты.

Не могу верить.

Два дня назад Скорпиона положили в травматологию. Возвращался вечером домой. На остановке набросились подростки, человек пять. Ударили сзади по голове, сшибли с ног, раздели и разбежались.

Волчата. Зубы режутся.

В недавней поездке в Москву попутчиком оказался крепкий семидесятилетний старик. Хотя язык не поворачивается назвать его стариком. Выбрит, постоянно в галстуке, активен в разговоре и определен в суждениях. До недавнего времени работал в строительном Главке. Был заместителем директора по капитальному строительству при возведении ГЭС имени Ленина на Волге, КАМАЗа, АвтоВАЗа в Тольятти. Работал, как он говорит, с темна до темна, включая выходные. Не заметил, как дети выросли, как сам оказался в пенсионном возрасте. Очень много забавных подробностей рассказывал из быта строителей «своего» времени, но каждый раз возвращался к одному: «Почему нас всех огульно охаяли при перестройке? Да, мы – коммунисты, но разве не мы возвели индустрию страны, разве не мы положили все свои силы в работе?»

– Мой генеральный часто не ездил домой ночевать. Жил в кабинете. Мы ему, чтобы сшить новый костюм, мерку снимали в тот момент, когда он спал на диване, иначе поймать не могли, а теперь говорят – «номенклатура», «коммунисты», клеймят по-всякому. Кто-то гнул ложную политику, а кто-то спину в работе. Обидно. Сейчас пенсия – тьфу, говорить стыдно, на два билета от Москвы до Самары не хватит. Куда дальше? Вот сел писать книгу о таких, как я, нас ведь обокрали и оболгали.

– Кто, – спрашиваю, – те, кто при перестройке, или после?

– И до перестройки, и при ней, и после нее. Человека труда всегда обируют.

Пожелал ему успеха в его писаниях. Хотя... Об этом уже столько сказано и написано. Разве что все, пропущенное через личное восприятие, личный опыт и потери, зазвучит как-то по-новому? Нужен художник большого масштаба. Но ведь это так редко сочетается: молодой талант и крепкий жизненный опыт. Но кто знает, может уже сейчас где-то в тиши зреет неожиданный талант, который через несколько лет скажет свое слово, как молодой Шолохов, о своем времени. И мы сами себя узнаем и многому удивимся и ужаснемся.

Прошедшую ночь все мои домашние не спали. Вчера вечером мы отвезли нашу сноху Лену в роддом. И ночь пребывали в тревожном ожидании. Но все прошло нормально. В восемь утра у меня родился внук. Первый внук. И уже в этот день я узнал, что его решено назвать Виктором, в честь деда, то есть меня. Смешанное чувство испытываю. Дед со стороны матери, мой сват, плакал. Я как-то принял все не так сентиментально. Не успел еще постареть в свои пятьдесят лет и два месяца.

Помню, как было строго, когда рождались мои детишки. Теперь в первый же день рождения и бабушек, и дедушек, даже тетку, и в первую очередь отца допустили к новорожденному. Отец помыл руки, одел белый халат и подержал его на руках. Сын быстро успокоился, перестал плакать, схватил отцовский палец, поднес ко рту и начал сосать.

До мельчайших подробностей помню обстоятельства, при которых родилась моя дочь Соня в 1975 году, 2 июля. Я, работая в одном из цехов нашего завода в должности заместителя начальника, был в отпуске, — у матушки в деревне. И не рассчитал. В мое отсутствие у жены начались роды. Мне позвонили и сказали об этом. На другой день примчался на перекладных. Перед посещением роддома заскочил домой переодеться. Только снял рубашку, стук в дверь. Открываю — посыльные с завода. Оказалось, что ровно в восемь часов 2 июля наш цех взорвался полностью. Пострадали три человека. Один из них, Николай Буянов, погиб. Старший аппаратчик, мой коллега.

Через двадцать минут я был в цехе. Завод стоит. Прибыли три заместителя министра. Комиссия занимается расследованием. Кипит работа по разбору завалов. Я попал к жене в роддом только на пятые сутки. Передавал ей записки прямо из цеха. О взрыве молчал. Врал, что начальник цеха заболел, обострилась язва желудка, лежит в больнице, поэтому никак не могу вырваться с завода. Трое суток разборка завалов велась днем и ночью. Было около двухсот человек из армейских частей. Искали погибшего. Нашли на четвертый день. Тогда я первый раз уехал домой поспать. Где-то на пятый день появился у роддома перед окном палаты, где лежала жена. Запиской вызвал к окошку. Подошел и увидел ее, грозившую мне кулаком. Оказывается, накануне был парень с соседнего завода, у которого жена лежит в той же палате, и объявил громогласно, стоя под окном:

— Мы уже почти неделю разбираем на заводе у соседей взорвавшийся цех, — и назвал номер цеха и мою фамилию.

...В самый последний момент, когда жена позвонила из роддома и сказала, что можно забирать их домой, комиссия, которая сидела в соседней комнате, потребовала объяснить одну из особенностей пуска реактора. Им показался подозрительным режим пуска. Недоразумение оказалось простым, минут через тридцать-сорок я все комиссии объяснил и оказался свободным. Но время было потеряно, час пик прошел, автобусы ходили редко. Когда прибыл в роддом, моих там уже не было. Жену с дочерью обнаружил дома, спрятавшимися за холодильником. Услышали мои шаги по лестнице и, шутя, спрятались от меня. Радость, конечно, была большая, но и огорчение от того, что не успел. А жена объяснила так:

— Вышла, никого нет. Около получаса посидела с ребенком внизу в роддоме. Тебя не видно.

Ждать показалось глупым. Да и окружающие смотрели на нее, как на человека, к которому некому прийти.

...Как технолог я был невиновен. Комиссия сделала предварительные выводы, что за двенадцать дней, предшествовавших взрыву, каких-либо технологических осложнений и причин, способных повлечь за собой аварию и взрыв, не было. Действительно, как потом показали окончательные выводы, авария произошла по механической причине. Труба, работавшая под давлением в 80 атмосфер, имела некачественный сварной шов. Когда разыскали сварщика, который варил этот злосчастный шов (он был уже на пенсии, совершенно преклонного возраста), тот безапелляционно заявил, что шов варил не он, ибо на трубе стоит не личное его клеймо, а выполненный сваркой самодельный знак.

Цех мы восстановили в рекордный срок — за три месяца. Досталось всем крепко. Это было и громадной школой. Недели две я вплотную работал в проектно-институте, в проектно-монтажных отделах. Вся документация на восстановление прошла через мой контроль. Чуть позже руководство завода предложило мне возглавить соседний цех.

В той системе, которая была до перестройки, много было такого, что стоит критиковать, но оперативности, четкости, отлаженности можно позавидовать. Задействованы были все необходимые силы и средства области. Кроме трех замминистров, заместителя начальника Главка, несколько раз был на заводе и тогдашний первый секретарь обкома партии Виктор Павлович Кочетов. Я видел и слышал, как он разговаривает, как ведет себя. На меня он производил впечатление человека очень сильного и жесткого, по уровню интеллекта явно выделяющегося среди своих подчиненных. Одно его появление приводило в движение силы и механизмы, которые нашему заводу здорово помогали. Сейчас, не дай Бог, случится подобная ситуация на заводе, ни средств, ни сил, ни воли, кро-

ме как на уровне заводского руководства, не будет нигде, ни в каких инстанциях. Все придется делать самим, на свои деньги, своими нервами, потому что нет структур ни в области, ни в России, которые бы занимались этим. Требовательность к технике безопасности, грамотности, уровню технологии сейчас должны быть намного выше. Мы это давно поняли. Только за счет этого уже несколько не допускаем в работе лет каких-либо нарушений, носящих чрезвычайный характер.

МАЙ

В этом году бывший День солидарности трудящихся совпал с празднованием Пасхи Христовой. И, может быть, поэтому все как-то настроены на то, что праздники этого года будут более спокойными, более миролюбивыми, хотя и планируются массовые манифестации и демонстрации в Москве. У нас в городе не будет демонстраций политического характера. Это ясно. Очевидно, все-таки мы вступаем в цивилизованное русло развития политических событий. Хотелось бы в это верить.

У меня в руках открыточка: «Христос Воскресе, Уважаемый Виктор Сергеевич! Примите сердечные поздравления с праздником святой Пасхи. Воистину Воскресе! С молитвенными пожеланиями, епископ Самарский, Сызранский – отец Сергей».

Нельзя было представить года два-три тому назад такого проникновения Церкви в повседневный быт российского гражданина. И это уже знаменательно. Я не верующий, но я приветствую такой образ мышления и образ жизни.

С отцом Сергием мы познакомились в доме отдыха в прошлом году. Интеллигентный, спокойный, воспитанный человек. Мы сыграли несколько партий в бильярд. Он мне подарил две духовные книги. А недавно обратился с просьбой изготовить два десятка подсвечников для церквей области. На прошлой неделе мы просьбу выполнили.

Областные газеты пестрят заголовками статей о приезде Гайдара. Сам Егор Тимурович говорил, что цель – встреча с избирателями. Но, конечно, – и организационная работа по созданию партии «Выбор России». Меня прежде всего интересует его высказывание в газетах и по телевидению о финансово-экономическом состоянии нашего общества.

В газете «Дело» за 22 апреля 1994 года читаю: «Погашение взаимозадолженности и вообще любые меры по урегулированию проблемы за счет ослабления кредитно-денежной политики, как показывает богатый опыт, приводит прежде всего к результату строго обратному ожидаемому. Если

финансовая ответственность низкая, то неплатежи всегда высоки. В общем-то если можно не платить, то зачем платить? Ведь можно деньги пустить в дело и получить прибыль. Там, где жесткое законодательство о банкротстве, там, где жесткая финансовая ответственность, там нет неплатежей. Есть одна проблема, в которой вина Правительства огромная, это неплатежи самого Правительства. Правительство берет на себя крупные обязательства, а потом не выполняет, что, к сожалению, активно делалось в начале 1993 года. Это сильно мешает нормальной экономической работе и дискредитирует государственную власть... Оживление наступит примерно через год, после того, как инфляция упадет ниже 3 процентов в месяц. А вообще проблема большинства заводов, которые сейчас на грани остановки или уже остановлены, в их руководстве. Единственное, что может помочь большинству предприятий — смена руководства».

Что же получается? Самый большой неплательщик — государство. Оно не выполняет свои функции. В то же время обвинение с ходу бросается руководителям, которые не могут, якобы, руководить предприятиями, ибо они неплатежеспособны. У нас порочный круг неплатежеспособности. Вину валят то на Правительство, то на предпринимателей. Я не верю, что смена руководителей предприятий выведет страну из кризиса. Сам Гайдар утверждает, что кризис будет снижаться тогда, когда инфляция будет ниже трех процентов. Тогда при чем здесь руководители? Если пойдет смена руководителей, то это даст кредит времени нашим политикам от экономики. И больше ничего. Но ведь для предприятий смена руководителей будет носить явно нежелательный характер. Как у идеологов наших реформ, за которые, кстати говоря, и я голосовал, поднимается голос против всех руководителей огульно? Ведь это — громадная армия русских людей, которых скопом подводят под ранг недееспособных. Это их семьи, их родственники, их судьбы. И все одним росчерком, одним жестом. Начиная с ветеранов, участников войны, производственников, рабочих. Все становятся заложниками каких-то мистических ожидаемых результатов реформ, суть которых в общем плане понятна всем, но нет ни механизма, ни программ, согласованных с народом. Ошибок нет только у того, кто ничего не делает, у того, кто не работает. Кто занимается практической деятельностью, несомненно, может ошибаться. Но это же промахи, которые не определяют состояние нашей экономики в целом. Генеральный директор акционерного общества АвтоВАЗ В. В. Каданников, очевидно в сердцах заявил со страниц областной газеты, что у него назрело желание выйти из этого государства. Интересно, куда?

Творится несуразное не только в нефтехимии и нефтепереработке, но и на многих промышленных гигантах. АЗЛК – второй крупный производитель автомобилей в России – работает по графику, установленному в январе: три дня в неделю, собирая по пятьсот машин в сутки. Последняя остановка главного конвейера АЗЛК в первой половине марта была связана с нехваткой финских двигателей на складах предприятия. Сейчас количество двигателей достаточно для нормального ритма производства в течение ближайших двух недель, но только сокращенными неделями.

На крупнейшем предприятии «Нижекамскшина», где трудится 16 тысяч человек, средняя зарплата рабочего составляет 150 тысяч рублей. Путевка в Сочи стоит 550 тысяч рублей. Пожалуйста, бери отпуск, езжай в Сочи, отдыхай и потом три месяца сиди без денег, занимайся поиском подножного корма.

Земля всегда хоть как-то выручала. И сейчас может выручить. Поэтому резко возросла потребность в огородах, дачах, земельных участках. Выходные, праздники большинство работников нашего завода да и соседних предприятий проводят на дачных участках. Хорошо, что мы обеспечили землей всех желающих.

Двадцать дней, как родился мой внук. И все эти дни заполнены хлопотами вокруг нового человека, маленького, но такого могущественного, который сплотил вокруг себя всех нас. Много волнений, много хлопот. Сегодня у его матери температура. Моя жена, вернувшись с работы, побежала разбираться, в чем там дело.

Когда его привезли домой, такого трогательного, беспомощного, я, наивный, вдруг подумал, что люди, которые наблюдали, как рождается ребенок, которые были с ним с первых часов появления на свет и ощутили это трогательное, щемящее чувство к крохотному ростку незащищенной человеческой жизни, неповторимости ее, не могут в последующей своей жизни поднять руку вообще на человека, причинить физическую боль. У меня никак теперь не укладывается в сознании психология полководцев-завоевателей.

Его отец – студент пятого курса московского института – поехал в Москву продолжать учиться. Через день по приезде туда он позвонил мне и на вопрос, «как доехал?», ответил:

– Нормально, но с маленьким ЧП.

Оказывается, поезд был остановлен на станции «Жигули». Поступил звонок из ведомственной железнодорожной милиции о том, что в поезде заложена мина. Прибыли саперы. Подогнали запасной состав, перегрузи-

ли всех пассажиров. Четыре часа ушло на эту операцию. Как потом сообщило телевидение и местные газеты, мину не обнаружили. Какой-то умник вздумал позабавиться. Шутка, разумеется, дорого обошлась и железной дороге, и пассажирам. Курьезный случай: в одном из вагонов в сумке нашли деньги — около десяти миллионов рублей. А хозяин так и не объявился.

Идет резкое падение выпуска большинства видов продукции промышленного назначения и потребительских товаров. Ни экономисты, ни практики, никто не смог предугадать, какое будет снижение темпов общепромышленного производства. Увеличилось число простоев и полной остановки предприятий. Отпуск цен на энергоносители стал практически первым толчком к деградации нефтехимии в целом. Она была поставлена на грань катастрофы. Из наукоемкой, приоритетной нефтехимия превращается, пожалуй, в одну из самых бедствующих отраслей. В прошлом году нефтехимия в целом и наше акционерное общество еще как-то успевали реагировать на рост цен, но трехкратное их повышение на электроэнергию с начала нынешнего года привели к тому, что отрасль на внутреннем рынке потеряла платежеспособных потребителей из-за высокой цены своей продукции.

На внешнем рынке себестоимость стала выше мировых цен. В чем причина? Нефтехимия оказалась почти что самой уязвимой отраслью в нынешних условиях. Она всегда была энергозатратной, сегодня же практически становится энергорасходной. У нас в себестоимости продукции от 30 до 40 процентов составляют расходы на энергетику. Все заложено в технологии. Если не будут созданы новые технологии, не будут установлены временно льготные тарифы, отрасль сильно захромает. В Америке химическая отрасль составляет 14 процентов от общего промышленного производства, а потребности энергоресурсов на эти объемы не превышают 7 процентов. В России наоборот: 6 процентов объема производства и 13 процентов всех вырабатываемых энергоресурсов идут на эти объемы затрат. А ведь наша нефтехимия занимала когда-то второе место по выпуску продукции после США.

На этой неделе Борис Ельцин был в Германии с визитом. Основная цель: условия вывода российских войск из Германии. Визит сам по себе, как и предполагалось прессой, социологами и политологами, оказался бесконфликтным, все необходимые документы подписаны, оценка встречи обеими сторонами положительная. Внесены определенные изменения в условия вывода российских войск. Основные события будут разви-

ваться в Берлине. Вчера Борис Николаевич и сопровождающие его лица вернулись в Россию.

Визит этот мог бы быть примечательным и для нашего завода. Я напряженно следил за посвященными ему телепередачами. Дело в том, что месяца за полтора до него мы послали Ельцину письмо с просьбой рассмотреть проблемы реконструкции, в частности, вопросы, связанные со строительством на заводе установки по производству полиэтилена. Я уже говорил об этом. Мы были готовы начать строительство. Ведется проектирование, уже затрачено два миллиона немецких марок. Но изменена система таможенных пошлин. Введен спецналог, НДС на ввозимое оборудование. В связи с этим выросла стоимость контракта на 47 миллионов немецких марок. Это усложнило нашу экономическую ситуацию, ибо денег мы не имеем. Мы попросили Бориса Николаевича оставить нам условия налогообложения и таможенных пошлин на период реконструкции – строительства нового завода те, которые действовали на момент заключения наших контрактов.

Наше письмо из администрации Президента пошло в Правительство, конкретно им занимались работники Минэкономики. Как нам заявили высокопоставленные чиновники, все эти документы министр экономики Шохин должен был взять с собой в Германию. Дело в том, что наши германские партнеры просили свое Правительство каким-то образом коснуться этого вопроса. Кроме того, немцы обратились к Шохину с письмом, в котором просили найти время встретиться с ними в Германии.

Делегация вернулась, и в последующие дни должно появиться какое-то отношение к нашему письму. Во всяком случае, готовлюсь к тому, чтобы докладывать в Правительстве, как в свое время это делал тогдашнему премьер-министру Лобову.

Кажется, Декарту принадлежат слова: «Пока живу – надеюсь, пока надеюсь – живу». Мой коллега, директор, который уже смирился с тем, что его предприятие банкрот, сказал мне:

– Смотри на это дело философски. Все пройдет!

Конечно, все пройдет, все перемелется. Но обидно работать непрофессионально, не на полную катушку. Досадно работать, не имея тех результатов, которые могли бы получать. Ему, может быть, так говорить и можно. От всех передрыг он заболел сахарным диабетом, и это здорово повлияло на него; он смирился.

Кстати говоря, мне тоже пришлось в свое время пережить нечто подобное. Лет пять назад я перенес на ногах воспаление легких. Началось с легкой простуды, потом возник бронхит. Дело дошло до того,

что на третий этаж до своей квартиры я не мог подниматься без отдыха. Обратился к врачам. Оказалось воспаление легких, попал в больницу. Пролежал там три недели. С заводом, конечно, связь держал, но было и интенсивное лечение. В этой ситуации, когда появилась возможность прислушаться к себе, я пожаловался врачам, сказав, что у меня какие-то странные боли в ногах. Инна Ивановна, терапевт, заставила сделать полный анализ крови и мочи на сахар и обнаружила у меня сахарный диабет.

Представление о диабете у меня сложилось из рассказов моей бабушки. Ее сын, мой дядька, в возрасте четырнадцати лет, пошел с ребятами весной за реку Самарку ловить сусликов. Было такое занятие раньше. Сусликов в деревнях многие ели. Мясо нежное, похожее на куриное, только несколько мягче... Увидев суслика на той стороне реки, они заскользили по тонкому весеннему льду, и Петя попал в полынью. Его еле вытащили. После этого, очевидно от испуга, у него открылся диабет в тяжелой, страшной форме... Когда мне поставили диагноз, я порылся в литературе и нашел: да, действительно диабет может открыться от сильного внутреннего потрясения, испуга или депрессии... Прожил Петя недолго.

Если уж я заговорил о болячках, то мне вспомнился один случай со мной, о котором я никому, кроме жены, не рассказывал. Года через полтора после воспаления легких я вновь оказался в больнице, но уже в хирургическом отделении. Насмотрелся всякого. Было и такое, когда люди умирали. Я лежал в палате, в которой, кроме меня, было пять человек. Кто после операции, кто до нее. Недели две с половиной – уже после операции – я пролежал более-менее спокойно, но однажды не спал всю ночь. Я был ходячий. Встал, перевязался в процедурной, и вдруг мне неудержимо захотелось уйти домой. Позвонил шоферу, он приехал, и я, будто подчиняясь какому-то зову, собрал вещи и тайком от врачей сбежал.

Я сам себе не мог объяснить, почему не спал. Стало не по себе. Приехал домой. Четко помню, хотя прошло уже четыре года, как вошел в подъезд. Поднимаясь на третий этаж, шел и озирался по сторонам. Я чего-то боялся, ждал или хотел скорее узнать. Шел вперед, но оглядывался назад. Открыл дверь мой сын. Я, совершенно не задумываясь, не понимая до конца, что я делаю, повинуюсь чему-то, вдруг неожиданно для себя спросил:

– Кто у нас умер?

Сын ответил, что умер мой отчим. Он был у нас любимым человеком, мы его отчимом не звали, называли отцом, дедушкой. Сын держал в руках телеграмму. Отчим умер в ту ночь, которую я провел без сна в больнице. Это меня очень поразило. И заставило задуматься. И о том, кто мы есть на земле, и о том, какими нитями соединены, видимыми и невидимыми. О том, как мы связаны со всеми, кто ушел из этого мира и чьи души уже давно далеко. Мне и раньше часто казалось, что была какая-то необычная, не очень понятная, но устойчивая связь между мной и моим отчимом. Он меня сильно уважал. Мне кажется, он часто думал обо мне. Каким-то образом это все трансформировалось и в наши отношения.

Незадолго до смерти моего отчима я однажды, проснувшись утром, обнаружил у себя во рту нечто странное. Шарик, примерно одного сантиметра в диаметре. Надутый, красный, на щеке внутри рта. Мы с женой забеспокоились. Больно не было, но он мешал. Жена тут же настояла, чтобы я сходил к врачу. Зубной врач усадил меня в кресло и вяло обронил:

— Это пустяки, обычная киста.

И как-то очень ловко ее срезал. Она держалась на небольшом соединении. Я ушел на работу. Это было в среду.

В субботу поехал к родителям. Вечером отец отказался от ужина:

— У меня во рту какая-то несуразность. Настроение пасмурное.

Я попросил его показать. Открыв рот, он показал на левой щеке... круглый шарик.

— Опять рак вылез, теперь уж во рту. Надоел он мне.

Посмотрел на его лицо, оно было беспокойным. Тут же я с удовольствием широко разинул свой рот и показал свою левую щеку, пояснив, что и у меня такое же, но это не страшно. Надо сходить к зубному врачу. Обычная киста. Затем спросил:

— Пап, а когда у тебя это появилось?

— Да три дня назад, кажется...

Я не могу сказать, что это было, просто привожу факт: у нас одновременно, в один и тот же день, появилась киста во рту на левой стороне щеки. И у обоих было подозрение, что это рак.

Я вижу как многие писатели страдают от раннего профессионализма. Есть способность писать, но писать не о чем. Жизнь изнутри неощущаема. У меня сложилось впечатление, может быть, и спорное, но мне кажется, что человек сначала должен уметь делать конкретное дело, уметь делать жизнь. Для меня ценен тот человек, который что-то сде-

лал, в чем-то участвовал, что-то изобрел, построил, решил, а потом еще и написал об этом. Это замечательно. Хотя я вижу и другую сторону медали. Когда человек занимается конкретным делом, которое его только и кормит, тогда места творчеству остается мало. Женщина чуть ли не все свое время занимается стиркой белья, стоянием в очередях, мытьем полов. От нее трудно ждать творчества. Рутинная работа губит творческие начала. Кроме того, ежедневное добывание куска хлеба — незавидная судьба. Скучная доля. Но это уже претензии к обществу. Мы не создали такие условия, чтобы самый нижний уровень жизни был приличным. Когда есть общий уровень достатка, то и низшая планка будет такая, что она обеспечит достойное человеческое существование. Общество потеряет свои агрессивные черты. Но сам я себя ловлю на мысли: ожиревшее сердце ничего настоящего в искусстве не создаст.

Когда 26 апреля у меня родился внук Виктор, мы на нашей даче, два деда и отец Вячеслав, упаковали, завернули в пленку пару бутылок: коньяк и болгарское сухое вино, написали на листке из записной книжки пожелание, заложили все в нержавеющей трубу и закопали. Договорились — через пятнадцать лет, на его день рождения, показать ему это место. И пусть сам достает и читает наше послание.

Когда я закапывал послание и вино, вдруг вспомнив о своем «черном ящике», в который сейчас говорю, подумал: было бы здорово, если бы и мои записи лет через пятнадцать оказались интересными хотя бы моему внуку. Когда он вскроет наше послание, мне будет шестьдесят пять лет. Конечно, если доживу. Пусть внук через пятнадцать лет услышит мой голос. И пусть вино не потеряет своей крепости, а, наоборот приобретет новые качества. Может быть, мой голос, мои суждения не утратят терпкости, донесут запах и дух нашего времени, его приметы. Ведь когда-нибудь к нам из будущего, издали прислушаются и задумаются: кто мы были такие, почему мы такое наломали? Отчего не могли делать очевидные вещи, в силу каких причин? И наступит ли в России такое время, когда возможно станет побороть то, что мешает нам сейчас? Наверное, цивилизация будет на другом уровне. Сначала мы ходили пешком, потом начали ездить на машинах, летать на самолетах, ракетах. Это и есть цивилизация! Вполне возможно, люди будут жить по-другому. Не на таких, как сейчас, самолетах будут летать, а на каких-нибудь шарообразных, яйцеобразных. Передвижение будет с иной скоростью. А культура? А ум? Хотелось, чтобы культура, опережая цивилизацию, поднималась быстрее. Вперед, все выше, выше и выше.

Вспомним, Лев Толстой ходил пешком, верхом на лошади в валенках ездил по Москве...

Пришла правительственная телеграмма за подписью руководителя департамента нашей отрасли с поздравлениями по поводу избрания меня членом-корреспондентом Российской инженерной Академии. Приятно, что помнят в общем хаосе... Но большой радости нет. Радость, возможно, и была бы, если б я не так часто сталкивался с жутко суровой нашей действительностью. А она такова: на сегодня нет и не могут быть изобретены и разработаны нашими учеными технологии в нефтехимии, которые могли бы вывести предприятие из экономического провала. Почему? Ответ ясен, он лежит не в сфере науки и технологии, а в сфере ценовой политики и вообще политики. Цены на сырье и энергоресурсы так высоки, что они самую эффективную технологию делают убыточной. Наука в этой ситуации не спасает производство. Науку саму спасать надо. Сегодня профессор в институте получает меньше, чем уборщица на нашем заводе.

Работа с первых дней в секции Академии подтвердила мою оценку ситуации: забота Академии на сегодняшнем этапе – найти возможность выжить науке. Впрочем, одна ли наука в таком положении? Прекрасные артисты областного академического театра оперы и балета (я это увидел собственными глазами) по-настоящему бедствуют, но переносят это достойно и с большой долей артистизма. Куда деваться?

Газеты пестрят заголовками типа «Правительство Черномырдина подготовило небольшую экономическую революцию». Как прежде в лексиконе и в сознании россиян: революции, революции... Неужели хотя бы журналисты не понимают всю вредность этого слова, пусть даже в соединении со словом экономическая? Вот текст из журнала «Слово» № 1-2 за 1993 год, показывающий, что же было у нас до всех наших революций:

«Интересно взглянуть на державу 1913 года сквозь призму цифр и фактов. Вот, пожалуй, основная цифра, отражающая суть экономики: за последние десять лет до первой мировой войны превышение государственных доходов над расходами выражалось в сумме 2400 миллионов рублей. Налоги в России до первой мировой войны были самыми низкими во всем мире: в четыре раза меньше, чем во Франции, более чем в четыре раза меньше, чем в Германии, и в 8,5 раз меньше, чем в Англии.

За период с 1890 по 1913 год русская промышленность увеличила свою производительность в четыре раза. Обращает на себя внимание феноменальный объем экспорта зерна и муки. Например, в Англию в 1913

году вывезено 4 миллиарда пудов. Вот уж воистину: «откуда мы пришли, куда свой путь вершим»?

Если охватить взглядом весь путь, пройденный Россией в этом веке, пытаюсь оценить его, начинаешь верить французскому политическому мыслителю Токвилю: «Нет хуже врагов прогресса, чем те, кого я бы назвал «профессиональными прогрессистами» — люди, которые думают, что миру ничего больше не требуется, как радикальное проведение их специальных программ».

До 1913 года и после него часть русской интеллигенции, состоящая из таких вот «профессиональных прогрессистов», очень многое сделала, чтобы нынешнее Правительство да и все наше общество оказались на краю экономической пропасти.

Найдут ли в страшных уроках прошлого наша интеллигенция да и все мы опору для созидания? Научимся ли мы каждый отдельно и все вместе эволюционному пути развития? Если нет, то средства разрушения в современном мире таковы, что мы рискуем всем человечеством сразу».

Итак, Солженицын возвращается на родину. Его приезд в Россию многими сопоставляется с уходом Толстого из Ясной Поляны, указывает на то, что два эти события, в начале века и в конце, не случайны для нас. Несомненно, и жизненные поступки, и само творчество Солженицына — это цепь подвигов. Обращенный ко всей России призыв его «жить не по лжи» так же, как и проповедь Льва Толстого, многое сделали для нашего Отечества. Но ведь он едет в страну со своими надеждами на здоровые силы общества, с верой в особую земскую демократию, в новое добровольное объединение государств, а реальность совсем не такова — огромная часть общества проголосовала за иные принципы...

Как все сложится? В своем отечестве пророков нет. А по достоинству мы ценим только ушедших, пример тому — Сахаров. Чем же станет для Солженицына его возврат? Его оружие — перо, а оно у него было отточено либо за колючей проволокой в своей стране, либо в далеком Вермонте. Ни опыта политической деятельности, ни опыта литературного общения в России последнего времени у него, к сожалению, нет. У него есть талант, но это другая категория. Порой поразительно беззащитная.

Боюсь, все, что скопилось в моем «черном ящике», представляет из себя длинный и скучный ряд рассуждений. Может, я перемудрил? Но любил же мой сельский дед разговаривать со своим четвероногим другом, добродушным дворнягой, подолгу выстраивая фразу и вслушиваясь в нее.

Зачем-то ему это было надо. Каких только собак у него не было! И имена он им придумывал неожиданные и забавные. Последнюю свою собаку он звал «Никак».

— Дяденька, как зовут вашу собаку?

— Никак!

Сижу в раздевалке бассейна. Сосед — рыжеватый улыбчивый парень лет двадцати пяти, сняв тренировочный костюм, вдруг очень легким и быстрым движением рук отстегивает протез и остается стоять на одной ноге, вторая, обрубленная чуть ниже колена, неестественно болтается в воздухе. Стараюсь не смотреть в его сторону. Привык в детстве. Тогда, после войны, безруких и безногих было много, и каждый раз это была трагедия. У меня отец тоже был инвалид войны, и мне часто приходилось вместо него работать в артелях на сенокосе, на заготовке дров. Насмотрелся, как косили и пилили безногие и безрукие...

Пацан лет десяти, раздевающийся рядом, в упор глядит на безногого и совершенно будничным голосом спрашивает:

— В Карабахе?

— Нет, не там.

— У Белого дома?

— Не угадал.

— В Приднестровье?

— Опять перелет. В детстве в Омске под машину попал, — ответил запросто с улыбкой.

— На гражданке, — разочарованно тянет пацан и лицо его тускнеет. — Это с каждым может случиться.

Я глядел на пацана со смешанным чувством страха, тревоги, досады и думал: неужели в наше время рождаются ребятишки, которые растут с ожиданием места своего подвига в борьбе со своими же соотечественниками? Новые чапаевцы?

Моего друга еще в школьные годы забавляла в известной песне фраза: «Наш паровоз вперед лети. В коммуне — остановка». Он восклицал:

— Остановка? А дальше что?

Не сразу находил ответ и я.

Но нас обоих совершенно не заставляла тогда задуматься и ужаснуться другая фраза: «В руках у нас винтовка!» А ведь речь шла о винтовке, с помощью которой наши деды истребляли друг друга.

Таково было поколение. Мы на себя взглянули по-иному много позже, во время несуразной нашей перестройки и... ужаснулись.

Вспомнились слова Иосифа Бродского: «Одно стихотворение пишет другое».

Что-то похожее происходит и со мной. Предыдущий разговор толкает вернуться и говорить снова. Я как будто не могу выговориться, спешу это сделать. Видимо, понимая, что не могу добраться до истины, пытаюсь из раза в раз, вновь возвращаясь к своим мыслям, идти дальше и иногда вдруг спотыкаюсь о понимание того, что не могу ясно выразить, что же такое со мной и со всеми нами происходит. А кто сейчас может точно сказать, что творится с нами? Думаю, по большому счету это сможет определить кто-то лишь много лет спустя.

Я полагаю, что разуму человеческому дано некое ограничение. Некоторые вещи даже гениальные люди не способны сразу до конца понять. Так заложено природой. Иначе была бы сломлена воля к жизни. Ведь поиск смысла и истины — уже жизнь.

ИЮНЬ

В нашем селе, где я родился и жил до восемнадцати лет, двое крепких парней решили сделать доброе дело. За селом в реку Самарку впадает небольшой безымянный приток. Тихая в летнюю пору, речушка в половодье, собирая с окрестных полей воду, несет огромный поток, — ревущий, многоголосый и разъяренный. Парни решили перегородить дорогу потоку плотиной, прорыть небольшой перешеек и пустить поток по старице в ту же Самарку, но километром выше по течению от старого места. Смысл был в том, что на этом пути поток по своему ходу заполнял бы несколько обмелевших озер и они, по замыслу, должны были ожить и пополниться рыбой. Благое дело. Осенью два бульдозера с одобрения начальства и односельчан, усиленно рыча, выполнили свое дело, подчиняясь воле азартных ребят.

А весной случилось следующее. Как и замышлялось, все озера наполнились водой, но так сильно, что затопило на все лето песчаные, сотни лет служившие людям дороги, некоторые уголки леса стали недосыгаемы, развелись мошкара, гниль. Мало того, поток, разъяренный в азарте освоения новых путей, с такой силой вырвался к Самарке, что на целом гектаре повалил вековые осокори, они своими телами вкривь и вкось накрыли новое русло и получились чудовищные завалы, — гигантские и фантастические. Чуть ниже выхода потока на левом берегу реки выдавался огромный скалистый мыс, поросший старинными дубами. Мыс был олицетворением, казалось, вечного и постоянного. Этот мыс со всем, что на нем росло, снесло в одночасье, река раздвоилась, и чуть

ниже образовался, не весть по каким законам, остров. Изменилось все окрест. Старое русло превратилось в заболоченную неприглядную низину, зарастающую кугой. Люди не сразу смогли привыкнуть к новому. Некоторые поговаривали о том, чтобы разрушить плотину и вернуться к старому руслу реки. Когда я рассказал эту историю своему приятелю, назвав в шутку тех ребят прорабами перестройки, он усмехнулся:

– Действительно, наша перестройка. Но с одной разницей.

– С какой?

– Ребята действовали от души, простодушно, а перестройка с самого начала была лживой и лукавой.

Как тут возражать?

На заводе несчастье. Двое работников при ремонте насоса попали под струю серной кислоты. Насос оказался некачественно подготовлен к ремонту. На месте происшествия был опытный начальник отделения, проработавший на заводе более двадцати пяти лет. Очевидно, нельзя долго работать на одном и том же месте, люди свыкаются с опасностью.

Пострадали парни крепко. Я ездил сегодня в областной ожоговый центр, куда они были перевезены. Печально. Ребята держались стойко, я был даже поражен. В наше время, когда, кажется, уже раскритиковано все и вся, эти ребята ни одного слова, ни одного жеста оскорбительного не допустили в адрес завода, людей, по вине которых попали в такое положение. Утром выяснилось, что угроза жизни миновала. Осталась угроза потери зрения. Но к вечеру появилась надежда, что зрение сохранится. Придется делать пластическую операцию, поскольку на лице живого места нет. Есть полоски губ, да темно-розовая корка, покрывающая лицо. В коридоре – матери, жены. Сергею Ярцеву – сорок три года. Александру Осинкину – тридцать. У обоих дети. Тяжело. На заводе я попадал в разные ситуации, приходилось хоронить коллег. То ли по молодости, то ли по другой причине, но раньше как-то было легче такое переносить.

Вернувшись, дал команду выдать каждой семье по миллиону рублей, что в наше время не такие уж и большие деньги. Некоторые мои помощники запротестовали: много, мол. Что это вдруг, по миллиону?

Но какими деньгами можно оценить, покрыть ту вину, которую мы несем за свои действия?

Главный врач ожогового центра, замордованный бытовыми делами, отсутствием денег на ремонт, поводил меня по центру, показал развалившуюся поликлинику, которую построили еще царь-батюшка и земская управа. Советовался со мной, что делать? Бюджетных средств нет, ком-

мерсанты предлагают сдать им часть территории, они на ней построят многоэтажные офисы. «Дайте нам площадку, а мы будем финансировать последующие десять лет все ваши крупные стройки». И главврач думает, что же ему делать? Поддаться ли сиюминутной выгоде и отдать под застройку территорию и решить кое-какие финансовые дела или все-таки сохранить территорию бывшей земской больницы, чтобы самим когда-нибудь строить и расширять пространство для больных? Устоять, но прослыть нехватким человеком? Посидели, поговорили, решили пока не отдавать территории. Пообещал подписать ему к оплате его валютные счета для приобретения аппарата искусственной почки и на пополнение автотранспорта больницы. За последние восемь месяцев при огромном желании оперировать он сам не сделал ни одной операции. Не до этого, другие заботы, другие хлопоты. Это — приметы нашего времени.

На прощание он, интеллигент в четвертом поколении, показал мне фотографии своего отца, который в свое время заведовал отделением в поликлинике. Они висят на стене у всех на виду. Показал фотографию деда, тоже возглавлявшего отделение. Познакомил меня с заведующим другого отделения, у которого дед и отец тоже работали в этой поликлинике. Я невольно позавидовал тому, что они знают, чем занимались их предки. И пожалел о том, что я этим похвастаться не могу.

...Отец мой пропал на войне без вести до моего рождения. Матушка — крестьянка, окончившая один класс сельской школы. Конечно, никаких записей, ничего не сохранилось. Я уже с год как начал поиски и составление своего генеалогического древа и столкнулся с большими сложностями. Тем не менее уже побывал в областном архиве, много просмотрел материала, касающегося своего села. Интереснейшие вещи. Это тема для особого разговора. Я нашел очень много родственников по линии деда, много — по линии отчима. Жизнь моих односельчан сквозь архивную пыль пробивается зримо и гулко. События села до 1917 года описывались очень тщательно, красивым каллиграфическим почерком. После семнадцатого года документы, как правило, имеют отрывочные сведения, оформлены часто химическим карандашом, очень плохим почерком, неграмотно, непоследовательно.

Много страшных курьезов. Например, в 1933 году был партийный пленум в моем селе. Одного крестьянина за то, что он допустил выпечку некачественного хлеба для участников пленума, сняли с работы и чуть ли не как врага народа подвергли наказанию.

Я, если будет время, постараюсь посидеть в областном архиве. Это очень полезно и для осмысления сегодняшних событий.

Галина Ивановна, заместитель начальника конструкторского отдела завода, рассказала мне:

— На нашего Анатолия Столяра одна дамочка — Леночка из технического сектора — глаз положила. Он зачастил к нам в отдел с уточнениями схем реконструкции одного из цехов, и она его несколько раз видела. Вчера подходит ко мне и как бы между прочим, а я чувствую, как она волнуется, спрашивает: «Галина Ивановна, а этот, загорелый такой, к вам все приходит, ну в курточке легонькой, он кто?» — «А-а, да это Столяр». «Столяр?! — не то разочарованно, не то удивленно повторила Леночка. — Надо же, а такой с виду интеллигентный человек, такие руки музыкальные, и вообще...»

Когда я пересказал этот маленький курьез Анатолию Столяру, моему знакомому, инженеру одного из НИИ в Москве, он так отреагировал:

— Это что! У нас был классный такой мужик, Марк Борисович. Так вот он только что к нам устроился на работу, никто его особенно не знал. И из первой же командировки прислал телеграмму прямо директору института: «ВЫЛЕТАЮ САМОЛЕТОМ ЧЕТВЕРГ УТРОМ ПОЕЗД». Полинститута ломало голову над этой абракадаброй. Начальник отдела, который его принимал на работу, тоже оказался в отъезде, и никто не мог сразу сообразить, какая связь в телеграмме между этими двумя средствами передвижения. Но с этой командировки Марка Борисовича Поезда сразу весь институт узнал. Такая популярная фамилия стала.

Странное чувство я испытываю в последнее время. Оно сродни тому, которое у меня было, когда я восемнадцатилетним приехал учиться в город. Конечно, много я не знал из обыденной жизни, из городского уклада. Но в некоторых вещах, особенно в литературе, как ни странно, не был отстающим. Прекрасное чувство тогда было... Я воспринимал себя представителем своего села в городе, как будто все село поручило мне представлять его и защищать. Я так в себе это и нес, так и поступал. Любые пренебрежительные слова в адрес села, не только моего, а вообще села, встречал очень болезненно. И при своем спокойном, достаточно уравновешенном характере, лез драться и постоянно был готов защищать с кулаками все то, что связано с деревней, с селом. Был я парень крепкий, сильный, хотя никто обычно не ожидал во мне большой физической силы. Но я боролся и защищал не себя, а всех нас, всех сельчан, облыжно оболганных, затюканное сельское мое население. Село мое давало мне силы. Мне всегда было до боли обидно за него, и я много переживал. Теперь кажется странным, как мне все-таки не свернули шею.

Сейчас, когда мне уже пятьдесят, чувствую себя частицей, но уже не села, а той части россиян, которая должна вынести или которая будет способствовать своим трудом выводу России из того удручающего состояния, в котором она оказалась. И у меня, как в мои восемнадцать лет, когда кто-то ругает Россию, смотрит свысока, пренебрежительно относится ко всему русскому, чешутся руки. Мне горько, что россияне походя, где ни попадя, бьют и ругают самих себя. Невыносимо, когда иностранцы смотрят на нас свысока. Но чаще всего они нам сочувствуют, часто говорят: вы умные, грамотные ребята, такие симпатичные, как же так получилось, что многое у вас не клеится?

Давно заметил: поэты, певцы, композиторы ушли или уходят от общественных тем. Горький опыт получен творческими людьми. Творчество на «заданную» тему, когда государственная идеология изменилась, утратило былую значимость. Теперь авторы идут в лирику. Лирика – как стабильная инвалюта. Она общечеловечна и не упадет в цене, не подведет. Это так. Но чувство Родины, боль за нас всех сразу... Куда это девать? Наши отцы и деды жили во имя величия и процветания России, во многом отказывая себе. Для наших предков было характерно стремление к высшей правде, пренебрежение к сиюминутным интересам.

Мы те, в ком течет кровь красных и белых, мы заряжены генами отцов и дедов. Еще многие поколения будут нести это в себе. Изменить наш российский менталитет в одночасье невозможно.

Я понимал, что повышение тарифов на энергетику будет продолжаться. Но не такими же темпами! Сегодня с утра получил телетайпограмму о повышении цен на 35 процентов по сравнению с действующими. Мы за пять месяцев имеем минусовую прибыль по заводу. Как и чем расплачиваться дальше? Региональная комиссия, принявшая вчера такое решение, спасает энергетику области. Но что делать с нефтехимией? Договорились, что будем платить по старым тарифам, а разницу перенесем на первое полугодие 1995 года, погашая векселями. То есть мы доработаем этот год, но что делать в следующем? Не кабалы боюсь. Если даже нас «проглотят» по неоплаченным векселям, то кому мы нужны с такой дорогой продукцией? Нефтехимия будет не нужна. Перепрофилирование? Это возможно. Но это уже будет другой завод.

В организме моем какая-то болтанка. Очевидно подскочило содержание сахара в крови. Можно вывести такую зависимость: чем горше дей-

ствительность, тем слаще моя кровь. Идет зуд по коже ног, быстрая утомляемость... надо сходить к врачам. Ими меня уже не напугаешь.

Из сегодняшнего номера газеты «Известия»: «В пятидесятые годы в России ежегодно рождалось 2,5-2,8 миллионов детей. В 1991 году в стране родилось 1,8 миллиона. В 1992 — 1,6 миллиона, в 1993 — всего 1,4 миллиона детей. В 1992 году в России было официально зарегистрировано 3,5 миллиона абортс. По последним данным, средняя продолжительность жизни в 1992-1993 годах у мужчин — 59 лет, у женщин — 72,7 года. Материнская смертность в 15-20 раз превышает показатели многих развитых стран. Если в России на 100 тысяч новорожденных приходится 50,8 материнских смертей, то в Скандинавии — 2,8, в Великобритании — 7, США — 9. По отдельным видам несчастных случаев смертность в России намного выше, чем в европейских странах. Особенно велико превышение средневропейского уровня смертности от убийств (в 20,5 раза у мужчин и в 12,2 раза у женщин)».

Такой ли ценой нам надо перестраивать нашу российскую жизнь, менять государственное устройство? К кому вопрос? И к самому себе в известной степени.

Начальник производства, мой земляк, Анатолий Рябцев, вчера, по дороге на завод, рассказывал:

— Когда мне было двадцать лет, я учился в политехе. Отец приезжал ко мне из деревни зимой в овчинном полушубке и валенках. Это сейчас дубленки и полушубки — мода, тогда же было по-другому. В один из приездов мы пошли с ним в кино, а в ту пору в кинотеатрах обычно играл небольшой оркестр перед началом фильма. Оркестр играл танго. Отец очень зорко наблюдал за музыкантами. Солировал трубач. И вот на самой, что ни на есть ответственной ноте, отец встал в своем живописной потертом полушубке и очень уверенно зычным, но спокойным голосом обратился к музыканту: «Товарищ, затычку-то ты забыл вынуть из инструмента или кто нарочно впихнул? Вынь. Дуть-то, чай, тяжело так?» Он, мастеровой человек, уважал чужой труд и был отзывчив в помощи. Солист не растерялся, он все понял. На миг запнулся, вполне уважительно посмотрел на моего отца, согласно кивнул и... вынул сурдинку из трубы. Отец с чувством исполненного долга, не спеша опустился на стул: «Вот дела, все видят, что человек мается, но молчат».

ИЮЛЬ

Сегодня пятница. Уехал с завода, получив предупреждение от железнодорожников о прекращении вывоза продукции до полного погашения задолженности, а она составляет более 3 миллиардов рублей. Вот так, под выходные. Как специально.

Энергетики прислали телекс с требованием дать немедленно график выплаты задолженности с фиксированной суммой по неделям, в противном случае приступают немедленно к снижению подачи пара.

Вслед за этим главный инженер ТЭЦ предупредил, что возможна полная остановка станции, а значит, и нашего завода из-за прекращения подачи мазута с соседнего нефтеперерабатывающего завода. А мазута нет оттого, что нефтяники прекратили закачку на НПЗ нефти. Диспетчер вбежал в кабинет еще с одной «мелочью»: на нашей туристической базе, на Волге группа хулиганов устроила дебош, гоняет персонал, директор вопит по рации: «Не пришлете милицию – разнесут все в щепки!»

Сделав, что можно, уехал домой ужинать. Такое ощущение, что какие-то бесы правят бал, – затянувшийся и изнурительный.

В нашем подъезде, в подвале, в радиоузле с зимы образовался притон. Вначале я не обращал внимания на пробивавшийся наружу электрический свет. Все открылось, когда однажды спустился туда. Самодельные лежаки, матрасы. Девицы с желторотыми пацанами. По утрам, выходя на работу, сталкивался с заспанными, опухшими, с потухшими лицами дарительницами «райского наслаждения». Несколько раз подключал работников домоуправления и милицию. Бесполезно. Кончилось тем, что случился пожар, дым по подвальному помещению проник в два соседних подъезда, им заволокло первые три этажа. Пожарные поработали усердно. Залили все и вся. Жильцы квартир сначала запаниковали, потом разъярились. Полуживых виновников кого разогнали, кого отправили куда следует.

С недоумением и горечью узнал про указ о ликвидации лечебно-трудовых профилакториев. Из сообщения Интерфакса: «...в ЛТП принудительно направлялись алкоголики и наркоманы, которые уже не осознавали своей болезни и на этой почве совершали противоправные действия». На учете в системе наркомдиспансеров в России находятся 2 миллиона 300 тысяч алкоголиков. Чтобы получить их реальное число, нужно эту цифру увеличить в 3-3,5 раза. Наркоманов же в стране официально зарегистрировано 70 тысяч. Во всем мире, чтобы получить реальную картину, официальную цифру умножают на десять.

Это целая армия (если это слово здесь уместно) больных людей, которые еще меньше сознают преступность своего поведения, чем подростки из нашего подъезда. Что с ними делать? И кто ими будет заниматься? Как в нашем подъезде — пока дело не дойдет до пожара — никто пальцем не пошевелит?

Гуляю в парке с внуком, положив у него в ногах в колясочке газовый пистолет, прикрыв его краем одеяла. Чувствует ли себя от этого спокойнее мой внук, не знаю, но когда я наклоняюсь к нему, мне кажется, что какая-то недетская усмешка появляется на его пухлых губах, он усмехается надо мной, или сразу над всем нашим поколением, заранее уже зная о нас такое, чего не дано знать нам.

Первая половина года позади. Родственные предприятия либо стоят, либо их сильно лихорадит. Мы работаем, но прибыль нулевая. Правда, мы пока не продали, как это делают многие, ни одного объекта социально-бытового назначения. У нас работают пять детских садиков, детский лагерь отдыха, туристическая база на Волге, профилакторий. Работает и созданное три года назад жилищно-коммунальное управление, на нашем балансе шестьдесят многоэтажных жилых домов. За последний год мы в виде дотаций затратили на содержание жилья миллиард рублей. Это тогда, когда оно должно быть передано администрации города — в муниципальную собственность. Но передавать нельзя, так как средств у городских властей нет. Отдать, значит, развалить все хозяйство и обречь значительную часть города на разруху.

В «Волжской коммуне» от 8 июля попался на глаза рассказ «Красное и белое». Прочел. И все последующие дни был в разбитом состоянии. Какие силы и таланты творческая интеллигенция потратила на то, чтобы сделать красных символами добра и чести, а белых исчадием ада. Делалось это неосознанно, в творческом порыве? Но ведь были же «Доктор Живаго», «Конармия», «Белая гвардия»! Трудно быть искренним и объективным. Смертельно опасно. Но сейчас-то проще, надо быть только совестливым и не лениться душой добираться до истины.

В любой среде: литературной, научной, чиновничьей есть всякие люди — плохие, хорошие, злые и не очень, совестливые и совсем наоборот. Но зачем охаивать целые слои населения? Таких руководителей и тем более директоров, какие показаны в рассказе, я в жизни не видел. Не может по своей природе директор быть разрушителем и хулиганом. Не может открыто, нагло, по-барски относиться к рядовому работнику.

Жизнь директора – созидание по крохам своего хозяйства. Это уже не должность, а образ жизни и вся жизнь. Об этом знают только близкие знакомые, родственники да жена. Директор не принадлежит себе.

Никто никогда не изучал жизнь директора. Ни медики, ни социологи. Перегрузки, стрессы, которые приходится преодолевать руководителю, тем более первому, очень велики. Многие просто физически не могут жить директорской жизнью, не имеют должной психики. Иные, которые могут объективно оценивать свои возможности, сторонятся этих должностей. Оба директора из рассказа «Красное и белое» – это пасквиль на хозяйственников. Если писание таких пасквилей в литературе, создание таких образов на радио, телевидении не прекратится, мы угробим самих себя.

Достаточно быть просто объективным. стыдно за литературу, она ведь не служанка. Она – Литература.

Грустно еще и от того, что автор прежде писал хорошие рассказы. Его первую книжечку, вышедшую где-то в конце семидесятых, я читал с удовольствием. Сочно, ярко и не придумано. А сколько потом последовало авторских удач! Но – слаб человек.

Интересно иногда оглядываться назад. Мне попались на глаза листочки из сообщения моего заместителя по экономическим вопросам относительно итогов работы первых четырех месяцев 1993 года: «Как оценивается ситуация на заводе в данный момент? В условиях всеобщей экономической депрессии до самого последнего момента нам удавалось не только держаться на плаву, но и кое в чем продвинуться вперед. Главное, нам удалось избежать кризиса производства, чему способствовали усилия по налаживанию горизонтальных хозяйственных связей. Для этого пришлось быстро освоить не такую уж простую систему бартерных операций. Немыслимыми в условиях плановой экономики темпами коллектив завода за последние два года организовал ряд новых производств по выпуску реагентов для нефтедобычи. Через некоторое время начнем выпуск высокоэффективного реагента для литейных производств автозаводов. Короче говоря, за 4 месяца этого года объем производства в сопоставимых ценах на заводе увеличился по сравнению с январем-апрелем 1992 года на 17,5 процентов.

Это позволило избежать социального кризиса на заводе. Постоянно растет средний заработок, люди получают продовольственные и промышленные товары, нормально функционируют учреждения социальной сферы. Мы не только избежали сокращения рабочей силы, но, наоборот, дополнительно приняли за последние полгода 573 человека.

В общем, не без оснований мы еще два месяца назад думали, что с определенными трудностями, но выживем в условиях экономической реформы. Но кормчие реформы повернули ее руль в сторону рифов, непозволительно увеличив при этом скорость. Кажется, рынок превратился в самоцель, а не в средство для достижения высокой цели — создание высокоэффективной системы хозяйствования. Вместо разработки мер, направленных на стимулирование роста производства, Правительство зациклилось на попытках стабилизировать бюджетно-финансовую систему, причем с помощью так называемой либерализации цен.

В итоге мы получили финансовый кризис. Если в начале года взаимные неплатежи составляли в стране около 40 миллиардов рублей, то сегодня, вероятно, они превышают триллион».

Спецвыпуск «Останкино»: первое интервью Солженицына в Москве. Он только что приехал на Ярославский вокзал. Говорит, что специально медленно двигался с востока по стране, встречался с очень многими людьми: врачами, учителями, студентами, крестьянами, директорами, учеными. Впечатления: душа России жива, надежда есть — выживем. Он много записывал. Не уставший, бодрый. На вопрос корреспондента, что он думает о реформах, отвечать не стал, доброжелательно сказав, что это очень серьезно и он готов высказаться по отдельным вопросам чуть позже по телевидению. Ясный ум, светлый взгляд. Интервью длилось всего несколько минут. В окружении были видны Лужков, Якунин.

То ли мы стали несколько другими, то ли это заслуга Александра Солженицына, заставившего нас вести себя разумнее и достойнее, но не было при встрече ни митингов, ни шествий. Люди, несмотря на явную разницу политических убеждений, вели себя достойно. Так, по крайней мере, выглядело по телевидению.

Смотрел на Солженицына и вспоминал возвращение Андрея Сахарова из Горького. Конечно, тогда времена были другие, и все было скромно и незаметно, но масштабы личностей и то, как они заставили на многое по-другому взглянуть — это неопределимо, и все мы должны быть благодарны им. Теперь в России можно говорить то, что думаешь.

Вновь мысленно возвращаюсь к прибытию Солженицына в Москву. Человек, издали наблюдавший за развитием российских реформ, конечно, приехав на родину, не может раздавать налево и направо рецепты, что и как делать. Умные люди этого от него и не ждут. Он писатель. Талант писателя подсказывает ему проявить умение там, где мы, обыкновенные, бессильны. Он должен выразить то, что многие чувствуют, зна-

ют, но высказать не умеют. В каждом из нас или в большинстве, кто искренне хочет разобраться в нашей общей беде, несомненно сидит вопрос: почему все так, а не иначе? И взгляд человека, умудренного опытом, знанием не понаслышке, а из первых рук, того, как же там, во всем цивилизованном мире, дело делается, нам дорог и важен.

«Наше государство не выполняет своих обязанностей перед гражданами», — так он сказал. И все встало на свои места.

— Я пойду, когда уж очень тоскливо, поговорю с ветлами, они отца помнят, и легче станет. Вроде меня успокоят, о чем-то тоже со мной помолчат, — мама смотрит на меня просветленно. — Ведь не прав отец был, помнишь, он им, ветлам, говорил: «Бессердечные вы, все шумите, шумите о своем, и все равно вам: буду я завтра жив или нет, так и будете шуметь. Дед вас посадил, схоронили его, как будто и не было. Так же и со мной». Не бессердечные они, я это чувствую всегда, когда около них. Они и тебя запомнили. Нас с тобой запомнили... Я теперь, в старости, не могу понять, как можно убить человека. Войны были, смерти. Зачем это? Не могу видеть, как пилят деревья. Пилой по живому. Им обоим: и человеку, и дереву должно быть больно. Правда ведь?

Я беседовал с начальниками цехов, специалистами заводоуправления, побывал в коллективах, пытаюсь понять настроение сменного персонала. Готовил совещание не торопясь.

— Мы будем круглыми дураками, если не создадим свою автономную систему энергообеспечения. Все знают, что в себестоимости нашей продукции торчит чуть не половина энергетике, а точнее водяного пара. Это кошмар, а мы к этому привыкли. Разве мы сможем успевать платить за пар по ценам, которые скачут вверх, как рысаки. Кое-что мы делаем, но неповоротливо, как динозавры. Как динозавры, и вымрем. Надо покончить с зависимостью от монополистов, — так без обиняков, едва я дал на совещании ему слово, рубанул технолог цеха Алексей Казин.

Все знают его максимализм, но известно и его умение схватить главное, его преданность делу, поэтому ему многое прощают. Он может сказать то, на что не осмелится другой, пусть даже и выше по должности.

— Ну, уж так сразу, — не выдержал напора либо сознательно решил еще больше раззадорить технолога главный инженер Евгений Иванович Петровский.

Мы с главным накануне долго разговаривали, и в основных направлениях наше мнение совпадало.

— Почему сразу? — энергично отпарировал Казин. — Надо противопоставить свою продуманную конкретную программу по нескольким направлениям. Можно я их изложу? — он вопросительно посмотрел на меня.

— Я дал вам слово.

— Первое направление: жесточайший контроль за расходом энергоресурсов и сырья, то есть основных составляющих всех наших затрат. Мы и раньше за этим следили, но тогда никто энергоресурсы не считал, стоили они дешево, отсюда и слабый контроль за расходом.

— Хорошо, — вмешался главный энергетик Вениамин Александрович Ковальский, — но тут много не найдешь, так как то, что на поверхности, уже использовали.

— Я не договорил. Не надо перебивать.

— Виктор Сергеевич, — запросил заступничества энергетик, — у нас диалог сегодня или монолог цехового технолога? — он отложил свою тетрадь в сторону и стал смотреть в окно. — И потом, — запоздало спохватился он, — его цех затормозил на целый год внедрение программы вторичных энергоресурсов. У нас громадные тепловые потоки до сих пор не используются, как надо. Мы бесплатного своего пара могли бы получить треть от нашей потребности.

— Можно реплику? — поднял руку главный технолог Леонид Сергеевич Красков. — Мы — технологи и экономисты — сами виноваты в том, что не утилизируется заводское тепло, не получаем из него пара.

— Почему?

— Я подготовил вам пояснительную записку на этот счет, вот она.

— Видите, — вновь напомнил о себе Казин. — Второе направление само напрашивается — это использование заводских тепловых потоков для выработки собственного пара, что делает вся заграница. Американцы, я знаю, идут дальше: у них на нефтехимических заводах свои котельные цехи и газовые турбины для выработки своей энергетики.

— Это, я думаю, уже третье направление и очень серьезное. На него надо искать приличные кредиты, — вмешался главный инженер.

— Если это эффективно, займет не более года вместе с пусконаладочными работами, то почему нет? — подал голос и я.

— А целесообразность? — выразил свое недоумение главный энергетик.

— Но ведь ее видно невооруженным глазом! — упорно вел свою линию Казин.

— Ну ладно, нам — это выгодно. А в общегосударственном масштабе? Если все заводы бросятся строить свои энергетические комплексы, то

теплоэлектроцентрали, которые были специально для этого построены, встанут, заржавеют и все пойдет прахом. А их наши отцы строили, это их здоровье, нервы, жизнь, наконец, — напирал главный энергетик.

— К сожалению, это так, — подхватил главный инженер, — но жалеть энергетиков, значит, идти в тупик. Да и не государственная теперь энергосистема, а акционерная.

— Аркадий Дмитриевич, мы можем сами прикинуть эффективность строительства и эксплуатации собственной котельной? — обратился я к главному экономисту.

Тот, щуря близорукие глаза и теребя, как обычно, в мелко подрагивающих руках очки, ответил подчеркнуто твердо:

— Пар от собственных котлов будет вдвое дешевле.

— Уверены?

— Я изучал калькуляцию себестоимости и формирование цены на получаемый нами сегодня со стороны пар: в ней большая доля затрат на содержание тепловых сетей, на жилищно-коммунальное хозяйство области. У нас этого не будет. Если мы дадим точные исходные данные проектировщикам, то дней через десять получим предварительное заключение по технико-экономическому обоснованию.

...Совещание длилось более часа. Высказывались все присутствующие. Основные контуры программы ухода от диктата энергетиков стали видны. Договорились собраться через неделю вновь для более серьезной проработки. Уходя последним из моего кабинета, главный энергетик все же не выдержал:

— Технологов надо расшевелить.

— Конечно, — согласился я, — каждому свое. Но и вы не плошайте.

— Мне теперь легче. Генеральная линия выработана. Будем работать.

Я чувствовал, что он говорит искренне и с облегчением.

В Москве бывший важный чиновник, курировавший нашу подотрасль до того, как ликвидировали Миннефтехимпром, на поставленный им же вопрос: кто виноват в том, что сейчас многие заводы стоят, и под угрозой существование всей промышленности, сам же и ответил, указывая на меня бывшим когда-то чиновничьим пальчиком:

— Вы виноваты, директора, вы не смогли у себя в регионах консолидироваться, начали выживать по одному, вас и задавили. Вот если бы вы взяли и еще тогда, в начале 1993 года, враз во всем регионе остановили все заводы, все бы и увидели, что это значит. Но вы этого не сделали.

Не понимает: как только у директорского корпуса не выдержат нервы и он пойдет на локаут, он тут же будет объявлен виновником — «красные директора допустили большевистское пренебрежение к людям», «не способны наладить эффективное производство» и так далее.

Ни один из моих доводов для него не был убедительным. Ему нужен был виновник, реальный и доступный. Такова действительность: директора заранее, еще до того как... уже виноваты.

Многие, годами работая в этой инфарктной системе, сдают...

Не был месяц в правлении Всероссийского АО «Синтезкаучук».

Зашел. Печальная новость: двоих генеральных директоров настиг инсульт. Один умер, другой — на инвалидности. Обоих я хорошо знал.

— Ну что ты сник? — мой собеседник смотрит на меня буднично, но вполне бодро. — У нас, директоров, рабочим инструментом что является? Правильно, голова. Вот она и ломается. Понимаешь?

Понимаю. Моя-то еще не сломалась...

Наконец-то прочитал в газете «Совершенно секретно» более-менее дельную статью Бориса Можаяева о двухмесячном пребывании Солженицына в России. До этого, по-моему, ни одной прямой трансляции ни по телевидению, ни по радио не было; так, короткая, отрывочная информация. Не было и серьезных публикаций в газетах. Но вот седьмой номер «Совершенно секретно» порадовал. Много стало известно подробностей из поведения Солженицына на родине. Как его встречали. О чем говорил он и что говорили ему.

Борис Можаяев, писатель, присутствовавший почти на всех его встречах, пишет: «Встреча писателя в аэропорту Владивостока смахивала на яростную давку в голодные годы в огромных очередях за хлебом; несмотря на многочисленный милицейский кордон, публика прорвалась на взлетное поле, окружила огромной толпой приземлившийся самолет и стояла насмерть. Солженицына с семьей буквально протаскивали к вокзалу».

А на другой день была пресс-конференция, которая состоялась в здании Приморской краевой администрации. На ней присутствовало более трехсот представителей нашей и зарубежной прессы, телевидения и радио. Были разнообразные по форме и содержанию встречи: непланируемые, неорганизованные; люди разных возрастов, взглядов, профессий охотно шли на обмен мыслями.

Говоря о том, каким путем пойдет развитие России, Можаяев цитирует Солженицына: «Мы стали выбираться самым неуклюжим, самым нелепым,

самым разрушительным образом для собственного народа. Это привело Россию в состояние растерянности».

Или о выборах: «Выбирая органы власти, надо голосовать не по спискам, а за того человека, которому верите...»

Оказывается Александр Исаевич более двадцати лет работал над созданием словаря великорусского народного языка. Словарь был издан в России. А итог? Не буду пересказывать, вот слова автора статьи: «Внимания никто не обратил». Более того, огорчается писатель: «После выхода в свет брошюры «Как нам обустроить Россию», где вместо привычных нашему слуху американско-английских выражений были использованы настоящие русские слова, многие заголосили – откуда он взял этот язык? – а один человек из рязанской крестьянской семьи, воспитанный в русской языковой среде, составил список употребляемых писателем слов с вопросом: что это за слова? До чего же мы дошли? – спрашивает писатель. – Где наш язык? Мы, как обезьяны, повторяем английский. Если мы не научимся говорить по-русски, не будет нас, русских, вообще».

Принимать или не принимать нам западную демократию? На сей счет Солженицын твердо считает, что попытка силой перенести к нам, в Россию, западный стиль жизни и государственного устройства – нелепость. «На Западе этот строй держался веками, – утверждает писатель, – в атмосфере традиций, обычаев, образа мышления. Обезьянничать не надо. Наша духовная жизнь должна рождаться из наших традиций, наших понятий, обычаев, из нашей атмосферы...»

Что я думаю обо всем этом? В нашей российской жизни порой возникают такие зигзаги, что трудно бывает поверить в саму их реальность. Я думаю, приезд Александра Исаевича может оказать сильное влияние на обстановку в стране. Ведь у Солженицына авторитет планетарного масштаба, он гражданин планеты. Его слышат на всей земле, неужели у нас, на его Родине, к нему будут глухи?

Сознательно шагнув с трапа американского самолета в самую гущу российского бытия, он задел ее чувственный нерв, сразу найдя его и определив проблему: бедность самых простых людей, плохая пища и плохой воздух, незащищенность от бандитизма.

Для многих неудобен Солженицын, если даже он и не будет претендовать на какой-либо официальный пост. Причем, он мудро поступил, проехав за два месяца всю нашу страну. Его теперь трудно упрекнуть, что он не знает Россию.

Я бы очень желал, чтобы он не занимал высоких государственных постов. Он – наша совесть.

Когда говорю о Солженицыне, постоянно вижу перед собой Андрея Сахарова, перед которым наше общество, мы все вместе взятые и в отдельности виноваты. Вот где сошлись физики и лирики.

АВГУСТ

Сегодня, 3 августа, диктор программы «Новости» передал печальное известие: умер Иннокентий Смоктуновский. Инфаркт. Вернее, последствия недавнего инфаркта. Великий актер! В моем понимании он был в самой высшей степени артист, лицедей. По степени воздействия лично на меня этот артист возвышался надо всеми. Иннокентий Смоктуновский. Таинственное, непостижимое и прекрасное явление. Новодевичье кладбище принимает еще одного нашего великого современника. Те, кто видел его князя Мышкина, Гамлета, Деточкина, Федора Иоанновича, не мог не чувствовать ту завораживающую неисчерпаемость, которая была в нем и которая потрясала. Внутри него было что-то необъятное, как Космос, и в то же время изящное и магнетическое. Хочется вспомнить все фильмы с его участием, посмотреть заново.

Бывают и радостные дни. Установка по выпуску абсолютированного спирта с концентрацией основного вещества в 99,6 процента выведена на устойчивый режим. Продукт пошел в товарно-сырьевой парк. Сегодня же подписан контракт на продажу этого спирта зарубежной фирме, ее московский представитель прибыл накануне самолетом. Маленькая, но очень нужная победа. Правда, пока три месяца строили и осваивали установку, эффект от нее из-за резкого повышения тарифов на энергетику снизился ровно в два раза. И тем не менее, она значительно улучшает нашу заводскую экономику. Не обошлось, правда, и без грустных моментов. Неугомонный Алексей Казин на радостях демонстративно выпил полстакана спирта, взятого прямо из-под насоса. В открытую. Знаменуя победу технической заводской мысли над, как он выразился, «сокрушительными обстоятельствами экономики». Потом выяснилось, что в спирте было полпроцента бензола – очень вредного для организма вещества, но технолог не пострадал, последствий никаких, и даже настроение не упало. «На миру, – смеется, – и смерть красна».

Вчера подошла ко мне работница из транспортного цеха и представилась:

– Я внучка Варвары Петянихи, Татьяна Сонюшкина.

– И что?

– Петянихи! – повторила вошедшая.

Я вспомнил Петяниху, подругу моей бабки. Про них село любило рассказывать всякую всячину. Я порой сбивался, где правда, где выдумка.

– Не верите, что я внучка?

– Да нет, я просто...

– Ладно, я вам расскажу, как они покупали яблоки в Самаре, тогда поверите, – и она начала пересказывать историю, якобы услышанную ею от наших бабок, когда те, веселясь, вспоминали ее в присутствии Таньки.

...Продав на Троицком рынке привезенные яички и сало, бабки отправились в обратный путь. На вокзале Танькиной бабке очень захотелось купить яблок. Но очередь была большая, времени в обрез, и она очень опечалилась. Ей хотелось привезти внучкам подарок. Нашлась и выручила, как это часто бывало в устных рассказах моих сельчан, моя бабка. Она, жестикулируя и изображая из себя глухонемую, подошла к толпе у прилавка и попросила на пальцах купить яблоки без очереди. Очередь благосклонно позволила обиженной судьбой старухе отовариться. И все было бы хорошо и удачно, да передала бабка продавцу денег. Продавец протянула в сторону бабки, которая путаясь в подолах юбки, прятала узелок с деньгами, руку и крикнула: «Бабулька, сдачу возьми!» Но уж больно некогда было, бабка и отреагировала:

– Да шут с ней, со сдачей, недосуг нам!

Эта фраза «глухонемой» была сказана четко и громко. Однако еще громче была реакция возмущенной толпы. Так что наши бабульки еле унесли ноги...

Моя новая знакомая кончила рассказ и тут же спросила:

– Хороша моя визитная карточка? Похоже на наших бабушек?

– Похоже, – согласился я.

– У меня еще про них кое-что есть. Но в следующий раз, ладно? Вот приедете в село, приходите в гости, мы почти каждый выходной там бываем. Ладно?

– Ладно, – обещаю я, хотя и сам не знаю, когда смогу туда выбраться.

Знакомая просит помочь найти какую-нибудь работу по специальности. Она отличная машинистка.

– Всю жизнь была стенографисткой. Зарплата – восемьдесят пять рублей. Поняла, что надо учиться работать отлично, иначе не проживешь. Стала одной из лучших машинисток в городе. Сколько я диссертат-

ций напечатала! Ушла на пенсию — на книжке была тридцать одна тысяча. Думали с мужем, что мы чуть ли не самые богатые в городе. Рухнуло все сразу: деньги вмиг стали трухой, два года назад умер муж. Моя пенсия — тридцать семь тысяч. Что делать? Решила продать двухкомнатную квартиру, купить однокомнатную, а вырученные деньги положить в сбербанк. Жить на проценты. Дала объявление о продаже. Приехал сын: «Мать, ты что делаешь, а как с Сашкой? Он поступает в институт, придет к тебе жить. Как в одной комнате?» Приехал внук Саша, поступил в институт, живет у меня. Сына на работе сократили. Не может пока нигде устроиться. Живет на зарплату жены. А мы с Сашкой на мою пенсию и его стипендию. Каково? Мне шестьдесят семь, печатать еще могу, но мало стало клиентов, наверное, не до диссертаций теперь. Что делать?

Говорит голосом будничным, сдержанно. Стыдится быть обузой для кого бы то ни было.

Пятнадцатое августа. Вот, не стало и Леонида Леонова. Время рвет человечество на куски, унося поочередно каждого из нас в небытие. Леонов даже не частица, а целая эпоха в русской литературе. «Русский лес» — это русская, российская жизнь, вечно зеленая и обновляющаяся. И он, Леонов, раскидистое могучее дерево в ней, с корнями, уходящими в такую глубину, что и представить трудно. А в зеленой кроне его — «птичий гомон и щебетня».

Присутствовал на выступлении Жириновского и членов его фракции на площади Куйбышева в Самаре, куда он прибыл на теплоходе «Александр Пушкин» в окружении 150 активистов. Станным кажется эта синхронность круизов по Волге Жириновского и Ельцина. Еще более странным, а может быть, и нелепым смотрится одновременное их присутствие в Нижнем Новгороде.

Скопление политиков. Руцкой выступил в Саратове. По этому же маршруту едет, только на автомобиле, посол США в России Томас Пикеринг, в Нижнем Новгороде он провел несколько часов. За его спиной маячит фигура более крупного политика Клинтона.

Итак, мы сделали решительное движение вперед: согласно нашей заводской программе создания собственной энергетики за год, я подписал договор на изготовление и поставку двух котлов и соответствующего оборудования — со специальным конструкторским бюро котлостроения

Санкт-Петербурга. Их котлы много десятилетий успешно работают на наших отечественных ледоколах.

Решился вопрос и с кредитом: тридцать миллиардов рублей на полтора года под 100 процентов годовых дал нам наш давний партнер — Инкомбанк.

Понадобилось меньше месяца после совещания, посвященного проблеме энергообеспечения, чтобы включить в работу первую из восьми установок по выработке пара на собственных тепловых потоках. Шесть тонн пара в час. Победа!

Двадцать седьмого июля в Белом доме, в Правительстве РФ, у первого вице-преьера Олега Сосковца состоялось обсуждение нашего проекта реконструкции завода. Присутствовали представители Баварского банка, фирмы «Линде», руководители «Гипропласта» и «Роснефтегаз-строя», то есть те, кто дает кредит, проектирует, комплектует оборудование и строит.

Встреча проходила неспешно, доброжелательно. Пожав всем руки, Олег Николаевич, пригласил за стол. Обратившись ко мне по имени-отчеству, вице-премьер попросил доложить суть вопроса. За десять минут я рассказал о нашей реконструкции. Затем пошли вопросы, обсуждение. Совещание было хорошо подготовлено, все присутствующие со стороны Правительства владели и сутью, и основными цифрами. Правительство занималось нашим вопросом по поручению Ельцина. То, что посол США обратился к российской стороне письменно с аналогичной просьбой, очевидно, тоже сказалось на уровне подготовки.

Более того, обсуждаемый контракт с его компенсационной основой, с продажей нашей продукции и полным самофинансированием был одобрен и принят как пример для других заводов. Тут же было поручено представителям Минфина и Минэкономики на основе нашей схемы контракта проработать возможность получения кредита для реконструкции других заводов нефтехимии.

Все наши вопросы были рассмотрены и решены положительно.

Учитывая большую потребность региона в полиэтиленовой пленке для упаковки пищевых продуктов, изоляции магистральных газо- и нефтепроводов, а также мелиораторов и газовиков — в высоконапорных полиэтиленовых трубах, необходимость создания новых рабочих мест и пополнения местного бюджета, мы еще раз просим освободить нас от вновь введенных налогов и пошлин, как это было сделано для некоторых государственных предприятий.

Через несколько дней должно выйти постановление Правительства по этому поводу.

Олег Николаевич вежливо попрощался со всеми, пожав каждому руку. В приемной, когда вышли, царил дух явного успеха. У меня же было двойственное чувство.

Точно на такой же встрече около года тому назад я был у тогдашнего первого вице-преьера Олега Лобова. Тогда тоже было все обговорено, дана зеленая улица нашему проекту. Я уже говорил, что на радостях пригласил Олега Ивановича приехать к нам в гости на завод.

Суеверно, еще в приемной, отметил я похожесть двух этих встреч. Такое же расположение кабинетов и мебели, такая же сдержанная приветливость рослых хозяев обоих кабинетов, одинаковый синий цвет костюмов. Тогда тоже был дан зеленый свет, но потом пошла серия указов и общих изменений в финансовой системе страны, и мы оказались на мели.

Как сложится сейчас? Не хочется быть пессимистом, но в последние годы почему-то часто возникают обстоятельства, которые действуют против нас.

Перед поездкой я основательно готовился. Проанализировал состояние всей нашей отрасли на примере своего завода и других предприятий. Много я вижу изнутри. Ведь каждый день приходится бороться за выживание, за то, чтобы удержаться на плаву. Я выработал несколько предложений по нормализации нашей отрасли, которые мог бы дать на обсуждение. По наивности полагал, что в Правительстве будет небезынтересно поговорить с директором, который, что называется, прямо из окопов, который, кроме того, директором работает уже десять лет. Мне есть что сравнивать и оценивать своими собственными глазами. Но работники, которые обеспечивали организацию встречи, накануне, а затем в приемной предупредили: «Никаких разговоров на темы, не связанные с поставленными в письме Президенту, никаких дополнительных бумаг и документов!»

Я повиновался. Может быть, зря? Хотя нам все равно понадобится дополнительная встреча в Правительстве. Ибо сняты те вопросы, которые были обозначены в письме, но жизнь, пока письмо ходило по инстанциям, скакнула вперед.

Голос мой дрожит:

Тихо летят паутинные нити.

Солнце горит

на оконном стекле...

Что-то я делал не так?

Извините:

Жил я впервые

на этой земле.

Сегодня, 23 августа, похороны Роберта Рождественского. Его слова обращены к нам. Его песни — сверкающий ливень музыки и поэзии — подарены нам. Запомним его таким. И помолчим.

Областная энергетическая комиссия временно заморозила цены. Дальше просто некуда повышать. Может, все-таки остановимся, пока топливно-энергетический комплекс своим неумным аппетитом не стубил сам себя.

Давно наступила пора корпоративных соглашений между различными отраслями во имя повышения уровня взаиморасчетов, перешагнув через честолюбивые устремления стоять на своем.

Взаимные неплатежи предприятий в России достигли 112 триллионов рублей.

Пригласил врачей из Московской поликлиники, которая когда-то обслуживала кремлевских работников. Сейчас это возможно. Заплатил, и все дела. Милые, интеллигентные люди, вдруг оказавшиеся на финансовой мели, быстро и деловито перестроившись, начали наконец-то помогать периферии.

Результаты превзошли все ожидания. Мы договорились обследовать триста человек больных, которые лечатся давно и не совсем успешно, и триста человек, которые вроде бы не жалуются на здоровье. В обеих группах оказалось много неожиданностей. Были уточнения диагнозов ранее болевших. Случались грустные моменты, когда считавший себя здоровым человек оказывался больным. Очень много людей и с большим желанием консультировались у психотерапевта, приходили супружескими парами, пытаясь понять, почему для них стала характерна озлобленность, нетерпимость, несдержанность. Очень многие, недоумевая, жаловались на резкое изменение своего характера, на потерю интереса к жизни, подавленность.

Обсуждая этот факт, мы пришли к выводу, что на заводе надо немедленно организовать кабинет психологической разгрузки. Врачи успокаивают: это общая закономерность, результат политической, экономической нестабильности. Аллергия, астма, желудочно-кишечные заболевания прогрессируют в массах населения. Варварское отношение к природе дало свой результат. Ресурсы Земли неспособны больше без негативных

экологических последствий покрывать всевозрастающие запросы человека, которые он удовлетворяет, столь варварски относясь к ней. Нашим потомкам предстоит осваивать новое мировоззрение и практику, иначе среда обитания превратится в среду вымирания. Медики мне рассказывали, что у нас появился даже новый термин — экоцид. В отличие от геноцида явление это более масштабное и опасное. Экоцид — уничтожение жизни по экологическим причинам. Резкое сокращение продолжительности жизни — прямое действие экоцида. Появились экологические эмигранты. Стоит только назвать Кемерово, Прокопьевск, Чапаевск, Новокуйбышевск, и станет до сердечной боли понятно многое. На сегодня сокращение жизни таково, что ребенок, родившийся в 1993-1994 годах, может не дожить до пенсионного возраста. Только каждый пятый выпускник школы — здоров. Каково будет поколение от них?

Не обошлось и без курьезов: заводской управленец, специалист очень грамотный и опытный, но к спиртному, мягко говоря, равнодушный, всегда с сигаретой в зубах, оказался самым здоровым человеком в заводууправлении в свои пятьдесят семь лет.

Пошла серия передач с участием А.Солженицына. И радостно, и как-то не по себе... боязно за него. Наше общество с усилиями выцарапывается из удушающих государственных объятий, но...

Из нашей городской газеты: «Состоялось заседание Совета директоров АО «Нефтехимзавод». На нем рассматривались организационные вопросы. Совет директоров решил удовлетворить просьбу генерального директора акционерного общества о его уходе на пенсию. Исполнение обязанностей директора до собрания акционеров возложено на главного инженера И.Г.Шахматова».

Какой уход на пенсию, когда директору всего пятьдесят три года? Просто на комбинате работает комиссия по банкротству...

Сегодня на заводе в рабочее время наткнулся на дремавших работников, которые обслуживают контрольно-измерительные приборы и хроматографы. Двое лежали на подоконниках, один — развалившись в кресле, — сонное царство. Было очень досадно и... больно. Еле сдержался, чтобы не накричать. С начальником цеха был жесткий разговор. Что же получается? Мы еще ни разу не сорвали на заводе выплату заработной платы. Средняя величина ее довольно приличная для наших дней. Вся тяжесть легла на плечи управленцев, ибо в высшей степени возросла роль финансово-кредитной деятельности, маркетинговой, юридической,

коммерческой. Нагрузки на работников этих служб возросли в десятки раз. В самом же производстве при падении его уровня, снижении грузооборота, уменьшении вообще технологических операций, напряженность труда явно снизилась. Кроме того, прекратив выпуск полиэтилена, мы уволили не 400 человек, как надо бы, а всего 170. Остальных рассредоточили по цехам.

Вот и появилась видимость благополучия. А на самом-то деле забот «по наклейкам», как говорит моя матушка. У нее на многие случаи жизни свои слова и выражения. Я раньше часто сбивался на слова из ее лексикона, теперь реже – надо, чтобы тебя с ходу понимали окружающие. А «наклейки» – это верхний уровень рыдвана, как верхние края у кошелки. То есть: дел по края. Я раньше все собирался составить словарь из слов моей матушки. Да руки не доходят.

Работа первых руководителей часто похожа на выступление штангиста. Такая же тяжесть, напряженность, устремленность к успеху и необходимость в четкости исполнения движений. Так же, как штангисты к штанге, по разному подходят руководители к решению своих проблем. Многое зависит от темперамента. Один несколько раз примеряется к грифу, выверяет место, где надо ухватить мертвой хваткой и делает это так сосредоточенно, что кажется, будто он вообще впервые в жизни видит штангу. Другой непременно вымажет всю свою грудь, ладони и прочие места тальком, поднимет пыль столбом и рванется к успеху. Третий совершит молитву у публики на глазах. Те, которые сопровождают свои движения со штангой криком, невнятным и отталкивающим, вообще мало интересны. Но есть такие мастера, которые видят себя со стороны, и эстетическая оценка для них исключительно важна. Им все равно: знает или нет зритель о том, сколько труда положено на тренировках и как тяжел сейчас вес. Им важна, как для циркового атлета, красота движений.

Таковыми были наш интеллектуал Юрий Власов и Давид Ригерт.

Среди первых руководителей есть свои Власовы и Ригерты. Они мне наиболее симпатичны.

СЕНТЯБРЬ

Немного отлегло от сердца. В конце рабочего дня без приглашения вошел в кабинет слесарь Николай Алексеев. Ну, думаю, вновь набедокурил. Работящий мужик, но невыдержанный и взрывной. Мы когда-то вместе работали в одной бригаде.

— Сергеич, не волнуйся, меня никто нигде на сей раз не задерживал, в вытрезвитель я не попадал. Я по другому вопросу.

— Какой сегодня?

— Ты подписал приказ о переходе на четырехдневную рабочую неделю?

— Я вынужден это сделать.

— Правильно, подписывай еще один, меня мужики наши прислали.

— Какой же?

— Надо всем уменьшить зарплату процентов на тридцать, временно. Мы потерпим, а завод этим как-то сохраним.

— Многие так думают?

— Многие, а если ты сам к этому призовешь, поддержат и остальные.

— Я над этим уже думал.

— Еще одно пожелание, а может, просьбу-требование можно?

— Давай.

— Не пиши заявления об уходе.

— С чего ты взял?

— С того, что обложили нас со всех сторон. Мы понимаем: тяжело руководить. Сосед твой, директор, написал? Написал. У них комиссия по банкротству работает. Ты этого допустить не должен. Весь завод тебе верит. Уйдешь... пропадет завод, да и ты на стороне без завода не сможешь. Мы так решили: с тобой до конца, а помирать — с музыкой: побреемся, почистимся, белые рубахи надеваем... и — с Богом. Молодец, что объявил на заводе месячник по культуре производства. Нельзя опускаться. Все дряют, скребут, метут, красят. Тебе свою солидарность демонстрируют. Тебя поддерживают. Так что — рули, капитан.

Он ушел, а я остался один на один со своим рулем. Да, на «палубе» пока порядок, я сам не позволяю распространять вирусы нытья и уныния. Но в «трюмах» уже пошла ржа, течь грозит отяжелить нас, но стойчивость и плавучесть мы сохранить можем...

У начальника цеха Толстова не заладились отношения со своим заместителем, грамотным инженером. Я не стал разбираться, но посоветовал полусушить:

— Не мужики, что ли? Возьмите бутылку, посидите на природе вместе, может, до чего договоритесь по-хорошему.

Сказал и забыл, а сегодня Толстов рассказывает:

— Знаешь, давно хотел научиться рыбачить спиннингом. А тут подарили такой симпатичный, игрушка для взрослого мужика — вот и приго-

дился к вашему совету. Мой заместитель, оказывается, в этом деле бесподобен. У него в лиманах такие места, весь двор жуками закормил.

Попросил я его вместе съездить в воскресенье на рыбалку. Он не отказался, очевидно, надоели наши натянутые отношения.

Мудреное это дело – хорошо забросить блесну. И хлопотное. Но мой учитель терпел. Вместе распутывали «бороду», вместе меняли блесны. Сложным оказалось притормаживать катушку, чтобы леска во время полета не давала слабину и при падении блесны, когда происходит остановка, она не запутывалась. Через десяток забросов мой большой палец на правой руке от попыток вовремя остановить катушку был в ссадинах и кровоточил. А безинерционная катушка у Игоря Ивановича работала, как часы. При его росте и сноровке все выглядело спортивно, элегантно и завлекательно. Он бросал блесну раза в три дальше, чем я. Все вообще было здорово, но не было рыбы. Ни одной поклевки. Меня это как-то не устраивало. Красиво, но не продуктивно. Я начал действовать. Надо сказать, все, что случилось потом – результат моей инициативы. Заприметил в камышах старенькую плоскодонку, и пока мой зам красиво и далеко бросал отливающую бронзой металлическую штуку, я вычерпал воду, нашел в траве крепкое весло и был готов к плаванию.

Мысль была такая: если здесь нет шук, то они есть в другом месте. Коллега мой не выдержал. Мы оттолкнулись от берега веслом, и наше суденышко пошло на простор.

Перепробовали десяток блесен. Щука не брала. Лишь один раз к моему огромному удивлению и сожалению маленький щуренок-сорванец размером с карандаш вяло так и нехотя прошел за блесной, но в метре от лодки передумал и отвалил в сторону.

Нас незаметно подбило ветром к противоположному берегу и тут открылись новые возможности: над нашей головой с шумом пролетали крыльчатые утки и плюхались за камышом в воду. Там, на плесе, их было уже немало. Мне было так жаль нереализованных возможностей Игоря, который по моей просьбе несколько раз к моему восхищению попадал блесной точно в то место, которое я указывал, что у меня созрел план. «Иваныч, – спрашиваю, – мог бы ты попасть в кучу уток метров с двадцати?» «Нет вопросов, – отвечает он, не задумываясь, и тут же, сообразив, загорается. – Это же великолепная идея, почему именно – рыба, когда есть утки?» «Вот, вот», – подначиваю я. Порешили так: медленно плывем к камышам. Он, пригнувшись, сидит наготове на носу лодки, я тихо гребу. Когда лодка врезается в узкую полоску камыша, он резко встает и бросает блесну в цель. «Послушай, когда будем подплывать, не смотри пристально на них». «Почему?» – спрашивает. «Я слышал, они

чувствуют взгляд, могут взлететь раньше времени». «Прямо, как женщины», — смотрит он недоверчиво.

Мы устремились к полоске камыша. Когда лодка коснулась его, я дал последнюю установку: «Бросай в самую крупную крякву!» Он не сплеховал: встал во весь рост и сделал бросок. Произошло что-то странное. Стая уток разделилась: одна часть взлетела, а другая, образуя стройный рядок, поплыла прямо на нас, повинувшись движению лески, наматываемой на катушку. Мы не успели ничего понять, когда на берегу вдруг выросли две фигуры охотников с ружьями наперевес... Пойманная нами дичь оказалась подсадными утками.

Рыбалка на уток закончилась мирно. Заспанные, но уже протрезвевшие охотники, для порядка поворчав, пошли вновь в свой окопчик. Мы же, расставив уток на прежние места, поплыли к своему берегу.

— Ну, а как моя педагогика, — спрашиваю, — реализовал?

— Знаешь, мы на рыбалке ни о чем серьезном не говорили. Голова на рыбалке становится пустая-пустая, замечательный отдых. Думаешь только: клюнет — не клюнет? Самый главный вопрос. Обратной дорогой, правда, наохотались вдоволь. Парень он, оказывается, мировой. Сегодня иду к нему домой. А что? Сынишка отбивается у него от рук, посижу — погляжу, может, как своего Дениску, гандболом увлеку?

Был в городском музее. Зашел посмотреть на обновленную экспозицию. Еще не все закончено, приятно пахнет деревом, но пока неприбрано. Художники хлопочут вокруг красивой люстры. Директор музея узнала меня:

— Стенд о вашем заводе готов, хотите посмотреть?

Очень все аккуратно, лаконично и содержательно. Ксерокопии о приемке завода в эксплуатацию, телеграммы в Правительство о выдаче первых тонн продукции. И люди. Замечательные наши заводчане, ставшие историей города, страны.

— Но у нас беда.

— В чем дело?

— Посмотрите, вот материал о заводском рабочем-ветеране, замечательном человеке и труженике, вот его ордена.

— Да, я знал его, он работал на заводе, что называется, до упора. Вышел недавно на пенсию и вскоре умер.

— Верно, и вот теперь его родственники требуют вернуть орден Ленина. Я не могу этого сделать.

— Почему?

— Его нам добровольно передала его жена.

– Так почему же требуют назад?

– Видите ли, они хотят его продать.

– Много ли он стоит?

– Они заявили, что на вырученные деньги смогут купить два автомобиля. У музея таких денег нет, я заплатить не могу. А они уже написали в высокие инстанции. Скорее всего, придется отдать. Может, завод что-нибудь придумает?

Я невольно усмехнулся, вспомнив историю о том, как старик-слесарь продал свой орден за пачку курева в начале перестройки. Промахнулся отец, сейчас бы он мог покурить намного больше.

Сегодня, слушая духовой оркестр, вспомнил одну историю. Случилась она со мной в Нью-Йорке в 1986 году. Тогда еще наш брат-производственник мало бывал за границей, тем более в Америке. А если и бывал, то больше всего ездил посмотреть заграничное производство. Мы же были приглашены известной фирмой «Луммус» после того, как разработанный нашими заводскими учеными под руководством главного отраслевого института процесс каталитического пиролиза попался на ВДНХ на глаза иностранным специалистам. Процесс не имел мировых аналогов, и поэтому нам предстояло впервые в нашей практике вести переговоры по продаже американской стороне лицензии на нашу технологию. Все было непривычно. Конечно же, была гордость за нашу науку, за свой завод.

Переговоры оказались затяжными. Когда же появлялись свободные минуты, все мы пытались побольше походить по улицам, увидеть своими глазами то, что было недоступно раньше.

Мой маршрут был прост: я выходил из гостиницы «Веллингтон», высотное здание которой было видно отовсюду, и по авеню и стритам, расположенным с прямолинейной простотой, затерявшись в многоликкой, разноязычной толпе, один, без коллег и переводчика, гулял по Нью-Йорку. Я дал себе слово не заговаривать ни с кем, не обнаруживать, что я – русский. Ходить и смотреть молча. Мне и этого было сверхдостаточно.

На улице, перед маленьким ресторанчиком, играл небольшой оркестр. Я подошел, полукольцо слушателей, отгородивших музыкантов от общего уличного потока, активно реагировало на игру. Белозубые негры – трубач и ударник – гипнотизировали публику. Слушатели часто, не дожидаясь окончания игры, заразительно аплодировали. Звучали знакомые и незнакомые латиноамериканские и английские мелодии. Прекрасные

и далекие. Далекое, хотя и исполняемое рядом, в двух шагах от меня на импровизированной эстраде.

Я весь погрузился в незнакомый мне мир, прекрасный, но чужой. Будто набрав как можно больше воздуха в легкие, нырнул в глубину, и толща воды сверху сомкнулась над головой и отгородила меня на время от близкого и родного... Душа тянулась к чужому, недоуменно оглядываясь, бережно храня свое, оставшееся там, далеко-далеко.

И вдруг оркестр заиграл совсем иное. Я даже вначале не понял, что именно звучит. Но звуки музыки раздвинули надо мной своды, и я оказался дома. Негры играли вальс «Амурские волны».

Обрушился шквал аплодисментов. Я смотрел на слушателей. Похоже, что русских не было. Но слушали с большим подъемом.

Амурские волны плескались широко и привольно. Для них не было границ. Улочка разомкнулась вширь, была одна музыка на всем белом свете — музыка амурских волн. Когда она кончилась, вновь возник шквал аплодисментов.

Я напрочь забыл о своей установке ни с кем не заговаривать. Хотелось враз всем объявить, что я русский, что это наша музыка, что я очень рад такому теплomu вниманию к ней. Во мне все ликовало. Но я все-таки сдержался.

Когда же наступил маленький перерыв, я подошел к рослым парням в оркестре и на английском языке попеременно с русскими словами стал благодарить.

— О, рашн! — они улыбочиво потянулись ко мне.

Мне пришлось нарушить конспирацию:

— Ес, ай эм рашн.

И мы дружески и крепко обнялись

Ездил маршрутным автобусом в областной центр. Мое место оказалось у окна. На выезде из города на остановке входят в автобус мама и дочка. Одно место есть, но не у окна, и это обстоятельство явно не устраивает девочку. Мама, манерная, модно и со вкусом одетая дама, садится на свободное место. Девочка, трехлетний белокурый сорванец, решает почему-то, что у нее больше прав, чем у меня, на то место, которое занимаю я. Или я не очень представительен и со мной можно поступать по-своему, но она тут же протискивается между мной и окном и пытается, уже протиснувшись, завоевать часть сидения. Я, естественно, уступаю ей все место, встаю.

— Красиво как, мама, смотри — вон лошадка на полянке.

– Как нехорошо, Людочка, нельзя так некультурно себя вести. Верни дяде место.

– Я его не брала, пускай садится, он сам встал. Ему, наверное, не нравятся лошадки. Смотрите-смотрите, какая стрекоза летит!

Стрекоза действительно большая – военный вертолет, только что поднявшийся с летного поля. Двух-трех минут хватило, чтобы мама и дочка стали центром внимания всего автобуса. И мама красивая, и девочка забавно себя ведет, делая всех пассажиров улыбочивее и добрее. Теперь уже все прислушиваются к диалогу матери и дочери.

– Людочка, все-таки нехорошо, а вы, молодой человек (это ко мне), садитесь, пожалуйста, зачем стоять?

– Дяденька, садитесь, в ногах правды нет, – передает мне Людочка мировой человеческий опыт.

Я благодарен – не очень удобно себя чувствовать в центре внимания – сажусь. Но мама ведет свою линию. Либо ей понравилось всеобщее внимание, либо – по инерции.

– Людочка, давай сделаем так: ты все-таки уступишь дяде все место, а я за это тебя сегодня к себе в постельку спать положу, хорошо?

Пассажиры, втянутые в этот диалог, ожидают Людочкиного ответа.

– Нетушки, мамочка, не хочу!

– Ну, почему же, хорошенькая моя?

Ей явно не мешает всеобщее внимание, наоборот, оно стимулирует ее педагогические устремления.

– Я, мамочка, с тобой не лягу, потому что у тебя попочка холодная, так папа говорит, правильно?

Дамочке повезло, автобус остановился и она, схватив за руку столь прелестнейший объект воспитания, с пунцовым лицом выскочила на улицу. В автобусе стало намного спокойнее. Но скучно как-то...

Диабет оказался не самым страшным зверем. Врачи обнаружили у меня в желчном пузыре камень. Он-то, по их мнению, и провоцирует избыток сахара. Камень удалили удивительно ловко по современной немецкой методике в областном центре. И анализы крови на сахар пошли нормальные. Я уже четвертый день как работаю. У меня часто в последнее время возникает ощущение, что я живу под легким, но мощным крылом невидимого моего ангела-хранителя.

Все-таки надо признаться: я жалею, что, делая свой небольшой доклад в Правительстве по реконструкции завода, не повел с вице-

премьером Олегом Сосковцом разговор о неплатежах. Буквально через неделю он возглавил оперативную правительственную комиссию, которая теперь занимается этой проблемой. А ведь у меня был подготовлен материал на примере нашего завода и были конкретные предложения в целом по отрасли. Я тогда подчинился всемогущим чиновникам только ради того, чтобы они не заблокировали мне возможность новой встречи.

Завод «на мели». Несмотря на то, что у нас нет задолженности перед бюджетом, наш долг соседнему нефтеперерабатывающему комбинату налоговая инспекция направила в картотеку, поскольку нефтепереработчики крепко задолжали городу. Пока мы не выплатим за нашего соседа, возникнут огромные проблемы с оплатой сырья, реагентов, заработной платой. Не исключена остановка ряда цехов.

«Когда я стал импотентом, как гора с плеч». Эту фразу мне сказал мой коллега директор.

Когда меня спрашивают, почему я не иду в политику (мол, есть опыт хозяйственника, опыт депутатской деятельности, ученая степень доктора наук и т.д.), я не сразу нахожу, что ответить. Но я вспоминаю Кропоткина, который, желая участвовать в переустройстве мира, ушел из науки (у него были на этом поприще значительные успехи) и стал политиком, считая, что это кратчайший путь к достижению желаемого — перестройки общества. Что из этого получилось, можно судить по его же высказываниям, которые приводит в своих воспоминаниях М.К.Куприна-Иорданская (в записи Н.К.Вержбицкого): «Приехал в Питер князь Кропоткин, теоретик анархизма. Его сводили в штаб анархистов. Князь был подавлен грязью, моральным неряшеством этого гнезда, его возмутил вид молодых людей, вооруженных до зубов, с наглыми лицами. Придя навестить Плеханова (он жил тогда у Куприной-Иорданской), он рассказал ему об этом и грустно добавил: «И для этого я всю жизнь работал над теорией анархизма!» Плеханов вздохнул: «Я в таком же положении. Мог ли я думать, что моя проповедь научного социализма приведет ко всему тому, что говорят и делают сейчас...» Этот разговор состоялся в 1917 году.

ОКТЯБРЬ

Три дня в Париже. Кажется, мы в очередной раз удачно ухватились за спасительную соломинку, нашли фирму, которая торгует нефтехимической продукцией и готова поставить нам оборудование на два миллиона

долларов в счет компенсации этой суммы в последующем нашей продукцией. Технология мирового уровня, подобного оборудования в России нет.

Переговоры были напряженными. Личного времени хватило только на две ознакомительные поездки. Одна из них в местечко Сент-Женевьев-де-Буа в тридцати километрах к югу от Парижа, где находится русское кладбище. Моей заветной мечтой было побывать на могиле Ивана Бунина. И вот сокровенное желание оказалось реальностью.

Все было обыденно, просто и торжественно. Пройдя, через ворота церкви Успенья, построенной в новгородском стиле архитектором Альбертом Венуа, наша небольшая группа оказалась на кладбище.

Мы ступили на его территорию и были ошеломлены. Кладбище – свидетельство пережитой Россией величайшей драмы. По-другому это не воспринимается. Здесь нашли последний приют десятки тысяч русских, не принявших новый порядок в России, оставшихся без дома. Несмотря на то, что место, на котором захоронены наши русские, составляет значительную часть, кладбище Сент-Женевьев-де-Буа является муниципальным и предназначено в общем-то для жителей данного уголка Франции.

Но, Боже, какие здесь лежат россияне! Писатели Иван Бунин, Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский, Алексей Ремизов, Георгий Иванов, Борис Зайцев... Художники Константин Сомов, Зинаида Серебрякова, Константин Коровин... Русские дворяне Голицыны, Мусины-Пушкины, Гарины, Трубецкие, Шереметьевы, Толстые... Князь Феликс Юсупов...

После этих фамилий и посещения братских захоронений дроздовцев, алексеевцев, Русского кадетского корпуса, русского казачества остается либо кричать в голос, не помня себя, либо затравленно молчать. Около шести тысяч могил и десяти тысяч захоронений.

Вначале, подталкиваемый желанием как можно больше видеть и знать, я устремился к могильным плитам, открывая для себя все новые и новые имена, но скоро, душевно обессилев, вернулся к скромной могиле Ивана Бунина. Но и здесь не смог успокоиться и ушел в кладбищенскую церковь.

В юности я был покорен Буниным. Прочел все, что смог достать. Некоторые строчки рассказов носил в себе. К рассказу «Легкое дыхание», потрясшему в детстве, возвращался многократно. Повзрослев, я зачем-то убеждал себя, что этот рассказ сплошная выдумка, что это не жизнь, так не бывает. Но постоянно готов был поверить в Олю Мещерскую, в близкое легкое дыхание. «Теперь это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем

ветре». Концовка рассказа теперь не казалась мне мистической, как раньше.

С кладбища ушел поздно, а ночью в номере гостиницы записал строчки:

*Я давно мечтал об этой встрече
На земле чужой пусть, но не там —
В небесах, где не звучат уж речи,
Где безмолвьем замкнуты уста.*

*Но, боясь неосторожным словом
Невзначай нарушить тишину,
Плачу я и снова, снова, снова
Стыдно мне и горько за страну.*

*Окаянным дням уж нету счета,
Новый вышел яростный виток.
Дьявол правит по своим расчетам,
Рвется мутный, бешеный поток...*

Наутро мне предстояло отправиться в обратный путь, в Россию.

Что же это за месяц — октябрь, постоянно проверяющий наше общество на крепость? Этот день — 11 октября — назвали «черным вторником». Я уверен, что виновники обвального падения курса рубля на валютной бирже обнаружены не будут. Несмотря на то, что Б. Ельцин собрал Совет безопасности, чтобы заслушать доклады О. Лобова и С. Степашина о результатах расследования. Нельзя же за три дня найти зачинщиков и исполнителей этой крупномасштабной аферы. Не найдут их и после. Не для того все вершилось. Этот вторник не только «черный», он еще и очень «темный». Как я понимаю, у финансовых и правоохранительных органов, которые должны были заняться аудиторскими проверками в коммерческих банках, шансов на выявление их истинной роли в торгах 11 октября нет. Конечно, руководство Минфина и Центрального банка заслужило свое наказание. А компенсация ущерба населению? Здесь как быть? Впрочем, ведь ни Центробанк, ни Минфин, ни валютные воротилы-спекулянты не в силах нанести такой сильнейший удар нашей национальной валюте. Здесь другое. Она в лапах, щупальцах осьминога, в тисках. И тиски эти — кризис производства, отсутствие серьезных инвестиций, неконкурентоспособность наших технологий и продукции на мировом рынке из-за высокой себестоимости. Есть от чего «причече-

ниться». Опять попало на язык мамино словцо. «Причечениться» – выглядеть хмуро, пригорюниться.

У моего давнего приятеля Бориса Луконина беда.

– Ты понимаешь, – рассказывает он, – уму непостижимо, это только моя Галина может так поступить, только с ней такое может случиться. Люди добрые, что делается!

– Послушай, ты почти причитаешь, скажи толком.

– А вот толком не могу, нету толка, одна бестолочь. Вчера моя младшая родила.

– Так замечательное дело, ты второй раз дед. Поздравляю!

– Да подожди, дай расскажу как родила.

И он рассказал.

Дочь Галина, студентка медицинского института, готовясь рожать, просмотрела всю специальную литературу, более того, свекровь, с которой она живет вместе, по профессии акушерка, дала ей несколько чисто практических советов. И вот наступил день, а вернее утро, когда все торопились на работу, у Галины начались схватки.

Муж Галины, шофер, тут же предложил отвезти жену в роддом, машина стояла под окном. Свекровь решила остаться дома, пока все образуется. Но Галина от всех предложений отказалась, заявив, что родит поздно вечером, ей это совершенно ясно по всем признакам. Она ведь столько всего изучила. Торопиться некуда. Несмотря на общее недомогание, всех выпроводила и осталась одна.

Через час схватки усилились, и Галина позвонила свекрови, чтобы та срочно приезжала. Как потом выяснилось, во время телефонного звонка начались роды.

– Когда свекровь приехала, вдруг обнаружилось, что она в спешке забыла на работе ключи от входной двери. Дверь открыла изнутри сама роженица, держа на груди дочку с болтающейся пуповиной. На тумбочке, на кровати лежали медицинские книги. Студентка рожала по книжкам дома.

Белесые брови моего приятеля полезли ближе к резким крылатым морщинам на лбу, он смотрел на меня, не мигая, воспаленно и вымученно.

– Послушай, а ведь мы все такие.

– Кто мы? – не понял я.

– Ну, мы все, и ты, и я!

Я неуверенно возразил:

– Да нам рожать как будто пока не приходилось...

— Еще как приходилось, все наше общество в схватках. Что, не так?

И сам себе ответил:

— Так! У России, как у моей Галины, в избытке и советчиков, и наблюдателей. И толковых, и бестолковых. И она сама: и знает, что делает, и не знает. И чужой опыт хочет знать, и по книжке, и без книжки, и своя гордыня глаза застит. И все сама хочет, и все по-своему, как будто нет никого вокруг.

— А что делать?

— Не знаю, — сбросил он пыл.

— Может, в той самой пуповине, которой мы держимся за прошлое, все дело?

— Не знаю, — повторил он снова. — Верю только в благополучный исход. Но каких нелепых и тяжелых мук это будет стоить! Никто их не измерит. Нет такого инструмента. И единицы измерения нет. Так ведь?

Есть единица измерения, подумалось мне. Наши судьбы.

Скорбный день. 20 октября. Повесился Виктор Ярцев — один из пострадавших от несчастного случая на заводе, получивший ожог лица и груди. Уже почти выздоровев, выписавшись из больницы, не захотел жить с изуродованной внешностью.

Вечером еще одна трагическая весть: на 75 году жизни умер Сергей Бондарчук. Обрушилась глыба — основательнее, серьезнее и ближе по духу я в современном искусстве никого не знал. Я любил Сергея Федоровича. Очень ждал его картину «Тихий Дон». Будет ли теперь она? Какая будет без него? И какие мы сами будем без Бондарчука, Крючкова, Леонова, Смоктуновского?..

Сегодня Александр Солженицын выступил в Москве перед депутатами Государственной Думы. Увы, мне горько говорить, но сам факт приглашения Солженицына на высокую российскую трибуну, беспрецедентный в практике молодого парламентаризма, стал явлением более сам по себе, нежели речь писателя. Она была выслушана с тем вежливым вниманием, с которым ученики слушают нравоучения большого школьного начальства, едва-едва сдерживая свое нетерпение дождаться конца и порезвиться во дворе. Грустно.

«Мы выходим из коммунизма самым искривленным, самым болезненным, самым нелепым путем». Это звучало больно, но это уже не было откровение для большинства из нас. Где он, иной путь?

Солженицына трудно причислить к чьим-то шеренгам. Ни одна партия, фракция, ни государственная власть, которой крепко досталось в его речи, не может назвать его своим единомышленником. И хотя уникальный костюм и весь облик Солженицына вызывают в памяти Толстого в его известной рубахе, писатель, очевидно, не станет властителем дум масштаба автора «Войны и мира».

Наше «переломное время», кажется, начинает избавлять нас от бесспорных общенациональных авторитетов. Это еще надо понять. В этой крайности кроется много беды. Пример тому – что мы сделали с Сахаровым...

Недавно познакомился с одним интересным человеком: Петр Андреевич Дунаев. Старику девяносто лет, сельский интеллигент, учитель. Преподавал географию, историю, рисование. Обошел пешком всю нашу область, был в геодезических партиях. Искал нефть, соль. До недавнего времени жил в Серноводске. Старуха умерла, надо было куда-то приблизиться к своим. Переехал в наш город, живет с дочерью.

Старик рассказал мне такую историю.

Он был молодым учителем в одном из заволжских сел. Времена – крутые, самый разгар культа личности. Где-то в инстанциях получилась нехватка: требовалось добивать врагов народа. На их село упала одна кандидатура. Следовало самим определиться, кто будет этим самым врагом. Они, партийцы, сидели долго втроем в сельской избе. Долго решали и остановили выбор на церковном старосте. Во-первых, он был старостой, что по тем временам уже большой криминал, а, во-вторых, занимался частным промыслом: пилил изредка дрова, сушняк и продавал в городе. Это, впрочем, делали многие.

– В какой-то момент, – говорит Петр Андреевич, – я почувствовал, что я здесь самый грамотный, больше чем кто-либо понимаю, что творится беззаконие. Я морально больше остальных должен нести ответственность за то, что получается. И решил воспротивиться.

...Как отговаривал он своих собеседников, рассказывать не буду, но в конце концов они решили: у них в селе нет врагов народа. Доложили наверх и страшно удивились, что их оставили в покое...

Чуть позже слух дошел до церковного старосты. Пришел он в гости к Петру Андреевичу и принес в крапивном мешке три больших соленых леща. Больше ничего не нашлось. Но Петр Андреевич от лещей отказался. Односельчанин все понял, не обиделся, сложил лещей в мешок и ушел.

А в восемьдесят седьмом году, почти через пятьдесят лет, пришел вновь к Петру Андреевичу, разыскал его. Пришел уже старым человеком, чтобы вновь поблагодарить. Сказал:

— Не дал ты тогда, Андреич, чтобы жизнь моя пресеклась. А у меня с того момента родилось еще четыре сына, а теперь вот уже девятнадцать внуков, правнуков. Вот сколько «враженят» от врага народа!.. А один сын мой, младший, стал Героем Советского Союза, вот так!

И засмеялся бодро, совсем не по-стариковски.

НОЯБРЬ

Из газет: четырьмя выстрелами убит директор акционерного общества «Рязанский мясокомбинат». Убили поздно вечером в подъезде собственного дома, куда за ним вошли трое молодых людей. Мотивы преступления следствию пока неизвестны. Это не первое покушение и убийство хозяйственных руководителей Рязани. Ни одно из подобных преступлений раскрыто не было.

Пиши, мой «черный ящик»...

Второго ноября разбросанных по земле настоящих «черных ящиков» стало больше.

В прошедшую субботу в Сибири произошли сразу две авиационные катастрофы. В аэропорту города Усть-Илимска потерпел аварию пассажирский самолет Ан-12. Погибло 9 членов экипажа и 14 пассажиров. А в районе поселка Батагай (Якутия) при заходе на вынужденную посадку разбился самолет Ан-2. Погибло 6 человек.

Михаил Сарайкин, сосед моей матушки, любил пофилософствовать про жизнь еще до перестройки. Он когда-то подростком жил в семье кулаков Тимонтаевых и имел о раскулачивании совершенно определенное мнение:

— Вот ты смотри, — он выхватывал из рукава свой крепенький, ловкий кулак и вертел им перед носом собеседника, — что это? — и сам отвечал, растягивая звуки: — Ку-у-у-лак! А это? — он резко разжимал пальцы и совал пятерню в лицо собеседнику. — Что это? Ничто! Тьфу, да и только. Так вот и с Тимонтаевыми: все вроде крепко, надежно, богато! А посмотри: лавка, полы некрашеные, косырем скоблили, чтобы навести чистоту. Весь достаток держался на каторжной работе четырех братьев. На порядке. Умели работать, и меня усыновили и работать научили. Им благодарен. Когда их всех забрали в первый раз, так Петро с Федором из Кинеля убежали вечером домой, чтобы пшеницу убрать с

поля в амбары. Мы всю ночь волочили ее на себе. Хлеб всему голова. И вины за собой они не ведали. На другой день их снова арестовали. Вот если бы наши колхозники так болели за дело, а? А то ведь не свое, вот и нет ударной силы-то, кулака, а есть растопыренная пятерня.

— Но ведь и в колхозе многие люди трудились на совесть, — возразил я.

Он посмотрел на меня, помолчал и, глядя поверх моей неразумной головы, сказал фразу, которая была постоянно у нас в селе на слуху и к которой я уже привык, как к прибаутке, не особо вдумываясь в ее смысл:

— Да, — сказал бедняк, — хорошо в колхозе жить, — и заплакал.

Я вспомнил этот давний разговор потому, что наша действительность отвела директорам предприятий судьбу, схожую с кулачеством. Как будто над их головами занесена чья-то тяжелая рука, и хозяин этой руки словно не ведает, что очень многое в нашем российском доме зависит от их умения, стойкости и надежности.

И лавки, и полы будут в нашей горнице чистыми, будет, что убирать в поле. Только не мешайте, а помогайте, тогда и итог будет положительным, и хлеб, как братья Тимонтаевы, вовремя уберем в наши с вами амбары... Едва не сказал: «закрома Родины».

В конце рабочего дня звонит Мамонов, главный инженер энергосистемы:

— Послушай, ты полипропилен выпускаешь?

— Нет, такого производства у меня нет.

— А полиэтилен дашь? Тонн триста?

— Не дам, у меня его нет.

— Почему?

— Я остановил производство. Он убыточен.

— А не боишься, что в один час придет человек с ружьем и скажет: «А ну, пускай!»

— Это уже было. Человек с ружьем нам и скомандовал: «Остановить!»

— Кто такой?

— Тот, кто отвечает за ценовую политику и тарифы. Высокие тарифы на энергетику опрокинули нас в долговую яму, а затем за неплатежи нас начали ограничивать в отпуске энергоносителей.

— Так и не пустились?

– Нет. Стоять, не выпускать продукцию менее убыточно, чем работать.

– Во даем!

– Даем. Общими усилиями.

«Вот выкусывают», – сказала бы моя мама, что по ее словарю значит – чудачат.

Вся прошедшая неделя, казалось, состояла из оглушающих событий в Чечне, связанных со штурмом Грозного и участием в нем русских военнослужащих.

Руководство России стояло перед исключительно ответственным выбором. Или чрезвычайное положение, способное в любой момент перерасти в войну, или сложный, не сулящий быстрых успехов, переговорный марафон. Сила моральная или физическая. Вот несколько строк из экспресс-анализа, сделанного аналитическим центром газеты «Известия»:

«В попытках повлиять на этот выбор в обществе выделилось две силы, две позиции: «партия мира» и «партия чрезвычайного положения».

Организирующим центром «партии мира» в эти дни стало Федеральное собрание. На закрытых заседаниях обеих палат проявилось невиданное в послеавгустовской России единодушие депутатского корпуса, в подавляющем большинстве выступившего против введения ЧП на территории Чеченской республики и за мирное разрешение конфликта.

В Госдуме против режима ЧП и ввода войск на территорию Чеченской республики высказались лидеры всех основных фракций, даже те, кто в более спокойные времена требовал восстановления единого государства в границах 1945 года».

По решению Президента, сегодня утром российские войска вошли в Чечню и блокируют Грозный. Накануне переговоров 12 ноября во Владикавказе передано по телевидению Обращение Президента.

Похоже сегодняшний день – 11 ноября – это не только канун переговоров с Чечней, канун годовщины Российской Конституции, но и начало новой страницы Российской истории. Мирной ли?

«В департамент по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству передан для продажи физкультурно-оздоровительный комплекс, возводимый АО «Строитель». Объект со спортивным залом, бассейном, сауной, душем, прочими удобствами заморожен из-за отсутствия средств на его строительство. Комплекс с восьмиде-

сятипроцентной готовностью будет продан тому, кто возьмется его достраивать».

Это из местной газеты. К сожалению, такова реальность. Подобные объекты не только продаются из-за отсутствия средств на окончание строительства, но и перепродаются с целью получения прибыли.

Мне самому пришлось всю прошедшую неделю заниматься делами, связанными с приобретением профилактория с последующей передачей его нашим кредиторам. Профилакторий действующий, но владелец не имеет средств на его содержание. У нашего завода неоплаченные векселя. Наши кредиторы согласны забрать у нас, если мы приобретем этот профилакторий вместе с землей в счет погашения нашей задолженности перед ними. Нам это выгодно. Неплатежи покрываются взаимозачетом, причем сумма взаимозачета намного превышает цену и земли, и самого профилактория. Консультировался в фонде имущества у юристов: все законно. Рынок. Наверняка знаю: профилакторию конец, его перепрофилируют (ибо он в черте города) и работающим отдыхать будет негде.

Какие-то винтики во не начали барахлить. После всего того, что уже было с моим организмом, мне стыдно паниковать, но все же. Временами болит голова, особенно после нападения, когда чуть выше виска получил рану и наложили несколько швов. Уважая во всем ясность, вышел на московских врачей на Старом Арбате. Заплатил, и вот диагноз: «...у пациента начальное проявление недостаточности мозгового кровообращения, ишемическая болезнь сердца в виде нарушения ритма...»

Успокоили.

С утра встречался с представителем одной из бразильских фирм, которая торгует нашим спиртом. Интересная и поучительная информация. Он предложил покупать продукт, минуя посредников. На вопрос: кто будет потребителем нашего спирта? — ответил:

— Сахарные заводы Бразилии.

— Но зачем этиловый спирт сахарным заводам?

— Очень просто. Федеральные власти обязывают определенное количество спирта, получаемого из сахара, отдавать производителям автомобильного бензина в Бразилии.

— Зачем?

— В Бразилии, из-за дефицита нефти и в целях охраны окружающей среды, воздуха, которым они дышат, бензин почти на одну треть разбавляется спиртом. В случае нехватки сахарного тростника производи-

тели покупают спирт за границей, используя его и как стопроцентное карбюраторное топливо.

Ночью мне снился жуткий сон. Меня судили за то, что будто бы я в электричке толкнул на ходу человека, тот выпал и разбился насмерть. Я за собой этого не помню, намеренно этого сделать не мог, но судья, все понимая и принимая мои протесты, тем не менее имеет доказательства, заставляющие выносить мне приговор. Я не толкал никого! Но есть свидетели, доказывающие обратное. Я метался во сне, пытаюсь найти выход из чудовищно нелепого и тяжелого положения. И я его, кажется, нашел. В подсознании родилась вдруг мысль-догадка: надо скорее проснуться и тогда все разрешится – дурной ли это сон или чудовищная реальность. Проснулся. Слава Богу! Это был лишь сон, в реальной жизни не было ни электрички, ни суда.

Встал. Подошел к зеркалу. И вдруг спохватился: сегодня же 18 ноября! Ровно десять лет, как я работаю директором завода. Так каким же я стал с тех пор, как согласился на эту должность, поставив перед собой «зеркало», чтобы, периодически вглядываясь в себя, не потерять лучшее в себе?

На меня смотрел седой, лысеющий, с мешками под глазами человек. Вряд ли он улучшил свои личные человеческие качества. Да, он стал опытнее, профессиональнее, жестче, рациональнее и изобретательнее, даже изощреннее. Он никого ни разу сознательно несправедливо не толкнул, но ведь сколько волн от него шло и как разнообразно они влияли на окружающих! И как их гасили или усиливали люди, окружающие его! Вполне ведь возможно, что кого-то могло сбить с ног.

«Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется». Слово! А поступки тем более.

Не явится ли ко мне судья и не предъявит ли обвинение наяву, как сегодня ночью во сне?.. И мне будет нестерпимо больно.

Итак, у меня на столе лежит указ Президента по нашему заводу. Что он нам дает? Посмотрим:

«...постановляю:

1. Освободить на период проведения реконструкции акционерное общество от обязательной продажи части валютной выручки, получаемой от экспорта полиэтилена, этилового спирта, а также ресурсов углеводородного сырья, с направлением указанных средств на реализацию проекта реконструкции и погашения кредита Баварского Банка (Германия), выделенного на эти цели.

2. Контроль за целевым использованием валютной выручки, упомятой настоящим Указом, возложить на Министерство финансов Российской Федерации и Федеральную службу России по валютному и экспортному контролю.

3. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания».

Увы, освобождение от обязательной продажи части валютной выручки нас не спасает. Нам нужны щадящие условия на период реконструкции по налогообложению, тарифам на энергоресурсы, перевозки, разумеется, с последующим (после ввода мощностей) возвратом долга. Но это, как оказалось, в компетенции только Государственной Думы России...

Дал указание своим помощникам готовить обращение в Думу.

Я начинаю думать, что мог бы попытаться написать роман о нашем времени. Я давно чувствую в себе какие-то толчки, которые заставляют меня связывать одно с другим, выстраивать, домысливать уже увиденное, услышанное. Я много думал, кое-что видел, это меня подталкивает к бумаге, увиденное, продуманное, видоизменяясь, просится в какие-то формы, четче, ярче, более выпукло показывающие саму жизнь, то, что видел и чувствовал сам.

Я уже давно заметил, что у меня накопилось много историй, которые я рассказывал друзьям, незаметно сам для себя, каждый раз шлифуя форму, и что они живут уже своей жизнью и по своим законам. Мои рассказы не совсем стали походять на то, что было на самом деле, но от этого не перестали быть интересными, а удивительно, стали еще более жизненными и правдивыми по-своему.

У меня есть один знакомый, который мне полушутя-полусерьезно доказывал, что хотя он и не опубликовал ни одной строчки, он — поэт. Ибо, воспринимая жизнь, как высшую поэзию, сочинил всего одну строку и постоянно, уже много лет, находится под ее обаянием, не решаясь ничего добавить и жалея тратить саму жизнь на сочинительство. Вот эта строка:

...здесь жизнь текла...

Странно, я, кажется, готов с ним согласиться, хотя у меня несколько иное. Часто возникает «поэтическое настроение», состояние, когда видишь и чувствуешь себя один на один со всем окружающим миром. Ты — и все, кроме тебя, или ты — это все, что вокруг тебя, рядом и далеко, и оно — бесконечное, безграничное, необъятное и непонятное, вечное и бесстрастное. И тут возникает желание обрести ду-

шевное равновесие, схватиться за спасительную суть, удержаться за нее, открыв, отыскав ее для себя, а может, и для других.

В течение прошлых суток произошли два захвата самолетов в России. Газета от 25 ноября: «В ночь на 24 ноября вооруженный пистолетом террорист попытался захватить пассажирский самолет Ту-154, следовавший по маршруту Душанбе-Ставрополь-Москва. Как сообщает ИТАР-ТАСС, угонщиком оказался кадровый военный, подполковник, заместитель начальника отдела Министерства обороны Таджикистана». И второй угон: на этот раз уже в самолете Ту-134, который следовал по маршруту Сыктывкар-Пулково-Минск. Угонщиком оказался электротехник шахты «Южная» из Воркуты.

Мои ощущения, что наш завод, весь коллектив — это лайнер с заводчанами-пассажирами, не покидают меня. Напротив, все более подтверждаются. И захватчики-террористы с момента акционирования проявляют себя все настойчивие. Часто чувствую дыхание в затылок. Глухо, но доходят через третьи лица разговоры о том, что завод будет взят «на корню». Есть и более отчетливые проявления...

Достоверно это или нет, но сегодня по телевидению прошла информация о том, что в Чечне войска оппозиции взяли Грозный, Дудаев скрывается со своими единомышленниками на окраинах города.

25 ноября председателем Правительства Временного Совета назначен Саламбек Хаджиев. Я немного его знал, он некоторое время был министром нашей отрасли.

Всего пару недель назад был звонок из Москвы, предупредили, что моя кандидатура рассматривается на должность директора Всесоюзного научно-исследовательского института по переработке нефти. Мне надо самому определиться, желательно срочно приехать. Задал вопрос:

— Кто еще может претендовать или быть предложенным на эту должность?

— Реально еще двое, возможно, один из них Хаджиев.

Через два дня я позвонил и попросил снять мою кандидатуру, но не потому, что не уверен в себе. Я уже однажды однозначно решил, что в таком положении бросать завод нельзя.

Хотя, конечно, работа могла быть интересной.

Сегодняшний день закончился приятной новостью. Наши мало-мальские успехи заметны и со стороны, о чем говорит это письмо из моей почты:

«Уважаемый господин Стражников!

Мне очень приятно сообщить Вам, что Ваша компания после предварительной процедуры отбора представлена к авторитетной Международной Награде «ФАКЕЛ БИРМЕНГАМА» за успешное экономическое выживание и развитие в трудных условиях зарождающихся рыночных отношений. Ваша компания включена в список кандидатов на получение этой Награды. Выбор делается международнопризнанным комитетом на основе рекомендаций, полученных из диверсифицированных источников экспертной информации.

Руководимое Вашей управленческой командой предприятие соответствует критериям выбора фирм, награждаемых «ФАКЕЛОМ БИРМЕНГАМА».

Награда «ФАКЕЛ БИРМЕНГАМА» вручается за успешное экономическое выживание и развитие в трудных условиях зарождающихся рыночных отношений. На фоне исторических событий в России, связанных с переходом на новую экономическую систему, деятельность российских компаний привлекает внимание представителей деловых кругов и экспертов на Западе. Российские предприятия работают в трудные времена, подобные периоду Великой Депрессии, которая потрясла США около 60 лет назад. Успехи российских лидеров бизнеса вызывают восхищение их коллег в разных странах. Награда «ФАКЕЛ БИРМЕНГАМА» является данью уважения деятельности руководителей предприятий, успешно развивающихся в новых социально-экономических условиях.

С уважением, Директор комитета по награждению».

Кредит под нашу реконструкцию застрахован в Германской государственной компании «Гермес».

За первые пять месяцев 1994 года задолженность по кредитам, по которым компанией «Гермес» были выданы поручительства, составила рекордную сумму в 2,9 миллиарда немецких марок. Большая часть непогашенной задолженности за поставки из Германии и прямых убытков (около 1,8 миллиарда немецких марок) приходится на страны СНГ. Так как «Гермес» действует от имени и за счет средств германского Правительства, эти деньги ложатся дополнительным бременем на германский федеральный бюджет. Компенсация Правительства Германии по экспортным поставкам в бывший СССР составила в 1993 году 4,5 миллиарда марок, тогда как бюджет ФРГ смог получить от иностранных должников лишь около 1,8 миллиарда марок в качестве долговых процентных выплат.

Россия в этом году по классификации компании «Гермес» отнесена к самой высокой пятой категории рискованности по вложению средств. В этой категории, кроме стран СНГ, еще Камерун, Замбия, Судан... В первой, самой надежной категории: Сингапур, Южная Корея, Тайвань...

Нам очень надо торопиться с реализацией своего проекта. Пока еще верят. Хотя и меньше, чем остальным в мире.

Калейдоскоп событий. Три дня назад телевидение известило о взятии дворца Президента в Грозном, о том, что уже известен глава нового Правительства, а сегодня оказывается, что события вершатся с точностью «все наоборот».

В этот же день президент Ельцин обратился к участникам вооруженного конфликта в Чечне и ультимативно потребовал в течение 48 часов с момента обращения «прекратить огонь, сложить оружие, распустить все вооруженные формирования, освободить всех захваченных и насильственно удерживаемых граждан». Если этого не последует, то в Чечне будет введено чрезвычайное положение.

В Грозном действовало когда-то прекрасное предприятие – Грозненский химический завод. Бывший флагман нашей отрасли. Наше родственное предприятие, с которым мы постоянно соревновались и у коллектива которого многому учились в технологии. Первый раз я оказался на этом заводе в 1970 году и с тех пор знал и периодически встречался с десятками специалистов. Где теперь эти люди? Что будет с заводом? Знаю, он давно уже стоит. Не до него.

ДЕКАБРЬ

Сажу за столом с повышенной температурой. Грипп. Второй день принимаю разрекламированный колдрекс. Пока только надежда на выздоровление, а выздоровления самого нет.

Только что вернулся с похорон начальника городского пассажирского предприятия Василия Антошкина. Его сын Алексей, попав в автомобильную катастрофу, повредил позвоночник. Лежит пятый месяц в больнице, не вставая. Отец пришел в субботу навестить сына и... сердце не выдержало, умер у его изголовья.

Так начался декабрь. Но и в ноябре было тоже не лучше. Умер мой бывший сосед Михайловский. Из Москвы на похороны выехал его младший брат Виктор с сыном. Под Сызранью у Виктора не выдержало сердце, сняли с поезда. Там и скончался.

Это только некоторые случаи. Но они уже стали обычным явлением. Что это?

В нашем стотысячном городе за 1994 год умерло более тысячи человек, то есть из каждой сотни — один не жилец. Налицо резкое снижение жизненных ресурсов человека. Нечем стало жить: на фоне раздвоя, разбоя, обнищания, безверия снизилась сопротивляемость. Мы, плохо то или хорошо, привыкли к открытости, коллективизму, как это ни шаблонно звучит, к «чувству локтя». Этого теперь нет.

Из сообщений Интерфакса: «В течение ближайших 10 лет численность населения России может сократиться на 16,5 миллиона человек или на 11,2 процента. Ожидаемая продолжительность жизни при этом не будет превышать 59,3 лет. Такой прогноз сделал Госкомстат РФ совместно с Центром экономической конъюнктуры при Правительстве России. В настоящее время население России насчитывает около 148 миллионов человек».

«Горькая детоубийца — Русь». Так сказал Максимилиан Волошин. Неужели я становлюсь свидетелем справедливости его приговора и для наших дней? Если это так, то мы все летим в пропасть. Когда я так говорю, то думаю не только о событиях в Прибалтике, Грузии, Чечне. Увы, это касается всего теперешнего образа жизни.

Странная вещь: я заметил, что стал избегать говорить о сложных проблемах. Вначале удивился: ведь наоборот, я сам обязал себя делать это в течение года. Потом, по-моему, понял, в чем кроется причина. Проблем все больше и больше, сил хватает только на то, чтобы конкретно над ними работать днем. Уже не по силам, увы, повторное их осмысление по вечерам. Перегрузился. И организм, и психика сами ищут выход, работая на самовывживание. Перегрузка, очевидно, достигла предела.

Надо обязательно съездить в село к маме. Она — последняя, кто знает и помнит нашу многочисленную родню. Свидетель того деревенского уклада, который сейчас многим трудно даже представить себе...

Вот и в прошлый мой приезд мы посидели за чаем, поговорили, а потом, взяв карандаш, она, палочками отмечая на бумаге каждое имя, начала вслух называть тех, кого не стало за последние два года из наших близких и хорошо знакомых. Получилось более трех десятков человек. Я ужаснулся. Но не столько поразила сама грустная арифметика, как то, что все они не просто ушли, а унесли с собой каждый свое, и

оно, это «свое», так зримо и деятельно влияло когда-то на мою личную жизнь, жизнь нашей большой улицы и всего села. Они так расцвечивали своими характерами и поступками наш быт, что я вновь убоился, подумав о теперешнем молодом поколении: они не видели и не знают тех красок и того вкуса жизни, который был раньше. И в этом вина не только «застойного периода» и не только сегодняшнего развала, но каких-то гораздо более глубоких причин, которые я не могу пока четко сформулировать.

Но генетический потенциал Создатель все-таки распределил рационально. Неминуемо должно быть возрождение в будущем. Иначе зачем было само накопление опыта, потенциала? Так думал я, глядя в окошко на просторную улицу меж кустов желтой акации, где в затишье колеса огромного «Кировца» двое соседских ребят распивали бутылку водки.

— Знаешь, вот то, что было сегодня или вчера, могу забыть напрочь. А что было до войны, после войны, давным-давно, в детстве — помню. Правда, чудно? Во мне что-то по-новому ворохнулось, повернулось, и я всех — всех, кто в моей жизни был, начала видеть, как в телевизоре. Это нормально, а?

В это воскресное утро наши с матушкой воспоминания возвращались чаще всего к моему деду Ивану Дмитриевичу. К его песням. Песен дед знал немало. Когда-то голод в Поволжье заставил его всей семьей уехать в Сибирь, где он прожил несколько лет. Шорничал, скорняжил, конюшил. И, конечно, охотничал и рыбачил. Но как только появилась возможность, вернулся в Заволжье. Все мои дядья родились в Сибири.

Слова «Сибирь» и «старинный» произносились в семье деда с особым оттенком. Но оба они несли в себе непреложные признаки надежности и крепости.

Я любил слушать песни, привезенные дедом из Сибири. Почему-то у нас пели больше мужчины. Дед Кузьма, дядька Федор. Имена-то какие! Пели всегда душевно, негромко. Обычно это застольное пение я слушал и наблюдал, лежа на печи на кухне, если дверь в горницу была открыта. Дед мой обычно пел, подперев левой рукой подбородок. У него было сухое красивое лицо с аккуратными усами. Дед Кузьма был черен и бордат, в нем было что-то цыганское. Чаще всего он был сумрачен. Пел густым басом. Дядя Федя Остроухов — розоволицый, пухлый, безбородый и безусый. Хитрый и лукавый, его слышнее было на подголосках.

Часто у деда в доме бывали гости: мужики из соседних сел Покровка, Зуевки, Кулешовки, Домашки. Они приезжали на воскресный утевский базар с ночевкой. Была еще одна тому причина: мой дед потихоньку выделявал овчины, хром. Это тогда запрещалось, об этом я знал. Но

услугами деда пользовались жители многих сел. Круг знакомых был большой. Приезжавшие ночевали в мазанке во дворе, в саду, спали в доме на полу, расстелив тулупы и шубняки. Нередко вечерами вместе пели песни.

Была одна песня, которая мне особенно нравилась. Когда дед ее запевал, обычно все замолкали. Все как бы признавали за дедом единичное право на эту песню.

*Пускай могила меня накажет
За то, что я ее люблю,
Но я могилы не утрашуся,
Кого люблю, я с тем помру.*

Для меня эта песня всегда звучала, как завещание. Будто действительно моего дедушки должно скоро не стать. Это было волшебство. Наваждение. И эта песня преследует, вернее, живет во мне всю жизнь — такая простая с виду...

Много позже, анализируя свои ощущения, я однажды понял на примере этой песни нехитрые вещи. У человека в жизни обязательно должна быть песня. Она должна быть простая, как дыхание. Песня должна быть о любви. А любовь должна быть до гроба.

Куда бы художественное мастерство не заносило, какие бы формальные высоты не влекли, но если не будет сокровенности, не будет и души в песне.

Я все собирался записать песни моего деда, но не успел.

Есть в нашем лесу деревья, с которыми я знаком десятки лет и которым всегда рад при встрече, они — мои товарищи. Есть и такие, о существовании которых вообще никто, кроме меня, не знает.

Я поездил по белу свету. Видел, как растут кокосовые пальмы. Срывал бананы и, срывая их, вспоминал, как растет наш арбуз, как можно босыми ногами, балуясь, катить его по влажному песку дороги до самой речки, навстречу ожидающим тебя таким же, как и ты, загорелым и веселым ребятам.

На Центральной улице в моем селе стоят два дома: один — деревянный, покрашенный в светло-голубое, другой — саманный, коричневого цвета. Деревянный — дом моего деда. В нем я родился. Время было военное, зимнее, метельное — до больницы не добраться. В те времена часто детей принимала повитуха. Так было и со мной.

В саманном живет сейчас моя матушка — самый дорогой мой человек. У первого дома в палисаднике всегда росла желтая акация — поставщица самодельных многоголосых свистулук для ребятни.

В палисаднике у саманного дома растут карагач и клен, посаженные мной еще в том возрасте, когда собственная жизнь казалась вечной, а мир за околицей села и там, вдали, в больших городах – малящим и завораживающим.

В нашем роду я первый получил высшее образование. И меня вдруг однажды что-то толкнуло: я – должник перед всеми своими родственниками и сельчанами. Я должен как-то выразить то, чему был свидетель, свидетель целых пластов уходящей жизни. Но я – недооценил сложность поставленной задачи. Или – переоценил свои возможности...

Помню, когда мы с женой приехали в санаторий «Волжский утес», было 18 октября. Обычно багряные в эту пору рябины стояли по-летнему зелены и многолисты, аллеи берез покрывали навесом тропинки. Лишь изредка – там, вдали, в лесной крутояри, – мелькал багряный цвет.

Первая же прогулка принесла нам подарок. На полянках, которые раскинулись меж золотящихся сосен, мы обнаружили цветущую землянику. Это было чудо: обычные крохотные белые цветочки, но когда! 19 октября! Это было еще не все. Обследовав полянку дальше, мы наткнулись у самой ее кромки на ягоды. Ягоды земляники! Да какие! Некоторые были чуть не целиком красные. Мы, может, потому еще так радовались своему открытию, что не успели этим летом побывать в лесу, совсем не отдыхали на природе. И вот вознаграждение! Набрали ягод, и каждый из нас в горсти нес этот подарок осени, ликуя, и веря с этого момента в какую-то нашу особенную удачливость.

Мороз ударил на следующее утро. Мы, как дети, побежали на нашу земляничную полянку. Конечно, все повяло. Все было неузнаваемо. Праздник кончился.

– Как жизнь, – обронила жена.

Я не понял и машинально переспросил:

– Какая жизнь?

– Жизнь человека. Из ничего вдруг возникает и так же внезапно в никуда уходит.

Помолчали, думая, очевидно, об одном. А я невольно отметил про себя: так она никогда раньше не говорила.

Когда шли обратно, встретили знакомого.

– В такую рань, что делать в лесу?

– Да вот, землянику ходили смотреть.

– Чудите, ребята, какая земляника? Скоро ноябрь!

Мы с женой переглянулись. Действительно, не странно ли?

Мама, мама... Пока мы вместе, мы сильны. Всякий раз, провожая меня, ты сдерживаешь себя и не плачешь. Но мне-то видно, каких усилий тебе это стоит, ведь и у меня в такие минуты дрожат губы. Мы об этом никогда вслух не говорим, но оба давно поняли: мы боимся, что ты умрешь, а меня не будет рядом.

Так случилось, когда умер мой дед. Когда умерла бабушка... отец...

Но ехать в город ты не хочешь. По молодости я сильно этого желал, но потом, насмотревшись на родителей своих приятелей, привезенных доживать в город, понял, что они здесь, как рыба, выброшенная на берег. Без ежедневных привычных хлопот, без земли и деревенского быта жить тебе нельзя.

Сидит и в эти дни в доме напротив на балконе, как в скворечнике, старушка и с высоты четвертого этажа отрешенно смотрит потухшими глазами на незнакомую ей городскую суету. И не с кем перемолвиться ей в этом многолюдье. И оттого ей еще больше одиноко.

Я не желаю тебе такой участи, мама.

Мама, мама... Оборвется твоя жизнь — и моя подвинется ближе к той пропасти, в которой исчезнет все. После тебя в нашем роду старшим останусь я.

Но пока ты есть, сечет ли дождь, палит ли солнце, сжигает ли горечь и боль — мы связаны тобой с нашими прародителями, которые каждый в отдельности и все вместе передали нам умение смеяться так, как это делаем мы, умение смотреть на мир так, как смотрим мы, любить и горевать так, как это можем мы...

Кажется, с реконструкцией завода появились некоторые надежды. Одна американская фирма предлагает выпустить муниципальные облигации на всю недостающую сумму средств сроком погашения в десять лет. Вместе с американцами побывал у заместителя главы администрации области Валентина Звягина.

Суть муниципальных акций в том, что в виде гарантии под акции закладывается областная собственность, что в Америке считается надежным, на это, как правило, фирмы идут охотно. Причем акции отзывные, то есть если у предприятия появятся средства, оно может выкупить их, может это сделать и сама область. Интерес области явный: ничего не вкладывая, получить уникальный завод по выпуску полиэтилена. Разработанная областной администрацией программа «Упаковка» задыхается без полиэтилена. Все вроде бы «за». Теперь жду окончатель-

ного решения областного начальства, попросившего неделю на проработку вопроса.

Сочинское начальство, говорят, решилось. Они выпустили такие облигации, правда, собираются строить игорные дома.

Наш вариант интересен еще одной особенностью. Деньги тратятся только на строительство нового производства. Если даже действующий завод становится банкротом, это не влияет на судьбу вложенных денег, ибо все, что будет построено, можно будет продать, заложить под выплату по облигациям. Можно будет выкупить облигации. Они должны котироваться высоко.

Мария Петровна, новая соседка по лестничной площадке, сдержанно, не торопясь, рассказывает:

— Заболела в десять лет тифом. Страшно и сейчас вспоминать. Мама пригласила батюшку. Это я теперь понимаю, что все простились со мной, поставили на мне крест. Матушка сказала: «Не гневи Бога, батюшка спросит: грешна? Отвечай: грешна. Кайся. Тебе там легче потом будет». Батюшка стал со мной не спеша разговаривать. И вдруг спрашивает: «Огурцы у соседей с грядок воровала?» «Нет, — отвечаю испуганно, — не воровала, не грешна». А самой страшно, ведь я обещала матушке слушаться. Но ведь я и не воровала. Правду говорю. «Желала плохого своей подружке когда-либо?» «Нет, — отвечаю, — батюшка, не желала». «Ведь неправду говоришь. Сознайся». «Нет, батюшка, говорю правду», — отвечаю, а сама дрожу вся. Когда батюшка ушел, мама укоряла меня: «Что же ты такая упрямая оказалась, батюшка был недоволен, ты оказалась невоспитанной». «Но, мама, я же...» Мне не хватало сил говорить. Все лицо было в слезах. «Ну, не грешна и не грешна. Бог с тобой». Почти семьдесят лет с того случая прошло, а помню все до мелочей.

И неожиданно улыбнулась светло и всепрощающе.

Очевидно, все-таки мы закончим работу в этом году с прибылью. Это важно во всех отношениях. И необходимо для настроя в работе на следующий год.

ЭПИЛОГ

Все случилось внезапно. Подвело сердце. Вернувшись поздно вечером с работы домой, он стал снимать обувь, и вдруг грузно осел на пол...

...В его рабочем столе среди заводских бумаг нашли два листа, исписанных столбцами слов с их пояснениями. Это и был словарь его матушки, над которым он все-таки начал работать.

Вот то, что он успел записать:

Анчютка — дитя малое, неразумное;

Аряна — напиток из холодной воды и кислого молока (очевидно, от слова «айран»);

Бар-бир — все равно, наплевать;

Бельтюки — глаза (насмешливо, презрительно);

Болтушка — жидкое варево для поросенка из отрубей, лебеды, травы жирнухи и т.д.;

В охотку — с удовольствием, с большим желанием, соскучившись;

Вздрыить — броситься, помчаться;

Даенка — то же, что и подойник;

Жданка — корова (нарицательное);

Затирюха — суп из затертых до лапши комочков теста;

Колоб — жмых;

Копалка — лопата;

Котяхи — кизяки;

Кулюкушки — игра в прятки;

Лапшатник — блюдо из самодельной лапши, яичек и т.д.;

Легчать — кастрировать;

Логунок — емкость для помещения в нее дегтя (подвешивался обычно сзади повозки);

Маслянка — устройство для катания на санках, которое делают только на масленицу;

Моченки — молоко с кусочками размоченного в нем хлеба;

Ну тебя к фарье — отстань;

Обошлась — о животном, скотине женского рода, означает: спарилась с особью противоположного пола;

Отлет — очень быстрый человек, легкий на подъем (раз — и нет его);

Паголенка — верхняя часть вязанного шерстяного носка;

Пахтанье — остатки жидкости после сбивания масла (от слова пахтать, то есть сбивать масло);

Пахтонка — устройство для сбивания масла;

Петяника – жена Пети;

Подзорник – кружевная занавеска, спускающаяся с кровати до пола;

Подурай – то же, что дуралей, но презрительно;

Польская каша – каша, сваренная в поле, обязательно в ней много жидкости, после слива получается и суп и каша отдельно;

Помочи – обычай, когда собираются родственники, соседи, знакомые и артельно строят дом;

Поярка – шерсть первого года стрижки;

Причинать – проявление признаков того, что начал развиваться в чреве плод (о скотине);

Пробой – металлический шкворень с кольцом на одном конце;

Проеферило – пробрало;

Проранка – петлица;

Растележиться – распрячься, развалиться;

Расшелудить – растормошить;

Рваньцы – рваные руками кусочки теста, сваренные в воде;

Саламата – манная или другая каша для детей на молоке;

Сварку – блюдо, поданное с пылу, с жару, то есть очень горячее;

Скобызился – скорчился, помер;

Сорокоуша – бочка, емкостью в сорок ведер;

Ссупониться – развязаться, распоясаться;

Тарарышный – человек, пьющий здоровьем;

Тук-мак – большой молоток; насмешливое о человеке;

Улькнуть – пропасть;

Утирник – полотенце;

Хлебово – жидкая пища (от слова хлебать);

Чекушка – устройство на оси, чтобы не спадало колесо;

Черты – инструмент, представляющий из себя набор металлических пластин, раздвоенных с одного конца под разными углами, при кладке дома из бревен им очерчивают пазы, которые надо рубить;

Чиляк – наподобие ведра, цилиндрическая емкость без ручек, обычно используемая для сыпучих материалов;

Чулида – схожее с шалавой;

Чуносный – человек, у которого дефект в строении носа;

Шалберничать – проводить время впустую, так-сяк, туда-сюда (шалберка – петля, на которую вешают оконные рамы, двери и др.);

Шеметом – очень быстро;

Юлдыкнулся – очень быстро упал, опрокинулся.

ОТКЛОНЕНИЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ЧТО-ТО НАДО ДЕЛАТЬ...

...Он указательным пальцем нащупал на уровне правого глаза впадину на виске, где ему показалось самое уязвимое место, и надавил пальцем. Боль почувствовал одновременно с тем, когда несколько раз открыл и закрыл рот, стукнув при этом зубами. Костяной стук зубов ему показался зловещим. Криво усмехнувшись, взял с тумбочки оба пистолета. Они были газовые. В упор эти штуки должны были сработать так, как ему хотелось. «Не ехать же на дачу, где лежит ружье», — вяло подумал Кирилл.

Пистолеты были разные: один, системы «РЭК» — небольшой, калибра 8 мм, удобный для руки. Он местами (правая сторона и спусковая скоба) потерял вороненый цвет, отчего выглядел совсем безобидным и невнушительным.

Второй пистолет, системы «Вальтер» — как новенький, его Кирилл никогда с собой не носил. Тяжел, калибра 9 мм и смотрелся весьма солидно. Пистолеты отличались друг от друга, как дворняжка и породистый свирепый дог.

На оба у Касторгина было разрешение, но второй пролежал в столе года два. Он так ни разу его и не опробовал.

Касторгин выбрал второй. Так надежнее.

Переложив из левой руки в правую «Вальтер», попробовал нажать спусковой крючок. Холостой ход был намного больше, чем у дворняжки «РЭК».

Как в детстве, когда, желая в отместку близким умереть, да так, чтобы все потом содрогались в рыданиях, спохватившись и осознав невосполнимость потери, Кир, как тогда его часто называли, мысленно представлял вереницу скорбящих. Всех тех, кто должен был быть наказан его смертью. Как давно это было и как мило и банально.

«Некому особо будет плакать обо мне, да я и сам не хочу. Как бы сделать так, чтобы вообще поменьше было суеты и внимания ко всему, что произойдет, и сейчас, и потом. Пропасть бы и все... Кажется, я многовато все-таки выпил...»

Он вытянулся во весь рост в постели.

Тупой лунный свет сочился в окно.

«И это — конец?» — удивился он.

«Да, конец моей мелодрамы», — подытожил он и снял предохранитель.

...Утром в постели его обнаружила дотошная соседка. Ей хотелось известить Касторгина о его очереди дежурить на этой неделе в подъезде.

Кирилл Кириллович Касторгин, решив застрелиться, предусмотрительно оставил дверь незапертой, чтобы его быстрее обнаружили. Практичный человек.

Ткнув дверь ногой, соседка вошла в коридор и оттуда увидела Кирилла Кирилловича в постели в белой рубашке и галстуке. Он лежал вверх лицом.

— Ба, пьяный, что ли? Бедолажка! Вроде за тобой такого не водилось.

Она вдруг увидела рядом на подушке пистолет и невольно вскрикнула.

От крика он открыл глаза. С трудом соображая спросонья, что происходит. Вспомнил вчерашнее и, поняв, что творится с бабкой Анной, улыбнулся виновато: то ли от того, что дверь не закрыл, то ли потому, что лежит в таком глупом виде в постели.

— Да вот, всю ночь не спалось, только под утро...

Он постарался прикрыть «Вальтер» на подушке краем одеяла.

— Нельзя так, Кирилл, хорошо еще, что у нас в подъезде по прошлому году замок с кодом поставили, а то ведь проходной двор был: летом-то мочиться в подъезд бегут с набережной, а зимой — вино распивать в тепле, всякий народец-то.

— Нельзя так, — задумчиво повторил Кирилл Кириллович и встал с постели, — надо к какому-то берегу прибиваться. Детскость какая-то.

Прагматизм его натуры уже брал верх.

— Вот я и говорю, оберут ведь до нитки, да могут и пришибить такого молодого. Из-за тряпок-то. Поберегите сам себя-то, не забывайте в следующий раз, — тянула свое соседка и все косилась взглядом на то место, где только что увидела пистолет. — Ну, ладно, я попозже приду, — и она прикрыла за собой дверь.

Последние дни Касторгин неотступно думал о смерти. Жизнь, казалось, потеряла для него всякий интерес. Умом он понимал, что так не должно быть, что пятьдесят три года, смешно — это не тот возраст, когда иссякают жизненные ресурсы. Но с ним что-то случилось.

Собственная жизнь, прошлая и настоящая, для него стала как кадры документальной съемки, туманные и обрывочные, не схватывающие саму

ускользающую суть, ту суть, которая, как понимал Кирилл, должна быть во всем, но которую он перестал уметь держать за хвост. Он не узнавал самого себя. Это его даже, как ни странно, манило; иногда с холодностью стороннего наблюдателя он критически смотрел на себя и на свои попытки понять, что же происходит.

«Я как допотопная лаборатория, сам в себе, переливаю пробирки из пустого в порожнее, — все тысячу раз, наверное, это кем-то уже испытано, думано-передумано, не один, наверное, покончил с собой. Что здесь все-таки главное, когда нажимаешь курок: слабость или воля? Не понял я, не понял еще... Если я обречен на самоубийство, то я, как камикадзе, что угодно могу сделать с другими, ведь все равно все прахом. Но я не держу обиды и злобы ни на одного человека, у меня этого никогда не было. Пусть все буду счастливы, раз у меня не получилось. Ну, и красиво, я думаю, если бы кто-нибудь услышал мои мысли, не поверил бы, с виду-то я последние дни стал бука».

Он потянул одеяло, намереваясь его поправить, пистолет, упав на пол, глухо звякнул. «Выстрелит еще», — спохватился Касторгин.

— И все-таки не пристало суетиться под клиентом, — усмехнулся он, вспомнив известный пункт из устава одесских проституток.

«Да, но здесь клиент — сама жизнь, — снова тяжело подумалось ему. — И я раздавлен, надо признаться себе. Что же все-таки сделать? Ведь что-то надо вершить? Я стал помалу окончательным дураком или циником. Это из Флобера. В его «Словаре прописных истин» сказано, кажется, что оптимисты обыкновенные дураки, пессимисты — смотри выше. Увы, я становлюсь простенькой иллюстрацией к сомнительным истинам. А может, это только потому, что я остановился, а другие еще бегут?.. Попробуем-ка повнимательнее заново присмотреться к жизни, эта штука ведь не зря придумана, а? Или не так?»

«ЖЕНА НАЙДЕТ СЕБЕ ДРУГОГО...»

Касторгин начал верить, что есть какие-то силы, которые руководят сознанием человека. Это его самого удивило. Но у него были перед самим собой несколько доказательств. На прошлой неделе он ночевал на даче. Приехал днем, не спеша расчистил от снега дорожки, затопил баню. Вечером, вяло просмотрев свежие газеты, попытался заснуть. Но сон не шел. Побаливала голова. Он встал, оделся и вышел во двор. Ему вдруг безотчетно захотелось на свежий воздух, под открытое небо. Едва ступив за порог, он весь оказался во власти морозного воздуха и звезд, ясно и открыто глядевших на него. Упруго заскрипел снег под

ногами и тут же громко залаял соседский кобель Граф, Граф Калиостро – так звал его Кирилл за черную, с жутковато-грязным отливом шерсть и непредсказуемые поступки.

Погремев цепью, Граф успокоился, узнав своего, а Кирилл Кириллович, запрокинув голову, смотрел широко раскрытыми глазами в замешанную с синью темную бездну и ни о чем не думал.

Это он потом уже спохватился, когда кружил по небольшой бетонированной площадке, глядя в небо, что безостановочно бормочет слова, удивительно легко соединяющиеся друг с другом. Он как бы вдруг обнаружил себя между небом и землей в качестве какого-то то ли приемника, то ли передаточного звена, но с кем и для чего? Эти вопросы вилась в его голове, но странно, он их отодвигал на потом, ибо ему важнее было в этот момент запомнить, что он бормотал и что еще будет.

«Когда б ни срок, да боль за нас...»

Вот уголечек и погас».

Он изумленно обнаружил, что напрямую говорит со своей мамой, веря, что она его слышит, а, может, и видит оттуда, с морозных небес.

Забыв, что после бани в этот двадцатиградусный мороз можно простудиться, он не чувствовал холода.

«Но наши души, наши души...» –

шептал он, глядя на небо невидящими глазами.

Боль в голове прошла, вернее, он не думал о ней, все отошло на второй, пятый, десятый план. Власть набегающих одна за другой на него фраз действовала опьяняюще.

...Когда он быстро вошел в дом, в спальню, лихорадочно ища, чем записать, все то, что успел удержать в памяти, он не сразу нашел карандаш. Когда же тот отыскался, не останавливаясь, сломав стержень и тут же вставив его в ломкое отверстие, Касторгин записал стихотворение на чистых местах подвернувшегося под руку томика Куприна.

Немного остыв и полежав в постели, он встал, прошелся по дому и, найдя чистый лист бумаги и авторучку, не спеша, лишь с некоторыми исправлениями по ходу, переписал стихотворение, не раздумывая, обозначив вверху – «Мама»:

*Я стал все чаще вспоминать,
То, как любила ты встречать,
Как я любил тебе навстречу
Примчаться шальным издалече.
Наверно, было б так всегда,
Когда бы ни твои года.*

Когда б ни срок, да боль за нас...
 Вот уголочек и погас.
 Что ж, был не самым я послушным,
 Но наши души, наши души...
 Они тянулись так друг к другу
 В любую слякоть, дождь и вьюгу.
 Им не дано разъединиться,
 Мне часто сон счастливый снится:
 Когда приду в твое далеко –
 Тебе не будет одиноко.
 И в сердце радость от надежды,
 Что встретишь ты меня, как прежде.
 У тех ворот, у самых вечных
 Поговорим с тобой сердечно.
 Но беспокойно просыпаюсь
 И наяву я маюсь, маюсь:
 Вдруг все не так, вдруг не замечу,
 Тебя в том сонмище не встречу?
 Что я пройду совсем чужой
 Другою дальней стороной...
 И боль твоя моей больней
 Меня придавит вновь сильней.
 О, как мне быть и что мне делать
 С моей-то головою белой?
 Я вновь беспомощен, как в детстве.
 И никуда от этого не деться...

Мать Касторгина – Елизавета Петровна – умерла полгода назад, измучившись сама и намучив против своей воли окружающих. Более года она после инсульта почти не вставала с постели, иногда, когда сознание к ней возвращалось, она, опомнившись от забытья, тут же начинала плакать, приговаривая:

– Что же это я, детки, никак не умру-то, ведь измучила я вас, простите меня... простите.

Она и в восемьдесят своих лет, до самой смерти, любила и оберегала своих детей.

Все тяготы присмотра за матерью легли на ее единственную дочь Аню.

– Голубиная душа у вашей матушки, – говаривала соседка тетка Маша.

Соседка могла и не говорить этого. Беззаветность матери и открытость, готовность делать добро ближним порой приводили Кирилла Кирилловича в изумление.

Он часто плакал, когда приезжал к матери. Если бы кто-то из сослуживцев увидел его таким, то бы не поверил. Методичный, сдержанный и академичный Касторгин всегда был образцом для многих на работе. Да другим никто и не мог представить главного инженера крупного оборонного завода.

В нем непонятным образом соединялись рассудочность и эмоциональность. Он знал это. Более того, он еще со старших классов школы выработал привычку следить за собой.

— Ты очень чувствителен, как обнаженный нерв, ты реагируешь сразу и бурно, так нельзя, — сказала ему когда-то новый классный руководитель — физичка Наталья Николаевна.

Она задержала его в классе и заставила присесть на первой парте.

— Такие натуры становятся либо поэтами, либо музыкантами. — Немного помолчав, цепко глядя в глаза Кириллу, продолжила: — Либо никем, быстро изнашивая себя.

— Что мне делать такому? — исподлобья глядя, спросил Кирилл.

— Самодисциплина. Не надо все захлеб. Ты заметил, как по-разному иногда говорят люди. У одних открытая артикуляция, у других — закрытая. Вот если говорить о чувствах, то они у тебя слишком открыты. Чувство самосохранения в тебе должно работать, ты слишком бесхитростный.

Этот тогдашний разговор не удивил, только подтвердил догадки Кирилла по поводу себя. Он уже пытался сдерживать себя. Теперь, после такой беседы, он никогда не позволял себе заплакать на людях, если у него что-то начинало болеть, он держал это в себе, как бы уползал в нору. Постоянно контролировал себя и к окончанию школы это вошло в привычку. Он как бы оберегал в себе кусок взрывчатки, постоянно пряча бикфордов шнур от посторонних глаз. Такая у него выработалась привычка, а привычка, как известно, вторая натура.

...То, что его жена Светлана оформляет выезд за границу, Касторгин знал, но все думал, что это блажь. Ведь еще совсем недавно ни слова, ни намека не было на это, а тут враз такие энергичные действия. У него не укладывалось в голове — только переехали в Самару. Дело вроде бы осложнялось тем, что ее восьмидесятишестилетняя мать хотела, чтобы у нее был статус беженки — это давало больше льгот, но что-то затягивалось.

И вдруг все как-то быстро разрешилось, Кирилл Кириллович даже не успел все серьезно осознать – в одну неделю их не стало.

– После того, как я пожила у тетки в Германии, я не могу здесь жить, среди этого хамства, да и моя щитовидка надорвана Чапаевском. И потом – я все же немка.

– Ну-ну, – только и сказал тогда Касторгин.

Он понимал, что нужен серьезный разговор, но все откладывал. Он не готов был, да и не воспринимал все как разрыв. Но уже прошло почти три месяца после их отъезда, а писем не было. Нечего было писать?

И вот на прошлой неделе письмо пришло. Не письмо – записочка. Но все, что нужно, там было: «Я, кажется, нашла себе друга и притом неплохого, он тоже врач...»

Теперь-то ему стало понятно ее решительное стремление хорошо выглядеть. В последнюю поездку в Москву она, не предупредив его, сделала подтяжку – пластическую операцию. Об этом Светлана ему написала – просила, чтобы не волновался, если на неделю задержится, ведь все-таки круговая подтяжка. Будут делать под общим наркозом, так сказал врач, отслаивать кожу от мышц и натягивать. Зато никаких двойных подбородков, морщин в уголках глаз. Улучшенная копия, вернее, «оригинал восстановленный». Ее подружка, у которой она всегда останавливалась, уже сделала это год назад – стала выглядеть лет на десять моложе.

Вернулась Светлана домой через неделю после операции. На нее было страшно смотреть: все лицо в синяках, опухшее и чужое.

Весь остаток отпуска она просидела дома, по несколько раз в день выходила гулять на набережную в большой с широкими полями шляпе, и, о чудо, лицо стало гладким и молодым. Она, как всегда, достигла своего. Он, в сущности, не сомневался, что так и будет. Но ему было все это дико и непонятно. Внешность жены устраивала, он привык к ней. Так привык, что, по правде сказать, эта самая внешность жены для него как бы уже и не существовала, существовала жена – Светлана, которую он по-своему любил, как мог, понимал. Оваций он ей не устраивал, вернее, забыл уже, когда устраивал.

Ему тогда еще, когда она только объявилась дома с изуродованным лицом, пришла мысль, что у нее кто-то есть другой. Завелся. Но он не видел этого другого, про за границу не думал. Кирилл Кириллович хорошо понимал, что его жена – танк. Ее ничто не остановит, если она чего-то захотела. И он не спешил обвязывать себя гранатами и бросаться под гусеницы. «Пусть будет все, как есть», – решил он.

Его все же мучил вопрос: она сделала операцию еще до того, как поняла, что Касторгин ни за что не поедет в Германию, или после? И этот, немец, очевидно, намного моложе ее? И когда он объявился в поле зрения Светланы? После или до того? От ответов на эти вопросы уже ничего не зависело, но они почему-то торчали внутри Касторгина, лишая его обычной уравновешенности.

Почему он не мог ехать с ними в Германию?

«А почему я должен ехать? — думал Кирилл Кириллович. — Я — русский. Я живу дома. Я хочу говорить на родном языке».

Все родные его были ленинградцы. До войны мать и отец перебрались в Москву. Корни по материнской линии терялись где-то в Симбирске, и каким-то образом она была дальней родственницей Павлу Егоровичу Аннаеву — сыну известного в свое время купца Егора Никитича Аннаева, того самого, который построил в Самаре кирху, задуманную первоначально как костел, самый большой по тем временам каменный двухэтажный дом Макке, в котором первый самарский губернатор Волховский зачитал Указ императора Николая I о создании Самарской губернии. Было это в 1851 году. В семье Касторгиных об этом знали и помнили. И Самару любили. А когда подшипниковый завод, на котором работали Касторгины, эвакуировали из Москвы, они оказались в Куйбышеве и быстро, насколько это можно в военное лихолетье, прижились на волжских берегах.

«Как на это посмотрела бы мама, будь она живой и здоровой?» — часто приходила ему в голову мысль. И он, словно маленький, боялся укора матери. Он не мог знать ее мнения обо всем этом, но догадывался, что она сказала бы, будь жива. А что сказали бы его многочисленные родственники, которые лежат на Пискаревском кладбище?

ГЛАВА ВТОРАЯ

МАСТЕРСКАЯ НА ДЕВЯТОМ ЭТАЖЕ

Кирилл Кириллович любил заходить просто так и не просто так к своему другу Владиславу. У каждого из них было свое дело в жизни. Их дела вроде бы никак не пересекались. И тем не менее они общались уже несколько лет и всегда были рады друг другу.

Прошло более часа, как Касторгин появился в мастерской Владислава, и все это время в ней шел неспешный разговор.

— Твоя беда в том, что ты слишком рационален, расчетлив.

Кирилл слушал внимательно.

— Ты заставляешь себя все время думать, процесс обдумывания в тебе идет постоянно. Начал задумываться, препарировать — конец всему.

— Разве это плохо, ведь в конечном счете истина всего дороже? Я всегда так полагал.

— Вот-вот, ты в мыслях идешь всегда до конца, но ведь мысль ведет в тупик. Потом провал, распад. Взрыв.

— У меня так не бывает. Я, если что-то понял, обретаю свободу.

— Будет, если не было. Это, когда все хорошо, а когда начинаешь ворочать глыбами? А? Живи по завету Горация: лови день. Ты вот сейчас идешь к обрыву, сам себя толкаешь туда. Мысль — конечна. Дальше — пропасть. Создатель так свершил.

— В момент истины дух особо торжествует и безверию нет места, — произнес Касторгин.

— Это красиво сказано и не более, ведь момент истины и прозрения тоже могут быть субъективными, а значит, ошибочными. Дров наломать можно, ой как, — возразил Владислав. — Все чуть-чуть сложнее, чем мы с тобой думаем. Сложнее. Да. Мы оба слепые котятка, и черт с ним. Надо жить, как умеешь, и не умничать. Иначе запутаешься. Все происходит, увы...

— А что же по-твоему вечно? — спросил Касторгин, глядя в окно и машинально провожая взглядом вертолет, понесший очередную партию пассажиров через Волгу, в Рождествено.

— Вечно? А вот это движение!

— Какое? — Кирилл Кириллович обернулся на собеседника.

Тот, подойдя ближе к окну, из-за спины приятеля тоже смотрел на вертолет.

— Что же бесконечно? Кроме этого грязного армейского вертолета... — Касторгин криво усмехнулся.

— Если мыслить более общими категориями, то бесконечен дух.

— Мудрено, — подчеркнуто наигранно отозвался Кирилл, — нам бы чего попроще, а?

И он отошел от окна.

«Да, но ведь и дух разрушителен, в своем крайнем выражении — вот фашизм!» — подумал он, но промолчал. Кирилл Кириллович подошел к почти законченному портрету женщины, стоявшему около стола, загроможденного всякой всячиной, начиная от разнокалиберных тюбиков с краской, фотографий, открыток и кончая ополовиненной бутылкой конька «Александр».

— Ты хочешь глубже познать себя? — в упор спросил Владислав.

– Да, – с готовностью ответил Касторгин, – пытаюсь это сделать.

– Не трать себя на это, только ушибешься.

– Но я хочу отыскать смысл того, что со мной происходит.

– А найдешь одни сомнения и мучения, это человечество уже проходило, – лаконично констатировал Владислав, – зачем начинать с начала? Поиск смысла – бессмысленен. Ты, брат, дремуч.

– Почему ты всех женщин рисуешь с ясными голубыми глазами, ведь это что-то патологическое – они же разные? – будто не слыша последних слов приятеля, спросил Касторгин.

– Кто? – шутливо переспросил Владислав, – глаза или женщины?

– И то, и другое, – Касторгин явно думал совершенно о другом, и то, что он говорил, было только эхом всего того, что было в нем глубоко спрятано – под обычно внешней непроницаемостью... – Объясни, ведь ты заслуженный художник России, член совета ЮНЕСКО и прочее, а?

– Знаешь, – Владислав растерянно посмотрел на приятеля, – не объясню. Не знаю. Ты первый задаешь мне такой вопрос. Сам я этого не замечал... Может, от того, что моя мастерская на девятом этаже, в небе... – задумчиво попытался догадаться художник.

– Вот видишь, – нарочито наставительно продолжал Кирилл, – вот видишь, такой простой вещи не понимаешь, значит, не анализируешь, не мыслишь, товарищ великий художник. Надо рисовать не человека, а воздух вокруг него. Без мысли, кто мы?

Но у Владислава были сейчас другие в голове вопросы:

– Кирилл, тебя же знают в области. Сам губернатор Титов вручал тебе диплом «Заслуженный изобретатель Российской Федерации» от имени Президента Ельцина.

– Ну и что?

– Сходить надо к кому-нибудь из руководителей администрации. Тебя же найдут, где использовать. Ну погорячился ты...

– Чего-чего ты сказал, повтори, старина?

– Ну, не использовать, конечно, неловко сказал, но приложить твой опыт есть где.

– Да не хочу я ничего. Очухаться мне надо. Отдохнуть хочу. Дайте мне побыть безработным. Может, это моя историческая миссия такая, я, может, являюсь предметом грандиозного эксперимента, перехода, так сказать, совковой психологии в сегодняшнюю.

– Не дури.

– Что, не дури? Сам же говорил, что полезно бы уходить на пенсию в расцвете сил, чтобы пожить, как следует, пока аппетит к жизни

есть, а уж потом, нагулявшись, вкалывать. Вот теперь твоя теория вписывается в практику — на мне.

— Да ну, я серьезно.

— А если серьезно, то тошно стало терпеть дилетантов. Все ведь разваливается, что мы десятилетиями создавали. Я ведь почему положил своему директору завода заявление об уходе? Девяносто процентов, я считаю, успеха зависит от первого руководителя. А наш, нынешний, у меня начальником цеха был совсем недавно и причем не самым лучшим. Теперь же побывал в депутатах и что, семь пядей стало? Так не бывает. Одна шелуха словесная. Не захотел я вместе, заодно с кем-то разваливать завод за кусок хлеба. — И вдруг, без всяких переходов, сощурился глубоко посаженные и без того узкие глаза, поведя в сторону художника рысью головой, сказал: — Кстати, все женщины у тебя лицами на датчанок похожи.

— Это еще как?

— А вот так, грубоватые и серые, невыразительные, русское — только глаза.

— Послушай, ты всегда такие замечания делаешь, я после тебя бываю немножко не в себе.

Владислав подошел к столу, налил из бутылки.

— Давай выпьем за то, чтобы у тебя все устроилось. По граммулке.

Стаканы с коньяком прозвенели в вечернем воздухе заставленной мастерской натужено и тускло. Владислав невольно вздрогнул, Касторгин усмехнулся. А художник напирал:

— Послушай, есть идея, давай я тебя познакомлю с очень хорошей женщиной, а? Это же выход из твоего чертова тупика. Не заумная, не занудливая. И в разводе. Оживешь, ей-богу, отогреешься. Она растормошит. Какая женщина! А? Хочешь, прямо завтра?

— Нет, не стоит, — спокойно сказал Кирилл Кириллович.

Он не спеша, но сразу, все выпил. Отыскал за бутылкой на столе место для стакана. Сказал лишь для того, чтобы, очевидно, не молчать:

— Закусываем, как всегда, красками?

— Почему «не стоит»? — накатывал свое Владислав.

— Я себя не жалею, мне ее, незнакомую, жалко... Я не готов...

— Да не волнуйся ты, она не из нашей богемной тины.

— Тем более...

Касторгин отошел от стола, явно в поисках предлога, чтобы сменить тему разговора, тронул прикрытый холст:

– А этого я не видел, что это?

– Портрет Высоцкого. – Художник выжидательно из-под мохнатых бровей по-детски чистыми серо-голубыми глазами уперся в Кирилла. – Как?

– Я не буду сходу говорить, ошибусь еще... Это что, заказ?

– Да, в нашу филармонию. Через три дня, 25 января, юбилей Высоцкого – 60 лет. Приедут его мать, сын. Наши местные барды будут выступать. Ты знаешь, ведь Самара первая в свое время в шестьдесят седьмом году дала выступить Высоцкому перед большой публикой во Дворце спорта. Сейчас готовятся назвать одну из улиц его именем, у мэра города это вроде бы все окончательно решено. Высоцкий займет, наконец, свое достойное место на века.

– Где?

– Что где? – не понял Владислав.

– Займет – где? – повторил Кирилл Кириллович.

– Ты что, против этого? – он не ожидал такой реакции. И не до конца понял, всерьез ли она.

– Нет, я просто против канонизации, ведь он бы сам рассмеялся в лицо, узнав, что из него начинают делать икону. Вот и на портрете у тебя он выглядит чуть не классиком.

– Ну тебя к лешему! Тебе сегодня все не в нюх. Приходи на вечер памяти. Жаль, я все билеты пригласительные, что у меня были, раздал. Да в кассе билеты есть, приходи.

– Да-да, наверное, приду, – пообещал Касторгин, прощаясь на пороге мастерской, – времени у меня теперь хоть займы кому давай.

– Подожди! – вдруг окликнул его Владислав.

– Что еще, мэтр? – спросил через плечо Кирилл Кириллович.

– Послушай стихи.

– Твои?

– Да нет, не мешай, дай только вспомнить.

Он кисточкой задирижировал у себя перед носом и наконец его мурлыканье вылилось в членораздельную речь:

– Вот, мне не доверяешь, прислушайся к поэту Василию Федорову:

А жизни суть, она проста:

Твои уста – ее уста.

Она проста по самой сути,

Лишь только грудь прильнет ко груди.

– Ну и что? – простодушно спросил Касторгин.

– Как что?

– А то, что он, может, это под мухой сказал, а ты повторяешь.

— Ну ты даешь!

— Иди-иди, допивай «Александра» и садись за Омара Хайяма, у него про это лучше сказано...

...На лифте он спускаться не стал. Шагая по лестнице с девятого этажа («Спускаюсь с небес», — так отметил он), вновь поймал себя на мысли, что транжирит время, которого у него всегда не хватало. А вот теперь...

Мысли, мысли. Они не давали ему покоя.

«Наверное, мы приходим в этот мир, чтобы как-то его сделать лучше, хоть на капельку, наверное, в этом замысел создателя. Но мы путаемся сами, не понимая ни себя, ни мир, и все, что сделано в этой жизни выдающегося. Неужели это все на иррациональном уровне, без понимания, что и как творится по своей сути? Тогда мир, все действие вокруг — это только какие-то пляски у костра, а костер этот — собственное тщеславие, так ли я мыслю и способен ли я это все понять, если другие отказываются об этом думать, как Владислав?»

Раньше, связанный заботами главного инженера, он так не размышлял, теперь же будто вернулся в свое студенчество. Он не в силах был гнать от себя мысли на «вечные темы». Увы.

Он не заметил, как пересек улицу, миновал здание цирка, не обращая внимания на толпы людей и каскад стоявших машин, спустился по ступенькам на улицу Маяковского и только тут, миновав автостоянку, подойдя к молочному магазину, остановился и вспомнил, что забыл зайти в художественный салон «Мария»...

Его всегда туда влекло. Среди картин, особенно осенних пейзажей с дорогой, рекой, пальми листьями, ему становилось покойно. Набегало такое состояние, которое он испытывал всегда, когда слушал любимый, чарующий его романс на стихи Тургенева «В дороге», чаще всего называемый «Утро туманное». Ему казалось, что он когда-то родился под звуки этой божественной, нечеловеческой мелодии, и все, что напоминало ему подобное состояние, приводило к нему, он берег до мелочей...

...Месяца два назад, когда он завтракал на кухне, сидя рядом со стоявшим на подоконнике радиоприемником, бодрый голос диктора после небольшой паузы вдруг произнес: «...А сейчас в исполнении Татьяны Дорониной прозвучит романс на стихи Фета «Утро туманное».

Внутри у Касторгина что-то оборвалось, он вначале не понял, что произошло. Когда же понял, вскочил и заходил кругами по кухне. Он не

мог понять, как можно путать Тургенева с Фетом! Конечно же, Фет хорош, но не в этом дело!

— Ведь это же Тургенев! Тургенев! — восклицал, размахивая правой рукой Касторгин, как бы стараясь что-то сказать очень важное кому-то, кто все исправит и кто пристыдит этого безграмотного диктора.

Он считал, что если бы Тургенев написал только одно это стихотворение и больше ни строчки, все равно всем было бы ясно, насколько велик Иван Сергеевич как человек. Какая это бездонная глубина! Каков может быть человек...

— Что, разве магазин закрыт? — вдруг откуда-то, будто издалека, услышал Касторгин голос.

Он, очнувшись, обернулся. Перед ним стояла легонькая в черной выдавшей виды каракулевой шубке старушка.

— Да нет, — отозвался Кирилл Кириллович и тут же поспешил уточнить: — Извините, я не знаю.

— Так что же вы на входе стоите, — укоризненно сказала она.

Касторгин шагнул в сторону, каракуль исчез за дверью молочного магазина.

«Еще одна женщина прошла мимо», — почему-то молниеносно вспомнилась фраза из студенческих времен, и Касторгину с его приклеенной иронической улыбкой ничего не оставалось делать, кроме как продолжать свой путь вниз к Волге: молоко он не пил, а колбаса в холодильнике пока вроде бы у него была.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

СВЕТЛАНА

С женой Светланой он познакомился в Сочи. И было это более двадцати лет назад. Но этому предшествовала целая цепь случайных, как казалось Касторгину, событий, которые и привели к их встрече.

На третий год после окончания института, когда он работал уже начальником смены, его вызвали в военкомат, вернее, он обнаружил на первом этаже в карманчике почтового стенда, где буква «К», сразу две повестки, предписывающие срочно явиться. Он и явился.

В военкомате его почему-то сразу препроводили к горвоенкому, оказавшемуся «ну очень строгим полковником». Едва Касторгин вошел в кабинет и щупленький майор назвал его фамилию, полковника как взорвало:

— Ах, вот он, молодчик, явился — не запылится. Нахал!

Касторгин опешил.

— Но почему... при чем такой тон...

— А при том, что вам — три повестки, а вы и ухом не ведете! Вы должны были явиться две недели назад!

— Но я только сегодня увидел повестки, и только две.

— Довольно дурака валять!

— Не понимаю, почему такая троекуровщина, и потом у нас была военная кафедра.

— Ах, вы не понимаете, военная кафедра... Каленым железом таких будем выжигать с гражданки, поняли? Нет? Год службы я вам гарантирую.

Касторгин даже не успел как следует разозлиться. Он был просто огорошен таким обращением.

Его так же быстро увели из кабинета, как и привели. И канитель военная закрутилась. Через неделю Кириллу и его соседу по общежитию Владимиру председатель областной медицинской комиссии жал руки, поздравляя с предстоящей службой. Было названо и примерное время призыва — через месяц. Месяц нужен для отработки документов в Москве, из Москвы должно вроде бы прийти и направление.

Вечером они провели «совет в Филях» и решили утром просить у своего начальства отпуск, чтобы успеть погулять на гражданке.

Начальство поняло их и отпустило.

Был апрель месяц. Сто лет со дня рождения вождя Октябрьской революции. Центральная площадь запружена толпами людей, пришедших на митинг. Они пробились к зданию кассы и взяли два авиабилета в Сочи. Почему в Сочи? А выпал такой вариант. Из пяти курортов обозначенных на тонюсеньких полосках бумаги Владимиром, Кирилл вынул из шляпы именно ту полоску, на которой значился этот город.

...С гостиницей им повезло. Они взяли такси, наметив себе цель объехать несколько мест, но в первой же, «Ленинградской», им дали двухместный номер.

Вечером Владимир и Кирилл пошли поужинать в ресторан гостиницы «Магнолия». Где-то уже около одиннадцати вечера Касторгину захотелось выйти на свежий воздух. Пробираясь сквозь танцующий муравейник, он бросил Владимиру, самодовольно млеющему в полуобъятых смуглой дамы:

— Не пора ли нам пора?

— Да, иди, я выйду через пять минут, вот попрошаюсь с Томочкой.

Кирилл еще раз взглянул, приостановившись, на Томочку и сильно засомневался в обещанной пунктуальности друга.

Он прошел по тротуару метров двадцать и сел на скамейку. Свет от фонаря падал на половину скамьи, другая была в тени кустарника.

Касторгин сидел на светлой половине, а в тени в светлом костюме, покачиваясь в лад песни, притулился с краю пьяненький парень. Парень пел, перевирая слова знакомой песни.

— Послушай, у тебя со словами худо, а у меня со слухом, — сказал Кирилл и начал подпевать вполголоса, выводя того на верные слова. Вместе они миновали трудное для парня место и все пошло складно, тихо и даже интеллигентно:

*Ах, и сам я нынче что-то стал не стойкий,
Не дойду до дому с дружеской попойки.*

И вдруг эту случайную хмельную идиллию прервал четко поставленный официальный голос:

— Ваши документы?

Кирилл поднял голову, перед ним стоял человек лет тридцати в черном костюме, белой рубашке и галстуке.

— А почему, собственно?..

— Вы нарушаете общественный порядок.

— А ваши документы? — совсем даже для себя неожиданно сказал Кирилл.

Человек вынул из левого нагрудного кармана пиджака документы и подал Кириллу. В полутьме было видно только красные корки. Кирилл вернул документ.

— А ваши? — человек вновь обращался к Кириллу, будто соседа его и не было.

Касторгин подал паспорт. Не раскрывая его, но тут же переложив в левую ладонь, человек произнес:

— Пойдемте, — и зашагал прочь от скамейки.

Кириллу ничего не оставалось больше делать и он поднялся.

— Я не понимаю, ведь никакого нарушения нет...

— Сейчас поймете.

Кирилл забеспокоился не на шутку, шли они куда-то, как показалось, не туда... Вдруг человек скороговоркой проговорил:

— Давайте двадцать пять рублей и я отдам ваш паспорт.

— Как так? — выдохнул Кирилл.

— А так, не будете первому встречному выкладывать документ. Не дадите четвертак, рвану с паспортом в кусты и останетесь в чужом городе с носом.хлопот не оберетесь.

Они шли по тротуару рядом. Как только попадались встречные, оба замолкали: человек с паспортом в руке от того, что боялся огласки, а

Кирилл опасался, что незнакомец убежит с паспортом от его неосторожного слова.

Решение пришло сразу, момент был улучен. Кириллу важно было это: он схватил парня поперек талии наперевес и оторвал от земли... Они оказались на земле оба, Кирилл крепко ударился левой рукой о бордюр, но правой вывернул левую руку противника, и паспорт оказался в его руках.

Почувствовав слабинку, противник вынырнул из-под Кирилла и сиганул на другую сторону улицы.

– Слабак, – несколько удивленно бросил Кирилл и пошел в сторону «Магнолии».

Конечно же, внизу Владимира не было. «Надо бы сразу идти в свой номер», – подумал он, заходя в вестибюль. Руку саднило. В сторонке он снял пиджак, рукав рубашки был в крови. Задрал рубашку, Касторгин осмотрел локоть. Он был содран, с трехкопеечную монету круглый окровавленный кусок кожи, как клапан, болтался сам по себе.

– Боже мой, как так можно?

Он повернулся. Перед ним стояла блондинка вровень с ним ростом, крупноголовая, большеглазая, в светлом легком костюме. От всего этого внезапного чуда веяло элегантною крепостью и ухоженностью.

– Вот можно, – проговорил Кирилл, чувствуя, что с ним что-то сейчас происходит такое, что бесследно уже не исчезнет. В любом случае это начало чего-то...

Она стояла от него в полуметре, а он ощущал обволакивающее тепло, идущее от нее.

Она, кажется, понимала его состояние. В ее прямом взгляде была смесь мягкой снисходительности и покровительства.

«Вот ведь, слету и попался», – Кириллу показалось обидным, что его прямо голыми руками запросто берут, но он ничего не успел ни сказать, ни сделать – она опередила:

– Я врач, у меня на первом этаже номер, сбегая, кое-что принесу, у меня есть...

На следующий день он пришел к Светлане, так звали это чудо, на перевязку. В тот же день они направились на пляж. Так начинал раскручиваться их сочинский роман...

...Его вначале обескураживало то, что в самые интимные моменты близости она могла царапаться, кричать и кусаться. Светлана в такие минуты не владела собой. Ей нужен был экстаз любой ценой, она заводилась с пол-оборота, проявляя завидную выносливость на пути к желан-

емому и требуя этого от него. Он иногда терялся от ее буйного желания. И не вполне понимал, хорошо это или плохо, так хотеть женщине мужчину – такой женщины у него никогда не было.

Уже потом, много позже, когда пошло повальное увлечение гороскопами и сексуальной астрономией, он к удивлению своему обнаружил, что женщины-Козероги (а Светлана была Козерогом) именно этим свойством и наделены. Он и удивился, и немного расстроился: оказывается, все заложено в природе ее любви небесами, а он-то все-таки думал, что это он причина такого ее поведения. Значит, будь на его месте другой, небезразличный Светлане, она так же бы вела себя в постели? Поначалу ее чрезмерная самостоятельность во всем не давала ему покоя, но потом это как-то сошло на нет. Постепенно он свыкся с ее независимостью, с ее постоянным отстаиванием права на собственную позицию всегда и везде. Его влекло к ней. Кирилл даже упрекал себя за эту слабость.

У Светланы муж не мог иметь детей (они проверялись у врача), а она очень хотела.

– Ты немка, а он кто?

– Он – русский. Мать мужа советовала, чтобы я прижила ребенка на стороне. Но я не могу, вот. Наконец развелась полгода назад и приехала отдохнуть от всей этой карусели, я в отпуске не была два года.

– Приехала подыскивать мужа?

– Наивный ты, здесь же не мужей ищут, а любовников.

– Так ты повеселиться приехала?

– Глупый, отстань, – сердилась она.

– Как ты собираешься жить?

– У мамы, она одна, у нее двухкомнатная квартира в Свердловске. Ты бывал в Свердловске?

– Нет, но я спрашиваю «как», а не «где».

– А как все, и еще лучше! Хочешь, я спою тебе свердловский вальс?..

И она, встав в кровати в одних трусиках, начала напевать, раскачиваясь. Но на кровати было неловко и она спрыгнула на пол. У него от нее слепило глаза и в голове стучала кровь.

– Я приеду к тебе и мы будем жить вместе.

– Но я не собираюсь жениться, – все-таки сопротивлялся он.

– Ну и не женись. Найдешь где нам жить?

Кирилл не узнавал себя. Ему приходилось подчиняться этой взбалмошной подружке. Его как будто несло течением. До этого с ним такого не было.

— Я твоя женщина. Я тебя вижу насквозь. Я сделаю тебе только хорошее. В тебе слишком много добродетели. Фу, это очень скучно бывает, понимаешь? Нужно хоть чуть-чуть куражу! Да!

«Да, да, я это понимаю, но я вот такой. Вот тебе мой кураж: если я женюсь на тебе, это будет отклонением от моих планов: оставаться холостяком до тридцати лет».

...Однажды, когда они, утомленные, в очередной раз пришли с пляжа в ее номер, она, едва сбросив халатик, поймала его в свои объятия. Он и сам ждал этого момента, но она его во всем опережала.

Кирилл замешкался со своими тесемками на плавках, затянувшимися в тугий узел, она, ловко выскользнув из-под него, схватила со стола ножницы.

— Не могу смотреть, как ты каждый раз трясущимися руками развязываешь свои бантики, что за дурацкие плавки... Чик — и готово. После я вставлю тебе резинку, ты что так смотришь? — Она бросила ножницы на стол.

— Да нет, ничего, — проямлил он. — Ты очень деловая.

— Такая вот тебе попалась.

Его много в ней смущало, и, как ни странно, еще больше — притягивало.

— Сколько у тебя было до меня? — тусклым голосом спросил он.

— Посмотри на меня, я красивая, молодая — сейчас люблю тебя — разве этого мало?

Да. Она была красива. Она была породиста. Его всегда манили такие женщины.

...Дней через десять Кирилл начал собираться домой.

— Ты от меня уезжаешь! — неподдельно обиженно воскликнула она, и Кирилл почувствовал себя неловким подростком. Дело было еще в том, что у него просто кончались деньги и ему не хотелось в этом признаться.

Когда же, наконец, он сказал ей об этом, явно смущаясь, больше боясь почему-то, что она сейчас примет его за беглеца, она решила этот вопрос просто.

— У меня есть деньги. Нам есть на что здесь жить вместе хоть месяц. Месяц в Сочи — это неплохо, а?

— Как так? — удивился он.

— Я дам тебе их. Сколько: двести, триста?

Он был растерян:

– Я не могу у тебя брать деньги, это черт знает что.

– Возьми в долг. Потом отдашь, хочешь, с процентами, – она весело расхохоталась, – оба выиграем.

– Когда отдам? – удивился он. – Где?

Логика ее рассуждений была, что называется, железная:

– Ну, у тебя же будет время! Когда мы поженимся.

– Что? – выдохнул Кирилл. – Ты, наверное, забыла, я тебе говорил, что собираюсь стать писателем, подготовил рукопись стихов, на следующий год буду поступать в Литературный институт.

– Ну и зачем?

– Чтобы стать писателем.

– Миленький мой, жить надо. Жить. А уж потом писать, глупенький ты мой. Узнать жизнь, женщин, увидеть мир – это же главное всего.

– Ты так уверенно говоришь об этом, – удивился он.

– Потому что не хочу становиться писателем, во-первых, у меня нет таланта, во-вторых, это скучно. Миленький, поступишь на дневное отделение – ни денег, ни жилья нормального. Через пять лет выпустишь маленькую книжечку стихов: жены, то есть меня, у тебя нет, детей нет, будущее призрачно.

«Боже мой, безденежье и неопределенность однажды уберегли меня от женитьбы, а теперь те же доводы приводятся, но за женитьбу», – думал он.

А Светлана продолжала:

– У меня подруга кончила Литинститут, правда, заочно, ну и что? Литсотрудник в заводской многотиражке. Гениально! И книжки еще нет своей.

...Оставшись у нее ночевать, он ночью написал для нее стихотворение, назвав его «Встреча в Сочи».

Все начиналось так, между прочим...

Куда ж несерьезность моя подевалась –

Нас тешило море, нас тешил Сочи,

Не тешило время нас, время – мчалось.

День предыдущий и день настоящий,

Снабдившие солнцем меня про запас,

Кажутся мне кораблем уходящим,

Кораблем, уносящим частичку нас.

Светит ли солнце, хмурится небо ли –

Кто мы, откуда? Какого мы племени?

Приходят, уходят – тают в небыли

Дни корабля в океане времени.

— Какой ты молодец! Умелый, опытный конспиратор! Я не предполагала. Ты, наверное, опасный сердцеед, только прикидываешься теленочком.

— Почему? — удивился он такой неожиданной оценке.

— Все про нас и нигде нет ни моего, ни твоего имени. Ты так осторожен?

— Я об этом совсем не думал, — обескуражено проговорил он. — Ты на все смотришь по-своему.

— Какой же ты у меня ребеночек, ну какой же из тебя сейчас писатель. Писатели — народ матерый и бывалый.

В одну из их встреч, когда они вышли из гостиницы и направились на пляж, она спросила:

— Как ты оказался на заводе?

— Не понял.

— Ну ты же не технарь, ты — гуманитарий.

— Я, скорее всего, пролетарий. И ты убедишься в этом, если действительно приедешь ко мне. У меня общежитие, завод и больше ничего нет. Да больная мама, — добавил он задумчиво.

Она, казалось, его не слышала.

— Зато ты мне очень нравишься!

В другой раз, утром, когда он, отлепившись от нее после сна, потихоньку, чтобы не разбудить, встал и подошел к окну, она неожиданно сказала:

— Ты не думай, что я нехорошая. Я — хорошая! — При этих словах глаза ее повлажнели. — У меня, кроме мужа, никого не было. Правда, был один, но он больше, чем на полметра, ко мне не приближался. Любил и боялся меня. Такой вот был. Может быть, ему и цены не было бы. Но я была совсем равнодушна к нему. А с тобой у меня все произвольно. Я нашла тебя. Ты — мой мужчина.

— Ну и ну, — мотнул он головой, отходя от окна.

— Что «ну и ну»? — Она уже сидела на кровати, обхватив руками колени.

— Складно все, как в кино. Красиво, а по сути ты врываешься в мою жизнь.

— Вот тебе!

И она запустила в него подушкой, вместе с ней в него полетели и ее, с белыми кружавчиками, светлые трусики.

Поднимая их с пола, она вздохнула:

— Вот она, проза жизни!

— Ты бесподобна, — вырвалось у него.

— Я знаю, — воинственно выкликнула она и бросилась на Касторгина.

Через минуту они боролись уже в постели. Она визжала и делала вид, что вырывается... Светлана не хотела ему уступить, желая все делать сама.

— Я хочу забеременеть от тебя, а на дальнейшее мне наплевать, можешь и не жениться на мне, — шептала она разгоряченно.

— Я не женюсь на тебе и буду негодяй?

— И все равно ты будешь годяй. Ты всегда будешь для меня годяй, потому что ты редкий, штучный экземпляр.

Улетал Касторгин из Сочи первым. Провожала она его с огромным букетом красных роз. А через неделю сообщила телеграммой: «Еду нас всем, встречай, подробности телефоном десятого вечером, если против — телеграфируй».

«...подробности телефоном... Какие подробности? Какие телефоны? Я, кажется, сдаюсь. Пусть будет, как будет». Он с самого начала смотрел на семейную жизнь с ней как на некий эксперимент. А вдруг и получится, раз она так хочет. Признаться, он уже перестал понимать, какая жена ему нужна и когда.

...И началась их совместная жизнь.

Вначале они сняли комнату. Вскоре Касторгина назначили заместителем начальника цеха и он получил вначале комнату на соседей в трехкомнатной квартире, а через некоторое время сразу двухкомнатную. К этому времени у них была уже Ирина.

Жена после работы собой заполняла все. О писательстве он давно перестал, кажется, даже помышлять. Когда же начал писать кандидатскую, она это восприняла очень одобрительно. Во всем старалась помочь.

А у Кирилла мелькнула мысль: «Вот, занимаюсь наукой, еще другую грань жизни узнаю — научную, другой срез жизни». Он не писал, но был готов знать жизнь со всех сторон, будто верил, что ему это надо будет для чего-то обязательно. Его мозг, его память постоянно все откладывали на потом, на осмысление, на анализ.

...Забавно то, что когда он вернулся из Сочи, в армию его по каким-то неизвестным причинам не призвали, в отличие от его приятеля Владимира, который пополнил ряды ПВО в Небит-Даге, где и женился на дочке командира полка.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

БИЛЕТЫ НА ВЫСОЦКОГО

Он планировал поехать за билетами с утра, но не получилось. Было уже четверть двенадцатого, когда Кирилл Кириллович подошел к троллейбусной остановке. Дома, собираясь, он вдруг вспомнил, что у него есть удостоверение пенсионера, это в пятьдесят три-то года, и он решил попробовать себя в качестве пассажира с пенсионным удостоверением.

«Чудно как-то, — думал он, — вот я войду в транспорт и буду кому-то показывать серенькую бумажку, в которой, как приговор, звучит: ты пенсионер, все — отработанный материал, дальше некуда — сливай воду. Жизнь — к черту. И как компенсация всему этому — вот вам: езжайте в пределах города, дорогой товарищ — нет, теперь, господин — бесплатно. Заслужили, господа! Господа пенсионеры?»

Он поморщился от внутреннего диалога, от картинности и ходульности происходящего. «Фанера, тьфу... Какой я стал нудный... Интересно, а сколько билет стоит, во сколько нас оценили, ну-ка, господа хорошие, сейчас узнаем».

А между тем подошел маршрутный троллейбус номер 11, и он поднялся по ступенькам.

Вошедших было двое: он и бабулька, проворно подкатившая к кондуктору.

— На-ка, милая, у меня руки заняты, на билетик-то.

По всему видно было, что бабка с села Рождествено едет торговать на Крытый рынок. Она держала деньги в левой руке вместе с трехлитровым бидончиком, в котором были либо сметана, либо творог. В другой руке у нее была корзинка с яичками. Кондуктор подошла и взяла деньги. Последующее действие развивалось, по оценке Касторгина, невнятно и суматошно.

— Гражданин, а вы платить собираетесь? — глаза приземистой крепьшки смотрели дружелюбно и в то же время насмешливо. — Бабуля и та платит, а вы?

Надо бы взять и заплатить, но он подошел к кондуктору и каким-то очень подозрительно проникновенным голосом произнес:

— Знаете, у меня удостоверение пенсионера.

Крепьшка удивленно округлила глаза:

— У вас удостоверение? — она с сомнением покачала головой.

Он понял это так: «Ладно, мол, заливать, хотите ехать зайцем, черт с вами, связываться с каждым тут...» Касторгина передернуло.

– Что, не верите?

– Да ну вас... – она не смогла подобрать слова, – как хотите.

– Как, как хотите? – выдохнул Кирилл Кириллович, – я ведь и сам не верю – вот, – он наконец-то нашарил удостоверение, вынул его и торжественно развернул, чувствуя, однако, смущение и какое-то непонятное чувство вины, будто он намеревался что-то все-таки украсть.

«Черт, меня заклинило, надо было взять билет, отец ведь всегда брал, а был инвалид войны, и никогда на сиденье не садился, стоя ездил, хотя и с протезом... одна морока. Зато прошел полную апробацию», – думал он, подходя к зданию филармонии.

У кассы филармонии была небольшая очередь. Когда он ткнулся в окошечко, кассир объявила громко, что остались всего два билета.

– Мне хватит одного, – резонно сказал Касторгин.

– Ой, как же так, – пискнул над его ухом голосок.

Он обернулся. На него смотрели черные детские глазки взрослой девицы, а рядом стоял стройный элегантно одетый ее спутник.

– Ради бога, уступите нам, ну что вам стоит, мы ведь вдвоем, а вы всего один. Вы купите: и ни то, ни се – один билет останется. Никому!

– Как никому, ведь за вами же стоят, – видя несуразность диалога, все-таки возразил Касторгин.

– Ну все-таки, все-таки здесь какая-то несправедливость, верно ведь, ведь нас двое, а вы – один, – лепетала девица и глаза ее то закрывались, то открывались. Ее спутник понуро молчал.

Касторгин уступил билеты. Он действительно, увы, был один. Почти равнодушно отошел от кассы. «Не судьба значит», – вспомнил он известное и вышел на улицу.

...Был субботний день, 25 января. Малоснежная зима. Легкий морозец и свежий ветер гуляли под открытым небом. Он решил пройтись по улице Фрунзе до драматического театра и взять билеты на любой вечерний спектакль. «А заодно поприветствую Алексея Толстого», – подумал он, вспомнив, что на его пути будет справа дом-музей писателя.

Последний раз он был в нем в год окончания института. Толстого он любил. Книгу Оклянского «Шумное захоlustье» перечитал несколько раз. У него была давняя привычка перечитывать полюбившиеся книги. Оттого-то первые строки любимых произведений разных авторов он знал на память. А некоторые: «Детство Никиты», «Разгром», «Хаджи Мурат», «Поединок» и многие другие мог цитировать по памяти кусками.

Подойдя к дому-музею Толстого, Кирилл Кириллович внутренне порадовался тому, что внешне особнячок, обшитый досками, выкрашенными в желто-коричневый цвет, выглядел сносно.

«Конечно, наверно, масса проблем с содержанием и безденежье души, но все-таки стоит...»

Он подошел и потрогал руками добротные доски, хмыкнул невразумительно, отошел метров на пять и, задрал голову, окинул весь дом сразу: «Сколько уже лет нет знаменитого писателя, а он стоит – свидетель былой жизни, хранитель всего виденного, что было в нем... Как банально последние дни я говорю и думаю, – заметил он отстраненно, и тут же спокойно и трезво пришла новая, не пугающая, а уравновешивающая мысль: – Так, наверное, и должно быть, раз я барахтаюсь на краю пропасти. «Живой труп» – Боже, никогда не думал, что это и обо мне».

Кто-то изнутри дома-музея приоткрыл форточку, и скрип ее вернул его к действительности.

«Странно: ходят люди, звенит трамвай, я этого ничего не слышал только что, как будто находился в другом измерении, а форточка, словно оттуда, издавека, где Толстой и его старшие родственники, говорит со мной».

Последние месяцы Касторгин писал короткие стихотворения, чаще четверостишья, это отвлекало от мрачных мыслей, давало какое-то ощущение жизни.

Он попытался припомнить свое четверостишье о Толстом. На память многие из своих стихов он не помнил. И это, очевидно, от того, думал он, что четверостишья требовали четкой формы, лаконичности, даже лапидарности, эта форма приходила и ложилась на бумагу не сразу, было много вариантов и все они потом, когда уже был главный, окончательный, все равно толкались в сознании.

С минуту пошевелив губами, он вполголоса все ж-таки произнес:

*К кому мне пойти с досадой моей,
Кому рассказать об этом?
Так жалко, что Толстой Алексей
Не стал гениальным поэтом.*

...Касторгин продолжил свой путь по улице Фрунзе. Проходя мимо Академии искусств и культуры, невольно обратил внимание на разминавшихся балерин в зале. Там царили красота, молодость, жизнь.

Завораживающие силуэты вдоль стенок, чуть слышимая музыка, казалось бы, должны были вызвать у Кирилла Кирилловича прилив бодрости. Он и сам этого ожидал, но какая-то сила мешала... Наоборот, что-то

будто говорило: это уже не твое, ты уже лишился права на музыку, красоту. «Как и кто лишил, — вдруг кольнула мысль. — Ведь это я решил, что уйду из жизни, но сама действительность, все люди, эти девочки, грациозные и недостижимые, они ни при чем, это я все сам... сам. Боже мой, надо не раскисать. Надо еще все до конца понять... и разобраться... А ведь мне и раньше, когда я смотрел на что-то красивое, особенно на женщин, отчего-то становилось грустно... Возможно, таких людей, как я, много. И они ходят по улицам. Те, кто ожесточился до крайности, но еще пока не поднял руку на себя, но уже решил это сделать, они же могут быть социально опасными. Им уже все равно. А тебе? Нет, мне — нет, — терпеливо думал Касторгин. — У меня нет таких сил, чтобы желать или делать сознательно зло. Я, наверное, слаб. Или здесь что-то другое... другое, другое, — пытался догадаться Кирилл, — но что? Жить все-таки хочу, вот она разгадка, а жить могу только порядочным человеком, уважая себя. Я балансирую на грани и не знаю, что из этого всего будет».

— Я что-нибудь не так делаю? — вдруг, как сквозь завесу, услышал Касторгин молодой бархатный голос.

— Так, очень даже так, — отвечал женский голос.

Кирилл Кириллович поднял голову и прямо перед собой у подъезда университета увидел целующуюся парочку. Поразило его то, что они не смотрелись вульгарно, они были красивы, особенно она — чуть полноватая, с прямо-таки величаво посаженной головой. Он был худощав и невозмутим. «Бог мой, что они делают?»

А парочка продолжала целоваться. Они ничего не видели, особенно она. Они были одни. Вернее, они чувствовали себя центром всей вселенной, до остальных им не было никакого дела.

Не было никого вокруг. Тем более Кирилла Кирилловича с его проблемами. Он это понял или, вернее, оценил и неопределенно улыбнулся. И, если бы сторонний наблюдатель видел его улыбку, он не догадался бы, что она значит.

...Он отпустил ее губы, она, хлебнув воздуха, чуть оттолкнула его и, засмеявшись, совсем как подросток, что-то ему шепнула на ухо. Прямо глядя в ее бездонные, омутовые глаза, парень кивнул головой и она звонко чмокнула его в щеку. Парочка продолжала разговаривать на своем языке, а Кирилл Кириллович пошел дальше по улице Фрунзе.

Застрявший в мыслях между только что виденным и тем, что сидело в нем и подспудно, но настойчиво требовало по его привычке упорядочения, он удивленно уставился на памятник Чапаеву перед зданием драматического театра.

Чапаев восседал на коне с протянутой рукой, но без сабли. «Как, — удивился Касторгин, — и здесь корректировочку перестройщики сделали. Отняли сабельку у Чапая, хватит, помахал и довольно. Стыдно стало за кровожадность собственных героев Отечества. Сколько голов-то пошибали друг другу. Варварство, конечно».

Он был сторонник той мысли, что и революция, и гражданская война были срежиссированны международным империализмом, как некий опыт для человечества, и мысль, что огромный его народ стал по чьей-то воле зловещей и деятельной игрушкой в мировой игре, его периодически угнетала.

Рассуждая подобным образом, он прошел чуть вперед и... вдруг вытянутая рука Чапая обрела саблю. Все было на месте.

— Черт те что, — ругнулся Кирилл Кириллович и попятился назад, туда, где только что стоял.

Как только он оказался в одной линии с рукой Чапая, сабля исчезла.

«Вот фокус, надо же. Выходит, никто не трогал Чапая. А мы тут исторические ретроспекции проводим, поторопились чуток. Махальщиков сабельками ого-го сколько еще у нас. Не скоро еще до поумнения».

...Это были дни накануне восьмидесятипятилетия или девяностолетия со дня рождения знаменитого комдива. Местное телевидение организовало в память о Чапаеве встречу с ветеранами-чапаевцами. Человек пять или шесть усадили за круглый стол и ведущая по очереди стала каждому задавать вопросы.

Кирилл Кириллович заинтересованно придвинулся к экрану, ему было интересно наблюдать людей, которые будут вспоминать о событиях далеких дней. За столом сидели, так сказать, живые участники драматических лет гражданской войны.

Но передача явно не получалась. Не клеился разговор за столом. Те, кто имели образование и выдвинулись из общего ряда, говорили гладко и осторожными фразами общеизвестное, а те, кто так и остался простым тружеником, были скупы на слова, будто забыли, что как раз то от них и ждут живого разговора.

Кирилл Кириллович сразу обратил внимание на рослого, угловатого старика. Крупные и темные его кулаки лежали на столе, похожие на инструмент.

Два раза диктор обращалась к нему с общими вопросами, но он отвечал односложно, спокойно уступая другим. Ему был неинтересен разговор обо всем и ни о чем.

Касторгин все ждал, что кто-нибудь обмолвится о Чапанной войне, или Чапанке, как называли ее в Поволжье. Эта война, как понимал он, всколыхнувшая огромные массы крестьян Самарской и Симбирской губерний, была намного масштабнее и трагичнее, чем Кронштадский мятеж в 1921 году и «антоновщина», о которых хоть что-то было известно. Видно, сведения об этих событиях двадцатых годов были настолько под запретом, что впервые попытавшегося рассказать о них писателя Артема Веселого в своей повести «Чапаны» расстреляли, а повесть конфисковали. (Это он уже позже узнал.)

«Эти люди на экране, они должны были знать об этой трагедии. Неужели ничего не скажут?.. Не скажут, — чуть позже ответил он сам себе, — ведь они воевали друг против друга. Их заставили воевать. Жизнь вновь выдвинет человека, который скажет об этих событиях во весь голос. И мы все до конца узнаем, как это было. Но когда?»

Вдруг диктор, может, сама того не ожидая, задала вопрос, который враз оживил передачу:

— А страшно было, когда кавалерия, эскадрон на эскадрон с шашками наголо.

— Тут ведь цельная наука — воевать в кавалерии, — не спеша отвечал старик. — Во-первых, конь должен быть строевой, обученный для этого дела, во-вторых, снаряжение, того... — и старик со знанием дела, свободно, не обращая внимания на сидевших рядом, словно зная, что они либо бывшие обозники в чапаевской дивизии, либо вообще липовые «участники», стал подробно обо всем рассказывать, что касается снаряжения коня.

— Страшно вначале было? — допытывалась диктор. — Ведь лавина на лавину?

— Да, ежели науку освоить, оно становится не в диковинку. Все по своим правилам.

— «Есть упоение в бою...» — явно желая разогреть разговор, продекламировала ведущая.

«О чем лепечет эта бабенка, — ужаснулся Кирилл Кириллович, — о чем говорит этот старик, какие правила, разве может нормальный человек методично истреблять по каким-то там правилам себе подобных? Отечественная война, война с захватчиками — это понятно. Но убивать своих же земляков, таких же, как ты, простых хлеборобов, как в чапанной войне? От невежества это. Ведь если «антоновщина» охватила около пятидесяти тысяч повстанцев, то сколько в Чапанке? И ведь их наверняка либо уничтожали, либо высылали. От невежества, — повторил он, но через секунду возник другой вопрос. — А как же объяснить

«успехи» маршала Тухачевского, высокообразованного интеллигента, который разработал и внедрил правила применения отравляющих газов при подавлении крестьянских восстаний в России? Это просочилось в печать. Тоже по особым правилам? Что ж это за россияне такие: им и невежество тяжело в себе нести, и образованность получается не впрок».

...Он взял билет на мелодраму «Яблочная леди» с Верой Ершовой в главной роли. Когда Кирилл отошел от кассы с билетом в руках, перед ним возникла миловидная женщина во всем черном:

— Извините ради бога, посоветуйте: стоит ли брать на «Крошку» билеты, московским гостям хочется показать наших артистов, — она кивнула в сторону своих спутников.

— Конечно, — живо откликнулся Кирилл Кириллович, — берите, не пожалеете. Замечательная вещь. Там и Ершова играет. Как раз то, что надо, чтобы москвичи имели представление.

Ему показалось мало сказанного, либо сказанное могло прозвучать холодно и официально, и он почти извиняющимся тоном поспешно добавил:

— К этой пьесе Еринцев и Марк Левянт песенки совершенно замечательные сочинили. Наверняка вам понравится. Они вместе с Петром Монастырским и Владимиром Борисовым ставили, кроме «Крошки», еще «Хитроумную дуреху» и «Здесь под небом чужим».

— А что, разве «Здесь под чужим небом» не Гвоздкова работа? — спросила одна из москвичек, что повыше ростом.

— Да нет, что вы! Нашего Монастырского.

Сказанное прозвучало либо хвастливо, либо как-то все-таки для женщин необычно, ибо москвички переглянулись меж собой и улыбнулись. Он пожалел о том, что сказал, хотя все было правдой.

— А вы знаете, — сказала одна из москвичек неожиданно красивым грудным голосом, заставившим Касторгина остановиться и внимательно посмотреть на нее, — я сегодня в местной газете, по-моему «Волжская коммуна», да-да, так она называется, видела указ Ельцина о награждении Ершовой орденом «За заслуги перед Отечеством».

«Голос, как у моей Светланы, наваждение какое-то, будто она говорит, а лицо другое... Я начал сходить с ума? Не может этого быть. Я твердо знаю, что я крепок и здоров до неприличия, может быть, в мои годы...»

Выйдя на улицу, Касторгин свернул в сквер. «Посидим возле Пушкина, может, успокоимся», — улыбнулся он и сел на скамейку как раз напротив бюста поэта.

Сквер был свободен от людей. Были только Волга, Пушкин и Небо над головой.

«Да я вот со своими болячками, непонятно кому нужный, — доедал себя Кирилл Кириллович, но вдруг опомнился. — А что, если я как раз здесь сейчас самый важный объект и есть, я — не Кирилл Касторгин, а человек, пусть рядовой, пусть сам себе уже не нужный, в тягость, но человек, которого создали и это Небо, и Волга, и вся Природа, ведь по идее так, ведь я создан был для чего-то существенного. Или все существенное я уже сделал? А что я сделал? Родил дочь, которая меня не очень ценит (не уехала бы), сделал обеспеченную жизнь жене? Но она ушла от меня. Докторскую написал? Чепуха! Мир этого и не заметил. Одни завистники и заметили. Разве ж вот тридцать лет отпахал на заводе. Но я ушел и по сути мало кто спохватился. Некому. Профессионалы давно уже рассеялись. Учиться бы надо молодым, но промышленность вся развалена. Чему учиться на кладбище? Если так будет еще года два — все: и кадры, и оборудование, и технологии в России пропадут пропадом. Не восстановишь. Ведь мы и так в химии и нефтехимии и по технологиями, и по химическому машиностроению на два десятка лет отстали от Запада... А, ну да, Высоцкого бы сюда в нашу перестроечную кашу, что бы и как он запел?»

Касторгин вспомнил до мельчайших подробностей, как он впервые увидел Высоцкого. Он и тогда, и после воспринимал Высоцкого как гражданина, в первую очередь. Как явление. Он и Маяковского не считал в строгом смысле поэтом. Трибуном? Да! Поэзия, считал он, это все-таки не только езда в незнаемое, не хриплый оглушительный голос. Ведь и Станиславский не выносил, когда ревели на сцене, Кирилла Кирилловича раздражали люди, говорящие громко, тем более об интимном.

Сам Касторгин говорил часто так, как будто бы его совсем не интересовало, слышат и слушают ли его или нет. И, странно, это не мешало, а наоборот, притягивало к нему сослуживцев. В нем чувствовалась всегда раньше внутренняя уверенность в себе, безотносительно, как его суждения вписываются в существующие производственные и технологические догмы. Но то было раньше. Перестройка политизировала всех и все. Все полетело кувырком. Он слишком был «технарь» и это много определяло. На заводе и в городе до сих пор помнили, как он написал письмо в ЦК КПСС о вредности и несуразности широко вводимой в начале перестройки госприемки на предприятиях. Ведь было же очевидно, что качество продукции надо искать в начале технологического цикла, а не в конце, посадив на это сонных чиновников. Но, увы, ему тогда крепко влетело за его настырность.

«Поэзия – это истина в бальном платье». Такое определение он более всего принимал.

Первый раз Владимира Высоцкого он слушал в своем Политехническом в актовом зале на Первомайской улице. Ходили до этого записи. Мощный и будоражающий голос не позволял быть равнодушным. А тут вышел на сцену худощавый парень, совсем на вид свой, и, когда особо шустрее, настраивая свои магнитофоны на запись, начали суетиться, он жестко объявил:

– Ребята, вы мне будете мешать, давайте все уберем, иначе петь не буду.

И странно, никто не обиделся. Он успел стать всеобщим кумиром в Самаре. Ему, как звезде, многое прощали.

Тогда, перед началом концерта, он налил полстакана воды и, прежде чем выпить, скорее, прохрипел, чем сказал:

– Ваше здоровье! – И чуть погодя. – Вы не думайте, что я специально хриплю, у меня действительно такой голос.

С выступлением во Дворце спорта чуть было не получилась заминка. Как тогда слышал Касторгин, чтобы быть от греха подальше, комсомольское руководство в день выступления намеренно уехало в Тольятти, но активисты из городского молодежного клуба подсуетились и прорвались за разрешением к первому секретарю обкома партии Владимиру Павловичу Орлову. Тот не долго думал – разрешил.

Кирилл Кириллович жалел, что не попал на вечер памяти певца. Хотелось бы посмотреть на тех ребят, которые тогда были ко всему этому близки. Ведь должны быть и воспоминания, и новые песни, и старые замечательные вещи.

Так хотелось никем незамеченным войти в зал, погрузиться в прошлое, в себя – без ажиотажа, эпатажа, тихо побыть и уйти. Не расплескав то, что было еще твоим.

Он рассеянно глядел на Пушкина, на его кучерявую голову, покрытую белой шапкой снега, и ему вспомнилось открытие своего Пушкина.

«В ЛЕГЕНДАХ СТАВШИЙ КАК ТУМАН...»

...Кажется, на четвертом курсе института, перечитывая уже давно знакомое стихотворение Есенина «Пушкину», Кирилл вдруг изумился. Раньше образ белокурого автора, очевидно, заслонял фигуру Пушкина, либо стоял на переднем плане и потому истинный смысл слов «блондинистый, почти белесый» был совсем иным. «Блондинистый, почти белесый»

– был всегда Есенин! Но ведь в стихотворении он, Есенин, обращается к Пушкину. Значит, Пушкин – «почти белесый»?!

*Блондинистый, почти белесый,
В легендах ставший как туман,
О Александр! Ты был повеса,
Как я сегодня хулиган.*

Это же написано в двадцать четвертом году! Так почему же все считают, что у Пушкина были черные волосы? Это же странное и страшное недоразумение. Или – это стихотворение недоразумение, да еще какое?! Но почему оно напечатано?

Первым, с кем решился поговорить на эту тему, был Николай Францев, сотрудник институтской многотиражки «Молодой инженер», студент-заочник Литературного института. Глядя, как на ненормального, он обрушил на Касторгина всю тяжесть своего литературного авторитета:

– Ты перегрелся: Пушкин – эфиоп наполовину, ты понимаешь – он негр!

– Ну и что? – не то чтобы упрямо, но раздумчиво переспросил Кирилл.

– Негры блондинами не бывают! Ты соображаешь что-нибудь? – сказав это, Францев недвусмысленно покрутил указательным пальцем около виска.

Тогда Кирилл протянул ему томик стихов, раскрывая страницы с известным стихотворением. Указательным пальцем, помычав ритмично, Францев несколько раз провел по злополучным строчкам, потом картинно швырнул книгу по столу в сторону Кирилла. Книга через весь стол доползла до самого края.

– Дело не в Пушкине, дело в Есенине.

– Что? – не понял Касторгин.

– Это Есенин, автор, был пьян, вот и сморозил. С поэтами бывает.

– А редактор, издатель – они что, чумовые? – резонно удивился Касторгин.

– Да кто из них что смотрит?..

Кирилл не знал, куда идти со своей догадкой. В студенческой компании, когда он говорил, что Пушкин блондин, его либо поднимали на смех, либо снисходительно молчали. Он и сам порой сомневался. Вглядываясь в прекрасный образ Пушкина, изображенный Орестом Адамовичем Кипренским, он едва ли не чувствовал во взгляде поэта иронию по поводу суетности окружающего мира, в том числе и попыток Касторгина знать истину. На портрете Пушкин был с привычными черными кудрями и бакенбардами.

Те же ощущения вызвал в нем и портрет поэта, выполненный Василием Андреевичем Тропининым. Царственно величавый поэт, правда, был здесь с более светлыми глазами и волосы были близки к каштановому цвету. Так ему показалось, по крайней мере, когда он с помощью лупы разглядывал небольшие журнальные репродукции.

Кирилл перестал вести разговоры с кем бы то ни было о цвете волос великого поэта, а начал поиски.

Он не мог принять и смириться с тем, что есть и такие слова о Пушкине: «...невозможно быть более некрасивым — это смесь наружности обезьяны и тигра; он происходит от африканских предков и сохранил еще некоторую черноту в глазах и что-то дикое во взгляде». Кто такая Д. Ф. Фикельмон, насколько она близко была знакома с поэтом, чтобы доверять ей, верить в ее записи?

...Ему повезло случайно. В 1968 году, летом, уже окончив институт, в книжном магазине на Самарской улице он взял в руки квадратного формата с желтыми подсолнечными лепестками на черном фоне мягкую, какую-то очень теплую книжечку и, раскрыв ее, на первой же странице с изумлением прочел: «Не так давно я имел счастье говорить с человеком, который в раннем детстве видел Пушкина. У него в памяти не осталось ничего, кроме того, что это был блондин, маленького роста, некрасивый, вертлявый и очень смущенный тем вниманием, которое ему оказывало общество...» По книге выходило, что эти слова принадлежали известному русскому писателю Куприну и сказал он их 12 октября 1908 года на вечере, посвященном восьмидесятилетию Толстого в Тенишевском зале.

На обложке значилось: «Евгений Шаповалов. Рассказы о Толстом».

Он быстренько расплатился за книгу и, выйдя из магазина, направился в скверик на Самарской площади, присел на скамейку в тени липы.

В книжке самарский автор рассказывал о встречах со стариками-степняками в Алексеевском районе, которые когда-то в раннем детстве видели Льва Толстого в своем самарском имении.

«Все-таки белокурый, все-таки белокурый!» — ликовало в нем.

Чуть позже он пожалел, что, закончив институт, однокурсники разъехались, даже Францев куда-то пропал и в общем-то некому из них, не верящих ему, показать книгу. Он шел по улице и у него было странное состояние.

«Я иду по городу и наверняка процентов на восемьдесят народа, который копошится, суетится вокруг, не знает, что Пушкин-то блондин. Так не должно быть».

На трамвайной остановке, чуть в стороне от всех, в светлом костюме и легкой шляпе стоял человек. Человек ждал трамвай, раскрыв газету.

— Извините, у вас какая профессия? — вежливо спросил Кирилл. Ему показалось, что так начать разговор более уместно.

Человек в светлом костюме вопросительно посмотрел на Касторгина.

— Вам зачем?

— Да я... я хотел, понимаете, — Касторгин сбился, забыв приготовленные фразы, он, вдруг поняв нелепость своего поведения, ступался.

Но будущий пассажир трамвая спокойно академическим тоном ответил:

— Я директор школы.

— Тогда вот, прочтите, — обрадовался самодеятельный пушкиновед и сунул пальцем в раскрытую книгу.

— Чепуха какая-то, сроду не поверю: Пушкин — блондин. Если так, то тогда мы с вами, дорогой, негры, — и он, весело мотнув рукой, снял шляпу, обнажив крупную голову с белокурой «канадкой».

Подождал трамвай и директор, сунув книгу под мышку, бодро двинулся к дверям.

— Товарищ, а книгу-то — спохватился Кирилл.

— А... да, совсем вы меня сбили с толку, ловите.

Кирилл обеими руками поймал подсолнуховый квадрат и пошел к остановке на другой стороне улицы.

Через пять лет в одну из поездок в Ленинград на «Мойке, 12» он получил ответ на свой вопрос.

— Да, конечно, — сказали ему, — Пушкин в детстве был белокур.

— Но почему же его рисовали черным? — смущаясь, спросил он.

— Но ведь с годами, как и у всех, волосы темнели, вот смотрите на пучок волос, срезанных на смертном одре поэта — они каштановые.

— Да-да, — неопределенно согласился Касторгин.

— А знаете ли вы, что Пушкин был голубоглазый?

— Нет, — выдохнул Кирилл, — не знаю, — и он вдруг почувствовал себя школьником.

Приехав домой в Чапаевск, он вновь нашел репродукцию с портрета Пушкина кисти Кипренского и долго через лупу разглядывал ее. Выходило, что глаза действительно чуть голубые, но волосы, они были все-таки, как казалось Касторгину, чересчур темные. Загадка. Он тогда

поставил себе задачу найти неопровержимые доказательства, что действительно глаза у Пушкина – голубые.

...Сидеть в заснеженном сквере стало холодновато. Театрально воздев вверх правую руку, приподнимаясь со скамьи, Кирилл Кириллович бодро продекламировал:

Полезен русскому здоровью

Наш укрепительный мороз.

– Хорошо сказал, – обратился непосредственно к Пушкину Касторгин. – Молодец!

Но черная курчавая голова величаво молчала, погрузившись по воле скульптура в волны вдохновенья.

«А мы вот суедемся, то есть живем себе, казалось бы, на зависть всем и – перестраиваемся, как можем. Чтобы ты сказал на это, Александр Сергеевич, если б тебя не сделали гранитным. Ты бы сумел сказать! Ты же был умница. Не зря ведь ни Жуковский, ни князь Вяземский спорить с тобой не могли».

Он подошел к самому краю крутого обрыва. Отсюда сквозь мерзлые ветви кленов вдали справа угадывались Жигулевские Ворота. Молчаливый и мудрый облик Жигулей и Волги успокаивал. Где-то там, в морозной дали, не видимая отсюда восточная, живописная в теплое время года оконечность Жигулей с вершинами Белой и Серной гор, Верблюд-горы, с долинами Крестовой и Гавриловой полян. А напротив – не менее чудная западная оконечность Жигулей с песенным Молодецким курганом, где он не раз бывал когда-то, даже однажды вместе со студенческой группой встречал Новый год. И среди всего этого чуда пряталась самая живописная долина Девьих гор, как назывались Жигули до Екатерины II, – Бахилова Поляна.

– Здравствуй, мой Жигулевский рефугиум*! – почти патетически воскликнул Кирилл Кириллович. – Здравствуй и процветай, и пусть тебя ни один ледник не тронет в твоих тысячелетиях, а мы уж – как-нибудь!

Он перешел улицу Вилоновскую, спустился во дворик Иверского монастыря и оказался у могилы Петра Владимировича Алабина. Где-то в заказниках памяти держалось, что бывший самарский городской голова, историк, писатель, добрый гений Самары, так много сделавший для города, похоронен не на общем кладбище, а на особицу. Но все равно, могила привела Касторгина в некое замешательство: она была в стороне

* Рефугиум – место сохранения растений и животных в неблагоприятные климатические периоды.

от всего. Вернее, чувствовалось, что все сделано, чтобы она была незаметной, словно кто-то очень сильно когда-то позаботился об этом. Кирилла Кирилловича поразили слова, выбитые на черном граните:

*«Петр Владимирович Алабин
действительный статский советник*

Воин и летописец 4х войн

1849, 1853, 1876, 1877

Всецело посвятивший свою деятельность с достоинством и честью на пользу государству, земству и городу. Основавший общину сестер милосердия, устроивший водопровод, памятник Александру II и библиотеку. Способствовавший к скорейшему окончанию собора и много другого сделавший.

Вечная память, мой незабвенный, благородный неутомимый труженик.»

И левее, на другой грани камня значилось:

«1822 – 1898 гг.

Барвара Васильевна Алабина

рожд. Безобразова.»

«Прав этот француз поэт Малларме: мир существует, чтобы войти в книгу. Надо бы, жив буду, начать собирать материал об этом славном человеке. Наверное, замечательная могла бы быть повесть».

Слова на камне, как ратники, боролись, сопротивлялись забвению и наветам. Что-то заставило оглянуться. Наверху стояла монахиня и глядела в его сторону. Глаза их встретились, и черное колыхнулось большой птицей и несуетно исчезло за красной стеной монастыря. Осталось наверху одно сине-белое, в светлых барашках небо.

Касторгин обошел несколько раз могилу вокруг, чувствуя странное внутреннее волнение, словно властный гул или ток шел через него, заставляя прислушиваться и к себе, и к вроде бы молчавшему надгробному камню. Он понимал, что находится во власти некой силы и природа этой силы не понятна обычному будничному праздному разуму. Но наступает некий момент, когда словно попадаешь в иной параллельный мир и зримо начинаешь видеть себя зависшим над бездной, готовым провалиться и пропасть в этом сонме ушедших душ, живших до тебя: гораздо более талантливых и достойных, но уже ушедших, сделавших свое дело. Касторгин ощутил всем своим существом неспособность противиться этому, казалось бы объективному, но все равно не принимаемому душой напору вечности. Он стал путаться в мыслях, почувствовав странную боль в голове, и вышел с монастырского двора.

«Я ведь не боюсь смерти, – убеждал себя Кирилл Кириллович, – не боюсь, по-моему это так, но я сильно противлюсь бессмыслице жизни. Я

не хочу жить бессмысленно. А смысла я пока не нашел. Другие, что? Нашли? Чтобы ты ни сделал, все относительно. Абсолютного смысла нет. Она вот, что, неужто нашла, — думал он, глядя на молоденькую с кротким лицом монашку, вышедшую из убогого подъезда деревянного дома и семенящую в монастырь, — думает, что нашла. Повезло ей, она верит. Рядом с Пушкиным мне только что было и легко, и отрадно, я был другой человек».

Касторгин не спеша направился по узенькой дорожке к автобусной остановке, что почти напротив красно-белого здания Жигулевского пивзавода и бара «Фон Вакано» с огромной красивой рекламной пивной бутылкой над входом. Здесь была другая жизнь. Ее шумливое течение с ходу подхватило его. Быстро подошел автобус, и он, поднимаясь на площадку, подталкиваемый сзади компанией молодых ребят, оказался у окна.

«Надо бы взять билет, да не протиснешься сразу», — только и успел он подумать, как услышал металлический голос:

— Берите билет, молодой человек.

— Сейчас, надо хотя бы суметь развернуться в давке-то.

— Разворачивайтесь, разворачивайтесь!

— У меня, между прочим, пенсионное удостоверение, — почему-то неожиданно для самого себя как бы признался он.

Кондуктор отреагировала так, что его вовсе огорошило:

— Какое там пенсионное удостоверение, автобус-то «шестьдесят первый — скорый», на нем все должны брать билеты, а не хотите — не садитесь, мастера притворяться.

— Сколько надо? — упавшим голосом спросил Кирилл Кириллович.

— Две тысячи.

Он вынул пятитысячную купюру и протянул через головы кондуктору. Автобус шустро подъезжал к остановке, а кондуктор все копошилась со сдачей. Сделав немалое усилие, он протиснулся к выходу. Едва он по-молодецки соскочил на тротуар, дверь захлопнулась.

«Сколько же я проехал остановок? — прикинул он и, ухмыльнувшись сам себе, добавил: — За пять тысяч получилось всего две. Ну и ну, не везет мне сегодня. Так у всех пенсионеров, что ли?»

ГЛАВА ПЯТАЯ

КАНИКУЛЫ В ДЖОРРЕТ ДЕ МАР

У Касторгина была особенность, которую он знал и с которой уже свыкся: он мог путать, когда точно было какое-то событие, но не мог забыть, как это было, при каких обстоятельствах, кто что сказал, как сказал и посмотрел, какая была погода, запахи — это в нем оставалось очень надолго. Надолго оставалось и хранилось в нем его отношение ко всему тому, что поразило или просто заострило на себе внимание. Такова была его натура. Был конкретен и замечал, не заставляя себя это делать сознательно, многие мелочи, из которых, как он понимал, и состоит жизнь

Сейчас ему все чаще вспоминался последний отпуск, который они со Светланой провели в Испании. У него была возможность вырваться на две недели. Они это и использовали.

Страна Дон Кихота, Гойи и Дали встретила их ласковым солнцем и постоянно волнующимся у пляжа Средиземным морем. Им досталось, может быть, не самое удачное время для отдыха: первая половина сентября. Уже несколько спала волна самых популярных народных гуляний, которых больше всего почему-то приходится на июль месяц.

Погода в эти сентябрьские дни была неустойчивая, иногда по три дня подряд пасмурная. Но разве только в погоде все дело, можно вдыхать аромат гранатовых и апельсиновых деревьев и без палящих лучей солнца.

Одни только названия пленяли воображение. Андалузия! А столица этой провинции — романтическая Севилья!

Касторгин дал себе слово, что обязательно должен побывать на земле, где навечно прописались Кармен, Фигаро, Дон Жуан. И, конечно же, надо увидеть эту сказку сегодняшних дней — курорт Коста дель Соль, что в переводе звучит как Берег Солнца, раскинувшийся на триста километров вдоль средиземноморского побережья.

Это там, в лучших туристических центрах курорта Марабельи и Торремолинос с их фешенебельными кварталами и всемирно известными площадками гольф-клубов, звезды мирового кино, арабские шейхи, миллионеры и шикарные томные южные красавицы проводят свое свободное время...

Кирилл Кириллович уже был в Севильи, но ему хотелось ее показать Светлане, очень хотелось. Он мог подолгу говорить об этом крае. Когда он был там, то не удержался и исписал несколько страничек запис-

ной книжки, которые теперь оказались весьма кстати. Но много помнил и так, будто прошло не три года, а три дня.

– Понимаешь, из Севильи испанская корона управляла заморскими странами. В Севильи рождались императоры и жили герои «Назидательных новелл» Сервантеса. А какого открытого и веселого нрава здесь были люди! Есть предание, что здесь жила первая любовь великого Мигеля Сервантеса донья Анна Мартинес Сарко де Моралис.

При всей «элитарной» изысканности одних и белоснежной «скромности» других у всех отелей независимо от «звездности» есть одна общая особенность – близость к морскому пляжу. Так случилось: туристический бум Испании увлек Кирилла и Светлану в свой более, чем пятидесятиmillionный поток туристов в год на сорок миллионов местных жителей и пришвартовал в небольшом приморском городке Джоррет де Мар в Каталонии, в сорока километрах от Барселоны.

Небольшой чистенький номер в гостинице «Ифа» сразу понравился. Правда, в этом трехзвездочном отеле в номерах не было телевизора и холодильника. Но это не смущало. Телевизор был на каждом этаже, правда, шумливые немцы постоянно успевали первыми включать свои программы. Вообще в гостинице и в городе большая часть туристов были немцы и русские – это они отметили сразу.

Касторгины каждый день стали делать для себя открытия. Одно из них, о котором Кирилл знал и, конечно, приветствовал, была сиеста.

Странно, зачем вам нужен телевизор, если тут веселье начинается до смешного рано: где-то в восемь часов вечера. В этот час курортные города только просыпаются: время сна после обеда – сиеста – святое время.

Кириллу Кирилловичу это подходило вполне. Ему всегда надо было в отпуске в первые три-четыре дня отсыпаться, забыть про завод, про работу, а уж потом активно отдыхать.

Утром и вечером у них был в уютном ресторанчике на первом этаже «шведский стол» с обязательной бутылочкой испанского вина «Дон Мендо». В первый же вечер они выпили по бокалу этого красного вкусного двенадцатиградусного вина за процветание испанской системы отелей группы «Сол». Построив свой первый отель на Майорке почти сорок лет назад, сейчас эта фирма имела уже сто семьдесят отелей во всем мире. Именно эти отели стали пионерами «шведских столов».

– За «шведский стол»!

– За него самого!

В таком легком настроении, еще более облегченном употреблением, заметим, умеренным, испанских вин, они и начали свой отдых осенью 1995 года.

...Их гостиница была на узенькой улице, название которой он сейчас не помнил. По ней, шириной всего метров десять-двенадцать, они спускались к морю на пляж. Надо было пройти всего метров сто. Но какие это были метры. Вся улочка – сплошные кафе, бары, рестораны. Даже продавались русские газеты – «Московский комсомолец», «Труд», «Вечерняя Москва». За двести-двести двадцать пессет каждая, при курсе к американскому доллару сто двадцать пессет.

Кирилл на третий же день пошел искать газеты на русском языке, он не мог долго без газет. Тут-то у газетного киоска он и познакомился с Алексеем Рожновым. Тот тоже брал газеты. Перекинулись ничего не значащими фразами, а пообедали уже вчетвером в кафе «Лидо», где Кирилл и Светлана уже два раза были. Им понравилось в этом кафе с видом на пляж. Было уютно сидеть в тени после пляжа за кружкой пива и наблюдать публику или просто отрешенно смотреть на Средиземное море, взятое тобой напрокат на две, чудом свалившиеся на тебя свободные недели, и делать маленькие открытия, вроде этого:

– А знаете, ребята, почему испанцы громко говорят? – вдруг спрашивала Зинаида, жена Алексея.

– Не, не знаем, не тутошние мы, – отвечал Алексей.

– Они торговцы, в магазинах и на улице у них товар, слева и справа – сплошные торговые палатки и открытые магазины. Они разговаривают друг с другом через улицу. Улочка вроде бы узкая, но дома высокие, все как из колодца поднимается вверх. Они кричат, и все это в наши гостиничные номера летит. Вот так.

...Солнечный денек. Прелесть, а не денек. Отдыхать бы себе бездумно, да нет.

...Кирилл и Алексей лежат на прогретой мелкой «дробленке». Алексей, выставив широкие плечи на солнце, неспеша, вполголоса говорит:

– Посмотри: плоская, жесткая, курит, командует не только на кухне, но и в постели. Лишь только было бы по ее. По-другому не может. И ведь, если бы в чем-то главная, а то и во всех мелочах. Каторга. По молодости терпел, да и молодость брала свое. А потом – вначале стала противна вообще, а дальше – сам не знаю: пропало вообще желание. Я терпеть не мог спать с ней в одной кровати, придумал

причину, что она храпит. И потихоньку перебрался в отдельную комнату спать.

— А она действительно храпит?

— Как паровоз, нет удержу, а я никогда не успевал заснуть первым. Проблема вроде бы смешная, но когда этот храп каждую ночь, то изнурительно.

— Послушай, я где-то читал, что любящие супруги, это те, один из которых храпит по ночам, а другой упорно не слышит.

— Это не про нас. У меня такая Наташенька была до женитьбы, пухленькая, мягкая, такие ямочки на щеках были, очень просила, чтобы не курил. И недотрога. Дурак, по молодости лез, где доступно сразу. Вот и приобрел себе супруженьку, — он повернул голову к морю и кивнул уныло. — Знаешь, она обнаженная похожа на саблю: кривая, узкая как-кая-то и плоская. И вся белая. Но мужики чумеют от нее, лезут к ней, с чего — не знаю. У нее и груди какие-то сучьи, тьфу ты, маленькие и висячие. У меня сравнивать есть возможность. Вот же весь пляж со спущенными стягами ходит. Солидные все дамы. А у моей энергии масса. Она поет, танцует прекрасно, только брызги летят. Знаешь, она всегда просила звать ее не Зиной, а Зинаидой, понимаешь: Зи-на-и-да. Мне кажется, от этого она мне стала казаться саблей, изогнутой такой, гнутой: Зина-и-да, чувствуешь? Вот это: «и-да» — это загогулина у сабли.

Кирилл Кириллович изумленно смотрел на своего собеседника:

— Послушай, ты о жене так говоришь, можно ли...

— Больше скажу, — почти злорадно усмехнулся Алексей, — знаешь, у нее влагалище, как клюв прожорливой птички, любого червячка-мужичка проглотит сходу. Она и здесь уже себе кавалера приглядела.

— Ты что? — Касторгин, не привыкший так говорить об интимном, потряс энергично головой. — Ты что — импотент? Злорадствуешь...

— С год назад пропало все. Не мог. Враз пропало. Она и пустилась в гастроли, всех в округе мужиков, что плохо лежали, собрала. Прямо у меня на глазах — всех бабников. Терплю, не сплю с ней, хотя давно все в порядке.

— Так в чем же дело?

— Не хочу я с ней, потаскуха она, и до того, как у меня машинка сбой дала, при случае погуливала. Я давно, как бычок, здоров, но не могу с ней начинать снова, а братья ее все стараются меня вылечить.

Кирилл Кириллович вспомнил: вчера, когда они бесцельно бродили, с удовольствием рассматривая все незнакомое разноцветье лотков и вбирая многоголосье узких улочек, случилось одна сценка.

Заскучавший Алексей попытался шутить. Иногда было ничего, смешно, но иногда... Ерничая, он вдруг остановился у подъезда одного из отелей и дурашливо произнес:

— У них тут везде все в прошлом времени: «хотель, отель».

— Да не «хотель», а «отель», — резонно взялась поправлять Зинаида.

— Вот и я говорю: «хотел, отель», а где же «хочет»?

— Точь-в-точь, как у тебя лично, — вдруг отреагировала Зина, зло взглянув на мужа, и резко приотстала, уткнувшись в безделушки на уличном лотке.

Касторгин тогда не обратил на это внимания и не понял подоплеки. Они разговаривали, оказывается, на своем языке.

...Алексей между тем продолжал:

— Солнце и море делают свое, ей хочется близости, я это вижу. Это прорывается то в ленивом утреннем потягивании и побряхтывании в постели, то в облизывании кончиком языка верхней губы, когда она поглядывает на мужиков затуманенным взглядом на пляже, в том, как она на меня иногда смотрит — зло и возбужденно. Вот трагедия жизни, а? — И он, как показалось Кириллу Кирилловичу, неестественно и дурашливо громко хохотнул, да так, что игравшие рядом в карты две дамочки враз повернулись в его сторону, две пары загорелых обнаженных бронзовых грудей качнулись враз и обратились к ним.

— Хочешь анекдот на заданную тему?

— Валяй.

— Встречаются двое приятелей. «Как жизнь Петр Петрович?» — «Да разве это жизнь: уже пять лет как импотент». — «А я, тьфу-тьфу, пока только четыре...»

— Ну дела...

— Она, по-моему, уже здесь догадалась, что у меня все в порядке, по утрам глаза лупит, хорошо, что наши кровати отдельно стоят. Приеду домой и разведусь с ней. Раньше хотел застрелиться. Ага. Думал: выхода нет. Однажды дома сижу, Зинаида — на работе. Ну думаю: раз — и нет проблем. Зарядил «тулку», сел на кровати — с правой ноги ботинок снял. Спокойно примерился. Зажмурился и... провалился куда-то: все забылось, поплыло... Вдруг — мамин голос. Очнулся, открыл глаза — мама стоит: как мел, белое лицо и что-то говорит, а получаются не слова, а только отдельные звуки. Никому она об этом случае не сказала тогда. А я твердо понял, что не могу повторить, пока мама жива. Не могу. Я лицо ее не могу забыть. У меня никого нет. Но такого добра вон сколько — целый пляж. Разведусь. Надо, понимаешь, выдер-

жать и не начать с ней как с женой здесь жить, опять все по кругу пойдет.

— Дети есть? — деловито спросил Кирилл Кириллович.

— В том-то и дело — сыну пятнадцать лет. Мы однажды договорились с ней, она ведь со мной как с совершенно безнадежным импотентом вела себя, договорились, как только сын окончит школу и уедет в институт, — разведемся. Но все родственники против. Особенно ее московский брат-коммерсант. Он и организовал нам поездку. Меня взбодрить.

Подошла Зинаида, шумно и с удовольствием улеглась на лежак.

— Мужчины, хотите, я вам процитирую из газеты «Труд» преинтересную вещь, не пожалеете, вот сейчас, ага, отсюда, поехали: «Группа ученых из США опросила 5200 дам, вес которых на 5-20 кг превышает норму. Выяснилось: в то время как лишь 37 процентов стройных женщин занимаются любовью чаще двух раз в неделю, среди толстушек 38 процентов делают это 2-3 раза в неделю, 18 процентов — 6 раз, а 2 процента — каждый день».

Зинаида на этом месте хихикнула.

— Где только они таких муженьков отыскивают, — вставил Алексей.

«Ну, семейка, — подумалось Касторгину, — вокруг одного все крутится, я с ними обалдею, хорошо, Светлана не слышит».

Зинаида продолжала просвещать:

— «85 процентов полных женщин всегда получают удовольствие от полового акта, а 70 процентов во всех случаях достигает оргазма. С другой стороны, лишь 45 процентов стройных американок испытывают наслаждение, а удовлетворение, уточняет агентство «Экспресс-пресс», получают и вовсе лишь 29 процентов». Каково, а? Вот толстушки, заразы. Тут стараются, понимаешь ли, на диете сидят миллионы стройных дурех, а удовольствие — толстухам.

«Боже мой, она и дальше будет развивать эту тему?» — поежился Кирилл Кириллович, хотя и заметил неожиданно для себя, что в ее откровенности и внимании к естественному есть какая-то притягательность.

— А вот и ответ, откуда такие мужчины берутся. Ага, сейчас я вам буду озвучивать. Интересная газета «Труд» оказывается, болеет за трудящихся, а? Это особенно здесь, за границей, чувствуешь, да. Вот: «Грядет эпоха супермужчин. Вице-президент Валерий Рево в восторге от нового препарата: «Я просто потрясен и ошеломлен эффективностью биологически активной добавки «Супер-Иохимбе Экстракт». После проведенных опытов и экспериментов я окончательно убедился, что достижение века навсегда избавит Россию от тотальной импотенции. Уникальное ве-

шество из коры этих деревьев поднимает мужскую сексуальность до внушительной высоты... юношеская пылкость вновь станет вашим оружием... появятся буйные эротические фантазии...»

– Зинаида, ну довольно...

– Леш, ну, а че я, – она томно посмотрела на Касторгина, – Кирилка, это же необходимая информация. Правда ведь, мы же цивилизованные. Вот смотрите, – она пальчиком ткнула вниз статьи, – молодцы газетчики – и адресок есть: тут вам и консультация, и покупка. Пожалуйста вам: «Москва, Кутузовский проспект, 22. 25, 26 и 27 октября с 12.30 до 19.30, в дальнейшем – каждую среду с 10 до 15 часов». Все, как в аптеке. Сила-то мужская в Москве, а, глянь, сколько их приехало в Испанию. Ошибочку делают. Не туда на каникулы махнули.

Общение с семьей Рожновых, если так можно назвать союз, который был между Алексеем и Зинаидой, давало ему, Касторгину, многое для последующих раздумий. Тогда он был счастлив, или, вернее, не думал о счастье, что иногда равнозначно, и всерьез не воспринимал рассуждения Алексея, но теперь все чаще и чаще невольно перебирал те несуразности своего нового знакомого: «Размахай» – так он называл его тогда в Джоррет де Мар.

– Кириллыч, ну помоги мне сбегать куда-нибудь мою пантерочку, – лежа на спине, подставившись весь под утреннее солнце, говорил Размахай-Алексей. – Мне надо вечером посетить «Тройку», возьми мою и свою и стоняйте в Барселону. Хреново, что я со своей на корриду уже съездил, она второй раз не поедет. Вот что: я «прихворну», а ты предложи съездить в дом-музей Сальвадора Дали, вернее, театр-музей Дали в Фигейросе, это недалеко. Она мне все уши дорогой еще прожужжала.

– Ну, а сама коррида-то как?

– Мне не понравилась, Зинаиде – да, очень понравилась, аж ножками сучила.

– С чего так – не понравилась?

– Понимаешь, там не бой, а сплошное убийство быков, распланированное артистическое действо: примерно на каждой двадцатой минуте уставшего, измученного прежде пешими, я их насчитал до семи, человек, а потом еще двумя на лошадях, с бронированными попонами, быка забивал тореро. Причем, более половины было убито не с первого раза. Может, это специально, я не понял, чтобы пощекотать нервы. Но вот уж финальная сцена, когда добитого коротким ножом быка за рога вязали веревкой и тройкой лошадей волочили с арены, конечно, жуткая. Только

что на глазах было существо живое, дикое, красивое, безжалостно поставленное в условия, когда надо защищаться, и вдруг через двадцать минут – все, это труп. За три часа корриды убили шестерых быков. Мне один больше всех понравился, рыжий такой, небольшой, но он одного стервеца, ага, с плащом так здорово поддел, что тот упал, вскочил и спрятался за специальный барьерчик в нишу. Туда бык с его рогами просунуть голову не может. Все предусмотрено. Мясники.

– Но ведь, наверное, риск есть большой!

– Есть, и немалый, но уж больно силы не равные, все обставлено для убийства, а не для поединка. Не столько быков жалко, сколько неловко за людей с оружием.

– В доме-музее Дали мы уже были.

– Когда успели? – удивился Алексей.

– Да за день как с вами познакомились.

– Ну и как?

– Не знаю, однозначно не могу определить, он большой оригинал, может, например, мужскую голову изваять, поменяв ухо и нос местами.

– Хорошо еще, что только эти части меняет местами, – резюмировал Алексей.

– Моя Светлана долго стояла, – продолжил Касторгин, – около этой головы и поняла то, что я не понял, – почти серьезно рассказывал Кирилл Кириллович, – это гимн жизни, а вернее, ее красоте и целесообразности! Так она определила.

– Не понял, – признался Алексей.

– Что ж тут не понять. Великий Дали показал, как было бы гнусно, если бы многое поменялось местами, было не так, как сейчас. А так все на месте, дружище, все, как надо, так радуйся! Руки, ноги и все прочее в мире...

– А...а, ну да, – согласился Алексей, – у меня тоже все на месте, отпустите меня в «Тройку», робяты!

– А «Тройка», это что? – спросил Касторгин, полуобернувшись со спины на правый бок и из-под ладони левой руки пытаюсь отыскать глазами ушедших к воде женщин.

– Так ты несколько раз проходил мимо, это русский ресторан со щами, пельменями, а наверху номера с девочками. Причем русскими.

– Ладно тебе... – неопределенно усмехнулся Кирилл Кириллович, подивившись то ли вездесущности Алексея, то ли простоте, с которой тот говорил о вещах, при разговоре о которых Кирилл внутренне чувствовал какое-то сопротивление и неприятие. И не знал обычно: сопротивление это правильное или нет.

– Нечего ладить, девочки там ого-го.

– Неужели ты, – Касторгин, скосив через очки глаза, как слон на насекомое, глянул на Алексея, – неужели ты запросто пойдешь к проституткам?

– А почему нет? – Алексей, не меняя позы, лениво и размеренно брал в горсть мелко дробленные камни, которыми был засыпан вместо песка весь пляж, и, растопырив пальцы, просеивал себе на волосатый живот. – Может, черненькая попадетя! Или мулаточка. Мечта поэта! Слушай, а почему у них вместо песка эта вот дробленка? – Он помолчал и подчеркнуто поучительно продолжил: – Теснились, перли друг на друга, напирая, тысячелетия. Войны, эпидемии убивали целые континенты. Проходили целые народы. Приходили и уходили великие завоеватели, хромые и не хромые, всякие. Все было не вечно. Но проституция была, есть и будет.

У Касторгина, что называется, вытянулось лицо и... поглупело... так можно сказать.

– Ты что, читаешь где-нибудь лекции об этом, больно как-то основательно?... А всего-то лишь избыток гормонов голову кружит.

– Да нет, – черпанув почти из-под Кирилла (мало ему дробленки вокруг) следующую порцию, лениво сказал Алексей, – я, видишь ли, врач, да еще – циник, надо сказать, думающий притом.

– А-а, – протянул Кирилл Кириллович, – циником прикидываешься, так проще?

– Может быть, но я оказался вот в таких осях координат, где – верность – неверность, норма – разврат, приличие – наплевать на все, лишь бы соответствовало сути. Приходится и анатомировать, анализировать, и самого себя, в том числе. Помнишь, ведь давно уже сказано, кем – забыл:

Человек приятен и красив бывает,

Но внутри него кишки – они воняют.

Касторгин изумлялся своим собеседником все больше и больше. Произошла перемена. В начале их знакомства он показался Кириллу увальнем, флегматичным малым, эдакой спокойной рыхлой массой с крупным неинтересным лицом, с двумя пронзительными, как у гориллы, глазами. Они-то тогда еще обратили на себя внимание Кирилла Кирилловича. А вот жена его, подвижная живая непоседа, она сразу вначале заполнила все пространство вокруг Касторгиных, везде опережая и все предугадывая. Он, если сказать честно, вначале, да и сейчас еще, не знал, что с этим делать, ибо и после разговоров с Алексеем чувствовал, что она, Зинаида, незаурядна.

«Где они там? — подумал он, вглядываясь в живописный ряд отдыхающих около самой воды, и, найдя их в одной из кучек, отметив, что жена Алексея лежала на спине, сняв бюстгальтер, усмехнулся. — И здесь она проявилась... Хорошо бы, чтобы они подольше не приходили, надо циника дослушать до конца, иначе он при них не будет так говорить, как его жена при нас загорать, подставив обнаженные, вислые груди солнцу».

— Я своему сыну открыто сказал: хорошо бы иметь тебе связь не с какой-нибудь студенточкой, а с солидной вдовушкой, опытной и разумной.

— Да ты что? — выдохнул Кирилл Кириллович.

— Что? — не понял Алексей. — У тебя сын? Дочь?

— Дочь, — ответил упавшим голосом Кирилл.

— Ну с дочерьми подождем, давай про сыновей. Ранние и скороспелые браки чаще всего бывают связаны с буйством половых гормонов. Это буйство гормонов отражается на способностях мыслить объективно. Мощное половое влечение принимается за безумную любовь. Ломают дрова. До свадьбы она уже беременна, а он, удовлетворив естественные желания, остывает к своей будущей супруге. Женившись под натиском родственников и собственной совести, он обрекает себя на каторгу.

— Но ведь часто потом, в таких случаях, что отношения вновь вырастают в любовь, а не только в супружеские обязанности?

— Ой ли? Часто ли? Это вопрос. Это скрытые для мира тысячи трагедий, — он стряхнул песок с живота, смешно дернувшись на спине, как лягушка растопырив все четыре конечности. — А вот, выпустив пар в публичном доме, будущий жених выбирать свою спутницу жизни будет куда рассудительней. Да и его невеста будет свободна от его добрачных домогательств, ведь он сексуально разряжен. Вот модель, которая делает отношения более разумными и спокойными.

— Ну ты, папаша, даешь, — отозвался Касторгин, но сам уже чувствовал определенную привлекательность такой «модели».

— Мы ведь в СССР считали всегда, что проституции нет, так?

— Так, — невольно согласился Кирилл Кириллович.

— Она была запрещена, она уголовно преследовалась. Сутенеров судили, девиц выметали метлой, высылали. Существующая мораль все делала так, чтобы у нас женщиной пользовались на халяву.

— Ты так все академично излагаешь, откуда это?

— А я тебе скажу, это ведь не только моя идеология. Мы в Самаре на своей кафедре это обсуждали, мой учитель — известный профессор, я вас как-нибудь познакомлю, меня утвердил в моих взглядах. Это жиз-

ненно. Так вот, при внебрачной связи все ведь задарма. Ну там, сводил в ресторан, недорогой сувенирчик...

На лицо Кирилла Кирилловича упала тень, он открыл глаза и метрах в двух увидел раздевающуюся женщину. Он ее узнал, она вчера в это же время была здесь. Худая, бесстрастная, лет тридцати. Она ни на кого не глядела, была вся в себе: раздевалась ли, смотрела ли невидящим взглядом на него, Алексея.

«Странная какая, такой можно быть в глубочайшей депрессии. Или это просто напускное, так легче в толпе. Своя ниша».

Касторгин вначале удивился этому ее поведению, но быстро успокоился: «Какое мне дело». Но она вновь его удивила в прошлый раз, когда, как и большинство женщин, сняв верхнюю часть купальника, обнажила грудь. Кирилл Кириллович честно старался не глядеть на обнажающуюся прямо перед ним женщину. Тем более Светлана видела, что Кириллу от этого не по себе и он неумело отводит глаза. Она беззаботно посмеивалась. И все же получилось так, что он в упор взглянул на нее, на ее грудь. Боже, он даже чувствовал запах ее кожи. Женщина была худа и грудь ее небольшая, детская, не загорелая – была необычной. Вместо сосков на небольших темнеющих пятачках были дырочки. Два аккуратных темненьких отверстия. Касторгин внутренне ошалел. Он не удивился, не испугался – он растерялся. Он не предполагал, что бывает так... Что это?.. Но такое состояние мыслей Касторгина и женской груди было очень недолгим: совершенно как-то очень буднично и откровенно, стоя почти во весь рост к пляжному люду, женщина словно между прочим, как само собой разумеющееся, как поправляют шляпку или бант, одновременно ладонями обеих рук поддержала, чуть подперев снизу груди, большими пальцами провела очень ласково и нежно сверху вниз. И, о Боже, из этих дырочек тут же показались размером и формой, как пульки от пистолета Макарова, коричневые, с синеватым отливом соски. Соски, хотя и смотрели, казалось, в разные стороны, но стреляли прямо в Кирилла Кирилловича.

«Они у нее замерзли, что ли? – тупо соображал Кирилл. – Но ведь жара кругом?»

Такого Кирилл еще не видел.

Сегодня все повторилось. Кирилл Кириллович не мог не замечать всех уже знакомых движений этой давешней женщины. Но отличие было: не обе «пульки» западали – одна, у левой груди. У правой, очевидно, пружина сработала своя, и сосок ликующе встретил весь мир и Касторгина тоже без посторонней помощи, выскочив из ямочки самостоятельно.

«Наверное, купальник такой тугой, что ли, давит сильно», — успел подумать Кирилл Кириллович. Вернул Касторгина в нормальное состояние Алексей.

— Сейчас что? Люди начали понимать при рыночных условиях, что легче воспользоваться платными услугами: меньше надо тратить ума, энергии, времени и т.д. Да, общественное сознание не приемлет открыто проституции, но ведь при половой несовместимости супругов или, как в моем случае сейчас, секс за деньги может как-то решить проблемы.

— А любовницы?

— Что любовницы?

— А вдруг все будет, как ты говоришь: проституция будет легализована. Тогда не будет любовниц, это будет преснятина, а не жизнь. Человечество не простит этого.

— Да ладно, все скомпенсируется. Одному надо одно, другому — другое.

— У нас легальной проституции не будет, — убежденно произнес Кирилл Кириллович. — Мы не рациональны, мы, россияне, живем сердцем, душой — это наша беда, но и большое достоинство. Это нас отличает.

— Нам надо обязательно отличаться?

— Нет, — спокойно ответил Кирилл Кириллович, — мы просто такие. Намешано в нас много, азиаты мы, в крови — коктейль. И это все под одну разумную планочку, как, допустим, у немцев, у нас не подгоняется.

— Ты говоришь общеизвестные мысли и факты, а хочешь, я тебе покажу на примере, что общепринятое не всегда верно?

— Ну, я знаю: так бывает. Ведь даже любая мораль — это всего лишь общепринятые нормы. Тебе нравится все западное?

— Ты ведешь в философию. Ты интеллигент, ты мне, бедному крестьянину, нравишься, но я люблю конкретику, — Алексей поправил завалившийся зонт и продолжал: — Не смотрю я на Запад, заломив голову. И не очень люблю, когда делают это другие. Интересная штукавина, — вдруг встrepенулcя он, — вот случай: сейчас у нас, везде вошло в моду такое словечко — «трахать».

— Тише ты, — Касторгин дернулся, — люди же кругом.

— Да они не слышат ни бельмеса, — он продолжал: — На телевидении, на улице: «трахать и трахать», и всем кажется, это очень по-заграничному, очень по-сегодняшнему. Дудки! В моем селе, еще в пятидесятые годы это выражение было в ходу, и очень. Я сам свидетель. И мне удивительно, что это словечко считают чужим изобретением. Просто

человек, впервые переводивший на наш язык, либо знал его, либо интуитивно чувствовал.

— Ну и что?

— А то, что даже серьезные люди попадаются. В «Литературной газете» мной очень любимый поэт Константин Ваншенкин одного прозаика ругает за то, что тот употребил это слово, изображая события, которые были задолго до перестройки. Якобы такого слова тогда не могло быть. Я свидетельствую: было. К сожалению, поэт ошибается.

— Ну и что? Что дальше?

— А ничего, кроме того, что жизнь настолько разнообразна и изобретательна, что в ней может быть все и до нас, и после нас!

— О чем это вы, мальчики, — подошедшие жены стояли рядом. Светлана положила руки сзади на плечи Касторгину.

— Смотрели тут без нас на чужих женщин.

— Я — не, зачем мне? — быстро отреагировал Алексей и кивнул на Кирилла. — Он смотрел и опять на одну, на эту самую...

— А-а, — протянула весело Светлана, — попались оба, а отвечать одному?

...Сейчас, вспоминая то время, Касторгин невольно жалел, что потом они со Светланой вместе уже больше так не отдыхали. Ему было все некогда, а она одна ехать никуда не хотела, так она говорила...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ДОМ У НАБЕРЕЖНОЙ

В Самаре на Волжском проспекте, между гостиницей «Волга» и кинотеатром «Волна» стоит неприметная пятиэтажка прямо внизу под зданием цирка и Дворца спорта. Вот в этом доме и жил теперь Касторгин. Крепкое еще, сталинских времен здание особенно ничем не выделялось среди прочих, хотя сам район когда-то считался престижным и сюда стремились (и в этом помогало областное руководство) заселиться бывшие партийные руководители городских и сельских организаций, местные чиновники.

Была одна хорошая особенность у этого дома: два его подъезда выходили прямо под косогор, спускавшийся от Дворца спорта. И весь этот косогор был в зелени. Росли здесь, в основном, клены, но попадалась и сирень. В неупорядочной лесной чаще, о чудо, росли, цвели и радовали глаза ландыши. Это был маленький чудесный оазис, который придавал своеобразную прелесть дворику. Можно было забыть, что рядом, как

бы за спиной, загазованная выхлопными автомобильными газами без подземных переходов магистраль Волжского проспекта. Чтобы оказаться на берегу Волги и вдохнуть волжского речного свежака, надо было обязательно перемахнуть через поток автомобильных испражнений. Кирилл Кириллович и Светлана безоглядно радовались близости с Волгой. Хотя однажды получился, как бы это назвать: экологический курьез, что ли?

У Касторгина что-то стало не в порядке с носом, врач обнаружил в правой ноздре нечто вроде кисты – небольшой круглый нарост, который и мешал нормально дышать. Доктор предложил удалить кисту. Касторгин согласился тут же, с интересом кося глазами и наблюдая за манипуляциями с петлей из стальной струны, которой доктор и вырвал, а вернее, срезал то лишнее, что мешало. Когда Кирилл Кириллович подъехал к подъезду своего дома, ему вдруг захотелось после больничной атмосферы прогуляться вдоль Волги. Отпустив шофера, он не спеша направился к набережной, на ходу решив поменять тампон из ваты, закрывавший ранку в носу. Хотя крови и не было, Касторгин все же вложил в ноздрю новый кусочек ваты. Этот-то вот кусочек свежей ваты и обеспечил ему, так сказать, чистоту невольного и случайного эксперимента.

Удачно выбрав момент, он пересек не спеша широкое полотно дорожного асфальта Волжского проспекта вместе с забавной суетливой старушкой, явно и наивно полагававшей, что внушительная статья Касторгина в критический момент окажется сильнее мощи машинной.

Он гулял недолго, минут пятнадцать. Сыроватый волглый мартовский воздух, рыскающие без поводков собаки с самодовольно наблюдающими за ними владельцами, нечистоты в ноздреватом снегу подействовали на него не самым лучшим образом, и Касторгин быстро повернул к дому.

Дома, вынув свой тампон, Касторгин изумился: вата была не серой даже – почерневшей. За два перехода через Волжский проспект – к Волге и назад вата забила гарью и копотью, витающей в воздухе, работая как фильтр. «Погуляли что называется», – заключил Кирилл.

Он показал результаты своего нечаянного опыта Светлане.

– Батюшки, – вовсе на нее непохоже изумилась жена. – Из огня – да в полымя. Из Чапаевска вырвались, лишились гаража, дачи, думали, черт с ними, лишь бы поближе к Волге. Как же моя щитовидка, я так надеялась на чистый воздух.

Жену сильно поразило его открытие.

Кирилл Кириллович тогда это отметил.

– Я еще летом удивилась: вдоль всего проспекта от «Пельменной» в конце набережной до другого конца, до бассейна СКА стоит сплошная,

нельзя пройти, вереница машин. Весь город съезжается на набережную травить нас газами. За этим же никто не следит. Самотек!

...У Касторгина была привычка разговаривать с деревьями, как с людьми. Где бы ни был, он обязательно выискивал себе, облюбовывал несколько деревьев, и они быстро становились ему необходимы. К ним он ходил помолчать, либо, наоборот, поговорить. Ему всегда от этого становилось и легче, и светлее. Все это случалось непроизвольно. Такие деревья были у него и в Тольятти, и в Новокуйбышевске, и, конечно, в Чапаевске, где он последние два десятилетия работал на заводе.

В Самаре на набережной Волжского проспекта он в первый же месяц «свел знакомство» с березой – одной из четырех красавиц в той части аллеи, которая обсажена с левой стороны липами, а с правой елями, если идти к бассейну.

Красавицу березу он сразу выделил, она росла самой крайней от плавательного бассейна. Она была такая же рослая и стройная, как ее подружки, но виделась в ней какая-то особая стать и особая белизна коры, более того, матовая ее береста как бы подсвечивалась изнутри розоватым светом. У других этого не было. Даже воронье гнездо было только на этой березе. Это была породистость схожая с той, которой, к примеру, обладала артистка Вия Артмане. Он так и назвал березу – Вия. Хотелось обязательно подойти и непременно потрогать. Так и делал всегда Касторгин, когда совершал свои прогулки.

Если зимой повернуть от березы назад и, дойдя до последней ели, свернуть влево и подойти к парапету, внизу откроется забавное зрелище: пешеходная переправа через Волгу в село Рождествено. До десятка повозок, запряженных разномастными лошадьми, привлекают внимание зевак. Легкий матерок гуляет над головами. Возчики, греясь водочкой, слов не выбирают. Незлобиво перебраниваются, когда не соблюдается очередь на посадку. Запах конского помета будоражит, остро бьет в нос.

Через Волгу туда-сюда гуляет цепочка людей. Если на минуту забыть, что за спиной здание администрации области, гостиница «Волга», цирк, забыть, что есть современный город Самара, то, глядя на открывающуюся картину внизу, можно поверить, что ты в другом столетии.

В такие минуты Касторгину хотелось быть именно там, в начале столетия и хоть чуть-чуть вдохнуть того воздуха и увидеть, почувствовать тех людей. Какие они были? Быт был другой – это понятно, пуховиков не было, вот этих вот юрких «Буранов», многого не было. Но что-то ведь было и давало всему движение – жизнь была, какая – вот

интерес в чем? Ведь люди в Самарской области, на ее территории, в Среднем Поволжье жили уже сто тысяч лет назад. Отсюда уходили племена воевать с армией Александра Македонского. Как мог еще в XVI веке во времена монголо-татарского ига митрополит Киевский и Всея Руси Алексей, проезжая через самарский край из Золотой Орды, где он вылечил жену хана Чанибека Тайдулу от куриной слепоты, угадать появление такого большого города с блистательным будущим? Как все это было? Легенда это или нет? Какая тут была жизнь? Что и от чего зависело? На чем все держалось? Так ли было, как показывают в кино, описывают в книгах? Каким были завоеватели из Средней Азии Тимур и Тохтамыш — хан Золотой Орды, столкнувшие свои армии на волжском притоке реке Сок и впадавшей в него Кондурче в одной из самых грандиозных битв средневековья?

При таких мыслях Касторгин иногда озирался, будто боялся, что кто-нибудь подслушает эти его мысли или прочтет их по его лицу и скажет: эго, уже седеющий мужик, а в голове — ералаш. Он обычно отталкивался от парапета и шел к Нижней Полевой улице вдоль темных зимних яблонь.

Касторгин бывал в волжских городах: в Саратове, Волгограде, Астрахани по нескольку раз и мог подтвердить, что, действительно, просторнее и красивее самарской набережной на Волге нет.

Он улыбнулся, вспомнив видеоклип, показанный недавно по центральному телевидению. Там Никита Михалков повторял давно ставшее банальностью утверждение, что самые красивые девушки — в Самаре.

...На той стороне, на правом берегу манило село Рождествено. Странно, о нем так много слышал Кирилл, но никогда там не был. Его знакомый — Михаил Илларионович Радаев, директор Самарского нефтеперерабатывающего завода — был родом оттуда. Он однажды приглашал Касторгина съездить в село, да как-то не сложилось. «Обязательно схожу по льду, — пообещал сам себе Кирилл, — говорят, там и церковь есть, надо бы созвониться с Радаевым, ведь мы были когда-то дружны. И надо зайти в ресторан «Джунгли», — вспомнил он давнишнее свое намерение, — надо же по-настоящему осваивать акваторию».

Как и прежде, он оттолкнулся легонько руками от парапета и, повернувшись, намеревался было идти домой, но замер. Мимо него шла изящная женщина, странной и в то же время знакомой походкой. Зимняя одежда не лишала ее грациозности. Хрупкое, нездешнее существо. Это была артистка Ершова. Он сразу ее узнал. Странно, он мог поклясться, что и она его узнала, хотя они не были знакомы. Она посмотрела на него как на старого знакомого и слегка улыбнулась. Он было хотел

пойти навстречу и что-нибудь сказать, чтобы она поняла, что он рад ее видеть, ведь она прекрасна, несмотря на возраст и даже вопреки ему. И если она одинока сейчас – это не беда, у нее ведь столько поклонников. Но что-то сдержало его. Он остался стоять на месте. А она проплывала мимо с застывшей полуулыбкой на губах.

Касторгин смотрел ей вслед и никак не мог вспомнить, где и когда с ним было похожее. Это безмолвие огромной реки! Он. И рядом еще кто-то. И этот кто-то, как смычком, тронул вдруг дремавшие струны.

«Цапля», – вдруг изумленно вспомнил и догадался он. Несколько раз в чапаевских лиманах он внезапно наткнулся на цаплю, всегда одинокую и грациозную, заставлявшую восторгнуться и восхищенно наблюдать еще одно чудо, которое удалось создать природе. Цапля никогда не была суетливой. Словно она знала, что создана радовать своей неспешностью, грациозностью и редкостью.

...В кинотеатре «Волна», который был у него почти во дворе, шел, как это ни странно, стереофильм еще его студенческой поры «Таинственный монах».

Его они со Светланой смотрели в Сочи. «Прекрасное было время». Он в задумчивости миновал маленький дворик и вошел в свой подъезд.

ГОСТЬ С АЛТАЯ

...На прошлой неделе проездом из Москвы три дня у Касторгина жил его давний знакомый – директор завода с Алтая Филатов Анатолий Иванович, один из тех, с кем когда-то учился в Ленинграде. Ему было уже шестьдесят два года. Грузный, он приходил вечерами после рабочих встреч замордованный, но, приняв душ, быстро оживал и они разговаривали, сидя на кухне за ужином.

В первый же вечер, вытащив Кирилла Кирилловича на набережную подышать после столицы волжским воздухом, директор рассказал историю, которая крепко засела в памяти Касторгина:

...– Ты знаешь, одно из самых ярких впечатлений моего детства связано с летчиками. Жили мы в то время в алтайском селе. Я учился в пятом классе. Село жило спокойно, как-то плавно, даже не было у нас своего чудака, как в рассказах Шукшина. Ему везло больше на них. И вот, вдруг в нашу тихую гавань прибывает на постой звено летчиков. Работяги, они опыляли наши районные поля. Все молодые, загорелые, веселые черти. Двое определились жить у наших соседей Ваньковых, у которых был пятистенок и большая погребница, где установили кровать и топчан. Нам, пацанам, все было интересно, многое обескураживало. По-

сле работы ребята могли свободно слетать на своем У-2 в райцентр за пивом, либо в соседнее село на танцы. Однажды на глазах у ошеломленных пешеходов командир Алексей пролетел под мостом.

Кирилл Кириллович засомневался:

– Анатолий Иванович, это ж Чкалов в кино пролетал под одним из ленинградских мостов, у вас на Алтае и моста-то такого нет.

– Почему Чкалов мог, а Алешка не мог? Вопрос? Алешка мог многое, другое дело – в кино не попал. А мост я тебе покажу, приезжай в гости.

У Касторгина не нашлось подходящих доводов возражать, и он смолк.

– Все было бы хорошо, если бы этот черт Алексей не начал ухаживать за хозяйской дочкой. Верочке шел всего семнадцатый год. Светленькая, легкая и беззаботная, рядом с похожим на грача, цыганистым и веселым Алексеем она выглядела еще замечательней. Верочкин отец резко запротестовал против их прогулок. Оно и понятно. Грач, так мы все Алешку звали, лет на десять старше ее, да и кто знает, холост он или женат уже несколько раз – поди узнай. Летуны. Они народ легкий, любят погулять на стороне. Так или иначе, а вещички его Верочкин отец выставил за порог на глазах у соседей.

Я взобрался на сенцы и видел всю эту сцену. Обычно веселый и приветливый, Грач стоял, прислонившись к ограде палисадника и набычившись, в упор смотрел на разъярившегося хозяина дома.

– Все? – Грач с нервной усмешкой спросил дядьку Егора, когда тот нарочито бережно, как туфельку Золушки, положил на лавочку у ворот щегольские ботинки постояльца.

– Нет, не все. Еще добавлю: если увижу рядом с Веркой вечером, погуляю штакетиной по спине. Понял?

– Ладно, отец, – Грач явно разозлился, но держал себя в руках, теребя левой рукой черные усы. – Драться я с тобой не хочу и не буду, твой двор – ты и хозяин. Но проучить тебя надо, уж больно ты петушишься. Это нехорошо... – сказал и резко оттолкнулся от палисадника. – Ты когда на свою трубу в последний раз любовался, а?

– Че бормочешь, нечего сказать?

– Есть чего, посмотри напоследок, через двадцать минут ее не будет. И обратился к толпе зевак, собравшихся около ворот, с широким клоунским жестом: – Господа, последний номер программы! Называться будет «Труба трубе». Слабонервных прошу удалиться в чалыжник... Номер будет исполнен на аэроплане У-2, труба будет сбита левым коле-

сом. Исполнитель – Грач из Самары, между прочим, из запанских. В Самаре знают, что это такое – запанские. У меня все, пока!

– Шут гороховый, – Егор сплюнул и спокойно пошел к калитке. Он не принял всерьез сказанное Грачом.

– Неужели Грач выполнил задуманное, – Кирилл Кириллович нетерпеливо смотрит на рассказчика.

– Выполнил, – усмехается тот, – только дорого ему это обошлось.

...Самолет появился в воздухе минут через тридцать со стороны Ильменя, поднялся высоко в воздух, словно дразня, сделал два плавных круга над селом и пошел на снижение. Похожий на коршуна, он не сразу набросился на цель, а на высоте метров в тридцать сделал еще два круга, но уже над избой дядьки Егора, удалился, испытывая, очевидно, нервы собравшихся, и оттуда – издалека, медленно снижаясь, как по линейке, пошел на эту самую трубу.

– Попал?

– Попал черт, именно попал, – рассказчик не скрывал восхищения, – но, видишь ли, какая вещь... либо он еще за что-то задел, либо, как я думаю сейчас, там в тот момент образовался какой-то аэродинамический эффект, но вослед поднялась вся крыша! Видимо, такой поток разряжения за самолетом создавался, и она – сорвалась!..

Наделала, конечно, шума эта история. Летчиков тут же всех отозвали из села. Что с ними случилось, я не знаю. Но, нам, пацанам, да и взрослым многим, жаль было Грача.

– За что жаль, ведь хулиган же?

– Ну, нет, не хулиган – артист, – убежденно возразил Анатолий Иванович, – такие «хулиганы» были героями на войне. Это порода таких людей. В них сидит с рождения азарт делать то, что не могут другие. Он опоздал, не попал на войну. Вот там бы, на войне, он пригодился на дело, а в мирной жизни – негде дать выход своей натуре.

Он еще немного пофилософствовал в подобном духе. Помолчал раздумчиво, потом спросил:

– А знаешь, у этой истории есть продолжение, рассказать? Хотя она и грустная.

– Расскажи.

– Прошло лет тридцать, больше. Я работал экскаваторщиком, заочно закончил институт, работал неплохо, избрали депутатом Верховного Совета СССР. Потом – райком, горком и вот он я – директор завода. И не хотел, и не стремился. Сказали, знаешь, тогда как было – «Надо»... Стал ездить в Москву: то по депутатским делам, то по заводским. Знаешь, мое депутатское место было рядом с Германом Тито-

вым, мы хорошие были знакомые. И вот в один из приездов, вечером, устроившись в гостинице «Москва», пошел поужинать в ресторан. Взял сто грамм водки, один за столиком. Публики вокруг мало. По соседству у окна сидит видный такой щеголеватый седой мужчина. Уже при входе в зал во мне что-то шевельнулось внутри, показалось что-то знакомое в манере потрагивать усы и смотреть насмешливо, но безобидно. Я бы так и ушел, если бы вдруг не услышал его голос, когда он рассчитывался с официанткой.

«Грач, — изумился я, — мать честная, кусок моего детства!»

Я подошел к его столику и, не успев сообразить еще, как начать разговор, выдохнул:

— Грач?

Он не понял и удивленно смотрел в упор, как это он мог, на меня.

— Труба трубе! — не унимался я.

Он вновь ничего не понял, но чуть спустя вдруг откинулся на спинку стула, знакомо заулыбался:

— Толик, сосед Егора, да?

— Конечно, — обрадовался я, как будто от того, что он признает меня или нет, зависела вся моя судьба, а может, даже не моя, а всех наших в моем алтайском селе.

Мы хорошо посидели, поговорили. Но про свое лихачество сам он не вспоминал.

— Да, было, было, — так он лаконично подтверждал верность моих воспоминаний.

Мне тогда подумалось, что подобных событий у него было немало. Поэтому он уже остыл к ним. Я пытался раза два в разговоре коснуться того, чем он сейчас занимается. Было интересно. Он не отвечал. И только под конец разговора выяснилось: он пенсионер, давно отлетался. Списали вчистую. Рассказал скупно. Кончил высшее училище. Стал летать на больших самолетах. Пришло время — на Ту-154 за рубеж. И вот в один из полетов при возвращении из Румынии произошла такая история: второй пилот, близкий друг и приятель, увидев в салоне архиепископа, осанистого, с большой черной бородой и крестом на груди, во всем черном, пригласил его к себе. Батюшке показалось все очень интересным и под конец он попросил дать подержать ему в руках штурвал. Перемигнувшись, пилоты уступили его просьбе, незаметно включив автопилот. Батюшка восседал в кресле, «управляя самолетом», не заметил, как пилоты выскользнули из кабины...

Внезапно обнаружив, что он остался один на один с самолетом, на борту которого больше ста человек, очевидно, ужаснувшись воздушной

пропасти в девять километров, которая была под самолетом, батюшка стал метаться и кричать в кабине, не выпуская штурвала из рук. Началась паника. Вбежавшие пилоты с трудом смогли успокоить летчика по неволе и только силой расцепить пальцы его рук, прикипевшие к штурвалу.

— И что дальше?

— Отлетелся навсегда наш Грач, уволили с грохотом. Обидно за него стало мне очень.

— Что ж обидного — хулиган твой Грач, — подытожил Кирилл Кириллович.

Директор мотнул головой:

— Нет, не хулиган он, понимаешь, не хулиган.

— А кто же?

— Не знаю, тесно таким людям, понимаешь, тесно между нами, такими, с рыбьей кровью, а ты — «хулиган».

Касторгин не мог с ним согласиться, но чувствовал, что рад бы встретиться и познакомиться с этим чертом Грачом, какой он все-таки на самом деле? Интересно же!

— ...а ты знаешь, Кирилл, что вот в этом доме жили Демичи, — спросил Анатолий Иванович, когда они после прогулки подошли к маленькой лесенке, ведущей к дому Касторгина.

— Какие? Те, что артисты?

— Да, конечно. Александр Иванович и Юрий, тот молодой, который в БДТ в Ленинграде потом играл. Сын его.

— Да, когда я был еще студентом, он играл в спектакле «Валентин и Валентина», сыграл Гамлета. Я хорошо помню его тех лет и Надеждина Сергея, — ответил Кирилл и тут же спросил: — А за что артистов сажали?

— А за что сажали не артистов? Юрий Демич в Магадане и родился, — и, чуть помолчав, добавил: — У Александра Ивановича трудная была судьба, но счастливая. Он начинал в театральных мастерских под руководством Всеволода Мейерхольда, а потом — колымские рудники. Расставшись с рудником, он играл в Магаданском театре, кстати, в этом же театре рядом с Демичем в центральных ролях часто выступал и ведущий актер МХАТа Юрий Кольцов. В 1955 году с него сняли обвинения. Ему аплодировали москвичи в огромном зале Кремлевского театра. В концерте, посвященном годовщине Великой Октябрьской революции, он, Александр Демич, выступал в роли Владимира Ильича Ленина. Вот выворот! Да!

– Анатолий, – изумился Кирилл, – откуда ты такое знаешь?

– Мой дядька и Лев Финк, ваш самарский писатель, были хорошо знакомы, оба сидели когда-то вместе. От него и узнал, а Александра Ивановича я не один раз видел. И вот дома у него два раза был. Вон его окошко. А вообще земляков-писателей читать надобно, Льва Финка, например, «В гриме и без грима».

– Я читал, только подзабылось, а Финк у нас в Политехе вел в шестьдесят пятом году курс эстетики. Очень своеобразный был человек, – говорил Касторгин, а сам все поглядывал на окна бывшей квартиры Демичей.

По вечерам из окна своей кухни Кирилл Кириллович часто видел в ней мелькание жильцов. Он уже к ним привык: там был мужчина, чаще всего в красной майке, пожилой и медлительный, и женщина с быстрыми движениями.

«Странно, откинуть назад два десятка лет, и здесь можно было встретиться с Демичем».

...Анатолий Иванович умел удивлять собеседника, это Касторгин знал. В нем было накоплено такое разнообразие историй, встреч, что он мог позволить себе расточать это богатство небрежно и неожиданным образом:

– А ваш Геннадий Матюхин открыл все-таки центр Шукшина или нет?

– А кто такой Матюхин? – вынужден был уточнить Касторгин.

– Артист Самарской филармонии, он два раза был в Барнауле у нас, один раз с Анатолием Дмитриевичем Заболоцким – это оператор, который снимал вместе с Макарычем, как он называет Шукшина, «Печки-лавочки», «Калину красную».

– А почему центр Шукшина в Самаре?

– Потому что Матюхин разыскал корни родословной Шукшина на Волге, два прадеда его отсюда когда-то уехали в Сибирь. Один жил где-то под Сызранью.

Потом, после отъезда своего гостя, через Ивана Морозова, артиста Самарского драмтеатра, Касторгин познакомился с Геннадием Матюхиным и был удивлен артистизмом, с которым тот читал шукшинские рассказы.

...В один из вечеров Касторгин пришел в номер гостиницы «Волга», где остановился Филатов, чтобы помочь перенести его вещи к себе на квартиру.

– Послушай, Кирилл, – обратился тот к приятелю, когда он, подойдя к окну, стал смотреть на Волгу, – я вот все думаю, и особенно теперь, насмотревшись на волжский простор, без тебя и с тобой на прогулках...

– Думать всегда полезно, – сказал Кирилл первое, что попало на язык, выжидающе глядя на кряжистого, увы, уже старика в костюме «Адидаас» и шерстяных деревенских носках, восседавшего на казенной кровати.

– Дочь у меня историк, преподает в Красноярске в школе, так она, начиталась, что ли, всего, утверждает, что у нас у всех разом, у всех россиян, случилась национальная катастрофа. Она по характеру мужик, иногда в такое лезет!..

– Как так?

– А вот ты мне рассказывал, что французы и немцы шалели от восторга, когда ты их вывозил на катере на Волгу. Шалели от широты и необъятности нашей Волги, что ты это понял, когда увидел их Сену и когда сплавлялся на плотках по немецкой речушке Изар.

– Да, наши пространства их изумляют.

– Вот как раз преимущество громадной нашей российской территории и то, что мы посредине евразийского континента, и стали ныне нашими недостатками. Мы не можем в такой весовой категории соперничать с остальным миром, а вернее, со странами, которые научились быстро и мобильно в силу их небольших размеров интегрировать свои интересы и усилия. Наши преимущества превращаются в недостатки. У них близость к центрам мировой экономики, они имеют выходы к океану, то есть возможность больших и мобильных грузоперевозок. У нас же СССР распался и нет в зоне умеренного климата нормального выхода к морю. Мы внутри России эффективно перевозить не можем. Ведь раньше перевозки были, они и остались составляющей наших технологий. Сейчас возить нельзя – дорого, значит и промышленность не работает. Подтянули тарифы на перевозки к международным ценам на электроэнергию, а у них расстояния – с гулькин нос, не как у нас.

– Ты предлагаешь кому-нибудь отдать часть территории, начиная с Курильских островов?

– Нет, я предлагаю ответить на вопрос: можешь ты, Кирилл, представить какого-нибудь итальянца, сидящего около моря, который из граненого стакана пьет водку и закусывает щами, а? Не можешь? Ему подай виноградное вино на радость души.

– Это к чему?

– А к тому, что в южных странах меньше затрат на поддержание жизни во всем: в промышленности, в строительстве, в сельском хозяйстве. Чтоб поддержать дух в теле, ты что в степи в морозную ночь пить будешь? Водку да с салцом. Шампанское тебя не согреет, да? Вот и пьет русский человек горькую, вот и хлебает щи. А это все намного

больше требует у нас затрат на производство. Я все удивлялся, почему японцы, когда у нас бывают, осенью головных уборов не носят. Был в Токио — понял. Там они их вообще не носят. У них нет таких температур. И они привыкли. Попробуй у нас привыкни. Гайморит обеспечен. А дороги? Попробуй там, где перепад от минус тридцати до плюс тридцати, хорошие дороги построить да постоянно за ними уход обеспечить. Дудки, целая индустрия, особые технологии нужны, так же и в жилищном строительстве! Я поездил, повидал мир. Смотри, как быстро возникают мощные экономики Турции, Таиланда, Гонконга, Индонезии. Там, где тепло, там и развитие.

— Выходит, зря Ермак Сибирь покорял?

— Зря — не зря, а независимо от того, кто правил и будет править нашей страной, географическое ее положение — фундаментальный фактор, влияющий на ее судьбу. Россия самая холодная страна, лишившись почти всех теплых территорий, оказалась в самом холодном углу Европы. Покорял Ермак не зря, моя ученая дочь объясняет это так: самым верным условием сохраниться в старые времена было занять максимально больше территории, ибо в ней увязали любые армии врагов, а мы, собирая силы, в конце концов всегда выигрывали.

— Ты считаешь, что мы катастрофически быстро и навсегда теряем свою мощь? — Касторгин, давно присевший на подоконник, сказал это тяжело, с суровой нотой.

— Тысячелетиями сложившуюся расстановку сил опрокинули новые технологии. Мы, то есть наши пространства, стали враз прозрачными под прицелом компьютеров, интернета, космических спутников. Прокладки с крылышками порхают, я извиняюсь, по всему нашему российскому пространству. При современной технике у НАТО все стало иным. Вчерашние наши плюсы, увы, становятся минусами.

— Что, и нет выхода?

— Я так не ставлю вопрос, я только говорю, вернее, моя Галина настаивает, что мы с тобой сейчас переживаем не крах экономических реформ, а неосознанную еще многими национальную катастрофу, а весь мир на пороге мирового переустройства, но это длительный и эпохальный процесс.

Касторгину стало не по себе.

— Но как тогда жить? Вот ты говоришь такие страшные вещи и спокойно, аккуратненько складываешь свои носки в чемодан, как можно? Ведь по-твоему мир рушится?

— Отвечаю, — Анатолий Иванович спокойно продолжал свое дело, — это объективные процессы и глобальные, коллективная психология еще

как-то влиять на них может, но мы с тобой, увы, трезвые люди, мы должны принять это. Локальный выход я нашел, Кирюша. — Анатолий Иванович пристально посмотрел в глаза собеседнику, — только ты выслушай меня терпеливо.

— Я готов, — недоуменно пожал плечами Кирилл, — может, мы и спасем наше Отечество, я вот свой завод не успел.

— Я не о том, хотя, впрочем... понимаешь, давай уйдем от этого глобализма, иначе все погибнет к лешему. — Филатов начал волноваться, Кирилл это видел. — Кирюша, давай так, я изложу спокойно нужное, а то ты не поймешь достоинства моего предложения.

— Давай, — согласился Касторгин.

Филатов вкрадчиво начал:

— Ты когда-нибудь отдыхал в Карловых Варах?

— Нет, не приходилось.

— А я первый раз был в девяносто пятом году и вот специально в нынешнем съездил. Нет, не лечиться. У меня другой интерес. Я в общем-то здоров. Мировая здравница. Теплый климат. Процентом шестьдесят отдыхающих — русские. Чехи вообще почти все говорят по-русски. Хотя мы им ничегושеньки хорошего не сделали, но они на нас там зарабатывают, поэтому относятся неплохо. Чистота, порядок, никакой там еще русской мафией не пахнет.

— Ты меня куда-то сватаешь?

— Да, — разом решился Филатов и сел на койку, втиснув обе руки, ладонь к ладони, между колен. — Я предлагаю открыть там дело.

— Мне? — удивился Кирилл Кириллович.

— Я все объясню. Карловы Вары идеальное место. По чешским законам, если ты зарегистрировал свою фирму (а это я организую), то тебе даются льготы, мы можем взять в аренду офис, площадь для торговли, причем первые два года не платишь налоги, если нет прибыли. Идут платежи за свет, за газ — значит фирма уже работает.

— Делать-то что будет фирма?

— Торговать, чудак, там кругом стекольные, хрустальные, фарфоровые заводы. Весь мир, как через игольное ушко, через Карловы Вары проходит, толпы отдыхающих и покупающих. Я все обдумал: если уезжать на Запад, то, как через трамплин, через Карловы Вары.

— А я зачем тебе? Да у меня и первоначального капитала нет. Я все своим отдал, когда они уезжали.

— Видишь ли, мне рано уезжать, мать больная очень, еще ряд проблем... а ты — один. Не поехал в Германию, черт с ней — есть Чехия!

— Ты так легко говоришь!

– Не легко! Я свое отработал, погорбатился – хочу на пенсии пожить нормально. А тут, у нас, не получится – не дадут.

– Так я тебе посадочную площадку должен подготовить, да?

– Ничего в этом плохого нет, – продолжал Анатолий Иванович. – Деньги я тебе дам, они у меня чистые, я даже налоги платил с них. Тебе я доверяю как себе, потом сочтемся, когда я приеду. Поверь, долго финансовой стабильности в России долго не будет. Рубль рухнет, его курс держится искусственно. Реально он дешевле по отношению к доллару раза в три. Когда все придет в соответствие, а это обязательно будет, произойдет большая беда.

– А гражданство? – Касторгин не скрывал своего удивления разговором. – Гражданство надо же менять.

– Как раз и нет, я это узнавал. Все уже обкатано, мой хороший знакомый так все и сделал. Он все поможет сделать тебе там, но он, понимаешь, болен, недолговечен, а я хочу прочно все и надежно.

– Я торговать не умею, – добродушно улыбнулся Кирилл Кириллович.

– А и не надо, тебе организатором надо быть, торговать будут другие. Он мне уже и квартиры нашел для покупки, две – на выбор, и недорогие. Если ты хотя бы раз там был: воздух – чудо, вода, публика. Доживать надо только там. Гете, который подолгу там жил, считал, что самые лучшие города в мире для жизни – Рим и Карловы Вары. Не зря же наш всемогущий Газпром скупил акции тамошнего санатория «Империал», самого крупного лечебного дома в Карловых Варах, а Андрон Канчаловский, который кинорежиссер, – по-моему, «Бристоль». Кстати, я последний раз жил в отеле «Термал», там каждый год в начале июля в концертном зале проходит Международный кинофестиваль. Так что не задворки, а центр культурной жизни.

Но Касторгин словно и не слышал последние слова своего приятеля. Он стоял посреди комнаты, кажется, демонстративно закрыв глаза ладонью правой руки. Выждав, когда Филатов смолкнет, раздумчиво сказал:

– Но я хочу жить. А не доживать! И я все-таки не Гете.

– Ну, брось, мы ведь и не живем, а выживаем здесь, не так ли?

– Так-то так, но я не для Запада человек – вся моя грибница здесь. Я больше двух недель, сколько ни ездил, за границей жить не мог. Все хорошо, все разумно, а тянет домой в Россию. Мой рефугиум здесь, в самарских краях, – он помолчал, ироническая улыбка исчезла с его лица и враз взгляд потеплел. – Ты знаешь, где я родился?

– Ну где? В Куйбышеве?

— Нет, я родился на Толевой, в районе Толевого завода. На реке Самаре, в городе Самара. Знаешь, почему она так называется, эта светоносная река?

— Нет, — недоуменно отозвался Анатолий Иванович.

— А знаешь, как в древности называлась Волга?

— Да, кажется, река — Ра.

— Вот, — обрадовался ответу Касторгин, — Ра! А когда речка, на которой я родился, сильно разливалась, то древние ее называли: сама Ра, ну то есть, такая же великая, как Ра, — Сама-Ра.

— Ну и что? Ты как ребенок, подросток. Ты о чем?

— Я о том, — продолжал задумчиво Кирилл, — что я еще в юности ее называл Самародиной. Понимаешь, это моя родина, это река разлилась в моем сознании в понятие Родина. Сама-ро-ди-на. Я столько в детстве, пока не переехали в Сызрань, переловил в ней сомов. Меня до перестройки два раза приглашали в Москву в министерство, а я отказывался, даже до конца сам недопонимал, почему? Но чувствовал, мое место — здесь. А совсем недавно прочел, что люди, рожденные под знаком Рыбы, интуитивно стремятся жить около большой воды.

— Понимаю, — протянул Филатов, — ты что меня-то дурачком делаешь?

— Да нет, просто я и сейчас чувствую, что никуда уезжать не надо. По крайней мере, мне.

— Не торопись с ответом, пожалуйста, мы еще поговорим. Я тебя смогу убедить. К старости надо готовиться, как к суровой зиме.

— Что ж, поговорить можно, но... — и Кирилл отрицательно покачал головой, чуть помолчав, продолжал раздумчиво: — Ты же особый человек.

— Чем я особый? Я как все.

— Ты интеллигент в первом поколении. Это всегда люди очень деятельные и цепкие, еще не совсем оторванные от земли.

— Ну и что?

— А то, что они еще и очень совестливые. Они о корнях своих всегда помнят. Я знаю многих таких.

— Корни, Родина, — протянул Филатов. — Если я буду такими категориями мыслить и поступать, я не выживу. Родина — одно, а государство — другое. Оно — забыло, — он надсадно закашлялся. — Оно оторвалось от меня, а не я отрываюсь за границу. На хрена бы мне это все надо? Но, как только я стану здесь пенсионером, я никому не буду нужен. Старики в нашем государстве — лишние и ненужные люди. Более того, и обычные люди стариков-то не любят, скорее, наоборот. А почему?

– Анатолий Иванович пытливо из-под мохнатых бровей посмотрел на Кирилла. – Люди, глядя на стариков, то есть на свое будущее, пугаются. Пугаются своего будущего. Им не хочется его пока видеть. А мы тут как тут со своими болячками, на хрена это кому, а? Нельзя превращать страну в сборище нищих. И в этом сборище я не хочу быть одним из многих, ведь меня же, пока здорового, уже сейчас лишили возможности накопить на старость. Все ненадежно. Либо инфляция, либо отберут просто так все и опять разденут. У моего деда уже отбирали. И самого стноили. Я не верю, что в течение семи-десяти лет что-то крепко у нас изменится. А жить-то мне осталось, может быть, всего-то не более десятка лет.

– А как же с тем, что отечество, как и мать, не выбирают. Это же навсегда.

– А если на нас наплевали и забыли? А потом, еще Федор Достоевский в прошлом, в прошлом, заметь, столетии говорил, что у русских две родины: Россия и Западная Европа.

– Он имел в виду другое. Более глубокий смысл...

Филатов замолчал. Молчал и Касторгин.

«Вот ведь как получается, мы, русские, по своей природе добро-сердечны, сильны, деятельны, но почему же одновременно и нерациональны, и недисциплинированы, и постоянно зависимы от того, кто у власти, сами готовы подчиниться некоему авторитету, – размышлял Касторгин. – Вот передо мной человек, после долгих, очевидно, раздумий понял, что все зависит от самого себя, он сбрасывает с себя путы, которые достались ему от прошлых поколений, он начинает свободно мыслить и самостоятельно действовать, и я же первый с ним не соглашаюсь. Нам словно какой-то рок замутил разум. Мы не знаем, чего хотим. И я, похоже. Как все... морали читаю... Все помешались на разговорах о национальной идее, но ведь надо просто жить, думаю, я прав, но как это все должно связаться: сознание большинства людей и воля государства? Не вижу».

– Я уеду и тем самым на одно семейство нищих будет меньше здесь, вот моя помощь государству, раз оно бессильно.

– Мы так много сегодня с тобой говорим. Обо всем сразу.

– А это единственное, может быть, что у нас осталось сейчас, остальное отняли.

– Кто?

– А черт знает. Сразу и не скажешь. В том числе и мы сами. Мы ведь запустили такой бардак в нашу жизнь. Наше поколение. Народ не готов был к такому бесстыдному натиску, он неопытен в таких делах,

не привыкший. А наши ученые, умники-разумники, позволили себя охло-монить Западу.

– Как так?

– А так. Высосут все из России, сами же этому помогаем, мозги перетянут, сырье, что легко дается, под рукой – распродадим и все. Они ведь нас привечают с одной целью: ждут не дождутся, когда мы перестанем быть великой державой.

– Отчего все же мы так много говорим, ведь мы же не были так многословны, а? – спросил Кирилл, явно боясь, что разговор закончится, а ему он был нужен. Неважно: прав, не прав Анатолий, ему было нужно понять более существенное, то, что может определить его иной взгляд на жизнь. – Ведь непонято многое нами, ведь мы же барахтаемся все вроде бы по-разному, а в сущности одинаково и в одном: в незнании, что же делать? И я даже заметил, мы говорим не для собеседника, а для самого себя, кажется, – продолжал Кирилл Кириллович.

– Сломался, нарушился быт, это задело каждого, вот и стало необходимо самому себе хотя бы объяснить, что же происходит. Ты заметил: большинство произносит монологи, диалога пока еще нет. Слушать друг друга мы не научились. У тебя тоже такая манера, хотя менее выраженная, чем у других. А в общем это национальное. Нация чувствует возможную катастрофу, вот и торопится выговориться.

Минут через десять они вышли из гостиницы и, один с чемоданом, другой с синей сумкой через плечо, долго еще ходили по набережной, прежде чем пойти домой к Касторгину. Стояли под звездным небом, как раз напротив села Рождествено. Владельцы собак, большинство явно любящие своих питомцев больше, чем все человечество вместе взятое, иначе бы не позволяли своим питомцам так гадить, где попало, гордо, с достоинством проходили мимо. Им было не до этих двух мужчин. Что они говорили друг другу, кивая то на огромное ледовое пространство Волги, то на еще бульшую, несоизмеримую ни с чем темно-небесную ширь, всеохватно обнявшую все, казалось бы, на земле, но не сделавшую этим ее сейчас теплее, а наоборот, заставившую ежиться наших спутников?

Что поделаешь, впереди была ночь, холодная, февральская, и, кажется, поднималась метель.

КАФЕ «ТРИ ВЯЗА»

...Ему вдруг захотелось изменить маршрут своих прогулок. Он вспомнил о «бродвее» или, как раньше чаще говорили – «броде». Во

времена его студенчества улица Куйбышевская, начиная от площади Революции и до Некрасовской и была «бродом».

Здесь, когда-то прогуливаясь, человек как бы невольно определял свой статус, ибо на той стороне, где расположена гостиница «Жигули», собиралась божественная часть, на противоположной — более солидные, степенные и важные самарцы.

Поначалу, после поступления в институт, его сильно и постоянно тянуло на это место. То ли оно завораживало тем, что здесь смыкалось на небольшой площадочке с фонтаном у кафе «Три вяза» разноликое общество, то ли потому, что можно было легко по устной информации узнать, где какие джазовые коллективы играют.

Раза три вездесущий декан химико-технологического факультета Иван Григорьевич Григорьев заставлял его в районе «Трех вязов» и каждый раз, поманив пальцем, слегка поругивал:

— Гадкий ты, гадкий, опять по девчонкам стреляешь, ничего хорошего это тебе не даст.

Декана почему-то заклинило на девчонках, хотя Кирилл каждый раз протестовал, пытаясь говорить, что его влечет сюда другое, есть какая-то магия этого места. Здесь интересно.

— Знаю я этот интерес, беда может случиться. Здесь же политические анекдоты рассказывают, зачем тебе это надо? Твой путь — наука, — фундаментально к удивлению самого Кирилла определил декан, — приходи ко мне на кафедру, будем заниматься хлорированием — тема исключительно перспективная. Это для тебя. А эти стилиаги, они тебе ничего хорошего не дадут. Эти всякие платформы, джазы, шейки — это временное все...

Удивительно, но декан Григорьев оказался прав: любовный роман Кирилла начался именно у этого кафе. Первый в его жизни. Быстротечный и чуть не ставший для его студенческой жизни роковым. Она оказалась студенткой того же факультета, но на два года старше — с третьего курса. Имя у нее было удивительное — Майя. Она быстро ввела его в общество, которое собиралось у «Трех вязов», и он, сам того не ожидая, получил доступ к самой интересной и разнородной информации.

Кирилл хорошо помнил тот танцевальный вечер в клубе имени Дзержинского, после которого они оказались у нее дома на Самарской улице. У Майи была только мать и она находилась в отъезде. События развивались стремительно и как бы помимо его воли. Она была удивительно свободна в мыслях и поступках.

...Они заснули только под утро, а когда проснулись, было уже двенадцать часов, решив не ходить в институт, два дня безвылазно провели вместе, один только раз Майя сбегала в магазин на углу за продуктами.

Всего месяц продлился этот головокружительный для Кирилла роман и оборвался так же резко, как и начался.

На факультете случился переполох. Оказалось, что, будучи на практике в Новокуйбышевске, Майя встречалась с одним из немцев, Кирилл Кириллович до сих пор помнил его имя. Немцы строили полиэтилен. Жили они в гостинице «Дружба», туда в номер неоднократно приходила Майя. Служба работала – все их разговоры были записаны, все подарки немца – «вещдоки» – у Майи отобраны.

Кирилла это тогда повергло в шок; выходило так, что она ездила к своему немцу и в течение того месяца, что они были знакомы. Это не укладывалось в его голове. Все остальное: то, что у нее была связь с немцем, да еще который из ФРГ, что весь факультет шушукается и ребята улыбаются и, хлопая по плечу, подбадривают его – задевало, но как бы во вторую очередь. «Как она могла одновременно – и со мной, и с ним? Я совсем, выходит, не чувствую лжи, я не вижу обмана. Я неопытен в этом. Сидели в «Трех вязах», кушали мороженое, болтали о джазе, обменивались записями на рентгеновской пленке... У меня кружилась голова от нее, но в то же время я понимал, что у нас с ней не навсегда, что я не могу вот так остановиться на первой женщине, что все равно меня манят другие и мне от этого почему-то не стыдно, и я ей ничего не обещал, ибо не ручался за себя, но ведь я не смог бы одновременно встречаться с двумя, говорить одни и те же слова. Это ненормально!»

Майю спешно исключили из комсомола, отчислили из института. И не успел Кирилл опомниться, как она вместе с матерью уехала жить в Ташкент к родственникам. А еще через месяц декан Григорьев все-таки затянул Кирилла на кафедру...

Потом, чуть позже, Касторгин узнал, что декан Григорьев прежде занимался в Ленинграде изотопами, облучился, семья распалась, он не мог иметь детей и приехал в Куйбышев. Здесь усыновил двух студентов, по-отцовски заботясь о них, иногда проявляя совершенно изумительное терпение и усердие.

Конечно же, Кирилл и после этих событий бывал в «Трех вязах». После, кажется, в 1962 году, все, что было в «Трех вязах» и вокруг, перешло в официальный городской молодежный клуб ГМК-62. Ну, а к концу шестидесятых годов повеяло холодком.

...В один из светлых морозных дней Касторгин съездил к кафе «Три вяза». Постоял в скверике, где не раз сиживал на скамейках с приятелями. Одобрительно покивал комфортабельной гостинице, ресторану «Три вяза». И, повздыхав неопределенно, пошел гулять в сторону площади Революции.

«У ЛИНДЕ»

В том, что жизнь удивительный и причудливый режиссер, Касторгин понимал давно. Но чтобы до такой степени...

Он несколько раз ездил в Германию для подготовки контрактов по закупке холодильного оборудования на широко известную фирму «Линде». Касторгин умел быстро сблизиться с компаньонами. В одну из командировок он получил безвозмездно в подарок комплект оборудования для стоматологического кабинета. Конечно, этот жест президента, очевидно, имел, скорее, рекламный характер, но тем не менее...

Его тогда привезли на склад, куда прибыл и президент фирмы. Касторгину показали дюжину ящиков с оборудованием и на его глазах начали подготовку к отгрузке. Их вдвоем с президентом сфотографировали на фоне этих «подарочных ящиков», и на следующий день фото лежало у Касторгина в кейсе. Но удивительное произошло, когда прямо со склада он по приглашению одного из сотрудников фирмы Юргенс Гейгера приехал к нему домой. Немец последний месяц оформлял свой уход на пенсию.

Он был словоохотлив, и Касторгин узнал, что Юргенс уже основательно приготовился к отдыху: купил домик в ЮАР, жена уехала туда же, к сыну, который второй год работает там. Его теперь ждут.

— И не страшно так резко менять образ жизни? И будет ли на что нормально жить?

— Будет, — уверенно отвечал Юргенс, — пенсия это позволяет, кроме того, я долго работал на своей фирме, за это мне перечислили пятьсот тысяч немецких марок на мой счет, я доволен.

Немец Юргенс Гейгер несколько раз бывал в России в длительных командировках, потому хорошо говорил по-русски.

— Был и у вас в Куйбышеве-Самаре, но только проездом, в город не впускали, из аэропорта — в Новокуйбышевск. Мы там строили производство полиэтилена на заводе синтетического спирта. Вот он, — Гейгер протянул Кириллу Кирилловичу небольшую фотографию.

— Кто это? — не сразу сообразил Касторгин.

На фотографии стоял молодой парень, спортивный и улыбающийся на фоне красной громады водонапорной башни.

— Это я в лучшие мои годы. Еще холостой. Но я сейчас покажу то, с чем связаны самые мои лучшие воспоминания о России. — И он дал вторую фотографию.

Кирилл Кириллович принял ее и машинально, без особого интереса, перевернул нужной стороной. То, что увидел, его поразило, он никак не мог быть готовым к этому. Время в миг уплотнилось и три десятка лет враз куда-то выпали, их не стало: на фотографии была Майя Иванова — его первая любовь и первая женщина из тех самых самарских «Трех вязов».

— Это кто? — все еще не веря, сдавленным голосом спросил Касторгин, будто чего-то опасаясь.

— Это моя русская любовь, — открыто и доверчиво улыбаясь, ответил Гейгер. — Не могу забыть до сих пор.

— С Новокуйбышевска? — поспешил уточнить очевидное Касторгин, еще не оправившись от неожиданности.

— Да, она работала или как это... — он покрутил пальцем по кругу у себя перед носом, — была на практике. У меня красивых таких потом никогда не было женщин. Здесь не видно, она была блондинка и такие большие голубые глаза и... умница. Имя очень редкое — Майя.

— А как у вас все кончилось? — уже спокойно спросил Кирилл Кириллович, поняв: дальнейший разговор о Майе ни к чему, все это в прошлом.

— Просто. Она не пришла однажды и все. Мне трудно было ее разыскать. У вас тогда были особые порядки. Может, так и лучше, как получилось. У меня тогда, как это, дух захватило. Мог наломать дров и ей многое испортить, и себе.

— Да уж, — только и обронил Кирилл Кириллович, вспомнив свое состояние в то время.

Его удивило и это совпадение, и то, что два раза в его жизни между ним и его женщинами возникали прямо-таки вездесущие немцы.

Как-то, прохаживаясь по Волжскому проспекту, Касторгин от нечего делать зашел в магазин «Браво». Походил, посмотрел. Зачем-то примерил пиджак, плащ. Все дорого и малых размеров.

Выйдя из магазина, остановился у аптеки, задрал голову, прочел название: «Интим». Вошел. То, что он увидел, озадачило и удручило его. Все эти приспособления и ухищрения для половой жизни он уже видел за границей, да и в Москве, и относился к самому факту их суще-

ствования спокойно. Но здесь, на волжской земле, у себя под боком да в таком изобилии и разнообразии?! Он не ожидал такого проворства.

Когда он вышел из аптеки и снова прочел надпись, мелко разбежавшуюся светлой узкой ленточкой по тусклой стене здания, она ему показалась похожей на проделку молоденького бычка, пролившего тонкую струйку в пыльную серую дорогу. И бычок смахивал на продавца этих самих штуквин, такой же крепенький и с мокрыми губами.

...В Мюнхене в ресторанчике как-то Гейгер показал Касторгину парочку, сидевшую за столиком.

— Кирилл, вон видишь, ближний к нам человек, он — мужчина, да?

Касторгин не совсем понял вопроса, но утвердительно кивнул. Закивал приветливо и белокурый, круглолицый крепьш на приветствие Гейгера.

— Но он полгода назад был женщиной.

— Что? — опешил Кирилл Кириллович.

— Операция, — улыбаясь, пояснил немец. — А рядом с ним женщина — она была мужчиной.

— Что? — туповато вновь удивился Кирилл и посмотрел на смуглую даму, которая ему спокойно улыбнулась в ответ.

— Да-да, тоже операция, — тихо сказал Гейгер.

— Вам что, делать нечего? Ну, вы немцы...

— Есть чего, есть чего, — возразил немец, — но им так интересней. Это, как? Им так надо. Медицина может.

— Надо? — обалдело спросил Касторгин. — Им, что, поменяли местами эти, ну, органы их?

— Нет, просто так сделали.

— Сделали? — озираясь, переспросил Кирилл Кириллович, он еще надеялся почему-то, что немец шутит. — Нельзя же так. Как мужчину сделаешь?

— Медицина, врач умеет, — спокойно сказал Гейгер, — у него взяли для этого кожу и сделали что нужно.

— Это — фантастика, — сказал Касторгин, потеряв способность построить какую-либо другую фразу, — ужасная причем.

Уже когда они с Гейгером встали из-за стола, немец решил, очевидно, добить русского:

— До операции они были... как это... любезниками.

— Любовниками? — подсказал удивленно Кирилл.

— Да-да, любовниками, — закивал головой немец, — а теперь, когда они стали каждый наоборот, они поженились.

Кирилл Кириллович уже не удивлялся вслух. Он только похлопал по плечу немца и сказал дежурную фразу: «Нам бы ваши заботы». Немец удивительно беззаботно рассмеялся.

...— Нам бы ваши заботы, — глядя на светящуюся рекламу аптеки, подумал Касторгин и, потоптавшись на одном месте, пошел к ресторанчику «У Линде». Ему давно хотелось побывать здесь. Не связан ли он как-то с той фирмой «Линде», которая занимается нефтехимическим оборудованием? С Гейгером?

Необычное для русского климата изящное красное крылечко с гранитными ступеньками, красно-белый цвет — все напоминало ему его первые ощущения от заграницы. Первым городом за рубежом, в котором он побывал, был Мюнхен, потом несколько раз был в Германии, даже окончил академию. Но самые сильные впечатления и ощущения остались именно от Мюнхена с его пивными барами, с ежегодным праздником пива — Октоубэ фэст.

Он вошел в ресторанчик. Одна лишь пара, он и она, сидела в углу за столиком, ворковали, поглощенные собой.

Касторгин заказал кружку пива. Официант, молодой парень в жилетке с бабочкой, скорее, похожий на музыканта, с ловкими, в меру быстрыми движениями, принес пиво и поставил на картонный фирменный кружочек.

Из соседней комнаты слышались удары по бильярдным шарам, дверь приоткрылась, и Кирилл Кириллович мог видеть двух сосредоточенных и важных, пожилых, седовласых игроков. Все было чинно и прямо-таки по-немецки размеренно. Как ему сказали: никаких отношений ресторан не имел с названной Касторгиным фирмой.

Он спохватился — была среда и в бильярдном баре, разместившемся недавно под цирком, можно было поиграть с Сашей Годунко, хорошим парнем, кандидатом в мастера спорта.

Бильярд был страстным увлечением Касторгина. Он радовался, что с переездом в Самару у него появилась возможность играть с партнерами приличного уровня. Касторгин поставил как-то себе задачу: подтянуться в игре, пользуясь уроками, которые давал ему Александр, и начать систематически ходить в окружной Дом офицеров. Ему хотелось прощупать в игре всех местных знаменитостей. Он не любил дилетантов. За последние два года Кирилл Кириллович прочел все, что смог достать, об этой красивой игре. «Поэма о бильярде» Балина стала его настольной книгой.

Чтобы натренировать руку, дома он имел кий и периодически, не реже чем через день, положив пустую бутылку на стол, отрабатывал удар, стараясь из разных положений попасть в горловину бутылки кием, не задев стекла.

...Ему понравился бар-ресторан «У Линде», и он подумал, что неплохо бы сюда иногда приходить посидеть, ну хотя бы с Владиславом, не всегда же его краски нюхать. И поговорить, и просто так... Хотя вытащить его специально, это дело такое...

Касторгин уже пришел однажды к выводу, который его не порадовал: с кем бы он ни встречался, ни разговаривал, все-таки самое главное и необходимое для себя он всегда отыскивал, рассуждая сам с собой. Только этот, второй его «я», мудрее и спокойнее, чем он сам, не замученный, не замордованный, не задерганный суетой, ненужными знакомствами, обещаниями, обязательствами – только он подсказывал ему верные мысли и решения. Кирилл Кириллович даже иногда думал: тот, второй его «я», может, это и не он вовсе, а его ангел-хранитель, может, его мама, бабушка либо кто-то другой?

Вот и сейчас, шагая вдоль парапета набережной, с виду уверенный и самодостаточный, он терзался внутренними диалогами.

«Очевидно, я недоношенная личность. Мне надо собирать себя. Литература – это, может быть, тот оселок, с помощью которого я выйду на себя. Через музыку, живопись, поэзию надо накапливать в себе расчетливую решительность. Идти к истине в обыденной жизни. Почему об этих вещах никто не говорит? Может, я думаю и рассуждаю не так и не о том, что волнует остальных?

Я на обочине жизни? Не в центре ее? Это потому, что не при деле, которому отдал почти три десятка лет?

Но ведь и при моем деле был я на обочине жизни. Или нет? Или делать обычное дело, рожать, растить детей – это самое то, лучше чего пока не придумано природой?

В юности мы мним себя центром вселенной, потом все куда-то уходит. Забываемся в работе, заботах, делах, найдя себя в конкретике. Потом вдруг обнаруживаем, что никаких высот не достигли, все равно стоим на обочине чего-то большого, космического, непонятного всем. И, увы, уходим, не поняв самого главного, того, чего нам никто из живущих на земле не скажет. Так и со мной, так стоит ли убиваться?»

Он остановился как раз напротив строительной будки, которая служила купающимся в проруби раздевалкой. Дымок, вьющийся из трубы, щекотал ноздри, зеваки с интересом наблюдали за моржами. А те совершенно не обращали на них внимания. Некоторым почему-то нравилось

раздеваться не в будке, а прямо у проруби. Причем, когда кто-то раздевался донага, противоположного пола моржи деликатно и с пониманием безусловности необходимого задерживались, отвернувшись по обочинам дорожки, ведущей от будки к проруби. Дорожка эта обычно в первой половине января преображалась, это Касторгин отметил. Ее с обеих сторон и прорубь по кругу обносили зелеными сосенками, которые предприимчиво собирали на мусорках и во дворах после того, как их, отслуживших свое на Новый год, выбрасывали за ненадобностью. Получалось хорошее укрытие от ветра. И красиво.

Было холодно стоять и он решил подняться в город.

...По Полевой Касторгин поднялся до Дворца бракосочетания, прошел чуть дальше по Молодогвардейской и остановился перед рекламой кассы «Аэрофлота». Мелькнула мысль: взять билеты до Хабаровска — и к Тамаре. «Сейчас, если есть билеты, возьму и — будь что будет».

До Хабаровска прямых рейсов не оказалось. В справочной ответили: с посадкой в Новосибирске каждую субботу в шестнадцать часов, в полете восемь часов.

Кирилл Кириллович почувствовал, что трусит.

«Ну раз прямых нет, — оправдывал он себя мысленно, — тогда подождем, чуть позже решим... когда...»

Он порвал с Тамарой, ничего не объясняя. Скрыв от нее, что у него резко ухудшилось зрение. Он не мог читать. Это все так внезапно произошло, что Кирилл растерялся.

У него была привычка: как только он заболел или что-то случилось с ним из ряда вон выходящее, он уходил в себя, забивался в угол. Кирилл не терпел жалости к себе, не мог выносить, когда за ним, беспомощным, ухаживали. Он не мог быть в глазах других бессильным, для него это было высшее наказание. Такое у него случилось и с Тамарой — Кирилл не мог себя, полуслеплого, поставить рядом с ней.

Они одновременно заканчивали институт. Надо было жениться или разъезжаться. Он решил порвать. И причину нашел, вроде бы важную и к тому же в значительной степени правдивую: он мечтал стать писателем, но все так призрачно. Денег нет. Помощи ждать неоткуда. Нет, женитьба пока не для него. Он так и сказал: «Надо подождать».

Последний раз они встретились на площади Революции, около стендов с газетами. Кирилл так придумал. На улице, на январском морозе, короче разговор. Единственное, чем он себя еще оправдывал, — их отношения не зашли достаточно далеко. Интимной близости не было.

Конечно, она не поверила в его доводы.

— Я тебе просто безразлична, — вынесла она вердикт. — Ты просто проводил со мной время.

Ему тогда показалось даже обидным, что она все пережила без слез. На другой день Тамара уехала к родителям. В Самаре ее удерживало только чувство к нему.

«Кажется, я тогда сделал свое первое отклонение, — грустно думал теперь Касторгин. — И, очевидно, это была моя единственная женщина на всю жизнь. Увы, дуралей. Мы рано встретились».

...Он давно знал, что она развелась, воспитывает дочь одна, родителей уже нет. Работает на телевидении диктором и очень хочет перебраться в Самару, откуда увез ее бывший муж. Случайный муж, как понимал Касторгин. И виновником в этой случайности он не раз мысленно называл себя.

Лет пять назад, он узнал это от приятеля, Тамара была на Мастрюковских озерах на Грушинском фестивале. Она когда-то неплохо пела. У него тогда было необычное состояние. Он вдруг стал ждать и в то же время бояться ее звонка. Она не позвонила. И Касторгин не понял: хорошо это для них обоих или нет. Потом все как-то затерлось повседневностью и он обрел обычную уравновешенность.

ПРИБАМБАСЫ

С магазинами стало твориться что-то непонятное. Сначала закрыли тот, что на пересечении улицы Маяковского и Волжского проспекта. Удобный такой, где можно было купить предметы первой необходимости. Над дверью повесили вывеску: «Хороший супермаркет», а внутри начали наконец-то ремонт. Чуть позже повесили еще одну вывеску, более солидную: «Супермаркет».

Вчера, когда Касторгин проходил мимо, старик, стоявший около окон магазина, остановил его, поманив рукой. Кирилл Кириллович подошел. Старик худой, опрятно одетый, но во все поношенное, очевидно, решал одну из важных для себя задач.

— Молодой человек, извините меня старого, я бывший преподаватель политэкономии, кандидат наук, писал в свое время монографию, могу задать один вопрос?

— Конечно, — ответил Касторгин.

— Вот, если мы стали строить капитализм, почему начали его строить с супермаркетов, а не с подъема сельского хозяйства, заводов, а? Ведь на диком Западе начинали именно с последнего.

— Отец, я с вами согласен, — сказал Кирилл Кириллович, глядя в блеклые, слезящиеся глаза старика.

— А раз прав, так что же вы, молодые, делаете?

Касторгин недоуменно развел руками, чувствуя себя нелепым. Уже перейдя проспект, он, оглянувшись, увидел, как старик, сторбившись, пошел во двор дома. Ему показалось, что этого старика он видел около мусорных ящиков, выскивающего в хламе пустые бутылки.

...Потом прекратил работу молочный магазин в том же доме, только в другом торце здания. Из продовольственных поблизости остался только хлебный. Теперь, чтобы купить зубную пасту или что-то вроде этого, надо было подниматься наверх, на Молодогвардейскую, в «Шанхай».

...Выйдя с утра на прогулку, он вдруг решил съездить в универсам «Самара». Многолюдье покупателей, основательность и размеренность продавцов раньше всегда действовали на Кирилла Кирилловича бодряще и успокаивающе. Можно было и не ехать, конечно. Особенной хозяйственной нужды не было, но что-то подталкивало и он отправился к остановке.

Подошел разлюбезный «одиннадцатый», и Касторгин вскоре оказался в салоне троллейбуса, стоящим между двумя мужчинами. Повернувшись к окну, он стал смотреть на облака. С утра побаливал правый глаз, эта боль в последнее время участилась.

— А как ты вообще-то перебиваешься? — это проговорил мужчина справа в пуховике дымчатого цвета и ондатровой видавшей виды шапке.

— Ничего в этом году, нам уже дали дивиденды, мне шесть тысяч, я по две отдал дочерям, остальные положил на депозит, — ответил основательно тот, что слева.

— Что ж отдал-то, сам-то как со старухой?

Голоса звучали рядом, прямо за затылком Касторгина.

— Да, я плохо, прямо скажу, себя чувствовал, думал того... Ну и раздал. Но ничего, сейчас к своим тремстам шестидесяти понемножку беру и перебиваемся со старухой. А ты с Аннушкой как?

— Да так же. Меня, когда стукнуло в третий раз, я все потом бросил. Летом приспособился в Подгоры ездить жить. Снимаю дом. Красота, только там здоровья и наберешься. Но дорожать стало и там все, не знаю, как в этом году.

— Что-нибудь-то делаешь?

— Сначала только читал да спал. Ну, по мелочам там... А потом стал грибами заниматься. По округе хожу. Надену красную куртку, чтоб быстрее нашли меня, если что вдруг, и вперед. Что ж теперь...

Кирилл Кириллович наконец-то смог немного повернуться вправо-влево и лучше рассмотреть говорящих. Обоим чуть, наверное, за шестьдесят. Тот, что справа, по виду бывший заводской управленец среднего звена, в очках, взгляд спокойный и внимательный, голова большая, лицо бледное с серым оттенком. Слева — очевидно, толковый, безотказный, скорее всего, рабочей профессии человек. Лицо открытое и бесхитростное, на голове кепка.

— А Нина Витальевна наша как, голубушка? Со вторым-то мужем заладились у нее? — спросил человек в кепке.

— Второго тоже не стало, — совершенно спокойно ответил тот, что в ондатровой шапке.

— Как это, тоже insult?

— Да нет. Помогли. Отравился, что-то съел. Стало плохо, температура сорок. Она и вызвала «скорую». Забрали на промывание желудка, а, когда это делали, умудрились проткнуть пищевод, вода как-то попала в легкие, еще чего-то там. Не стало человека.

— Надо же, — вяло удивился собеседник, — не везет Ниночке. Она такая всегда веселая была. Всегда с какими-нибудь смешными прибабасами.

— Теперь другие у нас у всех прибабасы. А едешь-то куда? — без всякого перехода спросила «шапка».

— Да за мышеловкой, такое дело: года три не было, а вчера бежит зверюга, маленькая такая, по кухне, жена в панике — на меня. А что я? Начал искать мышеловку, а она говорит: «Ты ж ее выкинул сам недавно в мусорное ведро». А я не помню — хоть убей, голова не работает после инсульта, прямо скажу.

— Так тебе тогда лучше не на Крытый рынок, а на Троицкий. Там всегда они были.

— У этих, ну, частников?

— Ну да.

Они помолчали.

— Ты, это, давай, крепись, такие когда-то дела делали, а? Помнишь, наш цех три года знамя не отдавал! Замах был как лучше сделать, потому и не жалели себя. Большинство таких было...

Кондуктор объявил остановку и человек в кепке шагнул к выходу.

— Ты постой. Куда?

— Да ты ж сказал, что лучше на Троицкий рынок, вот я и... пора мне выходить, — и он неловко протиснулся в полуоткрытую дверь.

Кондуктор лениво смотрела в окно в сторону пустой остановки. Кирилл Кириллович мельком взглянул на человека в китайском пуховике.

Лицо у него, как показалось ему, стало еще более землистого цвета, чем было.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ВОДОЛАЗ

— Я гляжу на тебя, Кириллыч, и думаю, а не свихнулся бы ты.

— Как так, Анна Панфиловна?

— Да так, иной раз на тебе лица нет, глаза красные. Навалилось на тебя столько, что троим не осилить. Этот год, что ты живешь супротив меня, я тебя узнала. Ты как мой покойный Никита, все в себе держишь, никому не доверяешь, чтобы не открыться. Инфаркты таких любит.

Соседка, возвращаясь из магазина, застала Касторгина у подъезда с двумя небольшими ковриками под мышкой.

Он открыл дверь и они вошли в подъезд.

— А что, муж болел? — спросил Кирилл Кириллович.

— Нет, иногда только сердечко шалило. Военная косточка, был, как строевая лошадь. И умер, можно сказать, на ходу. Когда сердце прихватило, уже в «скорой» был, попросил, чтобы я ему шахматы принесла — не хотел скучать в больнице. Принесла. Так с одними шахматами и уехал. Думал, ненадолго. Под утро скончался, сказали, обширный инфаркт. Я жена, вроде бы мне не очень можно верить, своя, но что уж мне, ведь скоро восемьдесят, что мне врать-то. Правду скажу — самоотверженный был человек и честный. Он бы не пережил теперешнее время ни за что. Обречен все равно был бы на инсульт или инфаркт. Он порядок любил.

Они поднялись на площадку второго этажа, где были их квартиры.

— Анна Панфиловна, проходите, — пригласил Касторгин, — проходите в переднюю, договорим.

Касторгин расстелил около двери пахнувший морозцем коврик, и они вошли в его квартиру. Соседка остановилась в прихожей. Не спеша огляделась.

— Да, хорошо-то как стало. А до этого тут два шалопая таких жили — кавардак был. Попивали с соседом сверху, жены намучились.

— Жить собирались, да вот пока ремонтировал после обмена, жена с дочкой уехали в Германию.

— Я вижу, ты не пьешь?

— Ну как... изредка.

– Вот-вот, у меня из головы это не идет. Жена ушла, с работы уволили, родственников рядом нет, друзей, как видно, тоже не очень много – и не пьешь? Свихнуться можно. Отклонения пойдут от линии жизни. Уж лучше, когда неумоготу, выпей, мужику это надо, по своему Никите знаю. Очень крепкий был – и враз под корень, крепкие-то ломаются быстро.

– Я не сломаюсь.

– Да ведь без забот, к которым привык всю жизнь человек, очень тяжело. По себе знаю, всю жизнь была то на комсомольской работе, то профсоюзной – в потоке жизни, ушла на пенсию – еле устояла. Сейчас мне вон сколько лет, а я активно себя веду, за жизнью слежу. А ты ходишь, как сыч, мудрый, но скучный и непонятный. Хорошая у тебя квартира, небольшая, а уютная.

Они прошли в гостиную и он усадил ее в кресло.

– Я, Анна Панфиловна, наркоманом стал, – сказал Касторгин из прихожей, куда он шагнул, чтобы повесить пальто.

Соседка ахнула:

– Ну у тебя и шутки, Кириллыч.

– Нет, правда, вот посмотрите, – он, вернувшись, взял со стола большую папку, раскрыл и вынул несколько листов.

Соседка водрузила на нос себе очки, болтавшиеся у нее на груди на тонкой веревочке, и начала ворошить листочки.

– Да, – протяжно сказала она. – И сколько таких стихов в этой папке?

– Больше сотни.

– Да-а... – вновь протянула Анна Панфиловна.

– Что? – насмешливо спросил Кирилл Кириллович. – Тяжело читать?

– Нет, надо переварить, ведь раз так писал, значит об этом много думал, так?

– Вроде бы так.

– Но ведь это плюс к тому, что с тобой творится лично?

– Не плюс, а то, что творится.

– Показывал кому-нибудь свои стихи?

– Да, одному умнику.

– И что он сказал?

– Ты, говорит, пишешь какие-то прибаутки. Как деревенский полудурок для свадьбы, только мата нет для перцу.

– Так прямо и сказал – такими словами?

– Да, он это любя, мы друзья.

— Вот послушай мои стихи, — она прикрыла глаза ладонью правой руки и, покачивая головой из стороны в сторону, пропела:

*Дорога моя подруга,
Что случилось на днях:
Полюбила гармониста
И запуталась в ремнях.*

— А вот еще, совсем другое:

*Я, бывало, ожидала
Хромовые сапоги.
А теперя ожидаю
Инвалида без ноги.*

— Вот мои стихи, прости Господи. Первую частушку пели мы до войны, а вот вторую — в войну, да... А у тебя как, — и она нараспев прочитала по листочку:

*Как наша жизнь расставила силки,
Такое выпало нам времечко.
На каждой башенке сидят стрелки
И целят прямо в темячко.*

— О чем это, Кирилл, а? Неужто паразиты какие тебе грозят, береги себя, сейчас все дозволено.

— Да нет, не все впрямую, это вообще так сказано.

— А вот знакомо:

*Экое грустное дело —
Тело мое постарело.
Душа осталась молодой,
И это не дает покоя!*

— Хочешь я расскажу тебе одну притчу.

Касторгин согласно кивнул головой.

— Вот как мне начать? Что я хотела сказать... да... вот включилась. Мы, люди все, продолжение первой нашей удачи. Только она становится символом последующей нашей удачной судьбы. Непонятно?

— Да пока не очень, — сказал Кирилл Кириллович, присев напротив соседки к столу.

— А вот слушай... Однажды Чингисхана спросили: «Ты герой, а мог бы ты сказать, каким знаком отмечен». Хан подумал и сказал: «Как-то, еще до восхождения на царство, я скакал по дороге и встретился с пятью, поджидавшими меня в засаде в кустах, чтобы убить. Я напал первым. Мне повезло, их стрелы пролетали мимо, а мой меч работал хорошо. Я перебил их всех. На обратном пути увидел на месте сражения пять лошадей, которых бродили без хозяев. Я забрал их и привел к се-

бе домой». Каков вывод, а? Мы с вами вначале — повелители своей судьбы, а потом — только исполнители. Вы отличный инженер, о вас «Волжская коммуна» писала, я диву давалась, сколько вы сделали, сколько у вас званий. Вы себе сами сделали судьбу, вы трудоголик, а потом — бац — и ушли от своей судьбы, не стали ее исполнителем, а зря. — Она невольно перешла на «вы». — Нельзя вам не работать. Вы должны работать — и по специальности. Судьбу, которую вы себе создали, должна теперь вами руководить, а вы ее ломаете. Вы меня должны слушать, ведь еще молодой человек по сравнению со мной, а я старый доперестроечный идеологический работник. Так вот. Натэ-ка ваши стешата, пойду, жарковато мне в пальто, да и пора, не люблю надоедать, — она погрозила слабеньким пальчиком и вышла, споткнувшись о порог.

Закрыв за соседкой дверь, Касторгин вернулся в большую комнату и сел в кресло. Машинально, по привычке, большим и безымянным пальцем левой руки помассировал виски.

— Да, — задумчиво произнес он, как бы продолжая начатый разговор с собой, — похож я на водолаза, который спустился на глубину и залег, и лишь шланг с воздухом соединяет меня с тем миром, что над водой, и шланг этот: мой приятель Владислав, моя соседка Анна Панфиловна, и телевизор с депутатскими дебатами, газеты и прочее, но... Но ведь это не жизнь... это суррогат жизни.

«Воздуха в легкие не хватает, вот что», — удивился он простой мысли, которая явилась будто сама собой и которая вдруг напомнила ему о разговоре с художником. Вот она: мысль пришла — и все ясно.

«Этот шланг, что остается для пенсионеров, он тонок, его не хватает. Его надо расширять. Расширять круг интересов, надо искать импульсы, которые заставляют любить жизнь. А ты, дружок, говоришь, что мысль — тупик, — вспомнил он слова Владислава, — взрыв, распад. А ни фига! Мысль — движение, движение к свету, к простору».

Он умиротворенно потянулся в кресле, да так, что послышался треск. Кирилл Кириллович озабоченно сунул руку между боковиной кресла и подушкой и обнаружил, что кожа слиплась в этом месте и с трудом поддается разъединению. А там, где ему это удалось, клочками порвалась и маленькими язычками болталась, обезобразив красивую поверхность.

— А, черт, — выругался он, — и тут халтура.

Он вспомнил, с каким удовольствием они вместе со Светланой покупали диван и эти два кресла на Нижней Полевой в магазине импортной мебели, как ей понравился темно-вишневый цвет кожи и что можно было заказать любой набор мебели — и все это аккуратно через месяц тебе

доставят аж из Австрии. «А впрочем, уже хорошо, что она этого не видит», — и он тут же забыл о кресле.

На смену пришла следующая догадка: «Это хорошо, что я начинаю замечать мелочи жизни, значит, начинаю всплывать».

Его мысли вернулись вновь на «круги своя». Он вспомнил недавний разговор с незнакомым стариком на набережной.

Кирилл Кириллович, гуляя вечером, обязательно доходил до голубых елей около бассейна ЦСКА. В тот раз, как обычно, выйдя из аллеи, он подошел к парапету напротив не работающего зимой фонтана и в задумчивости остановился. Бордовое солнце своим огромным диском окуналось в свинцово-тяжелую грядку облаков, заслонявших горизонт.

— Глядите, глядите на закат, полезно для зрения, — прозвучал неожиданно рядом голос.

Касторгин не заметил, как около него оказался сухонький старичок. «Похож на отца Болконского из «Войны и мира» Бондарчука», — подумал Кирилл.

Запросто разговорились. Всего он не запомнил, но отчетливо сейчас звучали слова старика, связанные с теперешними мыслями Касторгина:

— Знаете, я жизнь почувствовал, понял, только когда на пенсию в шестьдесят лет вышел, себя почувствовал, собой стал заниматься, в кино ходить, в театр. Масса интересных вещей в жизни, а мы впряглись в рабочую лямку, поднатужились и прем, не видя ничего. Пот глаза застит. А кругом, оказывается, красота. Вот вы молоды, заняты: работа, работа — и многое не видите. Я могу подтвердить из собственного стариковского опыта: огромнейшая прелесть в отстраненном созерцании жизни. А? Ну да, конечно: в молодых плоть, гормоны правят. Но всему свое время.

Касторгин удивлялся, слушая старика. Он даже не вступал с ним в диалог. Все было понятно, ясно донельзя. Но как-то теоретически, а вот он, Кирилл, живой пример — он не может смириться полностью с тем, что говорит старик.

«Ясно, почему не могу, — я пенсионер липовый, мне пятьдесят три, а ему восемьдесят, какие в эти годы желания, плоть еле дышит», — думал Касторгин.

Затем старик сказал то, что его сильно смутило. Было ли это случайностью, либо старичок был непростой, но на Кирилла Кирилловича это произвело большое впечатление:

— Тело подводит, стареет во сто крат быстрее, чем душа, понимаете ли, то ли создатель промахнулся, то ли сознательно так свершил.

Ну, это метафизика, а жизнь реальна. Конечно, маловато денег, не хватает на лекарства, а в остальном – это лучшее время моей жизни.

«Боже мой, – думал Кирилл Кириллович, глядя на старика, – его как будто кто ко мне прислал с этим разговором. Когда я подходил, его и не было. Откуда он взялся? Действительно: метафизика. Касторгин, а ты случайно не того, может, это все так и начинается, а уж в психушке потом у каждого по-своему?»

Он почему-то вспомнил, как умирала его бабушка, ее последние минуты. Находясь чаще без сознания, восьмидесятилетняя старуха в минуты просветления разума несколько раз сказала: «Живите, пока живется, радуйтесь». Но что поразило тогда Касторгина, так это ее поведение в последние секунды перед уходом. Варвара Ильинична резко приподнялась с постели, почти что сев на кровати, и головой с раскрытыми большими черными глазами повела слева направо, окидывая взглядом все, что было перед ней. Было видно, что она ненасытно вбирала в себя все: и домочадцев, которые растерянно стояли вроссыпь около, и все предметы комнаты, и саму комнату. Она вобрала это все в себя, будто желала, пускаясь в дальнюю дорогу, все унести с собой, удержать в себе. Она все запоминала, чтобы потом оттуда, издалека, видеть это все? Во взгляде была такая ненасытность, такое желание вместить в себя как можно больше, что ему стало не по себе. «Зачем ей это? – думал он тогда и сейчас. – Ей это для чего-то надо было, она подчинялась какому-то мощному инстинкту, данному ей сверху, или это только судороги, конвульсии умирающего существа? И что такое смерть? – впервые тогда остро задумался он, – не начало ли нового, отличного от того, что есть на этом свете, дальнего путешествия? И куда? И на сколько? Да, я, кажется, начал путаться в мыслях, для многих совсем ясных, для других вообще непонятных, но о которых они и не хотят думать, бегут от них. И, наверное, молодцы. И, может, оттого она так жадно вбирала в себя все, что совершенно четко понимала и знала в те последние секунды: то, что она имела, у нее потом уже никогда не будет вообще. Даже самой возможности вспомнить и пожелать не будет. Не будет ничего. Только глухота и бездна.

...Если бы кто-то сейчас случайно прочел мои мысли, ох и удивился бы моей дремучести. Ведь я, наверное, рассуждаю о многих вещах, как недоросль. Но ведь я, казалось, кое-что в жизни знал, думал о ней... Системно старался работать. Защитил диссертацию, то есть несколько лет мой мозг работал системно в определенном направлении и на уровне нынешней науки. Правда, прикладной науки, отраслевой, но, тем не менее, я не дикарь, вроде бы... Стоп, – почти вслух сказал он

сам себе, – а что же остальной народ, так же, как и я, болтается в неведении? Ведь это пропасть. Надо же было бы знать с начала жизни, знать, в каких мы координатах находимся, митрофанушки мы...

А я ведь сильно смахиваю на мою бабушку, по сути я тоже сейчас так веду себя, я многое стал замечать, все мне обостренно интересно, будто я хочу тоже вобрать в себя как можно больше: вдохнуть больше воздуха в легкие. Чтобы глубже нырнуть? А потом что будет? Я не знаю, что мною руководит больше: интерес к жизни вообще или интерес к себе в жизни. Надо еще разобраться».

Он встал, подошел задумчиво к окну, но не стал смотреть в него, а зачем-то поглаживал широкий подоконник, где местами краска, вспучившись, начала отлетать. «А ведь полгода не прошло, как красили подоконники-то, схалтурили мужички, может, и нет, просто я сам подгонял, когда готовили подоконники, очевидно, не просохло еще тогда дерево как надо, теперь, усыхая, ломает краску.

...Если бы написать повесть о том, что со мной происходит, интересно это было бы кому-нибудь или нет?» Он на секунду задумался и невольно утвердительно кивнул себе: «Кому-нибудь интересно наверняка было бы... «Записки Кирилла Кирилловича Касторгина» – так можно было бы назвать. Как «Повести Белкина», чего уж там скромничать, – усмехнулся он, – может, не до плеча, так хотя бы до пупка дотянуться, классик не осерчает».

Но тут же серьезно подумал: «А ведь допустим: есть лирика или мемуары гения, но ведь не все гении: может быть лирика и эссе обыкновенного человека. Она же тоже может быть интересна. Кому? Ну, хотя бы этой самой среднестатистической личности? Можно ли тут оперировать какой-то усредненной личностью, единицей, ведь живой человек в центре. Банально мыслю!»

Три буквы «К». Он вспомнил, что его иногда в школе называли Капитаном Кассио Кольхаун, как персонажа из «Всадника без головы», и помотал головой: может, и впрямь уже без головы, да и не всадник.

«А потом получились бы «Записки Кизила Кизиловича Касторкина». Наши заводские остряки не зря это мне приклеили: «Касторкин». Любят – знаю, но ведь кислятиной и занудливостью от меня изрядно несет. Хотя каждый специалист просто обязан быть чаще всего занудой, вредной, ведь ему истина нужна, вне того, как ее и кто будет пробовать на вкус и цвет. Истина, господа! Господа, ау, где вы, господа? Господ стало подозрительно много, а истина – одна, товарищи-господа. Истина, но не смысл. Не искать смысла. Поиск смысла нелеп. Смысл всему придает сам человек, его искать надо в себе. Разобраться в се-

бе. Поставить цель себе и сделать ее смыслом жизни. Но ведь сколько людей свою жизнь тратят на поиск смысла, обрекая себя на бессмысленность. Об этом можно писать романы. И не заболел ли я сам страстью? Я сейчас получаю энергии больше, чем трачу ее. Значит, должен наступить момент, когда ее надо будет отдавать – через конкретные дела. Все впереди?!»

...Касторгин однажды уже начинал писать повесть. Это было в 1986 году в Ленинграде, в общежитии Технологического института. Там на курсах повышения квалификации, куда его послали на месяц, была необычная атмосфера. Питерские преподаватели своей независимостью суждений будоражили умы производственников. Но по возвращении его захватили перестроечные события, которые бурно коснулись завода, и он просто не находил времени для своей затеи.

«...А фабула? Сюжет повести, какой бы он мог быть теперь? Ведь событий-то внешних нет. Да? Нет никаких.

А впрочем, сюжет прост: человек в работе и человек вне работы, вернее, без работы. Уж и название вроде бы получается «Безработный работник».

Трудоголик без похмелки...

Повесть об одном из нас.

Кажется, в тридцатом году в России было официально объявлено об отсутствии безработицы. В Москве была закрыта последняя биржа труда. Теперь же, по официальным данным, два миллиона безработных, а по утверждению профсоюзов, что наверняка вернее, около пятнадцати процентов населения. Чтобы показать все оттенки этого явления, надо побыть в числе этих двух миллионов... Мне вот, что называется, «повезло».

Но как писать? Его беспокоила одна мысль, которую он толком и сформулировать-то не смог бы, но она в нем давно зрела, в те, еще относительно благополучные годы, когда он, поглощенный наукой, работал над диссертацией, и тогда, когда уже стал главным инженером. Она в нем дремала и просыпалась периодически, заставляя недоумевать. Мысль эта была в том, что, начиная, может быть, с Гоголя, с его беспощадной гениальной способностью видеть все пороки и несовершенство жизни и указывать на них русскому человеку, как школьнику в школе, чрезмерно часто внушали, как много в человеке нехорошего. Но ведь жизнь была, она состояла и при Гоголе в значительной части из хороших людей. Ведь Россия обустроивалась, строились дороги, делались открытия... просто трудились, создавали, растили детей... Почему же великие писатели не видели этого созидания, почему оно не стало

предметом творчества гения? Или творчество всегда живет там, где раздразнит в душе? Ему нужен надрыв. А Салтыков-Щедрин? Неужто русский человек заслужил только такой оценки? Он иногда приходил, как он считал, к «чудовищной мысли», что мы сами, в том числе и писатели, культивировали в себе, не осознавая этого, то, что и определить одним словом трудно, но что наше общество привело к большим бедам. Литература, не замечая материального созидания, которое требует порой самых лучших человеческих качеств, пыталась созидать духовно, но столь своеобразным способом, настолько далеким от реальной жизни. А надо бы созидать и культуру жизни, в том числе, а может, в первую очередь ее материальную сторону.

Ведь железные дороги, красивые мосты, города не могли построить ни Чичиковы, ни Раскольниковы, ни Ромашовы? Жизнь делали другие. Где же они? Где тот дух, на котором не только держалось, но двигалось вперед Отечество. Мне, митрофанушке, трудно разобраться. Что-то, значит, есть неподъемное в этом вопросе, — сокрушенно думал Касторгин, — не могу я видеть человека вне его конкретного дела, которое он делает в жизни. Человек и дело его — это должно быть воедино связано. И это мое понимание пришло не в результате моей практической инженерной работы в течение двадцати пяти лет. Нет, очевидно, я просто такой, ведь я ценил конкретное дело всегда. Отсюда вывод: я — не художник, я — работяга. Самое лучшее, что я могу сделать за письменным столом, — это написать документальную повесть. Да. Это, очевидно, так. И хорошо, что я это понял...

А вдруг Гоголь вторую часть «Мертвых душ» потому и сжег, что понял: он не способен увидеть другое, отличное от того, что изображал, и не захотел выносить приговор русскому человеку, понял уже: и так переборщили литераторы. Обратный эффект получился. Или не могло быть другого? Какой иной гений ответит на этот вопрос? Или решится ответить?

И какова должна быть доля правды? Голая правда? Вся правда?

Но Ницше уже сказал, что правдивый человек в конце концов приходит к пониманию, что он всегда лжет.

Значит, правда, — рассуждал Касторгин, — она неуловима. Непостижима. Тогда что же есть цель пишущего? И как писать? — повторял он. — А так, как любила рассказывать истории моя мама! — произнес он и удивился сам себе. — Она всегда рассказывала так, что в конце, даже если и была грустная история, оставляла такие слова, что было радостно, ибо было просто и сокровенно. И хотелось многого и верилось во многое... А впрочем, у меня ведь когда-то была мысль, что неплохо

бы написать повесть о руководителе, деятельном и активном», — и он вспомнил настольную у него книгу немецкого писателя Х. Кнобок «Трудно быть директором».

Она действительно могла быть метафорой, если ее только искусно «развернуть», целого романа. Или «пружиной», как ее назвал Касторгин. Ее стоит привести, эту «пружину»:

«...Директор всегда, как на ладошке, всегда на виду. Придет на работу вовремя, говорят: «Ишь прибежал спозаранку, хочет нам очки втереть». Придет поздно, скажут с иронией: «Начальство не опаздывает, начальство — задерживается». Поинтересуется, как жена, как дети, — «сует нос не в свое дело». Не поинтересуется — «ну и черствый же человек!» Спросит: «Какие есть предложения?» — сразу шепот: «Сам никаких, видимо, не имеет». Не спросит — «к голосу коллектива не прислушивается!» Решает вопрос быстро — «тороплив, не хочет думать». Решает медленно — «нерешительный, перестраховщик». Требуется новую штатную единицу — «раздувает штаты». Решит: «Справимся своими силами» — недовольны: «На нас выехать хочет». Обходится без указаний сверху — «вольнодумствует». Выполняет указания точно — «старый бюрократ». Начнет шутить — «без щекотки не засмеешься». Не шутит — ворчат: «Хоть раз видели на лице его улыбку?» Держится по-дружески — «хочет втереться в доверие». Держится обособленно — «сухарь, зазнайка». Дела идут хорошо — «в конечном счете, это мы работаем». Снимают за невыполнение плана — «поделом, так ему и надо! Он один виноват».

«Может, замахнуться все-таки на повесть? Зарыться месяца на три-четыре. При такой усидчивости, какая была всегда у меня что-нибудь да выйдет. Разрядиться надо, иначе, того гляди, пыжи сами полетят, — крутилось в голове». Но тут же себя одернул: «Не реваншист ли в тебе сидит, хочешь одним махом за все годы оправдаться, что когда-то изменил литературе, отклонился от намеченной цели».

Чуть позже, уже охлажденным умом, прикидывал: «Вот Толстой или Достоевский в наш век, в наше время, о чем бы они написали? О человеке, но в каких перипетиях?.. О перестройке все сейчас молчат».

Сравнивая себя с водолазом, он припомнил присказку старосты их студенческой группы, вечно неунывающего «одессита» из Тихорецка Бутова. Говорил Бутов ее всегда серьезно и авторитетно:

— Знаешь, какая самая первая заповедь у водолазов? Если не знаешь — скажу: не писать в скафандр, а все остальное — мелочи.

...Временами Касторгин испытывал большой душевный подъем. Он верил: жизнь для него не остановилась. Странно, ему не хотелось вер-

нуться назад, туда, где было все успешно. Он сейчас как бы очнулся от водоворота своих дел и увидел нечто иное. Жизненные пружины сейчас толкали его к какому-то действию или бездействию, но было в этом что-то все-таки увлекательное, хотя и непонятное ему. Он временами попадал как бы в невесомость. Привыкший четко, логически мыслить, Касторгин теперь не мог сформулировать, что с ним такое происходит, и что странно — кажется, не торопился этого делать.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

НЕПРИКАЯННЫЙ

— Вчера был в Нефтегорске, в читалке попался номер газеты «Луч», где Николай Переяслов хвалит книжку стихов тамошнего поэта, кажется, Самойленко. Зачем ему это надо? Стихи-то в этой книжке слабенькие. Хвалил бы уж лучше Сиротина — без промаха...

Говоривший эти слова поджарый, внешне похожий на странную дикую птицу человек был бледен. Белокурые волосы его спадали на плечи, и он их нервно поправлял левой рукой, правая была в кармане темного пиджака.

Касторгин вошел в ресторанчик «У Линде» наугад, пропустить кружечку пива. И был рад неожиданной встрече: в углу, напротив говорившего, сидел Владислав, который тут же приветливо помахал рукой. Кирилл сел за столик, напротив Владислава.

— Ребята, познакомьтесь, — улучив момент, когда замолк белокурый парень, произнес Владислав, — это мой приятель Кирилл Касторгин.

Кирилл Кириллович кивнул головой.

— Владимир Бережнов, — назвалса белокурый и тут же спросил Касторгина: — Вы кто?

— Вообще-то человек, а так — инженер.

— Не из Новокуйбышевска?

— Почему я должен быть из Новокуйбышевска? — дружелюбно усмехнулся Кирилл Кириллович.

— В Новокуйбышевске живет сейчас первоклассная поэтесса: Диана Кан, мы с ней знакомы по Оренбургу. Это будущее нашей поэзии. Это уровень Анны Ахматовой, понимаете?

— Но причем здесь я? — терпеливо переспросил Касторгин, а Владислав улыбнулся в усы.

— Мы все здесь причем, — резко оживившись, с нажимом сказал Владимир. — Они с мужем, Евгением Семичевым, нашим самарским Николаем

Рубцовым, окончив Высшие литературный курсы, приехали в Новокуйбышевск. И, смешно, живут в крохотной комнатухе заводского общежития. Нам не стыдно? Всем нам не стыдно? Разве когда они поэзией заработают на квартиру? Сроду не купят. А талант в мытарствах стубят. Если бы моя воля, то я им дал бы квартиру в первую очередь. Куда смотрит власть? Все мы?

Касторгину не хотелось спорить, вообще он не готов был к каким-либо разговорам, зашел пива попить, а тут — великие проблемы. Он припал губами к кружке, надеясь, что его оставят в покое. Без остановки с удовольствием выпил половину и поднял голову. Нельзя было долго смотреть в синие глаза блондина, они завораживали. И Кирилл Кириллович уже был готов согласиться с тем, что говорил Владимир, но что-то мешало этому, мелькала мысль: не так, что-то здесь не так...

— А как ты оказался в Нефтегорске? — спросил Владислав и это несколько изменило, казалось, тему разговора.

— Меня пригласил один тамошний учитель, мой приятель Аркаша. Он из Кулешовки. Мне интересно. Я не деревенский. Я и не городской. Я — никакой. У меня нет родины. Отец мой из этих мест, но он окончил военное летное училище, долго служил за границей, последнее время в Германии, вернулись в Россию, вернее, они с матерью вернулись в Россию, а я родился за границей, поэтому я не знаю, как вернее о себе говорить. В девяностом году поступил в Самаре в институт, второй год аспирант кафедры «Технология нефти и газа». Впереди сумрак, начавшийся с нашей неудачной перестройки. Деревню не знаю, но хочу знать. Очевидно, гены моего деда срабатывают. В Кулешовке дом его еще стоит. Но ни деда, ни отца уже нет. Случилось так, что начал писать стихи. Необъяснимо, непонятно мне самому — почему. Когда умер отец, мать вышла за другого. Счастлива. Непостижимо, как можно быть счастливой во втором замужестве в пятьдесят лет до такой степени, чтобы месяцами не проявлять желания хотя бы увидеть меня. Недавно в Оренбурге случайно встретились у театра, она со своим сановным образованным дураком, я — с Леночкой. Может, мы как-то и по-другому повели себя, но за ее спиной маячила фигура местного поэта, претендующего на российскую известность, — Евгения Вдовина, а на самом деле сдающего пустые бутылки. Да-с, его стихи — пустые бутылки. И меня заклонило. «Володечка, привет!» — «Привет, мамуля!» Больше она ничего не сказала и я больше ничего не сказал. «Мы только знакомы, как странно». Я смотрел на Вдовина, тот же делал вид, что меня не узнает, глядел поверх голов, словно боялся что-то расплескать в себе, истовый и отрешенный. Ну прямо как Блок. Наши областные поэты, за редким

исключением, — говно! Я это точно понял, когда он сидел в фойе типографии, окруженный мужиками с помятыми лицами и пиджаками: один — главный редактор издательства, другой — бывший секретарь отделения Союза писателей, третий — тоже чиновник... Сами пишут — сами себя издают. Нужна свежая кровь, вы понимаете, све-жа-я! Нужны непричесанные мужики, а не те, что, став членом Союза, как раньше было, через каждые два года получали полную гарантию на издание очередной своей книжки. Так я думал, глядя на них. Мне показалось, что я подходил под «непричесанных и свежих», поэтому я подошел к ним и протянул серую тетрадь: «Евгений Кимович, посмотрите мои стихи». — «Вы кто?» — он нехотя посмотрел то ли на меня, то ли сквозь мое лицо в окно напротив. «Человек, который пишет», — ответил я. «Да? Технарь, я так понимаю». — «Не понял, что вы поняли?» — «Вуз технический у вас». «Да, на втором в политехе в Куйбышеве». — «Ясно, печатались где-нибудь?» — «Нет пока». Он вяло посмотрел на меня и вдруг обескураживающе: «Знаешь, брат, я свои стихи никак в порядок не приведу, а еще на той неделе должен был отдать редактору, давай как-нибудь в другой раз. Тут столько вокруг словесного поноса, я задыхаюсь просто. Давай в другой раз». Я твердо решил: другого раза у меня с ним не будет.

— Но ты ведь печатался в самарских газетах, в одной, помню, целая подборка была, — проговорил Владислав.

— Я сейчас пишу в стол. Хрен с ними со всеми. Может, это и хорошо.

— Что хорошо? — спросил тот, что сидел слева от поэта и которого, как потом оказалось, звали Виктором.

— А то, что я один, а по другую сторону — все. Я — один, — чеканно повторил он, — а по другую сторону — весь мир, все вы. Подмянуть под себя время — удел художника. Я все равно стану крупным российским поэтом. Как говорится, мог стать генералом, а стану самим собой. И Нобелевская премия будет моей.

— Лихо, — не удержавшись, обронил Касторгин.

— Вот именно: лихо! — воскликнул Владимир и так стукнул пустой кружкой по столу, что бородатый бармен, выглянув из-за загородки, посмотрел в их сторону.

«Кажется, возможна драка, — флегматично подумал Кирилл Кириллович, — и одним из участников сделают меня, черти. Давно не приходилось...»

Драться ему не хотелось.

— Он что, с пива такой? — шепнул он Владиславу.

– Да нет, сам видишь: кураж ему нужен.

Действительно, блондин, как ни в чем не бывало, вынул совершенно чистый, сверкающий белизной платок, промокнул как-то очень бережно свои пухлые губки, будто поласкал их, и произнес:

– Вот вам на прощанье, берите! – И нараспев начал читать трубным, как будто чужим, завораживающим голосом:

*О, Согдиана, родина моя.
Я руку протяну, а ты отпрянешь.
И острие дамасского копья,
Обороняясь, в грудь мою направишь.
Но не спасет усталый бог огня
Тебя, коль в нем еще остался разум,
Ни от стихов моих, ни от меня,
Ни от моих потомков сероглазых.
Они взойдут однажды все равно –
Суровые, как северное солнце.
В крови их, будто древнее вино,
Седая азиатчина всплеснется.
Пустынный ветер, словно паруса,
Раздует их славянские хитоны...
Моим потомкам, посмотрев в глаза,
Ты вспомнишь византийские иконы.*

– Это кто? – спросил Владислав.

– Диана Кан, этническая кореянка, по материнской линии – русская казачка. Ей бы возглавить в Оренбурге писательскую организацию. Она же черт с рогами. Всех расшевелит.

– Да, – неопределенно сказал Владислав, – не слыхал про такую.

– «Как салат из омара, розовеет Самара», – вдруг произнес с пафосом один из парней, сидевший справа от Касторгина. – Тебе это нравится, Владимир?

– Это двустишие, по-моему, Андрей Вознесенский написал в прошлый приезд в вашу сонную Самару. Вы любите приглашать знаменитостей типа Владимира Войновича, Василия Аксенова, Александра Кушнера. Неплохо сказал. Мастер.

– Но это же стихи не русского поэта, он даже не понимает, что многие из россиян омаров и в глаза не видели. Это же буржуазная поэзия. Тоже мне космополиты. Сосиску не каждый купит – цены кусаются, а тут – омары. – Он замолчал, но тут же вновь вострепнулся. – Космополиты хреновы. Лишь бы свободу проповедовать. Выпендрейники.

Сказав последнее слово, сосед Касторгина взглянул на Владислава, словно ожидая отпора, но, странное дело, тот беспечно махнул рукой:

– Ну сказал поэт и сказал, так захотелось!

– У вас в Самаре есть свои настоящие поэты, вот Чепурных, – продолжал менторским тоном Владимир. Он вынул из кармана маленькую книжечку, покопался в ней и меж страничек отыскал рукописный текст на узком листочке:

*Наскальной живописи плач
Нестертый варварской рукою:
Укрывшийся в закатный плащ,
Проходит город над рекою.
Туда, где длится Божий свет
В отливке огненного шара
И стая птиц – жаль, птицы нет
С красивым именем Самара.*

Голос, ставший проникновенным и тихим, дьявольски завораживал, несмотря на дерзость поведения его владельца. Кончив читать, Владимир, безнадежно махнув рукой, сразу на всю компанию, направился к выходу. Касторгин молча смотрел на удаляющегося поэта, а в ушах стоял его голос: «Я никакой: ни городской, ни деревенский – и в этом залог моего таланта». Что это: простая бравада или в этом что-то все-таки есть?

«Нужны космополиты! Наш двадцать первый век – их век! Надо давно выйти за свою околицу и не только деревенскую», – продолжали звучать слова блондина.

«У этого не будет отклонения», – без зависти подумал Кирилл Кириллович. И тут он вспомнил пронизывающие душу слова другого блондина с голубыми глазами:

*Но более всего любовь к родному краю
Меня томила, мучила и жгла.*

И успокоился. Только молча утвердительно покачал головой под недоумевающим взглядом Владислава.

«И Диана Кан без своих корней – ничто», – мысль эта пришла вдогонку к остальным, и он улыбнулся то ли в адрес незнакомой ему кореянке, то ли тому блондину, который всего двумя строчками все поставил на место и обессмертил в веках село свое – Константиново.

– Все поэты по-своему пророки, – задумчиво произнес Владислав.

– И этот мальчик? – улыбнулся Касторгин.

– Видишь ли, живописцы хоть как-то защищены от тупика, к которому приводит мысль поэтов-пророков, их это и корежит. Мы с тобой об этом говорили уже.

– А к чему она приводит, мысль поэта?

– К тому, что жизнь по сути большая бессмыслица и с этим надо смириться.

– Нет, я не согласен, – мотнул головой Касторгин, – не всегда и не у всех. Жизнь – тайна, которая есть наше вечное и великое мучение – это Бунин.

– Но смерть – еще большая тайна.

*– Все мудрецы друг друга повторяют,
Я б упрекать их не посмел,
Коль и они не понимают
Того, что я понять хотел*

– Кто это? – Владислав внимательно взглянул на Касторгина.

– Какая разница! Я думаю, наитие, интуиция настоящего художника не должны допускать его мозг до утверждения того, что все – бессмыслица. Настоящий художник должен остановиться на понимании невозможности осознать до конца сущее. Во всем есть тайна, но не тупик и бессмыслица. Осознание непостижимости многих вещей на свете – это удел и пророка, и художника, как ни парадоксально...

ПРАВИЛЬНО СТАВИТЬ ЗАДАЧИ

Пока двое незнакомцев провожали поэта, Касторгин успел уточнить, кто они такие. Просто приятели художника. Ударились оба в коммерцию от нужды. Были хорошими инженерами. Оформляют свой маленький офис. Владислав им помогает. Тот, что пониже ростом и постарше, – Аркадий, помоложе и посветлее – Виктор. Первый – химик, второй – авиационщик.

– Посадили пророка в троллейбус, доберется, – сказал тот, что посветлее.

– Многовато у нас пророков что-то стало в отечестве, – неожиданно для себя сказал Касторгин, ни к кому не обращаясь.

– Ага, – неожиданно живо и словоохотливо отозвался Аркадий, – их сейчас везде много. Этот вот, которого проводили, мой дальний родственник, в литературе пытается шаманить. Другие – в политике. Я был в июне в Москве на первом съезде Российских химиков, – задумчиво проговорил Аркадий. – Выступая на нем, Аркадий Вольский рассказал маленький анекдот. «Корреспондент берет интервью у двух экономистов, один из них пессимист, другой – оптимист. На вопрос: «Каковы дела в

экономике?» — пессимист ответил: «Плохи, очень плохи». На тот же вопрос оптимист отреагировал так: «Плохи, очень плохи, а будут еще хуже!»

— Он прав, вот он пророк! — невесело засмеялся Виктор.

— Кто? — Аркадий пододвинул к себе кружку с пивом, но не торопился пить.

— И Вольский, и экономист-оптимист — правы. Но химики вроде бы на подъеме сейчас, — продолжал Виктор, — я недавно разговаривал с Евгением Узиловым, возглавляющим АОТ «Бытовая химия». Они в последние годы наработали собственные оборотные средства, которые потеряли в начале девяностых годов. Сейчас у них и с сырьем вопросов нет.

— Ну что ты, Виктор, говоришь, — досадливо махнул рукой Аркадий. — Это же не пример. Ну, трудится у него триста человек всего. Они нашли себя, это хорошо. Но крупнотоннажная нефтехимия? Возьми, к примеру, АО «Фосфор». Там уже не кризис, а паралич. Я хорошо знаю директора Станислава Пименова. Когда-то еще Кунаев с Назарбаевым бросили его на поднятие фосфорного производства в Джамбуле, затем уже наше союзное руководство направило в Тольятти после аварии на заводе. Он восстановил производство и здесь. Но настали иные времена. Источники сырья — фосфоритной руды — находятся в Казахстане. Сегодня это заграница. Кроме того, контрольные пакеты акций рудников недавно перекупила американская фирма и моментально взвинтила цены в три раза. За последние годы электроэнергия подорожала в двадцать один раз, а цена их продукции выросла только в одиннадцать раз. У них мощность одной только печи пятьдесят мегаватт в час — это на уровне потребления энергии всего Волжского Автозавода. Вот и пошло, и поехало.

— Да, я понимаю, энергетики здорово посадили химиков.

— Да нет, не так, — опять встрепенулся Аркадий. — Если быть корректным, химиков посадили не энергетики, а непродуманная политика ценообразования. Да, химия в упадке. Юрий Петрович Самарин, ректор СамГТУ, говорит, что они вдвое сократили подготовку инженеров-химиков. Но суть в том, что сама энергетическая система, хотя она и оказалась в более выгодном положении, ничего существенного за последние годы не внедрила у себя, техническое перевооружение в загоне. Причина та же — не хватает денег.

Было видно, что диагнозы, которые Аркадий пытается ставить, даются ему с внутренней душевной болью.

— Тяжело, — продолжал он, — ведь если будет установка всерьез поднимать всю промышленность, то надо в первую очередь поднимать

энергетику, без нее все остальное ничто. Значит, до химии руки дойдут не скоро.

— Нам сейчас нужен Александр III. Царь-мироносец. Сто лет назад в его правление, это 1881–1894 годы, так, по-моему, Россия не вела ни одной войны, занимаясь экономикой, культурой, наукой. Он все положил на развитие русской промышленности как залога независимости и зрелости, всякого вида прогресса. Почитайте литературу. Были и во власти мужики стоящие, — говоря это, Виктор диковато вращал белками своих черных глаз.

«При таком диковатом виде такая начитанность», — подумалось Кириллу, но в тот же момент его обожгла фраза Аркадия:

— Этой осенью все грохнется.

— Да ладно тебе, сколько уж раз нас по осени пугали, — не согласился Виктор.

— Нечего ладить, все натянулось, как струна, все искусственно держится на нереальном курсе доллара. Временно — да, обе наши столицы обеспечены продовольствием, да и мы, наша провинция — тоже, за счет привозного из-за бугра. Но ведь экспортеры, например, химики, они страдают от самодельного курса, они стали убыточны. Промышленность отечественная рухнет. Сейчас более сорока процентов предприятий убыточны. У нас одиннадцать процентов населения в девяносто седьмом году — нищие, пятьдесят процентов — полубедные.

— Что же делать? — театрально воздев руки над головой, глядя большими круглыми несмекшимися глазами, спросил Виктор.

— Для начала, — усмехнувшись уныло, предложил Аркадий, — собирай зеленые и храни только в чулке либо под матрасом, такова особенность нашей национальной экономики.

— У россиян уже столько лежит под матрасом, что хватило бы расчитаться с Международным валютным фондом либо, вложив в собственную экономику, уйти от накатывающегося кризиса.

— А кто отдаст свои кровные, пока не поверит, что ему их вернут потом? — вступил в разговор Касторгин, давно думавший об этой проблеме. — Вот поверил бы, принял бы национальную идею, понятную всем, и — вперед. А то — ни веры у многих, ни идеи нет.

— Я мог бы сформулировать суть национальной идеи, — вмешался в разговор Владислав, — она ведь проста, ее многие могут определить: это единение интересов простого человека, моих, твоих, отечества, нет, не отечества, в данном случае, а государства, то есть власти, иначе говоря — взаимная любовь.

— Ты — художник, у тебя любовь, красота, вселенная — твои критерии. А я бы сказал проще, как технарь, — Виктор выпрямился за столом, отодвинул в сторону кружку с пивом и, став в одну минуту похожим на председателя цехового или заводского комитета профсоюза, почти официально и лаконично произнес: — Что нам, в основном, не хватает? — и сам же ответил: — Нормальной среды обитания. Надо, чтобы мы дышали чистым воздухом, пили хорошую воду, сносно питались, имели рабочие места и могли воспитывать и учить детей. Вот ведь почти все, так?

— Так-то так, — согласился Владислав, но чувствовалось, что внутри его сознания что-то не складывается. Grimаса омрачила его лицо и, как бы очнувшись либо оттолкнувшись от чего-то внутренне труднопреодолимого, он сказал, скорее, похоже, самому себе: — Нужны любовь или хотя бы взаимопонимание между народом и властью, но у нас, у русских, ведь не так, как на Западе: русский человек, как правило, издревле не желает быть во власти, понимаешь, у него, русского человека, извечное желание переключать чуждое бремя власти — на другого. Русский человек легко отдаст власть другому. И нынче, поэтому, в российской власти не самые лучшие. Ведь как строилось все веками: на самовластье, крутой воле, не знавшей предела, а с другой стороны — на долготерпении. Где уж тут любовь, взаимопонимание? Мираж. Хотя, конечно, были и у нас периоды единения...

— Но ты же сам заговорил про любовь, взаимную любовь, — недоуменно взглянул на него Кирилл Кириллович, давно забывший свою кружку и внимательно наблюдавший за лицом Владислава.

Ему сначала показался начатый разговор обычной дежурной приправой к приятельской посиделке, но что-то неосознанно и сильно влекло его к разговору, даже к мимике лиц и движений говорящих. Он не заметил, как становился неким фиксатором, свидетелем простого течения обычной жизни, но эти наблюдения, эти разговоры, несмотря на их иногда отрывочность и тривиальность, давали ему некую возможность внутри себя создать опору. Он даже не догадывался пока, что они станут тем материалом, владение которым заставит властно устремиться к попытке сказать свое слово. А пока он слушал Владислава: — Я желаю этого, я знаю, что нельзя, чтобы власть была на грани света и мрака, должна быть третья составляющая между светом и мраком. Нельзя доброму человеку отказываться от власти, иначе ее возьмут злые. Третье: это наше земное бытие, быт, его устройство — им надо заниматься. Надо понять, смириться, что мы должны учиться у Запада жизни.

— Я учился в Академии менеджмента в Германии, — живо откликнулся Виктор, — еще в восемьдесят седьмом году, ну и что? — Он необычно для его возраста поднял, как школьник, правую руку, повертел ладонью, потом театрально дунул на нее. — В нашей инфарктной системе господам западным учителям самим не сработать. Я это точно понял. Они могут научить работать в своих условиях, педантично отшлифованных годами. Здесь ты, Владислав, не прав.

— Я несколько не о том, — мягко возразил художник. — Надо брать уроки у Запада. Опора для будущей России: человек и его права.

— Все это понятно, мужики, — вмешался терпеливо молчавший Аркадий, — из всех этих необычных для художника наукообразных мыслей я понял одно: до всеобщего счастья и любви нам очень и очень далеко. Идеи нужны идеологам. А идеологи больше-то нужны самим себе. Жить надо, работать, любить, верить — вот она, национальная идея. Вот оно, счастье.

— Это совсем другой разговор, — быстро отпарировал художник. — Будешь ли ты счастлив или нет, уже заложено на генетическом уровне, я читал об этом... Если просто и коротко: одна категория людей склонна видеть вот, например, твою пивную кружку наполовину полной, а другая — наполовину пустой. Ни карьера, ни внезапное наследство не делают человека надежно счастливым. Счастье — это сумма повседневных мелочей и оно проявляется в самореализации.

— Да, — преувеличенно бодро согласился Виктор и хихикнул. — А все-таки я себе долю для полного счастья. — Он встал и пошел к барной стойке, бормоча добродушно: — Что-то я притомился от серьезных разговоров.

...В тот вечер Касторгин вернулся домой поздно. Неспешно разделся, спать не хотелось, что-то мешало заснуть и распрощаться с этим вечером, будто чувствовал, что мысленно он будет еще возвращаться к разговору, который состоялся, будет прислушиваться к себе, улавливая начало какой-то новой работы в себе, будто догадываясь, что нечто иное родится в нем.

Когда засыпал, вдруг вспомнил слова Виктора, вернувшегося с полной кружкой к столу, там, в ресторанчике:

— Нас ведь дурачат: чуть не все кругом в мире хотят вдолбить нам, что мы, Россия, — нищая страна, но наша страна — самая богатая. У нас сейчас время нищее духом. Стержень пропал. И не будем упрощать, господа хорошие! Говорите: надежда иссякает, нет надежного сценария развития? А я вам скажу, — он произносил эти слова, словно подзарядившись от какого-то невидимого источника энергии, веско,

уверенно, не вступая в спор, вынося как бы давно кем-то и где-то твердое решенное, – могут свершиться совсем неправдоподобные превращения. Развитие общества как такового не однолинейное движение. Часто говорят: развитие идет по спирали, витками. Да нет же. Развитие идет чаще всего зигзагами. И нечего политологам умно и критически морщить лбы на мои слова. Не виток, а зигзаг. Посмотрите на коммунокапиталистический Китай! Огромный прорыв! И не надо нас прямолинейно оценивать. Не все потеряно – вот лозунг, который надо взять на вооружение.

«Не все потеряно, – повторил Кирилл Кириллович, глядя в иссиня-белый потолок, – универсальный ведь лозунг, он и для всех нас, и для меня персонально». Так он думал, совершенно органично, не отделяя себя ото всех, но и не теряя себя самого во всех. Он, наверное, чувствовал давно так себя, частицей чего-то большого и целого, но осознанно стал это замечать в последнее время, когда приобрел привычку говорить свои мысли вслух, разговаривая сам с собой, иногда бормоча на ходу.

– Но не демагоги ли мы с тобой, Виктор? – проговорил Касторгин, все так же не меняя позы. – Ведь все слова, слова. Поступки где?

Но тут же, начиная успокаиваться, вспомнил другой рецепт Виктора, который он не сразу мог определить: слова это или уже почти поступки.

– Надо правильно ставить задачи и правильно их решать, – сказал Виктор на прощанье, когда уже жал руку Касторгину и белозубо улыбался. Вот белозубая улыбка и смущала Кирилла Кирилловича.

«Чему радоваться-то, разве ж своей правоте, но ведь это сейчас такая малость по сравнению с тем, что надо делать в целом».

УЧЕНЬИ ЛЕВ И ДРУГИЕ

Касторгину запал в душу разговор в кафе «У Линде». И когда позвонил Владислав из своей мастерской, он обрадовался.

– Послушай, у меня Аркадий и Виктор: пивка захотели плотнуть, я гонца послал, приходи. И потом, – приглушенно говорил в трубке Владислав, – они забавного гостя привели. Совершенно замечательный, и я спровоцировал интересный для тебя разговор. Тебе это надо. У них уже перья летят по всей мастерской. Гость – доктор психологии, москвич, тебе такие чудачки нужны, а то ты слишком правильный.

Кирилл стал быстро собираться.

Лифт не работал и, когда Касторгин поднимался пешком, на шестом этаже столкнулся с артистом филармонии Геннадием Матюхиным:

– Привет! От Владислава?

– Да, знал, что вы придете, но вот – надо срочно отлучиться.

– Да ладно... – начал было Кирилл Кириллович. Ему всегда было радостно видеть этого неумемного человека. Его энергия заражала.

– У меня междугородный телефонный разговор должен состояться, связанный с моим центром.

– Каким центром?

– Я же говорил: я пытаюсь зарегистрировать у нас «Самарский литературный центр Василия Шукшина».

Желая удержать Матюхина, Кирилл Кириллович предложил:

– Так переведи разговор на телефон Владислава.

– Да ты что, – замахал артист руками, – у меня разговор будет с Анатолием Заболоцким, другом Шукшина. Мне нужно быть у себя. А там, – он ткнул воздух над головой указательным пальцем, – мировые проблемы решаются – голова кругом. Не дадут поговорить.

В мастерской Кирилл Кириллович увидел живописную картину: сам хозяин сидел на грубом табурете около повернутой тыльной стороной картины со стаканом пива в руке. Перья, очевидно, уже осели и можно было в ярком освещении, которое было всегда, когда приходил Касторгин, отчетливо видеть присутствующих. Их было трое: знакомые Аркадий и Виктор и неизвестный человек, худенький, маленький, в мышинового цвета костюме, зеленом галстуке и с бритой головой.

Едва Касторгин вошел, маленький человек пружинистыми шажками прошел от центра комнаты и присел к столу. Когда их познакомили, он представился кратко:

– Лев Бруновский, психолог, – голос у него оказался тихим и очень уверенным.

– Кирилл Касторгин, такой же, как мы, спорщик, – вдруг ненатурально произнес художник, – одному тебе, Лев, с нами не справиться.

Лев никак не отреагировал вначале на непонятную для Кирилла Кирилловича фразу Владислава, но затем, после затянувшейся паузы, отпив глоток пива, совершенно независимо и с подкупающей искренностью, как-то обезоруживающе, проговорил:

– И все-таки жизнь надо не торопиться переделывать, ее надо почувствовать, понять. Жизнь надо увидеть, а уж потом она преобразится. Жизнь надо увидеть.

– Но ведь нас всегда учили, что бытие определяет сознание. Мы все уже с этим почти согласились? – это сказал Виктор, и Касторгину

показалось, что Виктор знает ответ, знает, по крайней мере, где и как его искать, а задает обычно вопрос или возражает только для того, чтобы подкрепить свои мысли, которые вьются в его курчавой голове.

— Я думаю, что с точки зрения психологов на сегодня это не вполне адекватная и чрезвычайная крайность.

— Значит все-таки сознание определяет бытие, — даже как-то сурово проговорил Аркадий, будто выносил вердикт марксистскому материалистическому тезису.

Нисколько не стесняясь игрушечности своей фигуры, своих маленьких шажков и напористости бородачей-спорщиков, Лев монотонным голосом, немножко даже, как показалось Касторгину, бравируя, продолжал:

— Ломая крайности обоих этих идеологий, мы разрабатываем свою позицию: надо было давно увидеть, что не бытие само по себе и не психика сама по себе, а — мы, люди, являемся творцами исторического процесса. Люди своими успехами, ошибками творят действительность. Особенно творческие люди.

«Что это? — недоумевал про себя Касторгин, — ведь это похоже на шаманство, он уходит от ответа, причем, очевидно и демагогически. Или я что-то не понимаю, или только так можно дать ответ на этот вполне неразрешимый вопрос. Такие вот споры, ответы на вопросы, они вообще — нужны ли Анне Панфиловне, бывшим моим главным специалистам на заводе, рабочим, наконец? Столько мы говорим обо всем. Разговоры, разговоры... А не выродимся ли в разговорах-то, без дела?.. Что с нами сейчас происходит со всеми? Тот разлом, который сейчас проходит через наши души, формируя новые, еще пока необычные и непонятные качества, мобилизует или расшатывает человека?»

— Вот смотрите, — меж тем продолжал Лев, сбитый все-таки с магистральной вечных тем на обочину, поближе к реальной жизни, — кризис в экономике сильнее всех ударил по пенсионерам. Но одни из них пошли торговать, а другие — стоять с протянутой рукой. Да, пришлось ломать свою психологию, стереотипы мышления, но, кто пошел, хоть на такую работу, тот добился результата, улучшил свое материальное состояние.

— Какое это улучшение? И что этот пример доказывает? — не выдержал Аркадий, — ведь государство совершило большую ошибку: раз у нас рыночная экономика, то вот вам полная свобода и самостоятельность. Государство стремилось вообще не участвовать в регулировании экономики, в результате очень многие, если не большинство, включая пенсионеров, оказались жертвами государства, непонимающего своей роли, — он замолчал и вдруг спросил дружеским, каким-то ставшим то ли безна-

дежным, то ли все-таки из уважения к собеседнику, ученому-психологу, ласковым голосом: — Лев, вот ты еще до перестройки работал в своем институте психологии, ну, что вы там, неужели не могли своими разработками влиять на принятие решений на самых разных уровнях? А то сейчас начали говорить: не тот менталитет, не была учтена особая ментальность нашего народа, ведь перестройка-то неудачная.

— Да, было. В конце восьмидесятых институт рекомендовал дать полную свободу прибалтийским республикам. Куда там, кто будет слушать... кажется, сейчас можно констатировать, вот вы, технари, вам интересно: рабочие сейчас ведь начали ценить своих руководителей по тому, как они умеют работать в рыночных условиях, неважно, какой он человек, лишь бы зарплату руководитель платил.

«Это мы уже проходили, — подумал Касторгин, — это нам неинтересно».

Маленький и бодрый, уверенный в своей правоте человек потом еще говорил долго, но у Кирилла пропал интерес слушать, он больше рассматривал пейзажи хозяина. А Лев между тем продолжал:

— Очень много вреда от того, что в России долго культивировалось насилие, вернее — разрушительство. Это шло издавека, это усилили в свое время Бакунин и Нечаев. Сращивание революционности с разбойничеством — вот что было в истоках разрушительной силы, которая губит и сейчас Россию.

— Слишком много темных сил на шестой части суши скопилось. Какой же нужен вентилятор, — усмехнулся уныло Касторгин, — чтобы обновить атмосферу — вот вопрос. Обновить. Дать волну нового воздуху.

И только один раз он еще встрепенулся, когда Лев вдруг произнес:

— России сейчас не помешал бы секс-гигант у власти. Вот пример президента Клинтона.

— Ага, — живо отозвался Аркадий, — был случай у меня с секс-гигантом. Рассказать?

— Давай, — великодушно разрешило общество.

— Подарили мне кота. Уезжали друзья — ну и уговорили. Я его сразу отвез на дачу — там у меня крысы завелись. Так не поверите, успевал и всех кошечек местных обслуживать, сам был свидетелем, и через день приносить пойманных крыс. Придушит и положит у входа в дом. Натё, смотрите, какой я молодец. Всех переловил у меня на даче — стал ходить по округе. Так разошелся — гигант. Все успевал. Кошки визжали, но сдавались моему Президенту, я его так прозвал за внушительную наружность. А один раз слышу, орет соседский кот страшно. Пойду, думаю, посмотрю, что там. Гляжу, а мой Президент его держит

зубами за шиворот и сидит на нем верхом – голубым Президент оказался. Пропал вскоре – не выдержали либо коты окрестные, либо крысы – объединились и, наверное, загрызли гиганта.

– Во-во, грызть мы друг друга умеем, – констатировал Виктор. – Пока это у нас есть – порядка не будет.

– Все когда-нибудь у нас будет. Новые поколения придут и все будет, – уверенно возразил дожидавшийся возможности вновь вступить Лев.

– А сейчас-то почему нет? – напористо спросил Виктор.

– Э... э, – протянул задумчиво ученый Лев, – хотим что-то сделать, а духу не хватает. Надо было еще в девяносто первом году Ельцину запретить функционерам компартии занимать госпосты лет на двадцать, как это сделали в Японии, в Италии, Германии. Не сделали – они, как вороны, с одного дерева на другое перелетают и в результате кругом свои, кругом старые связи, старые приемы... Да нет, это все равно не определяющее. Нет, не заложено у русского человека такой страсти к целесообразности и разумности, как на Западе, да и даже на Востоке, – продолжал Лев.

– А что на Востоке? – угрюмовато переспросил Виктор.

– А то. Возьми китайцев, у них же у каждого целесообразность в башке. У них же конфуцианство, а не православие. В их вере основа – целесообразность. Наши православные «Терпение», «Смирение» не работают сейчас.

– Да ладно, не в вере дело – у нас ее вообще пока нет – может, в этом весь гвоздь. Больше лицемерия и чаще у тех же бывших партийцев. И терпение, и смирение работают, и еще как! – вмешался Аркадий.

– Как и где? – энергично развел руками Виктор.

– Да вот хотя бы при развале Союза. Три человека раскинули Союз – и никто ничего.

– Да вы что, – спокойно вмешался Владислав, – ты же все с ног на голову ставишь, наоборот, все же республики готовы были выйти и беловежское соглашение только опередило события, на подобие тех, что случились в Югославии. Мы ушли от гражданской войны, долгой и бессмысленной.

– Не могу представить в России гражданскую войну, – менторски спокойно продолжал Лев.

– Как, а Чечня? – возразил Виктор.

– Горцы народ другой.

– Опять двадцать пять.

– Надо знать историю, – нервно вздернув головой, проговорил Лев, – и великих читать. Ведь еще Иоганн Вольфганг Гете, между прочим, сказал и о Чечне, и обо всех нас:

*Я уподобляю страну наковальне: молот – правитель,
Жесть между ними – народ, молот стгибает ее.
Бедная жесть! Ведь ее без конца поражают удары
Так и смяк, но котел, кажется, все же готов.*

«Когда все правы, до истины дорога далека», – отметил про себя Касторгин.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

СКАМЕЙКА С ПРОЛОМОМ

Утром заработал, будто задержался откуда-то сверху издалека шланг с воздухом – висевший на стене в коридоре зеленый телефон с беленьким проводом. Кирилл Кириллович, придавленный тяжестью беспокойного сна, вынырнув из-под одеяла одной головой, посмотрел на часы – было уже девять с четвертью.

– Ого, – подумал он, – даем, пожарники!

Звонил его заместитель, давний приятель и коллега Скворцов:

– Кириллыч, тут, понимаешь, такое дело, весь завод в трансе, сказать тяжело...

– Виктор Иванович, не тyani, – почти как когда-то тоном главного инженера, собранно и требовательно быстро отозвался Касторгин, – с девятым цехом что-то? Взрыв? – Он властно потянул на себя шнур, отступив вглубь комнаты.

– Да нет, хотя и в девятом, видишь ли, дело случилось, – как-то вовсе не похоже на себя сбивчиво отвечал Скворцов. – Дмитрий Петрович вчера поздно вечером из окна пятого этажа выбросился, дома у себя.

– Рассадин? – переспросил Кирилл Кириллович. – Как же так?

– Да так вот, тяжелый случай, с сыном связано. Он у него жил в Нижневартовске, занимался коммерцией, потом вдруг пропал – нашли через три месяца в лесопосадке уже разложившегося совсем. Дмитрий привез сюда все, что от него осталось, и похоронил. А вчера было ровно полгода. Не выдержал отец.

«Ничего себе смерть».

Рассадина Касторгин вроде бы знал неплохо. Хороший был начальник цеха.

— Мы не стали вчера звонить, а вот сейчас, понимаешь, с утра, пока ты дома, сам знаешь, то да се — можно не застать.

— Я приеду, — отозвался Кирилл Кириллович, — сегодня приеду.

— Да нет, Кирилл, я пришлю машину в день похорон, не волнуйся, — поспешил Скворцов. — зам по быту уже все развернул. Похороним как положено.

— А когда похороны?

— Ну как положено — на третий день. Вчера была среда — в пятницу, вынос в час дня.

— Так, ну давай тогда Анатолия подсылай к десяти, подъеду к тебе, а уж потом...

— Кириллыч, твой Анатолий неделю назад уволился, я подошлю новенького шофера.

— Как? — опешил Касторгин. — Я ж тебе его передал из рук в руки?

— Да так, — неопределенно ответил тот, — переманили его.

Касторгин с Рассадиным работали когда-то вместе в одном цехе. Рассадин был тихоход, работяга-тягач, надежный, но без взлетов. Это был типичный исполнитель, добросовестный и аккуратный. Его уважали все, кто знал. Кирилл Кириллович быстро рос по службе, превратившись за двенадцать лет из молодого специалиста в главного инженера. А Рассадин всего пять лет назад согласился, и то только под напором Касторгина, занять должность начальника одного из основных цехов завода, а года два назад попросился вновь в заместители.

— Не могу я командовать людьми, понимаешь, не могу, ты вот вроде и мягкий, и не злой, но, когда надо, любого и отстегаешь интеллигентно, и слова, какие надо, найдешь, а я — нет, и слов нет, и такого стержня, как у тебя. Технолог я, не администратор — отпусти назад.

И Касторгин, махнув рукой, отпустил...

Не успел он, вернувшись в спальню, застелить кровать, как вновь ожил телефон. Звонил Василий Григорьевич Сушко.

— Послушай, дружище, тебе сколько лет, а?

— Не понял, — пробурчал Кирилл Кириллович.

— Лет тебе сколько полных?

— Ну, пятьдесят два, — нехотя ответил Кирилл, понимая, что знакомый его наверняка, как обычно, понесет сейчас околесицу, с огромной претензией на оригинальность

— Вот, а мне в пятницу стукнет семьдесят, приезжай хотя бы на кафедру, пяток годков я тебе отдам, я не собственник. Приезжай, вы-

пьем хорошего коньячку. Я звонил Владиславу, он сказал, что вы вместе придете, давайте, мужики, жду.

Положив трубку, Касторгин улыбнулся:

«Сушко, как всегда, лепит свой имидж, наприглашал теперь всех нужных людей, наверняка позаботился, чтобы весть о его семидесятилетии попала к журналистам. Ему не дают спокойно спать лавры Георгия Ратнера, очень уж хочет стать почетным гражданином Самары и войти в историю разносторонним деятелем. И у него кое-что получается. Наверняка на следующей неделе будет материал в местных газетах о чествовании аксакала и его заслугах. Хотя до «официальной» юбилейной-то даты пять годиков не хватает. Написал уже книжку о своих самарских встречах. Хотя бы в самарскую историю, но войти ему, ой, как хочется. А под новый год стал членом Академии медицинских наук. Где-то, вроде бы, в диких полинезийских племенах стариков съедали, а у нас избирают академиками.

Где поступают цивилизованнее? Ну, конечно, у нас, — не без иронии рассуждал Кирилл. — Он, наверное, еще не знает, что я всего-навсего пенсионер, а так зачем я ему? Ведь мы и познакомились-то по его инициативе, когда прошли телепередачи о нашем заводе и о моих изобретениях. Как же, тогда, года два назад, я стал вдруг знаменитостью. Международная премия, интервью в газетах, в том числе, и в центральных, суета...»

Кирилл Кириллович воспринимал это спокойно. И к чему суетиться — ведь это итог многолетней неустанной работы, все сделанное было очевидно и полезно. Для этого и работали.

...В четверг в одиннадцатом часу, заскочив в Дом быта «Горизонт», они с Владиславом купили букет красных роз, в магазине «Мария» на Молодогвардейской — небольшой офорт и поехали в институт к Сушко.

— У меня встреча с Владимиром Астаховым в двенадцать, успеем? Наверное, там, на кафедре, уж точно будет поток людей, для этого все и затеяно. Массовое поклонение толпы и обязательно широкомасштабное. Поэтому степенно пройдем, как в мавзолее, через его кабинет — и все дела, — говорил Владислав.

— А что за Астахов? — спросил Кирилл Кириллович, укладывая поудобнее громоздкий букет на коленях.

— Телевизионщик. От Самарской епархии, ведет телепередачи на религиозные темы; сейчас проводит опрос горожан о целесообразности постройки храма, с показом на экране.

– Да, я слышал где-то, но ведь храм Спасителя – это очень дорого, время ли, мы все же не столица – столько денег не найдем.

– Да нет, речь не об этом храме и не о площади Куйбышева.

– А о чем же? – Касторгину это было интересно. Он знал многих священников Самарской области, с владыкой Сергием был лично знаком, иногда, чем мог, помогал церкви.

– Возникла мысль построить храм на площади Славы против здания администрации области, если смотреть от Волги, то чуть левее, у Вечного огня.

– Около мужика с крыльями? – переспросил Кирилл.

– В сквере из лип, но ближе к обрыву, к Волге. Храм-памятник, посвященный Победе в Великой Отечественной войне и грядущему 2000-летию христианства. Он будет белокаменный и увенчают его пять золотых куполов. Отдаленно, так мыслится, храм должен напоминать Вознесенский собор, который когда-то стоял там, где ныне находится театр оперы и балета. Предполагается, что храм прекрасно впишется в панораму города, открывающуюся с Волги.

– По-моему, идея стоящая, действительно, красивый вид будет...

– Тут много «но», даже не считая денег.

– Каких?

– Во-первых, надо уяснить, чего хотим в архитектурном плане. Ведь как-никак строить на века. Так? Надо знать: будет ли это доминантой всей панорамы города со стороны Волги или просто дополнением к чему-то. И как вписаться в стиль здания губернской администрации и всего остального.

– Есть еще один вопрос, – задумчиво проговорил Касторгин, – выплата пенсий задерживается, бюджетники – врачи, учителя – вовремя не получают зарплату. Нельзя же бюджетные деньги, даже пусть и на храм, все равно нельзя отвлекать, а на пожертвования ничего не построишь – нечего жертвовать. Живые деньги не только стали дефицитом, они стали экзотикой в нашей стране.

...Когда они поднялись на второй этаж к кабинету Сушко, там ройлся народ. Сновали озабоченные пожилые дамы, гости чинно ждали своей очереди, дождавшись, ныряли в небольшую дверь кабинета хозяина и с чувством исполненного долга, уже налегке, выходили от именинника.

В приемной работал телевизор, на его экране виновник торжества с обаятельной улыбкой, молодеватый и стройный, давал интервью молодой журналистке. Вокруг было изобилие подарочных цветов. Когда дошла очередь Касторгина и Владислава, они вошли в кабинет.

Юбилляр стоял посередине небольшой комнаты в белом пиджаке. Бабочка вместо галстука и четкий холеный пробор украшали именинника. Он весь светился радушием и, как он полагал, или надеялся, очевидно, мудростью — это постоянное желание его приятели знали и спешили, если удавалось, подыграть. Что ни сделаешь для в общем-то доброго старика?

— А-а... друзья, физики и лирики, проходите, проходите, — немножко наигранно произнес хозяин кабинета.

После соответствующих торжественному моменту поздравлений и возгласов Сушко вдруг при рукопожатии обнял Касторгина, с явным намерением расцеловаться. Касторгин сделал небольшой нырок, уйдя влево, подставил ему свое ухо и тут же получил слюнявое прикосновение в мочку и в низ скулы. Это, очевидно, случилось бы еще дважды, согласно ставшему модным народному обычаю, но Кирилл Кириллович, чуть-чуть отстранившись, удерживая колючий напор сверлящих стариковских, совсем не радушных, а ставших хищными глаз, подтолкнул к нему Владислава.

Касторгин не любил обниматься и целоваться с мужиками. Все это вызывало у него чувство брезгливости и досады. Чтобы как-то сгладить недоразумение, которое могло возникнуть, он, как только Владислав освободился из объятий старика, произнес:

— Василий Григорьевич, я желаю вам, если уж так суждено небесами, после ваших законных ста лет, еще несколько раз родиться и:

*Уж коли суждено сто раз родиться,
Сто раз желаю вам не повториться.
Ученым стать, пожарником, певицей...
И жизни новой снова удивиться!*

Он увидел, как потеплели глаза Сушко, и все бы хорошо, но Касторгин вдруг услышал совершенно внятно и с расстановкой сказанные слова:

— Это все замечательно, но кого же тогда трахать: пожарника или певицу?

Он повернул голову к окну. Через стол, заставленный коньячными бутылками и рюмками с бутербродами, опершись о подоконник, стояли двое. Фразу сказал старик, узкоплечий, с вислыми усами и такой же бабочкой, как у именинника.

«Сдурел, что ли, козел старый, — пронеслось в голове у Кирилла Кирилловича, бросившего взгляд на женщин, стоявших тут же у окна, — ведь слышно же все или у них такой бордель тут. Вмажу сейчас в холеное рыло этому остряку, пусть потом собирают его по чертежам».

Остряк, очевидно, по лицу Касторгина понял, что его слова слышали, чуть отодвинулся, смотрел настороженно и нагло. Сушко бросился выправлять ситуацию.

— Это мои старые кафедральные коллеги, мои друзья.

— Но ведь циники же, — с досадой негромко сказал Кирилл. Он понял, что не сможет здесь, как подобает, ответить старикашке, в конце концов ведь юбиляр рядом стоит, женщины... только усугубишь все... западня какая-то, чертовы стариканы-тараканы.

А Сушко продолжал пеленать Кирилла Кирилловича:

— ...мы с вами старые приятели, как старые вороны, а ворон ворону глаз не выклюет, — все это говорилось как взаимные поздравления, и, очевидно, никто толком ничего не понял, кроме трех-четырех человек.

Юбиляру вторил остряк с вислыми усами:

— Вот коньячок, наш вот, а вот — французский, очень приличный, какой вам?

Надо было что-то выпить, Кирилл Кириллович ткнул пальцем наугад. Наблюдая, как тот наливает, думал: «Он действительно струхнул или дурака валяет?»

— Вечером жду на дачке в семнадцать ноль-ноль, Владислав знает, где это. Хорошо? — Сушко уже вышел из некоторого замешательства и радушно улыбался.

— Хорошо, хорошо, — согласился Касторгин, желая одного: как можно скорее оказаться на улице, подальше от этого гадюшника.

Приехав на завод, Кирилл Кириллович первым делом направился в девятый цех. Его все здесь знали, когда-то он работал в этом цехе. Любил приезжать, разговаривать в операторной с персоналом. Но сейчас был особый случай. Здоровались сдержанно, во взглядах понурость. Цех был в трауре. Никто толком ничего не знал, кроме того, что действительно после трагической смерти сына стал Рассадин сам не свой, мало говорил, появилось в его поведении какое-то отклонение, не заметное на первый взгляд изменение: не шел на открытые разговоры, появилась угрюмость на лице. Однажды Ларисе Харитоновой, подружке жены, сказал односложно:

— Вы понимаете или нет: нас всех скопом использовали. И все. И выбросили.

Касторгин и Скворцов подъехали к дому Рассадина заблаговременно. Успели побыть у гроба покойного в его трехкомнатной, тусклой, с за-

навешенными зеркалами «хрущевке», поговорить, помолчать горестно с коллегами по работе.

Более всего его поразила одна деталь: когда они еще только подходили к подъезду через толпу пришедших проститься, он обратил внимание на крепкую скамью, какие обычно стоят в скверах — металлическая тяжелая основа и деревянные массивные брусья были покрашены одним красным цветом. В середине скамьи два бруса были грубо проломлены, образовалась как бы прорубь, и эта прорубь зияла свежими крепкими краями обломков деревянных брусьев.

— Вот, это Дмитрий Петрович головой пробил, — сказал Скворцов.

— Что? — растерянно переспросил Кирилл Кириллович.

— Так-то вот получилось, жена потом рассказывала, что он накануне горшки с цветами с подоконника убирал — готовился.

Касторгин невольно, задрав голову, посмотрел на пятый этаж.

— Это его окно? — он показал на крайнее слева от подъезда, как будто это имело какое-то значение.

— Да. А еще Ирина его рассказывала, что за неделю до этого... большой нож на кухне точил да как-то странно вел себя. Искал способы, как покончить. Все, видимо, не решался.

Похоронили Рассадина рядом с его сыном, на могиле которого он успел поставить памятник — большую мраморную глыбу.

Когда уезжали, Касторгин, испытующе глядя на Скворцова, спросил:

— А почему не было ни директора, ни заместителя? В командировках?

— Да нет, Кириллыч, — нехотя отозвался тот, — у них другие заботы...

— Какие могут быть другие заботы, Рассадин — живая история завода, как наш талисман общий.

— Эхе-хе-хе, это для нас с тобой он талисман, а для них — никто. Они же новые люди. Новая, так сказать, популяция. Пошла другая полоса в истории завода, и талисманы — новые.

— Нелегко работается? — участливо спросил Кирилл Кириллович.

— Да, конечно, — быстро отозвался Скворцов, — тяжелее, чем тебе... Я ведь не очень был готов заменить тебя, да и сейчас, уже поработав главным инженером, не совсем до тебя дотягиваюсь. Ты был виртуоз: изобретателен, находчив и вместе с тем последователен до занудства, я — трудяга, что накопил своим горбом, то и трачу потихоньку. За это время кое-что понял такое, о чем раньше не задумывался.

— И что же ты, старина, понял? — Кирилл Кириллович бросил пристальный взгляд на собеседника.

Тот продолжал:

— Почему-то некоторые думают, что быть директором, главным инженером, одним словом, первым руководителем — это привилегия. Но это — огромная и тяжелая ноша. И вот, если ты научился поднимать тяжести и нести их — ты можешь быть директором, первым руководителем. А если, научившись нести тяжелую ношу, ты еще можешь придать этому интеллигентный вид, если твои усилия не будут казаться натужными, если окружающие не будут шарахаться от тебя, несущего неустойчиво на плечах эту глыбу, а наоборот, радоваться этому и подставлять добровольно, а не только по приказу, в помощь свое плечо, заразившись твоей энергией, удачливостью и коммуникабельностью — ты первый руководитель.

— Роман Ильич, ты стал философом, — улыбнулся Касторгин.

— Нет, как раз наоборот, я стал приземленнее. Меня корежит то, что под грузом свалившихся на производственников забот, в этом хозяйственном раздрае, мы не можем как следует обеспечивать жизнь простого работника. Самоценность самой жизни гипертрофировалась в оскорбительное выживание. Это наш позор! Но я не уйду, как ты. Я вижу: только на мне держится то, что движет завод, и я, кажется, кое-что сделаю — у меня есть уверенность. Я здесь родился как инженер — отсюда меня трактором не сдвинешь. Я — однолюб. Если ты вернешься, уступлю должность, но больше, кроме тебя — никому.

— Не вернусь, — односложно ответил Касторгин.

— А зря, не к нам, то хоть на другой завод. Мы же многое все-таки можем сделать. Мы — соль земли. Только мы, те, кто производит материальные ценности, сейчас можем вывести народ из надвигающейся бедности. Вместо радости и гордости за Россию люди сейчас угнетены страхом за свое будущее. В каждом почти доме страх за детей, за стариков-пенсионеров, за самих себя.

— И где, по-твоему, выход? Новая революция?

— Сто раз «нет»! Мы сейчас не выдержим ни бунта, ни гражданской войны. Мы — страна и каждый из нас — предельно истощены. Это понятно почти любому из нас, — Скворцов смолк, выжидательно глядя на Касторгина.

«Он, кажется, ждет от меня дискуссии, но мне ведь то, что он говорит, ясно, увы, все сказанное уже стало для многих общим местом. Очевидно, это только начало того, что он сейчас скажет, раз так бурлит меня взглядом».

Кирилл Кириллович был прав в своей догадке.

— Мы с тобой, Кирилл, попали и находимся как раз в том периоде жизни России, когда наступил системный и жесточайший кризис. И основная составляющая этого национального провала — кризис власти. Власть, увы, потеряла способность решать жизненные вопросы. И мы полны недоверия к власти, ведь реформы не только провалились, мы отброшены лет на тридцать-пятьдесят назад.

— Это экономически, — возразил Касторгин, — но ведь мы вырвались из таких идеологических тисков, мы хоть мыслить стали как цивилизованные люди, узнали и хоть чуть-чуть почувствовали, как можно жить.

— Да, узнали, как можно жить, но так не живем. Мы попали в другие тиски.

— Какие? — спросил Кирилл Кириллович, отмечая про себя, что Скворцов крепко изменился в последнее время: так определенно на политические темы он никогда не говорил.

— Слишком велика образовавшаяся пропасть, разделяющая простых людей и тех, в чьих руках находится власть.

«В моем теперешнем окружении, может быть, только Владислав не говорит о политике да соседка Анна Панфиловна... Хотя нет, соседка-то как раз вся и заряжена недоумением от того, что творится с нами — она давний идеологический служака», — думал Касторгин.

— У меня, ты знаешь, брат полковник, недавно ушел в отставку, считает, что надо сегодня служить не власти, которая бездеятельна, а народу.

— Он, по-моему, идеалист чистой воды. Он что, предлагает пойти в народ, это уже было в нашей истории.

— Нет, он, а вернее, они — у него много единомышленников, в том числе и в высших военных кругах — считают, что реальный выход России в возрождении идеи народовластия. Что необходимо народу — знает сам народ. Но чтобы служить народу — надо знать, что народ хочет. Это огромная работа. Мы много с братом на эту тему говорили, я его поддерживаю.

— Не понимаю, — искренне удивился Касторгин, — да всем же ясно, что народу надо. Не в этом вопрос. Вопрос в том, как ему это дать. Вопрос в механизмах власти.

— Вот именно! Жизнь страны должна строиться по принципу честной игры. Нужна договоренность между властью и народом о соблюдении определенных правил. Ведь это так просто! Вот что надо: сводить воедино то, что нужно народу и обязательства перед ним властей.

— Но ведь это как раз самый сложный и до конца неразрешимый вопрос, — возразил Касторгин, — разве это непонятно? Тут бездна противоречий.

— Но, тем не менее, другого пути нет, — эти слова Скворцов сказал несколько снисходительным тоном, и это удивило Кирилла Кирилловича. Он почувствовал, что всегда обычно соглашавшийся с ним заместитель в чем-то становится значительнее, крепче, по крайней мере, себя самого, прежнего. И крепость эта, может быть, надежна.

«Все дело в позиции, в собственной позиции, он ее почувствовал и на том укрепился. Ему тогда стоит позавидовать», — не торопясь, рассудил про себя Касторгин.

Когда подъехали к заводууправлению и Скворцов вышел из машины, попрощались односложно, ни о чем не договариваясь на будущее, будто должны встретиться завтра вновь.

Всю дорогу, пока ехали в Самару, Касторгин молчал. Молчал и шофер, то ли из вежливости к пассажиру, то ли по привычке.

Касторгин несколько раз мысленно возвращался к короткому разговору со Скворцовым, пытаюсь уяснить себе: стоическое поведение его бывшего зама, его преданность заводу, — проявление ограниченности природы или же это как раз то, что называется настоящей преданностью своему делу, образом и единственным способом существования. Бывает же и в наше время такое!

Можно позавидовать — он по-своему счастлив, у него, видимо, согласие в душе с самим собой.

Когда выехали на мост через Самарку, вновь в который раз, вспомнилась массивная скамейка с проломом под окном Рассадина.

«Это с пятого этажа так, а я в первые дни после увольнения хотел приехать и сброситься с этажерки двенадцатого цеха — там самая высокая отметка — тридцать метров. Шуму было бы на весь город. Нехорошо. Да.

Зато надежно».

Две недели после похорон Рассадина Касторгин безвылазно пробыл в своей квартире. Запоем писал. Писал торопливо, вздохом. День перемешался с ночью. У него начали от напряжения побаливать глаза. Он удивился самому себе: как можно так писать сразу, практически набело, отшвыривая написанный лист, забыв пронумеровать. Касторгин забывал побриться, поесть. Все это были досадные мелочи, мешающие главному. События, люди, лица, усмешки, ухмылки, диалоги — все это толпилось, напирало, как ледоход на реке, на него, все просилось на бумагу и он

в иной момент изумленно озирался: ведь это же потребует годы. Это же может стать смыслом всей оставшейся жизни.

Кирилл Кириллович радовался, что нет гостей, что соседка не мешает. Телефон он отключил, телевизор не включал. Это было как эпидемия, только с каким-то знаком плюс. Она выкосила из быта Касторгина, из его жизни все желания, все мелочи, они все захирели и потухли, осталась одна лихорадочная страсть – писать.

Его удивляло, что само письмо, то, что он излагал, вопреки его лихорадочному состоянию, было не только спокойным, уравновешенным, в нем чувствовалось дыхание большого полотна.

«Кажется, это будет роман, – подумывал он, – но бывает ли такое, что человек, не написавший ни одной заметной вещи, ни разу не публиковавшийся, вдруг пишет роман? Но я же чувствую рождение чего-то необычного».

Касторгин решил описать события, происходившие со страной и со всеми, нами глазами главного инженера, начиная с восьмидесят пятого и кончая девяносто восьмым годом, охватывая по возможности все уровни, начиная от рабочей среды до правительства. У него не было никаких серьезных записных книжек. Но накопившееся внутри него подпирало и несло в себе, оказывается, столько мыслей, конкретных штрихов, просто характерных мелочей быта, что он сам удивлялся, как это все в нем уживалось.

Кирилл Кириллович написал от руки двести пять страниц и вдруг остановился. Вся последующая третья неделя прошла в вялости и сомнениях. Касторгин не понимал, что произошло. Почему остановка. Устал? Да, есть немножко, особенно утомились глаза, зрение село, но с ним и раньше такое бывало, он научился с этим справляться. Не это главное. Главное, пропал азарт, он начал часто задумываться, откладывая недописанный лист в сторону, осознав, каким огромным материалом владеет, стал бояться не на всю мощь его использовать и начал удерживать себя от торопливости.

«Вся моя жизнь, все, что было и есть во мне, может упроститься и потерять ту содержательность, которую я всегда ценил, и написанное станет лишь хилым отблеском, отзвуком моей жизни. Это ли мне надо? Пусть даже это и будет называться романом, стоит ли торопиться?» – так думал он.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

«НО ДРЕВО ЖИЗНИ ВЕЧНО ЗЕЛЕНЕЕТ...»

Вечером, вернувшись из бильярдной, Касторгин обнаружил в двери записку, сложенную гармошечкой бумажку, похожую на те шпаргалки, которые когда-то делали студентами. Алексей, размашистая душа, оказывается, был в Самаре, но не дождался. Звал к себе в Покровку, где собирался недельку пожить у отца, отдохнуть. Новую свою жену и десятилетнего сына, которого назвал Данилкой, опасается пока, до лета, везти в деревню. Просил составить мужскую компанию: «Если есть еще друзья – забирай, отец только рад будет, не приедешь – гадом будешь, я теперь – новый человек!»

Была еще только среда, до выходных далеко, но Касторгин в тот же вечер позвонил Владиславу.

Приятель одобрил предстоящую поездку и предложил пригласить своего нового знакомого профессора Почуйкина.

– Если он такой же, как Сушко, лучше не надо.

– Да нет, вот увидишь, он местами странный, но интересный, он моложе нас с тобой в свои шестьдесят пять.

– Ну-ну, – неопределенно отреагировал Касторгин и не стал возражать.

Ему оставалось только заправить заранее свою «девятку» – и всего забот-то. От того, что как-то быстро определилось с поездкой, Кириллу стало легче на душе, будто эта поездка что-то должна была решить важное для него. Такое было предчувствие...

Не стоит, очевидно, рассказывать, как ехали до Покровки наши приятели. Дорога хорошая, асфальт чуть ни до самой калитки родителей Алексея. Кирилл Кириллович был неплохим водителем, любил посидеть за баранкой... Через полтора часа «девятка» подъехала к потемневшим от времени некрашеным воротам довольно крепкого дома.

Алексей встретил гостей, стоя в калитке, грузный, импозантный, не похожий на сельского человека. Вот стоявший за его спиной мужчина, сразу видно было – хозяин двора. Галифе и китель, сидевшие на нем, как на суковатой палке, были, очевидно, еще со времен гражданской войны. И отчество его как-то сразу запомнилось – Данилыч.

Конечно же, приехавшие, как через санпропускник, прошли через баньку, но не спеша, а со знанием дела, с охами, ахами. И удивил всех профессор Почуйкин. Еще когда знакомились, в начале поездки, Кирилл Кириллович обратил внимание на его юношескую подтянутость и

энергичное, редкое для такого возраста рукопожатие. Теперь же он, этот профессор, пересидел всех в парной и два раза барахтался в пухлом сугробе около баньки, смешно мотая головой, отмеченной высоким красивым лбом и маленькой седой бородкой.

Этим самым красивым лбом он ударился в предбаннике о низко посаженную перекладину, но не выругался, не заскулил, а, величаво расправив плечи, удивился вслух, почти натуральным образом:

– Надо же, выдержала старенькая! – И уважительно погладил аккуратной своей ладошкой высохшую осиновую кору. – Хорошо, что все здесь осиновое да липовое. Дух легкий.

...Как и должно этому быть, вскоре они оказались за столом, в передней Данилыча. Разомлевшие, пропустили по одной рюмочке «Расторопши». А, как известно, между первой и второй – промежуток небольшой.

Есть такой анекдот. Стоят у проходной завода двое, ищут третьего. «Вань, иди сюда!» – «Не, ребя, мне домой надо, – сразу сообразив, что от него требуется, отвечает Ванька, – Варька наказала после работы надо быть. И точка». – «Да мы быстренько. Друг ты или нет, а?» – «Ну мне же...» – «Друг или нет?» – «А, – говорит Ваня, – нате вам мою долю, а я побежал!» – «Как это, – враз возмущаются дружки, – надо как положено. Оскорбляешь. Одна ведь минута – магазин за углом!» Иван останавливается. Вскоре появляется дружок с бутылкой. Ваня, как только выпил, так и вновь побежал. «Подожди, Вань!» – «Че?» – «А закуска-то?» Суют корку хлеба. Ваня берет хлебушко и – бегом от них. «Вань, вот ненормальный, вернись!» – «Ну че вам: денег дал, выпил, закусил...» – «Вот чудак: а теперь поговорить-то...»

Вот в этот промежуток между первой и второй и затеялся разговор.

Взяв в свою огромную ладонь бутылку «Расторопши» и как-то чудно оттопырив большой палец левой руки, указательным – правой Алексей начал водить по этикетке и вслух читать:

– Продукт с оригинальным ароматом и вкусом. Плоды расторопши благотворно влияют на обменные процессы в организме человека...

– Да будет тебе, Алексей, не тяни – разливай, не томи гостей, вся она едина – из одной бочки, только этикетки разные, – привел его отец универсальный довод, проистекающий не только из своего, но и общенародного опыта.

– Обожди, – независимо, но уважительно сказал Алексей, – надо дочитать, в первый раз такую пью, Кириллыч, мой друг, уважил – ...способствует улучшению состава крови, активизирует пищеварение, содержит вещества, предохраняющие печень от вредных влияний и вос-

становливающие ее функции. — Он отнял указательный палец от бутылки и поднял его вверх, едва не ткнув в низко висевший пыльный круглый плафон. — Товарищи-господа, это лекарство же, а не зелье какое-то, только без рецепта!

Но его остановил рассудительный отец:

— Это ж сколько такого лекарства надо выпить, чтобы печень вылечить, а? Задаю я вопрос: сколько ведер? — и, не выдержав, рассмеялся громко, по-молодому.

— Да, — глубокомысленно сказал Алексей, — тут какая-то хитрость, наверное, есть. И знает ее Мазалов — директор Самарского комбината «Родник». Ноу-хау его.

— А эта, как ее, патефон, что ли, тоже ничего было, ты, Алексей, разок привозил, помнишь? — Данилыч говорил это и, прижмурился глазами, пытался вспомнить точное название водки. — Али рояль какая?

— Да нет, отец, то была «Родиола», тоже ничего. Вообще любая водка ничего, но наша, русская, лучше.

— А знаете ли, мужички, — как-то вкрадчиво и чересчур академично, несмотря на обращение «мужички», проговорил профессор Почуйкин, — ведь делают водку из чего угодно: из сливы, сахара и прочее, то есть спирт, а потом ее — водочку. Но сейчас я попробую вспомнить классический рецепт изготовления русской водки, открытый ученым Менделеевым. — Он сидел с той части стола, которая примыкает к подоконнику, где стоял бубнивший радиоприемник. Потянувшись рукой, не глядя и не поворачивая головы, он убавил громкость и, промокнув капельки пота на лбу аккуратно сложенным платочком, начал: — Русской водкой...

Но его очень вежливо перебил Алексей, не без оснований смекнув, что речь может оказаться не короткой:

— Может, по второй, а уж потом, эта, ну — теорию изучать?

Он, как дирижер, взмахнув руками несколько раз, пробасил:

— Ну я вижу, что прав, — и всем налил по второй.

Когда выпили, кто крякнув, а кто икнув, профессор, который пропустил свою рюмочку как бы машинально, не поморщившись, не закусив, чем заслужил уважительное покачивание головой Данилыча, продолжил:

— Русской водкой считается лишь такой продукт, который представляет собой зерновой хлебный спирт, перетроенный и разведенный затем по весу водой точно до сорока градусов.

Профессор замолк. Кирилл Кириллович понял, что и Данилычу, и Владиславу, который до сих пор молчал, и Алексею, и ему самому, ни разу не приходилось пить водку под столь научный аккомпанемент. Он

подмигнул Владиславу, тот, снимая с вилки большую яркую соленую помидорину, только улыбочиво покачал головой.

— Но есть одна изюминка у нашей самарской водочки: Рождественский и Ново-Буяновский спирт разбавляется специально подготовленной, мягкой, идеально чистой волжской водой.

Профессор хотел было и дальше продолжить, но Данилыч опередил:

— Вот ведь как, я и раньше подозревал, что ее, голубушку, всю-то никогда не выпьешь, а теперь, когда узнал, что она из матушки-Волги — подавно понял: безнадежное это дело. С Волгой не совладаешь.

На этих словах Владислав поперхнулся и выронил помидору из рук. Профессор снисходительно улыбнулся:

— Продолжить?

— Конечно, — вразнобой прозвучало за столом.

Кирилл Кириллович посмотрел на профессора. Лоб его был сухим, взгляд цепко держал всех на прицеле, сквозь толстые очки это было особенно заметно.

— Сейчас Самарский комбинат «Родник» выпускает кроме «Расторопши»: «Губернаторскую», «Самарскую», «Юбилейную», «Правду», ликеры «Клюква», «Славянка». В них, кроме пшеницы, в технологии используются молочная кислота и мед, настой хлебных отрубей, черного перца. Добавляют травы кубеба и расторопшу пятнистую. В сорока семи странах потребляют сегодня самарскую водку.

— И все равно слабо! — вдруг выкрикнул почти запальчиво Данилыч и улыбнулся.

— Что слабо? — удивился профессор.

— Кишка тонка, не выпьют они всю-то, Волгу-то не выпьют! Всего-то наполовину разбавить надо.

Рассказчик покосился. Над ним смеются или над иностранцами? Решил, что над иностранцами, над кем же еще? И успокоился. Это Касторгину было видно по его глазам.

Умиротворенно молчавший Владислав, нарушив паузу, то ли спросил, то ли пожаловался:

— А вот виски? Не могу привыкнуть...

— А зачем привыкать: плохая водка — лучше хорошего виски, а плохое виски — лучше хорошего самогона.

Разговор качнулся в более конкретное русло, и Данилыч тоже заинтересовался, причем стараясь научно сформулировать вопрос:

— Шуряк мой работает в Новокуйбышевске на спиртзаводе, привозит, конечно, продукцию свою, тово, ну сюда, так вредоносен он или нет?

— Кто, пап? — тут же переспросил Алексей. — Шуряк или спирт?

– Не мешай, – отмахнулся, осерчав, Данилыч.

А профессорская машина уже работала:

– Видите ли, синтетический спирт очищенный практически соответствует ГОСТу на пищевой спирт. Он в несколько раз дешевле спирта из пищевого сырья. В начале шестидесятых годов захотели было производить водку из этого спирта. По токсичности спирт этот не очень отличается от пищевого. Но, как выражаются специалисты, при длительном запаивании животных этим спиртом у них быстрее вырастает чувствительность к минимальной смертельной дозе спирта и медленнее восстанавливаются функции нервной системы. Запаивать народ синтетическим и гидролизным спиртом не решились. Он для водки не используется. Официально. – Профессор замолчал.

– А вот в самогонке-то чего ж вредного? – не выдержал Данилыч, – ежели первачок тем более...

Профессор ответил бесстрастно:

– Судя по некоторым публикациям, содержание сивушного масла в самогоне достигает семи тысяч миллиграммов на литр. Плюс присутствуют фурфурол и другие высокотоксичные соединения.

– Да, фурфурол, – задумчиво протянул отец Алексея, – слово-то какое мерзкое, а так вроде ничего... – и вдруг, оторвавшись от своих мыслей, почти провозгласил: – Дайте человеку, господа, поесть, а то цельная лекция, а человек голодный.

– Конечно, – с готовностью отозвался Алексей, открывая бутылку, – теория мертва, как сказал классик.

– Все, – веско сказал Данилыч. – Хватит. Конец!

– Что все-то, – округлил глаза Алексей, – всего по две выпилито. И то не все, профессор не по всей вон.

– Да нет, шуряку – хватит. Тот-то он после синтика на стену лезет. Я с ним проведу беседу. А то – кранты.

– А, ну давай, отец, раз от профессора заразился.

– Я не заразился, я его заужавал. Очень практичные вещи знает, хотя и профессор.

Когда Касторгин и Алексей вышли во двор покурить, Алексей, глядя своими круглыми на выкате глазами, тут же припер гостя вопросом:

– Что, так один и живешь?

– Ага, – невозмутимо ответил Кирилл Кириллович.

– Но это ж ненормально для мужика здорового, тем более, не стоит Светка обета безбрачия.

– Нормально-ненормально, мне сейчас все равно.

– Во дает, я – врач, я тебе говорю: ненормально – и точка. Для здоровья ненормально! Ты посмотри на себя со стороны: ты ж красавец, отборный экземпляр, умница, без дурных привычек. Сделай ты движение навстречу, и любая дама начнет писать крутым кипятком.

– Выражения у тебя, – поморщился Кирилл Кириллович.

– А что, нормально выражаюсь, в самую суть.

– Ну, тогда я тоже отвечу в самую, может быть, суть. Да. – Он минуту задумался и как-то бесцветно произнес: – Худая корова – еще не газель.

– Ей-богу, не понял, – стрельнув ловко двумя пальцами недокуренную сигарету далеко в снег, сказал Алексей, – но, чую, с большим смыслом слова.

– Да и смысл-то небольшой, вернее, не новый. – Касторгин потоптался на месте, сам не понимая, надо ли продолжать на ходу разговор, который касается для него самого главного и, так и не поняв себя, нехотя продолжил: – Неинтересен я для женщин.

– Это почему же?

– Я скучный, понимаешь?

– Нет.

– Я – скучный, – вновь повторил Касторгин. – Женщине подавай веселье, разнообразие, она живет – и молодец – сегодняшним днем, а мне подавай во всем смысл. Мои заботы никому не нужны.

– Какие заботы – ничего не понимаю.

– Видишь ли, Алексей, я стал другим, я не живу, я – наблюдаю, скорее, – задумчиво произнес Кирилл Кириллович, сделав нечаянно ударение на слове «скорее», и получилась несуразица, очевидно, это скрыло главный смысл предыдущих слов.

Алексей сделал несколько дурашливое лицо и пробубнил:

– Обратно, ничего не понял: ты – наблюдатель? В органах, что ли, работаешь?

– Алексей, ты пьян?

– Нет, – неуклюже расставив ноги в отцовских валенках, отвечал Алексей. – Ты просто меня запутал. – Потом глянул совершенно серьезно и трезво, не мигая, в глаза Касторгину и сказал: – Голова, я ж тебя к себе пригласил не для того, чтобы обидеть, а совсем наоборот – отвлечься от всего. Вот. Скажи прямо и прости меня, дурака.

Касторгину стало неловко от того, что он и этого парня, веселого и прямодушного, сбивает с толку, и попытался пояснить:

– Понимаешь, я не живу, а наблюдаю жизнь. Глупо, наверное, но так получается, со стороны, может, и чудачество, понимаешь... – Ки-

рилл начинал путаться в мыслях и, очевидно, скорее всего оттого, что решился в нескольких словах сразу сказать Алексею обо всем и кончить как-то этот разговор, к которому тот был не готов, да и можно ли так, на ходу. — Понимаешь, я то ли собираюсь помереть и хочу все до мелочи, что вокруг меня, запомнить и забрать с собой, может, оно так... все, что вокруг, настолько дорого и неповторимо, что я это чувствую даже кожей... Я хочу понять, какие мы... и для чего... Успеть понять... то ли...

— То ли? — переспросил Алексей, поправляя шапку.

— То ли я брошу все совершенно и буду писать...

— Куда? — машинально уточнил Алексей.

— Да не куда, что!

— И что?

— Книги!

Алексей, кажется, что-то понял. Он раздумчиво посмотрел вокруг Кирилла Кирилловича, поднял голову в небо, как бы советуясь или прислушиваясь к чему-то, прежде чем сказать, спросил:

— И зачем тебе это надо? Столько уже всего написано, а мир от этого не становится лучше, а?

Кирилл Кириллович успел подумать, что разговор пойдет теперь еще дальше, а ему не хотелось этого и он просительным тоном, как ему показалось, отчего стало не по себе, сказал:

— Послушай, давай пойдем в избу, холодновато...

Но Алексей уже вцепился.

— Пойдем в избу, — снова повторил Кирилл Кириллович.

Алексей напирал:

— Ты здоров и полон сил. И не знаешь, куда себя деть. И не бережешь себя оттого, что полон сил. Но не дай бог заболешь, начнешь хвататься за жизнь всеми способами, поверь мне. Так случилось с братом на моих глазах. Избыток сил иногда смещает оценки — это не ново, каждый со временем это понимает. Только одни раньше — и успевают силы свои использовать, другие опаздывают и — увы. Погоди маленько: вот-вот доньшко вышибет.

— Что? — не понял Кирилл.

— Да понос чтой-то... деревенская сметана, что ли, отвык, — скороговоркой пояснил Алексей, семена к сарайчику.

— Ну дела! С тобой не скучно, — невольно выскочило у Касторгина, и он заразительно расхохотался, да так громко и свободно, что это вроде было и не свойственно ему, по крайней мере, в последние его особенно тяжелые года два. Присев на широкую темную скамью у пали-

садника, он полусогнутым указательным пальцем потер повлажневшие ресницы и непонятно покачал головой.

НА СКАМЬЕ У ПАЛИСАДНИКА

— Человек не властен над своим духом, чтобы удержать его, и нет власти у него над днем смерти, — это мне отец, священник, несколько раз говорил... правильно говорил, — вдруг как бы без всякой связи произнес вышедший из сенцов и присевший рядом Данилыч.

— Вы больны чем-то, — внимательно посмотрев на него, участливо спросил Кирилл Кириллович.

— Да, болен, — раздумчиво произнес Данилыч и добавил, тихо и просветленно улыбаясь. — Старостью болен, в этом году семьдесят пять стукнуло. Чувствую, пора... И я теперь понял: все мы стоим перед Богом со своей неразрешимой проблемой — с грехами прожитой жизни. Ведь каждое прегрешение — это проступок перед Богом либо перед людьми. От этого мы никогда не освободимся.

— Данилыч, ты верующий? — удивился Касторгин.

— Поздно спохватился, да ведь и некому было на истинный путь ставить, так старушонки молились. Забот в жизни невпроворот, а церковь одна была в округе действующая — в Мало-Мальшевке.

— А мне Алексей говорил, что вы на фронте капитаном были, политруком...

— Было дело и на фронте, а как же, — неопределенно согласился внезапный собеседник, — а вот теперь... Я много говорил с отцом Сергием, он наш, нефтегорский, а сейчас в Новокуйбышевске в храме Серафима Саровского служит. Много понял я в этих разговорах. Знаете, когда уже кажется, выхода нет, мы получаем с неба спасительный круг. Он все выдерживает. Название ему, имя — Иисус Христос. Он — спасительный ковчег. Ведь Иисус, невинный святой Сын Божий, принял казнь на кресте Голгофы за твои и мои грехи. Так высока и глубока Его любовь к нам всем и к тебе.

— А вот скажи, Данилыч, — сам для себя неожиданно заинтересованно спросил Кирилл Кириллович совершенно прямодушно, — зачем же Создатель допускает, чтобы так много было бед и страданий, столько обрушивалось на голову человека, тут какая-то нестыковка, а?

— Я начинающий, но я уже думал об этом. Наверное, этого нам не дано пока понять. Это поймем потом, после. В этом, наверное, скрыт какой-то смысл и, может, очень большой, мне пока не дано понять. Как не дано моему Алексею вообще понять то, о чем мы сейчас говорим. Он

только смеется мне в лицо и зовет меня попом. Мы с ним идейные противники. Это он так говорит. Он — противник, а я — нет. Я терплю его, прозреет, авось. Все мы прозреем, кара-то ведь уж наступает... Наше время становится безнадежным.

— Почему уж так и безнадежным? — возразил готовый на продолжение разговора Кирилл.

— А нас ведь, народ весь, государство бросило, нонешнее поколение, ему, государству, важнее вроде бы заботиться не о нас, а о будущем, строить надо капитализм, видишь ли, любой ценой. Не научились уму-разуму, когда строили социализм-то. Обманывают будущим.

— А чему надо было научиться? — спросил Кирилл Кириллович, боясь, что собеседник уйдет от такой важной для него сейчас темы.

— Чему-чему, — неопределенно отозвался Данилыч, — нужна забота о простых людях. У государства совесть должна быть.

— Народ бросили, но разве у самого народа нет сил делать свою жизнь, ведь наш народ сообща, общиной, силен был...

— Э-э... была, может быть, эта сила, но в похмелье все равно за что пьешь — народ спивается. Вон Мишка Говорухин, напротив за колодецем живет, спился совсем, так он давно безразличен ко всему, что творится у него дома под носом, так ведь и с народом нашим — он уже равнодушен в похмелье к безобразию в стране. Вот и получается: народ и государство каждый сам по себе. Сельское хозяйство надо поднимать в гору. А мы про него забыли, а заодно и фабрики с заводами разрушили. Мой Алексей из медицины удрал в торговлю. Тьфу! Куда дело годится?

— Есть выход, — раздумчиво произнес Касторгин, внутренне подивившись похожести своих недавних рассуждений и мыслей Данилыча.

— Ну-ка? — пытливо отозвался собеседник.

— Спасут совесть и религия, — лаконично проговорил Кирилл Кириллович и выжидательно замолчал, похоже, он искал ответа не у Данилыча, а ждал чего-то похожего на эхо от самого себя. Оттого и молчал, прислушиваясь к себе.

— Да, — с готовностью проговорил старик. — Это так, но если вера не превратится в моду.

«Так, это так, — прозвучало и внутри у Касторгина. И он не удивился, что нашел единомыслие у этого полуграмотного, но мудрого мужика, а только успел подумать: это согласие результат размышлений собеседника или просто некое доверие, ведь он давно заметил, что Данилыч часто согласно кивает за столом, когда говорит он, Кирилл. —

Знает о моих званиях, и они на него давят», — предположил он и спросил:

— А что, часто Алексей гостей привозит?

— Частенько, — охотно отреагировал Данилыч, — у него слабость на ученых и известных людей. Недельки две назад привез этого, как его... (он назвал фамилию известного в Самаре ученого), ох и важничал — барин, ой, да ну.

— Ну а интересный в разговоре?

— Да нет, неинтеллигентный он, хоть и знаменитость. Но пил справно. Его Вениамин, мой зятек, немножко обкарнал.

— Как это? — поинтересовался Касторгин.

— Он, этот знаменитый-то, все приставал к Вениамину: спой да спой частушки. Он и спел ему одну:

*До свиданья, дорогая,
Уезжаю в Азию,
Видно я в последний раз
На тебя залазию*

А с ним две дамочки были; одна, вроде, учительница в институте по языку, а другая культурой где-то заведует. Вот конфуз, а? Витамина хоть бы хны, а ученому? Он, ученый-то, немножечко помолчав и сильно покраснев, сказал: «Ну, Вениамин, так нельзя. Мы даже студентами и то при дамах такого не позволяли». А Вениамин наш враз, как семечки щелкает: «Дак ведь я спел песенку гусара, он со своей боевой лошастью прощается, ага. А вы что подумали?» Знаменитость аж во двор из-за стола выскочила. А дамочки без него расхохотались. Хорошие дамочки-то.

Хлопнула калитка и в промежутке между мазанкой и сельницей появился, как ни в чем не бывало, улыбающийся Алексей. Данилыч при виде сына замолчал и спокойными ласковыми глазами, какими смотрят на любимых внуков, посмотрел сразу на обоих. Потом не спеша поднялся и пошел в избу.

«Почему он так посмотрел? — непроизвольно подумалось Кириллу Кирилловичу, — Как-то одобрительно, как на успевающих во всем школьников. А мы-то — двоечники».

Ответ пришел чуть позже, когда Касторгин уже входил в сени. «Я понял, понял, — горячо думал Кирилл. — Он смотрит на нас уже оттуда, как я сразу не подумал об этом, еще в избе. Он уже приготовился умереть, он как бы живет последний какой-то срок, зная точно, что он вот-вот уже там, душа будет в зените, хотя и здоров пока с виду, и он завидует нам тихой ласковой завистью, одобряет нашу непутевую

жизнь, хотя бы за то, что она – жизнь. Он нас одобряет, он так мудр и так многое в отличие от нас понял, что даже боится нам все до конца сказать. Или не боится? Или так мудр, что не желал этого показать, не желал засушивать нашу жизнь и нас – молчит себе, давая нам насладиться этим бездумным расточительством жизни? Что у меня за дни в последнее время? И что за люди окружают, будто их ко мне кто-то подсылает. И долго ли со мной такое будет? Эти последние три месяца, похоже, дают мне больше, чем вся моя жизнь. Бывает ли так? Жизнь в последнее время вокруг так сложилась или я так настроен? Или и то, и другое? Странно. Я из прагматика превращаюсь сам не знаю во что. Стал как инструмент, только тронь... Так ведь нельзя. Но кто определит, что можно? И определит ли?»

Когда Кирилл и Алексей вошли в избу и подсели к столу, разговор был в разгаре. И касался он на этот раз вин. И, конечно же, партию вел профессор Почуйкин.

– А у меня вот, например, есть деловой вопрос, имею я возможность спросить? – насколько мог академично произнес Данилыч.

– Конечно, – просто ответил профессор.

– Антиресует меня, сколько долго можно хранить вино?

– Это, пап, сколько у тебя хватит терпелу, вдруг срочно на похмелку потребуется, – тут же гоготнул Алексей.

– Да обожди ты, – миролюбиво урезонил Данилыч, – я по делу с профессором.

Невозмутимо слушавший их диалог профессор дал ответ:

– Вино – это живая материя, а все живое небессмертно. Сухие вина живут не более двадцати лет, десертные – до пятидесяти, крепленые – до восьмидесяти, а коньяки и ликеры могут жить столетиями.

– Вот те да, все нормально, «Плииска», значит, живет долго, – уточнил отец Алексея, проявляя какой-то непонятный пока интерес, – чуть позже он пояснил: – Дак, внук Петруха когда родился, я на пенсионные купил и закопал на память в тот же день под яблонью две бутылки. Одна «Плииска» эта непонятная, а другая сухая, а бутылка, как большая морковь. Я, это, в полиэтиленку и того, на шестнадцать лет – зарок дал, ко дню рождения Петра. Я ему уже сказал, а больше – никому. Не долежится, боюсь. И записочку – но про нее не сказал. Мое послание.

– Обижает, отец, насчет «не долежится», – нарочито обиделся Алексей.

Данилыч не отреагировал, ему было некогда, перед ним сидел человек и так запросто выдавал такое, что ему и ни взять, и ни прочитать невозможно, он торопился:

— А вот шампанское, я, грешный, почему-то люблю его, а моя старуха ни в какую, говорит: изжога от нее? — как мог задал вопрос Данилыч.

— Вина по насыщенности газами делятся на спокойные и игристые. Самые известные из них — шампанские и испанская кава, это купажные вина — другими словами, смесь разных сортов винограда. Сухие и полусухие — это настоящие игристые. Сладкие и полусладкие — искажения. Помимо прекрасных игристых нового света, у нас — «Абрау Дюрсо» и «Артемовское», сделанных под «шампанское» более сотни лет назад. Уникально красное «Игристое Цимлянское» и замечательное «Мускатное».

— А вот шипучки всякие эти, — поинтересовался Алексей, — как?

— Очень просто, мой совет, друзья, если на свадьбе или еще где, хотите, чтобы гости скорее окосели — к водочке из экономии прикупайте шипучки всякие — результат гарантирован. Шипучки — это даже не искажения вин, это хуже.

Забавно Кириллу Кирилловичу было слушать эти разговоры, они касались, как ни странно, вроде бы, самого известного, но в сочетании Почуйкин-Данилыч приобретали какой-то первородный оттенок.

— А у меня вот тоже есть одна примета такая, тоже к свадьбе или еще куда годится, — сказал хозяин дома, доставая из нагрудного кармана до того времени не нужные очки. — Ежели на столе много свежих арбузов, гости не косеют долго, арбуз, он вино в организме истребляет.

Он надел очки, и Касторгин отметил забавную вещь: Данилыч выражением лица да еще в очках стал чем-то схож с Почуйкиным. Он отметил это про себя и рассмеялся. Очевидно, профессор принял на свой счет его смех и принял это как знак своего некоего поражения в разговоре с хозяином дома. Но тоже добродушно рассмеялся, признав с удовольствием победу Данилыча.

— Да, это очень интересно, я и не знал...

Данилыч не унимался:

— Как же так можно много знать о ней и не употреблять? Почти не употреблять.

— А я уже свое употребил, свою цистерну выпил, — деловито пояснил профессор.

— Тогда оно, конечно, — глубокомысленно согласился Данилыч, — значит, свою академию по этому делу прошел.

Почуйкин согласно кивнул головой.

— Он теперь по одному известному принципу живет, — вмешался Алексей.

— Какой такой принцип? — живо поинтересовался Данилыч.

— А есть люди, которые любят. Есть люди, которые любят смотреть, как любят, а есть, которые любят смотреть, как смотрят как любят. Так и с питьем.

Данилыч помотал головой, и было непонятно, то ли он осуждает такой принцип, то ли пытается понять сказанное.

ЗАКОН ГРАБЛИНА

— Вон и Граблин со своей супружницей пожаловал, — посмотрев в окошко, почему-то приподнято сказал Алексей. — Пускай он про жизнь нам порасскажет, — Алексей сделал ударение на слове «он».

— Еврей, что ли? — спросил Владислав.

— Почему «еврей»?

— Ну — Ривлин, Граблин, Рохлин, — начал тот загибать пальцы.

— Ага, — продолжил, улыбаясь, Алексей. — Дарвин, Грузвин, Молдаввин. Наш он, местный, сейчас увидишь, хитрей еврея с цыганом вместе взятых.

Вошли Граблины. Подчеркнуто смущенно покашливая, мужичок лет сорока тихонечко, но так, чтобы было видно, подталкивал свою спутницу, в нерешительности застрявшую на пороге.

— Проходите, гостечки, проходите, — хозяин дома привстал и показал на свободные стулья.

— А? — вопросительно и в тоже время торжественно произнес Алексей, приподняв початую поллитровку на уровне глаз.

— Да чего уж там, — живо откликнулся Граблин, — с устаточку-то, конечно, оно даже на пользу, — и живописно, подбоченясь и крякнув, широкими движениями обеих рук, горстями расправил густые усы.

— Ну, пошло-поехало, с устаточку? Ты что, за соломой, что ли, успел уже съездить, на дворе-то утро, а ты — пить, с ранья-то, Витамин?

— Кто-кто? как она сказала? — переспросил Кирилл у Данилыча. — Витамин?

— Да Вениамин он, но, вишь, ей так удобнее, — сказал тот, делая жесткое ударение на конце слова: удобнее.

Меж тем Граблины наконец-то сели, причем он, дурачась, как бы между прочим, долго усаживался, перебирал и что-то подтягивал у себя

ниже пояса, сугубо осторожно и внимательно относясь к своему причинному месту.

— Ну что ж, чтобы наши дети не боялись грома, — провозгласил неожиданно тост Витамин и неспешно потянулся чокаться.

Дополнений к тосту не последовало, все как-то быстро согласились с установкой по поводу грома и выпили.

— А ты, мать? — явно провокационно, как бы небрежно, спросил Витамин у жены. — Пей, чего уж нам, сельским, отставать, стирай грань!

Ему надо было, чтобы она была соучастницей выпивки: меньше потом упреков.

— Какую еще грань? — не врубилась Татьяна.

— Ну, между городом и деревней, отсталый ты элемент.

— Плети больше — отсталый, вы уж давно обогнали город-то по этой части, — и, сказав это, она неожиданно задорно, казалось бы, не к месту, хохотнула.

— Тады за любовь, — явно раскручивая какой-то свой сценарий разговора, вновь подсказал Витамин.

Кирилл Кириллович, облюбовав желтый крепенький соленый помидор, потянулся вилкой к большой чашке, стоявшей посередине стола.

— Вот вы, извините, можете сказать сходу, что такое любовь?

Касторгин опешил, вопрос был задан ему. «Почему именно мне он задает этот вопрос, да такой еще дурацкий в данный момент?» Его вилка вначале застряла в воздухе, потом он, посчитав неуместным свои действия, положил ее на стол, почему-то с левой стороны тарелки, как на официальном обеде, и сосредоточенно кашлянул в кулак. Подняв голову, он увидел смеющиеся глаза Алексея и вдруг понял: он, этот Витамин, не простак, это только так, с виду, лаптем щи...

— Отвечаю сразу всем и тебе, Танюша, коли не успел одной дома объяснить: любовь — это, — он поднял указательный палец левой руки кверху, — любовь — это... — он выдержал паузу столько, сколько надо: ни один из присутствующих не проронил ни слова, — любовь — это... стирание грани между умственным и физическим трудом. Вот что такое любовь.

— Получишь сейчас у меня, понесло тебя, — жена Вениамина, кажется, всерьез начала сердиться.

— А ты — пей, пей за любовь-то.

Она наконец выпила. Сделала кислое лицо и в тон мужу, не желая, очевидно, отставать, обронила дежурную фразу:

— И как ее, проклятую, татары пьют!

— Нальем еще по очередной? — сказал Алексей и вопросительно посмотрел на сидевшего напротив него Владислава.

— Ну, подожди, куда гнать вороных, интересно, как живет деревня.

— Да, как вот живет деревня, а? — с готовностью подхватил Алексей и с ухмылкой посмотрел на Граблина.

Кирилл Кириллович понял этот взгляд: Алексей ждал от Витамина чего-то особенного, на что, было видно, Граблин был весьма горазд.

Но тот почему-то сказал неожиданно серьезно:

— У вас в городе — сплошная «Смехопанорама» да «Аншлаг», а у нас — горькое похмелье, в деревне-то.

— Ну, не пили бы, кто ж заставляет? — неожиданно для самого себя вступил в разговор Кирилл Кириллович.

— Да я не про то похмелье.

— А про какое?

— Про то, куда нас всех сельчан засунул город, где мы оказались?

— Да разве ж город в этом виноват? — удивился постановке вопроса Кирилл Кириллович.

— А кто же, как не город?

— Ну, не знаю, но странно как-то, общая политика...

— Вот, если бы депутаты госдумы и министры заседали не в Москве, а в Покровке или в какой-нибудь Грачевке, среди этой грязи, нищеты и беспросветности, то вмиг бы поняли всю национальную идею и что надо делать, и когда.

— Переселить в село всех? — обрадованно догадался Алексей.

Витамин не ответил на вопрос, а продолжал:

— Ведь сверху все же... — он остановился, подставляя свою рюмку, когда Алексей начал вновь разливать, и продолжал: — ...все же сверху видно. Почему создатель терпит этот дурез? По себе знаю: сверху видней, — как-то задумчиво проговорил Вениамин и вдруг встрепенулся. — А хотите, историю расскажу, самую настоящую, непридуманную?

— Хотим, — заинтересованно, с академическим видом кивнул профессор Почуйкин, — у вас все интересно получается. — И затих, подперев подбородок кулаком.

Граблин продолжил:

— Для начала, мужики, кто знаком с геморроем?

— Опять за свое, — встрепенулась жена Граблина, — хватит, имей совесть.

— Да я совсем не про энто, я сурьезную штуковину городским ученым людям хочу...

– Ну тебя, я пойду, пожалуй, сбегаю в магазин, кой-чего мне надо.

Она поднялась, стараясь опередить возражения против ее ухода, но их не было, все смотрели на Вениамина. Рассказчик посмотрел на молчавших за столом собеседников, что-то понял по своему:

– Счастливые вы люди, не испытали на себе это дело – геморрой.

Алексей смешливо посмотрел на профессора. Тот непроницаемо молчал, мудро, как филин, глядя перед собой.

Граблин продолжал:

– Вот если ваши все зубы, которые есть, находятся не там, где им положено, а совсем в противоположном месте, на котором вы того... сидите... и все они разом болят – это и есть он, родненький – геморрой. Таково научное определение, мое, конечно... – Граблин, прищурившись, как при стрельбе, левым глазом, правым зорко глянул на слушавших его.

Хирург-профессор, пожевав тонкими губами, громко и одобрительно чмокнул. Алексей захохотал так, что, махнув рукой, опрокинул свою рюмку. Хозяин дома, Данилыч, очевидно, не раз слышавший «учености» Граблина, снисходительно улыбался.

Кирилла Кирилловича вообще забавляла вся обстановка в избе, поездка ему нравилась и он себя чувствовал здесь, особенно с приходом Витамина, уютно. Хотя, конечно, отдавал себе отчет, что все это маленький маскарад, что вот они уедут, пойдут обычные дни, заботы у этих людей. Молох забот поглотит и эту веселость, и все остальное... но пока, пока... «Пока мне отчего-то хорошо», – думал Кирилл Кириллович.

Поставив свою рюмку на место, Алексей, все еще улыбаясь, сказал:

– Ловко ты профессора просветил, молодец, да и нас заодно, на будущее.

– Какого профессора?

– Вот его, который рядом с тобой сидит, – он кивнул на Почуйкина.

– Здравствуйте, я ваша заграничная тетя! Чего же раньше не сказали?

– А зачем?

– А, правда, зачем? – как эхо согласно повторил Граблин. Он испытующе посмотрел на Почуйкина и спросил: – Вы хирург?

– Да, – односложно, но приветливо ответил профессор.

– И геморрой вырезали?

– Конечно.

– Тогда я расскажу, как было всерьез.

— Мы выпьем? — спросил Алексей и было видно, что в доме как-то так получилось, что всем управляет Граблин, все приковано к нему.

— Выпьем, — как бы нехотя разрешил Граблин.

Все выпили, кроме профессора. А крякнул один Витамин. Громко и смачно.

— У меня был геморрой. Это долго рассказывать, как я, намаявшись, решился на операцию. Расскажу коротко, у меня в этом деле свой интерес. Когда мне делали операцию, то, наверное, наркоз не так сделали или что еще, но я вышел из собственного тела.

— Что? — выдохнул Алексей, готовый к очередной хохме.

Профессор удивленно повел бровью и зорко уставился на рассказчика.

— Я поднялся спокойно под потолок и смотрел за всем, что происходило в операционной. Отстраненно наблюдал врачей, себя, всех остальных, которые были внизу. Было легко и радостно. Необычайная легкость освещалась каким-то чистым и ясным светом.

— Как долго это продолжалось? — спросил Почуйкин.

— Да вот всю операцию, потом сказали: «Все», — и я спустился вниз. У меня такое чувство, будто я побывал тогда в раю, хотя потом, после операции, ни приведи господь, намучился. Вот меня и волнует, что это было, ведь рассказывал — никто не верил.

— Или в раю, или в состоянии клинической смерти, — задумчиво проговорил профессор, — такие случаи в медицине бывают. Бывают они и у рожениц. У многих женщин в этот момент появляется необыкновенное ощущение счастья, особое телесное или витальное счастье. «Выход женщины из тела» наблюдается почти у девяти процентов рожениц. Сейчас наука потихонечку начала это познавать.

— Но я — не баба, — резонно и вполне серьезно возразил Граблин.

— Душа или то, что можно назвать как-то по-другому, но что составляет нашу духовную субстанцию, существует несомненно, и она бессмертна, она переживает тело, — не обращая внимания на реплику Витамин, продолжал ученый. — Ведь когда две клетки — мужская и женская — оплодотворяются, это начало не только продолжения телесного, но и духовного существования человека. Таланты, пороки, достоинства, недостатки — все это переносится на нового человека. Без души этого переноса не может быть. Я не специалист в этом вопросе, но я думаю, что это так, — словно на кафедре, чеканно и сдержанно формулировал свои мысли профессор, казалось, обращаясь к целой аудитории.

– В какие дебри ты вильнул, ну голова у тебя, Витамин, – восхищенно проговорил Данилыч, – я от тебя такого рассказу еще не слышал, ажник дохтур, профессор задумался, в смущение вошел.

Он попытался долить водки, но Почуйкин и Владислав отстранили свои рюмки, у Кирилла была почти полна, лишь Вениамин охотно принял добавку.

– Вот ведь и не про политику вроде бы калякаем, а все какие сурьезные стали, – проговорил Данилыч и эта фраза дала какой-то новый ход мыслям Граблина.

– А хотите, я еще маленькую историю расскажу?

– Снова про геморрой? – хохотнул Алексей.

– А вот и нет, – парировал Граблин.

– Давай, – разрешил Алексей.

– В Ленинграде это было, – с пол-оборота завелся Граблин, – ага, меня за кой-чем туда послали, я в Нефтьгорске (он так и сказал, не «Нефтегорск», а, как говорили здесь в Покровке многие – «Нефтьгорск») тогда работал по снабжению. Это еще до того, как мне вырезали геморрой.

– У него «до геморроя» и «после геморроя», как у нас у всех «до новой эры» и «после новой эры» или «до революции», – вполне с серьезным видом пояснил Алексей.

– Не мешай, – шумнул Данилыч.

– Я жил в каком-то общежитии на проспекте Ветеранов, там еще не очень, по-моему, далеко Черная речка, где Пушкин с Дантесом стрелялись, я ездил туда. Ну вот, надо было мне к врачу. Нашел поликлинику – все чин-чинарем. Очередь занял. Сижу. Всего-то два человека, мужчина впереди, один рядышком сидит, дедок, ага. Такой небольшого роста, в ватных штанах и в чесанках с галошами. Дело было в апреле, непривычно в таком виде в городе. Но потом-то все ясно стало. Краина, рядом деревни, грязища. Тоскливо сидим. И ни с того, ни с сего, видно допекло, дедок мне говорит: «Стервецы, заставляют меня попусту мотаться почем зря из-за своей оплошки». – «А в чем, – спрашиваю, – проблема?» – «Да оплошали врачи, вырезали грыжу, а вот мошонку забыли пристегнуть». – «Чего-чего?» – не поняв, переспросил я. «Ну, отрезали, а не пришили мошонку-то, теперь все опустилось, ну яички вот сюда, – он ткнул пальцем к коленям, – и трудно ходить, сидеть. Опять операцию делать, обратно». Я хохотнул, а дед, нисколько не обидевшись, деловой дедок, выдержанный, рассказал: «Вы вот, молодняк, не знаете, а я это прошел, я – кавалерист бывший. В кавалерию строго отбирали. Ежели мощна низко висит, ни за что не возьмут в кавалерию,

скакать нельзя». — «Как так?» — «А так, непонятно, что ли... У нас один Колька Мазурок был, мы думали отчаянный боец: как только команда была «по коням», он вскакивал в седло, лицо его делалось зверским и он орал «а...а... мать вашу!» Мы думали, храбрый — дай врага — разорвет на части. А оказалось... того... «Чего?» — я сразу не понял. «Ну он медкомиссию как-то обошел стороной, а мотня оказалась низко посажена... Ну, значит, как прыгнет в седло, так и на все свое хозяйство всей тяжестью... бедолага... прямо сказать... отсюда и зверство в лице, когда «по коням» команда». — «Ну и как же?» — спрашиваю. «Как же... конечно, отобрали коня — и в пехоту».

Когда хохот за столом прекратился, Граблин спокойно подытожил:

— Я к чему это рассказал? — и сам ответил: — Калякали, калякали, а про политику ни слова, непривычно как-то.

— А где ж тут политика? — как-то очень серьезно, не ожидая никакого подвоха, спросил профессор Почуйкин.

— А в самой середке и есть политика.

— Это ж в какой середке? — профессору было непонятно, а остальным тем более.

И Граблин, довольный, пояснил:

— Наши реформаторы-то рвутся вперед, но большинство из них кавалеристы как Колька Мазурок, никудышные, медкомиссию не проходили. Одним словом... чудаки, — и добавил еще: — с другой буквы. — Витамин поднялся из-за стола, собираясь уходить. — Ну вы тут без меня в текущем моменте разберетесь. Я все равно не политик, ведь так, — ступил на порог и вдруг, резко повернувшись, сверкнул глазами. — Профессор, между прочим, а как вы относитесь к эвтаназии.

Все за столом разом притихли, понимая, что профессору приходится выдерживать своеобразный экзамен. Но профессор оказался молодцом, не подвел городских. Он спокойно повернулся к Граблину, глядя истово, не мигая своими удивительно синими, почти не тронутыми старостью глазами.

— Отрицательно, молодой человек. Видите ли, правомерность ее вызвала и вызывает много споров в мире, но я считаю, что ни один субъект не может принять и исполнить просьбу умирающего о лишении его жизни. И уж ни в коем случае не врач. Эвтаназия — это палачество. Человечество ожесточилось, но не до такой же степени, чтобы по дикарски быть безжалостным. Такова моя позиция. А ваша?

— Моя позиция совершенно такая же, профессор, — раскатисто, но уважительно расхохотался Граблин и толкнул дверь.

Когда Витамин вышел, Почуйкин спросил Алексея:

– Кто он такой?

– Электрик, – и, чуть помолчав, добавил, очевидно, чтобы упредить следующий, легко угадываемый, вопрос. – Окончил техническое училище, и все.

Профессор ничего больше не спросил, а, чуть помолчав над тарелкой, отодвинул ее, выпрямился, обвел всех разом взглядом и рассмеялся.

«Насколько многообразна жизнь и насколько она неожиданна! А я кисну на своем Волжском проспекте. В такой глуши с туалетами на улице живут люди и ничего, живут. Хохмач Граблин мог бы жить в моей квартире в Самаре? Конечно. Но интересно, какой бы он тогда был?» – так думал Касторгин, живо держа в памяти все только что услышанное и увиденное в этой небольшой, неказистой избенке.

Когда начали вставать из-за стола, Алексей продолжал сидеть на крашенном синем крепком табурете. Кирилл, намереваясь выйти в сени размяться, вновь попался на ржавый крючок нудного разговора своего приятеля.

– Удивляюсь я тебе. Человеку за пятьдесят, в таком водовороте был и ни любовницы не завел, ни денег не наворовал. Мается думами, бедолага... Ты какой-то не такой, как мама моя сказала бы, не правильный по нонешним временам.

– Да уж какой есть, – усмехнулся кисло Касторгин, – со мной уже подобную политбеседу вел Владислав.

– Герой нашего времени у Лермонтова и тот за Беллой гонял, а ты герой? В каком веке живем, голова твоя... стерильный, что ли? Гормоны иссякли?

– Сейчас другие времена – другие герои.

– И кто же он, герой?

– Сейчас герой у нас – депутат, его величество избранник народа.

– Но ты как-то устроил бы свой быт, – тянул свою мысль Алексей.

– В Самаре сейчас это просто...

– Ты о проститутках, что ли?

– Ну да, зря что ли я тебе в Джоррет де Мар лекции читал? Помнишь?

– Помню, – нехотя отозвался Кирилл Кириллович.

Алексей испытующе посмотрел на Касторгина.

– Знаешь, я тогда еще удивился, какие вы со Светкой разные. Вы не могли долго жить вместе. Я об этом тогда думал, но не сказал тебе. Зачем? Ты, как тюлень, долго соображаешь.

Касторгин слушал равнодушно. Его действительно это сейчас не задевало за живое.

— Послушай, у тебя с простатой нормально? Ведь у мужиков после сорока это часто случается. Я врач же, могу помочь.

— Иди к лешему. Все у меня нормально. Умеешь же ты все доводить до примитива. Лучше скажи, где твоя бывшая супруга?

— Не поверишь, через какую-то, что ли, электронную сваху у подружки в Ленинграде познакомилась с аргентинцем. Не вру, ей-богу. Он ее увез к себе, женился. Вот даст она теперь там танго аргентинское, будет помнить весь континент, — он говорил легко, было видно, что все перегорело и прошло; Кирилл Кириллович внутренне порадовался за приятеля. — Кирилл?

— А, — с непонятной готовностью быстро отозвался Кирилл Кириллович и тут же понял, что этой своей интонацией он невольно проявляет самое хорошее свое отношение к приятелю своему, несмотря на все его «заботы».

— Послушай, сейчас, в наше время и в твоём возрасте становиться писателем — дорога в никуда, пропадешь от безденежья.

— А я сторожем устроюсь. Мне много не надо, — усмехнулся Касторгин, — голодные талантливее.

— Тебе твоя пишет? — вдруг спросил Алексей.

— Нет, теперь уже не пишет, да и было-то всего одно письмо.

— А дочь?

Касторгин отрицательно мотнул головой и задал свой вопрос:

— Ты вот скажи, почему у нас так все убого?

— Что — все?

— Все — и жизнь, и быт, — уточнил Кирилл. — Ну хотя бы вот сельский туалет? Ну разве такое в наше время должно быть? На морозе, без ничего... Без воды горячей в доме... А? Заграница так давно уж не живет.

— А вот повоюют пусть с наше, некогда будет и так жить.

— Да ладно, — отмахнулся Кирилл Кириллович.

— Нечего ладить, — запросто отпарировал Алексей. — Ты думаешь, раз я коммерсантом стал, то я одни бабки могу считать? Я совсем недавно своим охламонам в офисе политинформацию делал, так...

— Что? — изумленно переспросил Касторгин. — Политинформацию, ты?

— Ага, — не обидевшись, продолжал Алексей. — кто-то же должен ребят молодых теребить. Я специально рылся в журналах. Цифры до сей поры в мозгах сидят: с 1055 года по 1082 год, по-моему, было 245 нашествий на Русь и внешних столкновений, с 1240 по 1462 год почти

каждый год были войны. В Казани, взятой нашими, кажется, наврать боюсь, в 1552 году было сто тысяч русских пленных.

— Это когда все было...

— А что, потом и до наших лет не воевали, что ли? В этом большой корень всего.

Кирилла смутили последние слова Алексея. Об этом он раньше как-то не задумывался.

— Ничего, — усмехнулся он, — вот Запад, Америка нам теперь помогут.

— Ага, — охотно подхватил интонацию Алексей, — сначала нас развалят, а потом, как с тараканами, с нами. Пердела она потом на нас с высоты, Америка: и на нас, и на Запад. С ее-то амбициями. Молодец все-таки Хрущев, сунул в свое время им ежа в штаны с Кубой-то, теперь уж так не получится. Если к себе и примут потом, то только на калду, навильниками навоз за ними убирать.

Вошел Владислав. Положив видеокамеру на кровать поближе к большой цветастой подушке, подсел к столу. Произнес, обращаясь сразу к обоим:

— Знаете, какую я заметил штуку?

— Нет, — отозвался Алексей, — где уж нам.

— Когда я купил видеокамеру и стал упражняться, то, увидев впервые себя на экране, несколько оторопел.

— Ну, это обычный синдром, многие к себе экранному не сразу привыкают, — заметил Касторгин.

— Да нет, понимаешь, штука вот в чем: нет синхронности между тем, что я в себе чувствовал в отдельные моменты и что было у меня на лице, что оно выражало. Конечно, в общих чертах было соответствие, но глубинного не было.

— Но ты же не актер.

— Да, верно, но я же не играл, я жил, понимаешь, а мое истинное, то, что я знаю, было во мне, внешне было искажено.

— Мудрено что-то! — пробасил Алексей. — Не для нас.

— Да нет, просто. Я хочу сказать, что нельзя человека воспринимать только внешне. Механизм взаимодействия между состоянием души и внешним поведением несовершенен. Если даже человек не скрывает своих чувств, все равно они недостаточно четко отражаются в его внешнем поведении, мимике, жестах. Это я понял. Это несоответствие. И вот что еще. Тоже недавно понял: жестокие люди порой не понимают, что они делают. Они так закодированы. Им надо прощать. Они потом поймут. Это с возрастом понимание приходит.

«Странно вот еще что, — размышлял Касторгин, — за столом Граблин в открытую говорит обо всем и это не звучит пошло. А у Сушко в кабинете... — он вспомнил эпизод, связанный с поздравлением старого хирурга, — обстановка, что ли, другая?»

— Отчего так обнаженно все в деревне и запросто? — проговорил он вслух.

— Да, может, на сердце корки нет, асфальтовой. К земле человек ближе, — то ли ответил, то ли спросил Данилыч.

Кирилл Кириллович вновь поразился про себя: «Как просто сказано». А вслух сказал:

— Мне всегда почему-то казалось, что в городе больше образованных, а в деревне — умных.

Прозвучало это как-то уж очень прямолинейно, он усмехнулся сам себе, поняв, что сказанное похоже на неловкий комплимент. Но Данилыч выправил ситуацию с легкостью необыкновенной, схожей с навыками хорошего тамады:

— Не мудри, Кириллыч, дураков Создатель ровным слоем везде рассыпал — и на полевых станах, и на ваших кафедрах в городах. Я не имею в виду, конечно, сейчас нашего общего теперь знакомца — умницу-профессора... голова.

Под конец застолья Данилыч проявил себя еще более неожиданно для Касторгина. Задумчиво ковыряя ногтем столешницу, он произнес:

— Он ведь считает, Граблин-то, что открыл всемирный закон. Надо-ел мне с ним.

— Чего-чего, — живо поинтересовался Почуйкин.

— Да, закон открыл и говорит... эта... универсальный закон, достоин за него Нобелевской премии.

— С него станется, — совсем серьезно сказал профессор. — И какой закон?

— Сейчас припомню, наизусть знал, сейчас, вот-вот, — он усердно морщил лоб, наконец выговорил не без труда: — Чем резче отклонение — тем больше недоразумение.

— Это о чем же закон? — попытался уточнить готовый рассмеяться Алексей, а Кирилл Кириллович невольно прислушался.

Данилыч тоном профессора Почуйкина, спокойно, как само собой разумеющееся, пояснил:

— Обо всем: как отклонение от курса, от нормы, от цели — так недоразумение, — совершенно серьезно заключил он.

Кирилл Кириллович посмотрел на присутствующих: показалось, что сейчас будет за столом хохот, но этого не случилось.

– Вот революцию свершили – курс изменился: стало большое недоразумение. Манька – соседка – родила семимесячного, так тот до сих пор не говорит, а ему уже два года. Отклонение от нормы. Лишний стакан на грудь не вовремя примешь – тоже оно, того... невпопад, значит. Вот он закон-то и действует. Я ему говорю, Граблину-то: норму-то али курс правильный, их же определить надо. А он говорит, что и на это закон есть. Он и над этим думает. Говорит, что на все законы природы есть, только их надо открывать не лениться, но мир познать нельзя до конца, он этому сопротивляется. Вот оно, как у него. Голова! Дом Советов – одно слово. После него только Осмоловский, староста нашей церкви, по уму-то стодитя. Но у него голова все больше забита восстановлением Покровской церкви, Бог ему в помощь, деловой человек, из ничего топорище стоношит...

Хлопнула дверь в сенях и Данилыч встрепенулся:

– Вот он, наверно, Петька Герасим идет!

– Кто-кто? – переспросил Кирилл Кириллович.

– Мой внук – Петька-второклассник – из школы попутно, от младшей дочери.

Не успел Касторгин задать новый вопрос, как дверь в избу распахнулась, впустив холодную волну воздуха, и на пороге появилась удивительная, маленькая, но такая забавная краснощекая копия Данилыча с большими светло-голубыми глазами.

– Дед, баба где? – не обращая ни на кого внимания, выстрелила скороговоркой копия.

– Дак, ты не пришел бы, не знал бы, где и ты.

Следующая фраза удивила Кирилла Кирилловича своей безапелляционностью и покорила непосредственностью.

– Шлендает где-нибудь по соседям?

– Ага, – охотно согласился дед, – сбегай к Петянихе, у нее, скорей, она мне тоже нужна.

Внук послушно выкатился за порог, а дед усмехнулся тихо в усы под удивленным взглядом Касторгина:

– Я думал, он хулиган какой, а он так послушно...

– Не хулиган он, а боевой. В этом разница есть. А сердце доброе. Вон на окошке книжка лежит. Есенин. Я ему раз десять читал по его просьбе «Песнь о собаке», ну, помнишь, – и он, на удивление чистым голосом, прочитал:

*Утром в ржаном закуте,
Где златятся рогожи в ряд,
Семерых оценила сука,*

Рыжих семерых щенят.

...Петька все заставляет еще и еще, а у самого все лицо в слезах. Я его спрашиваю: «Ну зачем же читать еще, ты уж все знаешь и плачешь, к тому же». А он, Петруха, отвечает сквозь слезы: «Когда ты читаешь, снова я каждый раз надеюсь, что он, хозяин хмурый, их, щенятков, не утопит, что они останутся живыми. Может, выплывут». Я ему читаю по нескольку раз эту историю, и заметил за собой, что тоже хочу, чтобы все мирно получилось, вот ведь штука какая? Что млад, что стар.

ЭТОТ ДОТОШНЫЙ ПОЧУЙКИН

Из Покровки возвращались на другой день уже в сумерках.

«И почему я раньше не ездил в деревню проветриться, да еще с такой разноперой командой. Интересно было бы и познавательно — неожиданное наслоение разных пластов, характеров. Жизнь с разных сторон смотрится. Я же всю жизнь практически в кругу коллег своих, обычно технарей. Один художник Владислав немало стоит. Молчун ведь, но с ним никогда не скучно. Весь день пытался настойчиво отбиться от компании и остаться наедине со своими красками. Теперь, когда я завис над пропастью, мне проще замечать прелести жизни».

Из задумчивости его вывел ровный голос профессора Почуйкина:

— Устойчиво живешь, так мне кажется, — профессор тронул ладонью плечо Владислава.

— В каком смысле?

— Ну, такая у тебя мастерская, не каждому, наверное, дано? — произнес Почуйкин. — У вас у всех художников в Самаре такие мастерские, все еще не выперли коммерсанты?

— Пока нет, но некоторые из наших, к сожалению, сами отказываются от таких площадей.

— Почему? — въедливость профессора и здесь начинала брать свое.

— Да очень просто, не каждому под силу платить полтора миллиона за двадцать квадратных метров в месяц. Уйдем из мастерских, а этого допустить нельзя, сразу же их заполнят массажные салоны, картежные притоны и прочее. Наши мастерские — это сегодня, может быть, единственное, что объединяет художников. Нет порой квартир, творческих дач, как раньше, куда на месяц-два приезжал художник и мог бесплатно жить и работать. Такие дачи были под Москвой, на Байкале, Черном море. Там могли работать и те художники, которые не были членами Союза. Было взаимообогащение общением. Сейчас мастерские — это гнезда,

где художники создают свою ауру, которая оказывает влияние и на всю Самару. После церкви мы, художники, идем следом.

«Кажется, он копнул, где ему надо, и задел за живое, — подумал Касторгин, — наверняка вся дорога будет идти под этот аккомпанемент, действительно профессору это надо знать или как?»

— Раньше, — продолжал Владислав, — член Союза художников, кроме материальных возможностей, работать на дачах, финансовой помощи, имел право на дополнительную площадь в двадцать метров, но главное — художника обеспечивали работой. Была целая система, обеспечивающая нас заказами, собирали их по совхозам, заводам, другим организациям. Теперь этого нет. Самарские художники, которые более-менее известные — Баранов, Герасимов, Комиссаров, Филиппов — как-то выживают за счет заказов, помощи состоятельных людей... Вот я знаю: Владимир Рябцев за сорок миллионов купил себе мастерскую где-то на Ленинградском проспекте.

— А ваш, когда-то знаменитый, фонд?

— Фонда нет, он обанкротился, и банк, где был счет фонда, лопнул, — Владислав сказал это с таким напором, повернув бородатое лицо к Почуйкину и сверкнув глазами так, будто он, профессор, был главным виновником всего этого.

— Владик, — нарочито очень вежливо обратился Касторгин к художнику, — он ведь только вопросы задает, он — профессор, а не властные структуры, он — ни при чем.

— У нас около восьмидесяти членов Союза художников в Самаре, у всех были мастерские, из них пятьдесят — просто приличные, и указом нашего бывшего мэра Самары отданы художникам на двадцать лет без оплаты за аренду. Но текущие платежи, они убивают...

— Значит, не стало государственной поддержки и не будет нормальных художников, слабо самостоятельно прожить... Но за покровительство надо платить? Идеино платить, — напирал профессор.

— Никто не собирается ни под кого ложиться, но что происходит? Чтобы прокормиться, когда спроса на графику нет, миниатюру — нет, ребята начинают писать надгробные портреты и радоваться вырученным деньгам. Живописцу еще как-то полегче. Мы с Рудольфом Барановым часто обсуждаем ситуацию, он говорит: «Если хотите подвального искусства, его даст обществу нищий художник». Наш председатель Союза прав. Учить и учиться не на что. Идет потеря реалистической школы. Сегодня в мире абстракционизм разрушил реалистическое искусство. Рудольф в Италии выиграл конкурс среди полудюжины итальянских художников только потому, что на его огромном полотне восемь на пять метров

изображены человеческие фигуры в натуральную величину. Художники не умеют рисовать портрет, рисовать человека, а ведь в центре искусства – человек, верно?

– Верно, верно, – откликнулся профессор, – тебя вон и Кирилл Кириллыч заслушался, так что совсем скорость потерял.

– Да нет, ребята, за вас беспокоюсь, здесь скоро поворот перед дорогой в совхоз «Черновский», чуть не под девяносто градусов, один знакомый мой в посадку там угодил – не вписался.

Почуйкин поутих, и только когда миновали опасный поворот и вышли на прямую, набирая скорость, он ожил, как ни в чем не бывало, спросил:

– Ну, и?

– Вот у итальянцев художники своим трудом не живут, имеют свой бизнес, а рисуют в свободное время, отсюда и результаты.

– Но ведь сопротивление обстоятельствам, все-таки может это и делает человека художником.

– Да, но не каждого. Не каждый может противостоять трудностям.

– Да, а вы знаете, – пожевывая губами, сказал профессор, – даже мой папа мне рассказывал: Григорий Пономаренко, приехавший с Мило-славовым в Куйбышев, создавшие Волжский народный хор и замечательные для него песни, он, Григорий Пономаренко, уехал из Самары в Волгоград только потому, что очень хотел, чтобы у него была квартира с окнами на Волгу. Он убеждал начальство, что это ему надо для творчества, что он без Волги не может, не может писать песен. Не дали – и он уехал.

– Он жил, по-моему, на улице Фрунзе, на первом этаже в почти подвальном помещении, – проговорил Касторгин.

– Вот-вот, – продолжал профессор, – и тем не менее написал песни, которые прославили Волжский народный хор.

«Ему обязательно надо, чтобы последнее слово было за ним, не будем ему мешать», – рассудил Кирилл Кириллович. Он сбросил газ и включил левый поворот, впереди – кольцо и далее поселок Кряж. Кирилл посмотрел на часы: было восемнадцать сорок. «Успеваю всех развезти, поставить машину в гараж и посмотреть «Время», – умиротворенно подумал он.

Когда Касторгин подошел к своему подъезду, в неярком свете лампы над дверью на стене он увидел несколько наклеенных объявлений. Одно из них привлекло внимание: «Всем тем, кто желает иметь дополнительный хороший заработок, обращаться по адресу: Волжский пр., 19,

2-й этаж, оф. 211, понедельник, четверг в 18.00. Надежда. Обучение за счет фирмы».

«Символично – «Надежда», – отметил про себя Касторгин. – Психологи или случайность? Надо заглянуть. А, нет. С полгода еще к этим моим странным трем месяцам я могу на свои сбережения прожить, не работая, правда, тогда уж никаких финансовых резервов не останется. Но зато проверю себя: ведь за это время можно серьезную вещь написать, если я не бездарь, конечно. Хороший у меня все-таки дом, – усмехнулся он, – вернее, район, престижный, забота чувствуется. Вот опять полный ящик газет».

Действительно, из почтового ящика торчало несколько изданий, которые распространялись бесплатно и с такой методичной настойчивостью. Поначалу это даже раздражало, но потом он привык, внутренне не смирившись только с тем, что эти непрошенные газеты в небольшом ящике мяли те, которые он выписывал. Ему приходилось мятые «Литературную газету», «Волжскую коммуну» каждый раз разглаживать. На этот раз из ящика торчали не уместившись: рекламно-информационная газета «Экстра», «ТВ-пресс Неделя», «Самарские новости», «В каждый дом».

«Странно, а почему нет приложения к «Комсомолке» – «Ваш выбор», нет газеты «Экстра», – начал мысленно перечислять он. – Безобразие! Не могли, наверное, затиснуть».

Когда он уже засыпал, вдруг вспомнилось, как они со Светланой гуляли года два назад в осеннем лесу напротив маленького села Винновка. Был солнечный сухой октябрьский денек. Они по руслу высохшего ручья углублялись в чащу, в надежде наткнуться на опят. Но было сухо, ни туманов, ни морозов. Вскоре им надоели безуспешные поиски и они, повернув назад, вышли на полянку, поросшую редкими, но крепенькими липками. И здесь произошло событие, которое поразило его. Светлана как-то отнеслась к этому прохладно, но он не мог долго успокоиться.

На его пути попался большой обрубок бревна. Желая откатить его с пути, Кирилл подналег и ногой повернул его, и тут же прямо перед глазами, взметнувшись вверх, осыпав уже некрепко сидящие пожелтевшие листочки, встала, нет-нет, воспрянула метра в четыре высотой молодая липа. Оказывается, когда-то бревно ее придавило, и она до поры до времени росла, прижатая к земле, но сохраняя силу и упругость. Он несколько раз обошел липу, все еще удивляясь случившемуся, ведь только что поляна была хороша, конечно, но эта липа, преобразившись сама, изменила и поляну, она стала другой.

«Ах ты, Светочка, что же ты наделала?» – расслабленно прошептал он, ежась в постели.

«Липа? Это я? – вдруг подумал он, – может быть, я. Я чувствую, что стоит сделать еще какое-то движение, и я восстану, но какое, я пока сам не понимаю. Ощущение есть, а реальность совсем другая. Но я ведь рыба по гороскопу, очевидно, в этом что-то есть. Я чувствую».

Вскоре он заснул. Но спал беспокойно. Что-то огромное, неестественно тяжелое висело над ним, не давало совсем провалиться в сон, чтобы забыться и не думать о завтрашнем дне. Не понимая, во сне он так думает или наяву, Касторгин ворочался в постели и никак не мог уйти от мысли: то ли он слишком многое взвалил на себя сам, пытаюсь понять происходящее, то ли это наказание за что-то, но он, кажется, не выдержит такой жизни. Надо делать конкретное дело на заводе, знать цели и находить способы достижения этих целей. Иметь свою нишу в жизни. А так, как он сейчас живет, так нельзя, нельзя искать ответы на все вопросы сразу и на все отвечать. Такой ум еще не родился, и писатель такой раз в сто лет навряд ли будет. Это гигантская работа духа. Нужен гений, а если не гений, то все не по силам. «Неужели я по сути ничтожество. Я слаб. Я раб. Я ничто?»

...Наутро он проснулся на удивление бодрым и, вспомнив свои ночные страхи, непонятно улыбнулся.

Когда брился, пристально вглядывался в свое отражение в зеркале, словно изучал незнакомого человека, будто привыкал к нему. Возможно, по первоначальному постороннему это могло показаться чуть ли не кокетством, если бы не воспаленно-напряженный взгляд Касторгина и не его замедленные движения, которые явно скрывали неумный темперамент, долгое время сдерживаемый и готовый теперь прорваться самым причудливым образом.

Выходя из квартиры, на площадке Касторгин увидел крышку гроба, обтянутую красным. Куривший во дворе на лавочке сосед сверху Андреич своим тусклым, навечно осипшим голосом пояснил:

– Пашка сторел. Нашли в сорок первом доме, в подъезде, укололся, дозу не рассчитал. Мы все наши подъезды обшарили с его матерью, а он аж в сорок первом оказался. Беда. Но к тому все и шло давно уже. Я его отца хоронил, изуродованного в Афгане, когда тот по пьянке замерз около пельменной и никто не подошел. На роду, что ли, написано у них?

– У нас у всех, может? – отозвался Касторгин.

– А? – вяло переспросил Николай Андреевич.

Весь день Кирилл Кириллович чувствовал, что в нем зреет какая-то решимость. Ему хотелось быть на людях, он хотел действовать.

«Надо делать то конкретное дело, которое ты умеешь делать. Я же инженер, черт возьми, и знаю, что неплохой. Сколько можно еще сделать в жизни. Я готов работать рядовым инженером. Эх, взять бы, как тогда, в семьдесят пятом году, цех-развалюху и попробовать еще раз себя. Тогда-то в свои тридцать лет я ведь поднял огромное производство, а сейчас, что? Ослаб? Тысячу раз – нет. Сейчас можно так грамотно работать. Хочется успешно работать».

Он чувствовал необъяснимый прилив сил и желаний.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ТЕЛЕГРАММА ИЗ СИБИРИ

Вечером позвонил Алексей из Тольятти и Касторгин узнал очень опечалившую его весть: умер Данилыч. Приятель звал помянуть отца на девять дней.

Касторгин был поражен смертью отца Алексея, несмотря на то, что догадывался о состоянии Данилыча. «Как легко и быстро мы умираем». После поездки в Покровку прошла всего неделя, он часто вспоминал Данилыча, помнил, как тот осторожно отламывал от отрезанного ломтика хлеба и маленькими кусочками ел. Его это несколько удивило тогда. Помнил его рассказы и манеру смеяться в усы, ироническое отношение к себе самому тоже помнил.

Его в ту поездку в Покровку убили слова Алексея. Тот, подвыпивший, брякнул каким-то не своим, извиняющимся голосом:

– Жили и живут, как черви.

– Кто? – недоуменно спросил Кирилл Кириллович.

– И родители мои, и вся деревня – в грязи, в дерьме, в бесконечных заботах о еде, тепле.

– А мы с тобой тогда кто? – спросил ошарашенно Касторгин.

– Ну, мы – другое дело.

Кирилл Кириллович не стал больше разговаривать. У него внутри что-то оборвалось. «Как он может так говорить, они же дали ему жизнь, они самодостаточнее его самого». Весь тот день слова Алексея не выходили у него из ума и под вечер разболелась голова.

«Кто же останется в деревне, – думал Касторгин, – Алексей уехал, стал доктором, но лечить народ не стал, в Тольятти заделался коммерсантом. Торгует нефтехимической продукцией. Вон какую печатку на

пальце носит. Скоро и золотую цепь повесит. Россия вышла из деревень и держалась на этом. Но теперь деревни самой не на чем стало держаться. Алексея как бы нет. Списан. Все. Внук Данилыча, сын младшей дочери, Петька», – вдруг встрепенулся внутри Кирилл Кириллович. Разве, может быть, он. Такие, как Петька, подставят плечи свои под деревню, да и России, может, службу сослужат. Душа у него, видно, хорошая, как раз ему, таким, как он, достанется расхлебывать то, что мы натворили. Да, именно Петьке, как раз подрастет, если мы в конце все вдребезги не расколошматим. Ему поднимать. И имя-то у него не нынешнее. Может, это знак какой. Может, Петрам да Иванам удастся, как в древнее российское лихолетье Романовым, поднять Россию. Но ведь никакая уже и монархия не поможет, развратила всех псевдодемократия, принесенная перестройкой. Ни демократии не получилось, ни либеральных реформ. Да и вообще сплошная пошла путаница: ведь у нас сейчас президентская республика, то есть всенародно одобренная конституционная монархия. Русский народ привык к тому, что в России всегда правит один человек. Пусть будет парламентская республика (хотя это для русского ума непривычно), ну так все равно же во главе будет один человек. Так по-русски всегда получалось. Что же изменится? Этот шустрый бедлам вокруг власти будет, ох, как еще долго», – уныло подвел он итог своим скомканным размышлениям и в десятом часу лег спать, против своих правил не посмотрев телепрограмму «Время».

...На третий день после того, как Касторгин вернулся из Покровки с поминок Данилыча, пришла на его имя телеграмма из Сибири. Приняла ее все та же Анна Панфиловна. Он в это время ходил на рынок.

Совет директоров и его давний институтский приятель – генеральный директор одного из самых крупных в России нефтехимических комбинатов Виктор Судаков приглашали возглавить технологическую службу. Им стало известно о его положении и они поспешили заполучить его себе – Касторгина знала вся отрасль.

«Так это ж мой бывший заместитель Скворцов организовал, – догадался он, вспомнив разговор после похорон Рассадина. – Его почерк. Но ведь я и сам готов к этому. Я уже понял: мое место на заводе. А раз понял, что ж тут решать? Я уже решил. И бесповоротно.

Ах, как жаль, что поздно вато, а то бы забрал с собой Рассадина. Он бы там со мной на новом месте, глядишь, и преодолел все».

В тот же день Кирилл Кириллович купил билет и через два дня улетел, вручив своей соседке ключи от квартиры и торопясь, как будто боялся передумать, попросил дать объявление в газету о ее продаже.

Вот так быстро покинул Кирилл Кириллович свой, как он называл, жигулевский рефугиум...

А чуть позже, месяцев через пять, прошел слух, что главный технолог Кирилл Касторгин женился на бывшей своей однокурснице. Очевидно, на той, к которой однажды прошлой зимой чуть было не улетел в Хабаровск. Жизнь его, кажется, стала налаживаться в прежнем русле.

— И, слава Богу, неплохой ведь человек, — подытожила Анна Панфиловна разговоры соседей о его женитьбе, вынимая из почтового ящика Касторгина необычное письмо.

На обратной стороне узкого плотного конверта с непривычными марками был указан отправитель. С трудом, но все-таки она разобрала немецкий текст: письмо было от Ирины — дочери Касторгина...

ноябрь 1998 г. - сентябрь 1999 г.

ПО ОДНОЙ ТРОПИНКЕ ХОДИТЬ

В цех Виктор Клжев устроился восемь месяцев назад после службы в армии. Благодаря природной расторопности он быстро освоил дело и стал своим. А когда получил четвертый разряд, решил твердо: в деревню его палкой не загнать. Благо сила была и слесарил Виктор без натуги. И лишь изредка ему вспоминался неполучившийся разговор с отцом перед отъездом. Убедившись, что сын твердо решил дома не жить, отец тяжело рубанул воздух рукой:

– Ну смотри, Виктор, я тебе не враг, задерживать не стану, но не пожалел бы потом.

Так и разошлись – холодно и неопределенно.

И теперь в короткие минуты перекуров и в обеденный перерыв все чаще и чаще забегал Виктор к плотнику Фадеичу. В его столярке пахло всегда теплым деревом от свежих стружек, столярного клея. От взгляда на ножовки, стамески веселило душу.

Разговор с Фадеичем почти каждый раз начинался одинаково. Повертев стамеску или рубанок в руках и выдержав паузу, Виктор как нечто совершенно новое, только что пришедшее на ум, тянул:

– А что, Фадеич, возьмешь к себе в напарники? Лях с ним, с железом, мертвое оно, иное дело дерево – живое и теплое. Зов предков. А? – И делал дурашливое выражение лица.

Сначала и самому Виктору казалось, что он заходит в столярку просто так, потрепаться с Фадеичем, но потом стал замечать, что тянет его туда нечто иное. И однажды он вдруг понял, что Фадеич очень похож на отца галки – Ивана Макаровича, или просто Макарыча – как звал его Виктор. Такой же малоразговорчивый, но приветливый, пахнувший вечно свежими стружками и махоркой. Там, в далекой Вязовке, их дома стояли друг против друга на одной улице, и Виктор часто забегал к нему в мастерскую.

Потом, повзрослев, он стал стесняться ходить просто так к Макарычу, и виной тому была Галка. Уже перед самым уходом в армию, когда их семьи открыто как бы породнились и отцы стали называть друг друга сватами, они с Галкой не раз посмеивались над неловкостью Виктора.

Каждый раз теперь, когда ему вспоминались те далекие звонкие дни, связывающие его, как тогда казалось, с Галкой навсегда, он гнал воспоминания прочь.

...Это случилось в один из рабочих дней. Возвращаясь из столовой, Виктор обратил внимание на золотой копошащийся комок на нижней полке цеховой эстакады с трубопроводами.

Подойдя поближе, он замер от удивления: это же целый пчелиный рой, мать честная! И откуда же он сорвался?

Через минуту он уже знал, что делать. С Фадеичем они вместе сбили ящик и накрыли верх белой тряпкой.

Играючи, зная, что за ним следит добрый десяток глаз, радуясь своей сноровке, Виктор по лестнице поднялся на эстакаду. Надеть маску от противогаза и приготовить щетку — дело нескольких минут. Приблизившись к дышащей массе почти вплотную, стал легонько сгребать пчел в ящик.

— Че так долго возишься? — Мишка Кривов, электросварщик, осмелев, подошел прямо к стойке. — Давай я те всю полку газом вмиг срежу в ящик, а?

— Иди ты... — Виктор, стягивая с лица влажную резиновую маску, посмотрел сверху вниз.

Михаил был на пять лет старше его и вообще виртуоз в работе, и Виктор относился к нему с уважением, но сейчас он был хозяином положения. И мог позволить, как ему казалось, грубость. Он даже в сердцах хотел сверху вниз ругнуться покрепче для порядка, но постеснялся табельщицы Любки.

От шевелящегося слитка пахло медом и летом. Среди железа и бетона сказочно пахло родной Вязовкой. Лишь когда поставил ящик на верстак, Виктор облегченно вздохнул:

— Ну, Фадеич, бери рой себе, подарок. Конечно, не прочь буду обмыть это дело.

Ножовка в руках Фадеича споткнулась:

— Ишь ты, на кой он мне, на балконе пасеку разводить? Пчела — насекомое деликатное, с ним обращаться надо умеючи.

— Деликатное, — со вздохом подтвердил Виктор и тут же, как бы для порядка, возразил: — Но ведь сейчас курей, свиней и даже коз держат на балконах горожане. Перестройка.

— Голь на выдумку хитра.

Про себя Виктор пожалел, что мало, да что там мало, совсем не вникал в отцовские ремесла. Ни сеть вязать не научился, ни с пчелами, как надо, не умеет действовать — так, по догадке все, почти так же, как и цеховые ребята, не имевшие никогда близкого отношения к пчелам, но он-то ведь сын колхозного пчеловода Петра Клжева «Дилетант деревенский, вот ты кто», — в сердцах ругнул он себя.

— Постой, а ведь ты про пасеку у вас в колхозе мне рассказывал, это же в самый раз.

— Идея, Фадеич! — Виктор вскочил с топчана.

«Идея!» — ликовало все в нем. Он обрадовался тому, что явится к отцу, наконец-то увидит его, и не просто так, как вроде бы соскучившись и сдавшись в их затянувшейся молчанке, а по-деловому — привезет целый рой пчел...

С попуткой Виктору повезло. Едва он сошел в пригороде с рейсового автобуса и добежал до единственного стоявшего у обочины, газика, как все устроилось. ГАЗ-69 шел через Вязовку. И этот факт сам по себе не удивил Виктора. «Так и должно быть, когда человек едет домой», — рассуждал он про себя, вспоминая и ту легкость, с которой отпустил его механик на два дня в отгулы.

Газик по асфальту шел ходко, кроме Виктора пассажиров не было, и, устав вытягивать из шофера слова, словно клещами гвозди из дубовых досок («Сундук с глазами», — беззлобно про себя ругнулся Виктор старенькой присказкой своего армейского старшины и тут же, укорив сам себя за назойливость, — вдруг у парня горе или просто не в настроении, мало ли что), он ткнулся в окошко лбом и стал смотреть на бесконечные стройные ряды ометов, убегающие за горизонт. «Как слоны», — невольно вспомнилось Галкино сравнение.

Вокруг лежал необъятный простор. Глаза, соскучившиеся по родному, искали приметы детства. Вспомнились проводы в армию, Галкины жадные горячие губы, когда она, требовательно взяв его за руку перед самым отъездом (на людях нельзя будет проститься как надо), увела в дальний угол сада. «Галка, Галка, Галчонок! Что ты, как ты сейчас?..»

Из задумчивости его вывел визг тормозов. По проселку, метрах в двадцати, к машине бежала бывшая одноклассница Варька, а чуть дальше стоял его, Виктора, «газон» До армии на этом самом «газоне» он начал работать в колхозе. Машина засела крепко. Около заднего колеса лопатой орудовал узкоплечий высокий парень.

— Кто это? — на ходу спросил Виктор.

— Да студент, прислали на картошку к нам, их у нас двадцать штук, веселые, черти.

— А ты что же делаешь?

— Я-то? Я-то эту самую картошку и вожу.

— Кто же тебе машину доверил?

— А тут и доверять нечего, то есть некому больше, мужики все вышли.

– Ловко, Варюха, действуешь.

Втроем они притащили по охапке соломы. Виктор сел за руль, и вскоре они ехали по проселку к Вязовке. Прощаясь с Варюхой, хлопнул по плечу:

– Молодец, жми на педаль!

Потом уже, когда подходил к дому, запоздало спохватился: «Нет ребят на машины».

Отца дома не было. Взбежав на крыльцо, привычно заложил палец за наличник и достал ключ. В избе было все по-старому. Скрипнув половицей, в горнице подошел к столу, сел. Во всем был, как и прежде, образцовый порядок. Одно сразу бросилось Виктору в глаза – фотография матери 9x12, сделанная за год до ее смерти, не висела в простенке, как прежде, а стояла на тумбочке у кровати отца.

Становилось не по себе от гулкой тишины.

Встал.

Выйдя на крыльцо, закурил.

«Все: и рой, и старенький «газон», и одиночество отца, все как укор за слишком долгое отсутствие. Все – даже этот клен у Галкиных ворот».

Знакомые до боли, какие-то доверчиво распахнутые окна Галкиного дома в густой темноте сияли огнем. В передней заскользили за занавесками еле уловимые тени. И вдруг боль резанула грудь: в окне напротив, в левой половине дома, появился знакомый силуэт, а через минуту другой – мужской. Окно распахнулось еще шире, и родной добрый смеющийся голос Галки возбужденно произнес:

– Геночка, смотри, луна сегодня рыжее тебя! И теперь она каждый вечер только наша, навсегда.

В глубине комнаты низкий голос что-то ответил, но что, слышно не было. Легкая фигурка скользнула от подоконника в глубь комнаты, и тут же погас свет. В доме напротив готовились ко сну.

Широкая ладонь легла на плечо Виктора:

– Ничего, сын, все обойдется. Я тебя теперь понимаю. Вижу: горько. Пройдет, поверь. Погорячился тогда, и хватит. Помолчал.

– Я как-то с председателем нашим разговорился у сельпо. Вот-вот придут две новые машины, кому как не тебе одна, а?

– Они что, решили вернуться из Тольятти назад, к себе в село?

– Да вот решили. Сейчас многие к земле возвращаются. Пока они на автозаводе на конвейере работали, я был уверен: пройдет время, ты повзрослеешь и когда-нибудь, вот как сегодня, приедешь и останешься. А теперь не знаю, что думать.

Отец присел с краю на крыльцо.

— Если они останутся, как же ты будешь жить тут, по одной тропинке за водой ходить? Ведь не смог же тогда, как с армии вернулся?

— Вот что, папа, — Виктор запнулся, поймав себя на том, что от волнения назвал отца, как когда-то в детстве, — это все мое. Прости, но мое.

— Я понимаю.

Выйдя за ворота, Виктор постоял у палисадника. В дальнем конце села кому-то помогал страдать баян, через два двора, у Никитиных, хрипло прокричал, пробуя голос, молоденький петух. Все было как прежде. Словно и не уезжал.

Становилось прохладно и звездно. Дойдя до Варькиных ворот, лицом к лицу оказался со своим «газоном». Тот, поймав лунный свет в лобовое стекло, прицелившись, не мигая глядел на Виктора. Как будто ждал ответа на свой давнишний вопрос.

1987 г.

ФИЛОСОФ

— Ты, философ, на все вопросы отвечаешь теоретически правильно, потому что проверить твою говорильню на практике невозможно. А вот ты мне скажи, скажи, только конкретно, как другу, что мне все-таки делать с ваучером, кто он такой и зачем? А?

Я сижу в зале ожидания Казанского вокзала в Москве, притулившись в покосившемся кресле, и невольно, отряхнувшись от дремоты, слышу разговор двух собеседников. Они появились внезапно и устроились сзади меня на скрипучих сиденьях.

Очевидно, диалог их начат где-то там еще в пути, а тут он уже затихает, но тем не менее, тот, что постарше и под хмельком, говорит с напором:

— Ты знаешь ли, на него, на этот ваучер, курс установился сам по себе, и не сезонный, а по времени суток.

— Как так?

— А вот так. Вчера в одиннадцать вечера я продал свой чек не за пять или восемь тысяч, а за бутылочку водки, где ее, матушку, в такую позднину найдешь, а так — пожалуйста.

— И не жалко?

— Нет. Я скомпенсирую. Вот сейчас, днем, я продам чек уже за две бутылки, поскольку магазины работают, тут свой резон.

Ты должен понимать – коммерция, она штука гибкая. У меня еще три ваучера, а вот четвертый Зинка-сноха продала, блин, в троллейбусе.

– Почему в троллейбусе?

– Да, тут целая история вышла. Она, видишь ли, у нас стеснительная. Никогда ничего не продавал а и заявила, продавать не будет. Первая-то сноха, с которой мой Колюнчик развелся, торгашка была, баба – гром, а эта – ни то ни се. Так вот, слушай, Зинаида всем подружкам в палате своей, она работает медицинской сестрой в роддоме, рассказала, какая она застенчивая, но денег нет и что-то надо делать с этими квитанциями... А те, со скуки, ради смеха, слышь-ка, когда она уходила домой, нацепили ей сзади на пальто листок с объявлением: «Продаю ваучер, недорого!» Она и не знала, что с этим транспарантом шагала по улице до остановки. А в троллейбусе к ней подошел мужчина и предложил пять тысяч за ваучер. Она удивилась вслух: «Что, у меня на лице написано, что я хотела бы продать чек?» – «Нет, – невозмутимо ответил покупатель, – у вас об этом написано на спине». Так и наша Зинаида стала комммерсанткой.

Наступило недолгое молчание. Я посмотрел на собеседников. Обоим лет по сорок пять – пятьдесят. Очевидно, они из одного небольшого городка, либо поселка.

«Коммерсант» – это, видно сразу, мужик не простой, а из тех, кто любит подурочить людей, зная наперед свой ответ на свою же загадку, а другой – из тех степенных рассудительных крепких русских мужиков из глубинки, которых не сразу собьешь с толку, у них свой стержень.

– Однако ж, молчишь. Я тебе наводящие вопросы всякие и истории, ты же молчок, а еще три газеты выписываешь, как профессор какой, слабо?

– Федор, у тебя сколько детей, я уж забыл?

– Трое, а что? – недоуменно и выжидательно ответил «коммерсант» Федор.

– Горластые были? По ночам кричали?

– Ха, не горластые, а жуть с ружьем какая-то. И не по ночам, а круглые сутки Колюнчик нам жару поддавал, я таких потом ни у кого не видел.

– А резиновую соску ты ему давал, чтобы замолчал?

– Эх ма, дак только этой соской и спасался. Суну ему, верзиле, это я так его звал, он родился на пять килограммов весу, суну ее, он и замолчит враз. Ненадолго, но замолчит, а потом по новой реветь, когда она выпадет. Я ему опять резинку в рот – так и забавлялись.

– Так, вот ты и ответил, что такое ваучер.

— А что это такое — ваучер? — дурашливо переспросил Федор.

— Так вот, та соска резиновая.

— Да... — восхищенно и радостно выдохнул Федор. — Вот это ответ. Уважил. Знать теперь буду. Помолчал, затем подытожил:

— Как просто все, когда философия в голове. — И, выдержав паузу, все-таки оставил и за собой право на истину:

— Если, конечно, эта философия верная, а? Обманом пахнет в этих фокусах, чувствую...

1988 г.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

— «...и в это время, когда каждый член коллектива завода, забыв о личных заботах, трудится как один в едином порыве на благо общества, наш секретарь парткома завода Баринов Геннадий Алексеевич со своей развратной любвеобильной секретаршей-машинисткой Лидой Андреевной Голубцовой предается любовным утехам на берегах красавицы Волги, причем и в рабочее время и допоздна.

Если Вы, товарищ Первый секретарь, не уберете его с завода, то мы напишем дальше и вся эта история и Ваша такая вот работа с кадрами станет известна всей области.

Требуем принять меры в течение месяца.

Копию мы послали в обком профсоюза.

Группа товарищей».

Первый, закончив читать, очень бережно, как тонкое хрустальное стекло, положил анонимку перед Геннадием Алексеевичем. Наступила пауза. И закончилась она фразой, которую не трудно было угадать.

— Что будем делать? — почти торжественно и как бы дружелюбно произнес Первый.

«Все кончено», — подумал Геннадий Алексеевич. Съели. Разыграно как по нотам. И текст, который, может быть, даже написан с ведома Первого, и его интонации не оставляли надежд.

Время было, конечно, уже не то. На анонимку можно было Первому резко не реагировать, но секретарь партбюро знал: с ним давно готовятся свести счеты, но не было случая. А теперь сам бог велел.

— Молчим, — почти по-свойски обронил его собеседник, — да, брат, вляпался ты крепко. Ну, с кем не бывает. Молодость берет свое.

Помолчали.

— Не паникуй, покажешь себя на другой работе, восстановим.

— А если я чист?

— А где доказательства, у тебя же их нет и не будет.

— А если будут? — безотчетно и не понимая, откуда могут быть какие-то доказательства, погорячился с ответом Геннадий Алексеевич. — Ведь это клевета.

— Ну, вот видишь, ты всегда необдуманно лез напролом, и сейчас тоже. Молод, горяч, себя сильно любишь... Ты поезжай на завод, поработай пока, но в долгий ящик это откладывать нельзя, сам понимаешь. Да и народ требует.

Лучше, если сам напишешь заявление. Найди убедительную причину.

...Прошло три дня, а Геннадий Алексеевич, так и не найдя выхода, маялся со своим глупым положением, все более и более тоскливо думал о «свинцовых мерзостях» жизни. Работы он не боялся никакой, за должность не держался — не хотелось уходить, уступив наглому натиску. В нем действительно было еще много молодого спортивного задора.

Кто-то уже позаботился об утечке информации, и теперь чувствовалось, что многие знают о письме в горком партии. Некоторые откровенно криво усмехались, другие как-то старались не глядеть ему в лицо. Сценарий был известен, действие происходило для него знакомое.

Неожиданное случилось чуть позже.

Вечером в кабинет к Геннадию Алексеевичу с пунцово-красным лицом вошла машинистка Лидочка и, не глядя на хозяина кабинета, обрывками фразами проговорила:

— Геннадий Алексеевич, перестаньте убиваться... Не надо так... Так можно дойти бог знает... Да что я говорю... Вот Вы молчите, а я все знаю и понимаю. Я приняла решение, ведь это касается и меня... Я...

— Какое еще решение?

Он поднялся из-за стола и в упор посмотрел на Лидочку.

Она ему нравилась давно, и он от себя этого уже и не скрывал. В его холостяцкой жизни произошел перелом, когда впервые ее увидел в парткоме в качестве машинистки. Но от того-то, что это прошло через сердце и было серьезно для него, он ее стеснялся по-ребячески и чувствовал в ее присутствии себя всегда неуклюже.

Очевидно, она догадывалась о его чувствах, потому что всегда тоже была подчеркнута официально и деловита...

Они еще оба не знали, что делать со своими чувствами, едва проклюнувшись, и скрывали их друг от друга. Но жизнь не ждала.

— Вы завтра узнаете, что я решила.

Не дав ему времени на следующий вопрос, она выскользнула из кабинета.

Наутро сухо, сказав как обычно: «Утро доброе», подошла к столу и положила перед Геннадием Алексеевичем две бумаги.

— Вот, это подлинник для вашего высокого начальника, а эта ксерокопия для нашего любимого обкома профсоюза.

— Что это? — даже не пытаюсь прочитать, спросил Геннадий Алексеевич.

— Это... это... — Лидочка на минуту запнулась. Но затем выговорила четко и как-то даже звонко: — Это медицинская справка о том, что я девственница, вот и все.

— Лидия Петровна, как это?... — он не находил слов.

— Что, не верите, что в мои двадцать пять это может быть? Может, — утвердительно повторила она.

— Да нет, ради бога, прости. Из-за меня такое вершить... Не стоит ведь и потом... — Он не успел договорить.

Так же быстро и бесшумно, как и вчера, она выскользнула из кабинета.

1987 г.

КАК РЕЗАЛИ ПОРОСЕНКА

Перестройка заставила шевелиться многих. Вот и мы втроем: я, Дмитрий Петрович и Анатолий завели двух поросят в деревне. Нам удобно: с Анатолием работаем вместе, он мой коллега — учитель физкультуры, а Петрович — сосед мой, пенсионер, постоянный партнер по шахматам.

Сговорились с бабой Настей — дальней родственницей Анатолия, что она выращивает двух поросят. Одного нам, другого — себе. Дробленку достает для корма она, мы же для этого поставляем ей водку. Договор дороже денег. Так многие делают. И вот ситуация: под Октябрьские праздники привет от бабки Насти, письменный: «Приезжайте, с дробленкой худо, председатель навел порядок, хорошо, что на дворе холода уже, оттого можно резать скотину и забирать свою долю». Собрались мы на летучку вечером у нашего подъезда.

— Ехать надо в субботу, — говорит Анатолий, — чего тянуть. Закономерный финиш.

— А как резать будем? — спрашиваю.

Оказалось, что с этим делом никто не знаком, так, понаслышке кое-что знаем. Я предлагаю:

– Берем ружье, жикан и стреляем в ухо или чуть левее – это наверняка, также берем с собой баллон с пропаном и резак. Пропаном мы быстро опалим тушу.

– Не суетитесь, ружье, баллон. Миномет с собой возьмите – может, надежней будет. Венька Яшунин – академик в этом деле, я сбегая к нему и все дела. Прошлый раз я ему бутылку одолжил – он обещал все сделать, – уверенно заявил Анатолий.

У него подход к сельскому труженику проверенный. На том и решили.

Субботнее утро. Красота кругом. Ночью подморозило, но с утра дороге уже подразвезло, поэтому едем на «Москвиче» Анатолия осторожно. Разговариваем о том, о сем, обо всем помаленьку.

– Дмитрий Петрович, – Анатолий с веселым прищуром глядит на собеседника, – расскажи хоть, а то скучновато, как воевал, ну как вообще на войне... мне твоя старуха говорит, что ты крови видеть не можешь. На прошлые Октябрьские праздники весь был в орденах, а в этот раз наденешь, а?

Петрович тусклым взглядом посмотрел на говорившего и не спеша отреагировал:

– Тебе сразу на все вопросы отвечать или по порядку, как от микрофона на съезде?

– Давай, Петрович, без регламента, на все сразу.

– Если на все сразу, то скажу: война – это не человеческое дело, а дьявольское. Я ведь на фронт попал – мне было семнадцать лет... Так вот, идет уже бой, мой первый, а я все не верю, что буду в другого человека стрелять, не верю и все тут. И книги читал про войну, и в нормальной жизни я вроде все понимаю, а представить не могу.

– Ну и как, стрелял?

– Стрелял, около сорока раз бесприцельно, а в человека – не довелось, и не знаю, смог бы я или нет. Я действительно кровь не выношу.

Он помолчал и виновато сказал:

– Вы уж тут, ребята, как-нибудь без меня... того, с поросенком, а я уж потом, когда палить, помогу...

– Ну, ты, Петрович, даешь, а с виду молоток. А откуда медали твои?

Петрович, несколько не обидевшись, ответил не спеша:

– Так сколько потом праздников было, вот набралось.

Я впервые слышал от Петровича слова о войне, да еще такие. Мы уже года два знали друг друга, когда-то съехались в один подъезд нового дома. Общались так: то в картишки перебросимся, то в шахматы, никогда серьезно ни о чем и не говорили. Не знаю, как ему, а мне всегда казалось, что так легче общаться с соседями. Зачем в душу лезть?

Но Анатолий, он не может так просто, он о самом сложном и больном может напропалую, в упор, спросить и ждать ответа. Гвоздодер — это его в 5-а как называли, так теперь вся школа и зовет.

— Ну а кто же воевал? Не все же такие, — продолжал «дергать гвозди» физрук.

— Не все, были люди геройские.

— Были, — подхватил Анатолий, — были, но их давно нет. Они и погибали потому, что геройские.

— Может, так, но мой дружок Николай Манохин — герой и жив-здоров.

— Расскажи о нем.

— Нет, Анатолий, о нем долгий разговор, человек прошел на войне все, а после войны еще и лагеря. Ворошить похода не хочется, да вон уже и поворот на грунтовку.

Действительно, мы подъезжали к селу. Тут уже мне захотелось продолжить разговор — вдруг показалось, что в памяти и сознании Петровича есть такое и столько, что нельзя этого не замечать.

— Дмитрий Петрович! коротко, если можно, о Манохине.

— Коротко? — переспросил наш собеседник. — Если коротко, то Николай — мой земляк, из Кинеля, вот он ничего не боялся. В начале 44-го года получил Героя Советского Союза, а через неделю гвардии рядовой Николай Манохин снял звезду Героя и положил на стол генералу.

— Добровольно?

— Нет, конечно. Наделал он шуму, будь здоров. Прошил автоматной очередью в упор в окопе своего старшину.

— Как так?

— А вот так, сволочь этот старшина был хорошая, измывался над ребятами. Те молчали до времени. Нарвался старшина на Николая. А на передовой свои законы. Ну, донесли сразу, нашелся такой среди нас. Манохин и не собирался оправдываться, хотя знал, что за это грозит вышка — командира своего застрелил. Но спасло его то, что он Герой. Поснимали все награды — и на передовую. А ему, как черту, это и надо будто. Ничего не боялся.

— Сейчас где?

— После войны вновь набедокурил в своем тресте с начальством. Припомнили сразу все. Теперь после гулаговской жизни чахнет потихоньку. О войне всего не скажешь. В душе многое поменялось, и не все легко в жизни, как у тебя, Анатолий.

Приехали.

И началась проза сельской жизни. Все наши надежды на Веньку Яшунина лопнули, едва мы ступили на порог. У Веньки оказался очередной запой-загул, и он третий день «лежал в лежку».

— Да что вы, в самделе, здоровенные мужики, — дивилась баба Настя, — и не сможете одолеть хряка, диво эко... ей бог, — и она, укоризненно оглядывая нас, добавила: — Как вас жены ваши терпят, нагольная интеллигенция, ей бог... связалась с вами... К жизни неспособные оказались...

Нам не хотелось выглядеть «неспособными к жизни» даже в глазах бабы Насти, не только своих, и мы деловито перебирали уже в который раз все варианты наших действий, когда баба Настя нас осчастливила:

— Т-п-ру, блудница, потерпи маленько, ишо напужаешь моих городских.

Мы застыли в недоумении: бабка Настя въехала во двор, сидя в фургоне, запряженном старой, очевидно, чуть моложе бабки Насти, буланой флегматичной кобылой, к которой бабкино обращение «блудница» явно показалось нам преувеличением, либо метафорой, и мы почувствовали себя еще более неуютно и ни к месту в районе разворачивающихся событий.

Настасья Ильинична пояснила:

— Венька маленько очухался и сказал, что за поллитровку все спроворит, но токмо у себя во дворе, никуда он не пойдет, если надо, везите пороса к нему.

— Ну конечно, какой академик будет ходить по дворам с ножичком? Извольте подсуетиться, господа, — съязвил Анатолий.

Петрович флегматично посапывал над разобранным сепаратором на верандочке. Мне показалось, что он тем самым увиливает от наших хлопот.

Наш главнокомандующий уже действовала.

— Тебе на вот, Анатолий, веревку, готовься.

— К чему? — дурашливо спросил тот и накинул себе веревку на шею.

— Ребята, репортаж с петлей на шее. Вас устраивает?

— Как только я выманю из клетки Борьку чашкой с дробленкой, не плошайте, мужики, вяжите его — и в фургон. — Баба Настя, казалось, начала сердиться на нас всерьез.

Не буду говорить, что мы оправдали доверие бабы Насти своей сновкой, но как-никак операцию «захват» исполнили. Правда, она стоила Анатолию заграничных брюк фирмы «Лемонти» — одна штанина снизу доверху была по шву разодрана, и теперь, когда Анатолий широко и воинственно шагал рядом с фургоном, эта штанина, как красно-зеленый флаг, развевалась за ним на осеннем ветру. Но Анатолия это не смущало, ведь мы все были приобщены к совершенно конкретному, хотя и непривычному делу. Это подтягивало нас. Из фургона доносилось похрюкивание Борьки, и нельзя было точно установить — было оно умиротворенное или угрожающее. Все — непривычно, и можно было ожидать всякой внезапности, поэтому мы не расслаблялись.

Ворота, которые, очевидно, не открывали с довоенных времен, как только мы вынули железный мощный засов, осели и, оказавшись непомерно тяжелыми, оставляя жирный след в мокрой земле, как циркуль, выписывали полукруг под нажимом двух довольно дюжих умельцев. Въехали во двор. Он оказался пустым и, похоже, необитаемым, дверная цепь была наброшена на большое ржавое кольцо без замка, но весьма убедительно.

«Академик» появился из подвала. На Веньке была телогрейка, надетая прямо на сиреневую майку, из кармана брюк — военных галифе — торчала бутылка водки, заткнутая бумажной самодельной пробкой.

Во всем облике Веньки не было ничего необычного. Разве ж глаза — светло-голубые, ясные, глядевшие в упор и как бы невидящие, а обращенные в никуда. Странные глаза. Но к ним, наверное, здешние все привыкли уже.

— Давайте, ребята, вон туда, на ровненькое место стружайте, а я сейчас.

Мы втроем, откинув задний борт, начали двигать вальяжного Борьку к краю. И тут произошло то, чего никак все мы да, очевидно, и баба Настя, не ожидали.

Борька вдруг взвизгнул и стал судорожно биться в наших руках. Зафонтанировала кровь. Это тихонький и светленький наш Венька, невесть как оказавшийся в суতোлке у задка фургона, среди нас, неожиданно проворно, ловким коротким движением вогнал поросенку огромный нож под левую переднюю ногу и вращал его слева направо. Упавшая туша крепко придавила мне ногу, и я не сразу отозвался на вскрик бабки Насти, когда же оглянулся вправо, увидел обмякшего Петровича, лежащего на голой земле с совершенно отрешенным лицом, обращенным в небо; левая рука его была вся в крови.

— Боже, его-то за что? — мелькнула несуразная мысль в тот момент событий, слипшихся в сознании воедино, когда вдруг захрипела кобыла

и рванула упряжь на себя, когда Анатолий с перекошенным лицом бросился хватать ее под уздцы, чтобы вывести на улицу.

– Нюра, Нюра, нашатырь давай, быстрее, обморок у мужика, – бабка Настя кричала соседке, смотревшей через низкий забор это бесплатное кино, а сама уже брызгала проворно большой и темной ладонью воду из ведра Петровичу в лицо.

– Я же говорил, что не могу видеть кровь, ребята!.. – это были первые слова, которые произнес виновато Петрович, чуть позже пришедший в себя.

Его повели к соседке Нюре отлеживаться, и на одно действующее лицо во дворе стало меньше.

– Ты что же не предупредил всех, начал резать без подготовки, спьяну, что ли? – Анатолий вцепился взглядом в Веньку.

– Дык ты что? Вы же сами просили, бабка Настя приходила раза два, – он деловито обтер травой нож и бросил его тут же на скамейку, достал поллитровку, зубами вынул пробку и сделал два глотка.

– Не предупредил, без подготовки? – странные вопросы. Мне что, артподготовку надо было организовать, что ли? Мужики, это же поросенок, а не боевая точка противника.

– Венька, ты хулиган! – твердо и внятно произнес Гвоздодер, распрямившись и встав во весь рост на своих пружинистых ногах.

Я понял, что в воздухе запахло горячим, и поторопился остудить атмосферу:

– Мужики, где же солому брать?

– Да вон у фермы она, идите и берите, сколько надо, а когда опалите поросенка, позовите меня, – великодушно простил нас Венька и, махнув на всех рукой, растворилось в акациях на улице.

До фермы было километра полтора, и это обстоятельство меня все-ррез удручало.

Но вернулась баба Настя, сказав, что Петрович пьет чай у соседки. Потихоньку разговаривает. На душе полегчало.

А когда она скомандовала Анатолию («чего расселся, али не знаешь, что делать?») садиться в фургон и ехать за соломой, чтоб враз привезти, сколько надо, все как-то встало на свои места.

От ее зычного, крепкого голоса флегматичная кобылка пошла ходко, повинувшись волевой хозяйке, и вскоре они скрылись в дальнем переулке.

Я сидел на бревне около большой белой туши и, то ли в оправдание свое, то ли – всей нашей безалаберно устроенной жизни, думал о том времени, когда каждый человек будет делать свое дело, и это каждое дело будет, может быть, организовано как-то лучше, умнее, грамотнее,

просто цивилизованнее, а не так глупо и бездарно, как сейчас. Может, мы все же перестроимся хоть когда-нибудь, чтобы делать все по-человечески, а?

1988 г.

СТЕПНОЙ ЧАЙ

НА ТРОПИНКАХ МОЕГО ДЕТСТВА

Они очень разные – тропинки моего детства. Одни – утоптаные, утрамбованные десятками мальчишеских ног, пройдешь по ним босиком и не оставишь следа. Другие – уже полузабыты, заросли травой-муравой. А есть одна, зовущая к обрыву у реки, прямая, словно струна. Когда я поднимаюсь по ней под бесшабашное ликование жаворонка в синеве или гляжу, как идет семилетняя соседка Любка, несущая на самодельном коромысле крохотные ведерки с водой, мне кажется, что тропинка поет. Поет что-то свое, высокое и вечное. И впрямь, как струна!

Все тропинки начинаются незаметно. Выйдешь за село, выберешь нужное направление, а когда посмотришь под ноги, она уже тут – тропинка. А рядом ее подружки: бегут, извиваются, заманивают в неведомые дали.

Есть тропинки, которые, добежав до бочажка или до лесной полянки, обрываются так же незаметно, как и начинались. Но есть и такие, что, поплутав по овражкам, зарослям шиповника и ежевики, вдруг выходят на шумный большак и вливаются в него, как ручейки. И покажется вдруг, что сама дорога – это несколько объединившихся тропинок. И потому так шумна она, что каждый ручеек принес свои звуки, журчание своего родничка, шлепанье босых ног своих мальчишек...

Я давно мечтал вернуться на тропинки моего детства. Так хочется иногда снять башмаки и босиком припустить по тропке, да так, чтобы в лицо бросились мокрые ветви, осыпали чистой росой и где-то за поворотом, вдруг, сразу – голубизна знакомой с детства, но уже немножко другой речки.

Или так: выйти потихоньку на закате за село и не спеша побродить. И не спеша обдумать житей-бытие свое, обдумать то, что тебя давно «томило, мучило и жгло».

И, прислушавшись в звездном сумраке к собственным шагам, может быть, найти ответы на вопросы, которые не раз задавал себе...

НЕСТЕРКИН КОЛОДЕЦ

Мое село заметно меняется. Газовые плиты потихоньку вытесняют русские печи. Моя бабка, искусная варительница дрожжей на всю нашу улицу, уже и забыла, когда готовила их в последний раз. Забыл и я,

когда в последний раз добывал ей хмель в лесу. Теперь все привыкли к «базарискому» хлебу. Но дед Андрейка обижен на жизнь:

— Ракеты запускаем, а простой керосиновой лампы завезти в село не можем. — Это после того, как на прошлой неделе два дня не было электрического света в селе: как раз, когда по телевидению показывали фигурное катание.

Село потихоньку строится. Только немножко жаль — телевизионных антенн над крышами все больше, а скворечниц — меньше.

Водопроводные колонки начали вытеснять колодцы. Лишь на нашей улице по-прежнему стоит колодезный журавль, как и в детстве задрав шею высоко в небо. И кажется в морозные синие ночи, что, дотянувшись до холодной звезды, он тихо касается ее, и оттого сверху доносится холодный тихий звон. Или это звенит колодезная цепь?

Колодец зовется Нестеркиным. Был когда-то, говорят, такой мужичок по имени Нестор. Вот и нарекли вырытый тем мужичком колодец его именем да в свой срок чистят и поправляют ветловый сруб — знаменита на всю округу вода его.

С детских лет не тускнеет в памяти картина. Зимний вечер. На печке тепло и привычно. Монотонное повизгивание бабкиной пряжи порой заглушают порывы ветра. За стеной февральская метель. На сундуке мурлычет кот. И от его тени на бревенчатой стене, большой и причудливой, немножко жутковато. Весь день падал с небес белый косой снег, и было странно видеть: снег белый, а становилось от него темно во дворе. Поземка разыгралась, когда начало смеркаться. В дремотной тишине мне вдруг слышатся жалобные звуки. Прислушиваюсь — звуки еще жалобнее. «Это же Тема и Жучка, там, в колодце. Им надо помочь!» Незаметно для бабки сползаю с печки и, растворив дверь, проваливаюсь в темень. Увязая в синем мокром снегу, добираюсь до колодца. Перевесившись через обледенелый сруб, кричу в глубину. Пустынное чрево колодца отвечает глухо и насмешливо:

— Те-о-мма-а!

Никого нет.

Испуганно оборачиваюсь назад и враз утопаю в бабушкином полушубке...

...Сегодня утром, проходя мимо колодца, не удержался от соблазна, подошел и, отодвинув в сторону бадью, заглянул в него. Не такой уж он и глубокий, как мне казалось раньше. И уж совсем не страшный... Все правильно — мы взрослеем. Давно уже выросли из детских своих одежек. И что же грустить по этому поводу? Может, просто жить?

Но что значит жить?

Наверное, идти, торить свою дорогу, узнать, постичь, на что ты способен. И постоянно беречь в себе впечатления того далекого, отлетевшего детства, той чудесной поры, когда окружающая нас жизнь была на тысячу красок ярче, а собственная походила на огромный, пахучий, едва-едва початый каравай ржаного хлеба...

ДНЕВНИК УЧИТЕЛЯ

Пожар за ночь уничтожил два двора, легко расправившись с тесовыми и соломенными крышами. И теперь на месте пятистенника Суховых стояла почерневшая от копоти печка да чуть на отшибе торчала невесть как уцелевшая скворечница с раскрытым пустым ртом.

Несмотря на ранний час, на куче хлама копошатся стайкой ребятишки. Чуть поодаль, около палисадника, на свежоошкуренном осиновом бревне сидит дед Андрейка. С пшеничными прокуренными усами и большими шишковатыми руками, которые всегда мелко подрагивают, как бы прося работы, — таков дед Андрейка. Дедова саманная изба уцелела, сторели деревянный сарай и погребнице. Поздоровались. Я присел рядышком.

— Председатель наш, Петрович, обещал прислать к вечеру трактор — свезти бревна на пилораму, а то как-то без ворот одна неуютность.

— Много ль сторело?

— У Суховых подчистую все, а мое успели вынести, только вот книжки нашего очкарика порастеряли.

— Очкарика?

— Жил у меня лет восемь назад учитель Вадим Сергеевич — математик. Станный был мужик. Да и то, какой он мужик? Мальчишка совсем, худосочный, как вон та скворешня. Все, бывало, говорил про себя, что знает только то, что ничего не знает. Как же, спрашиваю, тогда учительствуешь-то? А так, говорит, каждый день приходится краснеть в классе.

И то верно, маловато, видать, в институте чему научился. Ночами так и сидел за книжкой. А нашим ребятишкам дай все знать, и точка. Они по необразованности такой вопрос поставить горазды — профессора испужать можно.

— А сейчас где же учитель?

— А вот, дружок, и не знаю. Я тогда со своей глаукомой в Куйбышеве в глазной больнице лежал. Приехал через месяц — его и след простыл. Только моей Захаровне сказал, что мать позвала к себе в Сара-

товскую область – она у него болела крепко. Писали мы с Захаровной с год после отъезда учителю, но ни слуху ни духу.

Глубоко вдавив окурок сапогом в землю, дед Андрейка потянулся к топору.

– Ну, наговорились мы с тобой, как бы мне не запоздать в срок с бревнами-то. Покопощусь еще малость.

В это время к нам подошел восьмилетний внук деда Андрейки – Вовка, с обгоревшей тетрадью.

– Деда, вот еще нашел.

– У тебя глаза молодые, посмотри-ка, может, кому стодится.

Смотрю. Похоже, дневник учителя. На самой первой странице расплывшиеся фиолетовые строчки:

«Я понимаю, сын, что быть искренним всегда, во всем до конца, очень трудно. Поэтому, начиная сегодня разговор с тобой, я обещаю быть предельно искренним. Почему я все это затеял? Потому что мне не хватает тебя, потому что так уж случилось, что мы не вместе, а вместе можем быть только мысленно. Тебе пока всего три года, мне – 23-й, но я буду говорить с тобой, как со взрослым, и хочу, чтобы ты прочел эту тетрадку взрослым. И, может быть, понял бы нас с мамой...»

– Он что, разошелся с женой?

– Разошелся, да как-то уж больно не по-человечески, не допускала его теща к сыну.

– Как так?

– Да вот так. Всяко бывает. Я было его винил сначала, а теперь вижу: тут дело не по моему разуму. Тут свой пожар, крепче нашего.

Под датой «20.06.62 г.» написано торопливо карандашом: «Понимаешь, я очень боюсь за тебя, хочу каждодневно, ежечасно быть около. Я хочу о тебе знать как можно больше. Мне надо знать, как ты относишься к кошкам, собакам, деревьям...»

Помню, в нашем селе около озера стоял могучий дуб, казалось, он – олицетворение долголетия и мощи. Но вдруг в одно лето его расщепило надвое молнией, он засох и весной уже не зазеленел. Так и стоял года три мертвым. Потом его спилили. А вот как громадный пень сгнил и пропал вовсе – никто и не заметил. Теперь там, где был дуб, ровная лужайка, поросшая муравой. Тем, кто не знает, что здесь стоял такой великан, и подумать об этом трудно. И приходит минута, когда вдруг резанет в сердце за несчастную его судьбу. И вновь переживаешь все, как в детстве... Бывает ли такое у тебя? Понятно ли тебе, что жизнь

травинки каждой, дерева, наша ли жизнь –быстротечна и неповторима? И надо жалеть ее и дорожить ею?»

Пропускаю десятка два страниц. Открываю наугад. Строчки первого абзаца сверху, датированные маем 1963-го года, бьют деда Андрейку не в бровь, а в глаз.

«Видишь ли, краеведение у нас считается делом почти что несерьезным. Но ведь любовь к своей земле, речке, полю начинается не с абстрактного разговора о любви вообще, а с бережного отношения к истории родного края, с общения с сегодняшними людьми его, со знания того, какой она была и стала, окружающая нас жизнь».

Запоздало спохватившись, что, в общем-то, некрасиво читать чужой дневник, закрываю тетрадь. Хочется встать, оглядеться, будто заранее знаешь, что увидишь вокруг себя нечто такое, что никогда раньше не замечал. Кажется, будто учитель где-то здесь, рядом. Просто отошел на минутку, сейчас вернется, подойдет к деду Андрейке, и мы встретимся как старые знакомые.

– Дружок, – дед замолкает на полуслове, что-то еще про себя решаая. – А ведь ошибку я допустил – не сходил в те годы к нашему учителю на урок. Посидел бы, поглядел, послушал, а?

ПАМЯТЬ

Вместо сказок бабушка рассказывала нам истории из своей жизни. Ее не надо было просить. В ней жила какая-то неистребимая жажда высказаться. Рисуя все в лицах, принимая характерные позы героев своих рассказов, подражая голосом, она безраздельно владела вниманием взрослых слушателей, а что уж говорить о нас – ребятам.

Мне думается, что все хорошее в нас, внуках, от нее, от ее рассказов. Их было много. И они были так живописны, что и сейчас эти истории остались в моей памяти, как куски киноленты уже не бабушкиного, а моего прошлого.

Бабушка моя прожила долгую жизнь. Дочь дьячка, она рано осталась сиротой, была в прислугах в Самаре, пережила голод в Поволжье. Из ее двенадцати детей выжили только трое. Ей было о чем рассказать. Мне теперь думается, что будь грамотной, она обязательно бы устремилась писать...

Вспоминаю один из рассказов и будто нахожусь с ней в тех далеких годах, будто вижу ее глазами давно исчезнувшие, не виданные мной никогда лица.

...Вижу, как мать, дьяконица, гонит побираться мою бабушку, совсем еще маленькую Марусю и двенадцатилетнего Митю.

С тех пор как отца – местного дьячка принесли на масленицу мертвого с пробитой в кулачной драке головой, мать только и делает, что пьянствует, и пьяная бьет их, прогоняет с проклятиями собирать милостыню.

Они стараются ходить в дальние деревни и, когда их спрашивают, жалея, чьи они, называют не свою фамилию. Так продолжается второй год. Их уже все кругом знают, а они все стыдятся называть себя. Потом началось самое страшное. Мать стала приходить домой с Гаврилой-алкоголиком, когда-то здоровенным, а теперь плоским и длинным, как доска, мужиком.

Глядеть на пьяную растрепанную мать в компании с Гаврилой было не в силах, и они убегали на улицу. В один из таких вечеров, застав мать опять с Гаврилой, они забились на печь и горестно молчали.

– Я ее убью, – лицо Мити бесстрастно, и только верхняя губа как-то нервно дергается, – убью, и нам будет некого стыдиться. Отсижу в тюрьме, зато у вас никто не будет отбирать милостыню.

– Митенька, Митенька! – Голос моей бабушки высокий, режущий, на лице безнадежность: Митя никогда не отступает от своих слов. – Митенька! – Она упала ему на плечо, целует и гладит щеку. – Что же будет?

– Будет, как я сказал.

Убить мать было решено сразу же, как только уйдет ночью Гаврила. Стали ждать назначенный час.

В полудреме бабушке видится большой длинный барак, по которому она идет, взяв за руку Марусю. Идут долго, путаясь в каких-то закоулках. Наконец выходят к большой яме, в которой лежит Митя. Он лежит на самом дне ямы, привязанный к столбу. Все ждут воду. Вода должна затопить яму. Так поступают с каждым, кто убивает кого-нибудь.

– Не хочу, не хочу, – она вскакивает на ноги, сильно ударившись о потолок головой, валится с полатей.

Митя, на лету подхватив легонькое тело, прижимает ее к себе.

...После третьих петухов в глубине комнаты во весь рост выросла фигура Гаврилы. Шлепая босыми ногами по полу, на котором клоками валяется солома, пошел он к порогу. Подойдя к ведру с водой, шумно напился, сплюнул и вывалился во двор. Немного спустя, бормоча ругательства, вышла за ним и дьяконица.

Крадучись, вслед за ней скользнула фигурка Мити. Видел он, как, словно слепая, хватаясь за все на своем пути, прошла она в глубь

двора н, открыв калитку, подпертую старой пешней, вышла в огород. Дрожащей рукой подобрал пешню, Митя ступил за калитку.

Дьяконица лежала в картофельной ботве, уткнув лицо в землю и поджав под себя ноги. Тихонько похрапывала. Оставалось подойти ближе, закрыть глаза и ударить.

Но не было сил ни подойти на шаг ближе, ни замахнуться пешней. Бессильно осев на землю, он дрожащими руками утирал лицо. Плакал.

Дьяконица умерла сама. В один из осенних вечеров она, пьяная, упала в старый заброшенный колодец.

Это было в шестнадцатом году...

...Сейчас я вижу другого Дмитрия – первого председателя колхоза в нашем селе и последнего здорового мужика, уходящего в сорок втором на фронт.

Не велел плакать Дмитрий на своих проводах. Помня мучительную растрепанную жизнь своих родителей, он за всю свою молодую жизнь ни разу не притронулся к стакану с водкой. И теперь, порозовевший от хмельного, чинно обходя кружок стариков и прощаясь со всеми за руку, был он преувеличенно бодр. От его крутых плеч и крупной спины веяло силой. И, то ли инстинктивно почувствовав, что с последним здоровым августовским мужиком уходит из села опора, то ли просто по слабости, колыхнулся бабий рядок, потянулись платки к глазам, когда дрожки отчаянно застучали по жидкому мосту.

Погиб Дмитрий весной в сорок третьем...

– Когда умру, – частенько говаривала бабушка, – продолжайте помнить Дмитрия Лобачева. Никак его нельзя забывать. На нашей памяти свет держится.

И я помню.

КРИВАЯ ВЕТЛА

Я часто думаю: почему нас так сильно волнует возвращение в родные края, встреча с речкой, лесом, полем? И почему, постранствовав по свету, увидев много интересного и поразительного и отдав дань этому поразительному, мы еще с большей силой тянемся к немудреному, знакомому с детства? Почему молчаливая ветла у околицы нам кажется приветливей и ближе, чем роскошный платан?

И вольнее дышится здесь, и работается, и думается, почему?

Уж не потому ли, что и речка, и лес, и луг, и деревце каждое – свидетели живые детства нашего, времени, когда делаются удивительные открытия, намечаются невидимые связи с миром. Когда впереди еще це-

лая жизнь и все свежо и остро. Не потому ли, что они — свидетели того, как ты босиком шлепал по затравевшим, омытым дождем улицам, свидетели твоей первой рыбалки. Меня волнуют названия наших озер: Латинское, Лещевое, Осинное, Таловая Яма.

Когда и кому пришло в голову назвать заросшее ивняком озеро Латинским, не знаю, но только совсем недавно я обратил внимание, что очертания его берегов похожи на изображение в географических картах Латинской Америки. Время меняет многое — старая истина. Как можно догадаться постороннему, что мелеющее озерцо с пологими берегами, в котором бойкие пацаны, засучив штанины, ловят пескарей, зовется Прыгалкой за то, что когда-то оно отличалось и глубиной, и крутыми берегами, прыгнуть с которых в прохладную толщу воды было непременно желанием каждого заядлого купальщика...

Я иду поляной, утопая в лесном разнотравье. Это место тоже имеет свое название. Собираясь за земляникой на эту поляну, мы, ребяташки, называли ее или Большой, или Нашей. И, когда однажды моя бабушка позвала нас с собой за ягодами к Кривой ветле, мы не сразу сообразили, что речь идет о нашей поляне. И как только она подвела нас к зарослям клена у самого поворота дороги на поляну, мы ахнули — в кустах стояла прямая ветла в три обхвата, но высоко над головой ствол делал такой резкий зигзаг, что, казалось, будто ветла нагнулась над поляной, присматриваясь да прислушиваясь к возне ребятни в зарослях таволги и чилиги. Оказывается, стоило только поднять голову, чтобы увидеть.

Недавно я побывал у Кривой ветлы. Она все такая же, как и раньше, такая же и поляна. Даже старый вяз посреди ситцевого разнотравья с метровым пеньком и тот цел. Мне даже удалось отыскать давнишний след от отцовского клина для отбивания косы... Но сам пень, на вид крепкий, уже чуть дышит, весь пробуравленный множеством муравьев-древоточцев, устроивших в нем свое рабочее общежитие. Уходя, я с пригорка помахал Кривой ветле на прощание рукой. Старушка стояла сторбленная и молчаливая.

Теперь я точно знаю: пройдет много лет, не будет моей бабки, давшей впервые поляне это имя, не будет меня, самой ветлы, наконец, а название так и будет жить. И будут другие босоногие мальчишки гадать, откуда взялось такое странное название: Кривая ветла, как я сейчас гадаю над названиями озер.

И отраднo знать, что есть пятачок родной земли, к названию которого причастен и ты...

В сентябре прошлого года я принес с поляны домой маленький кленочек, завернув его вместе с комочками лесной земли в мокрую рубашку. Посадил. Часто теперь любуюсь им, я замечаю, что иногда смотрю на него так же, как на меня уставший за день отец.

В газетах пишут, что в Лос-Анджелесе городские власти приступили к высадке в городе... пластмассовых деревьев. Долговечно и меньше забот. Не надо поливать, рыхлить землю, убирать осенние листья, ничего не надо. Бессмертные неживые деревья. Дальше некуда. Так и видится чье-то далекое детство, враз ставшее наполовину беднее...

...Плохо спалось. Всю ночь гремела гроза. Под окном, ударяясь в стекло, словно просясь в дом, шумел мой кленочек. В фосфорических вспышках высвечивалась белая лента реки, еще больше усиливая какую-то нереальность, жуткость происходящего. Мычал по задворкам скот. В каком-то кошмарном полусне виделись падающие деревья, горящие леса пылали до боли в глазах ярко. Все живое билось, ухало и пряталось с глаз вон.

А над всем этим стоял громовой хохот летнего знойного неба...

Утром июльское солнце, словно желая задобрить за ночные страхи, разлилось щедро и улыбочиво. На блестящих от росы травяных улицах в ложбинах образовались лужи, манящие пробежаться босиком, наперегонки, оставляя за собой семиструнную радугу.

Я подошел к изгороди. Мои ночные страхи были напрасны. Клен стоял уверенно и прямо. Широко раскинув плети, цвела тыква, над ее бледно-желтыми цветами, над распаренной солнцем землей жужжали пчелы. В поднимающейся после ливня и ветра траве невидимая глазу птаха начинала свою утреннюю песню. Во всем была своя, уверенная жизнь.

ВЫЛИТЫЙ ГРИШКА...

Когда говорят о народности того или иного писателя, мне всегда вспоминается один случай с моей матушкой.

Она с «грехом пополам» когда-то окончила два класса начальной школы и не прочитала за всю свою жизнь ни одной толстой книжки от начала до конца.

Но, работая в сельском клубе уборщицей, пристрастилась к кино. В тот день, встречая меня после долгой отлучки из дома, уже за столом, не спеша, выкладывала нехитрые свои гостинцы – новости деревенской жизни. И вдруг, как о чем-то самом значительном, спохватившись, сказала:

— А на масленицу приходил на побывку твой годок — Генка Петров. Я как раз в раймаг ходила за калошами к отцовым чесанкам. И вдруг он — высокий, черный, красивый из себя — вылитый Гришка.

— Какой, мам, Гришка?

— Как какой? Мелехов, да ты должен знать.

— А?!

Она сказала о шолоховском герое как о реальном, существующем человеке, живущем через улицу от нас, а может, даже через дом. Как будто в мыслях не допускала, что я могу не помнить о нем.

— Теперь, наверное, уехал. Десять ден ему было отпущено. А так похож.

И опять:

— Вылитый Гришка...

ДИКАЯ ЯБЛОНЯ

Вечерело. Когда я подошел к околице села, увидел у плетня сбившихся в кучу ребятишек. Похоже, ждут возвращения стада. Среди них седенький старичок, не по годам подвижный, ведет, как бы между делом, рассказ:

— ...Была-то она худенькой хворостинкой, когда принес ее из дальнего леса твой, Николашка, дед и посадил первую на все село под своими окнами. А на следующий год на ней уже были яблоки. Деревцо крепко прилепилось. И сколько радости было весной, когда цвело оно. И возмечтали мужики сады развести, поверили, значит, что и у нас могут яблони расти. Да такое вот дело случилось: в слепой ярости, то ли спьяну, то ли сводя какие счеты, вырезал Гришка Косой на стволе ее широкую ленту коры. Не надеясь, что яблонька выживет, съездил дед Степан в район и привез еще три саженца антоновки, потом еще. Так и появился первый яблоневоый сад. Но выжила яблонька, затянулась рана. Только теперь она стояла перехваченная в талии широким тугим поясом — дед Степан то место варом обмазал. И ни одна яблоня потом не смогла перерастить ее.

— А что же Косому? — вставил вдруг Николашка.

— Косому-то? Недолговечным оказался Косой, помер и свои двадцать пять неполных. С опою. Когда потом кто вспоминал о нем, то говорил: «Это тот, который яблоньку чуть не стубил?» А больше о нем и помнить было нечего. Знаменитой стала дикая яблоня. Много слышала она разговоров парней и девчат деревенских, разговоров, что с глазу на глаз говорятся. Да и твоя вот, Васятка, бабка Ульяна дала согласие выйти

замуж за Корнея, деда твоего, тоже у яблони. Так что и свахой, вишь, она была, и советчицей. А когда на войну Отечественную уходили наши, совала всем Ильинична со Степаном на счастье по кульку диких сушеных яблок. А однажды весной старая дикая яблоня уже и листом не покрылась, и не зацвела. Но несколько лет никто не трогал ее, ни у кого рука не поднималась спилить. А сады в ту весну цвели особенно дружно, будто за старую яблоню старались... Помолчал дед. И сказал, как черту подвел:

– Вот две жизни, хоть и неравные: человека, который хотел погубить дерево, и дерева самого. И какие разные жизни. Ну, я пошел, а вы смекайте...

Он оттолкнул свое легонькое тело от плетня и пошел навстречу мычавшему на подходе к околице стаду.

БЕРЕЗОВАЯ УДОЧКА

Вчера, перебирая заброшенные рыбацкие снасти, наткнулся на крючок, сделанный из простого гвоздя. И вспомнилась одна из самых ярких картин детства.

Все началось с березовой удочки, первой моей собственной удочки. Ее сделал мой дедушка. А делалась она так: облюбованную березовую заготовку, только что срезанную, дедушка крепил на длинной доске гвоздями, исправляя все кривулины, и клал на несколько дней на просушку. После снимал ее, прямую, как стрела, и специально для крючков привязывал к удочке замоченную в кадке кугу, крепко стянув ее в трех местах лыком. Поплавки обязательно должны были быть из ветловой коры.

Первое, что я сделал – побежал показывать удочку Кольке. Рядом с моей удочкой Колькина выглядела обыкновенной хворостиной. Наскоро накопав под поющим на все лады мостом червей, мы отправились на Самарку.

Не помню, первой ли была эта поклевка или нет, но помню, как мой поплавок, прибившийся в омутке к коряжке, не спеша погрузился под воду – так бывало, когда был зацеп. На всякий случай легонько дернув, я вдруг ощутил непривычную, но податливую тяжесть, руки инстинктивно рванули удочку, она согнулась до воды и словно выстрелила. Поплавок метнулся в воздухе и отвязался. Когда я, не чувствуя боли в ушибленном колене, бросился к добыче, на крючке сидел огромный, клешни больше ладони, флегматичный рак. Было и досадно, и удивительно. Досадно от того, что в те мгновения бессознания, когда я

рвал удочку из воды, ожидалось, что на крючке будет кто-то большой и таинственный, а удивительно от того, что на червяка попался простой, хотя и большой, рак, каких мы с Колькой ловили просто на бечевку, привязав на конец мясо ракушки.

Решив выкупаться, поставили удочки на живца и уплыли на противоположную сторону речки на прогретую песчаную косу.

— Смотри, смотри, — Колька показал пальцем в сторону наших удочек.

Я оглянулся. Здоровенный парень из соседнего села Степка взял Колькину удочку, отвязал поплавок, кинул его под ноги в воду. Удочку воткнул у своих ног рядом со своими донками. Мы рванули обратно.

— Что вы понимаете в рыбалке, пескари несчастные, кыш отседова и не шуметь.

Вылезая из воды, Колька попробовал канючить:

— Степка, а Степка, отдай, мне за нее тятка задаст, без спроса взял.

Он делает вид, что это его удочка.

— Надоедать будешь, я задам. Буду уходить домой, отдам.

Дальше просить расхотелось, хотелось подойти потихоньку сзади и дать по Степкиной красной шее, но было страшновато, Степку даже некоторые наши мужики побаивались.

— Жди, отдаст, как же, скорее переломает. Пойдем домой, Шурка, пока светло.

— Коль, давай порыбачим, может, взаправду отдаст. — Мне еще хочется верить в Степкину порядочность.

Теперь уже одной удочкой мы ловим пескарей и окунишек. Насаживаем их на длинный кукуан и ждем Степкиной доброты.

Вдруг около упавшей поперек реки в половодье осины кто-то словно невидимым веслом раздвинул толщу воды и хлопнул по ней. Минут через десять снова мелкие рыбешки выбросились из воды после нового всплеска.

— Сом, — определил Колька, — на, — он протянул мне удочку, — я знаю, что надо делать. У тебя крючки есть?

— Есть.

Я достаю из фуражки крючок.

Колька снимает с кукуана окунишек и выпускает их, они нам теперь ни к чему. Привязываем крючок к капроновой бечеве, бечеву — к коряжке, торчавшей в воде у ног, и через минуту наш один-единственный пескарик с крючком в спинном плавнике, обрадовавшись свободе, исчезает в воде.

Решено, пока не поймает следующего пескаря, не проверять нашу снасть.

Забыто все: и Степка, который сидит метрах в тридцати от нас за мыском, и то, что уже темнеет. Но, наконец, пойманы один за другим два пескаря. Дрожащей рукой нащупываю поводок, но рука сразу чувствует досадную легкость.

Что это? Пескаря нет, а крючок разогнут так, что стал похож на маленький гарпунчик. Отвязав крючок от удочки, он чуть побольше, ладим заново свою снасть и насаживаем другого пескаря. Колька бросает снасть в воду. Теперь мы уже не можем отойти от этого места, оно не отпускает, завораживает, заставляет забыть обо всем, даже о моей безрезовой удочке. Когда Колька, не вытерпев, вскакивает и берется за бечеву — становится жутковато. Рывком дергает — бечева легко поддается, и вот в Колькиных руках сломанный пополам крючок. Долго сидим неподвижно. До слез обидно. Слово желая еще больше досадить нам, под самым Колькиным носом (Колька забрался на лодку напиться) сом поднимает бурн. Совсем уж нахал распоясался.

И тут-то происходит чудо. Колька вскрикивает и хватается за голень. В штанине у него торчит забытый кем-то в лодке самодельный, величиной с палец, крючок из гвоздя. Торопясь, мы восстанавливаем свою снасть. Уже поздно. Решено завтра, как спонят коров в стадо, прийти проверить. Степки уже нет на своем месте, нет и моей удочки. Мы бежим по песчаной дороге домой. Страшновато. Но признаваться в этом не хочется. Для бодрости поем все песни, какие только знаем...

Колькину мать мы уговариваем разрешить ночевать нам вместе в нашей сельнице.

...Утром по холодному песку спускаемся к заветному омуту. Солнце еще не поднялось. Над водой тянется слоистый белесый туман. Около нашей коряжины на мыске метрах в десяти сидит Степка. В руках у него моя удочка. Но нам не до нее. Нашупав в воде поводок, Колька разочарованно смотрит на меня — леска идет свободно. Но вдруг он с силой рвет ее на себя и падает животом на что-то огромное и страшное. Продолжая борьбу уже в воде, мы выволакиваем скользкое чудовище на берег. Ошарашенный Степка бросает свои удочки и идет к нам.

— А ну, рыбаки, дай гляну.

— Драпаем!..

Колька хватается добычу за жабры, я пытаюсь взяться за скользкий пегий хвост... Вот мы уже на высоком берегу. Когда густые ветви сомкнулись за нашими спинами, остановились перевести дух и осмотреть добычу. Чумазый, весь в пиявках, сом был Кольке от пят до подбород-

ка. Наши руки, рубахи и штаны покрылись липкой слизью и прилипшим песком. Счастливые, мы трогаемся в путь. День только начинается, до вечера далеко – можно еще вернуться на рыбалку...

ЛИСТ СЕМИЖИЛЬНИКА

Растение это, может быть, называется по-другому. Только моя мама зовет его семижильником. Растет оно обычно в тени, на влажных местах, чаще на лесных дорогах, проходящих по оврагам и близ озер. В степи семижильник встречается реже. Его везде безжалостно мнут копыта лошадей, колеса телег. По нему, обжигающему босые ноги прохладой, бегают ребятишки, забравшиеся вглубь леса.

До поры до времени его не замечают, но когда вдруг нога наткнется на битое стекло или гвоздь и рана начнет гноиться – обязательно найдется человек, который вспомнит об удивительных свойствах семижильника. И он, этот прохладный зеленый лист, своими семью жилочками, как щупальцами, накроет рану. Пройдет время, и рана очистится, опухоль спадет, а листок, еще недавно зеленый, засохнет, пожелтеет и пропадет совсем. И опять все забудут про это неприметное растение. Но забудут только до поры.

Завидная судьба у семижильника.

ИСТОКИ

Стоял конец августа.

Устав от назойливых поклевки мелочи, я собрал свои нехитрые рыбацкие снасти и направил лодку к берегу, напротив Кунаева ключа.

На пологом речном берегу доцветали голубые васильки. Не слышно было привычной щебетни в поникших над водой ивовых кустах.

В задумчивости смотрел я на непривычно пустынную и тихую речную даль, когда вдруг внимание мое привлекло странное светлое пятно.словно большая бабочка, оно трепетало то у воды, то высоко на круче. Пятно приближалось. В этом месте речка, будто отдыхая от бесчисленных поворотов, выпрямляется и течет почти по прямой метров двести, поэтому-то я и смог видеть все происходящее на берегу.

До рези в глазах всматривался я в трепещущий светлый клинышек, когда вдруг понял: это же мальчишка, совсем маленький мальчишка в белой рубашонке.

Но почему один в такой дали? До нашей Утевки километра три, но ведь он идет совсем в противоположную сторону, по направлению к поселку Красная Самарка, а до него совсем не близко.

Я стал с нетерпением ждать приближения мальчишки, гадая, пройдет он стороной по круче или мы встретимся. В полсотне метров от меня он неожиданно вынырнул из кустов, шумно плюхнулся в речку, набрал в фужер воды и, хватаясь за оголенные корни, влез на кручу. Почему-то встревоженный его долгим отсутствием, я стал внимательно всматриваться в кустарник. И, когда заметил синюю струйку дыма, не раздумывая, бросился наверх.

В глубине леса, чумазый, сорвав с себя мокрую рубашку, он бил ею, не останавливаясь, со всего плеча, по шипящим змейкам огня, обжигая пятки, перепрыгивал с места на место. Высушенная за лето трава пожиралась огнем со страшной быстротой, огонь десятками юрких ящериц ускользал из леса на опушку, на простор.

...Когда с огнем было покончено и мы устало опустились на черную землю, он сказал:

— Деда Матвея работа, точно.

— Это которого же Матвея?

— Да нашего Самосада, сторожа с паровой мельницы, он меня обогнал с удочками совсем недавно. От его самосада пожар...

Кого-кого, а Матвея Чугунова, по прозвищу Самосад, я отлично помнил. Как и большинство жителей села, он имел свою особинку: многие из мужиков здешних курили самосад, но такого крепкого и ароматного, какой готовил он, ни у кого не было. Секретом владел старик, за что и был отмечен прозвищем.

Спускаясь к воде, украдкой я присматривался к мальчишке. Я уже узнал его: Ленька — сынишка Трохина, бригадира тракторной бригады. Ему лет десять. Ладненькая фигурка, у пояса на ремне самодельный нож и старенькая сумка, в руках стеклянная банка. На загорелом подвижном лице сама озабоченность.

— Ну и куда путь держишь, путешественник?

Он тут же отозвался на вопрос вопросом:

— А откуда вы знаете, что я путешественник?

— Да уж видно по снаряжению.

— Бабка у меня в Крепости (так еще у нас называют поселок Красная Самарка), мамка отпустила меня к ней в гости.

Он присел около потухшего костра и поставил банку на песок. Взглянув на нее, понял, почему он так странно шел по берегу — в банке были стрекозы, десятка два.

— А что, не побоялась мамка тебя одного отпустить?

— Не-е, я же не в первый раз. — Он встал, собираясь уходить.

— Ну раз так, пойдём к лодке чай пить.

Он было уже сделал один шаг назад, но пересилил себя:

— Спасибо, дяденька, мне некогда, а еда у меня в сумке есть.

Так я и не смог с ним разговориться. Надев мокрую (в дороге высохнет) рубашку, он ушел.

— А ведь нет никакой бабки у него в Крепости, — скорее догадался, чем припомнил я.

...Вечером, возвращаясь в село, я все же решил проверить свою догадку и свернул к дому Трохиных, того самого Трохина, который в нашем детстве был едва ли не героической фигурой. Ему, сыну конюха, колхозное начальство доверяло объезжать молодых лошадей, что он и проделывал самоотверженно, поражая нас какой-то нездешней ловкостью и лихостью.

У новых тесовых ворот, чертыхаясь, отрывисто что-то говоря жене, располневший Трохин ссадился на дрожавший мотоцикл.

Когда я подошел, Ленкина мать пояснила:

— Опять поехал искать нашего путешественника. Вот наказание-то. Хоть не выпускай из дому. Вбил себе в голову составить карту всей нашей местности — и все тут. Вот теперь, говорят, вверх по речке ударился... Колумб доморощенный. Вы бы хоть забежали как-нибудь к нам, поговорили с ним, может, вас послушает, у моего-то терпенья уже не хватает.

Что я мог ответить ей, если у меня у самого хранится собственно-ручно составленная в детстве карта речки, начиная от нашего села и до ближайшей деревеньки. Если нас самих с Трохиным, когда-то задумавших добраться до верховья к истокам речки и оттуда спуститься на плотах, вернули с полпути, не дав осуществить одно из самых сильных желаний детства — отыскать начало родной речушки, увидеть тот родничок где-нибудь в осоке или под валуном, который дает жизнь целой многошумной речке.

...Истоки... Они и сейчас манят неодолимо, неся в себе намного больше смысла, чем в детстве. Это и ветла у дороги, разбуженная серебряным звоном отбиваемой в утренней рани косы, и наша саманная белая изба, в которой, взрослея, я впервые не смог заснуть майской короткой ночью от щемящего и неожиданно осознанного чувства жгучей связи и с раскатами весеннего грома, и с первыми крупными каплями дождя, упавшими в распахнутое окно, и с пьянящим настоем сирени в посвежевшем и мокром саду. И — многое-многое другое...

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

Случилось мне как-то, еще мальчишкой, работать с мужиками в добровольной артели на заготовке дров для школы. Время было суровое, послевоенное, поэтому директор обратился за помощью к родителям.

Артель подобралась пестрая и разноголосая. Но мне сразу же приметился один старик, ладный, крепенький и удивительно добродушный. В школе у него никто не учился, но он настоял, чтобы его взяли. Потом я узнал, что зовут его деревенские мальчишки Курягой. Так у нас в деревне называли подсушенные на противне в печке сморщившиеся ломтики тыквы. Особое удовольствие было нам, ребятишкам, есть эти ломтики в тепле, в зимнее время, стосковавшись по овощам и фруктам. Но отчего присохло это прозвище к нему, не знаю.

Мальчишка, я старался работать быстрее и лучше всех. Уже то, что я работаю вместе со взрослыми мужиками, не давало, по моим понятиям, права работать вполсилы. И мне сразу же не понравилась в Куряге какая-то особая медлительность и в то же время суетливость в работе.

«Старик уже, — думал я, — а работать так и не научился или вовсе не хотел».

Разгадка пришла позже, когда все отправились на ночлег в ближайшую деревеньку. Мы шли рядом, и, когда до деревни осталось метров двести, он вдруг спросил:

— Что, до деревни-то далеко?

Я оторопел, мне показалось, что он меня разыгрывает, ведь она лежала как на ладони перед нами. И вдруг я понял — он полуслепой, этот старик, работавший бок о бок со мной весь день.

— Да, зрение меня подвело, — словно отвечая на мои мысли, проговорил он.

Меня поразило то, что он угадал, о чем я думаю.

— Но слышу я очень хорошо.

И он как-то по-особому посмотрел на меня.

Я вздрогнул, мне показалось, что он слышал мои мысли о нем там, в лесу...

...Сегодня, возвращаясь сонной июльской улицей домой, вновь встретился с Курягой. Вел он себя как-то странно. Подойдя к стоявшему трактору, припал к работающему на малых оборотах двигателю, прислушался. Дрожащий «Беларусь» затих. Я догнал старика, когда он бодрым шажком направлялся к совхозному грузовику. Старик молча погрозил кому-то в пространство кулаком:

— Один к девкам побежал, а другой за пивом стоит, работнички. Вот и приходится сторожить.

Дрожащей рукой, дотянувшись, выключил зажигание. Дремавший в кабине парень, равнодушно зевнув, опустил фуражку еще ниже, на самый подбородок.

— А ведь добро на ветер летит. Хватит, на правлении ставлю вопрос ребром. Я так думаю, что судить таких надо. Ведь все горячее из нее, из землицы, добыто, так что же, для того буровые день и ночь вокруг села гудят, чтобы такие вот (махнул в сторону дремавшего парня) небо зазря коптели. Вон он и не ворохнулся, а ведь я ему прошлый раз чуть не лекцию прочитал. А сколько таких по стране? А? Не по-государственному это...

СКВОРЦЫ

Самые дорогие мои воспоминания связаны с друзьями детства. Были среди них Мишка да Колька. С Колькой мы подружились не сразу. Если мы с Мишкой заводили голубей, то Колька их самым наглым образом крал. Если мы в самой непролазной чаще лесной делали землянку, Колька ее засыпал. Он появлялся и исчезал всегда неожиданно. И не было предела его хитрости. Но особенно нас возмутила одна его выходка. На наших глазах он с одного выстрела из рогатки сбил с Мишкиной скворечницы восторженного певца...

А сдружили нас те же скворцы. Умерла Колькина мать. За невероятную худобу ее, за большой рост, а может, за вечно тяжелую, однообразную, обремененную нуждой и невзгодами жизнь прозвали ее с чьей-то легкой руки почему-то Неделей. Мы боялись ее. Было в ней что-то трагически мрачное. Стала ли она такой после того, как узнала, что война сделала ее вдовой, или уже потом, когда с поля старшего сына привезли мертвого, изрезанного лемехами на пахоте, — неизвестно, только и сама она после этого случая протянула недолго — умерла быстро и безболезненно весной, перезимовав суровую зиму.

В этой истории нас с Мишкой, отец которого делал гроб Неделе, больше поразила не сама смерть и не сама покойница, которая лежала в передней, а глухая зияющая яма в полу, чуть поодаль от гроба. Едва переступив порог, я сразу заметил, как затравленно отвернулся от этой пропасти Мишка, почувствовал, как самому нечем стало дышать. Казалось, смерть пришла к хозяйке именно из этого мрака.

Неделя, Неделя, она не рассчитывала на свою смерть, не думала, где соседи будут брать доски на гроб, да еще такой огромный. А их

нашли быстро. И теперь прямо около гроба торчали созревшие перерубы, так что и постоять-то желающим было негде.

Не знаю, по какому-то наитию или с твердой и ясной мыслью действовал Мишка, только на другой день после похорон повел он меня на Неделин двор. Вернулись мы с обрезками досок, тех самых, что на гроб пошли. А еще через день над вечно угрюмым и пустым двором Недели на старой ветле появилась скворечница.

А наутро я, Мишка и Колька уже сидели на пороге сеней и сосредоточенно смотрели вверх — ждали скворцов. Они обязательно должны были прилететь...

...Недавно я побывал на том месте, где стояла изба Недели. Места совсем не узнать. Избы нет. Только ветла цела. Умерла Неделя, остался в Морфлоте после четырехлетней службы крепко заряженный на жизнь Колька, а ветла как стояла, так и стоит. Трудно определить, сколько ей лет, этой ветле. Все такая же.

С грустной и, в общем-то, не новой мыслью — вот, мол, все не вечно, все проходит — бродил я около земляной кучи с соломой, сдвинутой в сторону бульдозером — саманной избы Недели, когда вдруг услышал сначала робкий, но через минуту уверенный в своем праве на песню голос скворца. Несмело (не ослышался ли?) подошел поближе и увидел в самой гуще листвы скворечницу, а под ногами — свежие обрезки пахучих сосновых досок.

Глядя на работающих молодых строителей, гадал: кто из них приютит певца? Но вскоре подумал: а не все ли равно, кто? Главное, что жива песня, главное, что продолжается чье-то детство.

Совсем уже было собрался уходить, когда к самой ветле лихо подкатил бульдозер. «Неужели и ветлу?» — метнулась мысль. Но дверца кабины широко распахнулась, и оттуда вывалился широкоплечий парень в тельняшке.

— Колька! Ты ли это?

Через несколько минут мы уже сидели рядышком на бревнах. Я указал вопросительно на сдвинутую в сторону кучу самана.

— Я! И это — я, — Колька показал на скворечницу. — И это — я, — он ткнул себя в грудь. — Как с Морфлотом? — переспросил он. — А никак, потянуло домой — и все. А что потянуло — сразу не сказать. Спроси вон у них, — он опять кивнул в сторону скворечницы, — они не в первый раз вернулись...

ЖАЖДА ОБЩЕНИЯ

Я заметил их, когда вышел по тропинке из зарослей краснотала на опушку, а нагнал на подъеме в гору. Как нетрудно было догадаться, два моих случайных попутчика – дед с внуком, возвращающиеся с озера, куда они ходили скорее на прогулку, чем на рыбалку. Кроме двух свежесрезанных удочек с короткими лесками да ржавых крючков на них, больше у моих попутчиков ничего не было. Деду – седому, грузному, то и дело громко и заразительно смеявшемуся, лет около шестидесяти, внуку – едва ли перевалило за три года.

Мы идем по проселку, утопая пятками в нагретой за летний день сизой пыли, и вскоре я начинаю понимать и дедов веселый смех, и их беспрестанную возню на дороге. Идут два человека, открывающие мир. Один – впервые, другой – заново. Впрочем, не только веселье озаряет их лица. Порой смех смолкает, и лицо мужчины становится задумчивым...

На подходе к околице, на обочине дороги нас встречает беспокойная спутница проселочных дорог – трясогузка. Увидев ее, внук тут же реагирует:

– Деда, а кто это?

– Птичка.

– Нет, кто это?

– Ну, как кто, я же сказал, птичка. Такая же маленькая, как и ты.

– Нет, деда, ну нет. Кто? Как зовут ее?

– А, вон что. Зовут птичку трясогузка.

Внук тут же выдергивает свою ладошку из дедовой руки, бежит к кочке с трясогузкой. Вскоре возвращается с плачем.

– Ну, что теперь?

– Трясогузка улетела быстро и далеко.

– И что же?

– А как же я?

– А что с тобой случилось?

Внук потерянно смотрит на деда. В глазах досада и обида на его непонятливость:

– Я не успел ей сказать, что меня зовут Слава...

ДЕДОВА ХИТРОСТЬ

На поросшей лебедой завалинке деда Андрейки последнее время стали собираться вечерами старики. Сидят, не спеша о чем-то своем беседуют.

Раза два намеревался подойти, не получилось просто — опаздывал. Вот и сейчас, пока убирал удочки и умывался, разошлись старики. Один дед Андрейка сидит около своей баньки, бодро светится его беломорина. Подошел к нему.

— Скучноватые, все о смерти калякают, а я о ней лет в сорок свои как передумал, так и точка. Теперь вот замечаю, если человек правильно свою жизнь прожил, то к старости спокойней говорит о смерти. Вон Коршунов Матвей злобствует, матерится на современную молодежь, а причина вся в том, что ему пора в мир иной, а молодежи — веселиться. Пропил все свое времечко, опохмелился — поздно. А то, что беззаботная эта молодежь не видит того, что не хочется Матвеем уходить, так ведь и мы такими были в молодости. Думали — молодым вечно жить, а старикам на покой. А оказалось, молодость не вечна. Я как представляю, что каждый день тыщи стариков уходят, уступая место под солнышком таким вот горластым пузанам, как Варькин, так собственная моя смерть становится понятной и законной. В природе все справедливо на этот счет. Делай свое дело хорошо — и в этом весь смысл. Вот к этому я пришел тогда, лет сорок назад. Ну, хватит об этом. Хотя еще скажу: власть надо взять — и над собой, и над ней, безгубой, пусть знает, что не она хозяйин жизни, а ты. Вот так-то. Взять все в свои руки...

— Как же это взять в свои руки?

— А хотя бы вот так! Пойдем покажу.

Идем. Я теряюсь в догадках.

Открыв ворота в сарай, дед Андрейка пропускает меня вперед. Сарай пуст, лишь дальний его угол за перегородкой занят предметом неопределенной формы, укрытым брезентом.

— Только ты никому ни гу-гу.

— Ну, разумеется.

Дед Андрейка торжественно, как на сцене фокусник, чуть замедленным движением руки берет за край брезента и враз срывает его.

Под брезентом, оказывается, был добротный дубовый крест, окрашенный в бодрый зеленый цвет. Как и положено, на нижней крестовине металлическая пластина с чьим-то уверенным почерком:

ВЕТЛУГИН АНДРЕЙ АРХИПОВИЧ

1915 — 19...

– Ловко, а?

– Что? – не сразу понимаю я.

– Костлявую обезоружил, осталась не у дел. Думала: придет, стра-
ху напустит, ан нет! С той поры, как памятник этот себе сделал, ни
одна хворь не берет. Нет ли у тебя какого-нибудь подходящего научно-
го объяснения этому, а?

И он засмеялся. Засмеялся совсем по-детски.

Когда я уходил, он собирался на ночное дежурство в контору вме-
сто своего подгулявшего, вечно угрюмого зятя Василия.

ДОРОГА НА СЕНОКОС

У каждого есть свое дерево, озеро или речка, с которыми связаны
воспоминания о родном крае. А у меня есть еще степная дорога. И те-
перь, перебирая в памяти все дороги, по которым мне пришлось шагать,
я чаще других припоминаю ее.

Сколько помню, мой дед всегда работал конюхом. Каждое лето с
двумя-тремя лошадьми, но обязательно с Карим, здоровенным больничным
мерином, дед отправлялся на сенокос.

На этот раз было решено косить в степи. После долгих и тщатель-
ных сборов во второй половине дня наконец тронулись. Жить в степи
приходилось неделями, поэтому ехали с постелью, с бочкой для воды, с
дровами. Со стороны это было похоже, наверно, на передвижение цыган-
ского табора.

Выехали за околицу. Я пристраиваюсь поудобнее в рыдване, поддер-
живая рукой дребезжащую бочку. Слушаю дедову песню. Песня про липу
вековую. Сколько бы я ни слушал эту песню, всегда стараюсь предста-
вить: какая она – липа вековая. Наверное, огромная. Я ни разу не ви-
дел вековых лип. Но мне кажется сейчас, что я чувствую ее медвяный
запах, такой же, как у молоденьких стройных лип, которые стоят у
речки за селом.

Голос деда подрагивает на ухабах, и, когда лошади замедляют бег,
он так же протяжно и напевно трогает их:

– Но-о, калеки!

Это у него ласкательное – «но, калеки».

И мы едем дальше, наматывая серое полотно дороги на колеса ры-
двана, как наша бабка наматывает свою пряжу на монотонно повизгиваю-
щую прядку.

Я много ездил с мужиками по полям, но очень редко слышал, чтобы
кто-то так пел. Дедушка же, едва взяв вожжи в руки, запевал песню.

Видно, однообразный бег лошадей, стелющаяся дорога, покойная равнина действовали на него, как вечная старинная мелодия, и он, словно камертон, отзывался на звуки ее. Он не пел, он подпевал. И, когда слова песни кончались, дедушка пребывал в каком-то упоительном забытьи...

Время от времени я поддерживаю бочку, чтобы она на ухабах не перевернулась. Оглядываюсь на едущего следом в телеге Василича и шепчу в бочку:

— Порядок, еще чуточку.

А из бочки:

— Папаня далеко?

— Тише ты, едет рядом!

— С кем это ты калякаешь один, садись ближе, чего поодаль причечился, — дедушка подозрительно смотрит в мою сторону.

— Не-е, я тут.

И снова, немного помолчав, в бочку:

— Говорил: замри!

В бочке — Генка. Замысел прост и дерзок: заехать как можно дальше, оставаясь незамеченным, а там не высадят, не погонят домой.

Генку, несмотря на все уговоры, Василич — его отец — с собой не взял — велел оставаться дома пасти гусей. Гусей на Генкином дворе, по словам Генки, прорва. И всю эту прорву надо исправно каждое утро гонять на озеро за село, а вечером встречать.

— Нюрка справится сама, а не справится — братаны помогут, — решил одним махом Генка. У него уже три взрослых брата. Все они когда-то гоняли гусей на озеро. Но ни одного из них острая на прозвища наша улица не отметила, а Генку, он уже и не помнит с каких пор, все зовут Гусиным богом.

...Обнаруживают Генку в бочке внезапно. У последнего по пути колодца (а не на дальнем полеваном стане, как предполагалось) делается остановка для того, чтобы набрать воды.

Понимая всю остроту момента, но не находя выхода из него, я стою в стороне, смотрю на скрипучий журавль и старательно готовлюсь сделать изумленное лицо при появлении Генки. Так условлено — я ничего не знаю.

Руки деда принимают бадью из колодца со студеной водой, подносят к бочке. Мгновение — и вода в бочке.

Отвернувшийся дедушка не видит происходящего за его спиной. А там перед ошеломленными Серегой и Василичем выскакивает, как суслик

из норы, мокрый Генка. Он чихает, крутит по сторонам головой и неловко прыгает на землю.

Размеренной походкой, прихрамывая, прямо на него идет его отец. Подходит. И не успевает Генка втянуть голову в плечи, как получает оплеуху. Но не больно. Оплеуха звонкая и не обидная. И глаза Василича не злые, а смеющиеся.

— Хныкать будешь, с первой же подводой снаряжу домой. Тоже мне партизан.

Он уже откровенно смеется. Смеется и Серега:

— Хоттабыч из бочки, курам на смех.

Серега и Василич стоят рядом, оба сильные, загорелые. Серега на голову выше кряжистого отца Генки. Серегу мы оба любим и знаем его силу. Прошлым летом, когда ездили косить сено в Моховое — болотистую и травянистую низину, Серега шутя взял здоровенными руками своими рыдван за задок и потянул. Кобыленка встала как вкопанная...

Бочка наполнена, и все трогаются с места.

— Ну, отошел?

— Почему не предупредил, когда воду начали лить?

— Не успел. А ты зачем так долго сидел в бочке?

— Думал, сперва будут лошадей поить.

Он молча чешет ушибленную голову, ладошкой пытается вытряхнуть воду из левого надорванного, неровно сросшегося уха.

Обезображенное ухо — результат падения в самый глубокий наш двенадцатиметровый колодец.

Темнеет. Не стало видно сусликов по обочинам дороги. Лишь в небе все чаще шелестят утки. И, провожая их взглядом, Серега каждый раз повторяет одно и то же:

— Эх, ружья нет.

И опять тишина. Только степь вокруг да дедова песня.

В сумерках кажется, что дорога стала ровней и податливей. Стук копыт приглушенней. Кажется, что не только мы с Генкой, а и сама дорога прислушивается к дедушкиной песне, песне про липу вековую..

СТЕПНОЙ ЧАЙ

Так уж повелось, что мой дед отродясь не брал с собой на сенокос «чай» — засушенные с прошлого лета ягоды шиповника. В лесу непременно заваривал чай из листьев вишни или смородины, и он нравился мне несказанно своим неожиданным ароматом. Только как же на этот раз?

Ведь кругом степь, ни единого кустика. Но знаю: чай обязательно будет.

Еще задолго до ужина начинаю теребить деда. А тот, видя мое нетерпение, только заговорщически подмигивает: «Мол, знаем, сделаем».

Я жду с нетерпением. И вот он — чай! Желтовато-зеленый, он так пахуч и ароматен, что просто не верится, что заварен вот из этих темно-желтых, невзрачных курчавеньких стебельков. Они растут всюду, даже около нашего стана, прямо в моем изголовье под рываном.

— Как он называется?

— Не знаю, чай, как же еще...

— Но ведь должен он как-то называться, — я хочу знать и смотрю на деда, не отрываясь. Но дед молчит.

— А давай наберем целую охапку и привезем домой, на всю зиму хватит.

— Нет, Шур, этот чай только там пахуч, где родился, на воле. Значит, и пить его надо на воле. — Глаза деда весело щурятся: — Вот привезем домой сено, из омета наберешь сколько душе угодно и пей.

Все смеются.

Вскоре, намаившись за трудовой день, все засыпают. Только мне не спится. Тишина. Лишь храп лошадей чуть поодаль да запах скошенной луговой травы под головой.

Перед глазами бездонное августовское небо с бесчисленным скоплением звезд. Прохладно. Нырью с головой под одеяло, но становится душно, ворочаюсь и нахожу в одеяле дырки... одна, две. Приподнимаю одеяло на руках. Через крохотные отверстия виднеется небо, и на темном поле одеяла эти кусочки неба кажутся звездами, а само одеяло уже представляется небом.

Одеяло похоже на небо, а небо на одеяло!

...Утром просыпаюсь рано. Нестерпимо рыжее солнце показывается из-за горизонта. словно раскаленное дедушкино точильное колесо, оно краем своим, врезаясь в прохладную синь неба, высекает звонкие и колкие лучи.

Необъяснимое чувство восторга охватывает все мое мальчишеское существо. Я выскальзываю из-под одеяла и по прохладной траве босиком бегу навстречу солнцу, оставляя за собой изумрудную тропинку в сонной, разнеженной траве. Хочется петь, кричать, падать на траву, вскакивать и опять бежать по зеленой равнине без конца и края. Так вот она какая — степь!

Набегавшись, иду, притихший, к стану, уже дымящему утренним костром. Возвращаюсь, не сознавая наивным умом своим неповторимость

всего происходящего. Не предполагая, что через два десятка лет в уютно обставленной городской квартире будут не давать мне спать по ночам эти воспоминания. И об этой поездке в степь, и о чае, вкуснее которого не было и не будет...

МИШКИНА ПЕСНЯ

Выбраться за голавлями к дальнему мосту — давнишняя наша мечта. В тот раз мы все-таки добрались до места. Мы — это Колька, Мишка и я.

Солнце уже спряталось за гору. Духота спала. Над плесом легкий слоистый туман. Тишина. Лишь у Колькиных ног у самой сваи бьется и ходит па длинном кукане красавец голавль. В тишине нет-нет да и ухнет у самого берега, словно обвалится круча, прижившийся в омуте сом. И вновь тишина. Но что это? На бугре, над самым спуском к мосту взметнулась песня. И не успели мы опомниться, как на шатком мосту уже топала колонна молодых, веселых, в запыленных гимнастерках солдат.

*Солнце скрылось за горою,
Затуманились речные перекаты.
А дорогою степною
Шли домой с войны советские солдаты...*

Мы еще не успели прийти в себя от неожиданности, а солдаты уже поднялись на противоположный берег. На нас нашло оцепенение. Поразила песня. Все в ней было верно. И то, что солнце скрылось за горою, и то, что туман над рекой, и что дорогой, пусть не степной, но шли солдаты, не с войны, но шли... Такую песню мы еще ни разу не слышали. Первым опомнился Колька. Вскочив на бугор, вспорол смыкающуюся после песни на мосту тишину:

— Э-ге-гей!

И долго потом махал кепкой вслед затихающей песне. Усаживаясь на сваю, сказал нам обоим:

— Мировецкая песня, а? Чур будет моя!

— Мировецкая, — как эхо повторил Мишка, — только недописанная.

— Что? — ошарашено посмотрел на него Колька.

— Недописанная, говорю. Про то, как шли с войны есть, а как домой пришли — нет.

— Тоже критик, это же песня, может быть, народная.

— Все равно, народная — это когда просто забывают, кто написал песню.

Но, видно, в Колькиной голове никак не может уложиться то, что такую песню кто-то взял и сочинил. Недовольно повозившись, он демонстративно пересаживается от Мишки, громко шлепнув удочкой по воде. Но, немного помолчав, не выдерживает и примирительно тянет:

— Миш, а кем твой отец был на войне?

Мишка отвечает не сразу. Долго глядит в одну точку на воде, потом кратко отвечает:

— В пехоте.

Мы с Мишкой соседи, и я знаю, что он никогда не донимает отца вопросами о войне. Не любит рассказывать дядька Степан о себе. Но мы знаем, что он около трех лет пробыл в плену, воевать довелось мало, и что освобожден он был вместе с другими в тот момент, когда немцы подожгли при отступлении соседний барак с пленными. После войны проболел около пяти лет — сказались лагерные побои, намаялся по госпиталям...

Сильнее всего врезалось в память последнее возвращение дядьки Степана из госпиталя. После двух операций вернулся он с укороченной ногой и негнущейся спиной в корсете. Сейчас этот кожаный со стальным каркасом корсет, отслужив свою службу, валяется на погребнице весь изрезанный вдоль и поперек — мы часто потом с Мишкой вырезали из него кожу для рогаток, хорошая была кожа, блестящая...

На конце каждого костыля дядьки Степана было вбито по гвоздю для надежной опоры. И теперь от прикосновения костыля на полу оставалась свежая ямка. За год, который проходил Мишкин отец на костылях, весь пол в избе стал как наперсток. Прошлым летом, когда дядька Степан стал ходить без костылей, доски заменили, но несколько штук в кухне да в Мишкиной спальне осталось. В спальне их перенесли на потолок. И теперь, когда Мишка ложится в кровать, они — перед глазами.

— Тебя отец часто бьет? — донимает Колька.

— Не, не бьет совсем, он добрый, даже, когда скотину режут или там голову курице надо оттяпать, уходит, чтобы не видеть.

— Мели больше?!

— Точно, мамка говорит, что он после плена таким стал.

Помолчали.

Нас с Мишкой соединяет тайна.

Прошное воскресенье, когда мы ночевали с ним в их приземистой мазанке, роясь в книжках на самодельной полке, я вдруг наткнулся на общую тетрадь с темно-синими плотными корками. Прежде, чем Мишка успел вырвать ее из моих рук, я прочел надпись в середине первого

листа. «Бои после победы» – было написано Мишкиным пляшущим почерком, а в самом верху листа стояло: «Михаил Вдовин».

То, что Мишка уже полгода пишет повесть о своем отце, меня ошеломило. Я перешел в шестой класс, много перечитал в нашей школьной библиотеке из того, что дают только старшеклассникам, знаю, что книги пишут люди. Но эти люди для меня как боги. Живут они где-то далеко-далеко.

Прошлый год моя бабка, возвращаясь из леса, нашла оброненный кем-то на проселочной дороге сверток. Когда мы развернули его, то были очень удивлены. В свертке оказалось десять портретов русских писателей. Единственный, кого узнала моя бабка сразу, был Горький. Остальных она долго разглядывала, читая вслух фамилии по нескольку раз.

В тот же день, сварив клейстер, мы наклеили портреты на саманные беленые стены под самым потолком. Все на одной стене не умещались, пришлось клеить по пять штук с разных сторон от переднего угла с иконой.

Левый ряд от иконы начинался со Льва Толстого, правый – с Пушкина. Только с Достоевским у бабки вышла заминка. Если Пушкину и Толстому она сразу отвела место во главе каждого ряда, а остальных поместила по известному только ей закону, то около портрета Достоевского бабка долго сидела задумавшись, неотрывно глядя на нервные сухие руки писателя. Она потом и приклеила его чуть поодаль ото всех...

Но как быть с Мишкой? Мне и верится, и не верится, что он пишет повесть. Я подолгу стою посреди избы, прицеливаясь в конец портретного ряда, представляя, как все будет выглядеть, если поместить туда и Мишку. Но ничего не получается. До обидного своим и понятным выглядит наш Мишка. Вот если бы борода была или хотя бы пенсне, тогда, может быть, другое дело, да и то его наши все сразу бы узнали.

С той самой ночи Мишка взял с меня клятву молчать.

Неразговорчивость дядьки Степана вошла давно в поговорку на нашей улице, поэтому каждый раз, когда дядька Степан выпьет, Мишка старается быть поближе к нему. Дядька Степан болеет «тракторной болезнью». Так говорит Мишкина тетка. Как только он выпьет, сразу начинает со всеми заводить разговоры про тракторы. У него не гнется спина и правая нога, оттого-то как раньше, до войны, работать на тракторе он не может. Поэтому и говорит так много про них. Мишка утверждает, что, будь его отец здоровым, они давно бы махнули поднимать «матушку-целину». И махнули бы.

Из разговоров отца за чаркой в компании Мишка уже кое-что знает про солдатскую жизнь. Записи в его тетрадке увеличиваются.

— Надо до сентября обязательно дописать, — говорит он. — И в первый же день покажем Виктору Петровичу.

Мишка говорит не «покажу», а «покажем», и я благодарен ему за это.

Теперь каждый вечер, когда все заснут, я выхожу потихоньку на улицу и смотрю через дорогу на Мишкину мазанку. Там в занавешенном оконце тускло, но настойчиво пробивается в настоенной на летних запахах тишине свет. Мишка спешит. Скоро наступит срок.

— Ты пиши. Мишка, все опиши, — шепчу я и тишине, — пусть все знают, какой дядька Степан, пусть все знают, как он вынес Миньку Сухова раненого из первого боя. Миня про это из госпиталя писал, а то бы мы никогда и не узнали. И, если можно, напиши немножко о моем отце. Только ты не напишешь. Я знаю — никому неизвестно, где мой отец. Но ты хоть напиши, что был такой человек — без вести пропавший — мой отец.

Я наверняка знаю, какую первую фразу скажет наш учитель русского языка Виктор Петрович, взяв в руки Мишкину синюю тетрадь. Он скажет:

— Опять ты Вдовин меня озадачил. — Это у него любимое слово: «озадачил». — Ведь я же давал тему для домашнего сочинения «Мои летние каникулы».

И долго будет потом задумчиво ходить меж рядов, подергивая обтянутыми гимнастеркой плечами, пока не заговорит горячо и торопливо, краснея лицом и размахивая в такт словам единственной уцелевшей на войне рукой.

Школьная уборщица тетя Даша говорит, что Виктор Петрович и мой отец очень похожи. Не знаю, я своего отца не видел никогда живым, я родился после того, как он ушел воевать. А на маленькой единственной фотографии, которую я видел всего один раз, он совсем молодой. Моложе меня, так что и сравнивать нельзя.

ПАМЯТЬ И... СОВЕСТЬ

Дмитрий Трофимов, вопреки своему обычаю, в воскресенье на базар не пошел, а проплотничал все утро на пустыре около Юрьевой горы: ставил новую ограду у памятника на месте расстрела белочехами первых организаторов Советской власти на селе.

Окончив работу, долго сидел задумавшись, прямо на сырой весенней земле. Курил. Обоих расстрелянных он помнил; свои, местные.

Сидим, разговариваем не спеша.

Когда Федор Петрович, председатель сельсовета, мужчина небольшого роста, степенный и властный, принес десятку за труды, Трофимову вдруг захотелось выпить. Федор Петрович, несмотря на выходной день, был при исполнении обязанностей и Трофимов уговорил меня пойти с ним:

— Можешь не пить, но из уважения посиди.

И мы пошли в столовую. «Заодно позвоню в райцентр старому знакомому», — подумал я.

За последним столиком в углу сидел Степан Коньков.

— Ну вот, есть с кем и помянуть, — обрадованно произнес мой спутник.

Мы, как у нас говорят, поздоровкались. Когда Трофимов поднял стакан и расправил широким жестом усы, провозгласив тост за всеобщую коллективизацию и его, Дмитрия Трофимова, солидный вклад в строительство нового «общества», Степан поставил стакан на стол и наотрез отказался пить:

— Я хоть, Митрич, и был мальцом, а помню, какие ты вклады делал. Вот тебе вложить горячих тогда некому было, это точно, все у тебя кумовья да сваты. За что нашего Серого на третий день, как свели со двора, ухандокал? Молчишь?

Трофимов молчал.

Потом из отрывочных фраз я понял, что ему, очевидно, не трудно было вспомнить тот далекий первый год коллективизации, когда в весеннюю ростепель, остаканившись с приятелями сивухой, вздумалось ему, новоиспеченному колхозному конюху, по синему ломкому льду Самарки перебраться на правый берег к своей зазнобе. Дмитрия вытащили из воды, а Серого не смогли — со всей упряжкой пошел под лед.

Теперь, глядя на седеющего грузного Степана, я вдруг увидел его заплаканным лобастеньким мальчишкой в отцовской кубанке — таким, каким тот был, по его рассказам, в ту далекую пору. И уже не в первый сегодня раз удивился, а потом и ужаснулся быстротечности жизни. Опрокинув залпом стакан, Трофимов молча встал. Я попрощался со Степаном, и мы вышли. По пути домой Трофимов вслух зло рассуждал:

— Вот, бестия, помнит все, а ведь не их уже меренок был — колхозный, а все равно зуб имеет. А оно хоть и верно, зазря меренок погиб, — запоздало вдруг покаялся он.

Что-то похожее, видимо, на угрызения совести проклюнулось в нем, но он тут же одернул себя:

— Степка — подкулачник проклятый, как таких только земля держит...

Трофимов не привык быть виноватым.

БАБКА МАРИША

Я знаю ее только старухой. Ей уже давно за восемьдесят. Живет одна, все сыновья погибли на войнах. Муж в давние голодные годы уехал в Уральск за солью, да так и не вернулся. Возвратившиеся мужики рассказывали, что одолела его в пути какая-то страшная хвороба. Его и зарыли там, на чужой стороне. Я его знаю только по желтенькой фотографии, которая висит вот уже лет двадцать на одном и том же месте. А рядом иконы, хотя в бога старуха, кажется, уже не верит. Уж очень много она перенесла горя и ни разу всевышний не вмешался

— Есть ли он? — частенько говорит она старушкам, которые наведываются к ней и притворно серчают во время таких разговоров.

Она часто думает о прошлом. Время неудержимо рвется вперед, а она чаще там — в прошлом, со своими заботами, их так много было у нее.

Маленькая, светящаяся изнутри каким-то необъяснимым, мудрым светом, она смотрит на мир своими добрыми глазами, выдавшими голод, смерть, и улыбается этому вечному миру, в котором по чьей-то забывчивости все еще живет. И думается мне, когда я смотрю на нее, что к старости в человеке все мрачное, скорбное умирает и остается только все светлое, что было заложено при рождении и что было в его долгой и такой мгновенной жизни.

Иногда мне хочется представить ее молодой. Какая она была тогда, у истоков своей жизни? От природы ли чистая и ласковая, или это жизненные невзгоды и неудачи сделали ее такой светлой, желающей всем добра и счастья. Что ты ответишь мне, милая моя старушка?

ВЫПЬ

Возвращаясь ночью с охоты, на болоте слушал выпь. От свинцово-тяжелой воды, от осеннего задумчивого леса веяло таинственной и недоброй силой.

Но что поразительно, голос выпи, от которого в детстве сжималось сердце и хотелось бежать как можно дальше, теперь был вовсе не страшен, а наоборот, заставлял остановиться и прислушаться. И не только

к себе, но и к другим звукам живущего своей жизнью болота, доставляя удовольствие маленькими неожиданными открытиями.

— Что, удивительно? — говорил мне на следующее утро мой дядя, страстный охотник и рыболов, приехавший на два-три дня к старикам в деревню. С тех пор как я не живу здесь, где родился и вырос, а лишь изредка наезжаю, все тутошные вороны, мне кажется, начали кричать по-журавлиному.

Балагур и острослов, он сейчас не смеялся. Мы давно научились понимать друг друга, может быть, даже раньше того самого дня, когда вслед за ним и я покинул край моего детства...

ЛЮБКА

У Горюшиных мяли глину. Стайка ребятишек сидела на бревнах рядом. Тут же Петька Сонюшкин, по-уличному — Карась. Поблескивая звонкими медалями на выцветшей и чистенькой гимнастерке, а еще больше своими веселыми темными глазами, поглядывал на оголивших крепкие загорелые ноги горюшинских рослых девчат.

— Эх, кабы не мои болячки, станцевал бы я с тобой цыганочку, Варьха, в глиняном твоём кругу, — Петька осторожно, как маленького ребенка, обеими руками переложил забинтованную негнувшуюся правую ногу с подпиравшего ее костыля на бревно, — вот отнянчаю ее, и первый вальс с тобой.

Затекли ноги, и мы с Любкой спрыгнули с низенького плетня на землю, подошли к высокому окошку с играющим патефоном. В тот самый момент в распахнутые ворота вбежал десятилетний брат Варьки, Вовка:

— Ты тут, Любаха, прохлаждаешься, а твой отец с войны пришел, из госпиталя.

Уже на бегу, не поспевая за шумной стаей ребятни, я подумал, что отец Любки должен быть непременно красивее задаваки Карася и медалей у него должно быть никак не меньше.

Мы с Любкой прибежали последними и, чтобы увидеть происходившее в избе, нам понадобилось пробираться через столпившихся у порога ребятишек и взрослых. Когда же протиснулись к столу, она досадливо потупилась. За столом на коленях у огромного с бородой в военной форме человека сидела Танька, в руке у нее был большой кусок сахара.

— И сеструха меня обогнала, кругом не успела, — горько прошептала Любка.

— Любушка, что же ты, подойди к отцу, — мать легонько подтолкнула ее в спину.

Любка сделала два шага вперед и тут же, подхваченная крепкой рукой, оказалась на коленях у отца.

— Ну вот, теперь весь мой женский батальон в сборе.

Я видел, Любке было неудобно сидеть на коленях отца, болела еще, наверное, ушибленная о калитку нога, и она запросилась на лавку.

— Дичок еще, Коля, привыкнет, ведь она тебя и не помнит, было-то ей до войны всего три годочка, — улыбочиво говорила Любкина мать.

— Ну, ладно, Алексеич, значит, повидались, и хорошо, о делах поговорим потом, денька через два-три приходи в правление. — Председатель колхоза Шульга мелкими шажками устремился к выходу.

— И чего он такой бородатый и пребольшущий, мой отец, вон Карась какой, красивый, хоть и нога не ходит, — зашептала мне Любка, — а может, это и не мой отец, а так только все говорят.

— Тань, Тань, правда, что это наш отец? — Любка потянула сестренку за рукав, когда мы оказались за воротами на улице.

— Вот чудная какая, а кто же?

— А почему он с бородой?

— Ну почему, почему, разве нельзя, вон дед наш тоже с бородой был.

— А на фотографиях отец без бороды.

— Ну тебя с твоими придумками. Mamka и отцу сказала, что ты у нас какая-то чудная.

— А почему он вам с мамкой платки привез, а мне нет? — вздохнув, спросила Любка. Но сестра ничего не ответила.

Прошла неделя, а Любка так и не решила свой главный вопрос.

— Ты почему не зовешь его папой, — больно щипнула Любку сестра, — вон мамка вчера Горюшиным жаловалась на тебя, какая ты непонятливая.

— Ах так, не буду и не буду, вы все против меня. Ты зачем так щиплешься?

...— Люба, Любашка, иди-ка сюда!

Любка соскакивает с бревна и идет к матери.

— Сбегай-ка за отцом на общий двор, позови обедать, опять опаздывает.

Любка нехотя выходит на улицу.

...Отца ее мы нашли на ферме. Поснимав рубахи, трое мужчин (два коренастых и загорелых и один худой и белый) ставили новый сруб в колодец. Чуть поодаль дядя Коля тесал подушку для телеги.

— Алексеич, подмога пришла.

Один из мужиков, ловко вонзив топор в бревно, командовал:

– Шабаш, на обед пора, чувствую, раз гонцы появились.

Подойдя ближе и глядя куда-то в пустоту, а не на отца, Любка скороговоркой выпалила:

– Мамка послала звать обедать, все уже на столе.

– Обедать, говоришь, ну-ка, дочка, подойди, нам поговорить надо.

Глянув в лицо отцу, Любка вдруг чего-то испугалась.

– Не-е, мне надо еще к бабке заскочить, мать велела.

Насчет бабки Любка придумала на ходу.

– Что, солдат, не ладятся отношения с дочерью? – поинтересовался один из плотников, тот самый, высокий и белый.

– Да, хвастаться нечем.

– А на что ж ремень солдатский? Аль не знаешь, как применить?

Николай Алексеевич вместо ответа только досадливо морщится, и, молча потянув из-под плотника свою гимнастерку, встает, и идет со двора.

...– А, а, внученька, дорогая, иди-ка сюда, как ты поживаешь? – Бабка Степанида из-под руки смотрит на Любку, другой кормит кур.

– Хорошо, бабуля.

– А скажи-ка, зовешь своего отца-то как следует аль нет?

– Зову, – соврала Любка.

– А...а, какая умница стала. На-ка тебе за это конфетку.

Бабка Степанида долго шарит в подолах своих юбок, находит наконец какой-то потайной карман и извлекает оттуда две карамельки. О подол вытирает их.

– Натё, натё, золотые мои.

Любка быстро отправляет конфету в рот и уже, приоткрыв калитку, на ходу сознается, сверкнув озорно глазами:

– Бабуля, а я никак его не зову.

И выбегает на улицу.

...– Ты бы хоть бороду сбрил, Коля, – говорит Любкина мать вечером после ужина, – а то так ребенок дикарем и растет.

– Сейчас дочь отцом не называет, а сбрую – жена смотреть не будет. Да и не в бороде дело ведь.

– Глупый ты у меня еще, Коленька, – мать Любки подходит и обнимает дядю Колю, – у других ног нет, без рук возвращаются – так они без ума радешеньки, а ты целехонек весь. Ты свои шрамы на войне получил, а не в пьяной драке, понял, горюшко мое? Ты же у нас герой. Это же шрамы на теле. Пострашнее те, которые в душе. Ты думаешь, она маленькая, не переживает? Переживает. А за что ребенку такое?

– Война никого не щадит.

— Не шадит, Коля. И все равно, мама говорит, что девку проучить надо — мне уехать в Сосновку на недельку, а вам остаться. Пусть привыкает. Уехать, Коленька?

— Не надо, ничего не надо. Не надо возню вокруг этого разводить. Всему свое время. Она умная девчонка.

Мы с Любкой все слышали. Дверь в избу открыта, и мы стоим в сенцах, затаившись за сундуком.

— Завтра буду звать его папой, — говорит Любка, мне ведь совсем не трудно.

...Через несколько минут мы уже бежим ловить бабочек на поляну за Бесперстовой баней. Там в буйных зарослях конопли и лебеды мы храним целую коллекцию засушенных жуков, бабочек, растений всяких.

И никто об этом не знает.

ЯБЛОКО ПОБЕДЫ

Дядя мой вернулся с войны значительно позднее мая 1945 года. Очевидно, потому-то его возвращение и смогло задержаться в моей памяти — к тому времени мне было около четырех лет.

Дядя был с товарищем.

Отчетливо помню, как разом стало тесно от серых шинелей в нашей задней избе, как потом они сидели за столом с родными. И помню себя, держащего огромное красное яблоко в руках — гостинец дяди.

Не знаю, когда я впервые услышал слово «победа». Может, когда глядел, держа яблоко, на этих людей, пришедших с войны, или позднее...

Но так уж получилось, что теперь слово «победа» я не могу представить без серого цвета военных шинелей и того огромного красного яблока.

«Яблоко победы», — выговорил я однажды и осекся. Каким же должно было быть дерево, которое вырастило его, и с каким трудом досталось это яблоко, и какое же оно красное...

ПРОНЬКИН ОСОКОРЬ

Утром, пока я ладил новое вязовое окосиво, он ходил молча вдоль покосившегося плетня, исподволь наблюдая за мной. Когда же нехитрая моя работа была окончена, сказал, будто мы с ним говорили все утро:

— А что, не к Лушкиной ли поляне собрался?

— К ней, — отвечаю.

— А не возьмешь ли меня с собой?

— Могу, — торопливо соглашаюсь я, почему-то боясь обидеть старика отказом, а сам пытаюсь сообразить, для какой такой цели надо деду Проняю в его восемьдесят быть на Лушкиной поляне. Чудит, думаю, дед.

Уже садясь на мотоцикл, кричу ему на ухо, стараясь не столько пересилить тарактенье мотора, сколько дедову глухоту:

— А что за забота у тебя в лесу?

— Забота у меня давнишняя.

Дорогой я пытался вспомнить, все, что знал о старике. И оказалось, что знаю-то совсем мало. Даже отчество не знаю. Прон Репков — вот и все. И имя и фамилия для наших мест редкие. Когда-то вроде был женат. Вот и все сведения о чужой жизни.

Лушкина поляна, метров двести длиной, одним своим концом выходит из лесной чащи на речной обрывистый берег.

Когда приехали, дед засуетившись в движениях, но молча, направился к речному обрыву, оставляя за собой глубокую тропинку в буйном разнотравье. Немного помедлив, я последовал за ним.

Проняй остановился около великана осокоря, стоявшего метрах в четырех от речного обрыва, и надолго замер, не обращая на меня никакого внимания.

...После того, как четверть поляны покрылась разбегающимися меридианами скошенной травы, я вновь подошел к осокорю. Дед сидел, прислонив спину к могучему стволу дерева. Спал или делал вид, что спит.

Уже возвращаясь на поляну, я через плечо посмотрел на обрыв. Осокорь стоял молчаливо и раздумчиво. И тут меня поразила какая-то неуловимая связь между деревом и человеком. Это нельзя было передать словами, об этом нельзя было спросить. Надо было, очевидно, догадаться, что-то понять самому. Путаясь в догадках, но уже не сердясь на старика за его молчаливость, вернулся на поляну.

Домой по-прежнему ехали молча.

Все это сразу бы и забылось, если б не случайный разговор, осветивший иным светом и сделавший понятным поведение Прона Репкова.

Единственный оставшийся в живых свидетель давней истории, одногодок Репкова Матвей Ракитин рассказывал:

— Не скрою, завидовал я Прону, счастливей меня оказался. Его Улька полюбила, а не меня, а ведь я и петь, и танцевать всегда первый был, а Прон — молчун молчуном, ну, а заговорит, то все про лес да птиц и зверье разное. Вот гордыня и мучила.

Но не суждено им было свадьбу сыграть. В восемнадцатом году, когда пришли белочехи, попала Уля на глаза трем солдатам – подкараулили они ее в леске... Ну, и ясное дело. Утопилась Ульяна в тот же вечер, не пережив позора.

– А Прон что?

– На том месте, где утопилась Ульяна, посадил Прон осокорь, в память о ней. словно бы затмение нашло на Прона. Едешь ли, идешь ли мимо – он сидит около своего деревца, лицом к воде, неподвижно, словно статуя какая. Так и прозвали люди осокорь Пронькиным.

Так вот жизнь и потекла. Войны Прона не тронули, вернулся невредимым. Когда за сорок перевалило, уже после Отечественной, женился он тут на одной, но через год она умерла. Доживает один. А осокорь растет себе на здоровье. В сороковых годах, когда здесь была сельсоветская делянка, чуть было не спилили его. Прон отбил. Поставил леснику Митряю Жучкову литр самогону, и делу конец. И теперь осокорь никакой пилой не возьмешь. Но и ему недолго осталось жить. Один год, лет этак десять назад, смыло в половодье громадную кручу, после этого каждый год речной обрыв приближается к дереву метров на пять. С того года на Прона нашло опять навроде затмения. Придет на кручу, сядет – да так и просидит до сумерек. Каждую весну первым делом спешит к осокорю узнать – сколько до него осталось. Помяни мое слово: они и умрут в одно время...

...Старик Репков умер в конце апреля...

...Не дожидаясь, когда спадет полая вода, прямо со своего двора на плоскодонке я добрался по пустынной широкой водной глади до Лушкиной поляны. Рискуя быть перевернутым взъерошенным, свинцово-темным потоком потерявшей русло реки, направился к тому месту, где должен быть осокорь. Подгоняемый желанием узнать, увидеть, что старик Раки-тин ошибся – бросил я свое утлое суденышко в пасть потоку, рвущемуся с Лушкиной поляны к реке. Осокоря на месте не было. Там, где когда-то он стоял, утробно картавили водяные воронки. Везде, куда доставал глаз, куда несло течением потерявшую управление лодку, было одно лишь седое кипение воды...

Старик Репков и дерево умерли в одну и ту же пору, весной, когда щедрая от весенних талых вод река Самара далеко окрест несла, как бы впрок, животворную влагу высыхающим к середине лета старицам и бесчисленным зацветающим в иной безводный год безымянным озерам.

ЖУРАВЛИ

Сумрачно и тихо. Лишь у крайней избы грудной ласкающий голос мерно разрезает податливый вечерний воздух. Зовут чью-то запропавшую Звездочку. Но и этот голос стих.

Проскрипели неподалеку на ферме выдавшие виды ворота, и все на некоторое время смолкло вновь.

В селе, до которого от степного ильменька всего каких-то метров триста, текла своя вечерняя жизнь. Заря кончалась, а уток не было.

И вдруг с вышины, где безраздельно властвовал один только звездный, холодный свет, донесся тревожный, тоскливый и удивительный звук. Казалось, кто-то на незнакомом языке кого-то звал за собой и в то же время прощался навсегда. И этот кто-то приближался ко мне. Загораживающий голос был уже, кажется, совсем рядом. Вот он, почти над головой! Там, где только что была одна Большая Медведица, распластался трепещущий клин.

«Журавли! Конечно же, журавли», — упивался я своим открытием, забыв о ружье и махая им, как палкой.

Журавли сделали плавный полукруг над болотом, выровнялись и величаво потянулись в сторону угрюмо темнеющего леса.

Какая-то сила сорвала меня с болотной кочки. Они улетели! Я побежал за ними, замороженный сказочной, не перестающей литься с неба мелодией. Потом, будто устыдившись чего-то, остановился, вернулся к ружью, оставленному на болотной кочке, и долго стоял, потрясенный. Я что-то потерял. Минуту назад я был богаче. С журавлями от меня оторвалось и улетело что-то большое и светлое, но что именно мне, мальчишке, понять было трудно.

С болота я ушел поздно, дома никому ничего не сказал и в саду под старой скрипучей яблоней долго пытался уснуть...

Много после этого провел я утренних и вечерних зорь на воде, но журавли не прилетали.

И только позднее, став взрослым, я где-то прочитал, что журавли — это символ неуловимости человеческого счастья. Как это верно!

Так вот она, разгадка. Значит, с тем, кто это сказал первым, было, может быть, то же самое, что и со мной в моем далеком детстве. Только он сумел выразить это словами.

1985 г.

КОЛКИ МОИ И ПЕРЕЛЕСЬЯ

МИРАЖИ

В детстве так часто бывало: едешь одинокой степной дорогой в телеге или рыдване, запряженных Карим, на сенокосный стан либо с дальнего кордона домой — и одолевает жара. Вода вся давно вышла. Сухота и духота вокруг. Дорога высохшая и твердая как камень. Стучат копыта одолеваемого слепнями и оводами меринка... Ты один из людей в этом пространстве зноя и июльской истомы. И как же радостно душе, когда вдруг там, вдали, замаячит в ложбинке кусочек леса. Околок — так обычно в нашем Заволжье называют эти островки зелени и свежести, либо перелесок. Захочется быстрее добраться до желанной прохлады. Подгоняешь меринка, но, увы, вдруг обнаруживается, что нет никакого леска. Все только показалось, сложилось само собой. И напеченная полуденным солнцем голова едва не идет кругом. Мираж. Так бывало часто.

...В один из долгих зимних вечером, соскучившемуся по лету, помню, захотелось мне прояснить, что это все-таки за явление: мираж. Я пошел в нашу библиотеку, которая тогда располагалась напротив шумной чайной и поражен был основательностью, правдивостью и бережностью, с которой в словаре Даля говорилось о мираже, а вернее о маре. Это было для меня открытие: «Словарь назван толковым потому, что он не только переводит одно слово другим, но толкует, объясняет подробное значение слов и понятий, им подчиненных...»

Все так и было.

Я несколько раз перечитал текст, звучавший как поэма: «Марить в знойное лето, когда все изнемогает от припека солнца, земля накаляется, нижние слои воздуха пламенеют и струятся, искажая отдаленные предметы, которые мелькают, играют; марить перед грозой, когда воздух душный, пот и слабость одолевают; так же во время лесных палов, когда воздух становится мутным, горкнет, и среди мглы солнце стоит тусклым багровым шаром...»

Я не удержался и стал искать слово «околок», желая, очевидно, неосознанно получить наслаждение от толкования и этого слова, но его не нашел. У Даля есть слово «колок» — «отдельная рощица, лесок или лесной остров». И лишь вскользь упомянуто слово «околок» как кора дерева. Зато нашел я милое сердцу слово «перелесок» — узкая полоска леса, соединяющая два леска, а рядышком и «перелесье» — поляна между лесков, прогалина в лесу. И стало радостно почему-то и спокойной на

душе, будто я в чем-то глубже осознал себя. Понял вдруг свое место, определил систему координат и нашел ту маленькую точку в них, где я нахожусь, и мне стало более понятным, что со мною происходит и может еще произойти: за очередным колком ли, перелесьем, или где-то еще...

...Теперь, много лет спустя, я с радостью возвращаюсь в свои березовые и осиновые колки, чья чуткая листва успокаивает и баюкает меня, возвращая душевное равновесие...

Но чаще всего мчусь по перелесьям, которые порой вмещают в себя мои два завода, встречи, рукопожатия, конференции, презентации, города, а порой и далекие чужие страны...

...На моей голове давно уже нет того выцветшего под палящим солнцем льняного вихра, давно я не запрягал лошадь. И смогу ли уже теперь... Но солнце все так же светит, ярко и жарко, и хотя оно уже вряд ли меня застигнет с непокрытой головой одного в степи, но все же душа порой в сегодняшней суете ищет зеленый прохладный островок, где дышится и думается свободнее и отраднее...

Может быть, поэтому и назвал я свои заметки «Колки и перелесья».

И вина ли моя, что миражи продолжают преследовать меня...

ОБРУЧИЛСЯ С ВОЛГОЙ

В Союз писателей России меня принимали на выездном заседании во время проведения дней поэзии «Жигулевская весна» в 1995 году. Было это километрах в пятнадцати от города Жигулевска, по дороге в село Ширяево в бывшем пионерском лагере «Жигулевский Артек». Этот день мне запомнился навсегда в подробностях. Было десятое июля. Утро. Проснувшись, я вышел на свет Божий с принадлежностями для бритья и маленьким зеркальцем в руках. Группа писателей как-то организованно (это я сразу отметил) гуртовалась под большим серебристым тополем, недалеко от пожарного крана с бочкой воды, где я как раз и собирался побриться. Территория лагеря, ухоженная и подготовленная к заезду ребятни, пока пустовала.

Едва я закончил свои нехитрые дела с полотенцем в руках, подошел ответственный секретарь Самарского отделения Союза писателей, прозаик Евгений Лазарев, как-то буднично, по-домашнему спросил:

— Ну, готов?

Я понял вопрос по-своему, связывая его с готовностью идти в столовую, бодро доложил:

— Всегда готов!

И тут он объявил собрание открытым и обозначил единственный пункт повестки дня. Проголосовали за меня единогласно.

Этот день был для меня особенным. И не столько, конечно, отмечен формальной процедурой: единодушным голосованием. Казалось, что весь окружающий мир просится в книгу, и все вокруг существует лишь только для того, чтобы быть в книге. Казалось, что я могу написать обо всем. Я – писатель. Это признано присутствующими. И столетие Есенина, и близость села Ширяево, единодушное, доброе ко мне отношение самарской писательской братии – все казалось мне тогда знаковым. Все обязывало. Ночью, в переполненной душевной комнате, долго не спалось. Едва забрезжил утренний свет, я вышел под открытое небо. Долго бесцельно, подчиняясь каким-то силам, волнами шевелящимися во мне, бродил по прохладному лесу. Мысли были беспорядочны, чувства обострены и я понимал, что вхожу в какую-то новую свою часть жизни или жизнь, непохожую на прежнюю мою. Я вдруг почувствовал, что в свои пятьдесят лет я упустил время, чтобы свершить что-то серьезное и значительное в литературе, что у меня много замыслов, но времени... увы, остается мало. Смогу ли я соответствовать своим замыслам? Сомнения навалились на меня. Такого со мной еще не было. Когда я писал свою первую книжку, я писал, как дышал, мне было радостно и свободно...

...Когда до Ширяево оставалось километра полтора, захотелось покататься. Настроение было у всех приподнятое. Вокруг: синь небесная и волжская речная синь. Справа невдалеке уже угадывалось Ширяево, колыбель знаменитого и такого щемяще близкого своего, понятного волжского поэта.

*В междугорье залегло
В Жигулях мое село.
Супротив Царев курган -
Память сделал царь Иван...*

Я прочитал вслух эти строчки и не хотелось к этому, такому простому, как снег, небо, воздух, стиху ничего добавлять, всего было с избытком. Подошел поближе Евгений Васильевич и, не говоря ни слова, тоже стал смотреть и на это междугорье, и водный и небесный простор, на нас всех сразу. Он понимал, что творится с нами со всеми и со мной в этот миг. Так мне казалось.

Вода была холодной.

Первым обрушился в воду грузный Валерий Острый, за ним Александр Громов и бородатый Переяслов вошли в огромный студеный поток не топясь.

Когда они вышли из Волги и поднялись на крутой берег, мне, присевшему у кромки воды и наблюдавшему их снизу, все, обнаженные, непривычно белые после зимы на фоне небесных барашков летнего дня, показались большими невинными детьми, почти ангелами, резвящимися под чьим-то недремлющим добрым всевидящим оком! Я это почувствовал всем существом своим, ибо и на себе ощущал из бездонной синевы небесной тот же взгляд. Нас словно кто-то приветствовал и благословлял, таких разных, порой непримиримых, а в общем-то единых по своей общей человеческой сути.

Когда подходили к автобусу, Николай Переяслов вдруг обнаружил что, купаясь, обронил в воду кольцо. Кольцо было обручальное. И обручился-то он со своей суженой всего две недели назад.

Мы, несколько человек, вернулись к воде, походили, посмотрели: кольца на берегу не было.

— Да нет, — уверенно произнес Переяслов, — я точно знаю: кольцо обронил в воде, я это почувствовал, но не понял сразу... Выходит, я обручился с Волгой. Радоваться надо!

Он так сказал и мы враз все переглянулись, а он весело заулыбался. В автобусе уже, когда подъезжали к селу, один старейший самарский писатель, наклонившись ко мне, произнес:

— Вот ведь, а... года два назад местный поэт наш (он назвал фамилию) задержал нас всех, потеряв свои часы в такой же вот поездке. Измотал просьбами искать вместе с ним пропажу, а этот... улыбается себе. Что жене-то молодой будет говорить? Что с Волгой обручился?

Я оглянулся на Переяслова, он сидел в окружении молодых, начинающих литераторов и белозубо улыбался. У всех были просветленные лица.

— Боже, они, как и я, приняли этот знак — обручение с Волгой — на себя!..

ТЕНЬ ОТ ВЕТЛЫ

Гулял по пустынным осенним тропинкам Переделкино. Моя спутница, московская поэтесса, пятидесятилетняя дама, приехала в Дом творчества писателей на этой неделе, оживив разрозненную стайку литераторов, которых было здесь не более полутора десятка.

Мы познакомились легко и сразу, когда она вселилась в новый корпус, в номер напротив моего.

...Наш разговор под осенним небом, пасмурным и мгlistым, идет неспешно.

— А сейчас что-нибудь пишете? Ведь здесь самое то место, где можно забыться в рукописи.

— Да, — отвечаю, — пишу потихоньку.

— Что?

— «Колки мои и перелесья».

— Что-что?

— Повесть.

— Нет, вот это: колки и там что-то еще...

Я объяснил, что такое колки и перелесье.

— И зачем это вам? — она приостановилась и, помахивая большим желтым кленовым листом перед вздернутым своим носом, в упор посмотрела на меня.

Я не понял и сказал ей об этом.

Она пояснила наставительно и терпеливо:

— Зачем вам, современному человеку, доктору наук, профессору, это?

— Что это?

— Вы же ученый, генеральный директор завода, вы знаете мир промышленников, ученых, были депутатом высших уровней...

— И что же?

— Пишете об этом... Зачем вам снова в деревню? Вы там были с рождения всего-то восемнадцать лет, пока не уехали в институт учиться. Слава Богу, что вырвались за околицу. А много ваших сверстников живет в селе?

Я стал припоминать ребят, с которыми учился, дружил в детстве в Утевке, и оказалось, что большинства из тех, кто остался в селе, нет в живых. Некоторые спились, кого-то по пьяни сбили трактором, а кто-то сам от безысходности наложил на себя руки, как мой одноклассник Саша Скудаев, лучший в нашем классе шахматист и математик.

— Вот видите, за что цепляться-то?

Я слушал ее. Голос доносился как будто откуда-то издалека, он говорил мне то, о чем я много уже передумал, и у меня не было теперь азарта спорить на эту тему, тем более с этой правильной горожаночкой. Мне было больно за всех нас, деревенских.

— Вы же интеллигент по складу ума, я вас, боже мой, не могу даже представить с вашей профессорской внешностью в сельской грязище. Боже мой, я, наверное, нехорошо говорю. Но это же так.

Она остановилась и зорко посмотрела на меня:

— Вы рискуете, знаете ли.

— Гуляя с вами? — фривольно парировал я.

— Вам ведь тут же критики как писателю приклеят ярлык деревенщика, и надолго, — не сбиваясь с серьезного тона, ответила она.

— Ну и что? Вся Россия вышла из деревень, — банально возразил я.

— Ну вот, пошло-поехало. — Она снисходительно рассмеялась.

Я начал теряться: в чем моя вина? В том, что я родился в деревне? Но ведь я не застрял на окраине и не забыл родные места?

Моя спутница сделала другой заход:

— Вы неоригинальны. Есенин прикидывался чуть ли не старовером, вначале расхаживая по Москве в валенках. Горький называл себя — босяком, а сам в то же время знал чуть ли не всего Флобера и Ницше. Я заметила в прошлый раз, когда заходила к вам, что ваша рукопись написана на обратной стороне какого-то делового документа.

— Да, это один из экземпляров моей докторской диссертации.

— Гримасничаете, да?

— Просто не было под рукой другой бумаги.

— Вас с головой выдает ваша фамилия. Вы что, дворянин из усадьбы?

— Нет, конечно, но со стороны отца...

— Ваша фамилия не деревенская, — не дала она мне договорить, — так ведь?

— Я не знаю точных ответов, разве вы знаете, кто вы?

— Да, разумеется, знаю.

— А как же литература, ведь она как раз пытается нас: кто мы и какие?

— Вы прямолинейны в разговоре и неинтересны. Удивительно, ведь повесть ваша «Под открытым небом», хороша. И вы — ну, очень положительный человек, но запомните: талантливые книги пишут хорошие писатели, а не люди хорошие.

Я молчал.

— Скажите мне, у вас в трех местах повести повторяется слово «рыдван», это что, арба такая или наподобие брички? А в конце повести: «ветла». Это что за дерево, не слыхала?

Я, как мог, объяснил, внутренне подивившись вопросам.

— Вы нарочно такие слова подбираете в повести?

— Как нарочно? Без них деревня — не деревня.

— Да будет вам!

Я не стал ничего доказывать. Мне показалось, что она меня просто дурачит.

Когда мы расстались, мои мысли все крутились вокруг моих рыдванов и ветел, а вернее, о том, как же все-таки понять и сказать, кто

я? Моя повесть была о детстве, и без привычных с детства слов, без рыдвана, останки которого и до сих пор лежат на наших задах на гати, без кривой ветлы, у которой мой дед всегда делал стан в сенокосную пору, где мы обедали, пили аряну, спали, разморенные полуденной жарой — кто я? Тень от мощной ветлы нас спасала, она давала надежное укрытие от палящего солнца — без всего этого я просто не представлял себя. Если вообразить, что всего этого не было и нет, тогда я и сам как бы придуманный, меня тоже нет.

Вечером, прочитав ее книжечку стихов, я впал в некое недоумение. Мне не хватало понимания, кто написал книгу. Не ясно было, где родился автор, откуда он, где его корни, кто за ним и что стоит? Будто автор инкубаторский, будто из пробирки.

Размышляя так, я достал свою рукопись, еще раз прочел милое сердцу название и, взяв карандаш, жирно и твердо несколько раз обвел буквы. От этого они стали устойчивее и выразительней. Когда клал рукопись в стол, поймал себя на мысли, что веду себя, как в детстве, когда, взяв большую кисть, голубой краской на самом большом тесовом заборе у сельского клуба написал назло всем завистникам и дразнилам: «Я все равно тебя люблю!» Я знал, для кого писал. И она, живущая в соседнем переулочке, в крепеньком домике с крашеными наличниками — хрупкая и синеглазая, догадывалась, кому это написано и почему. И никто нам больше был не нужен тогда.

Вот так-то.

ОПЫТЫ

Утро. Диспетчерская завода. Из телефонного разговора диспетчера с одним из начальников цехов узнаю, что приготовлено к отправке в Москву три баллона с этиленом в исследовательский институт.

— Зачем? — спрашиваю. Я знаю, что все научные работы давно свернуты. Наука в загоне. Ведущие специалисты подались кто куда. Надо ведь кормить семьи. Остались либо самые неподъемные, которые раньше были лишь балластом в науке, либо фанатически преданные своему делу люди. Такие еще есть в науке.

— Ну, как зачем? Мы же раньше всегда им давали на опыты, — отвечает меланхолично старший диспетчер.

— Раньше, — возражаю я, а у самого уже забрезжила радость в душе: а вдруг, действительно, что-то изменилось, и как прежде, всего лет пять назад, вновь забил исследовательский родничок в нашей отраслевой науке.

Вошел главный технолог, и я попросил его связаться с Москвой и узнать, для каких опытов берут этилен.

С приподнятым настроением пошел к себе в кабинет. Через пять минут начиналось утреннее общезаводское селекторное совещание. Как всегда, на совещании и после навалилась куча вопросов, и я забыл о баллонах.

Часа через полтора вошел главный технолог и сказал с непонятной усмешкой:

— Бананами торгуем.

Я не понял.

— Ну, этилен же способствует созреванию фруктов, яблок, например!

— Послушай, это, по-моему, еще в школьных учебниках прописано. — Я все еще ничего не понимал.

— Ну вот, они и возят зеленые бананы из-за бугра, в лаборатории доводят их до кондиции в среде этилена — и на рынок. Кооператив организовали.

Очевидно, у меня что-то сделалось с лицом, потому что собеседник сначала было хохотнул, я так и не понял: в одобрение ли своим московским коллегам, или глядя на мою реакцию, но потом как бы опомнился и глуховато обронил:

— Дожили, такие вот опыты. Банановая страна, а?

— Дожили! — вырвалось и у меня.

Когда он уже выходил, я попытался понять, что же в этом факте больше: горечи или все-таки одобрения действиям по выживанию. Так и не успел понять. Заверещал телефон на столе. Рабочий день требовал своего — завод тоже может оказаться на грани выживания. У нас тоже опыты. Вернее, опыты над всеми нами — скопом.

РОДИТЕЛЬСКИЕ ПРИВИВКИ

Родители нас воспитывали на свой лад. Если вообще воспитывали в обычном, расхожем смысле.

Осознанно это было или нет, но напрямую нам никогда не говорили: вот этого делать нельзя, а вот это — можно. Они так себя вели, что часто в вихрастой моей голове возникали неожиданные мысли и сомнения.

Даже и потом, много позже, когда повзрослел, я часто попадал в эти, с простодушной улыбкой расставленные силки. Сейчас вспомнились два таких случая.

Где-то на третьем курсе ко мне приехал в общежитие отец и, увидев на столе мою курсовую работу по «Деталям машин», живо заинтересовался чертежами механизмов и тут же начал расспрашивать. Но мне эта дисциплина с передаточными числами, червячными передачами была не очень (мягко сказано) интересна, да и то обстоятельство, что отец, не имевший даже среднего образования, начинает рассуждать о вещах, требующих, по-моему мнению, специальных вузовских знаний, несколько забавляло, что ли, и я всерьез никак не мог принять его вопросы. Под предлогом, что мне надо еще самому разбираться, а уж потом объяснять ему, я попытался увильнуть от дополнительных занятий с отцом этой скучной наукой.

— А разве сейчас вместе не разберемся? Ты же сам чертил? — не отступал он.

— Ну, зачем тебе это, отец, у тебя же в мастерской все, что требуется и крутится, кроме точила, все деревянное, а тут — железо.

Мне просто самому было не интересно. Я уже решил тогда бросить институт и поступить в цирковое училище. Страстно хотел стать силовым эквилибристом.

Я, кажется, переборщил, отец, сверкнув глазами, понурился. Мне стало неловко.

А он отошел от стола с листом ватмана к окну и стал смотреть во двор общежития, на грязный, так не похожий на деревенский, весенний сугроб снега.

Я вдруг спохватился: ведь отец всегда всех поражал тем, что мог наладить в деревне очень многое, что ломалось и безнадежно уже приносили к нему сельчане: радиоприемники, утюги, примусы, керогазы, часы и многое-многое другое. Это меня всегда поражало: он окончил когда-то два класса начальной школы и курсы трактористов еще до войны, но этого ему хватало. Он еще ремонтировал коляски инвалидов, старую машину своего друга Константина Зуева и вообще все, что приносили и привозили ему во двор, что можно было когда-то назвать — как он говорил — «механизмом».

Припомнив это, я хотел было как-то загладить свою промашку, и, когда уже провожал его из общежития на автовокзал, заговорил о своей вымученной конструкции в курсовой работе. Он никак не отреагировал. Просто промолчал. Умолк и я, чувствуя себя неловко и виновато оттого, что вроде бы я какой-то изменник — перебежал в другой лагерь, где все умные, городские, грамотные и его не пускаю туда, организовал круговую оборону: ты, деревня, сама по себе, а мы, город, и без вас обойдемся, мы — ученые, так получалось.

«Он ведь и лист ватмана, и чертежи как таковые, наверное, впервые в жизни увидел. Это ж ему – самый высший пилотаж, с его-то цепкостью ко всему, что связано с техникой», – доедал я сам себя.

...Сдав не только эту курсовую работу, но и весеннюю сессию, я приехал домой заряженным и на отдых от учебы, и на каторжную работу по заготовке сена и дров.

Мы уже сидели на кухне за столом с мамой и неторопливо беседовали, когда вдруг тишину во дворе и нашей избе резко нарушил металлический, резвый, тонкий и всепроникающий звук.

– Что это, мам, у нас?

– Да, наверное, отец вернулся из клуба после ночи – он вновь устроился клубным сторожем, и включил свою машину.

– Это что ж за машина такая?

– А иди да посмотри, к нему цельными группами ходят смотреть.

Я вышел во двор. Отец был в своей мастерской, из двери которой торчала длинная доска.

Заглянув, я увидел то, что меня поразило и несказанно обрадовало: отец стоял у большого грубого стола, над плоскостью которого из прорези на одну треть торчало зубчатое колесо, с невероятной скоростью вращавшееся и жадно вгрызавшееся в доску, которую отец подавал легким нажимом вперед. Доска-сороковка легко, красиво делилась согласно черте, сделанной на ней, на два абсолютно ровных, длинных элегантных бруса.

От вращающейся зубчатки, от оси, на которой она сидела, уходил ремень, который под столом обхватывал шкив, насаженный на вал рычащего, гудящего мотора. Издавали сильные звуки две детали этой удивительной конструкции; мотор и диск, казалось, как живые, соперничали друг с другом, отстаивая первенство – каждый свое в этом прямо-таки завораживающем действии.

Отец только тогда выключил рубильник, когда кончилась доска, и она, словно вильнув копчиком, развалилась на две половинки, обнажив свежий, рыжеватый смолистый срез и заполнив всю мастерскую крепким здоровым духом.

– Вот, Шурка, и все дела! – сказал приветливо, но спокойно отец. – Теперь легче будет заготовки делать для оконных рам, да я уже и просто дрова пилил. Сухой дубок берет!

Он подал свою руку, и моя ладонь оказалась сжатой в маленьких, но металлических тисках – настолько была крепка эта отцовская рука.

– Как пилорама, да? – восхищенно выдохнул я.

— И да, и нет, — неопределенно ответил отец, добродушно покачав головой.

— Почему так? — настаивал я.

— Дак, это ж твои «Детали машин», наука твоя студенческая. Вот тебе ременная передача, вот шкив. — Он взял напильник и, пользуясь им как указкой, пояснил: — Вот станина, вот привод. Почти все, как на твоём ватмане. А называется — циркулярка.

— Неужели, пап, это ты все сам?..

Мне было удивительно, одно дело чертить мертвые чертежи, сидеть, защищая их перед лобастыми вузовскими преподавателями, совсем иное — этот запах свежих опилок, отцовская мастерская, он сам — целеустремленный до предела, конкретный в делах и поступках до самоотверженности. Такой живой и умеющий оживить все то, к чему прикасался.

Я вспомнил свое студенческое высокомерие в тот приезд отца, и мне стало вновь не по себе.

А он стоял в дверном проеме мастерской, прилаживая новую доску для очередного прогона на своей бодро повизгивающей конструкции, как ни в чем ни бывало.

Такая вот прививка от чрезмерного самомнения и от кое-чего еще.

...Одну из многих прививок получил я и от мамы, но уже в солидном возрасте.

Я уже месяц как защитил диссертацию, а все не мог выбраться в село к родителям. И отдохнуть на пару дней во врачующей тиши, и новости привезти. Как никак я первый в нашем роду получил высшее образование, а теперь вот и еще доктором наук стал. Наперекор всем обстоятельствам, работая на производстве еще начальником большого нефтехимического цеха, накопил постепенно материал и защитился в Москве.

...Когда я приехал, отца дома не было, пришел чуть позже и устроился напротив меня в горнице за столом, где я с дороги, притомившись, сидел перед большой чашкой кислого молока. Мать знала мою слабость — я любил кислое молоко — и всегда его держала наготове, часто жалуясь мне, что никак не приновится к моим нерегулярным приездам и молоко скапливается у нее, и она не знает, что с этим делать. Не дождавшись, раздает его соседям. Надо сказать, я не говорил родителям, что работаю над докторской диссертацией. Почему? Не очень они восторженно относились к моей работе вообще. Кончил я институт и получил не очень-то понятную для них профессию химика. Ну, что такое химик? Вон Мишка Юнгов, Колька Петряев — они шоферы, мы в школе вместе учились. Подойди, попроси — они за бутылку привезут любому и се-

но, и дрова. Подмога в жизни. И себе что надо, привезут. Техника в руках. Крепко стоят в жизни на ногах. А я инженер на заводе, да еще химик. Куда меня такого сажать в компании, на какое место?

— Мам, пап, я защитился, стал доктором, — сказал я не без торжественности, помешивая деревянной ложкой свое любимое кислое молоко с сахаром.

Отец не успел первым ответить.

Он сидел уставший у стола, далеко откинув от стула негнущуюся ногу и положив руки на цветастую клеенку, освещенную ярким до рези в глазах, отраженным и усиленным светлым, сверкающим снегом и воздухом мартовским солнцем.

— Доктором стал? — переспросила мама. — Как ты успел?

— Да вот так, — отвечал я.

— Значит, людей теперь будешь лечить, раз доктор?!

Я не сразу нашел, что ответить — так неожиданно был поставлен вопрос.

Во-первых, я и сам до конца не понимаю, по сути, что это такое «доктор наук». Одно время я даже проповедовал неприятие этого звания. Ученый — есть ученый. И степени учености и полезности вряд ли защита и присвоение звания добавляют. Все очень условно. Во-вторых, мама всегда хотела, чтобы я учился на врача. Это же как и шофер. Видно, чем занимаешься, и видны плоды. Это не химик какой-нибудь...

— Ну, лечить не лечить, а что-то вроде... — начал мямлить я.

Но моей маме, с ее одноклассным образованием, хватало быть мудрой и сейчас.

— Ой, Шура, как же это хорошо-то, хорошо-то как, — воскликнула она, прислонившись к только что протопленной голландке и обхватив ее за своей спиной руками. — Лечить будешь людей, это сейчас так нам надо: у нас столько в селе хворых, беда ведь совсем, вымрет народ.

Посмотрела на меня своими нестарееущими глазами прямо, и я смешался, я сбился: то ли она действительно поверила в осуществление своей давней надежды, что я буду когда-либо врачом, то ли лукавит озорно, как она часто это делала, и дает мне возможность еще поправиться, верит мне, что я, если не сейчас, то когда-нибудь все же сделаю, как она хочет, но сделаю без нажима. Сам, поняв что-то, то главное, чего пока в моей ученой голове нет.

И вдруг в установившейся тишине, в чистой и светлой родительской горнице прозвучало то, что они оба потаенно носили в себе.

— А раз лечить будешь, то и жить насовсем в Утевку приедешь, по-другому и нельзя ведь. Наконец-то.

Чтобы не разреветься, я ткнулся в свою чашку с кислым молоком, стараясь деловито работать ложкой.

Такие вот родительские прививки.

ДРУЖБА

...Мне тогда казалось, и я думаю небезосновательно, что едва ли не основной задачей принимавших нас в Румынии партийных функционеров было напоить нас так, чтобы ничего как следует не могли увидеть. По крайней мере, трезвыми глазами. Наша партийно-хозяйственная делегация совершала, так сказать, ответный визит. И, наверное, поделом нам, ведь и сами мы, получив совершенно определенное задание в горькоме, не давали просыхать нашим гостям во время их приезда к нам. Встречали по-советски, в 1985 году. Надо сказать, встречали и нас пышно и красиво. Рестораны, застолья, фрукты, вышитые красиво скатерти, красивые одежды, лица — всего было так много, что эта избыточность изматывала сама по себе. Но была еще цуйка — водка из сливы, она-то нас, бедных, и своими, как нам казалось, немереными градусами и боевым всепроникающим запахом добивала. Долг платежом красен, мы, очевидно, того заслуживали.

И как же мы, бедолаги, обрадовались, когда нам предложили посетить где-то в окрестностях Георге-Георгиу-Деж питомник, где разводили форель. После очередного застолья нас погрузили в автобус, и мы поехали.

...Громкоголосая и песенная артель весело коротала дорогу. Потом нас высадили, и гид пояснил, что метров триста надо идти пешком, то ли это какая-то необходимость, то ли так задумано, нам по сути было все равно. И мы пошли. Цуйка делала свое дело, большинство готово было продолжать петь, веселиться. Кто-то уже затыкнул «Катюшу», румыны пытались подпевать. Группочками мы не стройно, но все ж таки двигались в заданном направлении.

Мой коллега Виктор Иванович приотстал, и я его обнаружил вскоре в обществе рослого молодого румына. Они шли, обнявшись за плечи, и разговаривали, причем без переводчика. Очевидно, разговор начался не только что.

— Дружба, дружба, — восклицал румын, — это отлично!

Ему нравилось пытаться говорить по-русски.

— Конечно, дружба — это замечательно, — вторил Виктор Иванович.

Но румыну этого, видимо, казалось мало, он остановился, показывая в сторону длинной полосы леса вдоль дороги, по которой мы шли, и произнес:

— Это все хорошо, потому дружба! Дружба!

Он говорил нараспев, повторяя слова, пытаюсь донести какой-то очень важный смысл дружбы, конкретный и деятельный.

— Да, да, — повторял его русский собеседник, — конечно, все, что есть, это результат дружбы, без нее ничего не будет.

Они остановились и, покачиваясь, обнялись и расцеловались.

Но странное дело, румыну такого знака проявления дружбы между народами показалось все равно мало, и он снова начал свое:

— Дружба, это...

— Да, да, — вторил, готовый к новым поцелуям мой соотечественник.

Я захотел помочь друзьям-интернационалистам и позвал переводчика.

— Что говорит наш румынский товарищ? — деловито спросил я переводчика.

— Он говорит вашему товарищу, что русская бензопила «Дружба» очень хороший агрегат.

— Что? — изумился я.

— Он говорит, что они в этом году, их фирма, закупила целую партию таких бензопил.

Оторопевший и на миг протрезвевший Виктор Иванович удивился:

— А что же он рукой показывает на лес?

— Он говорит, — пояснил переводчик, — что с помощью этой вашей советской пилы они успешно ведут лесоразработки на всем этом... как это у вас... массиве.

— Ну, вы, друзья, даете! — искренне воскликнул русский товарищ. — Это ж надо: «на таком массиве»!

Оба румына, после небольшого диалога между ними, рассмеялись.

ВСЕХ ПОМНИШЬ?

Мама, увидев на столе мою статью в заводской газете «Большая химия» под названием «Наперекор и вопреки», потянулась ее прочитать.

Я вчера, в пятницу вечером, прямо с работы, захватив папку с почтой, приехал в село на выходной. И теперь вот с утра не спеша просматриваю документы, сидя в светлой маминой горнице, залитой весенним апрельским солнцем. Приглушив голос динамика, стоявшего на

подоконнике, она внимательно прочла статью. Свернув вдвое, положила многотиражку в общую кучу бумаг, то ли спросила, то ли подытожила:

— Так и воюешь.

— Потихоньку, мам, слишком много всего, что мешает работать, а работникам завода надо знать, куда мы идем.

— Тебе, наверное, на веку твоём с рождения так положено, по колдобинам идти всю жизнь.

— Почему? — спрашиваю.

— Я ж тебе рассказывала: я уже беременная тобой была, а нас с твоим отцом не расписывали, он поляк-иностранец, что делать? Его уже забрали на фронт, а я с животом хожу никому не нужная. Ты родился — пошла я к Наде Чураевой, она в загсе работала, уговорила ее помочь в метриках твоих записать тебя на фамилию отца. Подружка моя мне и пособила. Ни в какую не хотело начальство этого делать, а она как-то ухитрилась потом, не сразу, тайком свершить. Наперекор и вопреки всем. Она ушлая была. Отлет, а не девка. Станислав очень хотел, чтобы тебя Сашкой называли, вот и называли. И я была не против, первенский ведь Сашкой назывался, помер.

Эту историю о моем брате, который умер в полтора своих года, я уже слышал, но мне хочется слушать маму, всякий раз я узнаю неожиданные подробности.

— Жалковала я, когда он умер, очень, свет белый был не мил, а когда ты родился, радость была недолгая, год тебе было — ты у меня ослеп.

И эту историю я знаю, но раз мама рассказывает заново ее, значит, ея что-то движет, есть недосказанное до сих пор на душе.

— У меня один умер, да вот с тобой истории всякие были, и то я вся изболелась, сама на себя похожа не была, а у бабы Груни твоей нас было восемь человек, а в живых всего остались: я да Леня с Сережкой. Как она пережила такое? Чудеса, да и только.

— Мам, а как все-таки я оказался слепым?

— А просто после кори появились осложнения, ну, я и начала возить тебя на салазках в больницу, мороз, месяц февраль, а я километра три туда да обратно тебя тащу. Капли тебе капали. А в один день у врачихи нашей сына в армию, на фронт забрали, она вся в слезах, капнула не такое лекарство, какое надо.

Я тебя везу, пурга, ничего не видно, а ты орешь — изошелся весь, а я не пойму, почему так. Потом вижу, глаза у тебя стали красные, ажник тарарышные. Что дело нешуточное, поняла, когда нас сама врачиха на жеребце догнала почти у дома уже. Она, бедняжка, сама, как

увидела, что с тобой, — в слезы. Схватила тебя — и в сани. Но понапрасну все. Бились они бились — и ни в какую. Выписали нас с тобой из больницы: ты — слепой. Руки опустились у врачей. Сожгли тебе глаза-то.

Ну, и намыкалась я по бабкам. И в Мало-Мальшевку, Кулешовку, Грачевку — куда только ни ходила-ездила. Все никак. И вот один старичок присоветовал мне попробовать настойку сделать из дождевых червей. А я до этого тебе мазала глаза настоем из куриного помета, еще хуже стало тебе. Я уж и не верила. Но дед твой набрал червей в погреб, зима же была, и я стала тебя ими лечить. Положу червяков в стакан и сахаром посыплю, как старичок учил, через день-два вместо червей в стакане жидкость получается — ей и мажу. Не знаю, что и думать, а глаза твои стали глядеть. Что помогло, черви ли, или что тебя заговаривали бабки. Я сама украдкой молилась за тебя. Так вот и смахнули беду-то всем миром.

Она замолчала. Посмотрев на мою папку с бумагами, погоревала:

— Учился, учился, глаза портил, и теперь, куда дело годится: одна писанина. Зачем тебе это надо? У тебя сколько плюсов-то?

— Четыре, мам, а что?

— Это ж в два раза сильнее у тебя очки, чем у меня, — начала она сокрушаться, — ну, как же так можно? Еще и книжки эти пишешь, сидишь под лампой ночами. Беда бы не случилась опять.

Мне уже за пятьдесят, а маме все кажется, что Шурка ее постоянно нуждается в ее защите и поддержке. И ничего с этим не поделаешь.

— Вот я и говорю: зачем тебе это надо?

— Что, мам? — я задаю вопрос, хотя знаю, о чем речь, она никак не привыкнет, что я, приезжая домой, вечерами допоздна сижу на кухне с рукописями.

Я не знаю, что ей ответить. Я, признаюсь, сам себе еще не подготовил ответ на этот с виду простенький вопрос: для чего пишу? К славе, известности я не рвусь, это могу сказать спокойно. К оценке того, что делаю, очень равнодушен, признаюсь. Но так ведь оно, наверное, и должно быть. Я слишком уважаю то, чем я занят. Но — для чего? Это вопрос вопросов, хотя и вышли уже две тоненькие книжицы.

И у мамы моей отношение к моим книжкам ей, наверное, самой непонятное. Она меня поругивает, а сама в прошлый приезд попросила, чтобы я привез своих книжек еще.

— Шура, они ходят, просят дать почитать, а у меня всего две их, вот они из рук в руки передают. Я устала говорить, что у меня нет, мне не верят. С дальних концов приходят.

Я привез две пачки, и они быстро разошлись.

...На прошлой неделе, приехав вот так же, я пошел в свою школу.

Школа – то место, которое притягивает всегда. Путь мой лежал мимо дома бывшего одноклассника. Признаюсь, я не всегда рад бываю встрече с ним. Есть тому причина – он пьет, да так, что трезвым его трудно уже бывает представить. То, что мы вместе учились, росли, дает ему, очевидно, на меня особые права, чему я и не могу сопротивляться. И чаще всего кончается тем, что он получает свое – мы чокаемся и начинаем так нужные ему разговоры про жизнь.

Я уже думал, что на этот раз я благополучно проскочил мимо его двора и, слава Богу, могу распорядиться собой сам, а не – нет:

– Станиславич, ты ли это?! Обожди, я выйду.

За редким штaketником выросла знакомая, в издавшей виды вылинявшей фуражке фигура, и вот он – нарисовался мой кореш.

– Понимаешь, Виктор, тороплюсь в школу, – начал я, – привет огромный, на обратном пути поговорим.

– Не-е, так нельзя, ускачешь, ты быстрый, тебя поймай попробуй потом. Мне сейчас надо. – Он сделал резкое ударение на «сейчас».

Я зорко оглядел приятеля, бутылки у него с собой, кажется, не было. «Может, на этот раз повезет, – подумал я, – останемся трезвыми».

Он тем временем подошел вплотную и как-то необычно ответственным голосом сказал:

– Дай руку, дружище!

Он взял мою руку сначала своими обеими, затем переложил мою ладонь в правую и, что удивительно для его долговязой неуклюжей фигуры, неожиданно довольно крепко пожал.

– Спасибо! – Помолчал и снова: – Спасибо!

Мы встретились глазами. Он был трезв. Я не понимал, что с ним и о чем он.

– Вот за это, – он вынул из кармана пиджака мою первую книжку «Степной чай», – все нас забыли, деревню забыли, всех и все забыли, а ты – помнишь, помнишь... Да как помнишь – сердцем. Не глазами и умом, а – сердцем!

Во мне что-то перевернулось. Я был ошеломлен. Я никогда не мог и думать, что услышу такое от него. О моих попытках писать он не знал.

– Когда к Любе, ну, в магазин, пришли твои книжки, ну, мы ахнули, не ожидали от тебя. Не знали, что ты книжки пишешь. То, что ты – директор, да, их много, директоров-то, а это... Не знали.

Он снял свою затрапезную заячью шапку и вертел ее в руках.

— Помнишь, всех нас сразу. Всех! — Он посмотрел на меня пристально и сказал обжигающие слова: — Ну, иди, иди. Не буду держать. У тебя теперь своя дорога, особая.

И он, не глядя ступив своими кирзовыми сапогами в апрельский грязный снег, сошел на обочину. Повернулся и еще раз посмотрел на меня там, у своей калитки, неопределенно улыбнувшись.

...Не тороплюсь я отвечать, для чего пишу. Может, на это ответят за меня мои тоненькие книжки.

А случай с моим одноклассником и разговор тот меж сухих застарелых карагачей и ветел, увешанных и отяжелевших от этого грачными гнездами и этот нескончаемый шум крепких крыльев и весенний бодрый грай, помню. Это во мне навсегда.

ПРО ЛОШАДИНУЮ БИОГРАФИЮ И «НОЖКИ БУША»

Сидим в просторной светлой горнице моего друга и земляка Анатолия Плаксина и он не спеша рассказывает о своем житье. А оно у него интересное, житье сельского учителя истории.

Последние два года в течение двух-трех недель у него гостят археологи из Самарского пединститута и с ними американцы Сандра Уолсон и Дэвид Энтони из штата Пенсильвания. Очень хочется американцам поближе узнать историю нашей страны, завидуют они российским археологам, в распоряжении которых богатейшие памятники древности. После первой поездки они опубликовали большую работу в нескольких изданиях, особый интерес для них представляет группа курганов шестого утевского могильника. Дэвид Энтони готовит доклад, который предстоит сделать ему на Вашингтонском Конгрессе антропологической академии. В нем будет и сообщение об открытиях самарских ученых в Утевке, свидетелем которых стал этот научный сотрудник нового американского университета, занимающегося, немного-немало, историей развития коневодства.

Откуда же у американцев возник интерес к лошади в наш насквозь механизированный и автомобилизированный (если так можно сказать) век, допытывался и записывал ответы Дэвида мой дотошный земляк.

— О, это не составляет никакой тайны и вполне объяснимо. Американский континент отнюдь не является родиной лошади. К нам ее впервые завезли в XVI веке первооткрыватели — испанцы. До этого лошадей в Америке не водилось вовсе. Вы можете спросить: а как же дикие мустанги? Ответ на этот вопрос уже найден и вполне однозначный: му-

станги – одичавшие домашние лошади первопоселенцев. Оставленные своими хозяевами, они долго не признавали над собой власти людей.

Истинная родина лошади, по нашим предположениям, – это степные пространства Европы и Азии. Понятно, что немалый интерес в этом вопросе представляет для нас степной регион Поволжья. Что и привело меня сюда.

Кроме чисто археологических аспектов исследуемой проблемы, есть и другие. В частности, последние открытия археологов, антропологов, биологов, географов и других ученых заставляют немного по-иному взглянуть на развитие человеческой цивилизации. Приручение лошади в третьем тысячелетии до нашей эры сыграло не менее революционную роль, чем в свое время огонь и железо, пар и другие научные открытия. Лошадь была основным транспортным средством до конца XIX столетия.

Давайте вспомним роль лошади в военном деле. Боевые колесницы, конница, связь – вот далеко не все, что умела и делала лошадь. И древние люди с благодарностью платили ей за это. Прекрасным подтверждением служат открытия, сделанные в Утевских курганах. Здесь мы воочию убедились, что вместе с умершим человеком в могилу клали лошадиные черепа, конечности. Нередко рядом с могилой воина можно найти и останки его лошади. Не исключено, что именно в ваших степях появились первые боевые конницы, а не в древнем Египте, как это принято сейчас считать. Уже есть первые доказательства, что туда лошадь, как и в Америку, попала несколько позже, чем она была распространена в ваших краях.

А то, что в Потановском могильнике на реке Сок найдена боевая колесница, разве это не подтверждение сказанному?!

– Такие находки попадают не только на Соке, фрагменты боевой колесницы были найдены и у нас, на шестом Утевском могильнике, – дополняет рассказанное Дэвидом Энтони Анатолий Васильевич. – Предстоит определить родину этих находок. Это, пожалуй, наиболее сложная задача. Сейчас ученые в основном заняты регистрацией всех без исключения древних памятников археологии, связанных с лошадей. Необходимо найти все географические точки, где и когда впервые была она оседлана. Сопоставив все известные ученому миру факты, можно сделать некоторые выводы.

Пока, с определенной степенью риска, можно робко предположить, что именно в Волго-Уральском регионе и прилегающих к нему территориях найдены самые древние свидетельства дружбы человека с лошадей. Но

окончательное решение этой проблемы видится в будущем и во многом зависит от результата археологических раскопок.

Эта проблема уже обсуждалась на международной конференции в казахстанском Петропавловске, в работе которого активно участвовали ученые из Америки, Казахстана и России (Самары).

Мой земляк-историк неутомим в своем интересе к родным утевским местам:

– Меня поражает живой и здоровый интерес американцев, как к коневодству, так и древнейшей истории нашего края. Нашим бы властям такой интерес. Американцы с огромным вниманием отнеслись к открытому недавно древнейшему поселению славян, когда было в очередной раз зарегистрировано таковое в районе реки Съезжая. Здесь удалось найти не могильник, а целое поселение древних славян со следами жилищ, надворных построек и крепостного вала. Таких архитектурных построек в Поволжье больше нет, это прекрасно понимают все, даже за океаном. Но не прониклись всей значимостью открытия местные руководители. В прошлом году, при прокладке трубопровода, была разрушена часть кургана эпохи бронзы. Неужели нам всем наплевать на свое прошлое?!

Возникла пауза, и я вслух удивился:

– Просто фантастика! Трудно представить, но факт – еще 4–5 тысяч лет назад в этих местах жили люди. Куда же они потом подевались?

– Возможно, и в те времена были свои варвары. Одно наверняка известно, что перед монгольским нашествием в этих степях почти никого не было. В чем причина, трудно сказать, но предположения есть. Военные племена кочевников савроматов, сарматов, скифов и другие более сильные народы вытеснили или ассимилировали местное население. Но следы их, живших в эпоху бронзы, находят на Южном Урале (Синташтинский и Новокумаканский могильники), в Иране, на Алтае и других самых неожиданных местах. Народы не исчезают бесследно, они обязательно оставляют свою культуру, язык, трудовые навыки. Смешиваясь с другими племенами, они образуют качественно новую культурно-историческую общность на более высоком уровне развития. Возможно, так и случилось с нашими древними «земляками», в том числе и с теми, кто жил на земле нынешней Утевки.

Слушая Анатолия, я поймал себя на забавной мысли, что завидую своему старинному другу Карему – незабвенному рослому мерину из моего детства. Такое внимание к нему и его братьям. Вот бы к нашим биографиям такой интерес, к нашим родословным. Да, где уж нам... Нам некогда, у нас... потрясения, сами обрекаем себя на растрату своих

жизней вначале на разрушения, затем на созидание, и каждый раз с энтузиазмом, только нам россиянам присущим.

– Курьез у меня получился с «ножками Буша», – жалуется, невесело усмехаясь, Анатолий Васильевич.

– Американцы их с собой привезли?

– Да нет, я их закупил в утевском магазине. Понимаешь, они никак не могли поверить, что ученики моего класса так хорошо рисуют. Я им показал несколько стенных газет с этими самыми рисунками. Им захотелось посмотреть на ребят, пообщаться с ними...

– Странные у тебя какие-то американцы, больно любопытные. Я трижды бывал в Соединенных Штатах и был поражен их равнодушием к искусству. Перед первой поездкой добросовестно перечитал многих заокеанских писателей, полагая, что мое знание будет встречено одобрительно. Но, где бы я ни пытался заговорить о писателях, литературе, художниках – в ресторане, дома – нас несколько раз приглашали в гости, – везде наткнулся на полное равнодушие. Им это неинтересно.

– Да, да, может быть, – соглашался Анатолий Васильевич, – но мои-то американцы не банкиры и не бизнесмены, они ученые, им все интересно, они поэтому и приехали, что хотят больше знать о русских.

– Что-то не очень верится, – засомневался я вслух, чувствуя, что говорю больше для того, чтобы разговорить моего собеседника.

– Ты, понимаешь, они были потрясены спокойствием наших людей. Мы, утевцы, по крайней мере, для них такие милые, приветливые. Даже с незнакомыми здороваемся. В американских городах все куда-то спешат, а наши, сельские, у дома – для них просто чудо. Люди сидят, отдыхают, общаются. По уровню жизни, цивилизации – невероятная отсталость, но зато какое радушие и гостеприимство. Русские берут своей душевностью. Может, в этом и есть русский секрет?

В магазинах ничего нет, а в каждой семье вкусно и обильно питаются. В этом, наверное, тоже одна из русских тайн. Для них.

В последний приезд Дэвид жаловался, что американцы начали много пить и пьянство переместилось на кухни. Но, не дай бог, на работе узнают, что ты засиживаешься по вечерам с бутылкой, могут быть большие неприятности.

– А «ножки Буша» причем все-таки? – спрашиваю я.

– А? – спохватился рассказчик, – заговорился я, сейчас. Значит, надо было пригласить ребят, но ведь и их, и американцев надо чем-то угостить, так ведь? Ну, я сообразил: надо прикупить в магазине эти самые «ножки», картошки – и все дела. Так и сделал. Всем все понравилось, ребята мои молодцы: и говорили о многом толково, и рисовали,

и спели под конец. Когда же на столе оказалось мое угощение, Сандра спросила, что, мол, это за блюдо. Я и говорю, совершенно не задумываясь: «Ножки Буша» с молодой картошкой в мундире». У американцев вытянулись лица, оказывается, они никогда вообще ничего не слышали о ввозе в Россию этих самых куриных окорочков. И о том, как мы их у себя называли.

— Зачем это вы делаете? — все допытывался Дэвид, тряся очками в тонкой оправе, съехавшими на его крупный, нездешний нос. — Зачем завозить?

— Как зачем? — удивился я. — Мы уже с середины девяностых годов ежегодно потребляем до восьмидесяти тысяч тонн «ножек Буша» — 7-8 процентов производимых в Соединенных Штатах куриных окорочков.

— Опять — зачем это, кому надо? — ломая язык, недоумевал иностранец. — Это же неправильно для вас.

Оказывается, большинство американцев об этом и не знают. Зачем им знать? Они живут в достатке, думают о другом.

— Ну, нам это, — пытаюсь доказать недоказуемое, отвечаю я, — надо хотя бы потому, что, к примеру, зерновых в России в девяносто восьмом году собрали лишь около пятидесяти миллионов тонн — это самый низкий показатель за последние полвека, хотя в прошлом году зерна было почти девяносто миллионов тонн. Чем кормить-то? Дефицит мяса, — продолжаю я вразумлять непонятливого американца, — оценивается у нас в России институтом конъюнктуры аграрного рынка в шестьсот тысяч тонн.

— Но ведь это форма косвенного субсидирования наших фермеров, и как же ваши производители?

— «Замораживание» импорта еще больше опустошит мясные прилавки, — уныло долдоню я в ответ. По газетам знаю: в особых, сложных условиях оказались отдаленные районы — Крайний Север, многие районы Сибири. Намечено, как известно, закупить до 3-4 миллионов тонн продуктов, в том числе, не менее полутора миллионов тонн зерна.

— Идите ко мне, — продолжает с гримасой на лице ломать наш язык Дэвид и тащит во двор.

На крылечке он остановился, обернулся на меня, затем обвел взглядом, чудно поведя головой слева направо и наоборот, шаря взглядом по просторному двору, увидел одну из моих куриц-хохлаток и радостно вопросительно воскликнул:

— Что это?!

— Моя курица, Дэвид.

– Курица? – переспросил он. – А это? – Он развел руками перед собой, устремив взгляд в открывающийся за селом простор, будто выпустил у меня на крыльце из рук стаю голубей. – А это что есть?

– Это наш Ильмень, поле. Луг.

– Ага, вот. Ты должен понять мой вопрос, есть почему он. Это не поле – это должно быть – зерно, а это, – он ткнул пальцем в хохлатку, – «ножки Буша». Почему их мало в России, когда можно много? Почему так нельзя? Почему нельзя работать, чтобы много было?

– Почему, почему... – угрюмо и туповато соображал я, как ответить. – А потому, что это не Америка, – наконец сказал я, не глядя ему в глаза.

Он покачал головой, как учитель в ответ непутовому ученику, и мне стало совсем не по себе. «Он еще и учит меня».

– А ты бы, что ответил этому далекому от политики и от реальной жизни ученому, а? – Вдруг спросил меня учитель истории.

Я был не готов к этому вопросу. А, если точнее и честно: он во мне постоянно. И странное дело: я вроде бы (и я ли один) давно породнился с ним. Есть и есть вопрос, а то, что на него нет ответа, это как бы другое, нечто необязательное. И так вроде легче. Наверное, потому, что уж больно тяжел предполагаемый ответ. Пока тяжел или вообще навсегда? Как на роду написано – и точка?

СОАВТОР

Мой творческий вечер в Нефтегорске. Ведет его Геннадий Матюхин – артист самарской филармонии. Мы уже несколько раз бывали в моем родном селе Утевка. Он познакомился со всеми моими друзьями-земляками и самостоятельно приезжал, давал в школе концерты. Читал Василия Шукшина, кое-что мое.

В прошлый приезд в Утевку мы оказались свидетелями того, как мой племянник Сережа Никитин у нас во дворе обрабатывал свиную тушку, ловко орудуя паяльной лампой. Запах паленого, запачканный кровью мартовский снег ударяли в лицо свежо и остро. Мне показалось, что мой спутник, артист, просто убежит с этого двора. Не будет смотреть на все это. Ведь прочитав мой рассказ «Как резали поросенка», один из знакомых – тоже артист – причем, пишущий стихи, говорил мне: «Ах, зачем это вам, зачем этот натурализм, в жизни и так много всякого такого...» Я же не понимал, почему это «всякое такое» надо прятать, когда оно тоже частичка нашей жизни.

С Матюхиным по-другому. Он сельский. Нормальный мужик. Совсе не эстетствующий, живущий реальной жизнью.

Геннадий Матюхин – человек в Самаре известный. И не только как артист. По его инициативе два года назад был организован Литературный центр Василия Шукшина, который за небольшой срок объединил журналистов, писателей, актеров, просто людей, любящих этого замечательного русского писателя. Геннадий Матюхин за последние годы подготовил несколько литературных концертов и выступил с ними, начиная с областного центра и кончая самой дальней «глубинкой», где они стали даже частью учебных программ, особенно в сельских школах.

Это он, Геннадий Матюхин, обнаружил, что предки писателя Василия Шукшина до переселения на Алтай жили в нашей Самарской губернии. Есть у Матюхина композиция, которая так и называется: «Самарские корни Шукшина».

...Вот выдержки из книги Василия Гришаева «Шукшин и Сростки. Пикет», которую мне подарил Матюхин после поездок в село Сростки. В главе «Откуда родом Шукшины» читаю:

«...Найти в сросткинских анкетах дедушек и бабушек Шукшина не представляет, согласитесь, никакой трудности. Читаем в одной из них: Шукшин Павел Павлович, 60 лет, переселенец из Самарской губернии, год переселения – 1867. у него жена Мавра, сноха Анна, дочери: Лукерья – 26 лет, Авдотья – 19 лет, сын – Леонтий – 35 лет, внуки: Петр – 6 лет и Макар – 4 года (в 1921 году родился третий, Андрей). Макар Леонтьевич Шукшин – это отец Василия Макаровича. А Павел Павлович, выходит, прадед по отцу. В год переселения ему было, как нетрудно подсчитать, 10 лет; стало быть, приехал он в Сростки вместе с родителями, но сведений о них найти не удалось...

...Читаем другую анкету, из которой узнаем, что Сергей Федорович Попов, 40 лет, тоже переселенец из Самарской губернии, но прибыл оттуда тридцатью годами позже, в 1897 году. У него семь детей (позже стало двенадцать), пятая по старшинству – дочь Мария, восьми лет.

Мария Сергеевна Попова – мать Шукшина, а ее отец – дед Василия Макаровича, как видим, тоже из самарских переселенцев...»

Духовная жажда и духовное родство – оно не позволяет человеку забывать свои корни, оно заставляет человека видеть, находить, знать то, что рождает и позволяет накапливать самые лучшие человеческие качества, которые не дадут прерваться тому движению духа, которое определяет суть нашу. Иначе, кто мы без этого?

Так думаю и пишу я. Матюхин об этом не говорит. Он делает свое дело. Делает то, без чего не может. Он несколько раз побывал у нас

на заводе с группой артистов. Его чтение в наших цехах рассказов Шукшина всегда проходит на «бис».

...Ему многое интересно, потому и тянутся к нему. Понял он, из какого прорыва приходится мне выталкивать завод. Работает всего около 20 процентов производства, десятки цехов стоят. От семитысячного коллектива осталось всего две с половиной.

Но опору под ногами мы уже нащупали. Всего около года, как я пришел на этот завод, впереди еще дел невпроворот, но главное уже есть — появилась вера в завтрашний день. И это немало. И артист Геннадий Матюхин помогает мне тоже.

...В Нефтегорск нас пригласил глава района Анисимов Александр Александрович.

Сценарий вчера мы с Геннадием Матюхиным обсудили заранее, все идет своим чередом. И вдруг, совсем не по сценарию, он читает маленький рассказик-миниатюру, один из тех, которые я когда-то записывал в том виде, в каком они рождались на устах моих подрастающих детей. Был у меня небольшой такой цикл.

Вот он, этот рассказик, под названием «Подъемный кран».

Вечер. Пора ложиться спать. Пятилетний сынишка не отпускает.

— Папа, ну, прочти еще одно стихотворение.

— Нет, Слава. Мне надо сегодня раньше лечь спать, завтра утром на работу. Надо быть в форме.

— В какой, пап, форме, что ли, : милиционерской?

— Нет, просто крепко себя чувствовать, бодро — значит, быть в форме.

— Бодро?! Это, чтобы было много силы, да?

— Да.

— И чтобы можно было много всего поднять на работе?

— Ну да, и поднять!

— Э-э-э, папочка, ты опять меня обманываешь. Говорил, что инженером на заводе работаешь, а сам — подъемным краном.

Матюхин рассказ «осовременил», ведь он был записан около двадцати лет назад, когда я еще начальником цеха работал, и до перестройки до массового банкротства предприятий — добрый десяток лет.

Он поменял в рассказе всего три слова: моего сынишку Славу — на внука моего, Сашу, слово «папочка» — на «дедуля», «цех» — на «завод». И все: четверти века как не бывало. Фраза «говорил, что инженером на заводе работаешь, а сам — подъемным краном» зазвучала еще пронзительней и актуальней. Я ведь действительно недавно перешел на

завод, который был банкротом и медленно, но верно тонул. И моя задача была спасти его, вытащить из тины, будто краном.

Когда-то сынишка Слава пытал меня, начальника цеха, который восстанавливал свой цех после взрыва, но ведь и внук, получается, задавал вопрос неспроста: завод был, словно после войны, а не взрыва. Десятилетней войны, захлестнувшей перестроечной волной все его производства.

«Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется», — это я о Ф. Тютчеве, о пятилетнем сыне или Матюхине?

...А что зрители в зале? Они хлопали в ладоши.

В ОСОКОРЯХ

...И в самые трудные моменты своей жизни человек, я уверен, черпает свои силы в родниках своей памяти.

Светлый взгляд из-под руки матери, добрая и усталая улыбка отца. Тысяча ниточек доброты, связывающая меня со всем, что окружало — вот что не дает озлобиться, не дает разувериться в правоте добра.

Ведь сколько его было в детстве, вспомни. Доброта не уходит бесследно, она обязательно превратится во что-то светлое и непреходящее, отразится хотя бы в детях твоих, а там уж как Бог даст.

...Ручеек от родничка дорожку все равно найдет, сколько его ни затапывай. Громадную толщу пробьет и выйдет наружу, чтобы отразить в лучах своих и свет утреннего солнца, и волшебный лик растущей луны. И ты, начинающий новое свое дело, будешь верить: вещими станут и сны твои, и дела. И сам будешь вещим. Верь тому и знай: так думали или так чувствовали многие до тебя, но одним не дано было умение сказать об этом так, чтобы услышали, другим это было так понятно, как запах снега, что они не догадывались об этом говорить вслух, третьи стеснялись своей веры в доброту, четвертые...

...Четвертые так и остались в моей памяти мятущимися между добром и злом. Не суди их.

Человек бывает слаб, а жизнь расставляет такие хитроумные силки, не каждому по силам вовремя разобраться...

Найди свой родник, испей сам светлой водицы и помоги это сделать другому.

И воздастся тебе за все. И светлее будет в душе твоей, и мир вокруг не одному тебе покажется светлее. Пускай хотя бы покажется, и это благо, — так думал я и по-другому не мог.

...Будь я в другом месте, может, эти слова во мне не родились бы. Но я лежал в тени неохватной толщины ветлы, той самой, которая часто укрывала нас с отцом в сенокос от палящего солнца.

Я лежу в тени ее на свежескошенном разнотравье, и лицо мое, обращенное в открытое небо, не слепит солнце, настолько плотная тень идет от широко раскинувшей свои мощные ветви ветлы. Тени, которую дает это дерево, хватило бы с лихвой на всех, с кем я когда-то работал здесь, в этой ложине, недалеко от которой за тальником угадывается милая сердцу старица, светлая и теплая водица которой проблескивает меж листьями. Роднички старицы поили нас своей водой в сенокос. Хватило бы на всех. Но никого уж нет в живых...

Странно, я еще не старый человек, но столько из нашего сельского быта примет, привычек ушло за последние тридцать-сорок лет, что чувствуешь иногда себя чудом сохранившимся динозавром. Это в пятьдесят-то шесть лет!..

Странно. В моей жизни кем я только не был: плел корзины на колхозном общем дворе, трудился в артелях на сенокосе, на заготовке дров, работал на заводах, из них семнадцать лет директором, преподавал лет пять в институте, занимался серьезно два десятка лет наукой, даже был депутатом разных уровней...

А вот вспомнилось сейчас и сердце забилось чаще... Как же забыл? Ведь я еще пахал земельку нашу. Тут вот недалеко, около Лопушного озера, в осокорях...

Я поднялся и пошел туда.

То место, где я в свои двенадцать лет ходил когда-то за плугом, кажется, нашел точно. Раньше тут были огороды, земля легче и светлее той, что в дедовом огороде, — клеклой и тяжелой. Речка Утевочка подтапливала низинку, и оттого-то частенько у дома огороды обрабатывали с запозданием. Вешняя вода делала свое гиблое дело — вишня и яблоки вымирали на глазах, год от года дед с отцом пытались возобновлять сад, но не тут-то было. Все потихонечку превращалось в сушняк. Крепко держалась лишь одна старая ранетка...

...Место-то я нашел, но оно стало другим. Ровными рядами стояли здесь стройные сосенки по три-четыре метра высотой. В стороне это местечко. Не с руки сюда сворачивать с большака, идущего к мосту через Самарку — вот и не был давно здесь. Ходил, радовался нездешнему сосновому духу, зачем-то насобирав полный карман крепких, как речная галька, шишек, а самому все вспоминалось, как улыбался мой дед, когда, обернувшись, смотрел на меня, идущего в борозде за плугом, в потной сиреневой майке. Моменты, когда мы менялись местами — он вел

за повод мерина Карего, а я брался за плуг – были редки. И он, помню точно, делал это в то лето как бы полущутья, но я-то видел, он меня потихонечку испытывает. Я проходил его проверку. И меня это не обижало, а наоборот – обязывало соответствовать чему-то такому, что знал тогда, наверное, один мой улыбчивый дед Иван.

Разные были испытания в детстве. Зимой того же года меня дядька Сергей испытал в районной чайной, что была на нашей улице, недалеко от деревянного клуба, который назывался РДК – районный дом культуры.

В этой чайной всегда был народ. У коновязи фыркали лошади, бодро скрипели сани на снегу. В воскресный базарный день кто не заглянет туда, где можно выпить и поговорить. Начиная со ступенек подъезда до стойки у буфета, везде гомонил народ. Многие были из соседних сел. Утевский базар был районный.

Вот в такой зимний морозный денечек и вошел я в чайную. Меня всегда манила сюда многолюдность. Здесь было, как в хорошем кино, и забавно, и интересно.

– А ну, Шура, иди сюда!

Повинуясь призывному голосу и жесту моего разудалого дядьки, я оказался у стола. За столом было пять крепких ребят. Пили портвейн, это я хорошо помню. Дядька ловко всеми пятью пальцами левой руки взял граненый стакан за доньшко и налил из початой бутылки половину.

– На, выпей за наше здоровье, – сказал он небрежно.

– Сережа, но ведь я никогда еще... – начал я.

– Вот потому мы и решили: тебе пора.

Я посмотрел на сидящих за столом. Они, клоунски улыбаясь, закивали:

– Мы решили: тебе пора...

Свое смятение от непонимания до конца всей подоплеки происходящего я быстро сумел внешне скрыть. Я не мог подводить своих. Я зажмурился и выпил без остановки. Сидевший справа, розовощекий парень в кубанке, едва успел я поставить стакан, протянул мне ватрушку и одобрительно, как лошадь в жаркую погоду, монотонно замотал головой. Другой, напротив, взяв бутылку, начал разливать по кругу.

– За племяша, за племяша обязательно надо...

– Дуй теперь домой, – командирским тоном, сверкнув глазами, сказал дядька Сережа. – Молодец!

Странно. Я тогда не почувствовал опьянения, а когда вышел на улицу, свежий морозный воздух помог мне. Придя домой, я шмыгнул в постель, и никто из домашних даже не узнал о моем экзамене. Но он был. И я его выдержал.

...В тот раз после пахоты в осокорях и обедали, и отдыхали на зеленой изумрудной травке в тени разросшейся крушины. Дед заставил меня снять мокрую майку. Я сменил ее на его жестковатую темную куртку. Майку я повесил на солнышко рядышком с телегой.

...Мы уже проехали полпути домой, когда я вдруг вспомнил про майку, она ведь так и осталась на ветке.

— Беги, — сказал дед деловито, — я подожду.

Когда я вышел на полянку, майка была на месте. Но она не висела на ветке, очевидно, ветром ее сорвало, и теперь она лежала на зеленой траве, расстелившись, словно обняв зеленое или прикрывая его своим сиреневым телом. Я остолбенел. В этом сочетании цветов, а может, света, было что-то необычное, щемящее, понятное, как запах мокрого песка на речке, и необычное. Я не сразу решился поднять майку с земли, нарушить это единение цвета или чего-то более существенного и магического.

Я не знаю почему, но я часто в жизни своей вспоминал вот это ощущение бодрости, свежести, добра, уверенности в себе и в окружающем мире, которое исходило от сиреневой майки на зеленой траве. Потом, уже во взрослой жизни, когда вставал многократно этот эпизод перед глазами, я так и называл его: сиреневое на зеленом. И относился к этому бережно. Вспоминания о сиреневом на зеленом приходили ко мне и во сне. Сиреневое на зеленом стало для меня как бы символом моего детства.

Мне иногда кажется, что не будь того случая в осокорях, не увидел бы я это сиреневое на зеленом — был бы другим. И жизнь моя сложилась бы по-другому. Ведь ни умение пахать, ни первые полстакана портвейна так сильно не врезались в память, чтобы переживались несколько раз заново. А вот это дивное сочетание двух цветов до сих пор заставляет удивляться.

Чем это объяснить?

ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО

Об этом человеке я вскользь упомянул в своей повести «Черный ящик», рассказав, как однажды в детстве нас с матушкой на полевой дороге он застал собирающими в дорожной пыли зерна пшеницы и запретил это делать. Хотя они и высыпались из грузовиков, сновавших при уборке урожая от комбайнов на склады заготзерна и вдавливались в пыль, все равно были государственными. Их нельзя было брать. А нам тогда порой просто нечего было есть.

Он спокойно, но властно распорядился и уехал на легкой бричке с красивой городской женщиной. Он тоже, как тогда показалось, был очень красив. И он — большеголовый, властный, и она — с тонким нездешним лицом и изящной фигуркой, были словно из кинофильма «Кубанские казаки», так похожего на радостную сказку. Все было красиво и было бы хорошо, но мама моя, отложив в сторону большое решето, через которое мы просеивали набранные кучки дорожной пыли попеременно с зернами, молча плакала, присев тут же на обочине. Она тогда не сказала ни слова. Не знала слов нужных или не хотела говорить...

— А знаешь ли ты продолжение той своей истории с секретарем райкома? — спросил меня при встрече Михаил Семенович Мещерек, утешительный врач, лечивший еще моих дорогих мне и родных стариков.

Я ответил, что нет, никакого продолжения не знаю. Для меня это был эпизод из моего детства, яркая картинка, вспыхнувшая в памяти безо всякой связи с какими-либо последующими событиями.

— Нет, голова, он ведь в тот год чуть было не поплатился за одну промашку на посевной, хотя и не свою.

Я, когда прочитал твою повесть, вспомнил: в тот год запарка была с посевом озимых. Приезжал, помню, уполномоченный из области, подготавливали... Ну и перестарались: в спешке зерно мелко в почву заделали, отрапортовали, а когда дожди пошли, оно все повылазило наружу. Вредительство — не вредительство, а как хочешь, так и думай. По тем временам — под суд за такое дело, самая простая вещь.

Приехал с поля первый секретарь сам не свой: вот-вот опять с области проверяющие нагрянут, да и свои органы под боком — пропала его голова. Что делать?

Выручил Минька Шухов, пастух овчий.

«Дайте, — говорит, — в придачу к моему стаду еще столько же колхозных овец, я все поправлю».

Быстро все исполнили, как Минька говорил, и он несколько раз прогнал стадо свое по этому проклятому полю — как-никак, но ушло зерно в землю. И наш первый секретарь был спасен.

Странно было слышать этот рассказ о том, что красивого крепкого, властного начальника, прогнавшего нас тогда с мамой от дороги, охранявшего права государства на зерно в пыли, само же это государство чуть было не опрокинуло в пыль. Суровые были времена.

Дальнейший разговор с Михаилом Семеновичем меня еще более удивил:

— А знаешь, тот первый секретарь ведь живет у тебя в Самаре, в соседях.

Я опешил.

— Не может быть. Это же более сорока лет назад...

— Ну и что? Ему за восемьдесят? Года два назад, я знаю, точно он был жив....

Приехав в Самару, я зашел к своей соседке и навел справки. Соседка моя — бывший партийный чиновник, долго работала в обкомовских структурах. Ей восемьдесят пять, но она активна и отзывчива.

— Как же, как же, в тридцать седьмом доме, на четвертом этаже, первый подъезд, мы можем к нему сходить в гости, я позвоню сейчас...

Я поторопился отказаться от встречи. Я был не готов к такому стремительному уплотнению времени, для меня все это было слишком в прошлом, слишком далеко. Это была для меня как бы совершенно другая эпоха. И встреча с одним из представителей ее как внезапная встреча с мамонтом или динозавром. Так мне показалось.

...Но однажды я его неожиданно встретил в магазине и сразу узнал. Я не мог ошибиться.

Он оказался ниже меня ростом, с оттопыренными стариковскими заросшими белым пухом ушами, с большими карими глазами, спокойными и выразительными. Пожалуй, только эти глаза и выдавали в нем, или сохраняли, того ладного седока, так похожего на красивого председателя колхоза из кинофильма «Кубанские казаки».

Он взял двести грамм самой дешевой колбасы и полбуханки хлеба и пошел к выходу. Споткнувшись о порог, он выронил из рук полиэтиленовый сероватый, видимо, несколько раз стиранный пакет.

Половинка буханки черного хлеба запрыгала по грязному полу. Я поспешил помочь, подхватил хлеб и машинально протянул его хозяину.

— Оставьте собакам, неужто он теперь с пола есть будет, — настойчиво сказала продавец.

Спohватившись, я положил хлеб на подоконник.

— Вот ведь, больше денег с собой нет, а идти заново с моими ногами проблема, — проговорил старик. — Досадно.

— Да, да. Я сейчас, — мне стало неудобно за свои невразумительные движения, я быстро купил буханку хлеба.

Когда протягивал ему, глаза наши встретились. Мне показалось, что в них мелькнула какая-то догадка. Неужели он мог меня вспомнить? Я молчал.

— Знаете, когда придете следующий раз за хлебом, заберите деньги у продавца, я оставляю свой должок ей. Спасибо вам, — сказал он сухо-вато и с достоинством, и вышел из магазина.

На этот раз благополучно. А я стоял под недоуменным взглядом продавца у подоконника и смотрел на старика.

Он уходил медленной семенящей походкой. Помнил ли он тот случай из моего детства?

Больше я его не видел...

ВСТРЕЧА В КЛУБЕ

Перебирая свой архив, я наткнулся на чистые бланки телеграмм. Лишь на минуту задумался, но потом все вспомнилось...

Перевернул бланки тыльной стороной. Там были напечатаны эпитаграммы в мой адрес, написанные известным самарским писателем, обожаемым мной Табачниковым Семеном Михайловичем. Дело было на презентации моих книг в Утевке.

...Я, конечно же, тогда очень волновался. Вышла уже третья моя книжка. И как-то само собой решилось в областной писательской организации, что надо в моем селе Утевке организовать вечер поэзии!

Поехали Е. Лазарев, И. Никульшин, С. Табачников, Н. Переяслов, Е. Семичев, А. Громов и другие.

Утевский клуб был заполнен моими односельчанами.

Многие, включая главу администрации Нефтегорского района Александра Анисимова и его заместителя С. Афанасьева – утевца, прикатили из города Нефтегорска. Школьные учителя, одноклассники, знакомые и приятели. Мама моя отказалась быть на сцене и нашла себе местечко в зале с моими сестрами и родными. Я, привыкший не робеть перед любой аудиторией боялся, что не смогу сказать ни одного слова – подбежавший ком в горле и слезы на глазах были тому причиной.

Но, к счастью, мне говорить и читать пришлось не сразу. Я как-то успел немного успокоиться и все обошлось.

Едва я вышел на сцену, новой, более мощной волной, нахлынули воспоминания. Клуб был местом, где около двух десятков лет работали мои родители. Мама – уборщицей, отец – сторожем. Когда отец прихварывал, мне приходилось вместо него сторожить ночью сельский очаг культуры. Целая ночь впереди. Один на один с собой. Я писал стихи. Я уже тогда хотел быть писателем и мечтал писать книги, но я никому об этом не говорил. Стихов своих никогда никому не читал, пока не набрал на первую книжку. Такие я себе поставил условия.

Меня поднимала как на крыльях радость: вот все в селе спят и не ведают, что я сейчас один-одинешенек пишу стихи. Я – поэт. И пишу о своем родном селе!

В нашей школе много известных выпускников: один дипломат, художник, доктора наук, но не было своего писателя... «И не знают, что он будет, а я знаю, один знаю. И это время придет! Из своей книжки я прочитаю стихи на этой сцене! Когда-нибудь, но прочитаю!»

Один раз я обмолвился нечаянно о своем тайном желании в школьном сочинении на тему: «Моя любимая песня». Я писал о песне «Я люблю тебя, жизнь» на слова Константина Ваншенкина. Писал о том, что чувствую, о Георге Отсе, о Трошине и закончил сочинение фразой о том, что уверен, придет время и я спою свою песню о жизни и надеюсь, что ее подхватят многие люди. Я как бы обнародовал свою программу в этом школьном сочинении.

Я не сразу решился сдать свои листочки Леониду Григорьевичу Лобачеву, учителю русского языка и литературы, боясь, что он поймет прямой смысл написанного, но он, очевидно, принял все за аллегория и последствий моей обмолвки не было. А может, для него увидеть во мне будущего писателя было тогда фантастикой.

Надо сказать, вел я себя в последних классах своеобразно. Где-то в конце восьмого класса дал себе слово не поднимать руки ни при каких обстоятельствах. Предмет учить – но руки не тянуть. Так дисциплинировал свою волю, себя: мне казалось, что делаю это на пользу. И выдержал слово, данное самому себе: два года отвечал только тогда, когда спрашивали. Это не помешало учебе: выпускные экзамены сдал на пятерки, кроме английского языка, получив по нему «хорошо».

Нечто подобное проделал и в первые годы после окончания института: у меня уже были рукописи двух моих первых книг, но не торопился поднимать руку – хранил их, не показывая даже домашним, до срока, который определил себе сам – до того, когда окончательно пойму, что не писать не могу...

Милые стихотворные шалости Семен Михайлович Табачникова в клубе, где я писал когда-то по ночам стихи и спал все-таки иногда на провалившемся диване, который заведующая клубом решила было теперь передать в школьный музей, эпиграммами не закончились.

Он прочел большое шутовское стихотворение об Утевке.

Я позже просил у него текст стихотворения, но он затерял листочек, а по памяти не получалось.

...И вот однажды на той же клубной сцене в Утевке, а потом и в Самаре, в Доме актера я услышал это стихотворение. Его от начала до конца без запинки прочитал Сергей Николаевич Афанасьев – мой замечательный земляк, глава администрации Нефетегорского района. По должности своей чиновник, сидя в зале на той давней презентации, он су-

мел полностью с голоса записать С. Табачникова. Я вначале удивился, но когда послушал, как он поет и сколько много он знает песен, вдвойне был рад, что есть у меня такой земляк.

Вот оно это стихотворение, присланное Сергеем Николаевичем по моей просьбе:

Утевка

*И обидно, и неловко,
 Что я не осведомлен:
 Говорят, в селе Утевка
 Уток – целый миллион.
 Ходят-бродят, елки-палки,
 Грациозны и легки,
 Ходят шатко, ходят валко,
 Как в Одессе моряки.
 И гордится, кроме шуток,
 Ими древнее село,
 Дескать, из-за этих уток
 И название пошло...
 Утки, селезни, утята...
 Что-то я вас не найду,
 Знать, село другим богато,
 Знать, другое на виду.
 Может, храм, а может, песня
 Иль – учитель-чемпион
 И, конечно, всем известный
 Журавлев – творец икон.
 На земле рожден утевской
 И герой последних лет
 Александр Малиновский –
 Академик и поэт.
 Степью, лесом, песнопеньем
 Славны здешние места,
 И рождают вдохновенье
 И пейзаж, и красота.
 А про уток, видно, шутка.
 Розыгрыша мастерство...
 Здесь самим бы где-то утку
 Раздобыть на Рождество.*

Теперь его читают по памяти многие на нефтегорской земле.

ПЕТРЯЕВА ПРАВДА

В третьем номере журнала «Гражданин» за 1999 год Николай Кривомазов напечатал мой очерк о художнике Григории Журавлеве. Я с запозданием получил от него этот номер. Его неумный темперамент сказался и здесь. Подано все ярко и броско. Он — журналист. Это — профессиональное. Но меня поразил материал, помещенный на первых страницах безо всякого комментария. Белым по черному слова, как клинки, как кинжалы, в самые уязвимые места нашей жизни, нашей души. Как же хорошо, отратно, что мы одумались. Да, одумались, январь 2000 года — это уже новый, я бы сказал, освещенный трезвым умом наших политиков взгляд по поводу национальной безопасности.

Вот они эти строки.

«Мы развалим эту страну». Даллес. Апрель 1945 г.

«...Пьянство в России расцветет махровым цветом. И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит. Окончится война, все кое-как утрясется, устроится. Мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную помощь на оболванивание и одурачивание людей. Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению... Мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдем своих единомышленников... своих союзников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания. Из литературы и искусства мы, например, постепенно вытравим их социальную сущность, отучим художников, отобьем у них охоту заниматься изображением, исследованием, что ли, тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театры, кино — все будут изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства — словом, всякой безнравственности. В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху... А мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. Бюрократизм и волокита будут вводиться в добродетель... Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого... Хамство, ложь и обман, пьянство и наркоманию, животный страх друг перед другом и беззащитность,

предательство, национализм и вражду народов – все это расцветет махровым цветом.

Лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит... Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества. Будем вырывать духовные корни большевизма, опошлять и уничтожать основы народной нравственности. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением, выветривать этот ленинский фанатизм. Мы будем братья за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем из них шпионов, космополитов. Вот так мы это и сделаем».

И рядом:

«Мы развалили эту страну». Клинтон, октябрь, 1995 г.

«Последние десять лет политика в отношении СССР и его союзников убедительно доказала правильность взятого нами курса на устранение одной из сильнейших держав мира, а также сильнейшего военного блока. Используя промахи советской дипломатии, чрезвычайную самонадеянность Горбачева и его окружения, в том числе и тех, кто откровенно занял проамериканскую позицию, мы добились того, что собирался сделать президент Трумэн с Советским Союзом посредством атомной бомбы. Правда, с одним существенным отличием – мы получили сырьевой придаток, не разрушенное атомом государство, которое было бы не легко создавать. Да, мы затратили на это многие миллиарды долларов, но они уже сейчас близки к тому, что у русских называется самокупаемостью. За четыре года мы и наши союзники получили различного стратегического сырья на 15 млрд. долларов, сотни тонн золота, драгоценных камней и т.д. Под несуществующие проекты нам переданы за ничтожно малые суммы свыше 20 тыс. тонн меди, почти 50 тыс. тонн алюминия, 2 тыс. тонн цезия, бериллия, стронция и т.д. В годы так называемой перестройки в СССР многие наши военные и бизнесмены не верили в успех предстоящих операций. И напрасно. Расшатав идеологические основы СССР, мы сумели бескровно вывести из войны за мировое господство государство, составляющее основную конкуренцию Америке. Наша цель и задача и в дальнейшем оказывать помощь всем, кто хочет видеть в нас образец западной свободы и демократии. Когда в начале 1991 года работники ЦРУ передали на Восток для осуществления наших планов 50 млн. долларов, а затем еще такие же суммы, многие из политиков, военные также не верили в успех дела. Теперь же, по прошествии четырех лет, видно – планы наши начали реализовываться. Однако это не значит, что нам не

над чем думать. В России, стране, где еще не достаточно сильно влияние США, необходимо решать одновременно несколько задач: всячески стараться не допускать к власти коммунистов. При помощи наших друзей создать такие предпосылки, чтобы в парламентской гонке были поставлены все мыслимые и немыслимые препоны для левых партий; особенное внимание уделить президентским выборам. Нынешнее руководство страны нас устраивает во всех отношениях. И потому нельзя скупиться на расходы. Они принесут свои положительные результаты. Обеспечив занятие Ельциным поста президента на второй срок, мы тем самым создадим полигон, с которого уже никогда не уйдем. Для решения двух важных политических моментов необходимо сделать так, чтобы из президентского окружения Ельцина ушли те, кто скомпрометировал себя. И даже незначительное «полевение» нынешнего президента не означает для нас поражения. Это будет лишь ловким политическим трюком. Цель оправдывает средства. Если нами будут решены эти две задачи, то в ближайшее десятилетие предстоит решение следующих проблем: расчленение России на мелкие государства путем межрегиональных войн, подобных тем, что были организованы нами в Югославии; окончательный развал военно-промышленного комплекса России и армии; установление режимов в оторвавшихся от России республиках, нужных нам. Да, мы позволили России быть державой, но империей будет только одна страна – США».

Торопитесь, господа, со своими выводами! Хотели развалить? Не получится!..

Неужто был прав наш Иван Павлов – выпускник духовной семинарии, физико-математического и медицинского факультетов, первый Нобелевский лауреат в области физиологии, когда у него вырвалось: «Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека, он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами». (1932)

Сказано гением. Слишком уж мы оказались доверчивыми. А планы противников были, они и сейчас есть. Так что же мы...

Может быть, одной из главных черт свалившейся на нас в перестройку демократии, было то, что она не могла быть обеспечена определенной организацией власти. Она должна произрасти все-таки снизу. Демократия – это стиль и образ мышления. Для этого требуется высокая культура: политическая, правовая, культура общения... И это хорошо знали и понимали те силы, которые «помогали» нам за рубежом, они, в который раз уже, ставили на нас опыты...

Наше будущее зависит от нашей культуры. Это так.

Наши прорабы перестройки в самом начале ее, да что в начале, до того — неужели не могли задуматься над свойством русской души, ведь русскому человеку всегда как бы полагалось долго запрягать...

Ведь с самого начала очень многое было и сомнительно, и подозрительно. Одно, быть может, как-то нас еще оправдывает: мы не грохнулись в широкомасштабную гражданскую братоубийственную войну.

Слава Богу, теперь каждый из нас понимает, что сильное государство, сильная государственная власть — основа нашего будущего. Государство, оставаясь демократическим, обязано создавать условия, обеспечивающие достойную жизнь своих граждан. А иначе для чего все это?

Сверхбурные девяностые годы с крутой ломкой советской административной системы и отчаянным броском в мировой рынок привели к новому застою в стране. Это теперь уже понятно каждому из нас, как и понятно стало, что нет у нас новой стратегии экономического развития — то есть нет главного, что могло бы образовать и сформировать общенациональную идею.

В какие колки и перелесье уйти мне сейчас от разрушительного плана Далласа, явно превзошедшего по своим последствиям действие атомной бомбы Трумэна, от самодовольно-нахального желания Билла Клинтона во чтобы то ни стало расчленить Россию на мелкие государства путем межрегиональных войн?

Курс на умеренный «консервативный» либерализм. Может, это то самое «перелесье», которое надо пройти всем нам по ухабам, под солнцем, под маревом и миражами в знойный ярко-солнечный день и, наконец, не потеряв надежду, прийти к манящему спасительному, с возрождающейся изумрудной зеленью русскому колку с родниковой прохладой и свежестью?

...Да, мы во многом прозрели.

Мы теперь зацепились за идею «многополюсного мира», где видим себя одним из региональных центров нового мироздания, представленного Китаем, Индией, арабскими странами.

«...никакого самобытного греко-славянского культурно-исторического типа вовсе не существует, а была, есть и будет Россия как великая окраина Европы в сторону Азии».

Может, прав русский историк Соловьев, сказав так?

Сохранив свое национальное государство, со своего исторического места не сойти. Может, нам так суждено изначально? Принять это и успокоиться. И начать жить государству для всех своих сограждан и для каждого отдельного человека, который будет жить и после нас. Но возможно ли это?

А почему бы и нет?

...Когда я писал эти строки, сидя в маленьком своем домике в мамином огороде, подошел к окну давний знакомый Василий Петряев. Махнул мне рукой:

— Выйди, покалякаем, надоела старуха.

Я вышел. Поздоровались. Потом присели на лавочку вдоль голубенькой стеночки.

— На вот, почитай, — я протянул листочек с планом Далласа и выступлением Клинтона.

— Очки дай, не взял свои.

Я протянул ему очки.

Он долго читал. Текст ли для его неполного среднего образования был тяжеловат или обрушившаяся внезапно правда всего происходящего? Неясно было, пока глухо не заговорил.

— Выходит, весь мир хитрее нас, а мы лаптем щи, да?

— Похоже на это.

— Хреновина какая, а? Выживали, выживали — и на тебе.

— Как это? — не понял я.

— Ну как, как? — Он вернул мне очки и листок. — Россия, такая огромная, сильная никому не нужна была всегда.

Я согласно кивнул, полагая, что сейчас он, конечно же, будет говорить прописные истины, но своим, местным языком, наполовину, как водится, с ненормативной лексикой.

— Ее всегда вгоняли, едренте, в выживание. Россия всегда выживала за сто лет до перестройки, пора бы набраться уму-разуму. Вот гляди, на примере твоих родственников. — Он в упор посмотрел на меня. — Только с германцем развязались, в начале двадцатых у нас в Поволжье — голод. Твой дед снялся в Сибирь. Но голод свое успел сделать: из восьмерых только трое — твоя мать да двое братьев ее выжили. Так?

— Так, — соглашаюсь я с грустной арифметикой.

— Теперь смотри дальше: старший брат твоего второго отца, чапаевец Василий, схлопотал пулю в легкое под Белибеем, привезли его помирать в Утевку. Вроде уж безнадежный был. А мать его, Прасковья, рожать собралась. Родила. Значит, чтобы для гарантии: умрет старший, младшего Василия назовем. А старший-то возьми и не умри. Выжил. Два, значит, Василия Федоровича Шадриных и было, два брата. Оба по семь десятков годков отмахали. Двойная гарантия.

Эту историю я знаю. Но слушаю спокойно.

— А ты вот, — он вдруг глянул на меня в упор своими ясными голубыми, как у ребенка, глазами.

— А что я?

— Ты-то тоже: гарантия.

— Какая?

— Ну, ты же второй Шурка у матери твоей.

— Ну да, — соглашаюсь я, — второй.

— Вот первый умер в войну, а чтобы восполнить, выжить супротив всего, ты есть теперь, Шурка. Народ давно выживает, не только в перестройки и после нее. Какую только на него погибель не гнали. Выживем обязательно. Каждый из нас пример.

— Да, выживаем, — согласился я.

— О, вон, глянь, сейчас, — вдруг встрепенулся мой собеседник, — выживем иль нет? — И показал пальцем на подходящего к забору нетрезвой походкой соседа Михаила Горбачева, еще до перестройки крепко уходившего в беспробудное пьянство, бывшего совхозного скотника. Появление знаменитого кремлевского тезки и случившаяся перестройка никак не отразились на авторитете забывшего давно скотный двор скотника. Он уже с десятков лет нигде не работает.

— Минь, а Минь, выживем мы, аль нет после перестройки-то? — с каким-то непонятным пафосом спросил Петряев.

От того, как были построены фразы и каков был ответ, мне показалось, что это отрепетированный, либо не раз повторяемый диалог.

— А куда нам деваться-то, только похмелиться вовремя и все в аккурате, выживем — назло всем.

Минька навалился на забор, не в силах удерживать свое сухонькое тело, кашлял долго.

— Во! Наш местный перестройщик Минька Горбачев грит: «Выживем!» Блин, клин блинтон, — наигранно радовался Петряев, — никакой ему Даллес не страшен. Правда ведь, натуральная.

Его голубые глаза сейчас слезились, стали по-стариковски блеклыми и смотрел он ими не на меня, а себе под ноги.

Как будто было стыдно и досадно за всех нас сразу. Как за неразумных детей, и за все свое вот такое поведение.

— Иди, иди, Застенчивый, я тебя догоню, — крикнул Петряев, и я не сразу понял, к кому он обращается.

Потом, наблюдая у изгороди Миню Горбачева, который в очередной раз пытался оторваться от нее и зашагать самостоятельно, спросил:

— Ты это ему: «застенчивый»?

— Ага, — сказал Василий, — его так назвал мой затек Павлушка. И прилипло. Видишь ли, зятек мой делит мужиков по разрядам, ага. К примеру, те, которым сколько ни пей — все мало, прозываются у него —

малопьющие. Те, которых после принятия выносят – выносливые. Ну, а те, в аккурат как Минька, которые ходят, держась за стенку – застенчивые.

Он обернулся на послышавшийся треск и, наперед понимая бесполезность своего вмешательства, вяло посоветовал:

– Минь, отвянь от забора, чать, не берлинская стена, стоять забор должен, не след рушить, Климаниха вдоль спины оходить может.

Минька от забора откачнулся в сторону, но видно было, что это он не сам так поступил... его так качнуло и он кособоко пошел к переулку, к Лоптаевой гати.

...Когда я слышу, как наши общественные деятели разного калибра демагогически заявляют, что народ всегда знает Правду, знает Истину, я теперь вспоминаю глаза Василия Петряева. И хочется верить, что истинную Правду знает народ, и сомнение не дает покоя: увы, народ лишен способов знать ее, он лишен возможности быть носителем всей Правды.

И – есть ли она, главная Правда? А если есть, доступна ли она?

Русский человек – православный, а человек православный в центр своего мировоззрения ставит Божественные предназначения Создателя.

Ведь сказано в книге Екклесиаста: «...Все сделал Он прекрасным в свое время, и заложил мир в сердца их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает, от начала до конца... Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек: к тому нечего прибавить и от того ничего не убавить, – Бог делает так, чтобы благоговели перед лицом Его...»

Неужели причина наших общих бед в том, что давно уж в нашей российской жизни нет этого «благоговения». Слишком себялюбивым и чудовищно заносчивым оказался человек в двадцатом веке. Забыл про Бога. Пошел против Бога...

«Народ чувствует неправду, и... интуитивно стремится к правде», – так я записал в своем дневнике, вернувшись в свой домик. И долго еще потом раздумывал над этой догадкой, пытаюсь понять: если она верна, то несет ли она в себе надежду...

А если нет, неверна, то какой смысл защищать ее? И имеет ли она право на жизнь.

После того, как ушел Петряев, стало мне с моими мыслями одному тяжело и как-то бездомно. Опоры, что ли, не давал мне мой домик с голубенькими ставнями, поставленный мной прошлой осенью около старенькой почерневшей баньки в огороде. Не было в нем того духа и домотовитости, которыми я дорожил. Никогда не были в стенах его мои ро-

дители, старшие родственники... Все они давно лежат на местном кладбище.

...Как же соединить со всеми этими разрушительными планами американцев кажущееся деловым сотрудничество с нами. «Ведь, вроде бы, происходит-то позитивное сотрудничество», — думал я. Хотя бы по нашей области.

Взять вот выдержки из статьи Майлза А. Помпера «Экологическая помощь уходит в регионы», напечатанной в «Еженедельнике конгресса США»:

«Разочарованное безвыходным положением в Москве, правительство США большую часть экономической помощи, предназначенной для России, переадресовало непосредственно 89-ти региональным правительствам и десяткам тысяч негосударственных организаций. (Согласно финансовой отчетности за 1999 год это составило около трех четвертей всех средств, распределением которых управляет Агентство международного развития США (USAID). Такой шаг был поддержан многими американскими законодателями, которые видят в децентрализованном подходе ключ к решению российских экономических и политических вопросов.

«Регионы сами находят решения своих проблем, а мы просто должны помочь этим решениям созреть, — говорит сенатор Чак Хейгел, председатель Международной группы по экономической политике в комитете сената по международным делам. — В этом отношении Российская Федерация не отличается от Соединенных Штатов».

Ключевой элемент в политике США за пределами Москвы — программа «Региональная инвестиционная инициатива», действующая уже два года. В рамках этой программы средства направляются на улучшение делового и политического климата в трех наиболее перспективных регионах: Самаре, Новгороде и на Дальнем Востоке. Американские чиновники в настоящее время рассматривают возможность включения в эксперимент четвертой области или групп областей (возможно это будет Сибирь)».

В конце статьи приводятся слова Джанет Валлантайн, бывшего директора российского отделения Агентства международного развития США. Она говорит: «...регионы-реформаторы могут скоро устать от постоянных политических баталий в Москве и пойти собственным путем». По ее мнению, «без серьезного лидера может оказаться невозможным удержать от распада Российскую Федерацию».

Да, плохо, конечно, когда Москва отстает от регионов, но еще, очевидно, хуже поддаться смуте издали и свалиться в конце концов туда, куда нас толкают уже давно, и ждут, о чем все-таки проговорилась директор, ждут, когда мы разделимся на региональные куски, не

совладав с амбициями местных вождей. Помните у Даллеса: «В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху... Лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит... Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище...»

Где она, правда?

Захотелось вдруг сходить в дом деда, в котором я родился... Теперешний его хозяин — степенный и работающий мужик, махнул, так же как бывало мой дед, приветливо рукой, едва я поравнялся с калиткой.

И сам дом порадовал чистотой взгляда своих окошек, обрамленных густой резьбой светло-голубых наличников.

— Ну что, стоит дом-то еще? — спросил я, принимая пожатие сухой и крепкой руки.

— А куда ему деваться-то, дед твой основательно ставил. Вечно стоять будет.

— Ну, а мы как? — спросил я, увязший в своих, мучивших меня, сомнениях.

— А что мы?

— Выстоим? Все мы, Россия?

Он сразу не ответил, а пригласил в горницу. Я шагнул через порог и словно волна пошла по коже. Все вспомнилось: дедово, бабушкино, мое.

...Вот здесь весело дедово ружье, там в маленькой спальне справа я спал, там на стене весела репродукция картины Васнецова «Три богатыря».

Вот из этого открытого окна, с улицы, из палисадника, где звонко шелкали стручки акации, я впервые услышал с непередаваемым восторгом историю о Раде и Лайко Зобаре. Голос чтеца, идущий из маленького черного репродуктора, завораживающе тогда звал за собой в степь, к цыганам, в другую жизнь, с другими именами, страстями, заботами.

Я помню тогда влез через окно в дом, лег на пол и лежал так долго, не смея или, вернее, не в состоянии повернуться, пошевелиться, весь находясь во власти звуков обрушившихся на меня.

Тогда впервые я услышал это непостижимо влекущее до сих пор, мерцающее своей бездонностью, глубиной и всеохватностью имя — Горький.

Я присел на порог. Так я в детстве часто делал. Порог был еще тот, тех времен. А двери в гостиную и в спальню — уже другие. Незнакомые.

— Деваться нам некуда, нам дедами, молча, без слов, завещано — выстоять.

Голос его был хрипловатый. И ни намека на бодрячество. Все искренне.

Потом крикнул досадливо и спокойным, будничным голосом пояснил:

— Думать нам надо в своей земле своим умом. Не заглядывать в рот иностранцам. У них всегда был к нам свой интерес. А по-другому и не может быть. Это вон мой знакомец новый, с того конца улицы, из переселенцев, придет, наговорит всего, чего не попадая, все вроде знает где, что на белом свете, а в конце разговора все равно окажется, что пришел либо гвоздей просить — не хватило в который раз, либо ножовку развести — у самого не получается, либо еще чего-то... Чем он мне поможет, говорун этот? У меня во дворе, кто лучше меня знает, что да как, а?

«Как ведь просто», — подумалось мне.

— А ты по-другому кумекаешь? — спросил он, подходя к тому самому «моему» окошку и распахивая в палисадник створки. Я вздрогнул. Створки, мне показалось, скрипнули так же, как тогда, в тот знойный, летний день...

«Вот тебе и новый хозяин в моем дедовом доме, — думал я, когда уже выходил с подворья, — откуда у него такая уверенность? От незнания, непонимания до конца происходящего сейчас с нами или от врожденной крепости духа, питающего нас, от тех корней, которые накрепко соединили нас с предками, дающими нам силу, название которой — вера. Мы молодая нация и генетически мы только набираем силу. И ничего тут не поделаешь. Не зря же он сказал так уверенно закомплексованному, защищенному разными свидетельствами и дипломами, званиями, застрявшему в своих невеселых мыслях земляку: выстоим.

Никто еще не проник в истинный внутренний мир крестьянина. Крестьянство — не интеллигенция, дневников не писало и не пишет. Все, что думало-передумало, унесло с собой, что-то останется в преданиях только. «И сейчас оно не сильно в этом изменилось», — подумалось мне, когда я оглянулся на стоявшего у калитки на своем подворье хозяина.

«Выстоим!» Он так веско сказал, что я невольно выдохнул:

— Выстоим!

ПОДСКАЗКА ВИКТОРА СТРАЖНИКОВА

Когда я писал повесть «Черный ящик», то глядел на мир глазами своего героя Виктора Стражникова – ученого, директора завода, попавшего в бурные и мутные воды перестроечного времени 93–94-х годов.

Прошло около пяти лет, полмесяца осталось до начала 2000 года – последнего во втором тысячелетии. Я за это время написал несколько рассказов, две повести. Взяться было писать следующую повесть, но что-то остановило меня. Мне кажется, остановил Виктор Стражников. И натолкнул на мысль, чтобы последний год тысячелетия, как и он свой 94-й – свой последний год – осмыслить для себя. Чем же, в отличие от него, для меня, еще и писателя, стал этот год. И я, как ни странно, повиновался. Произошло странное: мой герой, став в чем-то зорче и мудрее меня, повел в этом направлении. И я послушался... начал писать «Колки мои и перелесья»...

...Это уже не в первый раз, когда персонажи моих книг подсказывают мне.

Читатели повести «Черный ящик» жалели, что Виктор Стражников умер. Они тоже подсказали.

«Такие люди не должны умирать раньше срока»; «Нам его жалко, с таким характером он должен жить»; «Надо было его оставить среди нас, о нем надо бы писать продолжение», – так говорили многие. Я чувствовал: Стражников молча ждал этого. И я написал продолжение. Только как бы вглубь: пошел в его детство. Увидел, какой он был там – в начале своей жизни. Какие корни и соки его питали. Так родилась повесть о Шурке Ковальском «Под открытым небом», которая была отмечена Союзом писателей Всероссийской премией «Русская повесть».

Но я чувствую, что Виктор Стражников теперь еще более настойчивей подталкивает меня в указанном им направлении. Он, как моя мама, – она всегда «переводила стрелки от себя к другим». Ей были интереснее окружающие, чем она сама! Посмотрим, что будет в этот раз...

И каким все-таки будет для меня год 2000-ый?

МАМИНО ОКОШКО

Поздним вечером приехал к маме моей в Утевку с поэтом Евгением Семичевым. Был конец мая месяца. Цвела и благоухала сирень. Где-то, прямо как в юные мои годы, заиграла гармошка и в настоянной на сирени и черемухе тишине томный грудной голос запел:

Вот кто-то с горочки спустился,

Наверно, милый мой идет.

Мы шли по нашей улице, где я не раз был растревожен подобным пением, и мне вспомнились до мельчайших подробностей многие летние вечера.

Не раз возвращался я опьяненный и вечерней песней, и расставанием у калитки с той, которой так и не решился сказать того, что намеревался...

Мама, не дождавшись меня вечером, ложилась спать, но спала всегда чутко, едва я появлялся у окна, она мне махала рукой. Я часто не успевал постучаться...

— Кто там? — отозвался на стук в стекло мамин голос. Потом, как и в юности, белое пятно появилось в окне у подоконника.

— Я, мам, Шурка, — по привычке произнес я негромко, но внятно.

— Шура, — радостно выдохнула она, совсем не удивившись поздним гостям, хотя я не был дома уже полгода.

Мама зажгла в избе свет. Окно вспыхнуло ярким светом, ярко и зазывно, как и всегда. Уже в сених, открывая засов, спросила:

— А кто это с тобой?

— Евгений Николаевич Семичев, — доложил я и добавил основательно: — Поэт!

— Проходите, Евгений Николаевич, — старательно проговорила мама.

За спиной моей спутник хохотнул. Я не понял, почему.

— Вот дела какие, — удивился уже в избе Евгений, — генеральный директор, доктор наук — в деревне просто Шурка, а поэт — Евгений Николаевич, по имени-отчеству, не просто «Женька». Фигура.

Он потом в городе, при случае, несколько раз рассказал этот эпизод. Его это забавляло.

А мама моя, позже, каждый раз, когда я приезжал, все спрашивала:

— А где твой Евгений Николаевич-то, отчего не приехал с тобой?

Я привез потом ей книжку стихов Евгения «От земли до неба». Она попросила почитать. Мы сидели в передней избе за столом, накрытом яркой с цветным узором новой клеенкой, и я читал:

*Ребята, не живите вечно,
Не стройте планы на века.
Живите просто и сердечно,
Как лес, как небо, как река.*

*В чужое сердце свет пролейте.
Прибьется к вечности душа.
При этой жизни пожалейте*

Травинку, птаху, мураша.

Ребята, нам за все воздастся,

Когда шагнем в глухую тьму.

Но в этой жизни не удастся

Навек остаться никому.

Слушала она внимательно и сказала, вздохнув:

— Какой ребенок мудрый твой товарищ. Ты бы привез его сюда, пусть поживет маненько у нас, можно без тебя. — И, увидев мой удивленный взгляд, добавила: — Отдохнет пусть, он устал, видать, от жизни своей, ему тяжелей, чем остальным.

Я пытался разыскать Евгения, но где там. Он был в Москве, уже уехал учиться на Высшие литературные курсы.

До поступления туда он работал на нашем заводе в жилищно-коммунальном отделе. Когда он уехал в Москву, мы выделили ему небольшую ежемесячную стипендию на весь срок обучения. В областном отделе Союза писателей знавшие близко поэта качали головами:

— И надо бы, но не слишком, а то будет разгуливать, хуже бы не было.

Но он был наш, заводской. Мы за него болели.

...И доходили слухи, что он крепко дебоширил в общежитии Литинститута, однако была и его московская литературная слава: столичные журналы печатали подборки его стихов...

«Пусть пошумит, слава — она дуреха, обязательно ушибет. Ушибленного и отвезу в деревню к маме, там отлежится», — думал я.

...Так и глядела мамино окошко за нами обоими.

Пока жива была мама.

У ЧЕРТЫ

Она позвонила внезапно, мы уже давно не виделись:

— Саша, ты знаешь, бегу уже на работу, опаздываю, а тут срочное дело такое.

— Ну, раз срочное, давай, и я ведь уже на пороге — на утреннюю планерку опаздывать не могу.

— Да нет, по телефону все тебе скажу, потом, время будет, встретимся.

И моя однокурсница по учебе в Политехническом институте Ирочка рассказала:

– Танечку Гудкову помнишь? – Должен помнить, черненькая такая с 4-ой группы, всегда отличницей была, но такая спокойная, невыпирающая. Тихая и умница.

– Кажется, помню, в Шиханы под Саратов распределилась.

– Точно. В НИИ, где делали химические отравляющие вещества, вернее – оружие.

– Она, кажется, там одна из первых наших орден получила... «Дружбы народов».

– Все верно, вот слушай, послезавтра в этот поселок едет Шурочка Вишневская, мы собираем деньги.

– Похороны? – глуховато высказал я догадку.

– Да нет, она там была недавно и увидела такое: Татьяна живет в однокомнатной квартире-развалюхе со своей мамой. Разменялась. Дочь вышла замуж – ей нужна жилплощадь, всю мебель отдала. Живет в голой квартире.

– А муж что же? – спрашиваю.

– А мужа давно и след простыл – ушел, умные женщины кому нужны? Понимаешь, на работе – сокращение и конверсия. И возраст пенсионный, в поселке работы нет. Ужас. Как-то все вроде далеко, а здесь – вот, оказывается, мы-то уже пенсионеры и, можем быть никому не нужны. К черте своей движемся. У нее даже телевизора нет. Она как в склепе. Мы решили ей его купить. Хоть как-то поднять ее. Помнишь, какой у нас поток на факультете был дружный – все вместе делали, объединялись. Прошло тридцать лет – снова, как студенты, без ничего, ну, не все, но многие. Выходит, столько нам было отпущено? А мы и не знали.

– А может, хорошо, что не ведали? – спрашиваю.

– Скорее всего так, – согласилась она. И уже почти скомандовала: – Ну, так я, как бывший профорг, спрашиваю, взнос ты готов сделать? Мы ей в складчину еще кое-что хотим купить.

– Конечно, – поспешил я согласиться.

Когда повесил трубку, пошел в гостиную, вынул фотоальбом, где хранились фотографии студенческой поры, и нашел ту, что искал.

Она была среди нас на общей выпускной фотографии, таких одинаковых и разных: улыбчивых, серьезных, плутоватых, бескорыстных – всяких, но крепко, как мне казалось, заряженных на жизнь. Она одна смотрела грустными умными глазами, так, что мне показалось, будто она знает про себя все наперед, и про нас. Но ведь такого не могло быть...

На утреннюю заводскую планерку я в тот день опоздал, и весь мой рабочий день был, скажем так, не совсем удачным.

ВЗОРЫ ПРОЩАЛЬНЫЕ...

Вечером позвонил мой дядя. Ему в этом году будет шестьдесят. Инженер-строитель. Но институт развалился, и главный инженер проекта вынужден устроиться в городские тепловые сети насосчиком. Такая вот научно-техническая революция нашего времени.

— Ты не спишь?

— Да нет, какой сон — девять вечера, только что с работы приехал.

— Ну, я так спросил, наверно, от волнения, понимаешь, я тебя никак дома не застаю, дело у меня такое, не сразу скажешь.

— Говори, попробуем разобраться, — самонадеянно подталкиваю я.

— Я вот что, племян, я ведь теперь не только вам всем в городе горячую воду качаю, и вы без меня и без воды и ни туды, и ни сюды, но и песни пишу. Ага, романсы.

Мне стала понятна причина его длинных фраз — он крепко волновался.

— Не смейся: слова мои, музыка моя — на мандолине... Подожди, насос зашумел не так, пойду посмотрю. Не вешай трубку.

Пару минут в трубке слышался шум работающих насосов, обычный общий гул машинного зала.

— Саша, тут не поговоришь. Я позвоню тебе вечером, после смены из дома — договорим. И по телефону дам послушать. Не ложись, а то опять пропадешь — не дозвонишься.

Около двенадцати ночи он позвонил.

— Вот, слушай, включаю магнитофон.

Пошла музыка, знакомая и красивая.

— Нет, нет, постой, это же братья Радченко, «Домик окнами в сад», сейчас перемотаю немного — будет мое. Нет, вот без магнитофона, я сам — живой, ну его. Слушай.

«Ничего себе — романсы на ночь».

И вдруг зазвучал голос Сергея и его мандолина. Торжественно и очень серьезно.

Пока он пел, я посчитал: два раза были «очи», два «взоры», слова «томные», «величаво» и так далее.

— Понимаешь, я чувствую: и музыка моя, и стихи мои — они доработки требуют, верно, но все остальное... прекрасно... Сергей Лобачев был во Владимире у брата Василия. Они сходили на рынок и купили старенький баян. Исполняли мои песни и плакали, ты понимаешь?! Чув-

ства пробуждаются. А жизнь — она идет и проходит. Так было всегда. Ничто не ново.

— Да, понимаю. Но вот «взоры», «очи» — это уже тысячу раз было, — пытаюсь робко перевести монолог в диалог.

— Ну и что — два мужика поют и плачут. Тебе это ни о чем не говорит? И не по пьяни плачут.

— Да, — соглашаюсь я, — но как-то уж больно архаично, все это было в прошлом веке, ну, не говорим же мы сейчас так: «взоры томные», «очи пугливые».

— Чудак ты, ей Богу, ну, кому это важно будет через пятьдесят-сто лет — говорили или нет? Останется красота.

И вдруг он пропел:

*Подъезжая под Ижоры,
Я взглянул на небеса,
И припомнил ваши взоры,
Ваши дивные глаза.*

— Тогда, при Пушкине, на кухне, ну, или даже в гостиной так говорили: «Ваши взоры меня волнуют»? Наверняка, нет. Но в романсе эта красота навечно.

Я не знал, что ответить, после такого, прямо-таки эпохально-творческого замаха моего родственника. Я боялся его обидеть. Но истина?

— И давно ты пишешь романсы?

— Пятый месяц, как устроился в насосную.

— Сергей, но ведь жизнь наша сейчас, прямо скажем, не романсовая. Насосы, телефоны, тарифы, безработица. Вечная суета и кутерьма. У многих безнадега. Слушай меня:

*Вспомнишь разлуку с улыбкою странной,
Многое вспомнишь, родное, далекое,
Слушая голос колес непрерывный,
Глядя задумчиво в небо широкое.*

Не должно быть суеты, тогда, может, родится что-то серьезное, а уж — вечное, здесь...

— Граф, ты не прав, — с подчеркнутой патетикой отозвался мой собеседник. — Выходит, наш век не может создать того, что было в серебряном, допустим: «Средь шумного бала, случайно...», — пропел он и выжидательно замолчал.

— Сергей, — взмолился я, — у нас какой-то дремучий разговор, ну какие балы сейчас? Где тот дух?

– Как? А губернский бал, а новогодний? – он уже начинал говорить жестким голосом.

«Сейчас начнет ерничать, я его знаю, – подумал я, – и его тогда не прошибешь ничем».

– Ладно, старик, ты безнадежен, – он помолчал, – не телефонный этот разговор, я напишу об этом тебе письмо, и перо будет гусиным. Я через неделю еду в деревню в отпуск. Там у соседки бабы Мани здоровенный есть гусак, важный такой и степенный, как ты. Рвану из хвоста пару перьев.

– Ну, пошло-поехало, – уныло возразил я, но в трубке уже были гудки.

ЗЛОБОДНЕВНАЯ ТЕМА

– Так как ты говоришь? У германцев около шестисот названий пива. Эка хватанули! И в каждом городе, в каждой пивоварне пиво носит свое название, какое ему дал хозяин?

– Да, точно так.

Парень, к которому обратился с вопросом мой сосед по столику, Алексей, достал из дипломата аккуратный сверток и, развернув его, пододвинул широким жестом нам обоим.

– Петрович, мужики, угощайтесь балыком, я вчера только с теплохода «Константин Коротков», был в Астрахани, у тамошних знакомых купил.

Меня впервые так щедро угощали у пивного ларька балыком, поэтому невольно реагирую:

– Ну, и как там, в Астрахани?

– Хреново, мужики, я с детства знал, что Астрахань – это изобилие рыбы, а на нашем рынке за универмагом «Самара» во сто крат ее больше. Зайдите: осетрина, белуга, сом, лещ, стерлядка, раки. Я специально зашел посмотреть после Астрахани. Дорого? Да, дорого. Но учись деньги зарабатывать. Сейчас деньги – дефицит.

– И все же, что есть в Астрахани из рыбы?

– А ни хрена ничего, я зашел на рынок: а там только вобла и чехонь.

– Что? И больше ничего? Там воды-то сколько! – Петрович довольно глуповато посмотрел на своего знакомца.

– Угу, – ответил тот, – а вот этот балык... Контрабандной икрой торгуют умельцы, а ведь, черт знает, съедобная или...

Петрович прервал парня на полуслове:

– Ну, ты обожди про нашу жизнь, мы ее приблизительно знаем. Давай про ихнюю, германскую, я ведь так до Берлина и не дошел в войну, контузило, но про баварское пиво слышал.

– Значит так, – подчеркнуто вдохновенно продолжал Алексей, – пиво тебе принесут не так, как-либо, хухры-мухры, а в красивой кружке и непременно поставят на картонный кружочек, на котором название фирмы.

– Это зачем?

– Сервис, отец, чтобы ты не забыл и название пива, и хозяина. Этим дорожат, там многие ресторанчики и пивные имеют свою родословную, и на видном месте перечислены и вывешены в рамочке все бывшие хозяева. Некоторые заведения с XV века действуют. О пиве говорить – как поэму рассказывать.

Алексей попросил и принесли еще пива.

– Тема джже злободневная, давай свою поэму, – подтолкнул разговор дальше Петрович.

Алексей продолжал:

– Но самый апофеоз – это октоубэ фэст!

– Мне это непонятно, Алексей, – вовсе не обидевшись, а выжидательно глянув, обронил Петрович, – скажи, как есть.

– Возьми вот центральный самарский крытый рынок, вот примерно в таком помещении около десяти тысяч человек пьют пиво. А всего их, помещений – десять, смекаешь: одним разом сто тысяч человек пьют пиво, сидя за широкими деревянными столами. Это и есть октябрьские праздники пива.

– И давно у них такая красота?

– Да, как помнят себя. Какой-то там король когда-то женил своего сына, вот и положил начало. Тогда было бесплатно, сейчас бизнес, но все равно красиво. Праздник пива, весь мир знает его, поэтому в Мюнхене в конце октября полно иностранцев.

– Сто тысяч, говоришь, удивительно, где же они воблы столько берут?

– Да не воблой, – возразил всезнающий Алексей, – цыплятами они закусывают.

– Цыплятами? – выдохнул каким-то упавшим голосом Петрович. – Дак, цыплят где враз столько взять, а? Ты подумай, садовая твоя голова? Врать горазд больно!

– Понимаешь, отец, индустрия!

– Чего, индустрия? Чугунные что ли цыплята-то?

– Эх ты, едрит-ангидрит. Индустрия обслуживания, понял?

— Понял, только не врешь ли? Сам видел или кто рассказывал?

— Сам, — горделиво подтвердил Алексей, — в прошлом году ездили оборудование смотреть в Мюнхен, довелось самому, — и поправил без того аккуратно повязанный галстук.

— И все-таки чудно как-то, цельный город людей, как наш Чапаевск, зараз пиво пьют, — Петровича почему-то явно расстроило это обстоятельство. Или он просто пожалел, что прошел всю войну, Германию, а увидеть интересного мало что привелось, а этот... вот тебе, съездил на четыре дня и верещит без умолку.

Алексей это заметил. Ему, очевидно, не хотелось обижать Петровича, принижать его авторитет и он сказал фразу, которая вдруг оживила весь дальнейший разговор и дала инициативу Петровичу.

— Оно может, конечно, вот так втроем или одному посидеть, пивка попить поспокойнее и впрямь, а?

— Вот, ведь не прав ты, — востроенул Петрович, — в корень надобно глядеть, понимаешь, ведь важно не только выпить, но и поговорить, верно? — Он поднял воодушевленно лицо и так же воодушевленно — указательный палец. — Коллектив — огромная сила, во брат! Я тебе историю расскажу, как одному хреново. Был у меня дружок, ага. Виктор. Так вот, стал я замечать, что он о чем-то постоянно думает, понимаешь. Тяготит его что-то. Пойдем выпить. Выпьем, посидим, подакаем, а разговору после выпивки нету, как подменили человека. А у него радость должна быть: полгода как квартиру получил, правда не новая, но хорошая, двухкомнатная, недалеко от пивкомбината, где он грузчиком работает. Я ему однажды так прямо и врезал: «Виктор, ты, когда в бараке жил, человеком был. Окопался в изолированной — куркуль какой-то стал, дичишься, к себе не пригласишь, раньше было как, а?..» А раньше мы с ним через перегородку жили, душа в душу. Все открылось, когда он меня чуть не за руку к себе домой приволок. Завел меня на кухню, вручает мне пивную кружку и, показывая пальцем под подоконник, командует: «Наливай сколько хошь и пей, пока не лопнешь, а я не могу больше так, не могу больше!» «Вить, ты что, о чем ты?» Тогда он берет мою руку с кружкой, сует под подоконник, а там — кран, чик — и готово. Открылся крантик, и оттуда свежее ароматнейшее пиво, понимаешь. Фантастика! Я кружку одну хлопнул, как водится, с ходу. Наливаю вторую — текет, едрена вошь, текет и опять полна кружка — хлоп вторую. Уж потом спрашиваю, смекнул я в чем дело, чья это конструкция такая гениальная? Он не знает. Старый хозяин уехал в Мордовию. Может, он и протянул медную трубку через забор с пивкомбинатовского склада, кто знает? «Вот она, эта конструкция, — говорит мой Витек, —

и не дает мне спать спокойно. Месяца три пользовался, красота, А потом не по себе стало. Нет, не боюсь, а стыдно — присосался к чужому вымени, вот! Как враг народа какой». А я его так спрашиваю: «Витек, а как ты различаешь, какое пиво пьешь, ведь оно меняется, наверное: «Жигулевское», «Самарское» и тэдэ, а?» Эх, он на меня матюгался тогда! На утро он сделал заявление начальству пивкомбината. А оно маленькое расследование сделало, и выяснилось, что три хозяина, меняясь, около десяти лет пользовались этим крантиком, а вот Витек — слабак оказался. Не выдержали нервишки. Коллективист оказался — в одиночку пиво пить не смог, а ты говоришь.

Замолчал. Но не хотелось Петровичу инициативу в разговоре упустить, он и спросил:

— Они, наверное, коллективисты большие, твои германцы, в одиночку тоже не могут. А уж тем более брать чужое.

— Нет, могут, — обрадовано возразил Алексей. — Нам фирмачи рассказывали, что у них очень долго не могли прекратить хищение меди. Но помог случай: старенький вахтер, уходя с работы, как-то замешкался. В проходной позвонил по телефону и, забыв про трость, с которой обычно ходил, направился домой. Один из управленцев, видя это, взял трость, чтобы отдать ее хозяину... И вот тут все открылось; трость-то была из медного прута! Хитроумный старик каждый раз приходил на работу без трости, а уходил с завода с солидным куском меди.

— Ну, видишь ли, этот старик — гений в своем деле. Его нельзя было трогать, — сказал, немного подумав, Петрович. — Специалист. Таких ценить надо!

Инициатива уходила от рассказчика, и он, очевидно, почувствовав это, поэтому поспешил подвести черту:

— Значит, и там воруют.

Я было подумал, что в его словах скрыто негодование, но он продолжал умиротворенно:

— Надо же, выходит, все как у людей...

ОЗОРНИК

— Хочешь, я тебе одну маленькую историю расскажу? Хочешь? Ведь все равно скучно сидеть в этом министерском предбаннике. Не скоро дождешься своей очереди. Так вот, я потихоньку, чтобы секретарь Лечка не очень хмурилась. Итак, провожу я прием по личным вопросам, он у меня по понедельникам два раза в месяц, так легче этот страстный день переносить. И вот, когда я уже плохо начинаю соображать,

разбив все свое сосредоточие и терпение о бесконечные жалобы, просьбы, неувязки в личной жизни, разбив о собственную неспособность помочь человеку — ведь идут со всем, что наболело, — вот в этот момент под конец приема, уже в седьмом часу вечера, заходит мой старый знакомый Михаил Галкин. Да ты его знаешь, помнишь — он на мое пятидесятилетие огромный астраханский арбуз принес.

— И танцевал лезгинку на столе, да?

— Во, во, он самый; всю жизнь протанцевал и пропел. У него коронная есть: «Хороши весной в саду цветочки». Мы с ним с одной ремеслухи, только он подзастрял в слесарях, я ж, кончив институт, черт те дери, выдвинулся, теперь у меня в активе два инфаркта, а он все танцует. Ну ладно, ближе к истории.

Он с удовольствием принял из рук Леночки стакан чая, кивком головы поблагодарив, продолжал:

— Входит, значит, он и: «Вот, — кладет мне на стол заявление. — Прошу материальной помощи, поиздержался», — поясняет. «Что так, — спрашиваю, — не мог запросто зайти, в обычное время?» «Не мог, — говорит, — пользоваться давней дружбой, да и замаялся совсем с женой, для нее и помощь прошу, Романыч! Уважь, она у меня ноги обморозила, лежит, сердечная, с волдырями, а местами кожа сошла, жуть...» Ну я замороженный весь, пишу резолюцию: «Бух.: выдать две минимальные заводские зарплаты согласно Положения». Он берет заявление и быстро уходит.

И уже потом, когда я сел за свой стол, когда секретарь все бумаги забрала и я остался один, вдруг опомнился: «Черт, на дворе июль, разгар лета, где же жена Галкина ноги обморозила?» Метнулся к окну, Михаил еще только вышел из подъезда и идет через скверик перед заводоуправлением. Кричу: «Михаил, как же твоя Ираида ноги обморозила? Лето же, июль месяц?» Он остановился, внимательно посмотрел на меня и так вежливо с укоризной говорит: «Романыч, это дело интимное, на площади об этом не кричат». «Что, — кричу, — за чертовщина, иди сюда в кабинет, объясни, бабу твою жалко ведь». Заходит, сукин кот, садится и так вежливо говорит: «Вот скажи, Романыч, хотя мы с тобой и друзья, а ведь живем мы по-разному?» «Как так?» — спрашиваю. «Ну, у тебя что висит в спальне на стенах? Ковры, — сам себе он отвечает, — а у меня географическая карта мира, смекаешь, разница какая?» «Ни черта не смекаю», — отвечаю. «Верно, ты не сразу и в училище понимал: карта мира на стене над кроватью». «Ну и что? — реву я. — Что?» «А то, Романыч, значит, что вверху у меня в спальне над кроватью Ледовитый океан — Арктика, внизу соответственно — Антарктика. Вечные

льды! Смекаешь?» – и он многозначительно поднял вверх правую руку с прямым, как новый гвоздь, указательным пальцем. «Ни черта не смекаю». «Ну как же, в такой, извини меня, ситуации, где бы ножки моей дрожайшей супруги ни были – они всегда аккурат во льдах, а там, сам понимаешь, до минус пятидесяти градусов! Жуть какая, – он схватился руками за голову и стал ее качать сокрушенно. – Жуть какая, а?» «Что ты городишь? Причем здесь это?» «Причем, причем! Вот она и обморозилась! И твоя бы не выдержала, извини меня, – стубила ноженьки свои! Верно ведь?» – сказанул... и выскользнул из кабинета... до следующего своего фокуса.

МЕЖДУ КУРНЯМИ И УТЕВОЧКОЙ

Было у меня в детстве страстное желание: обойти не спеша каждую улочку, каждый переулок моего села.

Село наше большое, вряд ли хватит и часа для того, чтобы пройти из одного конца в другой по прямой – вот это-то меня и манило. Село казалось огромным.

Но я тогда так и не обошел его. Может, не хватило терпения, а может, удержали мальчишеские заботы, мало ли их было у нас.

А теперь, когда я увидел много красивых и больших городов, мое село, конечно, стало казаться мне не таким уж и большим. Оно как-то сжалось и сторбилось. Хотя построен новый клуб, школа...

Мне хочется его расправить, сделать прежним. Я дал себе слово этим летом пройти по всем его закоулочкам и тем самым осуществить свою мальчишескую мечту. Но только ли в давней мечте дело?

Мне это куда важней сделать для себя сегодняшнего, когда вся наша планета Земля, такая опромная и необозримая в детстве, вдруг стала во взрослой нашей жизни такой беззащитной и хрупкой, судьбой своей зависимой от человека, от разума в ядерный и космический век.

Человечество выросло из своего детства, и колыбель его, планета, стала столь зависима от него самого...

...И эта общая зависимость судьбы маленького родимого уголка и всей Земли от неверного шага, неверного жеста порой так щемит сердце.

Об этом много сказано и написано.

Но сердце болит...

...Я давно, не торопясь, собираю сведения о своей Утевке. Моя улица, где родился и где стоит родительский саманный дом, носит название: «Центральная». Я всегда думал, что она и по сути централь-

ная, изначально, с момента зарождения села, ведь она такая широкая и ровная. Легко было предположить: когда-то в степи началась плановая постройка домов, земли хватало. Вот от того-то и позволительно было размахнуться и так все спланировать, что и поныне наши улицы поражают своей прямизной и упорядочностью.

Ан нет, не с моей улицы начиналась Утевка.

Если верить запискам, сделанным Кузьмой Емельяновичем Даниловым, учителем-историком и бывшим директором Утевской школы, первоители селились не по плану, а строились там, где им нравилось.

...Богатый крестьянин Селезнев, переехавший из Красно-Самарской крепости, поставил свой хутор между двумя небольшими степными речками, впадающими в нашу реку Самару. Позже эти реки стали называться одна — Курни, другая — Утевочка. Хутор вроде бы стоял на том месте, где сейчас пролегла Саратовская улица. Так утверждали старожилы.

О Красно-Самарской крепости стоит сказать особо, уж коли основатель нашего села, которое впервые упоминается в архивных документах в 1792 году, переехал оттуда. И не только о ней, думаю, надо сказать...

Прошло всего лишь два года после Куликовской битвы, и Тохтамыш собирает опять воедино силы Золотой Орды. Он вновь захватывает и грабит Москву, вновь вынуждает русских князей платить дань.

Усиление власти Тохтамыша и интриги ордынской знати делают свое дело: бывшие союзники Тохтамыш и Тамерлан (Тимур) становятся врагами.

Вообще, я думаю, более полутысячи лет назад, когда самарская земля стала ареной одного из грандиознейших сражений средневековья, наша, нефтегорская теперь, земля тоже испытала немало потрясений. Ведь выступивший из Ташкента в январе 1391 года с более чем двухсоттысячным войском среднеазиатский правитель Тимур, тесть золотоордынского хана Тохтамыша вышел к реке Самаре. Две реки, Самара и Кондурча, связаны воедино грандиозной битвой средневековья между среднеазиатским востоком и полчищами ордынцев. Два великих чужих войска столкнулись на нашей земле... Надеюсь измотать силы неприятеля, Тохтамыш долго отступал. Но отступать дальше Тохтамышу было уже нельзя. Возникла опасность прижаться к Волге и потерпеть поражение. Тохтамыш решился на сражение у Кондурчи (ныне Красноярский район Самарской области).

18 июня 1391 года здесь столкнулись, как пишут историки, два войска, имевшие каждое примерно по двести тысяч.

Не сбылась надежда Тохтамыша: в длительном походе армия Тамерлана не потеряла своей силы. Властный Тимур сохранил боевой дух своей армии и его тактика ведения сражения семью подвижными карифами — «кулаками» — сыграла решающую роль: Золотая Орда была разбита.

Серьезное ли расстояние от Кондурчи до Самары-реки, до земли, где теперь расположена моя Утевка? Да, конечно же, нет, даже по тем меркам. Все было втянуто в единый и страшный водоворот, если учесть, что двадцать шесть дней победители опустошали захваченные земли. Расстояния для средневековых завоевателей были не преградой. Разбив Золотую Орду, Тамерлан завоевал Дели, разбил турок, пошел походом на Китай... во время которого и умер в 1405 году.

На следующий год сибирским ханом был убит Тохтамыш.

Историческая битва на Кондурче ускорила распад Золотой Орды. Московское государство начало укреплять свое влияние на Волге.

...2 октября 1552 года после ожесточенного штурма русскими войсками Казань пала. Казанское ханство перестало существовать. А в 1556 году не стало и Астраханского ханства. Волга стала водной магистралью Русского государства.

Но в Заволжье по-прежнему находилась Большая Нагайская Орда. И хотя в 1557 году она признала свою зависимость от Москвы, отдельные орды татар не покорились и враждебно относились к русским. Московское государство для укрепления позиций начинает строить военные наблюдательные посты — по сути укрепительные линии на своих восточных границах. Это сопровождалось большим недовольством ордынцев, требовавших запрета строительства городков. Тем не менее были построены Чебоксары, Лаптев, Тетюши, Самара, Уфа, Царицын, Саратов. Что же было тогда на месте нынешней Утевки? И что было на месте нынешнего областного центра Самары, ведь начиналось все, как известно, только весной 1586 года с возведения на высоком правом берегу реки Самары деревянной крепости. Городок ставился из сплавляемых с ее верховья бревен. (Уж не из района ли нынешнего Борска сплавляли, как это делалось во время войны при строительстве в селе промкомбината, при участии моего деда Ивана Ряцева?)

...Еще на картах XIV века обозначено поселение Самар. Как знать, может, его можно назвать пращуром нашего города?

Выбором места и строительством крепости руководил алатырский воевода Григорий Осипович Засекин.

Удивительна энергия этого человека: с пятнадцати лет князь Засекин находился на службе у государя, воевал со шведами, с ливонцами, служил воеводой. После Самары он построил в 1589 году Царицын, а в

1590 году – Саратов. Во всех трех построенных им городах князь Засекин служил первым воеводой...

...При царях Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче строится «Закамская черта» (ров и вал со сторожевыми городками), а при Петре I в двадцати шести верстах от Самары возникла Алексеевка и в ста двадцати четырех – Сергиевск.

Но этого было мало. Возведены были Красный Яр, Кондурчинская, Черемшанская, Шешминская, Кичуйская крепости. Строительство этой новой линии закончилось в 1732 году. Она соединила Алексеевку со старой «Закамской линией» до реки Камы.

Но и после этого – кочевники мешали заселению русскими Заволжья. В 1736 году по распоряжению основателя Оренбурга, статского советника Кириллова, начали строиться крепости по реке Самаре, южнее от прежней линии, в тридцати-сорока верстах друг от друга. В это время появились Красно-Самарская, Борская, Ольшанская, Бузулукская, Тоцкая, Сорочинская, Новосергиевская крепости. Вот из этой Красно-Самарской и приехал крестьянин Селезнев, которого можно считать одним из основателей Утевки. Но откуда был род Селезнева, чем занимались его предки, остается только гадать...

Одними крестьянами удержать вновь присоединенные земли, конечно же, было нельзя. 4 декабря 1762 года Екатерина II издает манифест, в котором говорится о том, что приглашаются иностранцы для поселения на берегу Волги, по рекам Самара, Большой Иргиз, Еруслану, Тарлыку. Приглашались на поселение и беглые, в том числе и раскольники.

Беглые крестьяне из центральных районов Московского государства проникали в наш край и до этого момента. Селились они среди местного населения, платя за землю дань.

Как известно, самарские крепости заселялись местными казаками и ссыльными, но людей не хватало, поэтому здесь принимали беглых крестьян, отставных людей, бродяг.

Население Урала и Среднего Поволжья доставляло немало хлопот тогдашнему правительству. В год вступления Екатерины II на престол (1762 г.) в «неповиновении» находилось около двухсот тысяч помещичьих, монастырских и пришлых крестьян.

Предполагалось, что Красно-Самарская крепость должна была стать большим торговым городом с таможней, перевалочным пунктом для товаров, идущих на Оренбург и в Азию. Но В. Н. Татишев, сменивший после смерти Кириллова, решил эту роль отвести Самаре. И хотя Красно-Самарская крепость занимала выгодное положение: полноводная река Самара могла быть транспортной артерией, дремучий лес прикрывал кре-

пость с одной стороны и болотистая почва — с другой, с возвышенности, на которой стояла крепость, степь просматривалась на многие версты — мы видим, что Татищев был прав: обмелела река, поредел лес, все преимущества, которые очень важны были тогда, сошли на нет, а город Самара, расположенный на месте слияния двух рек — Самары и Волги — имеет большую будущность.

...Но вернемся к крестьянину Селезневу. Вблизи его хутора и стали оседать государственные крестьяне, переселившиеся из центральных губерний России: Трегубовы, Пудовкины, Юнговы, Гурьяновы и другие. Теперь это все фамилии утевские.

Так образовался поселок, который назывался «Селезневка». Потом вслед за Селезневым на территории нынешней Утевки возвели свои постройки Киселев, Утовкин, Клюев. Утовкин поселился на левом берегу одной из речек, в дальнейшем названной по его фамилии «Утевочка». Поселок стали называть «Утевкой». Чуть позже около дома Утовкина поселились предки моего деда — Рябцевы, предки моего отчима — Шадрины, потом — Климановы, Малюгины, Сидоровы. Мои соседи справа от дома на улице Центральной носят фамилию Климановы, Малюгины до недавнего прошлого жили на нашей же улице, напротив дома моего деда. У моего друга детства Михаила Туманова дед был — Малюгин. Около Клюева поселились Семочкины, Ванюшкины, Ореховы, Сонюшкины, Гарины, Поповы и другие. По соседству с Киселевым построились Горячкины, Валовы, Кирсановы, Шимиревы. Поселок стал называться «Киселевкой».

Так образовались недалеко друг от друга четыре поселка: Селезневка, Утевка, Киселевка и поселок, основанный Клюевым.

Мы, утевцы, должны быть благодарны местному краеведу Кузьме Емельяновичу Данилову, кропотливо собиравшему материал об Утевке, и потому мы сейчас можем знать так подробно об образовании нашего села. Дотошность его в поисках была поразительна. Чтобы уяснить, откуда переселились семьи в село Утевку, он писал во многие уголки России с целью подтверждения происхождения фамилий. Изучая историю села Утевки, Кузьма Емельянович установил, что в основном предки коренных жителей села переселились из Пензенской губернии.

«Так, например, — пишет он, — Климановы, Течкины, Поповы, Росляковы — из села Селище, Краснослободского района Мордовской АССР. Киселевы, Утевкины (Утовкины), Кирсановы, Кузьмины — из села Яхавы (Ефаева) Рыбчинского района Мордовской АССР».

Вот что писал директор Селищенской средней школы Данилову: «Фамилии коренных жителей села Утевки, которые Вы перечисляете в своем письме (Климановы, Росляковы, Течкины, Панфиловы, Поповы и другие)

имеются в нашем селе Селище. Говор жителей села Утевка, о котором Вы пишете, полностью совпадает с говором жителей нашего села».

Установлено, что в село Утевку переселялись и из Тамбовской, Смоленской губерний. Вообще в Заволжье большой приток переселенцев был во второй половине XVII века и в первой четверти XVIII века. Переселялись на левобережье реки Самары гонимые тяжелой жизнью и из Симбирской, Владимирской, Костромской, Воронежской, Тверской, Смоленской и других центральных губерний России.

Левобережье Самары, Утевка, стали пристанищем выходцев из многих губерний России, аккумулируя тем самым вековой опыт и уклад русского крестьянства в одном общем месте на широких просторах будущего Нефтегорского района и, очевидно, способствуя и укреплению достаточно чистого выговора, трудолюбия и основательности, с которым утевцы обычно обустривают свою жизнь.

...Но вернемся к первым поселенцам. Поселок Утевка располагался на моей родной улице Центральной, об этом говорят многие источники. До сороковых годов XX столетия она называлась «Большая улица».

Поселок Киселевка – на Уральской улице. Поселок, который основал Ключев, располагался на нынешней Крестьянской, около озера, которое сейчас называется «Приказное». Очевидно, название поселок получил от породы уток, чернышей, которых в ту пору было очень много на озере. И стал называться «Чернышевкой».

В конце XVIII – начале XIX века приток переселенцев усилился и все четыре поселка – Селезневка, Чернышевка, Киселевка и Утевка – слились в одно село, названное Утевкой.

В камышовых зарослях речек, пересекающих село, на Черном и Приказном озерах водилось множество уток, поэтому, по одному из преданий, наше село и было названо Утевкой.

В то, что уток было когда-то много, легко поверить. Даже я помню, как мой дед по весне на огороде бил уток, а зимой – силками ловил зайцев.

Но, скорее всего, село получило название от фамилии Утовкин. В селе и сейчас живут, вероятно, потомки первопоселенцев по фамилии Утовкины.

Там, где еще недавно стоял деревянный дом культуры, в начале XIX века, к 1810 году, была построена двухпрестольная церковь, посвященная Михаилу Архангелу (малый престол) и Дмитрию Салунскому (большой престол). Тут же был и рынок, где еженедельно по средам проходили многолюдные базары и три ярмарки в году. На Фролов день, один раз в году, в поселке проходили конные скачки. В поселке Утевка жили бога-

тые люди: братья Темонтаевы, Кузьмины, Колодины, Ясакины, Соболювы.

Данилов писал: «Жители Селезневки, Киселевки, Чернышевки и окрестных сел обычно говорили: надо съездить на базар, на ярмарку, в церковь, на скачки, в приказ, в Утевку...»

И далее он пишет: «Старые же названия других поселков со временем стерлись из памяти жителей села, они остались только в архивных документах. Так в списках населенных мест Самарской губернии по состоянию на 1 января 1897 года записано: «Утевка», а в скобках: Черновка, Селезневка, Киселевка. Так же записано в списках населенных мест Самарской губернии и в 1897 и 1910 годах».

...Я иду по нашей Центральной улице. Даже за последние пять лет она сильно изменилась. Парк, который мы, школьники, когда-то посадили почти во всю улицу из берез, карагача и тополей — было это в десятом классе — за сорок без малого лет успел вырасти, состариться и почти сойти на нет. Почему-то такое недолговечное дерево — карагач, пережило и березы, и тополя. Но, обвешанные грачиными гнездами, и они пропали. Сотни гнезд, темные тучи грачей с нескончаемым граем вывели из себя пожилую, основную сегодня часть населения нашей улицы, и карагачи, с тяжелыми черными гроздьями гнезд этой осенью повалились под бензопилами наземь. Оголилась вся улица. Теперь от самого того места, где стояла церковь с двухсотпудовым колоколом, а после — клуб, просматривается в конце улицы бескрайняя степь-матушка, выдавшая многое на своем веку.

...Следующей весной прилетят, как обычно, грачи на насиженные места. Увы, они уже не найдут своих гнезд.

...Я видел немало людей, когда-то выпорхнувших из этих благодатных мест и вернувшихся лишь для того, чтобы посмотреть хотя бы одним глазом на старое гнездовье своих предков.

Как правило, они мало что находят, в деревнях все недолговечно, постройки обычно все из дерева, чаще всего из местного чернолесья, все с годами оседает и уходит в землю, дневников крестьянство не пишет.

Бесконечные укрупнения, разукрупнения, перевод села из одного района в другой заставляют перемещать и до того скупые и скудные архивы из одного места в другое.

Так что... ищи ветра в поле...

ВЕСЕННЯЯ БОЛЕЗНЬ

Идет затянувшееся совещание. Добрая сотня людей мается в зале. Мой сосед тихим разговором спасает нас обоих от скуки.

— Разные бывают профессиональные болезни, а знаешь, какая у меня? Моя хворь связана с весной, у одних авитаминоз и другие разные интеллигентские штучки, а у меня страшно болит шея.

— Ну, это возрастное — пошло, очевидно, отложение солей...

— Вот-вот, возрастное, это точно. А не знаешь ли, почему обязательно весной? Нет, не знаешь, а я знаю. Весной все женщины становятся прекрасными, они благоухают. Прелестное время. В груди так вдруг и забурлит, и нестерпимо захочется влюбиться направо. А тут тебе заботы весенние: капитальный ремонт завода, помощь селу, подготовка соцкультурных объектов к лету — продыху нет! Мечешься, как заяц. Вот и видишь женщин только из окна персонального автомобиля Таращишь глаза, тянешь шею вслед очередной прекрасной незнакомке, вот она и не выдерживает!

— Кто, незнакомка?

— Да шея, чудак! Ноет без конца, болит шея.

— Вот это уж точно тогда возрастное, рано ты директором такого большого завода стал.

— А у тебя не ноет?

— Нет.

— Ну, тебе еще хуже, брат. Ты совсем уже пропащий человек.

Председательствующий объявил его фамилию. Он, не поворачиваясь, правой рукой пошарив на соседнем сиденье, взял свою папку с бумагами и пружинистой походкой пошел к трибуне.

Совещание шло своим чередом. Как и жизнь.

НЕ В ЭТОМ ДЕЛО

Племянница Иринка рассказывает:

— Там, на старом кладбище, чего-то трактором копают, и ребяташки набрали человеческих костей, черепов. Черепаставят себе на голову и носятся девчонок пугать. Они боятся. И Слава боится.

Смотрю на семилетнего Славу. Слава задумчив, лицо сосредоточенное.

— Слава, тебе страшно было?

— Нет, папа, не в этом дело.

— А в чем?

— Я раньше смерти не боялся, думал, когда умирают, то закопают и все. А тут могут раскопать, и всякий может пинать ногами твои кости. А ты уже ничего не можешь. Обидно.

— Обидна еще и другая штукавина, — проговорил, опершись на штакетины, Мишка Скудаев, — не разрешимая для меня пока, я над ней долго думал уже и никак не осилю...

— Эт, что ж такое может быть? — удивился только что подошедший Андрей Сарайкин, слышавший рассказ племянницы.

— Дак вот, — не спеша продолжал Скудаев, то ли подбирая нужные слова, то ли не решаясь сказать то, о чем думал. Или жалко было мысль свою отдавать, она его занимала, не скучно с ней было ему. — Ответа на нее нету, на эту мысль.

— А ты скажи, я попробую, Минь, ее вслух, мысль твою.

— Вот она, — Скудаев показал на Ирину, — говорит, пацаны бегают и пугают черепами. Как ты мне все это объяснишь, ежели считают, что души переселяются?

— Не понял, — мотнул головой, будто боднулся с кем, Сарайкин.

— Ну, вот, — ровным голосом продолжил Скудаев, водя пальцем по косому срезу штакетины, — вот, если так может быть, душа переселилась от умершего, чьим черепом пугает пацан Петька в самого Петьку, а? Как она позволяет ему такое? Бегать и пугать?

Мы с Сарайкиным враз взглянули друг на друга, оторопев, глаза у него были не на месте. Наверное, мои тоже.

— Ну, вы чевой-то, прижухли? Высоцкий пел же, что души переселяются? Пел! Или он врет, или они переселяются. Одно из двух.

— А сам-то ты, как думаешь? — нашелся наконец Сарайкин.

— Неправду пел Высоцкий, быть такого не может. Вот у меня дочка родилась, а в нее раз — душа влетела из Англии. Тогда она ж у меня иностранка! Как я с ней: воспитывай ее, а она — леди. Мне надо ее коров учить доить, навоз убирать и все прочее такое делать, обыкновенное для нас и ужасное, невмоготу для иностранной породы. Или вот на фронте, как быть? Противник — он и есть противник. Его уничтожать надо. А в какого-нибудь фрица душа моего деда или отца вселилась, как действовать? Заколеблешься?

Мы не знали, что ответить. Я взглянул на Скудаева, у него лоб блестел — его в пот ударило от собственных слов.

— И вообще, мы с вами сейчас кто тогда будем, вот трое — может, интернационал: немец, русский и поляк, а? Танцевали краковяк, да?

— Скудаев, у тебя загогулина в башке неправильная, — сказал Андрей Сарайкин убедительно, как мог.

— Кривая у меня, а у тебя — прямая, да? Одна? — парировал Скудаев. — А у Высоцкого какая?

— Да дурачился твой Высоцкий, не понятно разве?

— Ну, он дурачился, но сейчас все говорят о переселении душ.

— Сейчас многие спятили, понял, — привел, порывшись в голове пятерней, веский довод Сарайкин и сморщился, как от изжоги.

— Во! — обрадовался Скудаев, — ты молодец, я тоже так думаю — многие спятили. Универсальный довод — им я, как вагой, многие неподъемные вопросы переворачиваю, а то ни в какую. Ученый один сказал: дай мне вагу и я переверну мир.

— Не вагу, — возразил Сарайкин значительно.

— А что? — настороженно спросил Скудаев, очевидно, не очень желая оставаться не точным в столь важном вопросе.

— Рычаг.

— Ну, не в этом дело! Не в названии, ну, рычаг, пусть.

Но Сарайкин не унимался:

— Вот если в этого ученого душа из наших мест, из деревенских, вселилась, он мог бы сказать: «вагу».

— Ты, это, брось, Андрей, не впрягай меня в новый круг, я и так еле выскочил из него, а?

Я все ждал, что кто-то из них не выдержит и засмеется, и обнаружится розыгрыш. Да нет, оба были сосредоточенно серьезны. Я, видимо, не до конца понимал важность мучившего Миньку Скудаева вопроса.

ПОГОНЯ

Набродившись по жаре, я спрятался под старой ветлой близ маленькой высыхающей старицы. Редкие всплески доносились до меня — стадо, разморенное июльским зноем, войдя по колена в воду, дремало.

Но вдруг вода в озере взбурлила, застоявшиеся буренки, вырывая ноги из тины, ринулись на берег. Сгрудившись, стадо взбило пыль на берегу и шарахнулось на бугор.

— Лось! — изумленно вскрикнул один из подпасков, очевидно, сынишка пастуха.

Я посмотрел в направлении, куда показывал мальчик. Степенно неся горбоносую, увенчанную широкой чашей рогов голову, спускался к воде лось. Но все-таки в этом заповедном звере как-то недоставало величия, было похоже, что скрывался он от долгой, изнурительной погони. Но от кого бежал зверь? Раздувающиеся его бока были мокрыми.

— Пашка, Генка, чего смотрите? Гони! — рявкнул еще не пришедший в себя от дремы пастух.

И не успел я перебраться на противоположный берег, как ребяташки вскочили в седла и под залиvistый лай собачонки погнались. Тот, не дойдя до воды, метнулся, вскинул голову и, ускоряя бег, помчался по равнине к лесу, отгороженному широкой лентой пашни с молоденькими сосенками.

Поругиваясь, пастух начал собирать коров в кучу. С высокого берега старицы было видно, как, обойдя дальний ее изгиб, лось легко оторвался от преследователей. А те гнали вовсю галопом, охваченные азартом погони.

— Не случилось бы чего с ребятней, — забеспокоился пастух, обращаясь ко мне, — глупые еще, заставил — и сам не рад.

— На-за-а-ад! — сложив рупором руки, прокричал он, но голос его тут же увяз в знойном воздухе.

В следующий момент лось резко повернул в сторону. Там, куда он свернул, блеснуло на солнце узенькое болотце. Лось, с разгону войдя в воду, нагнул голову. Не трудно было догадаться, что он жадно пил. Но что это? Выйдя из воды, зверь рухнул на землю...

— Хиляк попался, наверное, сердечник, — встретил нас на полпути радостно возбужденный Генка, старший сын пастуха.

Было странно видеть и знать, что дикая и, казалось, неумная сила рухнула так вот запросто, никчемно.

— Папань, а рога ножовка возьмет? — Генка не мигая смотрит на отца.

— Да замолчи, — отмахивается пастух.

Пашка сидит на траве молча, учащенно шмыгает носом. Старается не поднимать головы...

День померк.

Было неловко и стыдно, что никто не сумел, не догадался остановить эту нелепую погоню.

ЗАВОДСКОЙ ЭЗОП

Он храбрым был. Но притворялся трусом.

Он мудрым был. Но дурака валял.

Кривлялся. Потрафлял жестоким вкусам.

И плоской шуткой с грохотом стрелял.

Он был иногда назойлив, как осенняя муха. Настигая меня в столовой, у проходной, скороговоркой выдавал свои «перлы». Косноязычие мучило его, а в сочетании с его жанром — писал басни — снижало впечатление в разговоре с ним. Не наблюдалось, как мне казалось, блеска.

Его шутки были, как выкорчевывание огромного корнеплода, допустим, свеклы, полезного, емкого, но грязноватого пока, необработанного, содержащего и сахар, и в последующем хмельную брагу — но пока... всего лишь комок серый. Не хватало шарма в его экспромтах.

Когда была хоть какая возможность, я приглашал его к себе в кабинет. Но там он становился суетным, начинал ерничать, его смущала официальная обстановка. Я понимал — это защитная реакция, но все же досадовал: хотелось душевного разговора...

...Он был живой персонаж моей повести «Черный ящик», и я всегда его слушал внимательно. Мне неинтересно придумывать жизнь, какая была или будет. Какая она есть? Это меня всегда влекло. А он — вот он, живой, в застиранной спецовке, с руками, пропахшими потом.

Он отличный слесарь-инструментальщик. Я его наблюдал и с разводным огромным ключом, и колдующим над сложными чертежами.

Но не хватало «художественности», того, что я пытался обрести и сам в своих литературных опытах, что ценил более всего тогда. А у него, казалось мне, и дум об этом особых не было. Несколько раз я просил его дать мне посмотреть его басни, про себя думая: а может, как-нибудь да издадим.

Он обещал, но не приносил. Я это понимал по-своему. Еще не созрел, сам себя готовит. Это, может, и хорошо. Зачем же торопить? Пусть сам решает. Его влекла сатира, а был он весельчак и балагур, его знал весь наш заводской люд — на заводе он проработал сорок лет — да что заводской! Он дружил со всеми пишущими в нашем городе — единственный баснописец в Новокуйбышевске! Имя его — Владимир Николаевич Долгинин, но чаще всего он подписывался — «Скорпион». Под этим именем он и попал ко мне в «Черный ящик».

...Было время, когда непросто было работать. А когда директору завода просто? Но уж сильно прижало. Разгул псевдодемократии душил заводскую дисциплину. Зачумленные вседозволенностью члены совета трудового коллектива рвали заводскую власть на лоскуты, каждый примерял с чудовищной безответственностью добытый кусок этой непростой материи на себя. Уже «общественный директор» — председатель СТК — давал интервью, делился планами работы на год. Досадно и больно было

наблюдать, как эта дирекция основными задачами своей «деятельности» ставила «зажать» действующую администрацию, отобрать у нее распределительные функции и никто не хотел на себя брать организационную часть работы. Все делалось, чтобы развалит то, что есть, а потом на обломках выносить приговоры и окончательно брать власть. Увы, это был уже отработанный на многих заводах сценарий, а вернее, план захвата власти. Многие заводы уже от этого лежали полуживые. Ибо захватившие таким образом власть, кроме «захватов», чаще всего ничего не умели делать.

И вдруг среди этой вакханалии Скорпион печатает в нашей газете «Большая химия» свою «Оду директору». Многих эта ода заставила задуматься.

Оказалось, что муха может быть храбрее и смелее льва. Многие «львы» — главные специалисты завода — сникли, пригнули головы, а слесарь-инструментальщик Долгинин ринулся в бой! Он чувствовал истину. Он был по-своему мудрый человек. Обычно он защищал честных ежей, умных бобров, муравьев и клеймил стократно в бесчисленных своих байках львов-плутократов, грачей-рвачей и так далее, а тут такой громогласный поворот. Не каждый, прочитавший оду, поверил, я думаю, в искренность автора, уж больно критиканство «верхов» было сильно. Но тем и замечательней был поступок автора. Он потом долго старался не попадаться мне на глаза, очевидно и ему была не привычна роль защитника «верхов». Он, наверное, я это чувствовал, боялся, что приму его оду как подобострастие. А он этого терпеть не мог. Скорпион по гороскопу, он и в жизни был таковым.

*...Ну, погоди! Госдума и Закон
Прижмут хапуг, должно быть, очень скоро,
Отнимут миллиард и миллион
И нищим отдадут. Осталось ждать немного —
Всего сто лет, иль двести...*

Он не был бодрячком. Он пронзительно смотрел на мир, порой и грустно.

— Гендир, знаешь, нельзя надеяться на то, что на земле будет когда-нибудь рай. Вредно так думать. Но человеками надо пытаться оставаться, верно? — И сам ответил, зная мое мнение наперед: — Ежу понятно.

— Коль рая нет и не будет, то не будет и счастья. Есть же формула: «Счастлив тот, кто не родился», — пытаюсь я разговорить Скорпиона.

– Не так, гендир, совсем не так. У каждого из нас свое, и каждый может испытать счастье, хотя бы на миг.

Теперь, читая его:

*Я как будто в лесу, в буреломном лесу:
Что ни шаг, то овраг, где ни встал, там провал.
Чертыхаясь, бреду, я сквозь дождь и грозу.
Как осина, дрожа, я храбриться устал,
Я дорогу ищу, я кричу, я свищу.
Волчьим воем глушу необузданный страх:
«Отвяжись! Отойди! Не пущу! Не прощу!
О, помилуй, Господь! Не свирепствуй, Аллах!» –*

я понимаю, почему он не говорил гладко, и не было в его речи изящества, а порой косноязычье путало его. Он думал и о себе, и о нас всех сразу. Он о многом думал, и хотел на все дать только свой ответ, ни у кого незаимствованный, но он и не сразу давался. Да, он думал не только о себе.

Однажды у него вырвалось:

– Плохие песни, говорил Крылов, у соловья в когтях у кошки!..
Скорпион умер в конце прошлого года.

Владимир Николаевич не успел издать своей книжки, но, когда я задумал изготовить крест на могилу художника Григория Журавлева, он с душевным просветлением взялся помогать. Теперь этот металлический крест, художественно оформленный, стоит там, где ему и положено. Всегда, когда я приезжаю после долгой отлучки в свое село, я подхожу к этому кресту-памятнику и душа успокаивается.

...Он был одним из нас, поэтому, может быть, мы не могли видеть в нем ничего пророческого.

Он был каплей, капелькой всего человеческого, может быть, так...

...»Если бы никогда не появилось в печати ничего, что вы написали, было бы что-нибудь в нашей жизни хоть немножко иначе, чем теперь?» – этот вопрос когда-то задавали Викентию Вересаеву.

«Вот перед вами упала капля дождя. И вы спрашиваете: изменилось ли бы что в урожае, если бы этой капли совсем не было? Ничего бы не изменилось. Но весь дождь состоит из таких капель. Если бы их не было, урожай бы погиб». Так ответил писатель.

Это и о нем, о Владимире Долгинине.

ПОГОВОРИТЬ БЫ

Помню, как-то в течение полутора-двух месяцев по телевидению прошли фильмы: «Чапаев», «Мартин Иден», «В людях», «Ленин в Польше». На каждый из них пришлось давать семилетнему моему сыну Славе пояснения на его «почему» и «как». Было это в семьдесят восьмом году.

Незадолго до этого невесть откуда он узнал о царе Петре I, пришлось рассказывать о «хорошем» царе. И вот результат.

Слава пристроился один на скамейке в палисадничке, ноги — калачиком. Задумчив, почти суров (если можно быть суровым в его возрасте).

— Слава, ты чего такой задумчивый?

— Я думаю, пап.

— О чем же ты думаешь?

— Я думаю: хорошо бы нам собраться всем вместе и поговорить.

— Ну, давай соберемся, зови маму.

— Нет, папа, хорошо бы собраться нам всем: Джеку Лондону, Ленину, Чапаеву, Петру I, Горькому и поговорить!

— О чем же говорить?

— Ну, пап, какой ты! О чем?! О жизни.

...Интересно, с кем захочет собраться и поговорить мой внук Саша? Пролетели двадцать два года. Внуку уже шесть. Скоро скажет...

НЕ СОБСТВЕННИК

Мой сосед по купе «завелся» с ходу. Видно, заядлый рассказчик.

— Когда в Лондоне, в музее восковых фигур мадам Тюссо, я решил подойти к Наполеону и померяться с ним ростом, показалось, что великий француз мне хитро подмигнул. Это, скажем прямо, странное дело я никак не мог объяснить. Но так было, ей Богу, не придумал же я. Ростом-то померился, и оказалось, что я выше, вернее, длиннее немного его.

Когда случилось то, о чем сейчас расскажу, вспомнил все это.

...Значит, приехал я в Москву не один — со своим замом по экономике. Поселились, как обычно, в гостинице «Ленинградская» у трех вокзалов. Расселились по разным номерам и на до же — я почувствовал простуду. То ли в поезде кондиционер помог, то ли раньше где, но кости поламывает, в горле першит и нос забит. Можно бы перебиться, но на следующий день мне предстояло в Правительстве у Черномырдина делать сообщение по своему заводу. Все дело в том, что мы тогда затея-

ли большой проект. Нашли инвесторов, кредит большой – свыше ста миллионов немецких марок, и нужна была для немецкой стороны правительственная гарантия.

Нельзя было гнусавить на докладе.

Дежурная по этажу нашла только аскорутин и то всего две таблетки. Я проглотил их обе и улегся в постель. Вдруг возвращается дежурная и предлагает рецепт:

– Если хотите на завтра быть здоровым, слушайте. Не гарантирую, сама не пробовала, сейчас подружка подсказала: надо взять стакан хорошего коньяка, нагреть градусов до сорока-пятидесяти и выпить, не закусывая, лечь в постель.

Коньяки стаканами я еще не пил, но был готов на все.

Примерно через час ввалился посыльный от моего друга, которому я позвонил, с бутылкой «Наполеона».

– Вот, Виктор Алексеевич сказал, чтобы коньяк был надежный, не суррогат, а где сейчас гарантия? Все объехал, что мог, решился на Арбате этот взять. «Наполеон» – вроде, как похож на настоящий.

– А где же Виктор?

– Да у него какое-то сложное дело, обещал позвонить.

Посыльный вышел – я остался один на один с «Наполеоном».

Подогрел бутылку под краном в ванной, вернувшись, налил полный стакан, поставив его на журнальный столик посередине номера, и присел рядом в некотором раздумье, не совсем еще веря, что я готов на такие подвиги.

И в это время в номер зашел мой заместитель. Глаза его округлились. Он попивал. И в дороге, в поезде, в гостиничном номере – везде у него под рукой с собой было. Опыт в этой сфере был у него редкостный. Любил он это дело. Иногда его заносило, и я, зная это, старался компанию с ним не поддерживать, но и не запрещал. Так было и в эту поездку. В поезде я не пил в этот раз.

– Гендир, пьем в одиночку? Не похоже!

Он искренне удивился, воззрившись на коньяк.

– Лекарство. Видите, – и я потянул воздух забитым носом.

Налил и ему полстакана.

Он лишь пригубил, сморщился и махнул рукой.

– Мне в город надо, не могу сейчас.

Это было не совсем похоже на него. Странный день какой-то выдался.

Когда он вышел, я, зажмурившись, опорожнил стакан, потом, махнув рукой, с какой-то даже лихостью, что не свойственно мне, налил из бутылки остатки и выпил. По рецепту закусывать не полагалось.

Когда я убирал бутылку и стаканы, меня уже «повело». Я быстренько разделся и бухнулся в кровать под одеяло.

...Проснулся в шесть утра, проспав беспробудно десять часов. Сушило страшно во рту, но вчерашней потливости как не бывало, нос мой функционировал как новенький. Чудо — не лекарство. Только очень хотелось пить.

Совещание прошло нормально. Не было Черномырдина, вел его зам — Олег Сосковец. Было с десятков высокопоставленных чиновников, включая заместителей министров смежных ведомств.

Через день я ехал в Самару, домой. В папке у меня лежала правительственная гарантия. Не зря мне Наполеон тогда подмигнул в Лондоне: ты запомни рецепт-то, простенький он, дарю — я не собственник.

Он замолчал. Я почувствовал, что настала моя пора, что-либо рассказать похожее. Но что-то на ум занятого ничего не шло.

«Рановато он, с ходу начал, Сызрань только что миновали, до Москвы, ой, еще сколько...»

— А вот еще разок история была такая интересная, рассказать? — И он заразительно расхохотался.

— Давайте, — охотно согласился я.

ПОД СТАРЫМИ КАРАГАЧАМИ

Сегодня в закутке нашей парикмахерской, пока дожидался своей очереди, наблюдал, как один, вполне уважаемый господин-товарищ очень длинно и нудно втолковывал другому самые, что ни есть, прописные истины.

Бедняга-слушатель мучался от бестолкового разговора, от того, что ему говорят о вещах, в которых он и сам не хуже разбирается, больше: он вполне придерживался того же мнения, что и говоривший, но прервать разговор не решался.

Говоривший (потом я узнал его имя, но запомнил прозвище — Ботало) любил свою мысль и считал себя намного умнее других.

Я видел, как облегченно вздохнул слушатель, когда подошла его очередь, и он скользнул бочком в дверь.

По пути домой подумалось: «А ведь пишущий тоже чувствует себя в момент написания в некоторой степени талантливее всех остальных смертных, чувствует, что только он один может так сказать о чем-то,

и он говорит. И вправе себя так чувствовать, иначе ничего стоящего никогда не напишет».

Простенький случай в парикмахерской стоил мне, как оказалось потом, бессонной ночи. Вечером перед сном встали частоколом вопросы...

Почему все-таки я пишу? Для чего? Ведь столько уже написано, но стал ли от этого мир лучше? Писать, вопреки всему, никого не слушая?

Писать ни о чем, творить мелодию, подобно той, которую я слышал в Швейцарии, когда на альпийских лугах паслись стада коров? И у каждой на шее было по колокольчику, боталу. По дорогам сновали автомобили, шли люди. В небе летали самолеты, а эти колокольчики вели свою особую независимую мелодию. Они были все-таки частью той жизни, которую я наблюдал в Альпах или они только напоминали о ней?

Жажда ли выражения духовной глубины рождает неумное желание писать или стремление свидетельствовать только то, что вокруг нас есть? И то и другое?

Еще больше разворошились во мне тлеющие сомнения, когда прочел слова Алексея Алексеевича Ухтомского. Они не развеяли сомнений, они заставляли не соглашаться, или соглашаться только частично, но толкали мысли дальше...

В 1928 году он писал: «Я вот часто задумываюсь над тем, как могла возникнуть у людей эта довольно странная профессия — писательство. Не странно ли, в самом деле, что вместо прямых и практически понятных дел человек специализировался на том, чтобы писать, писать целыми часами без определенных целей — писать вот так же, как трава растет, птица летает, а солнце светит. Пишет, чтобы писать! И, видимо, для него это настоящая физиологическая потребность, ибо он прямо болен перед тем, как сесть за свое писание, а написав, проясняется и как бы выздоравливает! В чем дело? Я давно думаю, что писательство возникло в человеке «с горя», за неудовлетворенной потребностью иметь перед собой собеседника и друга! Не находя этого сокровища с собою, человек и придумал писать какому-то мысленному, далекому собеседнику и другу, неизвестному, алгебраическому иксу, на авось, что там, где-то вдали, найдутся души, которые зарезонируют на твои мысли и выводы!..»

И так, и не так. Уж никак писательство не возникло только «с горя», от отсутствия друга.

Писать иногда удобнее, если представить перед собой друга, к которому ты обращаешься или который ждет от тебя слова. Но ведь это только прием и всего-то. Есть в писательстве то, что невозможно определить однозначно, и я не пытаюсь этого делать.

Меня однажды обожгло фразой: человека учат говорить, чтобы он когда-то понял, почему он должен молчать. Но для чего человек пишет? Не своеобразное же диссидентство: одни просто живут, а другие живут да еще пишут о жизни. Что все-таки это?

Стремление продлить жизнь? Ведь она так коротка. Но кому? Себе? Своим героям? Вообще продлить жизнь, понимая ее уникальность и неповторимость. Просто продлить? Или продлить для того, чтобы понять что-то? Но что понять? Что самое главное в жизни? Но разве одному человеку можно понять, что сейчас самое главное в жизни? У каждого свое главное. То, что он поставил себе целью. Общего, главного смысла нет. Создатель нам его не вложил. Не захотел? Или так вышло?

...Ведь если это разговор с собеседником, которого тебе не хватает, то в конце концов все писание должно вылиться в монолог, а, если еще дальше говорить, думал я, вылиться в лапидарные фразы, в афоризмы. Вот уж спасение будет от телевизионщиков, пусть попробуют экранизировать афоризм. А вдруг писательство — не желание продлить жизнь, а сделать саму жизнь. Сконцентрировать на бумаге — прошлое, настоящее, будущее.

Что самое дорогое у человека? Сама жизнь. И она быстротечна, она чаще всего неудачна, она — такая важная и нужная чем-то — для того, кто научился ценить свою жизнь, вершится, порою, кажется, не людьми вовсе, а Создателем. И хочется попробовать самому делать то, что самое главное на земле — жизнь. Но для чего, вновь задавал я себе вопрос и вновь вынужден был сказать: для того, чтобы понять, что же главное в ней? Понять истинное. Но это же невозможно, вновь спохватывался я. А раз невозможно, то все писательство, как намек истины, как путь к истине — это все впустую, все бесполезно? Ни одному мудрецу не удавалось поймать истину. Можно мыслить оригинально, писать оригинально, идти к истине оригинально, но все равно к истине не придешь. Так, схватился я за соломинку. Может, смысл, самое главное, в самом пути, а значит, в самой жизни?

Вспомнились слова Джорджа Сантояна: «Почти каждому мудрому изречению соответствует противоположное по смыслу — и при этом не менее мудрое».

Но в мудрости ли дело? Ведь сказано уже: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его».

И тут же вопрос моей мамы: «Шура, зачем тебе это надо? Только глаза ночами портишь».

И случай со мной в детстве, когда я узнал, что мой друг Мишка украдкой пишет повесть об отце, вернувшемся с войны на костылях.

— Ты пиши, Мишка, все опиши, — шептал я тогда, глядя на Мишкино светящееся окно в ночи, — пусть все знают, какой твой отец, дядька Степан, пусть все знают, как он вынес моего отца раненого из первого боя. Нам про это тятка из госпиталя писал, а то бы мы никогда и не узнали. И, если можно, напиши немножко о моем отце... Ты хоть напиши, что был такой солдат — без вести пропавший...

И приходили на память слова поэта:

*Писать — единственное средство
Сберечь на свете, что прошло...*

Когда я просил Мишку написать о моем отце, я не знал этих строк. Это теперь я их знаю...

Так сберечь или найти? Или — то и другое? Или — найти и сберечь все-таки?

Я опять начал путаться. И никакая моя начитанность мне не помогла. Не было для меня ответа на этот вопрос: зачем пишу?

Я открыл дверь и вышел из своего домика в огороде. Подошел к колодцу, который мы с мамой когда-то копали. Он уже не такой как прежде. Я его этим летом обновил: убрал журавец — он совсем стал гнилой — опасно стало подходить, ветловый сруб заменил на четыре железобетонных кольца — этого почему-то при жизни так хотела моя мама. Сделал над ним металлический навес и покрасил его в голубенький веселый цвет. А все чего-то не хватало. Деревя не стало и мамы нет. Души не стало у колодца той, которая была. Другая стала душа. Отзывчивая, часто слышно, как скрипит приветливо ворот над колодцем, когда соседи приходят за водой — но другая. Не все здесь есть, что было.

Я подошел к колодцу, зачем-то потрогал цепь. Ночью все немножко другое. Сегодня днем брал воду, деловитый и быстрый, сейчас я был иным. Цепь еще та — родительская, а ведро нет — ведро, вернее, бадью, клепанную отцом — крепенькую, из толстой жести с надежной, чуть ли не в сантиметр толщиной, дужкой, — украли.

Я было повесил вместо бадьи обычное ведро и стал оттого колодец мой как бы ненастоящим, и я дал себе слово попробовать сделать бадью своими руками, как когда-то сработал ее отец.

Когда вернулся в дом, бодрый и гулкий ереванский будильник показывал три часа.

Мне больше не хотелось думать о том, зачем я пишу, я чувствовал свою неспособность однозначно ответить на вопрос, которым сам себя периодически мучаю.

«Да что же я, ведь был же момент, когда понял, что не буду торопиться отвечать, для чего я пишу. Пусть на это отвечают мои тоненькие книжки».

Это было нынешней весной, на нашей улице, под старыми карагачами.

Тогда, под грачиный гай, бесконечное хлопанье крыльев больших и деловитых птиц, мой друг детства, нечаянно встретившийся на моем пути, сказал, показывая мне мою книжку «Степной чай»:

— Все нас забыли, деревню забыли, всех и все забыли. А ты помнишь, сердцем помнишь! Не глазами и умом, а — сердцем.

«Помню», — сказал я себе вслух, и враз встрепенулся: а жив ли мой дружок детства. Месяца три я его уже не видел.

Завтра надо сходить к нему: у него матери с отцом давно уже нет, как у меня.

Мне иногда бывает не просто. почти все персонажи моих книжек живые люди. Чаще всего те, кого вижу около себя. Только имена им другие даю.

«...И жена ушла от него, — запоздало почему-то сейчас вспомнилось, — не выдержала его пьянства».

Все мои ночные размышления показались мне уже не нужными, мешающими жить, работать, писать.

...И в который раз я дал себе слово об этом не думать.

ДВА ИВАНА

Есть два человека, без которых я не представляю город Самару и без которых моя жизнь стала бы намного беднее. И хотя мы встречаемся нечасто, и в суете городской подолгу пропадаем друг у друга из вида — мы словно в одной большой деревне. По крайней мере, так обстоит дело со мной. Я не могу назвать их своими друзьями, как не могли мои отец и дед назвать друзьями своих односельчан, хотя судьбы многих из них самым причудливым образом и в войну, и в мирное время в быту переплетались так, что диву даешься.

Они не мои односельчане, нет. Мы из разных сел: Иван Иванович Морозов из Кошек, а Иван Ефимович Никульшин из Сосновки, что под Мало-Мальшевкой. Мы — сельчане, живущие в одном городе. Сельчане-горожане. И вроде бы я не подхожу к ним со своим отчеством и фамилией. Мне и самому иногда кажется, что живу я под псевдонимом, и очень долго в студенческие годы желал, чтобы фамилия у меня была матушкина — моих русских деда и прадеда — Рябцев. И назвать меня могли Ванеч-

кой, ведь дед мой — Иван. Но мама моя! Она хотела остаться верной своему обещанию, которое дала моему отцу, и это обещание еще более стало незыблемым, когда отец мой не вернулся с войны. Она дала слово тогда, в лихолетье, сохранить и сберечь Сашу Малиновского — меня.

...Каждый по-своему: Иван Ефимович — в литературе, а Иван Иванович — в театре, делают свое и в то же время наше общее дело — как могут сохраняют и несут русский дух. Органично, ненавязчиво. Просто как могут, так и живут, и работают, и думают — по-русски. И другими они быть не могут. Они такие по сути.

В аннотации одной из книг Ивана Ефимовича прочитал: «...писатель продолжает исследовать народный характер, оставаясь верным правде жизни, он не пытается приукрасить ни своих героев, ни те жизненные обстоятельства, в которых они действуют».

Так ведь эти слова можно отнести и к артисту Ивану Морозову. Только не исследует он русский характер, здесь что-то иное.

«Так вот чем дороги мне эти два человека, — однажды подумалось мне, — верностью правде жизни, той верностью, которая была всегда в поведении и в самих поступках моих земляков».

Проза Ивана Ефимовича, как и он сам, соткана из спокойного, лирического света, интонации доверительной и наполняющей энергией человечности. Это так. И в этом прелесть его письма.

Родился Никульшин в 1936 году в поселке Сосновка — не более чем в двадцати километрах от моей Утевки. Он и теперь летом живет в домике рядышком с родительским, который купил когда-то. Я бывал у него в гостях в Сосновке, все так до боли родное и знакомое, что о многих вещах с ним не было нужды говорить вслух, все понятно без слов, как когда-то так бывало у меня с моими родителями. А ведь Иван Ефимович старше меня всего-то на восемь лет.

Но в нем такая надежность, и то незаметное мужество, которого требует наша нынешняя российская действительность, что невольно проникаешься признательностью, ведь это все органично переходит в его книги. Он надежен и в своей литературной работе, не слишком поддаваясь воображению, что очень дорого мне лично, не конструирует сознательно жизнь своих героев. Он берет в большей степени то, что есть в самой жизни, что увидел и пережил лично, не боясь обыкновенных, сотни раз повторяющихся событий, а видя в них повседневный быт и дорожа этим бытом, как самой российской действительностью, самой жизнью. Жизнью, которая обязательно должна быть освещена добром и светом сверху для каждого из нас.

Так сложилась судьба писателя, что свою первую книгу повестей «Молочные реки, кисельные берега» он издал в 1978 году, когда ему было уже за сорок. До обрушившегося на нас беспредела, в том числе и в литературе, оставалось совсем немного, всего-то меньше десятка лет. Но сколько им написано замечательного за это время! И сколько сделано потом и, я знаю, делается сейчас. Если человек рожден тружеником, то он им останется на всю жизнь. Это касается и писателя.

...Я уже издал десять своих книжек, а его рассказ «Утица луговая» помню постоянно. Помню начало: «За околицей бабы метали стога...» Помню и конец: «Я нес чемодан и, пока виднелись стога, все оглядывался на них...» Почему помню? Сразу не объяснишь... Ближе к сердцу.

...Словно осенние палые листья ворошу старые областные газеты. Но грусти нет, есть радость за людей, чьи жизни и творческие судьбы состоялись. И состоялись у многих самарцев, в том числе и у меня — на глазах.

Вот, кажется, первые заметки, на одной газетной странице и о сельском киномеханике, затем заведующим сельским клубом в Кинельском районе Иване Никульшине, и об Иване Морозове.

«Познакомьтесь: Иван Никульшин», — так начинается одна из них. И под ней три стихотворения.

А чуть выше — «Новое имя» — это уже об Иване Морозове.

Они начинали одновременно. Родился в деревне. В детстве мечтал стать художником, испачкал немало бумаги. Потом переехал в Куйбышев, поступил на завод, на 4-ый ГПЗ. Армия и закалила Ивана, и укрепила его творческую натуру. Он посылает документы в студию при МХАТе в Москву, но невезение — опоздал к началу приемных экзаменов. Так и вспоминается история поступления Василия Шукшина во ВГИК...

И вот декабрь 1963 года. Премьера «Матери». В роли Весовщикова бывший студиец Иван Морозов. Дебют недавнего студийца нашего, теперь Самарского, драматического театра оказался удачей очевидной для всех. Кроме всего, молодому исполнителю, я думаю, крепко помогло его умение чувствовать народный язык Горького.

Так рождался когда-то на нашей самарской сцене русский народный актер (по другому о нем не скажешь, именно — народный) Иван Морозов. У него все герои потом будут добрые, как и герои писателя Ивана Никульшина. Я заметил, что попытки дать неприглядные стороны человеческого характера у Никульшина, как бы сказать, чтобы не обидеть его, не очень удачны... Может, от того, что нет такого душевного опыта у автора? И слава Богу, что нет!

...В театре, кто помоложе, зовут Морозова, дядей Ваней. Доброта и совесть – качества народные. И доброта эта «нутряная», корневая, идущая от глубины народного отношения к жизни.

«Я вас всех помню и люблю, и чтобы я ни делал на сцене нашего театра, я всегда помню, что я кошкинский, а в Кошках живут замечательные люди, и я им желаю всего самого доброго», – это признание Ивана Ивановича своим землякам.

А вот что написала звезда Самарского драматического театра Ершова на фотографии, где они сфотографированы с Иваном Ивановичем: «Ванечка! Ванюша Иванович! Этот «неожиданный ракурс» – свидетельство моего нежного отношения к Тебе – хорошему самобытному актеру! Человеку необыкновенному, неповторимому в своей доброте человеческой...»

С 1960 года и до нынешних дней быть в одном театре дано не каждому и не каждому дано с достоинством пережить многолетние творческие простои. Ведь так далеко еще было до «Старосветских помещиков» Гоголя.

...Если быть более точным, первая роль у Ивана была в начале занятий в студии. Постановщик Петр Львович Монастырский ввел его в уже идущий спектакль «Мария Стюарт».

Ну, а первая роль со словами – Яков Лаптев в спектакле «Егор Булычов и другие».

Потом их было немало, самые любимые из которых для актера: Васильков в «Бешеных деньгах», Маргаритов в «Поздней любви», Иванов и Кузовкин в «Чужом хлебе» и, конечно, деревенский мужик Касьян в «Усвятских шлемоносцах» Е. Носова.

Многим зрителям запомнились его роли в классических пьесах И. Тургенева, А. Островского.

Права была драматург И. Тумановская, сказавшая однажды, что талант Морозова растили «всем миром».

«Весь мир» – это родители артиста, сельская деревенская школа, послевоенная, холодная, с замерзшими чернилами, первая учительница Федотова Клавдия Васильевна, Лия Петровская, первая заразившая его сценой, его педагог по сценической речи и мастерству актера народный артист РСФСР Михаил Гаврилович Лазарев, главный режиссер Петр Львович Монастырский. Играть с такими мастерами сцены как Александр Иванович Демич, Сергей Иванович Пономарев, Варвара Евгеньевна Красова, Николай Николаевич Засухин, Николай Николаевич Кузьмин, Вера Александровна Ершова и другие – разве не школа?! Школа. И школа человеческой доброты.

В свободное время он работает над «безделушками» – из корней деревьев, всевозможных наростов на коре творит чудеса. Под его ножом и резцом рождаются забавные и дивные, чаще добрые, чем злые, загадочные существа. Он и сам мне иногда кажется сотворенным из огромного с развесистой кроной и крепкими корнями дерева прочной, надежной породы, сердцевина которой тонко и по-своему, органично отзывается на все, что вокруг него, надо только суметь прислушаться внимательно, не поддавшись суете наших дней, и, призадумавшись, вдруг обнаружить: есть разные таланты, но есть такие, без которых сама наша жизнь потеряла бы свою основу – талант любить людей, любить мир вокруг себя: небо, поле, речку.

...Я пригласил его на мой творческий вечер в Нефтегорске.

Он читал моим землякам главку «В грозу» из повести «Под открытым небом». И читал ее так, как будто он это сам написал, так ему все было дорого и значительно. Читал с улыбкой, которая не сходила с его лица. Он блаженствовал, и мне казалось, что это не я написал, а он, а то, что там значится моя фамилия – это какое-то недоразумение. Все было как будто из первых рук, словно не было бумаги, пера, автора, издателя. Книги, наконец, самой, а был – Иван Морозов – единственное связующее звено между нами и героями рассказа.

*Не на сложности века –
На себя мне пенять,
Если я человека
Не умею понять.*

Это написал поэт Иван Никульшин, но я уверен под этими строками с готовностью поставил бы свою подпись и артист Иван Морозов.

Когда смотрю на него, всегда вспоминаю, и не я один, мастеров Малого театра – Жарова, Ильинского, в них много общего, но у Ивана Ивановича есть одна особинка, которая для меня несказанно важна, он наш – самарский. И он «Паренек из Кошек» – так о нем когда-то сказала И. Тумановская.

...«Однажды иду по городу и вижу маленькое объявление: «Школа-студия при драмтеатре набирает артистов». Пошел. Приготовил басню и отрывок из «Судьбы человека», где Андрей Соколов пьет водку у немцев. Экзаменаторы: Лазарев, Блюмин, Монастырский, Пономарев, Аренский. Приняли. И сразу же меня поставили стражником в «Марии Стюарт», а я еще гуманитарные экзамены сдать не успел».

Так бесхитростно и просто о себе может рассказывать только очень щедрой души человек.

Я не был на родине Ивана Ивановича и об этом написал ему в стихотворении, которое прочитал на моем вечере в Нефтегорске.

*Взять бы в дорогу какое лукошко,
Хлеба краюху, бутылку вина,
Да потихоньку отправиться в Кошки —
Манит родная твоя сторона.
Не замечая бензиновой гари
По большаку, а потом и проселком,
Дальше уйти от галдящей Самары
И затеряться в березовых колках.
У родничка бы, глядишь, посидели,
Около пня, в окруженье опят.
И помолчали б, а может, попели.
В небо взглянули, а может — в себя.
Много увидели б, много узнали,
Чувствуя рядом друг друга плечо.
Потолковали бы и повздыхали.
Спросят: о чем?*

Враз не скажешь о чем...

Мне очень хочется побывать на родине этого светлого человека, а если бы еще приехать туда вместе с Иваном Никульшиным, то был бы праздник души. Честное слово!

...И артельное дело бы любое сработали. С таким-то мужиками, отчего не сработать!

МОРЕ

Мой новый знакомый рассказывает:

— Из Крыма пришлось уехать. Двадцать лет прожил. Все было нормально. А теперь... Приехали жить к маме в Новокуйбышевск. На улице Успенского — две семьи в двухкомнатной квартире. Ничего, но дети страшно скучают по морю, каждый день вспоминают Мисхор.

...А вчера утром Димка вышел на балкон и кричит оттуда:

— Папа, пап! Морем пахнет, здесь же где-то море рядом. Иди сюда! Все идите!

Вышли с женой на балкон. Глаза у сына светятся.

— Чувствуете! — И радостно ручонками машет. — Ветер с моря.

— Чувствую, — говорю, а сам не знаю, как объяснить, чтобы сына не ушибить.

Я ведь уже надыхался этого моря на нефтеперерабатывающем заводе, куда устроился недавно работать. Порой от сероводорода деваться некуда, а глаза закроешь – похоже очень на морской воздух. И в ушах иногда шум морских волн...

Старший, Виктор, в мореходку собирается. Как я когда-то...

УМЕТЬ ДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ

О каждом из нас можно написать рассказ или повесть. Литература тем и особенна, что ей интересны самые простые, самые незаметные и движения души, и поступки, и дела человека – ибо в них раскрывается природа человеческая, в них ищем мы ответ: какие мы, кто мы на земле, для чего призваны.

О человеке, который и сажал деревья, и вырастил детей, построил вместе с коллективом, им самим созданным, завод, можно писать роман.

Когда-то Лев Толстой говорил, что придет такое время, и авторы не будут сочинять художественную литературу, а будут писать ее с жизни.

Такое время, я думаю, определяют люди. Первый директор нашего завода Анна Сергеевна Федотова была человеком своего времени...

От воли, таланта и ума руководителя в любых политических и экономических условиях зависит очень многое – эту истину, которую мы постигли, выживая в нашу не совсем удачную перестройку. Этому учила и Анна Сергеевна Федотова, как бы готовя нас к будущему, еще тогда, в пятидесятых годах.

Каждый из нас – оглянитесь, внимательнее посмотрите и дай Вам Бог понять, что без труда, самоотверженности, преданности избранному делу – ничего в жизни путного не сделаешь. И наше общество без этих качеств каждого из нас – общество не интересное и ущербное.

...Еще со школьной скамьи меня мучил вопрос: почему российская литература, гении литературы, так много сказав о душе человека, не сказали так же сильно о душе, но в соединении с делами рук человеческих.

«Не одни же Раскольниковы и Печорины были в жизни, – недоумевал иногда я. – Были люди, которые переживали беды, личные драмы, но еще все-таки строили мосты, паровозы, ходили в экспедиции, люди, которые делали жизнь нашу. Где они?» Я с надеждой искал такие книги, но их всегда было мало. Потом пошла другая крайность: если книга о производственниках, то там сплошные битвы за урожай, за сроки, за объемы.

И масштабы, и объемы поглощали рядового работника – от директора до рабочего. Были и исключения, но так редки.

Мне уже немало лет. Я проработал около 15 лет директором завода, который строила и пускала Анна Сергеевна Федотова. А хочется, ох как порой хочется посидеть за одним столом с ней и ее помощниками. И поговорить бы. И не только о заводе. О жизни поговорить!

О том как она, жизнь, строилась. И пусть пришли бы к нашему столу все те, кто работал рядом с ней. И мы посмотрели бы друг на друга. Мы бы нашли о чем поговорить и чему поучиться друг у друга. Может быть, пришлось бы порой и помолчать... Ведь были и ошибки. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Были и промахи, за которые бывает очень досадно...

...Почему-то некоторые думают, что быть директором – это привилегия. Это огромная ноша. И если ты научился поднимать тяжести и нести их, ты можешь быть директором.

А если, научившись нести ношу, ты еще можешь придать этому интеллигентный вид, если твои усилия не будут казаться натужными, если окружающие не будут шарахаться от тебя, несущего неустойчиво на плечах эту глыбу, а наоборот радоваться этому и подставлять добровольно, а не только по приказу, в помощь свое плечо, заразившись твоей энергией, удачливостью и коммуникабельностью – ты директор. Думаю, такой была Федотова.

Я думаю, имею некоторое право сказать свое слово об этой категории тружеников-одиночек.

Я начинал на заводе рабочим. Так вот: ни одна профессия не требует столько душевных и физических сил, как должность первого руководителя. Это уже и не профессия, а образ жизни, когда ни выходные, ни отпуска, ни болезни не заслоняют тебя от твоих обязанностей.

Твой завод с тобой круглые сутки. Неважно, где ты. Только крепкая психика, здоровье, нервы, умение видеть каждого человека и перспективу всего дела, которым занимаешься, знание дела глубже и лучше, чем все остальные, делают из специалиста директора.

Конечно, то, что Анна Федотова оказалась у истоков создания первенца нефтехимии на Среднем Поволжье, в известной степени определяет интерес к ней.

Но ведь главная суть не в этом, а в том, как она вообще делала свое дело. Под грузом огромных производственных забот видела она жизнь простого работника? Понимала ли она истинное – самоценность самой жизни? И видела, и понимала. И это, очевидно, шло у нее не от рассудка, а от сердца, потому-то и тянуло так к ней людей.

Я уверен: большинство людей, работавших с ней, да и она сама, окажись в водовороте на порядок выше, масштабнее события, чем строительство, скажем, не очень большого, хотя и важного химического завода, — они и на более крупных стройках достигли бы успехов, ибо велика была жажда действовать.

Но вопрос в том: теряется или нет интерес к человеку при огромных масштабах дела? Если сохраняется и умножается, как в случае с директором Федотовой, это замечательно. Ее радость, боль, надежды раздробились на тысячи сверкающих благодарной памятью осколков, и они, будучи, казалось бы, разрозненными, эти осколки, порой причудливым образом соединяясь вместе, дают такую мозаичную светлую картину происходившего, что становится радостно на душе.

ПОЧЕТНЫЙ САДОВНИК «ГОСПОДИН ЛАПТЕФФ»

Небольшой немецкий городок Бад-Гацбург нас поразили своей ухоженностью и аккуратностью. Тогда в 1987 году не так уж часто и немногим из нас, производственников, удавалось бывать за границей. Удивляться было чему: на наших глазах рабочие шампунем мыли кирпичный забор и тротуар во дворе здания, где располагались аудитории академии менеджмента, в которой мы обучались. Мыли шампунем — настоящим тогда дефицитом в России. Медные водосточные трубы, аккуратно соединенные с канализационными колодцами, привели большинство из нас в замешательство.

Больше всего в первый день меня поразили березы во дворе нашего отеля. Помня по книгам, по фильмам, особую, нездоровую страсть немцев к нашим березам, я полагал, что у них этого дерева нет, оказалось по-другому. Обычные наши березы, приветливые и такие привычные глазу, белели повсюду.

Потом, когда я оказался в Америке, и там мне пришлось удивляться березам. В Блумфельде, на зеленой лужайке перед домом хозяина, господина Меддока, пригласившего нас к себе, красовались березы. Правда, хозяин их называл серебристыми березами, делая акцент на «серебристые». И впрямь: листочки их были как бы посыпаны слегка серебристой пылью и оттого-то теряли простодушную прелесть и казались модницами, приготовившимися на бал, заботливо и прихотливо...

Лекции по основам менеджмента нам читал профессор Хен. По его словам выходило, что он участвовал в разработке программ по восстановлению промышленности ФРГ после войны и часто нам рассказывал об этом периоде своей жизни.

Видимо, профессор действительно знал и жизнь, и свой предмет, но вот нас, русских... ему приходилось изучать на ходу.

Когда он рассказал нам, директорам, как лучше всего строить свой рабочий день, мой сосед слева – Виктор Лаптев, генеральный директор одного из крупных нефтехимических заводов в Сибири, пробасил себе под нос:

– Так не бывает.

Фраза прозвучала громко и профессор попросил пояснить сказанное.

– Не всегда я могу так четко планировать свой рабочий день, как предлагаете вы.

– Почему? – допытывался дотошный немец.

– А меня могут в один день с утра пригласить в горком партии, в обком партии, в исполком и еще в кучу учреждений, куда я не могу не ехать лично.

– Да-да, – вежливо согласился профессор, – в такой дерганной системе работать нельзя. Мы ей дали название «инфарктная». Нам это известно.

– Вот те ну? – удивился сибиряк. – Зачем же тогда преподавать?

– Мы учим работать вообще, то есть в условиях нормальных.

Лаптев, кажется, понял, но ненадолго. В следующий раз, когда речь шла об организации производства, он опять задал вопрос:

– Господин профессор, вот вы говорите, что все построено на четкости, ритме, что, например, на участок железобетонных изделий вагон с цементом должен прибыть в четверг в четырнадцать часов.

– Да, так точно, это естественно.

– «Естественно», – ужаснулся Лаптев и обвел аудиторию ошалелым взглядом. – Вот рядом со мной сидит мой коллега Александр из Самары, – он указал на меня, – если он закажет цемент на четверг, то вагон запросто может прибыть на пару дней позже, и уж не к четырнадцати ноль-ноль. А может прибыть и не в Самару, а проскочить в Сызрань и службы будут искать его чуть ли не неделю, верно? – добавил мой сосед справа.

Он обратился с вопросом ко мне и я кивнул согласно головой.

Аудитория притихла, зная наперед, очевидно, ответ профессора.

– Молодой человек, что вы хотите, в таких условиях нельзя работать, эти условия экстремальные. А я говорю о рутинных, обычных делах.

Наш Виктор Иванович после таких ответов сник и перестал задавать свои неудобные для опытного профессора вопросы.

Правда, один раз он еще сделал попытку кое в чем разобраться, но опять получилось, ну просто, черт знает что.

На этот раз он спросил госпожу Беме, как компенсируют вредные условия труда на химических предприятиях, дают ли работникам, как у нас, молоко.

— Зачем? — удивилась госпожа Беме.

— Как зачем, чтобы нейтрализовать в организмах отраву, — справедливо возмутился Лаптев. — У нас на заводах так делают. Это же забота о здоровье рабочих.

— А зачем сначала травить, чтобы потом давать молоко? Лучше ведь не травить вообще. Сегодня должны работать такие технологии, чистые.

...На следующий день Лаптева в аудитории не оказалось. А чуть позже мы все его увидели на зеленой лужайке перед окнами нашего класса. Он косил газонной косилкой траву. Когда мы вышли после занятий, пахло подвяленной зеленью, знакомый запах враз напомнил мне наше Заволжье и деревенский сенокос.

Оказывается, Виктор Иванович давно приметил косилку, а вот теперь, договорившись с рабочими, завладел ею.

— Здесь интереснее, — простодушно улыбаясь, односложно пояснил он. Потом добавил: — Учиться работать надо в наших условиях, а не в их стерильных...

И стал, нагнувшись, что-то поправлять в агрегате. Косилка, конечно, нам всем была в новинку. На электрической тяге, компактная, ярко рыжего цвета — она была словно игрушка для взрослых. Мы потянулись к ней. Каждому хотелось потрогать, но Лаптев был строг. Как-то так получилось, что все приняли только его право на косилку, они подходили друг другу — косилка и генеральный директор, крестьянский сын из далекого сибирского села. У него и фамилия-то как бы доказывала и подтверждала его особые права.

Подошедший профессор Хен дружелюбно похлопал косца по плечу. Я побоялся, глядя на него, увидеть оттенок снисходительности или иронии, но их, к радости, не было. Было нечто похожее на озабоченность, так мне показалось. Старый профессор хотел, мне кажется, быть понятным всем, в том числе и вот этому светловолосому русскому, бросившему свой парадный галстук и пиджак на скошенный газон. Более того, немец, кажется, понимал, что этот русский не так прост.

На другой день повторилось тоже самое. Мы сидели на лекции, а Лаптев косил траву, благо лужайка была приличных размеров. Так он тихо протестовал. Потом мы узнали, что его приятель записывал лекции профессора Хена на диктофон.

...Лаптев упрямо укладывал свои рядки и прямо накануне защиты наших выпускных работ. К его косьбе все уже привыкли.

Когда же нам вручали дипломы, профессор Хен подготовил маленький сюрприз: после основного диплома «господин Лаптефф» был за особое усердие и трудолюбие награжден дипломом «Почетный садовник».

Так мы и звали потом Лаптева «почетным садовником». Отзывался он, не обижаясь, на такое обращение и много позже, когда уже защитил докторскую диссертацию.

ЧЕРНЫЕ ЯЩИКИ РОССИИ

16 ноября 2000 года. 10-й съезд писателей России. Первый день. Очень пожалел, что не взял с собой диктофон.

Писательский дом в Хамовниках собрал известных литераторов России. Валентин Распутин, Виктор Лихоносов, Валерий Ганичев, Михаил Алексеев, Василий Белов, Юрий Кузнецов, Станислав Куняев и много-много других, тех, кого я читал, но видел и слышал впервые...

Одна из мощнейших творческих организаций страны показала на съезде, что она выстояла, выжила. Созданный сорок лет назад Союз писателей России, объединяющий более пяти тысяч человек (90 процентов литераторов России), ведет огромную работу по поддержанию единого духовно-культурного пространства и формированию державно-патриотического образа Отечества.

Странные впечатления были от многолюдья, встреч, разговоров, от рукопожатий тех, кто составляет суть нашей литературы, от зияющей пропасти, разделяющей истинную ценность для страны дела, которому служит наша литература и того безразличия, которое наше государство проявляет к писателям. Вся система ценностей (если вообще таковая система есть), которую выдвинули нынешние реформы, обнаружила бессилие в создании чего-либо значимого в области культуры, литературы. Все стоящее, что когда-то было создано и создается в литературе, крепится отрицанием духа наживы и совестью. Все, что сейчас выходит истинного из-под пера достойного литератора — низкооплачиваемо. Понятие гонора исчезает повсеместно.

Увы, то, что случилось в промышленности, то случилось и в Союзе писателей. Так называемая социальная сфера, «социалка» не только урезана, но подрезана под корень. У Союза нет ни фондов, ни путевок. Нет никакого подспорья, помогающего литератору трудиться. Конечно же, нужен закон о защите русского языка, нужен закон (его надо сроч-

но принять) о творческих союзах, который прошел думские чтения, но не был подписан президентом Ельциным.

Собственность, отнятая у писателей приватизацией, конечно же, должна быть возвращена Литературному фонду. Дома творчества должны вернуться прежним владельцам.

От многих, в том числе и от Председателя Союза писателей Валерия Николаевича Ганичева, отрадно было слышать, и соглашаться, что на смену писателям старшего поколения, таких как Валентин Распутин, Василий Белов, Петр Проскурин, Юрий Кузнецов и других идет новое сильное поколение уже известных многим в стране литераторов.

Имена моих земляков Евгения Семичева и Дианы Кан не затерялись среди других и звучали крепко. Я и порадовался за них и еще раз ужаснулся, вспомнив их бытовые злоключения, которые, казалось бы, могли заглушить любое творчество, но нет — крепки мои земляки.

...Как-то по будничному, безо всякой официозности, но основательно открыл съезд Герой Социалистического Труда Михаил Алексеев, участвовавший в работе всех, кроме 1-ого, съездов писателей.

В президиуме: Валерий Николаевич Ганичев, Валентина Ивановна Матвиенко — заместитель главы Правительства, Валентин Григорьевич Распутин, Василий Иванович Белов, Сергей Артамонович Лыкошин и другие.

Простуженным голосом Ганичев сделал доклад и пошла черед выступавших: Феликс Федосьевич Кузнецов — директор Института мировой литературы, подробнее, чем это было обнародовано накануне в газетах, прокомментировал сенсацию, связанную с находкой рукописи великого романа «Тихий Дон», затем выступила Валентина Ивановна Матвиенко.

...И вдруг: выступление Мирзо Давыдова.

«Обстановка в Дагестане и голос писателя», — так оно называлось. Давая слово Давыдову, Лыкошин сказал, что Мирзо представляет страну, в которой произошли такие события, которые могут быть и в России.

Начав выступление с того, что передал привет съезду от Расула Гамзатова, Мирзо сообщил, что поэт, к сожалению, болен и не смог приехать. Но по мере сил работает и уже заканчивает поэму «Черный ящик».

— Как? — невольно вырвалось у меня.

Мой сосед Александр Лысенко — издатель из Орла, удивленно посмотрел на меня, а я показал ему мою повесть «Черный ящик», вышедшую года два назад в Самаре.

— Потом, надо записывать, что говорится. Потом.

– Да, надо запоминать или записывать, – спохватился я, это же все неповторимо, все уйдет, как в песок. Буду потом жалеть. Надо побыть самому сейчас «черным ящиком».

...Теперь вот пересматриваю свои отрывочные торопливые записи и многое нахожу в памяти дополнительно. Но, если бы не было этой протокольной фиксации, очевидно, не было бы многого, что я вынес со съезда.

Вот первая фраза, которую я записал на слух из доклада Председателя: «Думаю, что вполне уместно «вето» на такие формулировки, как «Россия гибнет», «спасать Россию». Хватит вкладывать в молодое сознание гибельные мыслеформы. Надо по-настоящему широко представить нашему человеку, нашему обществу реальный ход духовного стояния, крестный ход отечественной культуры, литературный процесс и протест, который идет в стране».

Далее, говоря о книге Ланшикова «Черeda окаянных дней», он цитирует из нее: «Делали вид, будто метили в коммунизм, а попали туда, куда и метили на самом деле, – в Россию».

«...Николай Переяслов обладает даром высвечивать заметные литературные явления русской провинции. Диву даешься, сколько он читает, сколько внимателен к зарождающимся тенденциям, к погрешностям и бедам нашей литературы. Его обзоры в «Роман-газете-XXI век», в «Литературной России», в «Дне литературы» – это хороший, добротный материал».

Эти слова я записывал с особым чувством. Николай Переяслов совсем недавно жил и работал у нас в Самаре и, уехав в Москву, не потерялся, а вовсе наоборот, голос его зазвучал сильнее и многоголосно.

Листаю свою толстую записную книжку – мой сегодняшний «черный ящик» и попадаю на слова Достоевского, приведенные на съезде: «Богатство прибывает, а душа убывает». Далее: «Говорить мы научились – научиться бы теперь молчать».

«Леонид Леонов – последний гений XX века», – это произнес Валерий Ганичев. В моем «черном ящике» эта фраза подчеркнута жирной чертой.

А через пару страниц – из выступления Валентина Распутина: «Мы оказались не там, где мы должны быть... Литература питается энергией ответной волны... За десять лет число читателей сократилось в тысячу раз». И далее то, о чем я думал не раз: «Литература привела к революции, и она же спасла Россию после революции. Большевики не уничтожили русскую классику и она спасла Россию». «Труд – это совесть, а

его героизировали большевики». «Вторая революция (перестройка) – подлее, чем первая».

Из не очень внятного выступления Василия Белова осталась одна четкая запись: «Чужебесие – главная причина разложения России».

«Но ведь и определенной части и нашего общества от свалившейся свободы надо перебеситься, – подумалось мне. – Нашей доморощенной бесовщины хватает».

В перерыве съезда ко мне подошел Александр Громов, земляк, издатель моей повести «Черный ящик».

– Ну, как впечатление?

– Я обескуражен тем, что Гамзатов пишет «Черный ящик». Это как наваждение.

– Почему? – совершенно спокойно возразил мой земляк. – Вы же сами пишете в своей повести, что все мы в одном самолете и все мы не знаем, когда и как приземлимся, помните?

– Ну, конечно!

– Так, там же далее вы говорите, что мы все – пассажиры и в каждом из нас сидит свой черный ящик – регистратор событий. Так Расул – тоже пассажир, не лишайте его места в нашем самолете и успокойтесь: у него свой «черный ящик». До своего срока он молчит.

– Да, но вот название, его и мое, оно...

– Разве же дело в названии, дело в ощущении. Выходит, вы, как автор, попали в точку. Многие так себя чувствуют, а пишущие тем более, особенно, когда написанное большинству очень трудно издать. Безденежье губит.

Он метнулся в сторону и пропал из виду, а я спустился на первый этаж и пошел в задумчивости по коридору в конец его, где обычно находился Николай Переяслов. Безотчетно, очевидно, направляясь поговорить с ним.

И тут я встретил Мирзо Давыдова. Сразу разговорились. Я попросил передать Расулу Гамзатову книжку «Под открытым небом». У меня была и «Черный ящик», но я почему-то не решился ее предложить. Мы обменялись адресами и телефонами. Мирзо обещал на следующий год приехать на Волгу, а я с радостью пригласил его к себе в Самару. Как теперь они там?

...Феликс Кузнецов рассказал о том, как нашлась рукопись «Тихого Дона». Выходило, что рукопись 1-ого и 2-ого томов существует, ксерокопия шолоховского текста находится в ИМЛИ и над ней работают специалисты-шолоховеды. Центр криминальной экспертизы, изучив тридцать страниц рукописи, подтвердил, что текст написан рукой Шолохова. С

учетом того, что сто сорок страниц рукописи 4-го тома хранятся в Пушкинском Доме в Санкт-Петербурге, то разговорам о каком-то якобы плагиате пришел конец. Получалось, что работники института давно уже знали о существовании рукописи, но не могли выйти на ее след. Журналисту Льву Колодному удалось это сделать. Можно, очевидно, надеяться, что пересуды вокруг авторства величайшего романа XX века прекратятся. И слава Богу!

...Имя Шолохова завораживало меня с детства. Я хорошо помню, как вошел в освещенную солнцем горницу в доме деда и на столе увидел эту удивительную книгу, только что принесенную из библиотеки дядькой Алексеем, «Тихий Дон». Читал я тогда запойно и к концу 4-ой книги вдруг обнаружил, что мое зрение резко село. Конечно, сказалось предыдущее мое увлечение приключенческими романами, они и подорвали мое зрение, но именно после «Тихого Дона» мне пришлось пойти к врачу и ужас: от него я вышел с рецептом на очки. В конце пятидесятых годов, в сельской школе это было как приговор. «Очкарики» были в школе всегда презираемы, мне предстояло выдержать невеселые испытания... Правда, у меня были крепкие кулаки...

...Сегодняшней ночью, душной и долгой, приснился сон, а вернее, во сне увидел зримо, как в яви, написанную Вадимом Телицыным в его книге «Нестор Махно» сцену:

«У села Макеевка махновцы ведут приговоренных к расстрелу двадцать бойцов-продотрядовцев, оказавших сопротивление и прославившихся в округе особой жестокостью. На выходе из села встретились с самим Махно.

— Кто таков? — обратился Нестор Иванович к подростку.

— Шолохов, Мишка...

— Годков-то сколько?

— Пятнадцать...

Покачал головой грозный батька и скомандовал охране:

— Отпустить его, пусть подрастет и осознает, что делает. А нет, в другой раз — повесим...»

Так ли это было на самом деле, но прочитанное совсем недавно постоянно возникает в памяти и все время в связи с другой трагической и светлой фигурой Федора Дмитриевича Крюкова, известного в свое время на весь Дон, на всю Россию писателя. Книги его издавали Петербург, Москва, Ростов.

«...Странное дело: меня давно уже, еще до перестройки, не очень-то волновал вопрос авторства «Тихого Дона». Мне однажды почему-то подумалось, что, может быть, и нет никакой разницы, кто написал эту

великую книгу. Один из русских. Как «Слово о полку Игореве» и этого достаточно для русского человека, чья судьба на таком сейчас изломе, что авторство — это частное дело, касающееся автора, родственников да литературоведов, а русский народ: это и Шолохов, и Федор Крюков, о котором вы говорите, и тысячи, тысячи людей. И что изменилось бы сейчас, теперь, в судьбе и сознании русского человека, если бы автором оказался белогвардейский офицер, а не красный продотрядовец? По большому счету, ничего», — это сказал мне попутчик. Мы ехали в одном купе, он сошел в Сызрани. Бывший директор школы, теперь пенсионер.

Можно ли так думать нам, русским? Благо ли то, что мы поняли наконец, что мы все — и белые, и красные — русские? Конечно, благо. Пора понять. Но здесь же вопрос не в этом...

«Если бы книга вообще не появилась на свет, была бы зияющая воронка», — так думал я и боялся своих мыслей, ибо Шолохов был мой любимый с детских лет писатель. При жизни Шолохова, при советской власти — авторство имело особую окраску. А теперь? Народный роман был рожден народом. Вправе ли так думать? Можно ли? Конечно же, автор Шолохов. Все говорит об этом. И для меня это очевидно.

...Но были и другие «казаки». Так уж получилось, что незадолго до съезда попала мне «Забытая книга» Федора Крюкова, и я неотрывно думал о судьбе ее автора, без всякой связи с авторством «Тихого Дона», но с удивлением человека, услышавшего «черный ящик» человека, о котором молчали более семидесяти лет. И почему все-таки его великий земляк Шолохов не обмолвился об этом ни разу? «Время было такое», — уговаривал я себя. Время было такое, что, проявив неслыханное мужество в написании своего романа, великому писателю хватило мудрости и терпения о многом молчать... Так я думаю, пытаюсь оправдаться за свои непутевые мысли.

Опять «черный ящик». И доступен ли он будет когда-нибудь. Не случится ли так, что когда-то мы узнаем от самого Шолохова причину забвения Крюкова. Из его «черного ящика».

...Вот уж действительно:

«Братья-писатели! В нашей судьбе

Что-то лежит роковое...»

«Рукописи не горят — но слишком часто время сжигает их авторов...»

Федор Дмитриевич Крюков с 1892 по 1920 год написал и напечатал, в основном в периодической печати, около двухсот пятидесяти повестей, рассказов, очерков, воспоминаний, рецензий, стихотворений в

прозе. Отдельным изданием вышли только два сборника его произведений. Оба дореволюционные.

Писатель родился 2 февраля 1870 года в станице Глазуновской на Верхнем Дону и прожил на свете 50 лет, образование получил в Петербурге, работал учителем в Орле, Нижнем Новгороде, в столице работал библиотекарем, журналистом, в первую мировую войну – корреспондентом на фронте. Семья у писателя была исконно казацкая. Отец был станичным атаманом в Глазунах, справедливым и строгим.

Вот что пишет Георгий Миронов о Крюкове: «В Гражданскую сказался прямой, несгибаемый характер «казака»: никогда не искал компромиссов, был до конца правдив в жизни, в творчестве, как теперь в общественной борьбе. По таланту и месту в схватке оказалось значительным: кандидат в учредительное собрание от Войска Донского, секретарь Большого войскового круга (местного парламента), редактор «Донских ведомостей» – официоза Донского правительства, активный публицист ряда изданий юга России, а в пору белого похода пошел в ряды войск... Ф. Д. не пожелал остаться в тылу. «Никто не должен упрекать нас в том, что мы лишь звали на бой, а сами остаемся в тылу», – говорил он. Писатель остался до конца патриотом родного Дона. В забитой отступающим войском и горькими таборами беженцев прикубанской станице Новокорсунской ему вроде и места на кладбище не нашлось. Стреляли в блеклое зимнее небо из карабинов, наганов и плакали пропавшие потом, махоркой и порохом неслезливые фронтовики. «Какой человек ушел!.. «Не сберегли для Дона, для России...» «Прощай Митрич – светлая душа, пусть будет тебе пухом кубанская земля...»

...Читаешь ли его повесть «Казачка» или другие вещи: «В родных местах», «Картинки школьной жизни» – везде автор любит быт, особенно казачий. Везде любит правду, нигде не позволяет себе фантазировать, во всем правда изображения, высокое достигается безо всякого полета фантазии.

«Его рассказы – ряд смиренных красавиц без притираний на свежих лицах, без великих ухищрений в костюмах, но за этой простой наружностью чувствуется благородство врожденного вкуса и сила здоровья». (Пинус С. А. «Бытописатели Дона. Родимый край».)

...За несколько дней, в течение которых я прочитал все, что достал о Крюкове, я влюбился в него. Почти что целые сутки безвылазно провел в Москве в номере гостиницы «Ленинградская», запоем читая рассказы Крюкова, так же как когда-то читал «Тихий Дон» Шолохова. Донщина вновь покорила своими запахами, красками, характерами. «На речке лазоревой» – так называется рассказ у Крюкова, а ко мне слово

«лазоревый» пришло от Шолохова, тогда еще, когда я мальчишкой открывал для себя мир донских рассказов. Как и слово «майдан», которое почему-то меня заворожило своим звучанием тоже с детства.

«Край родной

Родимый край... Как ласка матери, как нежный зов ее над колыбелью, теплом и радостью трепещет в сердце волшебный звук знакомых слов... Чуть тает тихий свет зари, звенит сверчок над лавкой в уголку, из серебра узор чеканит в окошке месяц молодой... Укропом пахнет с огорода... Родимый край...

Кресты родных могил, и над левадой дым кизячный, и пятна белых куреней в зеленой раме рощ вербовых, гумно с буреющей соломой, и журавец, застывший в думе, – волнуют сердце мне сильнее всех дивных стран за дальними морями, где красота природы и искусство создали мир очарованья.

Тебя люблю, родимый край... И тихих вод твоих осоку, и серебро песочных кос, плач чибиса, в куте зеленой, песнь хороводов на заре, и в праздник шум станичного майдана, и старый, милый Дон – не променяю ни на что... Родимый край...

Напев протяжный песен старины, тоска и удаль, красота разгула и грусть безбрежная щемят мне сердце сладкой болью печали, невыразимо близкой и родной... Молчанье мудрое седых курганов, и в небе клекот сизого орла, в жемчужном мареве виденья зипунных рыцарей былых, поливших кровью молодецкой, усеявших казацкими костями простор зеленый и родной... Не ты ли это, родимый край?

Во дни безвременья, в годину смутного развала и паденья духа я, ненавидя и любя, слезами горькими оплакивал тебя, мой край родной... Но все же верил, все же ждал: за дедовский завет и за родной свой угол, за честь казачества взметнет волну наш Дон седой... Вскипит, взволнуется и кликнет клич – клич чести и свободы...

И взволновался тихий Дон... Клубится по дорогам пыль, ржут кони, блещут пики... Звучат родные песни, серебристый подголосок звенит вдали, как нежная струна... Звенит, и плачет, и зовет. То край родной восстал за честь Отчизны, за славу дедов и отцов, за свой порог родной и угол...

Кипит волной, зовет на бой родимый Дон... За честь Отчизны, за казачье имя кипит, волнуется, шумит седой наш Дон, – родимый край!..»

Это стихотворение Федора Крюкова меня в себе просто растворило. Я заснул, читая его поздно ночью под стук колес и с самого раннего

утра на следующий день, взяв вновь книгу в руки, был во власти его ритмов.

...Каждый из этих двух певцов Тихого Дона — и Шолохов, и Крюков — по-своему необычайно сильно любили казачество. Намного старший по возрасту Федор Крюков успел-таки сказать свое выстраданное. И мы теперь услышали его голос и почувствовали силу его духа. Нельзя не почувствовать: «Во дни безвременья, в годину смутного развала и падения духа я, ненавидя и любя, слезами горькими оплакивал тебя, мой край родной... Но все же верил...» Это не строки из стихотворения. Это судьба человека, судьба нашей России.

...Я отложил книгу и посмотрел в окно, самарский фирменный поезд «Жигули» выскочил на мост через Волгу, позади была Москва, впереди — родимый край! Огромное спокойное водное пространство и вся округа там вдали на берегу жила своей жизнью. Все было покойно и будто не смотрели во сне на меня сегодня ночью из смуты начала двадцатого века два человека и третий, сохранивший с легкостью необычайной одному из них жизнь...

Вот так неожиданно соединил в моем сознании съезд писателей два имени: Михаил Шолохов и Федор Крюков.

...А чуть позже свершилось важное и нужное дело. Выполнено завещание великого русского писателя Ивана Сергеевича Шмелева. Писателя и его жену Ольгу Александровну похоронили на родине, на кладбище Даниловского монастыря, рядом с могилой отца. Русский писатель проделал свой последний путь от кладбища в Сен-Женевье-де-Буа под Парижем до Москвы. И в самом центре Замоскворечья при пересечении Большого Толмачевского и Лаврушинского переулков был открыт памятник писателю.

Панихиду по Ивану Шмелеву провел святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексей II.

Еще один писатель встал в полный рост и фигура его меня неодолимо влечет к себе.

...Я видел с каким интересом, а вернее, как запойно читала моя дочка его «Лето Господне». Открывая мир неизвестный и завораживающий. А впереди у молодого читателя «Богомолье», «Няня из Москвы» и «Пути Небесные». Дошел-таки светлый лучик, через пятьдесят лет после смерти, от покинувшего Россию в 22 году при всеобщем изгнании из страны самого цвета русской культуры писателя до своей страны. Кто знал после Октября его имя? Совсем немногие. Ему удалось больше, чем Федору Крюкову и многим-многим другим. Уже до революции было издано собрание сочинений. Пророческое предсказание старца Варнавы в обите-

ли Троице-Сергиевой Лавры: «Превознесешь талантом своим», – сбылось. Это было сказано еще юноше, с детских лет читающему Евангелие и молитвеники.

Какие разные судьбы у этих писателей. И какая сила любви к своему народу, к языку русскому.

В САМАРСКОМ ЕПАРХИАЛЬНОМ МУЗЕЕ

Наконец-то сбылось мое давнее желание: 14 мая 1997 года открылся Самарский епархиальный церковно-исторический музей, созданный по инициативе архиепископа Самарского и Сызранского Сергия.

Экспозиция музея освещает историю самарской епархии с момента ее основания, а также знакомит посетителей с памятниками церковного искусства нашего края.

Один из разделов музея посвящен Утевскому художнику Григорию Журавлеву. Я рад, что наконец-то материалы о Григории Журавлеве оказались в надежных руках и они не будут утеряны, как это случилось в школьном утевском музее, и не забудутся где-то в дальних запасниках, как это было в краеведческом областном музее.

Я помню, с каким интересом архиепископ Сергей держал в руках мою рукопись книги о художнике «Радостная встреча». Он тогда благословил рукопись и дал особый свет моей книге о земляке. И этот свет, и свет, идущий издалека от Журавлева и его сподвижников помогал мне. Я это чувствую постоянно.

«Призываю Божие благословение на автора и его повесть, открывающую людям путь к Свету и Правде», – эти слова из посвящения, предва- рившего книгу, и до сей поры по-особому освещают все мои поиски, связанные с жизнью Григория Журавлева, художника-самородка, чьи иконы разошлись по всей Руси и за ее пределы.

...А несколько раньше, после выхода моего очерка в «Волжской коммуне» «Утевские находки» архиепископ живо расспрашивал о том, где и что еще сохранилось из написанного художником.

...Сейчас в музее находится пять икон Журавлева. Три из них переданы на временное экспонирование из Самарского областного историко-краеведческого музея имени П. В. Алабина. Это – «Млекопитательница», «Пресвятая Богородица Смоленская» и «Святой Дмитрий Салунский». Четвертая – «Жены Мироносицы» из Утевского Троицкого храма.

А вот пятая! О ней особый разговор. Было известно, что где-то в Казахстане есть икона Журавлева, очевидно, о ней писал когда-то журналист из Свердловска Е. Девиков утевскому краеведу К. Данилову. И

она нашлась! И помогло этому создание экспозиции о художнике в музее. Эта находка как отклик. Икону передал епархиальному музею отец Алексей Мокиевский, который служит в одной из русских церквей в Казахстане в городе Хромтау. Подарил он ее 1 января 1999 года. Икона деревянная. На ней изображены святые Кирилл и Мефодий.

Надпись гласит: «Сия икона писана зубами в Самарской губернии Бузулукского уезда Утевской волости такого же села крестьянином Григорием Журавлевым, безруким и безногим. 1885 г. 2 сентября».

Икона средних размеров, схожих с иконой «Млекопитательница», о которой я уже писал.

Когда уходил из музея, хранительница его Ольга Ивановна Радченко дала мне адрес Алексея Мокиевского, и мне предстояла встреча, очевидно, с интересным человеком, прикоснувшимся к истории о Журавлеве.

И уж совсем неожиданно я вдруг узнал, что в церкви святых Петра и Павла есть копия иконы «Взыскание погибших», сделанная Журавлевым. Мне вновь предстояла радостная встреча. Я уходил из музея окрыленным.

ДАР ВЕРЫ

С тех пор, как я стал заниматься сбором материалов о моем земляке — безногом и безруком художнике Григории Журавлеве, судьба подарила мне немало интересных находок и встреч. Григорий Журавлев удивительным образом соединяет совсем незнакомых людей и ни время, ни расстояния тому не помеха. Этот его дар совершенно уникален. Моя книжечка «Радостная встреча» стала для меня проводником и в городах, и в селах. Меня по ней узнают на улицах. Совсем незнакомые люди становятся близкими по духу. Объединяющая и соединяющая сила дара моего земляка огромна и органична. Просветление лиц и душ, при упоминании его имени, происходит на глазах. Мы, и обезручившие, и обезножившие в своем пути к лучшей жизни, запутавшиеся в своей безобразной перестройке, все силы положившие на выживание, вдруг обнаруживаем в Журавлеве столько силы и духа, что становится совестно за свое безверие и слабость.

...Совсем недавно новое имя, новую встречу подарил мне Григорий Журавлев. Имя этого человека Борис Григорьевич Криницин.

В церковноархеологическом кабинете в Сергиевом Посаде он увидел мою книжку о Журавлеве. В тот же день, попросив на время, он прочел ее и загорелся написать сценарий документального фильма. Как потом он мне рассказывал, сценарий был послан на конкурсный отбор высшему

киношному руководству. Среди десятков сценариев занял первое место, и Российская киностудия документальных фильмов «Отечество» получила финансирование для съемок фильма.

И вот сценарист и режиссер будущего фильма Борис Криницин и оператор Геннадий Макухин сидят у меня в самарской квартире. Мы слушаем воспоминания девяностолетнего старика Корнева о Журавлеве. Эту магнитофонную запись я сделал около десяти лет назад. Старика Корнеева давно уже нет, дом, где родился и жил Григорий Журавлев, внешне изменился неузнаваемо. Деревянный сруб пятистенника новые хозяева обложили кирпичом. Не изменился записанный на пленку голос старика Корнева. Удивительно завораживает он своей чистотой и ясностью мысли. Все, что смог сделать безрукий художник-иконописец и что потом смогли сохранить люди из его икон, Николай Федорович дает одно объяснение:

— Вера.

Два следующих дня Криницин и Макухин вели съемки в епархии, в музее, а на третий день я отвез их в мою Утевку, на родину Григория Журавлева. Там, под надежным крылом директора школы Валерия Ивановича Кузнецова, они и пробыли неделю. Жили в лесу, в трудовом лагере около большого озера — Лещевое. Я приехал к ним под конец съемок. Их было не узнать. Такие же интеллигентные, сдержанные, негромкие, неторопливые, они были самими собой и здесь. Но... лица! Они стали открытее, взгляд стал мягче и спокойнее...

Я приехал не один, а пригласил с собой несколько человек, своих главных специалистов. Проветриться.

...Купались в Самарке, сидели на желтеньком песочке, разговоры разговаривали. Обо всем сразу. О главном и о мелочах жизни. Попели русские песни на обрывистом песчаном берегу...

Материала о художнике оказалось вовсе не на пятнадцать минут, а, как минимум, вдвое больше. И у Бориса Григорьевича уже роились мысли, как пробить вторую часть сценария. Мы с ним саженьками, как в детстве, переплыли быстрюку Самарку, нас снесло течением вниз и не спеша потом шли по пояс в воде вверх, намереваясь вернуться к костру.

— Я посмотрел за эту неделю на жизнь сельскую, на вас всех сегодня, знаете, Россия жива... она вечно будет жить, ее не побороть и на поле брани, и никакими хитроумными планами из-за моря.

— Но разве это не видно в столице?

— Слишком много суеты в Москве...

Я взглянул на него, на его иконный лик и мне вдруг показалось, что это не он, режиссер Криницин, а Григорий Журавлев смотрит на меня и на всех нас. Смотрит выжидательно и с надеждой.

Когда прощались, Борис Григорьевич обронил:

– Вы знаете, у меня набралось материала для следующего документального фильма о вашем селе минут на сорок-пятьдесят, о вас, о нас, россиянах, живущих сейчас. Это надо делать, пока мы живы. Нам надо самим о себе сказать.

Я не возражал ему. За семь дней, которые мы были знакомы, мы начали о многом одинаково думать. И верить одинаково.

Он уехал в Москву монтировать фильм, а у меня на столе остался его подарок: копия сценария фильма о Григории Журавлеве «Дар веры».

Прошла неделя, я несколько уже раз перечитал сценарий, и все-то мне кажется: самое заветное о Журавлеве так пока и не сказано...

УТРЕННИЙ СВЕТ

Довольно странной была эта моя поездка... Вначале пришло письмо: «Уважаемый Александр Станиславович

От имени организационного комитета программы «ЭРТСМЕЙКЕР-2000» имею честь пригласить Вас к участию в последней церемонии награждения уходящего века. Причастность к данному событию позволит Вам войти в следующее тысячелетие с почетным званием лауреата награды «ЭРТСМЕЙКЕР-2000», что в вольном переводе на русский язык звучит, как «ЧЕЛОВЕК, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ЛИЦО ПЛАНЕТЫ».

По результатам исследования, проведенного независимыми экспертами на основании информации, полученной из авторитетных источников, Ваше предприятие удостоено международной награды «ЭРТСМЕЙКЕР-2000» в номинации «ЗА ДИНАМИКУ И ПРОГРЕСС ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ПОСТКРИЗИСНОЙ ЭКОНОМКИ», а Вы лично, как его руководитель, удостоены персональной награды «ЭРТСМЕЙКЕР-2000» в номинации «ЗА ПРОЯВЛЕНИЕ ВОЛИ ЛИДЕРА И УПРОЧЕНИЕ ПОЗИЦИЙ СВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ».

В динамично меняющихся условиях современного мира залогом успеха в делах является изучение и адекватная оценка потенциального партнера на предмет его предсказуемости и надежности. Ценность информации в этой сфере оправдывает постоянные и дорогостоящие усилия. С этой точки зрения заслуженная Вами награда «ЭРТСМЕЙКЕР-2000» является еще одним способом укрепления Вашего имиджа и развития атмосферы доверия в деловом мире.

Во время торжественной церемонии награждения, проводимой в Швейцарии с 21 по 27 декабря 1999 г., Вам будут вручены художественно выполненные символы нашей награды – хрустальный рыцарь «ЭРТСМЕЙКЕР-2000» и золотой нагрудный знак, а также корпоративный и персональный дипломы. Эти регалии станут свидетельством Вашей принадлежности к сообществу лидеров различных отраслей промышленности, науки, культуры и здравоохранения XXI века.

С уважением и наилучшими пожеланиями,

Питер Мамо

Действительный член Института банкиров в Лондоне
Президент международной программы «ЭРТСМЕЙКЕР-2000»

Был конец года. Горячая пора. Более того. Я готовился через неделю передать один из двух заводов, которые были под моим руководством, новому директору, и мне казалось, что сейчас не до поездок. Но вдруг мне стали говорить, что поездка нужна, что такое бывает редко, когда и завод, и директор так отмечены.

...И вот я в Женеве, одной из главных банковских столиц мира. Большой номер четырехзвездочного отеля «Бристоль» на улице Монблан. За окном река Рон, а чуть дальше за островком – Женевское озеро.

Все настолько опрятно, ухожено и вылизано, что, даже находясь на улице, чувствуешь себя как в наскучившей своей прибранностью квартире и хочется куда-нибудь выбраться туда, где больше не так гладко причесанной природы.

Когда я смотрел на Женевское озеро, мне невольно вспоминался наш санаторий «Волжский Утес» недалеко от села Усолье с громадной морской водной гладью внизу и широко раскинувшимися лесистыми отрогами Жигулевских гор. Невольно напрашивались сравнения. И наши Жигули в сравнениях чаще выигрывали.

...После церемонии награждения, на другой день, в конце долгой автобусной экскурсии по городу нам было предложено на утро проехать вдоль всего Женевского озера и добраться до города Монтре. Всем это сразу понравилось и мы охотно согласились покинуть свой ухоженный скворечник.

...Очень мне хотелось попасть в Шильонский замок, так когда-то поразивший поэта Шелли своей холодностью и олицетворением бесчеловечности, которую люди часто проявляют, чтобы влиять на себе подобных. Это там, в камере Боннивары, Байрон вырезал свое имя, и поэты попросили рассказать им историю жертвы тиранов, а Байрон в одну ночь написал «Шильонского узника».

Здесь они, однажды отправившиеся на прогулку по озеру, были застигнуты бурей у Мейерн. Байрон, натура, унаследовавшая кровь великих бунтовщиков, разделся и предложил спасти Шелли. Но не умеющий плавать Шелли сел на дно лодки, готовый потонуть, не сопротивляясь. Это я помнил из прочитанного у Андре Моруа.

«Байрон, глядя на отражение звезд в воде и на громадные тени гор, как будто слышал, как вокруг него смутно колеблются доброжелательные и таинственные силы. Но эти ощущения были в нем мимолетны». Что-то похожее ощутили потом и мы — горстка туристов. «Забыть свое «я», раствориться в красоте всеобщего — возможно ли это для Великого Эгоиста?» — эти строки я отыскал у Андре Моруа в его книге «Байрон» уже по приезде домой, следуя своей занудливой привычке отыскать и сверить свои мысли и ощущения с кем-то другим, кто ценит эти ощущения и для кого они — сама жизнь.

...Группой, человек в десять, мы вышли из гостиницы «Виктория» и пошли к фуникулеру, намериваясь попасть к замку. Нам надо было спуститься к Женевскому озеру метров семьсот вниз, так нам сказали в гостинице «Виктория».

Но оказалось, что фуникулер не работает, отключено электричество. Недоумевая — бывает же и у них такое — мы, не раздумывая, решили спуститься самостоятельно. То, что это опрометчиво, мы поняли уже минут десять спустя. Спускаться по узеньким с мокрым асфальтом тропинкам, с большим уклоном вниз было достаточно трудно. Каждую минуту мы рисковали. Наша группочка, как нанизанные разноцветные бусы на незримую нить, протянутую между уже теперь высокостоящей гостиницей «Виктория» и угрюмым, неприветливым Шильонским замком — там внизу — повисла, казалось, в воздухе. Порой сильный ветер заставлял прижиматься к изгороди и ждать момента, когда можно проскочить через очередной участок пути. Это начинало походить на опасную игру.

Общее спортивное настроение изменилось, когда элегантный и галантный замминистра украинского правительства, неудачно ступив кожаными подошвами на мокрый и скользкий асфальт, вдруг потерял устойчивость и его понесло вниз. Сообразив, что лучше бежать, не падая какой-то момент, он стремительно пронесся по извилистой тропинке метров пятнадцать, повернувшись вокруг собственной оси на повороте. Выбрав участок изгороди, поросшей зеленью, ринулся на нее. Он оказался удачлив — зеленая изгородь самортизировала удар. Мы подошли к бедняге, кроме небольших ссадин на руке и щеке ничего не было. Но то — внешнее. Чуть позже ноги у него стали ватными, и он не сразу смог идти, стоял, стараясь не смотреть вниз.

До замка оставалось метров двести, внизу были ухоженные домики, крохотные дворики. Все было бы прекрасно, если бы не сильный ветер.

И странное дело: озеро и Альпы по ту сторону то раскрывались перед взором в изумительной красоте рериховских красок, иссиня-черной враждебной и космически необъятной — становилось не по себе, то все куда-то враз девалось, оставалась сплошная завеса. Триста метров глубины озера и около семидесяти километров его длины давали знать: могучие волны, когда мгла вокруг в считанные минуты уходила, чтобы возникнуть вновь, вздымались так, что даже с высоты захватывало дух от могучести, великости происходящего. Ничего подобного по грандиозности я раньше не видел.

Посоветовавшись, мы решили не испытывать судьбу, не спускаться отвесно вниз, а по пологим тропинкам не спеша взять вправо и уйти в город. Монтре был справа от нас... «Вот тебе и тихая, наскучившая квартира, если бы я не оказался на этом конце озера — я не знал бы Швейцарии», — думал я.

Глядя на резко меняющуюся картину над озером, смену изумительной красоты на неотступную жестокость природы, вспоминал я и Шелли с Байроном, застигнутых бурей в лодке, и слова молоденького русского гида, который еще в автобусе обронил, что Швейцария занимает первое место по количеству самоубийств в Европе. В Лозанне даже есть мост, где дежурят добровольцы Красного Креста, чтобы круглосуточно прийти на помощь... Что это? Есть много объяснений, есть и самое, очевидно, верное, но мне почему-то вспомнился поэт Шелли, который отказался, чтобы его спасали от гибели в разбушевавшейся стихии... Есть что-то притягательное в этой мощи природной, в ее всепоглощающей претензии покорить все себе и поглотить все в себе. Есть силы, против которых не каждый способен устоять. Эти мысли мне пришли естественным образом, я с ними ни с кем не успел там, в Монтре, поделиться.

Я все искал глазами виллу Диодати, зная, что она где-то здесь. Спросить было некого. Вокруг удивительно пустынно и космически одиноко. Я знал, что роман «Франкенштейн, или Современный Прометей» был написан здесь, в Швейцарии, в 1816 году дождливым летом на вилле Диодати, недалеко от Шильонского замка, на берегу Женевского озера. Общеизвестно, что инициатором создания романа была Мэри Годвин, жена поэта Перси Шелли. Оба они приехали отдыхать в Швейцарию по приглашению их друга, молодого поэта, аристократа со спорной репутацией Джоржа Гордона Байрона. Было решено сочинить роман с тайными роковыми страстями, кошмарами, вперемежку с тогдашней новомодной наукой,

граничащей с чертовщиной. Поэтам скоро наскучила эта идея, а вот Мэри Шелли не отказалась от этой затеи.

Потом Мэри Шелли писала: «Мне хотелось сочинить нечто такое, что вернуло бы читателя к его собственным внутренним кошмарам, что вызвало бы в душе его ужас. Тот ужас, который заставляет с замиранием сердца озираться в пустой комнате и студит кровь».

Что ж, страшилку она создала грандиозную, на века. В свои девятнадцать лет. Вот уже две сотни лет герой его навевает ужас на читателей. Одним из первых игровых фильмов в истории оказался «Франкенштейн», снятый еще в 1910 году.

Мне представляется, что этот роман мог быть написан только здесь, у Женевского озера, где кажется, что таинственные и космические силы так ощутимо и неотвратно действуют на человеческую психику. Под стать и сама Мэри Шелли – волевая, капризная и авантюрная, ставшая в свои шестнадцать лет любовницей Перси Шелли, а затем его женой, через двадцать дней после того, как утопилась жена поэта.

...А Перси Шелли все-таки утонул, но не в этот раз на прогулке с Байроном, а позже – в июле 1822 года, отправившись кататься на яхте. Страшные эти две смерти – поэта и его первой жены, связаны с водой, и не одна ли следствие другой?..

Бог обошел природными ресурсами Швейцарию, но наделил красотой. Ледники в свое время сделали свое дело – снесли плодородную часть земли, и Женевское озеро, самое большое в Европе, образовалось в результате того, что скалы когда-то обвалились, перегородив реку Рон. Река разлилась, образовав в расщелине озеро шириной в шестнадцать километров.

Это озеро терморегулятор. Летом охлаждает воздух в городе. Температура не более 22 градусов. Частые туманы, ветра, которые вызывают головные боли. Странное озеро – в нем не купаются. Засилье уток породило множество блох. И они, окаянные, кусаются. Очень много уток черных, есть кряквы. Много лебедей.

Местные жители на противоположной стороне от гостиницы «Бристоль», где причал и стоят разнокалиберные катера и яхты, любят подкармливать птиц. Я видел, как раскрасневшийся от холодного декабрьского ветра человек с двумя сыновьями, лет по десять-двенадцать, кормил из рук хлебом чаек. Чайки крикливой стаей налетали на протянутую руку с куском хлеба, хватали и тут же отлетали в сторону. Это повторялось многократно, отец радостно каждый раз подбегал к рюкзаку за хлебом, поспешно и самозабвенно ломал замерзшими руками корку. На большом, почти греческом, его носу висела тривиальная сопля. Он даже

ее уже и не смахивал, он, как мне показалось, был счастливее в тот момент своих сыновей.

После этого похода я стал замечать и других птиц. Во дворе за гостиницей спокойно уживаются сизые голуби, воробьи, чайки. Переводчик нам сказал, что кормивший чаек мужчина, возможно кельт – представитель коренного населения Швейцарии. Их мало, они живут по окраинам. Хотя конституция и написана на языке кельтов, язык этот мало кто хорошо знает.

Курьез: в Швейцарии всего два местных дерева. Бук и граб. Остальные все привозные.

Бедность всегда сестра рачительности, а последняя прародитель достатка. Химические удобрения запрещены, пользуются только органическими. Даже для уничтожения насекомых – пожирателей их привозят из-за границы, они почему-то «не додумались» до нашего: раз – бац с верхотуры с самолета сразу всем на голову отраву и... как ножом отрезало... от всего живого.

«В двадцать пять лет надо жить в Париже, а в пятьдесят – в Швейцарии». Эти слова принадлежат, кажется, Вольтеру.

...Странное было ощущение, когда мы вошли в город Монтре. Порывы ветра то срывали куски черепицы с крыш, то уличный фонарь, сорвавшись, катился по тротуару. На улицах были только редкие прохожие. Все будто вымерло. И лишь когда мы спустились совсем вниз к озеру, увидели признаки активной жизни. Но не саму жизнь. Приглаженную и как бы затаившуюся. Странно было узнать, что в Монтре ежегодно проходят джазовые фестивали, что Игорь Стравинский здесь жил и писал балеты.

Я поотстал от своей группы и шел один, находя удовольствие в своей обособленности от нашей шумливой компании. Где-то здесь жил Чайковский. Мне вспомнилось, что об этом говорил наш гид, когда мы проезжали город, направляясь в гостиницу «Виктория».

Озеро продолжало бушевать. На безлюдной набережной появилась невесть откуда семья: родители и двое мальчиков. Они подошли к озеру, оставалось до воды метров двадцать, вырвавшаяся из озера волна огромной своей дикой и прекрасной массой ударила о землю, и брызги ее окатили ребятишек, порыв ветра потащил их за отступающей волной в озеро. Шипя, белопенная волна уходила по газонам, по изумрудной и картинно красивой набережной назад в свою огромную завораживающую чашу, обрамленную с той стороны столь же красиво картинными хребтами.

Напуганная мать схватила одного из мальчиков, тот успел зацепить своего брата за полу куртки. Так, словно балансируя, пытаюсь устоять на ногах, они двигались к воде. Подоспевший отец, включившись в эту цепочку, приостановил сползание вниз и в какой-то момент ему удалось ухватиться за фонарный столб. Порыв ветра ослаб, они все собрались около столба, вокруг него. Улучили момент и цепочкой же, во главе с отцом, метнулись к ограде, а потом пропали в парковой зелени, изредка мелькая разноцветными спортивными куртками.

Сзади крепко захрустело. Я обернулся. Ураганом рвало два дерева. Заваливаясь одно на другое, а потом, согласовавшись, будто в каком-то чудовищном танце, они вывернулись корневищами из земли и рухнули на три припаркованные рядышком машины. Послышался хруст ветвей, звон разбитого стекла. Стволы деревьев, огромные ветви накрыли их, как громадный веник забытый кем-то разноцветный металлический мусор.

Была во всем в этот день какая-то несоразмерность. Стихия природы, либо сама природа не сдерживала своей огромности, великости своих сил. И это делало все то, что сотворено человеком и самого человека каким-то второстепенным, не главным, как он себя считал до того по своей самонадеянности.

Вокруг, кроме меня, никого не было.

Одежда моя намокла. Я поднялся выше в город и рассеянно побрел по улице, удивленный тем, что видел и чувствовал.

Чтобы как-то согреться, зашел в отель и, задумчиво глядя перед собой, вдруг вздрогнул. Передо мной ссутулившись сидел бронзовый Владимир Набоков. Не веря, я вышел на улицу и прочел название гостиницы «Монтре палас» – это, конечно же, была, та гостиница, в которой, кажется, около шестнадцати лет в конце своей жизни жил Владимир Набоков.

Я знал, что похоронен писатель на кладбище в Монтре. Где-то в этом городе живет его сын, бывший певец, а теперь – переводчик.

Набоков, живя в Монтре, не писал. Все уже было написано. Он собирал здесь бабочек. Без дома и без Родины. Писатель и умер в этой гостинице.

Сидящий напротив меня в холле металлический Набоков был крохотно мал в сравнении со своими делами, которые он совершил живой. Его как будто нарочно, с умыслом, уменьшили теперь, когда он уже ничего сделать не мог...

Подобное чувство было у меня, когда я впервые увидел фигурку Ломоносова, поставленную в центре нашей заводской площади. Наш первый директор очень хотела сделать как лучше, но привезенная из Москвы

подростковая (по-другому не скажешь) фигурка великого ученого никак не соответствовала масштабам его великих дел. Памятник тут же заводские острословы прозвали «Наш местный главный специалист»...

Странно, в этом пустынно-загадочном городе, где ураган разогнал жителей по домам, я, никогда не страдавший от одиночества, а наоборот, находивший в нем всегда неотразимую прелесть, вдруг почувствовал себя сиротой. Как это бывало в детстве: ты много чувствуешь, знаешь, понимаешь, хочешь помочь, а тебя не принимают всерьез. Ты – никто. Что ты есть, что тебя нет – это твое личное дело. А то, что в душе твоей лежит, сокрыто такое, что оно готово сделать многократно больше, чем делается вокруг – никому не надо, это недоказуемо. Если сейчас войти в гостиницу, подойти к администратору и сказать: «Я – русский», – то он, вспомнив возможно фильм, который вчера вечером был на одном из телевизионных каналов, будет смотреть на меня, как на тех, которые полуголые в вытрезвителе, матерясь, валялись поперек коек.

В последнее время я слишком раним. А, оказавшись за границей, глядя издалека, отсюда на нас, русских, которые там далеко на огромных своих просторах все еще «выживают», стал необъективен? Не может быть. И там, на родине, и здесь, в одной из главных банковских столиц мира, я – русский. Я думал о нас – русских. В голове был сумбур. Я не смог с утра, а вернее, со вчерашнего вечера, еще прийти в себя после того, что увидел по телевизору у себя в номере.

В отличие от номера в Женеве, здесь, в Монтре, в «Виктории», в сотом номере, куда меня поселили, не было российского канала, к которому я уже привык и постоянно смотрел.

Вчера на одном из 34 каналов я наткнулся на фильм о русских. Он был не на русском языке, начала я не видел, но мне показалось, что авторы фильма – русские.

Фильм был о том, как мы пьем. Отвратительный фильм об одной из отвратительнейших наших привычек.

«Для них Россия, как матрешка. Каждый раз открываешь и каждый раз можно ждать сюрприза», – так в Женеве сказала нам наша улыбчивая переводчица-полька.

В этом фильме никаких сюрпризов от русских уже не ждали. В нем был поставлен крест на русских как нации. В фильме пили все. Дома пили. На поминках. На работе. На рыбалке. На стройке. На улице. В подворотне. Пили работяги, нищие, полковники. Пили помногу и неотвратно. Потом шли безобразные, скотские сцены в вытрезвителе. Женщины и мужчины были одинаково животными.

Пристегнули в конце фильма и шолоховского Андрея Соколова с его стаканом водки в немецком плену. Все в кучу.

Было жутко и стыдно смотреть на нас таких и нестерпимо больно оттого, что с нами так могут обращаться. Смаковать нашу беду.

«Неужели мы так беспросветно погрязли в этом? Ну, хорошо. Мы давно уже не сверхдержава, да и раньше-то наша сверхдержавность держалась не на экономике, а на ядерном оружии. Бог с ним, дипольным миром. Может, и нужна однополярность. Меньше уйдет сил на противостояние. Пусть США будут сверхдержавой. В однополярном мире будут свои законы, они ведь не лишены логики и цивилизованности. Ведь живут же Швеция, Норвегия, даже Люксембург, не претендуя на лидерство. И довольны. Будет своя иерархия меж тех государств, которые стоят ниже. И они найдут в себе силу. Но культура, здоровый образ жизни — эти признаки нормальной жизни должны быть. Не все же мы пьем, и далеко не большая часть из нас. И не надо топить нас в вине и водке. Вкладывать в наше сознание, что мы уже ни на что не способны. Это просто кому-то надо». Так думал я ночью. Так сбивчиво думал и в этот sereneкий день, наблюдая необычное действие природы в необычной для меня стране.

«С надеждой на мировую и мирную миссию ООН, но я — русский, и вера моя начинается с веры в мой народ», — так я записал в Книге почетных гостей Организации Объединенных Наций 23 декабря, куда нас пригласили после наградений.

Совершенно ясно, что модель дипольного мира окончательно распалась. В русских силу уже не видят. После десятилетий разрушительных, большей частью экономических, реформ победил Запад. Претензия теперь на единоличное лидерство. США и Западная Европа ухватились за идею «глобального мира» — по сути мирного распространения рыночного мирового капитализма. Остальные — за «многополярный мир». А что остается делать? Теперь сделка будет определять все.

Теория концентрического расширения Европы-НАТО, по которой вначале страны СНГ, потом по частям территории России должны объединиться под единым органом, не совсем уж и теория — в горячих головах она бродит как реальный план.

Россия стала окраиной Запада. Об этом я думал дома в России. Это приходит на ум и здесь, за границей.

Окраина, но великая. Окраина, которая и в однополярном мире не позволит себя просто так кантовать, кому куда захочется...

Но для этого надо экономически окрепнуть. Надо успешно работать. Но разве наше поколение, поколение наших отцов не работало? Работа-

ло. Жизни целых поколений, результаты их деятельности были принесены в жертву чему-то абстрактному и все поглощающему. Мне порой начинало казаться, что я вот хожу по чужой земле, смотрю, а мои земляки, мои россияне, смотрят на меня из своего далека, а те, кого уж нет на земле, смотрят на меня сверху, из этого бездонного, синего, ничейного, огромного неба и ждут от меня чего-то такого, что я смогу обязательно сделать. А может, понять для себя, может, сказать слово...

Огромность неба своей бездонностью и неохватностью всего того, что в нем сейчас отражалось и вновь глядело на нас, живущих, давило...

Казалось, все, что было с моими отцами и дедами, все каким-то образом закрепленное, зафиксированное, приумноженное – посылало мне какие-то знаки.

У меня побаливала голова и я чувствовал себя разбитым.

...Я вновь зашел в холл гостиницы. Зачем-то подошел снова к скульптуре сидящего в задумчивости монрейнского старца. Сколько осталось за властными языковыми опытами, прихотливой игрой с читателем, аристократизмом, каламбурами. Где вымысел, а где сама жизнь? Почему-то более всего удручал меня факт его жизни в гостинице в течение шестнадцати лет...

Как вам жилось здесь, маститый писатель, на чужбине, пусть и прекрасной? Как вы выживали на Западе, русский человек? Многое известно о вашей жизни. Но сколько всего осталось в туне. Ведь выживать всегда досадно. Я сел в кресло напротив слева от входа. Мысли путались, я не пытался их привести в стройный порядок. Меня удручала простенькая догадка: а ведь русский народ всегда находился в режиме выживания. И эти «режимы» уже известны.

Мне вспомнился разговор наш с Василием Петряевым на лавочке моего домика в огороде, когда он втолковывал мне на примере моей личной родословной, что все мы – Россия – давно и натужно выживаем. И матери в России, было время, рожали по два Василия и по два Шурки...

...Подойдя к администратору, я зачем-то попросил сфотографировать меня около Набокова. Элегантный и услужливый молодой человек исполнил мою просьбу. Я поблагодарил и вышел, не зная, куда деть себя со своими мыслями.

Вдруг вспомнил, что где-то неподалеку есть город Вивей, в котором жил наш Федор Михайлович Достоевский, работая над «Идиотом». В Вивее у него родилась и умерла дочь. На доме должна быть мемориальная доска. Я взял было уже такси, намереваясь наугад махнуть от неприкаянности в Вивей, но, почувствовав то ли перегруженность от

всего, увиденного за день, то ли слабость (кажется, была повышенная температура), попросил шофера довезти до гостиницы.

Минут через двадцать мы подъезжали к подъезду «Виктории». Заплатив таксисту 21 швейцарский франк, я направился в номер. С левой стороны гостиницы лежало вывороченное с корнем огромное метровой толщины дерево. Корни его вздыбились над ямой, похожей на огромную воронку. Время было обеденное, но электроэнергии еще не было и кормить нас ресторан не был готов.

...Уже вечером, когда дали свет, по телевидению сообщили о первых жертвах в Альпах – погиб ребенок. После пошли страшные сообщения: в обвалах во Французских Альпах погибло 26 человек. Затем сообщения уточняли цифры, но число жертв трагически росло!..

Таким оказался второй день католического рождества.

...Ночью вновь не спалось. Я пришел к мысли, что надо бы написать небольшую повесть о том, что чувствует русский в подобных командировках. Не давало успокоиться и то состояние, которое я пережил, посмотрев фильм о пьяницах, мысли, которые волновали меня в гостинице «Монтре палас». Я понял, что напишу повесть. И называться она будет примерно так: «Записки провинциала».

А уже под утро я написал стихотворение «Утренний свет», о котором и не помышлял. Оно родилось, может, как внутренний протест тому, что я сам себе утверждал накануне.

*Колки мои и мои перелесья,
Лица моих земляков в поднебесье,
Лица живых земляков! И поныне
В сердце моем к вам любовь не остынет.
Зной над равниной и тень чернолесья –
Все уместилось в сердечную песню.
Русичи, где мы?! Какими мы стали?
Колки мои и равнины устали
Ждать возвращенья бывшего усердья.
Вялость душевная хуже ведь смерти.
Дух наш восстанет, я верую свято
Будут поля и поселки опрятны.
Будет в душе не разврат, не смятенье,
Снова придут и покой, и уменье.
Радость придет. Без нее не бывает
Жизни цветущей. И тень побеждает
Утренний свет. Над моею равниной
Сумрак уходит. И разум былинный*

Крепнет и крепнет. На подвиг великий

Благословляют нас светлые лики!

Это стихотворение весь следующий день не выходило из головы. Состояние было приподнятым. Будто я обрел новые силы, и я знал, как их тратить и на что...

...О повести не забыл и еще утром добросовестно начал записывать в блокнот все, что видел в комнате. Потом подошел к окну, стал искать случайные, мелкие подробности, вновь прислушиваясь к себе, понимая, что все это может оказаться тем самым строительным материалом, из которого может вырасти то, что пока неведомо мне... Но что-то очень нужное...

...Я посчитал и оказалось, что побывал в пятнадцати странах. Разные были цели поездок. Деловые, туристические. Были поездки: в Париж, Рио-де-Жанейро, связанные, как теперь, с получением международных наград. Во время всех поездок за границу написалось всего одно стихотворение – «Матери» и то лишь в Нью-Йорке в гостинице «Веллингтон» оно приняло свой окончательный вид. А «пробормотал» я его в томительном долгом ожидании отложенного рейса «Боинга» в аэропорту «Шереметьева-2»:

Как хлебную корку

В далеком Нью-Йорке

Я память о нашей

Утевке храню.

Потом, в гостиничном номере, я по сути ничего не мог существенного добавить к тому, что пришло в ожидании самолета. И меня тогда сильно поразило то обстоятельство, что свои чувства и ощущения, которые потом были у меня, впервые прилетевшего в Америку, один к одному легли на уже написанное. Все было предвосхищено еще там, на Родине. Тогда, помню, впервые подумал о том, что, как бы это точнее сказать, пишущий человек тем проникновеннее и ярче пишет, чем больше он закомплексован на чем-то. Тогда срабатывают неведомые силы на иррациональном, рефлекторном уровне, как родниковые воды, они подпирают, а уж выйдя наружу, попадают в русло, которое зависит от очень многого, в том числе, конечно, и от владения ремеслом, в самом лучшем смысле этого слова!

...Рейс номер 272 «Женева-Москва» отменили. Прибыв 27 декабря в аэропорт «Женева», мы погрузились было в самолет, но, просидев около часа, получили вежливую команду выгружаться. Оказывается, перед самым взлетом, уже при работающих двигателях, командир экипажа обнаружил утечку из топливных баков керосина. Как нам потом говорила борт-

проводница, керосин протекал по крылу до фюзеляжа. Фирма «Люфтганза», продавшая американский самолет нашему «Аэрофлоту», выслала для ремонта своих представителей, а наш рейс задержался ровно на сутки. До следующего. Среди пассажиров гуляла кислая шутка, которую вроде бы обронил командир экипажа: хорошо, мол, что утечку обнаружили на земле, а не в воздухе — негде было бы дозаправиться.

Меня лично как-то не очень беспокоили возникшие неудобства. Я думал о моей повести, и мое внешнее спокойствие, раздражающее попутчиков, моя неактивность в переживании возникшей ситуации с задержкой вылета были мне просто необходимы.

Внутреннее волнение от зародившегося замысла заслоняло очень многое, если не все...

НО НАШИ ДУШИ...

К счастью, не одни только супермаркеты растут на улицах Самары...

На самом видном месте, чуть левее «Белого дома», если смотреть со стороны Волги, на холме вознесся красивый храм-памятник Георгию Победоносцу. И теперь я по несколько раз в день вижу его и каждый раз, минувя, не могу не обернуться, чтобы не посмотреть на это великолепие.

6-го мая 2001-го года над самарской площадью Славы был поднят главный, облицованный сплавом титана, одиннадцатиметровый купол его. Около тысячи людей наблюдали, как сверкающий в лучах солнца майского дня купол вознесся над Волгой, став украшением старинного нашего города.

Купол был освящен архиепископом Самарским и Сызранским Сергием. И долгие годы и десятилетия будет радовать прихожан.

Я живу рядом с храмом, но и не только поэтому оказался в день поднятия купола около него. Поднятие его потребовало особую грузоподъемную технику с большим вылетом стрелы. Такая техника оказалась у нас на заводе. И вот наш кран «Като», купленный у японцев, грузоподъемностью сто двадцать тонн пришелся к месту. Я разговаривал с крановщиком Иваном Матвеевичем Шевченко, который вместе со своим тридцатилетним сыном Александром, тоже крановщиком, поднимали главный купол.

— Это мой шестой храм. Так хочется со стороны Волги, с воды посмотреть на него. Красивый очень!

Спрашиваю:

– Крещеный?

– Да. С детства.

– А сын Александр?

– Окрестили недавно, в прошлом году. Спихватились.

– Что чувствовали, – спрашиваю, – когда поднимали?

– Радость. Сын поднимал, я рядом с ним – с рацией, а мастер на храме – координировали. Сын все порывался вторую скорость включить, а я держал его на первой – столько народу было, пусть посмотрят. О каждом храме в память у меня дома стоит иконка в переднем углу.

...К радости настоящей идет не только активное строительство храмов, но наметился, хотя пока и с наслоениями всяческими, издержками, возврат к Вере.

Ведь все же «смысл веры не в том, чтобы поселиться на небесах, а в том, чтобы поселить небеса в себе». Неискренность в отношении всего, что связано с верой, видна часто. И храмы, возводимые на неправедные деньги, истинной веры не принесут. Но я сейчас не об этом...

Город Новокуйбышевск – «безбожный город», который родился-то как результат комсомольских всесоюзных строек, размахнувшихся на голых степных просторах, поверг меня в радостное удивление. Сотни граждан пришли на Престольный праздник Серафимовского храма 1 августа, на его освящение в честь завершения строительства. На улице изнурительная духота, внутри храма такая жара, что плавятся свечи, но многочасовая служба свершилась при огромном стечении прихожан, наблюдавших установление в храме святыни, подаренной городу по благословию Нижегородского митрополита – капсулы с частицей мощей Серафима Саровского.

Именно 1 августа девять лет назад стало особым днем для всей России, а теперь и для Новокуйбышевска в особенности. Тогда в Ленинграде, в Казанском соборе произошло повторное обретение мощей святого старца. Сам Патриарх Алексей II побывал в Дивеево, на той земле, где Серафим Саровский совершал свои жизненные подвиги.

...Утром радостный колокольный звон возвестил о приезде в Новокуйбышевск высшего духовенства Самарской епархии. Путь Владыки к храму был устлан живыми цветами. Так новокуйбышевцы откликнулись на это событие. Не только строятся храмы. Происходит гораздо большее. Утнетенность, безверие, неприкаянность и загнанность потихоньку сменяются верой. Верой, которая ведет к созиданию. Пусть пока в малом, пусть порой не всеми замеченному созиданию, но мы-то, россияне, мы-то это уже видим и радуемся этому. Серафим Саровский, добровольно подвергнувший себя семнадцатилетнему уединению в Саровской пустоши,

тысячедневному стоянию и молениям, десятилетнему безмолвному затворничеству в монастыре, исцелявший больных и ясновидящий, мог бы возрадоваться – его и сто пятьдесят лет спустя знают и помнят. На нашей памяти держится все доброе и светлое. Дошли Добро и Свет его до нас, забывших было самих себя, свое прошлое, но очнувшихся, словно от черной напасти какой и вспомнивших себя сразу всех: кто мы и какими нам быть надобно.

...За капсулой с частицей мощей преподобного старца ездил священник Новокуйбышевского храма отец Сергей, мы с ним хорошо знакомы. Он жил в Кулешовке, недалеко от моего родного села Утевка, затем работал в Нефтегорске. Был несколько лет партийным работником. Окончил духовную семинарию. В Новокуйбышевск его пригласил отец Константин – наш мудрый новокуйбышевский старец, теперь – почетный гражданин города. Участник Отечественной войны, бывший боевой танкист.

...Бережно держа святыню, владыка Сергей прошел в правую часть храма, приблизился к иконе Серафима Саровского и вложил капсулу в специальное углубление...

Всем миром храм построен и освящен. Потихоньку светлеют наши лица. Но наши души, наши души... В них храм еще построить надо.

ВИШНИ В СНЕГУ

Есть такой старый анекдот. Ведет палач осужденного на казнь, а тот спрашивает: «Который сегодня день?» «Понедельник», – отвечает палач. «Ну и неделька выдалась», – произносит осужденный.

Нечто подобное случилось и со мной с самого начала нового года третьего тысячелетия. В первый рабочий день недели, 3 января, на расширенном заводском собрании в присутствии более полусотни начальников цехов, отделов, главных специалистов было объявлено явившимися из Москвы новыми владельцами комбината, что с первого января я отстранен от должности генерального директора.

Ну, и новый год выдался!

Очевидно, невольно могу попасть в Книгу рекордов Гиннеса – 1-й безработный директор в третьем тысячелетии. Если учесть, что за неделю до этого я получил звание заслуженного инженера России, а чуть раньше Международную премию за проявление роли лидера и упрочение позиций своего предприятия, случай явно курьезный. Конечно же, полной неожиданностью это отстранение для меня не было. Когда еще два с половиной года назад нанимали меня по контракту попробовать поднять развалившийся комбинат, имеющий непомерные долги, выплачивающий за-

рабочую плату с полугодовым опозданием, я понимал: чем быстрее я подниму на ноги этот некогда один из крупнейших нефтехимических комплексов России, а точнее, СССР, тем скорее он станет привлекательным на рынке и возможно будет выставлен на продажу. Другими словами, чем я лучше буду работать как директор, тем скорее останусь без должности, ибо, по заведенной практике, новый хозяин, обычно, меняет директора и часть управленческой команды.

Понимать-то понимал, но ведь и рассчитывал на разумное: ведь если мне удалось (а другим троим директорам, сменившимся в течение четырех лет – нет) поднять завод, обеспечив и хорошую устойчивую рентабельность и прибыль, то какой резон новому владельцу комбината менять команду управленцев – мы же нанятые специалисты, мы далеки от имущественных амбиций.

Ан нет. У нас, у русских, не как у всех. Обязательно по-своему: уж если ломать, так ломать, да еще чтоб хребты трещали. Когда так нашу психику тронуло? В 17-ом году или раньше? Но топчем друг друга в азарте борьбы и увечим. Будто не ведаем, что не соперника ломим, а самих себя.

– Да-да, мы хорошо знаем: ты – один из лучших директоров. Конечно. Но, понимаешь сам, когда уходит президент страны, премьер и его команда – тоже уходят. Такова норма.

– Но президенты меняются, когда политический либо экономический кризис. Мой же завод работает так, как не работал уже лет десять. И ваши технические специалисты согласились с нашей концепцией дальнейшего развития. Для чего менять? Я же не резидент иностранной разведки, – очевидно, не очень внятно пытаюсь добраться до истины.

– Послушай... знаешь что... мы тебя найдем, не горячись с выводами, у нас куча заводов...

...В тот день третьего числа после окончания рабочего дня непроизвольно собрались у меня в кабинете человек пятнадцать главных специалистов. Понурые и притихшие: завтра в этом кабинете утреннюю планерку уже буду проводить не я, а новый генеральный директор. Молча расселись за стол, все на свои обычные места. Мне невольно захотелось пересесть. Я встал со своего места около микрофона и сел сбоку стола среди коллег. Они молча переглянулись. Шел разговор глаз.

– Рентабельность по году тридцать два процента, объем переработки против прошлогоднего вырос в полтора раза. Таких показателей у комбината не было десять лет. Похуже бы работали, дольше бы комбинат наш не продали.

Это высказался под общее ободрение главный технолог, подтверждая еще раз вслух то, что мы все понимали.

Я посмотрел на своих помощников. Мне было обидно за них. Собирали команду по крупицам в течение последних двух с половиной лет. Отбирал «штучно». Большую часть пригласил с институтов. Многие с учеными степенями. Привыкшие к аналитической работе в вузах, они поначалу малость подрастерялись, увидев объемы, масштабы производства. Шутка ли: территория, которую занимает комбинат, равна семистам гектарам. Свои четыре тепловоза, депо, тридцать километров только заводских железнодорожных путей. Для того, чтобы оперативно вывозить продукцию, требуется иметь постоянно в обороте около девяти сот железнодорожных цистерн. И над всем этим, над заводоуправлением высятся семидесятиметровые громадины-колонны центральных фракционирующих установок.

Сборная команда состоялась. И я считал всех и себя готовым начать строительство новой, так нужной заводу, импортной установки.

Но...

— Вспомнил я один рассказ нашего цехового механика, — в тишине, подбирая медленно слова, с расстановкой заговорил мой заместитель. — На фронте ему однажды душно стало показалось в блиндаже, вышел на воздух покурить. Немец помалу постреливал и вдруг совсем неожиданно как дербалызнет прямо, как в точку, в блиндаж — и всех до одного, кто там был, наповал. А он лежит рядом целехонький, механик наш будущий.

— Не совсем понял, к чему это? — бесстрастно произнес главный технолог.

Под статью ему бесцветным голосом мой заместитель пояснил:

— Наш генеральный, сдастся мне, вышел покурить и — уцелел. А нам — копошиться в развалинах блиндажа, пошатнется ведь все.

...Когда ехал домой, в машине вдруг запоздало вспомнил, что в повести «Отклонение» описал первые дни и месяцы безработного, бывшего главного инженера крупного завода. И подивился. Я, выходит, одиноким раз уже пережил такое. Забыл? У меня же есть опыт. Когда писал о главном инженере Касторгине, не спал ночами, так болел за него. Я его временами отрывал от себя, старался, чтобы он не был похож на автора, иначе читатель, знающий меня, будет недоумевать: кто есть кто? А теперь? Теперь мне захотелось приблизиться к выдуманному герою моей повести — главному инженеру — и присмотреться. Понаблюдать, как он думал, как выцарапывался из волчьей ямы, в которую попал. «Есть ли у меня дома экземпляр повести «Отклонение» или нет? — думал я. — Надо к Касторгину присмотреться. Где не точно сказал,

ведь теперь-то сам безработный, не придуманный. Был опыт на Касторгине, теперь – на самом себе. Может, поторопился писать повесть, вот теперь бы самый раз...»

От завода до дома езды около сорока минут, многое можно перевернуть в памяти.

Виктор Стражников, директор из моей повести «Черный ящик» смотрел на меня испытующе из своего времени. Мне кажется, я чувствовал рядом его дыхание, видел его лицо. Он подтолкнул меня в начале этого года на мысль делать эти записки. Он как бы выверял автора на стойкость. Ну что ж, смотри, мой герой, на своего автора.

...Вспомнился недавний разговор с писателем Семеном Михайловичем Шуртаковым в его московской квартире на улице Усиевича в последнюю мою московскую командировку.

– Странное дело, вот ты же невероятно занятый человек, руководишь огромным комбинатом, казалось бы, где время брать, а в прозе твоей никакой не чувствуется поспешности. Это хорошо. Но как это удается?

Его манера говорить, легкая походка и отцовская доброжелательность напоминали мне Григория Федоровича, моего старого приятеля, живущего в Новокуйбышевске. Как оказалось, они одногодки, фронтовики. Они из того поколения наших отцов, которое дало нам все, чем мы владеем. Они многое прошли и многое повидали в жизни.

– Да вот... – пытаюсь я как-то ответить на вопрос, но он, я вижу, не ждет ответа, быстрыми легкими шагами передвигается в своей заставленной книжными шкафами квартире и ищет, во чтобы мне упаковать четыре тома самого полного третьего издания словаря Даля. Мои уверения в том, что у меня есть дома в Самаре второе издание этого словаря, сделанное книгопродавцом-типографом М. О. Вольфом в 1880 году, его не останавливает:

– Вот привезешь в Самару, посмотришь и увидишь, какая разница между ними. Это же репринтное воспроизведение с третьего издания 1903 года под редакцией профессора Бодуэна де Куртене. Самый полный словарь. А роман мой прочел? – вдруг спрашивает без всякой связи.

– Не нашел пока в библиотеках. – мямлю я. – Сборник рассказов «За все в ответе» у меня на столе.

– Ай-яй-яй, мог ведь бы и прочесть.

Он ведет семинар прозы в Литературном институте и менторские, учительские нотки в разговоре иногда проскальзывают. А может, мне только так кажется, может, это возраст толкает к тому, а не учитель-

ство – я не был студентом Литературного института и не могу знать тамошних отношений ученика и учителя.

Он быстро присаживается за небольшой стол в углу и что-то пишет, не спеша и аккуратно. Встает и протягивает мне номер «Роман-газета-XXI век» с его романом «Одолень-трава», за который получил когда-то Государственную премию СССР.

Потом спиной к окну садится в кресло, некоторое время сосредоточенно смотрит на меня и произносит:

– Видишь ли, так тянуть долго нельзя, конечно, советы давать легко, да я и не советы даю. – Он помолчал. Затем не очень уверенно сказал: – Но ведь надо что-то делать?! Надо отказаться от производственной деятельности, ваши повести – это серьезно. Надо писать. Вы – писатель.

«...Да-да, очевидно, так. Журнал «Молодая гвардия» начинает публиковать мою повесть. В журнале «Москва» готовят к печати отрывки из другой вещи «Колки мои и перелесья...» – мысленно согласился я.

Но вдруг мой собеседник, застыв посреди комнаты, вполне искренне спохватился:

– Но надо же самому думать, самому решать. Дело-то такое тонкое.

Что теперь решать, дорогой Семен Иванович, мой неожиданный друг. Все решено.

Одно ясно: меня внезапно выбросило из мутного потока, в который попала наша отечественная нефтехимия, на берег и я вместо того, чтобы сопротивляться этому, кажется, помимо своей воли, все ближе и ближе подхожу, опасливо озираясь и удивляясь непрактичности своих намерений, к другому мощному и мутному потоку: литературному...

...Но стоит ли торопиться?

Может, отлежаться некоторое время на берегу, меж двумя потоками, до своего времени...

...Делаю эти записки девятого января после похорон моего хорошего знакомого, похожего на Семена Ивановича. Такой же поджарый, приветливый и доброжелательный, и фронтовик – Интересов Григорий Федорович умер шестого января. Мы знали друг друга лет тридцать. Работали в одном цехе. Потом он ушел на пенсию. Но мы продолжали встречаться, несмотря на большую разницу в возрасте. Нам было интересно общаться. Он любил мне дарить что-нибудь из своего сада: черенки винограда, смородины.

В памяти всплыли майские дни двухтысячного года. И его вишни в моем саду. Я приехал на свою дачку с ночевой и, проснувшись утром рано 1-го мая, был изумлен. Накануне обещали сильные заморозки на почве и я долго вечером ходил около буйно цветущей, другого словосочетания, как ни ба-

нально, не подберешь, вишни и с досадой вздыхал. Уж больно красив был наряд красавиц; белые и чуть нежно-розовые лепестки так невинно и безропотно, казалось, смотрели на меня, а я, весь уже покоровшись неизбежности грядущей с сумерками для них беды, не знал, что делать. Такого цветенья вишен еще не было, да и не плодоносили они пока ни разу, хотя пошел шестой год, как высадил я их под окошком около березы. Каждый год Григорий Федорович вместе со мной ждал первого урожая.

Утром 1-го мая случилось чудо. Выпал снег, он лежал толщиной до 10 сантиметров, искрящийся и необычайно чистый.

Был страх за все растущее и цветущее. Сразу почему-то вспомнились строки Есенина:

*Я по первому снегу бреду,
В сердце ландыши вспыхнувших сил.
Вечер синек свечкой звезду
Над дорогой моей засветил.*

И не к месту вроде бы, и совсем иной смысл звучал сейчас, применительно к майским заморозкам в словах:

Я по первому снегу бреду...

Ведь все увядало, замерзало на глазах, совсем неожиданно, совсем случайно. Пропадала логика явлений в природе: вначале тепло спровоцировало буйное цветенье, а потом природа сама себя и губит.

Я подошел к вишням. Картина была изумительна. Не знаю, чего было больше на ветвях: цвета или снега. Все попеременно, все нежно, невинно — и губительно. Незъяснимая нежность рождалась в душе при виде этого сказочного убранства вишен. Холодно-изящные веточки, опущенные искристым снегом, пронизанным нежно-розовым цветом, рождали неожиданную тревожную радость. И это несмотря на то, что все должно было погибнуть!

В сердце ландыши вспыхнувших сил...

...2-го мая весь снег растаял.

На удивление в свой срок появилась завязь и настал день, когда ветви стали ко всеобщему восторгу ломиться от наливающихся ягод. Это было чудесно. Когда я брал в рот ягоду, то ощущал и тот холодок, который коснулся вишен.

Мы, все, кто жил на дачке, договорились: есть только с куста, не собирать ягоды в посуду — так вкуснее. И вся детвора в округе это одобрила. Было вкусно и забавно. Около вишни был часто смех и радостные лица...

Почему я сейчас пишу об этом? Ведь, казалось бы, не к месту эти мои воспоминания.

Но они жили во мне все лето, осень. И вот сохранилось до зимы это изумление, которое я испытал при виде заснеженной цветущей вишни. Я тогда, на бегу, записал кое-что на обрывке бумаги. Но потерял написанное. Но вот всплыло в памяти все. Оттого ли, что похоронил я сегодня одного из моих друзей, потому ли, что меня ушибла моя отставка (не думаю, что так) или пришло на моем пути по моим колкам и перелесьям время вспомнить и обернуться: уже многих ведь нет и к тем, кого нет — кого любил — отлетела частица меня. И меня становится все меньше и меньше. Я так привязался душой к ним. Неужто так уходит от человека жизненные силы? От тебя к другим — кого любил. И многих-то ведь уже нет. Куда же все уходит?!

Вечер синее свечкой звезду

Над дорогой моей засветил.

...Чем старше становишься, тем тоньше и пронзительнее любишь...

Иногда в школьные годы, лет в четырнадцать-шестнадцать возникал вопрос: а какой он будет двадцать первый век? Какие мы будем? И тут же рождалась холодноватая, но не пугающая мысль: а доживу ли я до этого времени?.. Уж больно солидный, казалось, еще был впереди запас времени. Казалось, его вполне на все хватит. Ан, нет. Не хватило на всё.

...И вот, оказывается, не только дожил, но пришел по своим колкам и перелесьям к рубежу столетия, как ни странно, молодым...

О, наш рациональный и циничный век!

Уже и анекдот есть про третье тысячелетие.

Один мужик спрашивает другого накануне нового года: «Ты что будешь делать в третьем тысячелетии?» Тот, усмехнувшись, ответил незаптейливо: «В основном лежать».

...Я еще в свои 56 лет до конца не понял, что самое главное в жизни. И себя не понял до конца.

И застигнут в пути третьим тысячелетием в таком состоянии, когда много в жизни еще не попробовал... И так много еще хочется сделать!

...А моя отставка, как неожиданные заморозки в майские дни. Она не может быть губительной для меня. Ведь у меня есть пример белоснежных вишен в моем саду, расцветших в посуровевшие майские дни последнего года второго тысячелетия.

И перед глазами моими налитые алым соком ягоды вишни и детские веселые лица.

И детский смех — бессмертный во всех тысячелетиях!